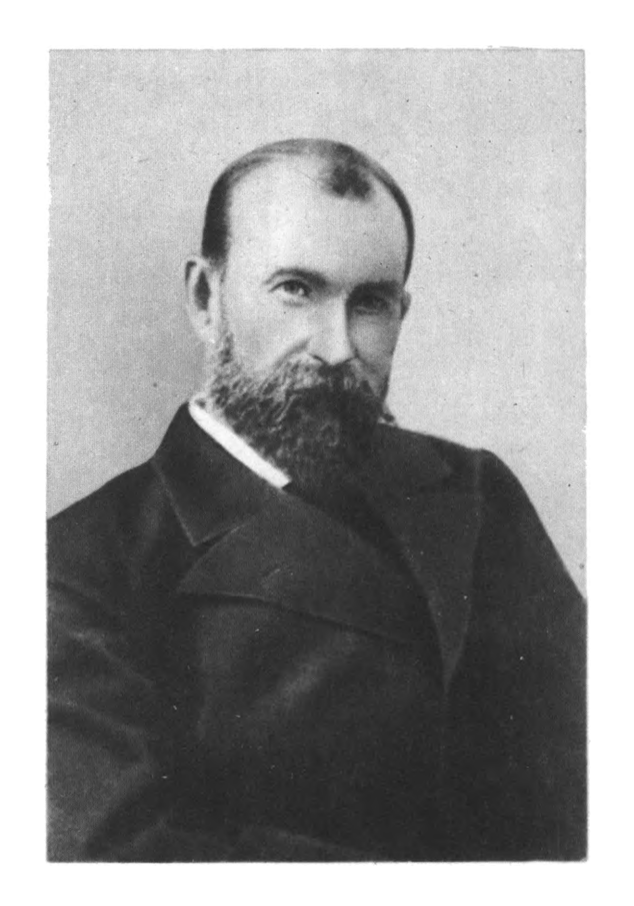


А. И.
ЭРТЕЛЬ



Необъятно богата сокровищница
русской литературы.
Помимо гениев, обозначивших вехи
в духовном развитии человечества,
свой вклад в нее вносили
и многие менее известные писатели,
заслуживающие нашего внимания
и доброй памяти.
Заботу об издании таких писателей
заповедал нам Владимир Ильич Ленин:
«...мы должны вытаскивать из забвения,
собирать их произведения
и обязательно публиковать отдельными томиками.
Ведь это документы той эпохи»
(Ленин В. И. о литературе и искусстве.
6-е изд. М., 1979, с. 699)



А. Эртель

ИЗ НАСЛЕДИЯ

А. И.
ЭРТЕЛЬ

Волхонская барышня

Повести

МОСКВА
СОВРЕМЕННИК
1984

Р1
Э82

Составление,
вступительная статья
и примечания *К. Н. Ломунова*

Рецензент *Г. Н. Ищук,*
доктор филологических наук, профессор

Эртель А. И.
Э82 Волхонская барышня: Повести/Сост., автор вступ. статьи и примечаний К. Ломунов.— М.: Современник, 1984.— 495 с., порт.— (Из наследия).

В пер.: 2 р. 60 к.

В сборник писателя-демократа Александра Ивановича Эртеля вошли повести «Карьера Струкова», «Две пары», «Повесть о жадном мужике», «Волхонская барышня», которые отразили назревание народной революции.

Л. Н. Толстой писал: «Для того, кто любит народ, чтение Эртеля большое удовольствие».

Э $\frac{4702010100-125}{М106(03)-84}$ 9—83

ББК84Р7
Р1

Писатель-демократ

...Спросите сегодня у молодых книгочеев:
- Что вы скажете об Эртеле?
И в ответ услышите:
— Эртель? А кто это?

Из разговоров с книголюбами

Какая участь может быть горше для писателя, чем оказаться среди тех собратьев по перу, произведения которых давно и прочно забыты читателями?! Добро, коли забвение прошло, что называется, естественным путем, когда книги писателя перестали вызывать читательский интерес. А не бывает ли так, что тот или иной «старый» литератор забыт незаслуженно?

Да, случается и такое. Именно подобный «случай» произошел с произведениями широко известного во второй половине минувшего века русского писателя Александра Ивановича Эртеля.

Четверть века назад Александр Фадеев писал в «Субъективных заметках» о лучшем романе А. И. Эртеля «Гарденины»:

«Прекрасная книга! Почти вся пореформенная Россия дана в разрезе. Какой язык! У нас (Эртеля) не считают классиком, а так — писателем третьего, а может быть, четвертого ряда,— Мамин-Сибиряк считается повыше. И мало кто у нас знает Эртеля. А между тем такой книги, как «Гарденины», у Мамина-Сибиряка нет. Да что,— такой книги нет, например, у Золя. А сей уж куда как превознесен!»[1]

Могут сказать, что Фадеев был человеком увлекающимся и невольно преувеличил значение Эртеля и его романа. Но задолго до Фадеева еще более высокую оценку «Гардениным» дал Лев Толстой, написавший к роману Эртеля замечательное предисловие.

Перечитывая этот роман в наше время, убеждаешься в великой право-

[1] Фадеев А. За тридцать лет. М.. 1957, с. 857.— Полное название романа А. И. Эртеля — «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги».

те Толстого, отметившего, что каждая страница «Гардениных» дышит правдой и любовью к народной жизни и что читателя не может не поразить «удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык романа».

«Такого языка, восхищался Толстой,— не найдешь ни у старых, ни у новых писателей». В этом он видел «неподражаемое, не встречаемое уже нигде достоинство романа»[1].

Искренним поклонником писательского таланта Эртеля был Чехов. Познакомившись осенью 1894 года с повестью Эртеля «Духовидцы», Чехов писал ему: «Превосходная вещь. Вы великолепнейший пейзажист...»[2] После первой встречи с Эртелем Чехов писал о нем: «Впечатление очень хорошее. Умный и добрый человек»[3].

Высоко ценил Эртеля как писателя Г. И. Успенский, находившийся с ним в дружеском общении. Прочитав в начале 1891 года роман Эртеля «Смена», Успенский писал о нем критику В. А. Гольцеву: «Отлично он пишет, прелесть!» По мнению Г. И. Успенского, Эртель обладал «сильным талантом»[4].

В середине 90-х годов с Эртелем познакомился И. А. Бунин, в ту пору только еще входивший в большую литературу. После первой встречи в Москве между ними возникло чувство искренней взаимной приязни. «Эртель мне чрезвычайно понравился,— писал Бунин брату осенью 1895 года.— Был со мной очень ласков, говорил, что он знает меня и что я очень заинтересовал его своими очерками в «Русском богатстве»...»[5]

Чуть позже творчество Эртеля привлекло внимание молодого Горького. В письме к И. А. Бунину, посланном из Нижнего Новгорода в начале февраля 1901 года, Горький выразил сожаление, что не знает адреса Эртеля: «Сего — очень хотел бы просить, ибо — очень его ценю и люблю»[6]. А просить он хотел рассказ для сборника, который намеревался издать с благотворительной целью — в пользу «Нижегородского общества помощи нуждающимся женщинам».

В отличие от Толстого и Чехова, Глеба Успенского и Бунина, Горького и других крупнейших писателей, современником которых был Эртель, критика и литературная наука оценивали его творчество не очень

[1] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Юбилейное изд., т. 37. М., 1956, с. 243.

[2] Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 6. М., 1977, с. 328.

[3] Там же, с. 180.

[4] Успенский Г. И. Полн. собр. соч. в 9-ти т., т. 9. М., 1957, с. 629—630.

[5] Цит. по ст.: Бабореко А. Бунин и Эртель.— «Русская литература», 1961, № 4, с. 150.

[6] Цит. по кн.: Горьковские чтения 1958—1959. М., 1964, с. 19.

высоко. Классифицируя художников слова по разрядам и рангам, литературоведы и критики причислили Эртеля к «второстепенным писателям-народникам»[1]. Ближайшими его соседями были названы М. Н. Альбов, К. С. Баранцевич, В. И. Немирович-Данченко, И. Н. Потапенко — писатели действительно не первого ряда. Правда, в том же перечне оказались имена Вс. Гаршина, Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. М. Станюковича и других даровитых современников Эртеля[2].

Еще в дооктябрьские годы Горький выражал не только озабоченность, но и прямое недовольство той легкостью, с какой иные «специалисты» по литературе «сортируют» писателей на ряды и разряды. «Хотелось бы мне,— писал он в 1909 году Н. Д. Телешеву,— поговорить с вами о русской литературе в прошлом ее, где великих писателей было больше, чем мы насчитываем, и где так называемые историками литературы «второ- и третьестепенные писатели» были велики своим честным и сердечным отношением к судьбам родины, к жизни народа, к литературе — святому делу их жизни»[3].

Историки литературы не вняли призыву Горького, не пересмотрели своего отношения к писателям второго, третьего и других «рядов» и не попытались должным образом оценить, что они дали литературе.

Вот, например, как оценивается значение Эртеля авторами академической «Истории русской литературы», завершающий том которой вышел менее двух десятилетий назад: «...Эртель не сумел приобщиться к самым передовым исканиям своей эпохи. Именно поэтому популярность Эртеля не перешла границ 80-х годов. В бурной обстановке следующего десятилетия Эртелю нечего было сказать, и он умолк, сохранив за собой репутацию безусловно примечательного, но все же второстепенного по своему значению русского прозаика»[4].

Не сумел приобщиться, не смог понять, не постиг, не достиг, не справился... Ни одного доброго слова не нашли авторы главы об Эртеле, да и не могли найти, ибо руководствовались ошибочными принципами оценки деятелей прошлых эпох.

«Исторические заслуги,— учит В. И. Ленин,— судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно со своими предшественниками»[5].

Как надлежит применять этот принцип, когда речь идет о писателях, Ленин показал в статьях о Герцене и Льве Толстом, в суждениях о

---

[1] История русской литературы XIX в. под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. 5. М., Изд. т-во «Мир», 1911, с. 434.

[2] Там же.

[3] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 29. М., 1955, с. 88.

[4] История русской литературы в 3-х т., т. 3. М., 1964, с. 638—639.

[5] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 178.

других выдающихся представителях русской и мировой литературы. Не обходя вниманием противоречия в их взглядах и не оставляя без оценки слабые и ошибочные стороны их мировоззрения, Владимир Ильич судит о национальном и мировом значении писателей-классиков прежде всего по тому истинно великому, что было ими создано.

Нет ничего легче, как уличить «старого» и полузабытого писателя в недопонимании тех или иных «вопросов века», в непоследовательном или ошибочном их решении. Труднее, но и важнее определить, в чем он был мудр и силен, что в его наследии сохраняет и сегодня свой живой интерес.

I

Откуда у писателя, родившегося, выросшего и проведшего жизнь в России, посвятившего ей все свое творчество, откуда у него иностранная фамилия?

Вот что сказано об этом в автобиографии Эртеля: «Я родился 7 июля 1855. Дед мой, Людвиг Эртель, из зажиточной, но впоследствии разорившейся берлинской бюргерской семьи, попал в 1811 г. 16-летним мальчуганом в армию Наполеона и в сражении под Смоленском взят был в плен»[1]. Некий русский офицер, отправившись в отпуск в свою воронежскую деревню, взял юношу с собою, вознамерившись записать его в крепостные. Отец офицера удержал его от этого шага, и тот, покинув Людвига в деревне, снова отправился в армию.

Дальнейшая судьба деда Эртеля складывалась так: он стал учителем в одном дворянском семействе, женился на крепостной девушке, добился, что его записали в мещане города Воронежа, перешел в православную веру и при этом был назван Александром Михайловичем.

А дальше дед Эртеля становится управляющим сначала на подяных мельницах, а затем в помещичьих имениях в Воронежской и Тамбовской губерниях.

Отец будущего писателя, Иван Александрович Эртель, был сначала отдан в «мальчики» в лавку воронежского купца Трясорукова, а потом служил приказчиком у московского купца. Затем, по настоянию родителей, он занял место управляющего господским имением, которым долго управлял его отец. Достигнув почти 30 лет, Иван Александрович женился на «незаконной» дочери помещика и крепостной нянюшки. Звали новобрачную Авдотьей Петровной.

---

[1] Незавершенное жизнеописание А. И. Эртеля содержится в его письме В. Г. Черткову от 13 июля 1888 г.— См.: Письма А. И. Эртеля. М., Изд. т-ва И. Д. Сытина, 1909, с. 3—35.— Далее выдержки из эртелевских писем приводятся по этому изданию без ссылок на него. Другие источники указываются в сносках.

Эртель характеризует родителей как «двух совершенно различных натур» Отец обладал трезвым умом, был справедлив, добр при наружной суровости, однако вспыльчив и терпеть не мог ни малейших проявлений чувствительности

Выросшая в барском доме и получившая там «некоторые культурные привычки и понятия», Авдотья Петровна питала склонность к сентиментальности и мечтательному романтизму

Матери очень хотелось дать сыну образование. По ее настоянию «Сашу» стали готовить к поступлению в гимназию. Вот как это было: «...Один раз меня чему-то учил пьяный конторщик, другой раз — правда, три или четыре месяца – «гувернантка», девица из крепостных, но почему-то с институтским образованием; третий раз, когда я гостил у бабушки по матери, со мной занимались барчуки-правоведы».

Когда наставники сочли, что «Саша» достаточно подготовлен к экзаменам, отец повел его в Воронеж. Поначалу все шло хорошо, а потом отец встретил старого товарища и закутил с ним.. «Отцу отовсюду не советовали отдавать меня в гимназию: «Будет образованный - родителей не станет кормить»; приводились примеры... Отец подумал, подумал да, не дожидаясь экзамена, и увез меня домой»

Дом был в деревне Ксизово, Задонского уезда, Воронежской губернии, где Эртель родился и где отец его в течение 20 лет управлял имением помещика Савельева.

С большим юмором вспоминал Эртель, как он был отдан родителями в господский дом по настоянию его «крестного отца» Савельева, который к тому времени привез себе из Парижа жену – актрису «Сильвию Ивановну», игравшую в каком-то бульварном театре. Она «плохо и даже почти совсем не говорила по-русски, была совершенной красавицей и, завезенная Савельевым в Россию, очень скучала» Естественно, что бездетная «Сильвия Ивановна» привязалась к «Саше», забавлялась им как игрушкой, закармливала лакомствами.

Отец Эртеля надеялся, что господа Савельевы чему-то путному научат его сына. «Ученье,— рассказывает писатель, – ограничивалось тем, что «крестный папа» иногда говорил, что́ значит такое-то французское слово, и, спасибо ему, научил меня отлично читать по-русски. Остальное время я бегал с дворовыми мальчишками, сидел около «Сильвии Ивановны», перелистывая книжки с картинками, гулял в саду и в огромном цветнике, играл в солдатики, сладко ел и пил»

Когда Савельев обвенчался с Сильвией, из Франции приехали ее родители, небогатые буржуа. Их потрясло изобилие съестного в доме зятя. Толстый месье Пурмантье был помешан на еде: «Для него по особенному рецепту откармливали свиней, индеек, гусей, кур, телят, кроликов... Он сам убивал всю эту живность, а иногда и готовил. Раз, например,

он всю ночь напролет просидел с вертелом, жаря индейку, завернутую в толстые куски сала...»

Благоденствию юного Эртеля в барском доме скоро пришел конец С приездом родителей скучающая и добродушная «Сильвия Ивановна» превратилась в злобную помещицу. Отец писателя жестоко разбранился с хозяевами усадьбы и был уволен из управляющих. «А вместе с тем,— замечает Эртель,— и я был обращен в «первобытное состояние»

Эртелю было 13 лет, когда отец, вскоре получивший место управляющего в другом уезде Воронежской губернии, решил приучать сына к занятиям хозяйством. Он привез его с собой в имение Филипповых, находившееся в степной глуши. Здесь Эртель провел шесть лет, проходя свою первую «школу жизни».

Став кем-то вроде приказчика у отца, Эртель вызывал его недовольство своим панибратством с людьми из простого народа: «Я,— пишет он,— был свой человек в застольной, в конюшнях, в деревне «на улице», на посиделках, на свадьбах, везде, где собирался молодой деревенский народ. Я был в их глазах «Шаша» или «Сашка», но отнюдь не сын управителя и не Александр Иванович».

Отец бранил, а то и наказывал сына за «дружественные и фамильярные отношения с деревней». Наконец он согласился отпустить его в другое помещичье имение, где понадобился конторщик. Здесь 18-летний Эртель мог отдохнуть от отцовской опеки и — главное — полнее удовлетворить свою поистине ненасытную страсть к чтению. Новое место его службы находилось всего в 20 верстах от города Усмани, где была неплохая библиотека. Частым ее гостем стал Эртель.

Управляла этой библиотекой дочь богатого местного купца Федотова — Мария Ивановна. «Это была,— говорит Эртель,— первая моя встреча и первое знакомство с женщиной «образованного круга». Поговорили о книгах, о таких-то и таких-то статьях, которые мне необходимо прочитать. Она вызвалась руководить мною. Я выехал из города в совершенном чаду». Это была любовь с первого взгляда — пылкая и безоглядная. Потом — бурная переписка, составившая, по словам Эртеля, настоящий «книжный роман» И через полтора года ранняя женитьба: Эртелю тогда не было и 20 лет.

Через полгода после женитьбы он потерял место конторщика. Но, стараясь жить по пословице «смелость города берет!», Эртель на приданое жены и на деньги, полученные на свадьбу от отца, снял в аренду землю. И прогорел! «...Аренда оказалась в высшей степени убыточная,— писал Эртель,— два лета случился неурожай, земля была дорогая, работы производились небрежно и не вовремя, некоторые пункты контракта разорительные... Одним словом, я, считавшийся дельным хозяином в чужом богатом имении, оказался никуда не годным в своем маленьком». Возместить

убытки помогли ему отец и тесть, но, разумеется, присовокупив к денежной помощи немало наставлений и обидных попреков. В эту пору первых неудач у Эртелей родилась дочь. «Приходилось жить бедно и в долг, пишет он, – продавать и закладывать вещи, принимать помощь от моего отца».

Большое влияние на молодого Эртеля оказал в те годы его тесть И. В. Федотов. Он был страстным любителем чтения и составил библиотеку, насчитывавшую до двух тысяч томов. «Начитанность у него была изумительная,— рассказывает Эртель.— ...Вот с ним-то мы вели оживленную переписку и еще более оживленные разговоры по вопросам искусства, политики, философии, религии, морали ⟨...⟩. Насколько я могу уяснить теперь его мировоззрение, он в политике был тогда умеренный социалист, в философии — материалист и отчасти поклонник Шопенгауэра, в искусстве - обожатель Байрона и Тургенева. Любил, впрочем, или, лучше сказать, очень ценил и Щедрина».

Должно быть, тесть Эртеля принадлежал к той части российского купечества, которая дала Боткиных, Третьяковых, Мамонтовых, Морозовых — остававшихся купцами, но знавших, что «не хлебом единым жив человек», и умевших ценить людей талантливых.

В доме Федотова будущий писатель познакомился с людьми, в то время составлявшими «общество» в Усмани — бывшим исправником, мировым судьей и другими.

Вскоре молодой Эртель понял, что уровень культуры его новых знакомых не очень высок. «Я был,— пишет он,— начитаннее их всех вместе взятых, я был развитее их, знал и чувствовал больше и глубже, нежели они, но я был все-таки дикарь, вчерашний конторщик, стоявший навытяжку перед помещиком, сын мещанина и, наконец, «мальчишка».

Однако общение с ними многое значило для будущего писателя. «Так,— говорит он,— от них, например, я в первый раз услыхал о земстве, о мировом суде, о полиции, об арестах, о политических процессах, о жизни в полку, на Кавказе, в Варшаве, в столице, за границей ⟨...⟩ Даже то, что я знал прежде из книг, повторенное теперь живыми людьми, прямо и непосредственно в этом заинтересованными, получило в моих глазах новую, какую-то живую окраску».

В этих признаниях нельзя усмотреть стремления писателя как-то преувеличить наивность, свойственную ему в годы молодости. Он счел необходимым сообщить в автобиографии, что впервые увидел железную дорогу, когда ему было 16 лет, а впервые посетил Москву и Петербург, когда ему минуло 23 года. Живя до женитьбы в «большой глуши», он и в сравнительно недальнем Воронеже тогда побывал всего не более двух раз...

В доме тестя в 1876 году Эртель впервые увидал «живого петербургского настоящего литератора». Им был известный писатель-народник Павел Владимирович Засодимский, приехавший в Усмань, где в ту пору его жена служила акушеркой.

При первой встрече с «настоящим литератором» молодой Эртель испытал потрясение: с трепетом и восторгом взирал он на Засодимского. «Нужно воспитаться на книжках,— пишет Эртель,— нужно привыкнуть с малых лет благоговеть перед печатным словом, чтобы понять это...»

И Засодимскому с первых же встреч Эртель понравился. «У Федотова,— вспоминал он позднее,— дважды я встретил молодого человека, приехавшего с хутора за книгами. Этот юноша-блондин, высокого роста, худощавый, симпатичной наружности с мягким, ласкающим взглядом добрых, вдумчивых глаз — был Александр Иванович Эртель. Тогда ему было не более 20 лет. С первого нашего свидания, можно сказать, с первых же слов - он внушил мне доверие к себе, и я близко познакомился с ним»[1].

Они стали друзьями. Увлечение младшего из друзей старшим перешло в поклонение. «Я,- признается Эртель,- в то время не видал недостатков ни в способе его мышления, ни в его убеждениях и взглядах. Это был мой идеал».

С еще не растраченным пылом молодости, под огромным личным обаянием выдающегося писателя-народника, Эртель в середине 70-х годов приобщается к народнической идеологии, однако и в этот первый период знакомства с нею не становится верным и безоглядным ее последователем. «Но и в пору такого увлечения Засодимским,- говорит он в автобиографии, меня не покидала отцовская струйка: здравый смысл. Я, например, чувствовал, что знаю жизнь лучше и глубже его, особенно бытописателем которой он считал себя - жизнь народную. Умел я и людей узнавать лучше его - этому помогала ранняя практическая деятельность: занятия хозяйством, деловые сношения с купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками и т. п.»

Правда, «отцовская струйка» на какое-то время «потопáла в увлечении новизною, сквозила там едва заметно». Более того, Эртель, по его словам, «иногда намеренно заглушал ее в себе».

Знакомство с П. В. Засодимским, перешедшее в дружбу, побудило Эртеля сделать первые шаги на писательском пути. Он послал своему другу в Петербург рассказ «Переселенцы» (назвав его в автобиографии своим «первым рассказиком»[2]) и «Письмо из Усманского уезда»[3]

---

[1] Засодимский П. В. Из воспоминаний. М., 1908, с. 438.

[2] Он был напечатан в еженедельном журнале «Русское обозрение» 1878, № 3—4).

[3] Впервые опубликовано в журнале «Слово» (1879, февраль)

Этим первым произведениям Эртеля, увидевшим свет, предшествовала написанная в отроческие годы повесть «Каторжники» действие в которой, по словам автора, «развивалось в самой фантастической обстановке». В юные годы Эртель, как он говорит, «писал, разумеется, стихи, но немного и очень плохие...» И «Каторжники» и ранние стихи были навеяны беспорядочным и «пожирающим» чтением, когда наряду с книгами классиков поглощались переводные романы (вроде «С петлей на шее» Габорио), «и какая-то «Испанская инквизиция» - и не перечислить всей дребедени и чепухи»

Эртелю, как и каждому самоучке, не прошедшему никакой школы, приходилось добывать познания ценой громадных усилий, не всегда дававших нужные результаты.

Появление в печати «Переселенцев» и «Письма из Усманского уезда» не сразу привлекло читательское внимание к новому в литературе имени. Однако же П. В. Засодимский, хлопотавший об их напечатании в столичных журналах, поверил в талантливость Эртеля и решил ввести его в литературную среду.

В 1878 году П. В. Засодимский открыл в Петербурге библиотеку для писателей и общественных деятелей. Он предложил Эртелю переехать с семьей в столицу и принять на себя заведование библиотекой. «Предполагалось, что нам с Марией Ивановной (жена Эртеля.- *К. Л.*) будет готовая квартира, дрова, прислуга и освещение, а на прожиток я как-нибудь добуду. Чем добуду? Это лучше всего будто бы могло решиться в С.-Петербурге. Несмотря на такие неопределенные перспективы, я решился ехать».

Это было смелое решение. Принимая заведование надавно открытой библиотекой, Эртель не знал, что она вскоре станет местом встреч революционных народников, которые будут хранить в ее шкафах запрещенную литературу. Не мог знать он и связанных с этим опасностей, которые его подстерегают.

Безденежье, нужда заставили его не только закладывать вещи, но и вновь взяться за перо. Написав «рассказик» под заглавием «Ночь под рождество», Эртель отправил его в редакцию журнала «Отечественные записки». Не приняли.

Тогда он переписал несколько ранее созданных им рассказов и, объединив общим заглавием «Записки Степняка», решил непременно пробить им дорогу в печать: «...Минуя «Отечественные записки», отнес их в «Дело» – возвратили; в «Неделю» – возвратили; в «Русскую речь» - тоже возвратили». Придя в отчаяние, он зашел в контору журнала «Вестник Европы» и оставил там свою рукопись для передачи редактору журнала.

Положение Эртеля становилось почти катастрофическим: «Надежды же стать писателем и, главное, в ту пору заработать деньги почти совсем утратил».

И вдруг — о счастье! — все переменилось в его судьбе: «Записки Степняка» были приняты редакцией «Вестника Европы», автор получил аванс, расплатился с частью долгов и спас семью от голодной смерти.

За первым неожиданным успехом тут же последовал другой: в декабрьской книжке журнала «Дело» за 1879 год был напечатан его рассказ «Два помещика». Эртель пишет в автобиографии: «Именно с этого декабря 1879 года мое имя фигурирует в «большой печати», и я становлюсь заправским литератором. Начиная с января 1880 года в «Вестнике Европы» стали появляться «Записки Степняка».

Этому крупному произведению и суждено было принести Эртелю имя в литературе. О достоинствах и значении «Записок Степняка» мы скажем в следующей главе. Здесь же продолжим наш рассказ о том, как складывалась судьба писателя.

Работа в основанной П. В. Засодимским библиотеке не только «свела», но и сдружила Эртеля с такими людьми, как Г. И. Успенский, В. М. Гаршин, Н. Ф. Бажин, Н. Н. Златовратский. В автобиографии Эртель выделяет двух из них, с кем он «быстро и ближе всех сошелся»,— Г. И. Успенского и Н. Ф. Бажина: «...Знакомство с ними сразу как-то напрягло и взволновало мои литературные наклонности, а их разговоры значительно расширили круг моих познаний и понятий». В то же время Эртель, по его словам, «хорошо сошелся» с В. М. Гаршиным. Зимой 1879—1880 года он «был представлен Гл. Успенским Тургеневу» и затем встречался с ним в «тесном кружке писателей», собиравшемся у Г. И. Успенского.

Весной 1880 года Эртель тяжко заболел: сильнейшее кровотечение из легких заставило его более месяца пролежать в постели. В ту пору он узнал, что значит писательская солидарность. И. С. Тургенев прислал к нему знаменитого терапевта С. П. Боткина, который нашел его положение очень опасным. Н. К. Михайловский тогда же направил к Эртелю известного медика профессора Манассеина и сам навестил больного. У его постели по очереди дежурили Гл. Успенский, Н. Наумов, Н. Бажин, П. Засодимский и другие литераторы.

По настоянию друзей Эртель уехал из Петербурга сначала в Усмань, а затем к матери на хутор, стоявший на речке Грязнуша. Здесь свершилось чудо: больной стал быстро поправляться, к нему вернулись силы, и он снова смог работать с той страстностью и самозабвением, которые заставляли его забывать о постоянной нужде в деньгах, о жажде успеха и славы. «Когда я садился писать,— говорит Эртель,— все это уходило на задний план, и передо мною действительно вставала моя родина, сердце мое действительно горело любовью к ней и ненавистью к ее утеснителям и поработителям. Мне не раз случалось и плакать с пером в руках, и переживать минуты глубокого умиления».

Три года выздоровевший Эртель живет в провинции и усиленно работает над продолжением цикла «Записки Степняка», изданного в 1883 году в двух томах.

В том же году осенью Эртель возвращается в Петербург и видит, что многое изменилось в среде народнической интеллигенции, с которой он сблизился до отъезда из столицы. «Скажу,— пишет Эртель в автобиографии,— что революционеры, с которыми мне пришлось иметь знакомство в 1883—1884 гг., были далеко не такого крупного пошиба, как в 1879,— 1880. Много в них было наивного, мальчишеского и много было невежества и незнания, хотя, конечно, за этою мало располагающею корою во многих случаях были достойнейшие и самоотверженные характеры».

Писателя охватило чувство разочарования, когда он увидел измельчание народничества, отступничество его лидеров от героических традиций «семидесятников», замену их теорией «малых дел» и все большее сближение со сторонниками буржуазного либерализма.

Революционеры-«семидесятники», оберегая молодого Эртеля от преследований, не посвящали его в свои дела. «Думаю теперь,— пишет он в автобиографии,— что меня щадили эти милые и симпатичные люди». Молодые участники революционного движения 80-х годов были менее предупредительны к нему и менее осторожны. «...В двух случаях,— рассказывает писатель,— я разрешил им воспользоваться моим адресом, а в двух или в трех они воспользовались им без разрешения».

И еще один досадный и роковой промах был ими допущен: «...Мой адрес,— говорит Эртель,— оказался зашифрованным в тайной типографии в Киеве, и его не догадались или не успели истребить, когда полиция брала типографию (именно «брала»: типографию долго защищали с оружием в руках)».

Жандармы захватили это «вещественное доказательство» и поспешили им воспользоваться. В апреле 1884 года Эртель был арестован и заточен в Петропавловскую крепость. Его пребывание в тюрьме сильно отягчали два обстоятельства: он ничего не знал о судьбе семилетней дочери, заболевшей дифтеритом (девочка умерла во время заключения Эртеля), и был совершенно не подготовлен к допросам. «Я,— вспоминает писатель,— не будучи посвящен во внутренние отношения революционеров, в их планы, в их положение, в их средства, не знал, что отвечать на допросах, и после такого-то ответа мучился, нужно ли было так отвечать».

В крепости к Эртелю вскоре вернулась и обострилась старая болезнь: началось кровохаркание. Власти вынуждены были перевести его из каземата в дом предварительного заключения. Затем писателя выпустили на поруки, и он некоторое время жил в Москве, где познакомился с Л. Н. Толстым.

Их первая встреча произошла иначе, чем предполагал Эртель. Он

просил Толстого назначить время и место — когда и куда ему можно будет прийти, а Толстой неожиданно сам пришел к нему в московскую гостиницу.

Эртель писал об их свидании А. Н. Пыпину 13 марта 1885 года: «Старик был так любезен, что вместо ответа сам пришел ко мне на вышину моих 107 ступеней... Он делает большое впечатление — это несомненно. И что в нем струйки нет «мистической» тоже несомненно. Это сам реализм - здоровый, и бодрый, и ясный, как июльский день, хотя во внешности действительно есть что-то строгое, свойственное сектантству, может быть напоминающее не июльский, а сентябрьский погожий день»[1].

Последующие встречи укрепили в Эртеле его преклонение перед Толстым — бесстрашным мыслителем и гениальным художником, а долгое общение с ближайшим единомышленником писателя В. Г. Чертковым помогло ему увидеть серьезные различия между Толстым и «ортодоксальными» толстовцами, стремившимися превратить в догму слабые стороны его религиозно-этического учения.

По свидетельству Горького, Толстому были крайне неприятны люди, называвшие себя истовыми сторонниками «толстовской веры» и смотревшие на него как на «главу» своей секты[2].

Знавал таких людей и Эртель, подобно Н. С. Лескову, Вс. Гаршину, В. Г. Короленко, А. П. Чехову, а вслед за ними — Горькому, воспринимавший Толстого как «целый оркестр», в котором «не все трубы играют согласно»[3].

В 70—90-е годы, когда Эртель активно выступал в литературе, Толстой находился в центре всеобщего внимания. Каждое новое его произведение было событием и вызывало бурные споры. Нельзя было Эртелю, как и каждому подлинному литератору, жившему в «эпоху Толстого»[4], не определить свое отношение к нему.

Эртель сделал это через пять лет после первой встречи с Толстым. Он писал В. Г. Короленко 20 февраля 1890 года: «Не буду отрицать того, что многое в мыслях Л. Н. Толстого представляется мне верным и глубоким до поразительности, но я расхожусь с ним в его отношениях к общественности, к учреждениям, к средствам борьбы со злом, и до известной степени — к так называемой цивилизации ⟨...⟩ Не спорю, может быть, я и потому очень высоко ставлю Толстого, что имею возможность судить его разностороннее, чем другие: знаю его «дома», так сказать, в сфере его личного поведения, знаю его по письмам к его близким друзьям и отчасти по его интимному дневнику, и затем читал его писания и

---

[1] «Русская литература», 1960, № 4, с. 182.

[2] Горький М. Собр. соч., т. 14. М., 1951, с. 290—291.

[3] Там же, т. 28, с. 117.

[4] Глубочайшую ее характеристику см. в статье В. И. Ленина «Л. Н. Толстой и его эпоха» (Полн. собр. соч., т. 20, с. 100—104).

говорил с ним, задаваясь одной только целью: без всяких полемических намерений по возможности глубоко проникнуть в эту удивительную натуру, в этот удивительный, необузданно смелый ум. Всегда он меня привлекал не как «учитель», а как необыкновенно редкое явление в сфере ума и того, что называют талантом».

Так Эртель определил меру своей близости к Толстому, обозначив границы схождений и расхождений в их взглядах и на «дела века», и на «вечные» вопросы бытия.

Эртель очень дорожил доверием Толстого, его поддержкой в трудную пору жизни. С 1885 до начала 1888 года он отбывал ссылку в Твери, находясь под гласным полицейским надзором. В письме в Ясную Поляну, датированном 10 сентября 1885 года, прося Толстого прислать его сочинения, запрещенные цензурой, Эртель сообщает о себе: «...Дело в том, что мне лично в Москву «пути заказаны»[1].

Находясь в Твери на положении административно-сосланного, Эртель сумел сплотить вокруг себя кружок лиц, принадлежавших к местной интеллигенции. В него входили поэт-народник Г. А. Мачтет, брат известного анархиста М. А. Бакунина — Павел, увлекавшийся мистическим анархизмом. С ним Эртель бурно спорил по философским вопросам, вел долгие беседы об искусстве и литературе.

Как только истек срок ссылки, Эртель отправился в родные воронежские места и поселился на перешедшем к нему по наследству хуторе на Грязнуше. Здесь он отдает много сил и времени работе над художественными произведениями.

Весной 1890 года Эртель едет с семьей в Крым, чтобы приостановить легочный процесс, обострившийся у него после пребывания в «сыром каземате Петропавловки» и в ссылке. По возвращении из Крыма Эртель арендовал имение Емпелево в Воронежской губернии и прожил в нем с семьей шесть лет, близко наблюдая и изучая пореформенную деревенскую жизнь.

В 1891 году центральные губернии России постигло бедствие: засуха погубила посевы, в крестьянские избы пришел голод, а с ним — эпидемии. Вслед за Толстым, Чеховым, Короленко Эртель принял живое участие в сборе средств для помощи голодавшим крестьянам. Придавая большое значение культурно-просветительной деятельности среди народа, Эртель выстроил в селе Макарьеве школу, в которой обучалось 120 детей. Эртель добился, чтобы его назначили попечителем школы. Вечерами в ней устраивались чтения для взрослых, проводились беседы.

Быстро ухудшавшееся состояние здоровья заставило Эртеля несколько раз выезжать за границу для лечения.

---

[1] Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями, т. 2. М., «Художественная литература», 1978. с. 184.

К этому времени все сильнее давала о себе знать материальная необеспеченность Эртеля и его семьи. «То, писал он в августе 1892 года В Г Черткову – чем я занимался восемь месяцев, обеспечение людей хлебом это занятие оказывается для меня роскошью и мотовством: я не мог все это время работать и прибавил к своим долгам столько, что не знаю, как и выпутаться»

В 1896 году он принял на себя управление несколькими крупными помещичьими имениями, находившимися в разных губерниях. Для писательского труда у него оставалось все меньше времени.

В одном из писем П. А. Бакунину, отвечая на его замечание о беспечно-«богемном» образе жизни некоторых литераторов, Эртель сделал такое признание: «Жить в качестве «богемы» хорошо, Павел Александрович, когда не угнетает постоянная забота о куске хлеба, об обеде на завтра, о плате за квартиру 1 числа, о том, что разорвались сапоги, а сшить их не предвидится ресурсов в ближайшем будущем. К сожалению, я никогда не был свободен от таких забот...»

В том же письме Эртель называет Помяловского, Решетникова, Левитова, Слепцова - «наших несчастных писателей-разночинцев» - «надлежащему расцвету талантов» которых мешали тяжкие условия их жизни. Трудно жили также Гл. Успенский, В. Г. Короленко. «Я знаю эту жизнь, - говорит Эртель, не из прекрасного далека, а воочию, выражаясь вульгарно, — на своей шкуре...»

Примечательно, что в этот перечень писательских имен Эртель не включил ни одного писателя народнического направления, хотя, как мы уже говорили, был с ними связан в пору своего вступления в литературу.

В августе 1898 года в письме к А. В. Погожевой Эртель так охарактеризовал свои отношения с народниками: «А народнические грезы — грезы и больше ничего. У меня их очень-то много никогда не было, а теперь я излечился и от тех немногих, которые были».

Еще в начале 90-х годов Эртель призывал «решительно расстаться с ⟨...⟩ тремя китами народничества: с *долгом, обязанностями и расплатою»*. По его мнению, «все это метафизика, нимало не убедительная. Да в ней нет и надобности, так же как нет надобности в каком-либо формальном обосновании народничества ⟨...⟩ Как доктрина, как партия, как учение – «народничество» решительно не выдерживает критики, но в смысле настроения оно и хорошая, и влиятельная сила».

В более поздних высказываниях о народничестве Эртель подобных оговорок уже не делал, находя, что оно, как общественное движение, полностью себя изжило.

Решительно отделяя себя от лагеря писателей-народников («Не выведите ⟨...⟩ что я «народник». Отнюдь нет», - писал он еще в 1891 году критику П Ф Николаеву), Эртель не чувствовал кровного родства и

с писателями-разночинцами («Во мне нет органической связи с разночинцем», подчеркивал он в том же письме).

«...Не чувствуя себя роднею разночинцу, заявлял Эртель,— сознаю сильное свое родство с народом». Забота о народе, о его будущем более всего занимала ум и сердце писателя до конца его дней. Из опыта общения с народниками 70-х и 80-х годов он вынес убеждение, что деятельность революционеров не находит поддержки у крестьян. Писатель отвергал и толстовское учение о личном нравственном самоусовершенствовании как единственном пути к всеобщему освобождению. «...Приходится искать еще третьего пути,— писал он В. Г. Черткову в апреле 1895 года, и пока я его еще не вижу, не нашел. Не могу также уйти и в искусство, что для некоторых тоже выход. Я его люблю лишь относительно, как средство, а не как цель».

Исключительной важности признание! Оно дает ключ для ответа на вопрос о том, почему Эртель в последнее десятилетие своей жизни перестал выступать в печати. Достаточно подробно он говорит об этом в письме к П. Ф. Николаеву, относящемся к началу марта 1897 года: «Писать потому, что *хочется*, потому что требует того непобедимый художественный инстинкт, а иногда столь же непобедимый литературный зуд, я никогда не мог. Помимо сей слепой силы, мне всегда была нужна сознательная уверенность, что то, что я пишу,— ново и интересно, по крайней мере, для меня самого. И вот такой-то *уверенности* у меня теперь решительно нет».

Чтобы она вновь появилась, продолжает Эртель, нужно, чтобы изменились к лучшему условия цензуры, условия его личной жизни и чтобы наступил «иной темп жизни общественной». И – грустный вывод: «Так как сих «трех» перемен не предвидится, то и... не знаю, буду ли я вообще писать когда-нибудь». И – концовка: «...а посему... будем молчать. И ждать<...>, потому что покуда живется, потуда и ждется. А живется, ох, как жутко!»

За пять с небольшим лет до этих признаний – в письме к В. Г. Черткову от 22 августа 1891 года – Эртель рассказал о том, что его более всего тяготило: «То, что видишь вокруг и что читаешь в газетах, до такой степени надрывает сердце, до такой степени возбуждает жалость к одним, гнев к другим, что просто беда. Руки отваливаются писать что-нибудь, кроме одного, голова отказывается думать о чем-нибудь, кроме одного... Это одно – бедствия народа, равнодушие и неумелость тех, кто руководит и правит народом».

К надрывавшим сердце писателя бедствиям народным прибавились свои личные невзгоды – тяжелая болезнь, долги, тяжбы с кредиторами. Эртель рвался, боролся, страдал и угасал.

17 февраля (ст. стиля) 1908 года Эртель скончался от паралича

сердца в Москве. Его похоронили на старом кладбище Новодевичьего монастыря, рядом с могилой А. П. Чехова.

...Почти в каждой из серьезных работ, посвященных Эртелю, написанных и до Октября, и в советское время, непременно говорится о душевной драме писателя. Смысл ее чаще всего видят в том же, в чем и смысл душевной драмы Глеба Успенского — в глубоком разочаровании народническим учением. При этом и Гл. Успенского и Эртеля нередко относят к числу правоверных народников[1].

Обычно не забывают сказать, что пережитое ими разочарование в идеалах народничества привело к тому, что Гл. Успенский последние годы жизни провел в лечебнице для душевнобольных, а Эртель, отойдя от литературы, отдал дань увлечению мистицизмом.

Однако смысл драмы, пережитой этими писателями, был глубже, шире, сложнее, чем разочарование в тех или иных идейных течениях 70-х и 80-х годов. Его надо искать в поистине трагическом положении тех представителей русской разночинной интеллигенции, кто, живя в эпоху безвременья, не находил применения своим силам, испытывал жестокое разочарование в различных учениях, теориях, философских школах, стремившихся тогда завоевать место под солнцем.

Преодолев увлечения идеями народничества, толстовства, религиозных искателей истины, Эртель сохранил верность общедемократическим позициям, но уже не смог найти для себя место и дело, когда начался третий этап русского революционно-освободительного движения. Это не вина его, а беда, принесшая ему немало душевных мук, ставшая главной причиной его драмы.

Знакомство с жизнью и творчеством Эртеля интересно и плодотворно во многих отношениях. Это не только путешествие в прошлый век, имеющее большое познавательное значение. Это и приобщение к образцам великолепного художественного мастерства — к многокрасочному слову «Записок Степняка», к ярким полотнам, запечатлевшим бурные годы пореформенной жизни России, и к пластично вылепленным характерам в романах «Гарденины» и «Смена», к чудесным картинам русской природы, придающим эртелевским произведениям лирический настрой, берущий читателя за душу в «Волхонской барышне» и других повестях, вошедших в эту книгу.

II

Уже давно замечена исследователями преемственная связь «Записок Степняка» А. И. Эртеля с «Записками охотника» И. С Тургенева.

---

[1] См.: История русской литературы XIX в. под редакцией Н. Овсянико-Куликовского, т. 5. М., 1911, с. 71.

Три с лишним десятилетия разделяют эти книги. В «Записках охотника» предстала перед глазами читателя крепостная Россия — в «Записках Степняка» — Россия пореформенная.

Открыто следуя композиционному построению тургеневской книги, сочетая очерк и рассказ, слово художественное и публицистическое, автор «Записок Степняка» воспроизвел картины дворянско-усадебной и крестьянской жизни в ту эпоху, когда, по словам В. И. Ленина, «деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску»[1].

В книге Эртеля показано, как в веками сложившиеся взаимоотношения барской усадьбы и оставшейся в полукрепостничестве деревни властно вторгается орава хищников — буржуазных дельцов, кулаков, купцов, кабатчиков. Под их напором рушатся стародавние устои мирской, общинной жизни, происходит расслоение в крестьянской среде, а с ним вместе и раскрестьянивание русской деревни.

В «Записках Степняка» писателем остро поставлен вопрос о взаимоотношениях народа и интеллигенции — дворянской и демократической.

Не скрывая тяжелых и темных сторон народной жизни в переходную эпоху, автор «Записок Степняка» предстает перед читателем как искренний народолюбец, защитник и печальник крестьянина-труженика.

Многие темы и проблемы, затронутые в этой книге, нашли развитие в последующих произведениях Эртеля, в частности в его романах «Гарденины» и «Смена».

«Мне хотелось,— рассказывает писатель о «Гардениных»,— изобразить в романе тот период общественного сознания, когда перерождаются понятия, видоизменяются верования, когда новые формы общественности могущественно двигают рост критического отношения к жизни, когда пускает ростки новое мировоззрение, почти противоположное первоначальному».

Обдумывая способы развертывания фабулы романа, Эртель решил, что ему «придется представить длинный ряд бытовых картин из крестьянской жизни, из жизни дворни, купечества и, отчасти, духовенства и дворянства. Все вместе связано так называемым «героем» из разночинцев и судьбою помещичьей семьи Гардениных»[2].

Своеобразие главного героя, каким он виделся автору будущего романа, определяло и жанровую природу произведения. «...Роман непременно должен быть *политический*,— записывает Эртель в дневнике 1881 года.— Он *должен* иметь значение. И для этого в нем должны изобра-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 207.

[2] Бродский Н. Л. Из литературных проектов А. И. Эртеля. По неизданным материалам.— «Русская мысль», 1911, № 9, с. 61.

жаться судьбы нашей интеллигенции. Главный герой — *Евдоким Николаич Рахманин*. И главная в нем задача»[1].

Уже в этой ранней характеристике замысла романа писатель подчеркивал, что его более всего занимала задача изображения новых явлений в социальной и идейной жизни русского общества на перевале его истории в пореформенную, предреволюционную эпоху.

«Весь замысел романа,— писал Эртель,— в том и состоит, чтобы показать подводное течение новых мыслей и новых понятий, воспрянувших и забродивших в нашей глуши после великой реформы (разумею освобождение крестьян), мыслей и понятий, хороших и дурных. Замысел романа — как эти новые, и хорошие и дурные, мысли возрастали и брали соки из старой, дореформенной, униженной и развращенной крепостнической почвы...»

К роману «Гарденины» вполне приложима та характеристика *переходного* времени русской жизни, которую дал один из главых героев романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина»: «...У нас все это переворотилось и только укладывается». В. И. Ленин увидел в этих словах необыкновенно «меткую характеристику периода 1861—1905 годов»[2].

Уточняя замысел «Гардениных», Эртель писал: «Мне хотелось изобразить в романе тот период общественного сознания, когда перерождаются понятия, видоизменяются верования, когда новые формы общественности могущественно двигают рост критического отношения к жизни, когда пускает ростки иное мировоззрение, почти противоположное первоначальному».

Нарушается привычный распорядок в доме генеральши Гардениной. «Ну, времечко наступило!» — сокрушается старый дворецкий Климон. И этот мотив, прозвучавший в самом начале романа, проходит через многие его сцены и картины, в которых запечатлен «процесс ухода старых времен», прослеживаемый романистом на «отношениях и судьбах людей». Рухнула деспотическая власть старого управляющего имением Гардениных Мартина Лукьяныча — убежденного крепостника. Пришедший ему на смену новый управляющий Переверзев заводит в барской «экономии» буржуазные порядки. Над похожим на крепость каменным домом кулака Максима Шашлова взвился кабацкий «флаг». Солдатка Василиса заводит в селе публичный дом.

История распадающейся семьи зажиточного крестьянина Веденея свидетельствует о быстрой гибели не только экономических, но и нравственных основ патриархальной деревни, на которую, говоря словами В. И. Ленина, «стал надвигаться новый, невидимый, непонятный враг

[1] Бродский Н. Л. Из литературных проектов А. И. Эртеля. По неизданным материалам.— «Русская мысль», 1911, № 9. с. 51—52.— Позднее, уже в пору создания романа, автор переименовал главного героя в Николая Рахманного.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 100.

идущий откуда-то из города или откуда-то из-за границы, разрушающий все «устои» деревенского быта, несущий с собою невиданное разорение, нищету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифилис — все бедствия «эпохи первоначального накопления», обостренные во сто крат перенесением на русскую почву самоновейших приемов грабежа, выработанных господином Купоном»[1].

Образ «господина Купона», символически обозначающий власть капитала, был введен в литературу другом Эртеля — Гл. Успенским[2], произведения которого хорошо знал и высоко ценил В. И. Ленин. Эртелю ни в романе «Гарденины», ни в других произведениях не удалось создать образ такого громадного обобщающего значения. Однако в его книгах вторжение капиталистических «порядков» в пореформенную Россию показано и широко и многосторонне. Как и Гл. Успенский, Эртель видел, сколько бедствий несет народу буржуазный строй, и бесстрашно обличал его пороки.

С «Гардениными» и тематически и проблемно связан второй большой роман Эртеля «Смена», опубликованный в 1891 году в журнале «Русская мысль». Его созданию предшествовал замысел повести «Ночи безумные», в которой писатель намеревался показать, «как родилась, как разрослась даже до неистовства, и увяла любовь. Тема старая, как мир...» По словам автора, он надеялся «обставить ее довольно интересно и придать ей некоторое общественное значение».

Перенеся в роман страницы начатой, но оставленной повести, Эртель смог значительно расширить и усложнить свой замысел.

Объясняя смысл заглавия романа, Эртель писал: «...Под «сменой» разумеется та культурно-общественная метаморфоза, силой которой сходят со сцены *интеллигентные* люди барских привычек, барского воспитания с их нервами, традициями, чувствами, и в значительной степени — идеями, уступая свое место иным, далеко не столь утонченным и даже грубоватым людям, но гораздо более приспособленным к борьбе».

Главным героем «Смены» выступает Андрей Мансуров, о котором писатель говорил, что он «отнюдь не какой-либо «положительный» тип». «Мне,— признавался Эртель,— ужасно хочется возможно ярче написать этот портрет — эту жалкую апофеозу вымирающего культурного слоя, этот итог многолетней нервической работы и привилегированного существования. Он будет занимать центральное место (...), а из его сближений, связей и столкновений с старыми и новыми людьми должен обнаружиться перед читателем процесс «смены»[3].

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 21.

[2] Успенский Г. И. Грехи тяжкие.— «Русская мысль», 1888, кн. 12, с. 174.

[3] Сб. «Памяти Виктора Александровича Гольцева». М., Изд. Н. Н. Клочкова, 1910, с. 232.

«Новые» люди, теснящие со сцены Мансуровых, это Прытковы и Колодкины – предприниматели, обладающие неуемной энергией и такой же наглостью, это волевой и жестокий финансист Лейзенсон и не лишенный интеллигентности сын купца Алферов.

Тематически эртелевский роман «Смена» предвосхитил пьесу А. П. Чехова «Вишневый сад»: и в том и в другом произведениях художественно запечатлены процессы ломки старой общественной формации в России и замены ее новой,— строя феодально-крепостнического – строем буржуазно-хищническим. Однако есть в этом запечатлении и различия. В «Вишневом саде» звучат ноты бодрости и оптимизма, связанные с верой молодых героев чеховской пьесы в светлое будущее их родины. В «Смене» таких нот почти нет, а когда они и возникают на страницах романа, то звучат весьма приглушенно.

Эртелю-романисту не удалось осуществить всех романных замыслов, среди которых особенно интересны два.

Весной 1891 года он писал П. Ф. Николаеву: «...Заветнейшая мечта моя — это написать роман *не в условиях русской цензуры* ⟨...⟩ Думаю, что можно и пора написать роман вот об этом «молодом движении» – начиная с 19 февраля и кончая казнью после 1-го марта»[1]

В том же письме Эртель сообщал, что «роман на такую тему пленяет и Л. Н. Толстого; то есть он его не напишет и даже не собирается писать, но когда говорит о теме — глаза его блестят огнем; он всегда глубоко интересуется рассказами о «молодом движении»...

Через восемь лет после этого письма появился роман Л. Н. Толстого «Воскресение», в котором значительное место заняли образы революционеров-народников и народовольцев.

Одним из последних творческих замыслов Эртеля, также неосуществленным, был замысел романа о русском промышленнике — человеке, вышедшем из народной среды, обладавшем талантом крупного организатора, временами жестоком, временами проявлявшем доброту и участие к людям[2]. Легко увидеть, что эту тему широко и на высочайшем художественном уровне позднее воплотил Горький в своих романах.

Гражданственная и художественная чуткость Эртеля помогали ему быстро улавливать новое и значительное, возникавшее в окружающем его мире. Но, по признанию писателя, «раздираемый на части разными «делами», он «не нашел досуга воплотить в «типах и фигурах» накопившиеся материалы своих наблюдений над русской жизнью»[3]

---

[1] Письма А. И. Эртеля, с. 249.– 19 февраля 1861 г. был объявлен манифест об освобождении крестьян от крепостного права. 1 марта 1881 г. по приговору «Народной воли» был убит император Александр II

[2] Журн. «Современный мир», 1908, № 5, с. 32.

[3] Бродский Н. Л. Из литературных проектов А. И. Эртеля, с. 64.

Не находя времени и достаточных сил для работы над большими эпическими произведениями, Эртель охотно обращался к форме «средней» между романом и рассказом - повести.

III

Созданию романов «Гарденины» и «Смена» предшествовала работа Эртеля над повестями «Волхонская барышня» (1883), «Минеральные воды» (1886), «Жадный мужик» (1886) и «Две пары» (1887) Из них особенно интересна и значительна «Волхонская барышня» - повесть, открывающая эту книгу.

Девятнадцатилетняя Варвара Алексеевна Волхонская – главная героиня повести - воспринимается сначала как наследница «тургеневских девушек» с их романтической мечтательностью, переменчивостью настроений, душевной смятенностью, неясными порывами, нравственной чистотой. Всего семь месяцев назад Варя окончила гимназию и вернулась домой, к отцу, в родовое имение Волхонку, где ей знаком и дорог каждый уголок.

На пороге самостоятельной жизни Варя старается отдать себе отчет в том, насколько она к ней подготовлена. Когда она пыталась проверить свои познания, полученные в гимназии, то сначала какие-то обрывки сведений по истории России и Западной Европы пришли ей на память. «Затем перед Варей пробежала ощипанная и кургузая физика - необыкновенно похожая на цыпленка; математика, строгая и сухая как треска; пышная и надоедливая география со своими метрами, футами, меридианами, тропиками, штатами, городами, градусами...»

«Боже мой, какая же я глупая! – воскликнула она и с отчаянием всплеснула руками. - Ничего-то я не знаю, ничему-то нас не учили!»

Однако Варя Волхонская - девушка незаурядная. Гимназия не могла погасить в ней стремление к добру и правде, желание не напрасно прожить свою жизнь. При всей неясности и неопределенности своих мечтаний Варя понимает, что идеалы и убеждения ее отца, Алексея Борисовича Волхонского не соответствуют духу времени, давно и безнадежно устарели.

В спорах с публицистом-почвенником Ильей Петровичем Тутолминым, приехавшим в Волхонку погостить у своего друга Захара Ивановича, Волхонский терпит одно поражение за другим.

Илья Петрович одерживает победы и в словесных баталиях с Захаром Ивановичем «чистокровным агрономом», управлявшим Волхонкой с применением новых способов хозяйствования. И не без оснований Тутолмин зовет своего друга «Буржуем Буржуевичем», от нововведений которого жизнь деревни «не просветлеет»

Мужики, говорит Тутолмин Захару Ивановичу, видят, что «не ихний ты слуга, а барский». А Захар Иванович так определяет главное в Тутолмине: «У него принцип: все для народа и все посредством народа... Он почвенник».

Варя увлекается Ильей Петровичем: «Ей казалось, что в ее жизнь, серую и однообразную, дерзкой и дразнящей полосою ворвался светлый луч». Многое она узнала, слушая Тутолмина, открывшего ей глаза на положение народа, которого он называл Прометеем, прикованным к стене. «...Всеобщее разорение; бесшабашная оргия кулаков, заполонивших деревни ⟨...⟩ тяжкое изнеможение общины... соблазны фабричного быта, разъедающие основы деревенского мировоззрения; голод, болезни, нищета ⟨...⟩ розги становых и плети урядников наряду с ужасным молотком судебного пристава,— в таком выражении предстали пред девушкой невзгоды, терзающие Прометея».

Захар Иванович сообщает Тутолмину о том, что в деревне свирепствует горячка: «Каждое лето в это время народ болеет». Варя и Тутолмин идут к заболевшим, стараются помочь им. Никогда не думала Варя о том, что вблизи от усадьбы люди — отпущенные на «волю» крестьяне — могут жить такой страшной, нищей, невыносимо тяжкой жизнью — болеющие, страдающие, обреченные на вымирание.

Потрясение от этой первой встречи с народной бедой не прошло для нее бесследно. И когда после ужаснувшего ее пожара в деревне Варя заболела горячкой — уже никто не мог ее спасти.

Пожар случился в день рождения Вари, когда в Волхонку приехало множество гостей — кичливых и недалеких местных дворян.

В этот день решалась судьба Волхонской барышни: должна была состояться помолвка с молодым, преуспевающим купцом Лукавиным.

В самый разгар праздника Варя и Лукавин вдруг увидели с балкона, что «озеро пламенело в каком-то кровавом освещении». Еще до того как до них донеслись звуки набата, озеро дало знать Варе о новой народной беде. «И, не помня себя от испуга и горя, она побежала к пожару».

А ведь еще недавно Варя видела, как озеро «в неясном и загадочном мерцании уходило вдаль, незаметно сливаясь с темнотой». Деревенские девушки с помощью зеркала гадали о своей судьбе. Для Волхонской барышни таким чудесным зеркалом служило ее озеро. Словно Нина Заречная — героиня чеховской «Чайки» — Варя живет у озера, отражающего то радостные, то печальные ответы ее судьбы.

Что ждало Волхонскую барышню впереди? Долгие скучные годы в Волхонке, наедине с быстро старевшим, капризным отцом. Или, как думал «почвенник» Тутолмин, поездка с ним в Петербург, учение на «высших» курсах.

Почувствовав, что она не испытывает к Тутолмину любви, Варя говорит ему, что ошиблась, сделав поспешное признание.

Декадентствующий Мишель Облепищев, в отроческие годы влюбленный в Вареньку, выступает теперь в роли свата, хорошо понимая, что самоуверенный Лукавин — «это не муж, а просто аппетитная ассигновка».

Какое-то время молодой купец казался Варе «народным богатырем», крепким и сильным. Но это, чисто внешнее, впечатление рассеялось бы очень быстро, и Лукавин выступил бы перед нею в своем истинном свете — молодого, но уже опытного хищника.

В народе Варю называли блаженной,— должно быть, считали юродивой и святой... Она и сама себя не вполне понимала: «порывы безотчетной тоски, безотчетного веселья» проходили в ее душе «прихотливой чередою»...

Волхонская барышня — один из наиболее запоминающихся женских образов, созданных Эртелем. Некоторые ее черты писатель «передал» Марье Павловне Летятиной — главной героине повести «Две пары».

Марья Павловна, как и Варенька Волхонская, человек благородных устремлений и порывов. «...И все-то ей хотелось сделать что-то необыкновенно хорошее, и все-то ей казалось, что она накануне этого «хорошего» и живет теперь так себе, *пока* — живет хорошо, счастливо, но не со всею полнотой».

У Марьи Павловны хватило решимости порвать с мужем, крупным столичным чиновником Летятиным, характером своим и убеждениями напоминающим Алексея Александровича Каренина из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». Став спутницей и женой степного помещика Сергея Петровича, умиляющегося ее попытками стать ближе к народу («О, милая моя народолюбка!»), Марья Павловна скоро убеждается в том, что между нею и настоящими деревенскими людьми лежит пропасть.

Смысл заглавия повести раскрывается в параллельном развитии отношений между Марьей Павловной и Сергеем Петровичем — с одной стороны, и крестьянской «пары» — плотника Федора и бойкой сельской девчушки Лизутки — с другой. Либеральные, гуманные господа пытаются помочь Федору добиться согласия его родителей на женитьбу на Лизутке. Из этого ничего не выходит: семья боится потерять Федора, ставшего ее главным добытчиком.

Рядом с властью семьи выступает власть земли. Отец Федора говорит о том, как тяжко мужику, да еще старому, переселяться с насиженного места в неведомые края.

У повести «Две пары» концовка не столь драматична, как у «Волхонской барышни», но тоже печальная. Сергей Петрович и Марья Павловна едут в Москву: он — развлечься, она — от тоски. «Что же мне де-

лать? Что же мне делать с собою?» думала она, глядя в ночь из окна вагона. «И жизнь представлялась ей точно степь, мимо которой мчался поезд: такая же обнаженная, глухая и мрачная»

Как и в других эртелевских произведениях о деревне, в повести «Две пары» есть удивительные по красоте пейзажи, помогающие писателю передать настроения его героев. Марья Павловна любила одинокие про гулки по осеннему полю и лесу, испытывая ту «тихую печаль», которую позднее И. А. Бунин назовет в своих рассказах «печалью полей».

«Березы походили на янтарь, — пишет Эртель, - липы оделись багро вым цветом; дуб был точно из старой, потускневшей бронзы... Но запах увядания, запах тлеющих листьев, подобный запаху вина, странная разреженность внутри леса – широкие просветы там, где прежде была густая тень, придавали красивому лесу характер тихого и меланхолического прощания с жизнью».

Таким предстает осенний лес перед глазами героини повести «Две пары», вызывая в ее душе «сладость грусти, для которой не было у ней объяснения». Не дает какого-либо определенного объяснения причин ее тоски и автор повести. Их много, и кроются они не только в осо бенностях характера Марьи Павловны, но и в обстоятельствах всей ее жизни.

К числу выдающихся произведений Эртеля принадлежит написанная им в середине 90-х годов повесть «Карьера Струкова». В ней немного действующих лиц и не столь уж много происходит с ними событий, но писателю удалось так построить сюжет произведения, что оно «вобрало» в себя большое число жгучих проблем, волновавших русское обра зованное общество накануне третьего (пролетарского) периода освобо дительного движения в России.

Уже в самом начале повести Эртель знакомит нас с ее главными героями – Наташей Перелыгиной – дочерью купца «с среднего По волжья» – и Алексеем Васильевичем Струковым дворянином с универ ситетским дипломом, «но еще без определенных занятий».

Встретившись в Лондоне, они за время своего заграничного путешествия становятся близкими друзьями, а затем мужем и женой. С первой же встречи выясняются значительные различия в их взглядах на европейскую жизнь, на взаимоотношения Западной Европы и России, на будущее и настоящее их родины, по которой оба они начинают сильно скучать.

С первых встреч выясняется не только разница в их возрасте (Струков на десять с лишним лет старше Наташи), но и в жизненном опыте: до поездки за границу Струкову пришлось отбывать пятилетнюю ссылку в Чердыни, Пермской губернии.

На формирование мировосприятия и характера Наташи большое влияние оказал ее отец — Петр Евсеич Перелыгин. «...Миленький родитель

наш,— говорит о нем Наташа,— прежде всего безграничный вольнодумец и вместе большой охотник до этих вот богословских вопросов» Ради забавы, ради «игры ума» он изучает распри католической и восточной церкви, входит в подробности борьбы между различными сектантскими учениями. «...Он все отвергает,— заключает Наташа характеристику отца,— законы, совесть, веру... и вместе с тем готов целые сутки доказывать правильность двухперстного сложения».

Есть в Перелыгине черты, заставляющие вспомнить знаменитого купца Булычова из пьесы М. Горького «Егор Булычов и другие». Наташа говорит об отце: «Церковь он любит не больше, чем Вольтер...» То же самое могла бы сказать про своего отца Шура Булычова. Такой же он был «богохульник», ни во что и никому, кроме дочери, не верящий, большого, пронзительного ума, еще недавно красивый и здоровый, а теперь неизлечимо больной, цепляющийся за жизнь человек...

Наташе отец оставляет не только большое наследство, но и передает ей умение трезво смотреть на вещи, самой принимать смелые решения, судить о людях не по словам, а по делам их.

Полюбив Струкова, Наташа скоро разглядела и достоинства и недостатки его натуры. Для нее были несомненными порядочность Алексея Васильевича, готовность послужить доброму делу, но и отвлеченность его суждений о жизни и весьма приблизительное представление о действительном развитии событий в пореформенной России. «Ты «головастик» у меня, смотришь на людей сквозь книжку»,— говорила Наташа Струкову после того, как он показал свою полную неспособность общаться с «простым народом»

Отец Наташи, Петр Евсеич, без обиняков заявляет о своем согласии с Герценом, сказавшим, что отмена крепостного права в России это только смена ярлыков. Струкову же кажется, что подобная оценка реформы «затемняет вопрос».

Прежде чем главный герой повести убедился в справедливости герценовской оценки реформы 1861 года и ее последствий — он попытался сделать карьеру: по протекции тестя занял кресло мирового судьи, затем баллотировался в гласные, потом хотел стать земским начальником...

Каждая ступень служебной карьеры Струкова это - ступень в его прозрении. «...Русская жизнь, как она есть, раскрывалась перед ним совсем в ином порядке, нежели прежде, в Лондоне, сквозь призму книг, теорий, студенческих воспоминаний и - главное - сквозь призму любви к Наташе. Чем он пристальнее всматривался теперь в эту жизнь,- в камере, в Межуеве, в уезде, во всей России,– тем страшнее ему становилось... Он начинал прозревать»

Что же раскрылось тогда Струкову? Он увидел, как «совершилось неслыханное падение умственных интересов, какое-то эпидемическое помра

чение совести, и с каждым днем в разговорах и в печати усиливалась постыдная игра словами и понятиями, которые так еще недавно, казалось, были святы». С ужасом он вслушивался в слова «о святости кровопролитий и ежовых рукавиц, об идиллии крепостного права, о провиденциальном различии белой и черной кости».

По его наблюдениям, в пореформенной России было «то самое, что, вероятно, было в смутное время на Руси, когда старый идеал порядка исчез, а новый еще не являлся на смену».

Как и многие другие люди его круга, Струков «привыкал не додумывать, скользить по поверхности, судить о вещах, как судит порядочная газета, то есть благонамеренно и честно, но ввиду «независящих обстоятельств» скучно и с обиняками». И на время ему удалось приобрести «сначала притворное, а потом и настоящее равновесие». Но только на время.

Между ним и женой росло чувство отчуждения. Вынужденная властями оставить занятия в открытой и оборудованной ею школе, Наташа надолго ушла в заботы о своих детях. Но пришла пора — и «страстное отношение к детям» уже не приносило ей прежней радости. Мрачные мысли все сильнее тяготили Наташину душу. Вся ее жизнь предстала перед ее внутренним взором как «цепь лжи», состоящая из множества «условностей и недомолвок».

С неотвратимой последовательностью развитие сюжета ведет к скорой развязке. «Карьера» Струкова, построенная на множестве компромиссов с совестью, с отказом от былых убеждений, от стремлений внести в жизнь людей что-то нужное и значительное,— не могла не привести его к краху.

Главный герой повести генетически связан с центральными персонажами романов Эртеля «Гарденины» (Николай Рахманный) и «Смена» (Андрей Мансуров). Как и они, Алексей Струков «воспитывался в ту эпоху, когда с юных лет заражались великодушными мечтами, презирали «эстетику», увлекались не романами и не расслабленной лирикой наших дней, а прямолинейной литературой шестидесятых годов и коренным переустройством обветшалого мира» («Карьера Струкова», гл. 2). Однако, ни Рахманный, ни Мансуров, ни Струков не принадлежат к тем «шестидесятникам», образы которых запечатлены в «Что делать?» Чернышевского, «Отцах и детях» Тургенева.

О первом из них — Николае Рахманном — справедливо говорят исследователи творчества Эртеля: «Это был «не герой», вернее — «герой безгеройного времени», в котором отразились черты интеллигенции, не связанной с революционным народничеством, «культурнической» и одновременно демократической по убеждениям»[1].

---

[1] История русского романа, в 2-х т., т. 2. М.—Л., 1964, с. 494.

Отличие Алексея Струкова от Рахманного и Мансурова заключается в том, что, будучи в еще большей, чем они, мере «негероем», он быстрее своих предшественников утратил приобретенные в молодости демократические убеждения. И поплатился за это более жестоко, нежели, например, Мансуров, погибший от случайной пули. Струков казнит себя сам. Давно им обдуманное «самоистребление» ничего и никому не приносит, кроме чувства досады у его случайных спутников: «Пароход «Колорадо» принужден был потерять несколько часов из-за поисков бесследно исчезнувшего пассажира». Бесцветная и, в сущности, бесполезная жизнь и бесславный, страшный конец...

Несколько особняком стоит в нашем сборнике повесть «Жадный мужик», написанная Эртелем в середине 80-х годов для издательства «Посредник», выпускавшего художественную литературу, адресованную читателям из народной среды. В повести изложена история падения молодого крестьянина Ермила, прошедшего «школу» наживы у купца, а затем убившего и ограбившего своего хозяина.

Надежно скрыв следы преступления, Ермил пустил в «дело» украденные деньги и далеко превзошел убитого им купца в «грабижке» народа.

«— Волка ноги кормят,— говорит.

И точно схож стал Ермил на волка. Волк носом падаль чует, а Ермил нужду людскую чует носом. Где ни объявится нужда, уж он там <...>. На весь околоток распустил паутину».

Родительские чувства Ермил выражает тоже по-волчьи: «...как родились дети, совсем остервенился. Ему дела нет, что и у людей есть дети. Он только о том и думает — у людей урвать, а своим детям барское житье изготовить».

Подошла пора, и «волчьи законы» собственнического мира и ему показали свои «зубы»: прогорел банк, куда он положил крупную сумму денег; родной сын Ванька его обокрал, как он когда-то обокрал купца. За одну ночь Ермил поседел.

Узнав о злоключениях Ермила, его пожалел старший брат Иван и взял к себе, в семью. Урок добросердечности не прошел даром: Ермил решил послужить «миру», поехал в город и сумел уговорить барина сдать мужикам землю «дешевле против купца». А когда Ермил покаялся в давнем преступлении и попал в острог, брат взял его на поруки. Ермил умер в деревне, радуясь тому, что народ, простив его злодеяния, будет по нем «тужить»...

«Жадный мужик» — по жанру — назидательная повесть. Но, как и в других эртелевских произведениях из народной жизни, есть в ней с такой точностью переданные приметы быта, особенности характеров, обычаев, крестьянского языка, что у читателей не возникает сомнений в достовер-

ности поведанного ему писателем и назидательность авторского замысла не бросается в глаза.

По композиции (короткая повесть членится на 23 главки), по лаконичности и выразительности авторской речи, по живости и яркости языка персонажей повесть Эртеля заставляет вспомнить о народных рассказах Л. Н. Толстого, написанных для издательства «Посредник», как и «Жадный мужик». К участию в работе «Посредника» Эртеля пригласил Толстой.

Повестью «Жадный мужик» Эртель откликнулся на призыв Толстого: «Попытайтесь написать рассказ, имея в виду читателей из народа. Только бы содержание было значительное, а вы, вероятно, напишете хорошо. А обращаться исключительно к народу очень поучительно и здорово»[1].

С такими же просьбами Толстой обращался к А. Н. Островскому, М. Е. Салтыкову-Щедрину, Гл. Успенскому, Н. С. Лескову, Вс. Гаршину и другим писателям-современникам. Все они откликнулись на его просьбу. Эртель был в их числе.

Толстой следил за его творчеством и весьма сожалел, узнав, что Эртель решил прекратить свои литературные занятия.

В январе 1908 года домашний врач Толстого Д. П. Маковицкий отметил в своем дневнике: «Лев Николаевич спросил об Эртеле; пишет ли еще.

— Его вещи очень хороши были, лучше, чем то, что теперь печатается. Он освободился от этого литературного тщеславия,— сказал Л. Н.»[2].

Незадолго до того как расстаться с писательской деятельностью, Эртель очень высоко оценивал свое значение в литературе и, видимо, еще не помышлял о разрыве с нею. Весной 1893 года он писал М. В. Эртель: «В сущности наличные силы нашей художественной литературы — не считая стариков — выражаются только тремя именами: Чехова, Короленко и моим. Ты знаешь, что самообольщение мне мало свойственно и я, например, отлично знаю, что по силе непосредственного таланта я уступаю не только Чехову, но и Короленко. Однако эта сила таланта, оказывается, может быть увеличена силою общественного и философского сознания, и в этом-то я никак не уступаю Короленко, и весьма вероятно, что имею преимущество над Чеховым...»[3].

Но именно силы общественного и философского сознания не хватило Эртелю для того, чтобы не растеряться в сложную эпоху идейных исканий, когда в России совершался переход от второго этапа революцион-

---

[1] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 63. М., 1934, с. 284—285.

[2] Литературное наследство, т. 90. У Толстого. 1901—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, кн. 3. М., 1979, с. 21.

[3] Записки отдела рукописей (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина). М., 1941, с. 91.

но-освободительного движения к третьему, и на историческую арену вышел русский рабочий класс.

Эртелю не дано было увидеть, что идеологией рабочего класса, выразителем его устремлений становится марксизм, хотя именно в его повестях и романах едва ли не впервые в русской художественной литературе появляется имя Маркса и воспроизводятся острые споры о его учении между сторонниками и противниками народничества.

Эртель считал себя — и имел на то основания — мастером создания больших полотен о целых эпохах русской жизни, «когда перерождаются понятия, видоизменяются верования, когда новые формы общественности могущественно двигают рост критического отношения к жизни, когда пускает ростки иное мировоззрение, почти противоположное первоначальному».

Это признание писателя относится к его роману «Гарденины». Но его в равной степени можно отнести и к роману Эртеля «Смена» и к связанным с ними его повестям.

Мы говорили уже, что на переломе XIX и XX веков писателя увлекал замысел большого полотна о «молодом движении». Но осуществление этого замысла оказалось ему не по силам. «Время наше,— писал он,— представляется мне мучительно трудным и загадочным: те или иные решения задач малоудовлетворительными».

И вот тогда-то Эртель делает признание, в котором звучит иная мера оценки своих писательских возможностей, нежели та, что приведена нами выше. «...Беллетристическим талантам *нашего объема*,— писал он в январе 1899 года В. С. Миролюбову,— нечего пока делать в литературе. Теперь только Толстым и Чеховым дорога, ибо они настолько крупны, что им даже безвременье не страшно»[1].

Написано это в том году, когда увидел свет великий роман Толстого «Воскресение», а Чехов напечатал рассказ «Душечка». По поводу этого произведения Толстой сказал, что его героиня «останется так же в нашей литературе, как гоголевские типы, ставшие нарицательными». И еще: «Он (Толстой.— *К. Л.*) все говорит, что это перл, что Чехов — это большой-большой писатель»[2].

Об Эртеле Толстой так не говорил, но сказал, что «он был даровитый писатель»[3]. А в предисловии к его роману «Гарденины» к этим словам добавил: «...Для того, кто любит народ, чтение Эртеля большое удоволь-

---

[1] Русская литература конца XIX — начала XX в. Девяностые годы. М., 1968, с. 415.

[2] Там же, с. 412.

[3] Литературное наследство, т. 90. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, кн. 3, с. 38.

ствие»[1]. В устах Толстого это была очень высокая похвала, и она, что называется, дорогого стоит.

Остро и трезво ставя в своих произведениях вопросы народной жизни, Эртель, как уже было сказано, при их решении нередко ориентировался на Толстого. И не только в начале 80-х годов, когда испытывал заметное влияние его учения, но и десятилетие спустя. «По странной иронии судьбы,— писал он о Толстом в 1891 году,— именно этот последний барин приуготовил огромный арсенал для мужицкой интеллигенции ⟨...⟩. У Толстого до чрезвычайности много того, что очень нужно народу и что с каждым годом будет все нужнее и нужнее».

В эту пору Эртель, можно сказать, «по-толстовски» осуждает не только дворянство, но и разночинскую интеллигенцию, противопоставляя им интеллигенцию «мужицкую». «И по совести скажу,— делает он признание в том же письме,— мужицкая интеллигенция, та, что всего более хлопочет о душе да о правде (а кстати, и насчет земельки) — и роется в творениях святых отцов, в св. писании, ищет новой веры, складывает по-новому и нравственные и экономические отношения,— эта интеллигенция для меня более всего залог прогресса, нежели пресловутый разночинец. Хотя, конечно, разночинец скорее найдет точки соприкосновения с нею, чем барин».

В цитируемом письме Эртеля прозвучали не только «толстовские», но и «лесковские» мотивы. Вспомним образы «праведников» в поздних произведениях Н. С. Лескова, составивших так называемый «праведнический» цикл, куда входят рассказы «Однодум», «Несмертельный Голован» и другие. Герои этих произведений несут в себе неистощимую нравственную силу. В их «непосредственных душевных влечениях ⟨...⟩ зачастую проступают и обнаруживают свое сродство постулаты народной морали, евангельская заповедь и сентенция древнего мудреца»[2]

Близки к ним у Эртеля столяр-«праведник» Иван Федотыч из романа «Гарденины», молодой пастух Егор из рассказа «Полоумный» входящего в «Записки Степняка».

Однако рядом с ними Эртель нарисовал впечатляющие фигуры других людей, из среды тех самых «пресловутых разночинцев», о которых он так пренебрежительно отозвался в цитированном выше письме. В рассказе «Липяги» («Записки Степняка») выступает студент-медик Федор Лебедкин, открыто клеймящий и проклинающий «ненавистную ему аристократию». В романе «Гарденины» смело противостоит старым порядкам и их защитникам разночинец-революционер Ефрем Капитоныч — студент Петербургской медико-хирургической академии, сын конюшего.

В том же произведении развернута ситуация, в которой соотносятся

---

[1] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 37. М., 1956, с. 244.

[2] Столярова И. В. Н. С. Лесков.— История русской литературы в 4-х т., т. 3. Л., 1982, с. 791.

позиции принадлежащего к «мужицкой интеллигенции» героя романа Николая Рахманного и Ефрема, проводящего в Гарденине всего несколько месяцев. Ефрем завидует близости Рахманного к крестьянам и к барским слугам. И в то же время Ефрем его осуждает за склонность к компромиссам, к постепенновским способам борьбы за свободу.

Одобрив замысел Николая Рахманного добыть средства на постройку школы для крестьянских детей, Ефрем говорит ему: «Но все-таки вашего-то личного-то вопроса школа ведь не решает... Вы об учительнице рассказываете, об этой Турчаниновой... Вот решение личного вопроса!.. Она уж будет стоять на одной стороне, на крестьянской. Она уж ихняя. Ей компромиссы не понадобятся. А вы к чему готовитесь?»

Сын управляющего имением Николай Рахманный не смог выйти из подчинения властному отцу, крепостнику по убеждениям, ограничив себя участием в земской деятельности, проводившейся на «законных основаниях».

«Вы разве не думали об экономических условиях? — спрашивает его Ефрем.— Разве не лучше бороться с общими причинами разорения?..»

Николай Рахманный уходит от ответа на прямо поставленный вопрос. Но из этого вовсе не следует, что то же самое делает и автор романа «Гардении». Не будучи, как уже было сказано, сторонником революционного пути преобразования общества, Эртель верил, что «в общественной жизни осуществится мысль о политической свободе, о национализации земли, о низвержении деспотизма»[1].

Убеждение в неотвратимости глубоких перемен в социальном строе России звучит в этих словах из незавершенной автобиографии Эртеля, которую он составлял по просьбе В. Г. Черткова в конце 80-х годов.

В одном из писем В. Г. Черткову середины 90-х годов, скептически оценивая «преувеличенные надежды» либеральной интеллигенции на «благую роль государственности», несмотря на то что последняя принимала некогда форму «дикой, разбойничьей Римской империи времен Нерона», Эртель высказал свое убеждение в том, что «история, напротив, делая все более невозможной империю Нерона, все более манит и соблазняет людей перспективой рабочего, свободного, справедливого государства»[2].

Сторонник мирных путей перехода страны к новому жизнеустройству, писатель стремился быть правдивым, воссоздавая образы участников революционно-освободительного движения. Человек решительный, волевой, целеустремленный, которому присуща «беззаветная деятельность в

[1] Письма А. И. Эртеля, с. 30.
[2] Там же, с. 339.

искании правды», руководствуется, как символом веры, одной идеей: «Надо бороться!» Таков в романе «Гарденины» Ефрем, ведущий трудную, полную опасностей жизнь профессионального революционера.

В народных сценах, украшающих романы и повести Эртеля, мастерски воспроизводится художником красочное многоголосие крестьянской толпы. По-разному откликается она на речи и поступки своих главарей, в ролях которых нередко выступают такие смутьяны, как мужик-острослов Влас Карявый из повести «Волхонская барышня» или неунывающий бунтарь Листарка из романа «Смена». Ни аресты, ни ссылки не сломили Листарку, уверенно заявляющего при очередном его «изъятии» из деревни: «Наша возьмет».

В пору работы над романом «Гарденины» Эртель жаловался на стеснительные цензурные придирки, предвидя которые он не мог сколько-нибудь определенно и подробно рассказать о революционной деятельности Ефрема и его товарищей в России и в эмиграции.

А рассказать ему было о чем. Особенно после встреч с русскими политическими эмигрантами во время его зарубежных поездок, первая из которых состоялась в 1894 году. В ту пору Эртель еще не знал, что за каждой его встречей с эмигрантами следили агенты русской политической полиции. В октябре 1894 года, сообщая А. С. Суворину новости, А. П. Чехов, как бы между прочим, упомянул в своей обычной манере: «Еще про Эртеля: когда он возвращался из-за границы, то жандармы обыскали его чемоданы и карманы»[1].

Помня о том, что Эртель в свое время был узником Петропавловской крепости и отбывал пятилетнюю ссылку в Твери, находясь там под гласным полицейским надзором, жандармы и много позднее, что называется, не спускали с него глаз.

Когда Эртель только что вернулся из-за границы, к нему приехал Д. Н. Мамин-Сибиряк. Как сообщает исследователь, они «еще вели беседы в Емпелевке, на эртелевском хуторе, а в соседней Усмани 15 июля 1894 года полиция тащила пачки «Русской мысли», где были опубликованы романы А. И. Эртеля «Гарденины» и «Смена», его повесть «Две пары». С этого времени усманцы не должны были читать также роман Д. Н. Мамина-Сибиряка «Три конца» и другие его очерки, рассказы и повести, напечатанные в том же журнале»[2].

Полицейско-цензурные преследования особенно тяготили Эртеля в последние годы его творческой жизни. Но и не только они. Как сообщает его дочь, Наталья Александровна, Эртель взял место управляющего

---

[1] Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 5. М., 1977, с. 327.

[2] Дергачев И. Усмань. 1894. Новые материалы об А. И. Эртеле.— Журн. «Подъем», 1967, № 2, с. 133.

имениями (Хлудовых, Е. И. Чертковой, Пашковых) «по необходимости, так как литературного заработка не хватало на содержание семьи и расплату с долгами, в которые его вовлекла помощь голодающим в 1891—1892 годах. Сначала он думал, что сможет совместить свою новую должность с писательством, но скоро убедился, что это невозможно. Литературная работа, как он ее понимал, требовала всех сил души, а он все больше и больше тратил этих сил на сельскохозяйственную деятельность ⟨...⟩. И вот эта внутренная неизбежность отказаться от художественного творчества была глубокой трагедией последних лет его жизни»[1].

Это свидетельство близкого Эртелю человека вносит полную ясность в «загадочный» вопрос о причинах его «ухода» из литературы, ставя крест на выдумках «веховских» и иных «истолкователей» взглядов и творчества писателя.

Наш разговор о жизненном и творческом пути А. И. Эртеля хочется закончить еще одним свидетельством его современника. Оно датируется 1929 годом и принадлежит перу И. А. Бунина. В вышедшей в 1950 году в Париже книге его «Воспоминаний» есть такая страница об Эртеле: «Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен,— начинает Бунин свои воспоминания.— Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников — Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь, в общем, он был не меньше их, за исключением, конечно, Чехова, а в некоторых отношениях даже больше.

Двадцать лет тому назад, в Москве, в чудесный морозный день, я сидел в его кабинете, в залитой солнцем квартире на Воздвиженке и, как всегда при встречах с ним, думал:

«Какая умница. какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистого англичанина и воронежского прасола! Как все мило в нем и вокруг него: и его сухощавая, высокая фигура в прекрасном английском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежное белье, и крупные с рыжеватыми волосами руки, и висячие русые усы, и голубые меланхолические глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папироса, и весь этот кабинет, сверкающий солнцем, чистотой, комфортом! Как поверить, что этот самый человек в юности двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе, плохо знал, как обращаться с салфеткой, писал с нелепейшими орфографическими ошибками?»[2]

Создавая этот яркий портрет Эртеля два десятилетия спустя после

---

[1] Олег Ласунский. Переписка с дочерью А. И. Эртеля.— В кн Ласунский О. Литературные раскопки. Рассказы литературоведа. Воронеж, 1972, с. 173—174.

[2] Бабореко А Бунин и Эртель.—«Русская литература», 1961, № 4, с. 151.

встречи с ним, Бунин все же «упустил» сказать, как тяжко было тогда автору «Гардениных», жизненный путь которого подходил к концу.

Самое дорогое для нас в воспоминаниях Бунина о его общении с Эртелем заключено в выводе о том, что «кипучая внутренняя и внешняя деятельность» Эртеля определялась «свободой и ясностью ума и широтой сердца»[1]. Такое же впечатление о человеке и писателе Эртеле возникает и у современных нам читателей его произведений. Таковы сила и власть подлинного таланта, оставляющего заметные следы в «памяти сердца» тех, кто знакомится с его творчеством.

К. Н. ЛОМУНОВ

---

[1] Бабореко А. Бунин и Эртель.— «Русская литература», 1961, № 4, с. 151.

Волхонская барышня

Повесть

> Кто виноват — у судьбы не допросишься,
> Да и не все ли равно?..
>
> *Н. Некрасов*

I

...— Говори ты, пожалуйста, повнятнее... повразумительней говори!

— Да я ведь и то... Ты слухай:

Уж я рада бы коня переняла,—

это она, то нсь, ему говорит —

Повиликой у коня ноги спутанные...

— Что за повилика такая?

— Это вроде как трава такая есть: повитéль.

— Ну, ну...

— «Повиликой у коня ноги спутанные»,

Студеной росой возмоченные...
Возмочили горючи слезы,
Обуяла, что печаль-тоска,
Со всего ли света вольного...

— Что, что? Прошу я тебя, повнятнее.

— «Возмочили горючи слезы»...

— Да что за бессмыслица такая! Ведь речь о коне идет?

— Так.

— У коня и ноги спутаны, и росой возмочены... Дальше: при чем тут «горючи слезы»? При чем?

— Из песни слова не выкинешь.

— Нет, ты мне скажи, при чем тут тоска-то эта у вас, а? Ах, ироды, ироды — присочинили!

Такой разговор происходил в поле, близ деревни Волхонки, Воронежской губернии. Вопросы задавал человек в оленьей дохе, забрызганный грязью, желтый, худой, на вид лет тридцати пяти, с русой бородкой и тихим взглядом голубых несколько мутноватых глаз. Он сидел в обыкновенной ямской тележке и записывал что-то в большую памятную книжку. развернутую на коленях. Ответы давал малый средних лет, бойкий, с лицом полным и ясным и с постоянной усмешкой плутоватого свойства. Он небрежно правил парой серых коней, изредка постегивая их кнутиком.

Был апрель в начале, и дорога, по которой ехали путники, была убийственна. Оттого-то они и ехали шагом. В глубоких колеях то и дело плескалась вода, и рыхлая грязь смачно шлепалась под копытами лошадей. Иногда в колеях попадались рытвины. Тогда тележка быстро наклонялась в одну сторону и с тяжелым треском вскакивала, подкидывая путешественников; и ямщик произносил крепкое словцо, а барин неприязненно щурил физиономию. С широких полей несло свежестью. По лощинам там и сям белелся снег, окаймленный темноватой полоской льда. Но небо было ясно, и жаворонки радостно трепетали в теплой синеве.

— Ну, ладно,— сказал барин,— записал! Четвертак за мной. Теперь скажи ты мне, какие у вас модные есть, новейшие, собственного изделия? — спросил он, насмешливо искривляя губы, и перевернул страничку в записной книжке.

— Да какие есть...— в недоумении ответил ямщик и слегка стегнул пристяжную, выразившую желание укусить смиренного коренника.— Есть разные песни...— он усмехнулся.— Пиши эту:

За рекою кобель бреша,
А мой милка кудри чеша
За рекою кобель вóя,
А мой милка кудри мóя..
Проводила б за реку
Не пришел б он до веку
Давай, милка, пострадаем.

— Фу-ты, гадость какая! – произнес барин, брезгливо выпячивая нижнюю губу, однако же стал записывать песню.

А то вот, еще насчет ополченцев есть песня, - ска

зал ямщик, приходя все в более и более веселое настроение.

Барин снова перевернул страничку и приготовился записывать.

— Ну, ополченцы...— вымолвил он в ожидании

Ямщик откашлянулся и начал:

Ох, мамаша, ополченцы!
Ох, мамаша, запри сенцы!
Они — ребята молодые,
На них кольцы золотые...
Через эти полсапожки
Перебили все окошки...

— Стой, стой! С какого дьявола взялись тут полсапожки...

- А уж это из песни, барин...

— Ну, ладно, ладно,— сердито закричал барин и сквозь зубы произнес: — Сочинители!

Ямщик ухмыльнулся и продолжал:

Перебили все окошки...
Ох, угнали на минуту —
Остаюся без приюту.
Продам юбку и корсетку,
Куплю милому жилетку.
Продам юбку с полосами.
Куплю дудку с голосами...
Ох, в избе мне не сидится –
Пущай милка веселится... –

а уж это, к примеру, *он* ей говорит:

Продам сяртук, продам брюки,
Куплю милке платок в руки...

а *она* ему, шельма, в ответ:

Продам ленту из косы,
Куплю милке я часы..

а *он ей* замест того:

Ох, колечко рупь пятнадцать,
Моей милке лет семнадцать.

Вдруг пристяжная споткнулась и залепила седоков грязью. Ямщику попало в нос барину в губы, а на записной книжке оказалось толстое и жирное пятно Барин нетерпеливо стер это пятно рукавом шубы и перевернул свежую страницу Но ямщик рассердился. Он натянул вожжи и,

вскрикнув: «Ах вы, окаянные!» — принялся нажаривать лошадей кнутом. Тележка заскрипела, колеса запыряли по рытвинам, мелкие брызги грязной воды и тяжелые комья густой грязи запрыгали и затолклись вокруг тележки, и барин спрятал книжку. Но, немного посидев, он как будто вспомнил что-то: прикоснувшись длинными и худыми своими пальцами к широкой спине ямщика, он закричал: «Так межничков, говоришь, не бывает у вас?» Но ямщик только головой тряхнул на это, как будто отмахнулся от назойливого комара, и влепил коренному хороший удар пониже седёлки. Тогда барин ухватился руками за края тележки и, удерживая равновесие, стал смотреть по сторонам.

Однообразная даль, резкой и скучной чертою замыкавшая пустынную равнину, раздвинулась и закурилась синим туманом. Местность избороздилась холмистыми очертаниями. Там и сям закраснели кусты. За кустами засквозила речка холодным голубым блеском. Впереди ясно и жарко загорелся крест, до половины заслоненный возвышенностью.

— Волхонка! — произнес ямщик и решительно опустил вожжи. Лошади пошли шагом.

— Волхонка? — с любопытством спросил барин. — Где Волхонка?

— А вон видишь, церковь-то? Там и есть Волхонка! Вот на горку въедем, как на ладони будет. — И, внезапно оборотившись, спросил: — Да ты разве впервой к нам?

— В первый.

— Тэ-эк-с. Вы к кому же, например, к барину, али как?

— К управляющему в гости еду.

— Это к Захар Иванычу! — с оживлением произнес ямщик и, вдруг переполнив тон свой явным недоумением, добавил: Чудён он!

— Чем же чудён?

Но ямщик только покачал головою и усмехнулся.

— А как тебя звать? — спросил барин. — Ты ходи ко мне. Я тебе буду рад. Я все лето здесь проживу. И песни ежели есть какие - я по гривеннику за песню буду давать.

— Что ж, это мы можем, — сказал ямщик, — мы вашей милости послужим. Мокеем меня зовут.

— Мокеем? Ну ладно. А меня Ильей Петровым кличут. Ты ходи ко мне, Мокей. И ежели передел у вас по весне будет — ты мне скажи: я ваши порядки охоч посмо-

треть.— Илья Петрович сделал ударение на слове «охоч».

— Так чем же чудён-то Захар Иваныч? Грабит, что ль, он вас? — спросил он после некоторого молчания.

— Зачем грабить! Насчет грабежа у нас не полагается. А вот насчет машин больно уж он чудён. Машины всякие заводит. Вот ноне по осени каких одров приволок: вроде как черти какие!.. Сами, на своих колесах припёрли...

— Какие же такие?

— А шут их... Самовар не самовар, орет — как леший... Пашут, говорят. Только выстроил он им сарайчик, Захар-то Иваныч, они и стоят в сарайчике. Здоровенные одры!

Илья Петрович насмешливо улыбнулся и произнес сквозь зубы:

— Эх, буржуй, буржуй!

Ямщик помолчал, помолчал и вдруг прыснул.

— А то вот сеялки еще завел,— сказал он,— ты сидишь на ней, а под тобой сыпется... Чудеса!

— Что ж, это ведь не плохо.

— С чего плохо!.. Разве мы говорим... Деньги-то не наши, барские.

— Кто же у него работает на этих машинах?

— Находятся такие,— с пренебрежением вымолвил ямщик,— промотается ежели какой, добьется — жрать ему нечего, ну и прет к Захар Иванычу. Хороший не пойдет.

— Отчего же не пойдет хороший,— разве кормят плохо?

— Куда тебе плохо. Кажинный день убоину лопают, идолы! Да еще что: я как-то в пятницу зашел в застольную, а они молочище трескают! Ах, пусто бы вам!.. Ну, и хватеры у них — ничего себе, чистые хватеры: иная вроде как горница, например.

По мере Мокеева рассказа лицо Ильи Петровича все более и более просветлялось и насмешливая улыбка уступала место совершеннейшей радости.

— Так не идут к нему домохозяйные мужики! — воскликнул он с видом торжества.

— Кому охота в батраки запрягаться,— сказал ямщик.— Помесячно мы еще наймаемся: деньги занадобятся, и наймешься иной раз, а чтоб в батраки — нет, не наймаемся. Положенья у нас такого нет, чтоб в батраки удаляться.

— Так, так,— одобрительно произнес Илья Петрович,— молодцы! Так и храните свои старые порядки... Крестьянский ваш строй не в пример лучше батрацкого... Только вот песни у вас подлые,— добавил он с грустью.

Мокей подумал, хотел что-то ответить, но почесал концом кнутовища спину и ничего не ответил. А между тем тележка втащилась на возвышенность. «Эге!» — сказал Илья Петрович и больше ничего не сказал, а заслонился ладонью от солнца и не отрываясь стал смотреть вдаль.

Волхонка действительно была видна отсюда как на ладони. Каменные флигеля надворных построек, высокая английская мельница, длинные конюшни и сараи — все это привольно раскинулось в долине и весело блистало красными и зелеными своими кровлями. Около усадьбы синело озеро и толпился громадный сад, переполненный хлопотливым грачиным шумом. В саду возвышался барский дом, неуклюжий как черепаха.

Ниже,— озеро замыкалось длиннейшей плотиной и двухъярусная мельница сквозила через голые ветлы, наполняя окрестность внушительным грохотом. За мельницей раскинулось село, с улицей черной как траурная лента и, вероятно, очень вязкой, потому что лошаденка с бочкой стояла среди нее в безнадежной неподвижности. В конце села белелась большая одноглавая церковь, протянувшая сквозную ограду свою к самому озеру. А за озером вставали холмы однообразными очертаниями, тянулись бурые поля, изнизанные лужами, сверкающими на солнце, краснели таловые кусты, круглые как шапки и насквозь пронизанные какою-то крепкой свежестью, а там, за кустами, синела и уходила без конца загадочная даль.

И чем больше смотрел на окрестность Илья Петрович, тем жутче и тревожней замирало его сердце. Все его существо напряглось широкими ожиданиями. Какое-то восторженное чувство непрерывными и дружными волнами подмывало его, перехватывало ему дыхание... Синяя даль дразнила загадочным своим трепетаньем. Песни жаворонков, тонким серебром стоявшие в высоте, и веселый птичий гам в долине, казалось, в нем самом будили какие-то звуки, добрые и крепкие, и наполняли всю его душу трезвой и ненасытной жаждой жизни.

- Пошел, Мокей! — закричал он, вздыхая полной грудью

Мокей поправил свою шапчонку, плюнул в руки, дернул вожжами, крикнул, и пара понеслась во все ноги к деревянному флигельку, приютившемуся около барского дома.

II

- Тут и есть Захар Иваныч,— вымолвил ямщик, останавливая лошадей около крыльца. Илья Петрович вылез из тележки и, путаясь в своей дохе, поднялся на ступеньки. Дородная баба в ситцевом сарафане столкнулась с ним в дверях.

— Вам кого? — спросила она.

- Захара Иваныча.

— В поле он. Вы по какой части — купец, ай как?

- Ни по какой,— усмехаясь, ответил Илья Петрович.— я член географического общества.

Баба в недоумевающем испуге поглядела на него.

- Бери поклажу-то, шалава! — закричал Мокей.— Видишь, к хозяину гость приехал. Ошалела, шалава!

Баба рванулась и побежала к тележке. А навстречу Илье Петровичу выскочил еще заспанный мальчик в нанковой поддевке и, уж без всяких расспросов, распахнул перед ним двери в комнаты. Сконфуженная баба суетливо выбирала из тележки вещи. Мокей подшучивал над ней: «Эх ты, макрида! К хозяину гость приехал, а она — «по какой части»! Погоди, он тебе еще покажет часть-то эту...» — «Видали!» — возражала баба. «Увидишь!» — подсмеивался ямщик и тут же спросил в скобках: «Солдатка, что ль?» — на что, однако, не получил ответа. Наконец баба захватила в одну руку подушку с узлом, а в другую небольшой парусинный саквояжик и спросила:

— Откуда ты его приволок?

— С полустанка,— ответил Мокей и добавил: — Говорит, все лето проживу.

Баба покачала головой и в задумчивости понесла поклажу.

Немного спустя мальчик вынес Мокею деньги и остановился около него в ожидании. «Все, что ль?» — спросил он, ковыряя в носу. Мокей помусолил зелененькую бумажку, пересчитал два раза серебряную мелочь, подумал и, вдруг рассмеявшись, вынул из пазухи кошель. «Полтинник за песни прожертвовал!..» — сказал он, старательно упрятывая деньги; а так как тут снова вышла баба в сарафане, то он снова не преминул подшутить над ней: «Погоди, узнаешь, по какой части!» — произнес он, ухмыляясь во всю бороду, и, пересев в задок тележки, направился в деревню А баба долго стояла и смотрела ему вслед и думала о его ядовитых

намеках. И вдруг с удовольствием улыбнулась и стала думать о госте. «Эка у него руки-то какие: белые-пребелые!» — вспомнила она и опять улыбнулась.

Илья Петрович умылся с помощью заспанного мальчика и, облачившись в куцее пальто, вышел на крыльцо. С крыльца вся усадьба была видна до мелочей. Было видно, как около конюшни гоняли на корде вороного жеребца и кучер мыл шарабан, ослепительно сверкавший на солнце лакированным своим щитом; как к одному из флигелей с тяжелым скрипением тащилась бочка; как к заднему крыльцу барского дома пробежал белоснежный повар, сжимая под мышкой медный противень... А в саду невыносимо кричали грачи и слышался непрерывный треск ломавшихся ветвей. Вдали гремела мельница.

И задумался Илья Петрович. Он вспомнил такую же весну и такой же гам грачиный и безоблачное небо, ласково распростертое над убогим уездным городком, затерянным в лесной глуши... И вдруг какая-то тоскливая полоса пробежала по нем смутным и неприятным веянием. Сердце как будто защипало. Так в ясный день неожиданная тучка внезапно заслоняет солнце и бросает сумрачную тень на золотое поле. Илья Петрович встал и тихо провел рукою по лицу. «Пойду-ка я в сад!» — для чего-то громко подумал он и спешно зашагал по направлению к саду.

Волхонский сад затеян был на широкую руку. Куртины яблонь часто перемежались в нем аллеями и рощами. По одной такой аллее Илья Петрович пошел к реке. Следы его ног четко обозначались на влажной земле. Отовсюду доносился к нему раздражающий запах прелых листьев, земли и какой-то крепкой и холодной свежести. Дыхание его стеснялось этой свежестью и сердце билось в радостном и торопливом беспокойстве... А деревья стояли вокруг него и молчали в стыдливой истоме. Все в них как будто напряглось кротким и терпеливым ожиданием; и все говорило об этом ожидании: красноватые ветви березы, липа, свежая и влажная, нежные почки гибкой вербы... Разве что редкие дубы да сосны с их угрюмой зеленью пребывали равнодушны и с высокомерной величавостью взирали на мелкий люд, изнывавший в ожидании жизни.

Но река убегала от Ильи Петровича, и аллея коварными зигзагами уходила в сторону. Тогда он оглянулся. Голубой блеск воды там и сям сквозил чрез ольховую рощу. Он перешел поляну, усеянную молодыми яблонями, и попирая

поблекшую траву, с легким шорохом приникавшую под его ногами, вступил в рощу. Птичий гам оглушил его. Он остановился среди купы громадных деревьев, унизанных грачиными гнездами, и прислушался. Непрестанный треск ветвей, тяжелый трепет крыльев, звонкое карканье на все тоны, начиная от пронзительного дисканта и кончая басом, хрипящим точно с перепоя,— вся эта бестолковая и поспешная суетня как-то назойливо и весело раздражала его нервы. Он чувствовал, что в нем закипают какие-то порывы и неудержимо встает потребность движения. И он пошел по роще, весь охваченный этими порывами и счастливый, как ребенок. В вышине с тонким и жадным писком кружился копчик. Под ногами ломались крепкие сучки, оброненные грачами, и мягко шелестели влажные листья. Голубой блеск реки сквозил чаще и беспрестанно ширился.

Вдруг силуэт оседланной лошади ясно и резко обозначился сквозь деревья. «Вот чёрт!..» — невольно воскликнул Илья Петрович и вышел из рощи. А на его восклицание раздалось легкое: «Ах!» Тогда Илья Петрович в смущении оглянулся. Перед ним узкой и желтоватой полосою тянулся берег, дальше синело озеро, усеянное островами и бурыми купами камыша, а на берегу стояла барыня в синей суконной амазонке. Илья Петрович хотел было снова возвратиться в рощу и даже сделал уже шаг назад, но было поздно: барыня его заметила и двинулась к нему навстречу. Тогда и Илья Петрович быстро посмотрел на нее. Барыня скорей была девушка: любая маменька семерых дочерей-невест не дала бы ей более девятнадцати лет. И лицо этой девушки, бледное и надменное, понравилось Илье Петровичу. Но, впрочем, он опустил глаза, когда она скользнула по нем пристальным и блестящим взглядом. Он заметил только, что она с рассеянностью усмехнулась.

— Не можете ли вы помочь мне сесть на лошадь? — сказала она.

Он неуклюже наклонил голову в знак согласия и подошел к ней. Она погладила лошадь — великолепную караковую кобылу с звездою на лбу, подозрительно шевельнувшую ушами при приближении Ильи Петровича, и ловким движением вскочила на седло. Илья Петрович почти не почувствовал тяжести на той руке, которой предупредительно поддержал барышню; он только почувствовал необычайно приятное ощущение теплоты, внезапно охватившей его ти

хими и мягкими волнами, да еще то, что лицо его нестерпимо запылало.

— Ну, теперь давайте знакомиться,— шаловливо произнесла барышня, подтягивая повода и оправляя на лошади спутавшуюся гриву.— Вы ведь, конечно, приезжий? И, конечно, интеллигент? А я здешняя... и совсем первобытная. Я — Варвара Алексеевна Волхонская.

Илье Петровичу почему-то ужасно понравился комический характер представления. Он мгновенно же перестал краснеть и приподнял смешную свою шапочку петербургского фасона.

— Член географического общества и к тому же сочинитель-с — Илья Петрович Тутолмин! — отчеканил он.

— Ах, господин Тутолмин! — воскликнула барышня и сконфузилась.— Вас еще ждал Захар Иванович... Простите, пожалуйста!..

— В чем же-с?

— Да как же!.. Ах я какая!.. Ведь вы сочинитель — ведь с вами как надо: tiré à quatre épinqles...[1] — и насмешливая струнка снова зазвенела в ее тоне.

Тутолмин поклонился.

А лицо барышни являло вид явного возбуждения. Матовая бледность сменилась в нем каким-то теплым и привлекательным румянцем, который Илья Петрович мог бы принять за легкий загар, если бы дело происходило в июле.

— Ах, вам непременно будет скучно в Волхонке!..— защебетала барышня.— Эта Волхонка такая несчастная... Вы знаете — здесь ни общества, ни развлечений... И притом, вообще-то провинция мила! Куда ни посмотрите: дичь какая-то, рутина!.. Но вы, конечно, часто будете бывать у нас? Я буду очень, очень рада. И папá будет рад. И вы, пожалуйста, без церемонии!

«Эге!» — подумал Илья Петрович, но сказать ничего не сказал, а только обидно поглядел на барышню. И та как будто поняла этот взгляд. Она надменно искривила губки, сухо кивнула Тутолмину головкой своей, увенчанной краси вой широкополой шляпой, и тихо тронула лошадь... Но ее глубокие глаза не потеряли своей живости и с лица не сходило возбуждение.

А Тутолмин после ее отъезда выругался и стал упорно

[1] быть одетым с иголочки *(франц.)*.

смотреть вдаль. Но в душу его уже не сходили поэтические впечатления, и только какое-то сухое и скучное недовольство обнимало ее. «И за каким дьяволом наболтала чепухи! — с досадою думал он.— «Рутина»!.. Сами-то вы каковы — поглядеть на вас... Просветители! Либералы!» — и тут же, неприязненно крякнув, возвратился в усадьбу.

Там его дожидался Захар Иваныч. Разрезая последний номер «Земледельческой газеты», он сидел за стаканом остывшего чая и от времени до времени поглядывал на дверь. Он с нетерпением ждал Тутолмина. А странное дело,— между ними почти не было так называемых точек соприкосновения. Один был чистокровный агроном и без засоса не вспоминал о своем путешествии в Бельгию. Другой — не то что не любил — презирал агрономию, а с нею, нечего греха таить, и всевозможные Бельгии на свете... Один благоговел перед Марксом с его законами «Гегелевой триады», другой — не выносил его за известную насмешечку над миссией русской общины и, когда дело касалось будущего России, яростно доказывал несостоятельность его законов. Но, главное-то, вот какая была между ними разница. Тутолмин был по преимуществу человек «принципиальный», некоторые находили: даже до излишества. За густой сетью «принципов» жизнь в большинстве проходила перед ним рядом смутных и тенденциозных картин и непрерывно терзала его нервы, разливала в нем желчь... Захар Иваныч выше всего ставил практику и обыкновенное житейское дело; и в это дело уходил по самые уши. Оно его увлекало помимо своих принципов,— иногда одной формой, одними подробностями своими увлекало. Правда, в агрономию он ударился из-за принципа. Но чуть только пробштейнская рожь да суперфосфатное удобрение открыли перед ним свои таинства — он впился в них, как клещ (простите за вульгарное сравнение!), и всевозможные принципы отступили у него на задний двор. Редко, редко, в споре с каким-нибудь приятелем-«народником», он с обычной своей ужимкой проворного и мягкого медвежонка вытаскивал эти «принципы» на свет божий и утомлял свою память настойчивым повторением «непогрешимых» аргументов «Капитала».

И, понятно, Илье Петровичу, более чем кому-либо, доводилось расшевеливать ленивые Захар-Иванычевы мозги и заставлять его обметать пыль с богов, бездейственно занимавших позицию. Илье Петровичу доводилось даже вво-

дить во гнев Захара Иваныча, а это было делом почти беспримерным. И, однако же, они любили друг друга.

Впрочем, не слишком ли я отступил от рассказа и не заставил ли приятелей провести время в неловком ожидании летописца? *Поспешим.*

– Что, буржуй, донкихотствуешь все! — ехидно замечал Тутолмин, дружески хлопая Захара Иваныча по колену.

Но Захар Иваныч глотал чай и добродушно улыбался. Человечек он был толстенький и наружностью нисколько не походил на злополучного рыцаря из Ламанчи.

- Слыхали! — не унимался Илья Петрович.— Мужички за блаженного считают... Добился!

— Ну, уж и за блаженного.

— А ты как думал? Ты думал «поклонимся и припадем» запоют? Нет, врешь. Ты вот «убоиной» их смущаешь, а они жрут себе мякину да в ус не дуют. Попрыгай-ка с ними!..

Но Захару Иванычу решительно не хотелось спорить. Ему так приятно было сидеть в своем креслице, обтянутом скромной холстинкой, и смаковать душистый сладкий чай, и смотреть на нервное и худое лицо милого человека...

— Ну вот еще... Образумятся,— мягко возразил он.

Но такое уклончивое отношение Захара Иваныча к «принципам» как будто раздражало Илью Петровича. Он вдруг выпил залпом свой стакан и произнес с видом плохо скрываемого торжества:

— Да уж песенка ваша спета, Буржуй Буржуевич!.. Журнальцы читаете-с? Али не употребляете окромя сих злаков? — Он ткнул пальцем в развернутый лист «Земледельческой газеты».— А коли употребляете — нечего вам и упорство свое оказывать: продавайте вы на слом свои машинки и ступайте мужиковым ребятишкам сопли утирать!

— Это почему же? — в некоторой обиде спросил Захар Иваныч.

А, значит, не употребляете! Так и знал... А напрасно-с. Хорошие там есть статейки за последнее время.— И вдруг со смехом воскликнул: – Друг! Ведь Марксу-то твоему карачун во всех статьях!..

Но только что Захар Иваныч, внезапно вошедший в задор, хотел ополчиться на эту ересь, как в дверях появился гладко обритый и суровый человек в кашемировом сюртуке и важно доложил:

— Алексей Борисыч изволят просить вас с гостем чаю откушать.

III

– Что это ты, Варя, какая странная? — заметил Алексей Борисович Волхонский, когда Варвара Алексеевна, возвратившись с прогулки, вышла к нему в кабинет. И действительно, она могла показаться странной. Возбуждение не покинуло ее. Вся она была еще полна впечатлением недавней встречи. Она еще не забыла ни обидного взгляда, брошенного на нее Тутолминым, ни то, что он назвался «сочинителем». Ей казалось, что в ее жизнь, серую и однообразную, дерзкой и дразнящей полосою ворвался светлый луч. А между тем она не помнила лица Ильи Петровича и не могла бы сказать, какого цвета его волосы. Она помнила только, что этот человек внес с собой какое-то чувство свежести и новизны и обыкновенную пятницу превратил для нее в интересный праздник.

— Ах, папа́, как ты мил сегодня! — воскликнула она в ответ на замечание Алексея Борисовича и шаловливо спутала его косматую шевелюру.— Ты опять со своими противными гравюрами?

Алексей Борисович тихо отстранил ее.

- Вот ты и институт миновала, а приобрела это институтское словечко: «противный»,— с мягкой насмешливостью сказал он.

— А ты забываешь, что у нас «дамы» были из института! — возразила дочь и добавила: — Опять от Гупиля?

Алексей Борисович оживился.

— И на этот раз премилые. Ты посмотри-ка вот, с картины Мейссонье... Или Коро... Посмотри, какая прелесть! Как хороши эти вязы!.. Или эта,— это Руже-де-Лиль; не знаешь? Ах, я и забыл, что в гимназии этого не полагается.— Он снова улыбнулся насмешливо.— Это автор марсельезы. m-lle а Марсельеза!..

– Да знаю, знаю, уж замолчи, – с неудовольствием перебила Варя и затем, отстранив осторожным движением руки гравюры, села на ручку кресла.— Ты знаешь,— сказала она с видом кокетливого испуга,— к Захару Ивановичу гость приехал, и, представь себе, сочинитель!

— Ну? — вопросительно произнес отец.

— Как «ну»... Надо пригласить его.

— Приглашай.

— Ах, какой ты, папа́...

Алексей Борисович снова усмехнулся.

— Так не прикажешь ли ты благоговеть мне пред твоим сочинителем,— вымолвил он.— Да я и не помню такого... Как бишь его?

— Тутолмин, папа́, Илья Петрович Тутолмин.

— Не помню. Ивана Сергеевича Тургенева помню, и Аполлона Николаевича Майкова помню, а такого не помню.

Варя медленно отшатнулась от отца.

— Злой ты, папа́,— сказала она с упреком,— к чему это? Ведь это же молодой писатель.

— Ну, хорошо, хорошо,— поспешно произнес Алексей Борисович и поцеловал руку Вари.— Конечно, не то,— то было время, теперь другое... Прости. Это, вероятно, новые птицы. Зови, зови их.

Варя пожала плечами и вышла из кабинета. «Какой странный этот папа́»,— подумала она, но тотчас же вспомнила сцену за рощей и улыбнулась. И вдруг почему-то ей стало очень весело. Она быстро вбежала наверх, в свою комнату, и, напевая, подошла к окну. Оттуда был виден сад и чернелась ольховая роща.

Вслед за Варей вошла степенная женщина в белоснежном переднике и с выражением строгого достоинства в красивом, хотя и пожилом лице. «Изволите переодеваться?» — спросила она. «Надя, нельзя ли нам, голубушка, раму выставить! Ведь это так легко...» — сказала Варя и ласково заглянула в лицо Надежды. Та несколько подумала, но спустя немного принесла клещи и поварской нож и, попрежнему сохраняя вид непоколебимой сановитости, очень ловко вынула и унесла зимнюю раму. Тогда Варя распахнула окно. Шумный птичий гам вместе со свежей и пахучей струею воздуха стремительно ворвался в комнату... Варя отшатнулась с легким криком, но затем тотчас же жадно вздохнула и приникла к окну. Какая-то радостная тревога охватила ее. Сердце билось порывисто и сладко... Вся она как будто застыла и замерла в чуткой неподвижности. Она ни о чем не думала, она только отдавалась наплыву каких-то грез, легких и таинственных как видения, да слушала, да смотрела, смотрела неотступно...

А смотреть было на что. Солнце садилось, и за голыми

деревьями сада жарко догорала заря. Иногда над этими деревьями взлетали грачи, и кружились небольшими стадами, и черными пятнами пестрили небо. Широкое озеро важно покоилось среди островов и неподвижных камышей, ясно отражая в своей пламенеющей поверхности и эти острова, и купы камыша, залитого розовым светом зари, и холмистые очертания того берега. В высоком небе красиво рдели золотые полосы. Дали раздвинулись, и необозримая линия западного горизонта незаметно утопала в горячем блеске заката. В прозрачном воздухе, чутком и неподвижном, неустанно раздавались звуки. Нестройное карканье грачей и запоздалый писк копчика, ретивое ржание лошади и непрерывный грохот снастей на водяной мельнице — все сливалось в одном бодром и хлопотливом концерте.

— Скоро ли, барышня, одеваться будете? — в некотором нетерпении спросила Надежда, и Варя очнулась. Украдкой провела она ладонью по глазам (они были влажны и туманны), медленно и глубоко вздохнула, как бы упиваясь острым и прохладным воздухом, и в тихой задумчивости затворила окно.

Но чрез несколько минут она снова вспомнила встречу свою с Тутолминым. Какое-то беспокойное нетерпение загорелось в ней. И почему-то обидный его взгляд опять ей припомнился. «Погоди же!» — громко сказала она и долго обдумывала, какое надеть ей платье: синее ли из тяжелой французской вигони или серое, которое отец недавно выписал ей от monsieur Ворта. А остановившись на синем, она долго примеряла рюш и долго смотрела в трюмо, хорошо ли оттеняет этот рюш изящную бледность ее лица. И, вероятно, результаты примеривания в конце концов полюбились ей: губки ее сложились в гордую и самодовольную улыбку и в темных глазах промелькнул радостный блеск.

Тогда она снова подошла к окну, за которым медленно погасала заря. Но теперь она уже не распахнула окна,— она вспомнила, что можно простудиться и схватить бронхит,— но достала из своего столика тетрадку и при слабом мерцании зари стала переписывать в нее стихи из толстой книги, переплетенной в бархат. А когда переписала — прочитала их с довольным видом и снова спрятала тетрадку. И опять долго стояла у окна и мечтательно смотрела на окрестность.

Алексей Борисович по уходе Вари не прикоснулся к гравюрам. Он встал и в задумчивости начал ходить по ком-

нате. В широкие окна кабинета тоже смотрелась заря. Тихим и ровным румянцем заполняла она стены, увешанные гравюрами, и бойкими пятнами светилась на бронзовых лапах грифов, поддерживавших тяжелые портьеры. Смеркалось. Углы кабинета раздвигались и отступали в темноту. Силуэт амура на каминных часах работы Шопена сделался мрачным и явственно отделился от зеркала. А Алексей Борисович все ходил и задумчиво поглаживал пышную свою бороду, насквозь пронизанную серебристой сединою. Смутная тень однообразно следовала за ним, достигая головой лепного потолка и медлительно колеблясь. Наконец Алексей Борисович остановился и посмотрел на потухающий запад. «Сочинители!» — с печальной укоризною произнес он, и горькие воспоминания в нем шевельнулись... Он вспомнил, как в конце пятидесятых годов весьма приличный молодой человек в сюртуке от Шармера и с ленточкой иностранного ордена в петлице бродил из одной редакции в другую с шикарным портфелем под мышкой. И в каждой редакции из портфеля выгружалась объемистая рукопись, и каждые три месяца рукопись эта с холодной улыбкою возвращалась весьма приличному молодому человеку и снова погружалась в шикарную портфельку. О, сколько тайных мук вынес весьма приличный молодой человек и какая закипала в нем ненависть к людям с вечной улыбкой на устах и с вечным припевом: «Неудобно для печати!» Как бы охотно он наговорил дерзостей этим людям и с каким бы торжеством посмотрел на их лица, смущенные скверной неожиданностью. Но он был весьма приличный молодой человек и, получая обратно несчастную свою рукопись, только вздыхал и в недоумении пожимал плечами. Зато впоследствии, за границей, куда удалился он на время крестьянской реформы, с каким злорадством встретил он вести о невзгодах, постигших журналы, отринувшие его труд, и с какою живостью представлял себе благополучные лица редакторов, обезображенные неутешной скорбью... Этот молодой человек был Алексей Борисович Волхонский.

«И все-то мне не удавалось!» — грустно подумал он, примечая, как сумрачные тени ложились на холмы того берега и в небе зажигались звезды. И снова вспомнил надоедливую вереницу скучных картин. Вспомнил, как беспутно прожил он выкупные свидетельства в этих беспутных венецианских лагунах... Вспомнил, как женился он и жестоко мучил простушку-жену своей артистической требователь-

ностью. Вспомнил свои неудачи с рабочими, выписанными из Саксонии, и свои наивные подвиги в качестве сельского хозяина... И тут смиренный Захар Иваныч предстал пред ним. «Как это хорошо!» — прошептал Волхонский. Захар Иваныч явился в самую пикантную минуту: Алексею Борисовичу опротивело хозяйство, и приближался срок уплаты процентов в общество взаимного поземельного кредита. Захар Иваныч все сделал: непостижимой своей оборотливостью он отстранил кризис и освободил Волхонского от несносных занятий... И теперь Алексей Борисович вступил в тихую и спокойную струю. Он удалился в великолепный свой кабинет, окружил себя кипсэками и журналами, приобрел творения Каррьера и Куглера, обременил заказами Гупиля в Париже и Дациаро в Петербурге и почил... Правда, вот уж скоро семь месяцев, как дочь окончила гимназию и непрерывным щебетаньем своим нарушает ленивый порядок дома. Но ему нравится это шаловливое и благородное существо. С его появлением дни как будто сделались короче и строгая кабинетная тишина проникласъ какими-то ласковыми тонами. И притом это появление не принесло ему особых забот. Он, слава богу, не рутинер! Он понимает, что свобода (libertá,— перевел он внутренне) — первое условие порядка, и никогда не задумается он над тем, чтобы в щедрой дозе наградить Варю этой свободой. Он враг стеснений. Недаром в салонах его и теперь считают неисправимым фрондером... И он опять вспомнил свои неуспехи в прогрессивных кружках конца пятидесятых годов. «Отчего бы?» — подумал он в недоумении. И вдруг вспомнил о новом знакомстве дочери. «Сочинители! — с горечью повторил он и затем добавил с иронией: — Умеет ли грамоте!» Но после этого выпрямился и, как будто совершая какой-то долг, дернул сонетку.

— Пригласи, Степан Степаныч, Захар Иваныча чай кушать и скажи, что просят, мол, с гостем пожаловать,— приказал он гладко обритому и суровому человеку в кашемировом сюртуке, быстро и неслышно явившемуся на зов.

IV

Чай пили в маленькой столовой. При входе в эту столовую Илья Петрович не мог победить в себе некоторой неловкости и все запахивал левую полу своего сюртучка,

приобретенного на Апраксином. Ему все казалось, «галантные» хозяева заметят предательское пятно, изображенное на этой поле жирными щами палкинского трактира, съеденными в честь первого его очерка «из народного быта». Но он скоро оправился, и когда сел, даже позволил себе свободно протянуть ноги. Захар Иваныч держал себя домашним человеком: он и явился-то сюда в высоких полевых сапогах. Волхонский в своем бархатном пиджаке и белоснежных воротничках á la Delavar несколько модничал; густые кудри его седой головы были расчесаны с особенной тщательностью. Наливала чай все та же строгая Надежда. Варя сидела в глубоком кресле и медленно мочила в крошечной чашечке крошечный кусочек бисквита. При входе Ильи Петровича она незаметно скользнула по нем взглядом и, видимо, осталась недовольна: в своем отвратительном сюртучке, с воротником, отставшим от шеи на добрую четверть, со своими вечными поползновениями спрятать куда-то руки, окаймленные смятыми манжетами, он был куда как не презентабелен. А тут еще нелегкая догадала его, умываясь, смочить редкие волосенки свои и провести в них ряд!.. Нет, он совсем был неинтересен. Зато после третьего стакана он заметил Варю и нашел ее очень привлекательной. И, пожалуй, был прав. В матовом свете лампы лицо девушки выгодно выделялось тонкими и нежными своими чертами, и горделивая улыбка особенно шла к смелому и красивому очертанию ее губ. И когда Илье Петровичу налили четвертый стакан, он не утерпел, чтоб еще не взглянуть на девушку. И такой грациозной показалась она ему в своем темном платье, ниспадавшем по ней тяжелыми складками! Ему даже понравились руки ее, мягкие и белые как снег, и эти изящные пальчики, с осторожностью державшие кусочек бисквита...

Алексей Борисович обратился к нему с вопросом:

- Петербург, по своему обычаю, смешит Европу? сказал он.

- То есть как это? — в недоумении произнес Тутолмин и моментально же забыл о барышне. - Я думаю, что в Петербурге только и хорошего есть, что это игнорирование Европы. Мы ее смешили, как крестьянам землю давали, мы и милютинскими мероприятиями ее смешили... Она всему смеется. Чего нам ее не смешить-то?

Волхонский поднял брови.

- Я имею честь говорить с славянофилом? - спросил он.

- Вот уж нет,— бесцеремонно ответил Илья Петрович и вдруг спохватился.— А впрочем, клички эти чудны,— вымолвил он,— другая так тебя запутает — ты точно мужик в вяхире...

– Что такое «вяхирь»? — прервала его Варя.

Отец затруднился ответом. Илья Петрович досадливо сморщил брови и сердито произнес:

— Сеть из бечевок. Мужики в дорогу сено берут... Что же вы величаете славянофильством? — обратился он к Волхонскому.

- А умиление перед сарафаном, восторги по поводу подблюдной песни и тому подобной ветоши...

Тутолмин порывисто поставил стакан и выпрямился.

Да-с, - сказал он резко,— перед сарафаном не умиляемся, а самобытность ценим крепко. Песню чтим, ибо в ней поэзия и следы миросозерцания, не отравленного вашей, с позволения сказать, цивилизацией.

— Поэзия? · прищурившись, произнес Волхонский и с деланным смирением добавил: - А впрочем, я не знаю, о какой поэзии вы говорите. Ведь господин Писарев, кажется упразднил поэзию.

— Вы плохо следите за литературой. Писаревским увлечениям был предел. То уже старое время,— сказал Тутолмин.

Не уследишь,— с тонкой улыбкой возразил старик.— Я стар, а новизна поспешна и суетлива. Но мне приятно узнать, что в глазах молодежи поэзия снова реставрируется (Илья Петрович приник к стакану). Но какая же поэзия в ваших песнях и вообще в так называемом народном творчестве? (Экое громкое слово, подумаешь!) Извините меня, но не могу скрыть: это не поэзия, а недоразумение одно. Qui pro quo[1]. Возьмите в пример сказки: что глупей и бессодержательней, - простите... Вечный Иван-царевич и вечный deus ex machina[2] в лице какой-нибудь шапки-невидимки, палки-дубинки и тому подобной дребедени. Богатства замысла, поэтических подробностей, – не спраши вайте. Возьмите вы братьев Гриммов и нашего Афанасьева с одной стороны, какая-то привлекательная загадочность,

---

[1] Одно вместо другого *(лат.)* путаница

[2] бог из машины *(лат)* - непредвиденная развязка

тонкий и здоровый юмор, кропотливая постройка замысловатых подробностей, ясное отражение быта и миросозерцания; с другой — юмор, если и здоровый, то в смысле дубины, подробности — аляповаты и наивны до приторности, содержание бедно. Я раз в одной российской сказке,— я не про земское положение говорю,— сосчитал слово «опять». Представьте, тридцать пять раз повторялось это слово! Ровно тридцать пять. И все соединяло — известную подробность с другой известной подробностью, избитое происшествие с другим избитым... А тенденции! Дурак побивает умного в силу выспренних наитий каких-то — за дурака и бог, и добрые люди,— и это беспрерывно. Ну потешь дурака, да знай же и честь. Дальше. Какой-нибудь ловкий прохвост и заведомый каналья героем объявляется!.. Забавой, кроме мерзостей да холопского послушания в виде единственной добродетели, ничего не признается... Помилуйте-с!.. А это еще вопрос, почему «людскую молвь да конский топ» я за поэзию должен признавать... Может, оно еще и не поэзия... Пушкин-то и ошибиться мог: ведь недаром Мериме на славянских песнях-то его поддел...— И Волхонский вдруг как бы спохватился. — Впрочем, что же это я о Пушкине...— проговорил он виноватым тоном.

А Тутолмин переживал странное состояние. С первых слов Волхонского о русских сказках в нем закипела жестокая злоба к этому эффектному баричу, так покойно развалившемуся в своих мягких креслах. Но по мере того как Волхонский говорил, злоба эта пропадала и сменялась каким-то холодным и надоедливым ощущением скуки. Он вяло и уже без малейшего раздражения следил за желчными выходками Алексея Борисовича, и когда тот кончил, только для приличия возразил ему:

— Но песни...

— Ах, песни! — живо подхватил Волхонский, возбужденный собственным своим красноречием.— Ну конечно, как не быть поэзии в русской народной песне. Брызжет!.. «Во ракитовом кусточке лежал-потягался молодчик»... Так, кажется? («И охота ему ломаться!» — думал Илья Петрович). Или: «Не белы-то снеги в поле забелелися,— забелелись у мово милова белокаменны палаты», в которых какие-то «писаря» что-то пишут... Или: «Как по матушке по Волге сподымалася невзгодушка», и в косной лодочке подплывал «ко Татьянину подворью» целый гардероб в образе камзола, штанов и прочего скарба («Pardon, Варя!» —

произнес он в скобках). Бог с вами, какая же это поэзия!.. Это смех, это, если хотите, лепет ребяческий, а отнюдь не поэзия. А приемы! А этот вечный и часто совершенно нерезонный переход от какой-нибудь ивушки к девке, у которой «ненароком» развязалась оборка у лаптя!.. Или, может быть, скажете, что в образах, в оборотах речи ваши песни прыщут поэзией?.. А я вот не понимаю этого. Я не понимаю, почему выражение: «снежки белы лопушисты — именно «лопушисты» — покрывали все поля, одно поле не покрыто — поле батюшки мово», почему это выражение поэтичнее, хотя бы такого:

И ты богиня, о
Я шел деревню чрез,—
Мужик несет вино,
В жилище крыши без...

Все засмеялись, а Тутолмин снова подумал: «И чего он ломается?»

— А возьмите изображения ваших песен,— с пущим жаром продолжал Волхонский,— возьмите ихние идеалы. Вот герой, пользующийся явным сочувствием песни: «Чисто, щепетко по городу погуливат, он енотову шубенку за рукав ее тащит (каков!), бел персицкий кушачок во белых руках несет; черна шляпа с подлиманом (вы не знаете, что это за штука такая?), черна шляпа с подлиманом на русых кудрях его...» Хорош гусь! — И пренебрежительно добавил: — Нашли поэзию!

— Видите ли, какая она штука,— совершенно спокойно сказал Илья Петрович,— спорить нам бесполезно: между нами органическое непонимание. Вы говорите про Фому, я — про Ерему.

Варя незаметно кивнула головою.

— Но помилуйте,— несколько обидевшись, возразил Волхонский,— я ведь знаю, что на свете есть логика.

— В том-то и дело, что логика-то у нас разная. Ну к чему поведет, если я буду вам говорить, что трудно себе представить более поэтичный оборот, как этот: «Не шуми ты, мати, зелена дубравушка, не мешай мне молодцу думу думати», и что вообще вся эта песня насквозь проникнута великолепнейшей образностью и строгой величавостью тона... Вы скажете, что любой сонетик Пушкина перещеголяет эту песню.

А эта песня приведена у Пушкина! — живо произнесла Варя.

– Ей-богу, не помню-с,— может, и приведена,— небрежно проронил Тутолмин.

– В «Капитанской дочке», – напомнила Варя.

- Ей-богу, не помню-с,– упрямо повторил Илья Петрович.

– Ах, какая прелестная песня, папа́! — воскликнула девушка. – Ты не поверишь, до чего она делает впечатление... Именно какая-то величавость в ней и строгость тона!

— Может быть,— сухо ответствовал Волхонский и с видом изысканной вежливости предложил гостям сигары.

Произошло неловкое молчание. Тутолмин порывисто сосал сигары и думал с досадою: «И зачем меня занесло в этот комфортабельный катух?!» А Варе было нехорошо за отца; и не то, чтобы она не соглашалась с ним,— ей даже нравилась юмористическая форма его выходок,— но отношение к этим выходкам Тутолмина смущало ее. По этому отношению она догадывалась, что отец говорит, должно быть, очень избитые и, пожалуй, даже пошлые вещи. И что вообще он, должно быть, ужасно отстал. И ей было больно это. Она даже чувствовала, как кровь приливала к ее щекам и шея нестерпимо горела под двойными городками рюша. Захар Иваныч тоже был недоволен. «Испортили вечер миляге»,– думал он, мельком поглядывая на сумрачную физиономию Ильи Петровича.

И вдруг Волхонский ясно увидел, что он произвел дурное впечатление. «Однако не подумал бы этот misérable[1], что я консерватор,— опасливо шевельнулось в нем,— ведь у них, если на мужичка посмотрел косо, и пропал бесследно...» И странное ощущение какой-то холодной и неприязненной струи коснулось его.

– Но, разумеется, не в этом суть, – произнес он торопливо и мягко,— суть в том, что и с песнями, и без песен живется тяжко. А что делать? Приходится сидеть в стороне и смотреть, как безнаказанно гибнет народ с несомненной исторической ролью и как его нищенский скарб расхищается на пользу различных звездоносцев...

Варя встрепенулась. «Как хорошо он это сказал, милый папка!» подумала она и с невольным торжеством поглядела на Тутолмина. Но Илья Петрович сидел по-прежнему угрюмый и с нетерпением кусал сигару. «Что же это!»

[1] жалкий, презренный *(франц.)*

внутренне воскликнула девушка и застыла в недоумении.

А Волхонский распространился в необузданных речах. Он пылал. Он чувствовал, как упругие волны какого-то радостного восторга непрерывно подмывают его и охватывают мелким ознобом и приятно стесняют ему дыхание... «Все равно — не донесут!» — думал он иногда, отпуская чересчур резкое словечко или дерзко касаясь фактов, недоступных обсуждению. И говорил, говорил неотступно...

Илья Петрович все молчал и безучастно смотрел на дымок сигары. Но вдруг он вскочил: Алексей Борисович, покончив с критикой существующих безобразий, перешел к рецептам и жадно завздыхал о палате лордов.

- Не бывать этому! – задорно закричал Тутолмин. – Отдавать народ в руки баричей и золотушных культуртрегеров!.. Вручать его судьбы шайке космополитических хлыщей... Отравлять его вожделения фельетонными идеалами вылощенных болтунов!.. Не бывать этому, почтеннейший господин!.. Пока существует Русь, пока живы исторические стремления русского народа, пока вы его не опутали сетью ваших мероприятий жидовско-индустриального свойства,— этому не бывать!.. А следовательно, *никогда* не бывать!

— Но ты забываешь, Илья, что каждому времени — выражение своих потребностей,— вмешался Захар Иваныч, несколько огорченный непочтительным обращением Тутолмина к Алексею Борисовичу.

— А! Каждому времени! — вцепился в него Тутолмин. – Так ты со своим паршивым рационализмом потребности времени представляешь?.. Врешь!.. Ты раздраженье пленной мысли представляешь, а не потребности... На какого дьявола нужны все твои скоропашки и скоромолки?.. Мужик вот возьмет да вжарит ренту до чертиков — скоропилки твои и пойдут на гвозди... Да, на гвозди-то самые обыкновенные, – корявые и неуклюжие, – мужику грядушку к навознице приколачивать... И первый же вот либеральный барин, – указал он на Волхонского,— пропишет тебе отставку с твоими скоровейками и скоросейками, ибо прельстится на мужикову сумасшедшую ренту... Кому ты рассказываешь!

– Стало быть, вы науку отрицаете? Интенсивность отрицаете? – ядовито осведомился Волхонский.

- Да что он!.. - воскликнул Захар Иваныч и безнадежно махнул рукою.

— Нет-с, не отрицаем,— возразил Илья Петрович, сверкая глазами,— мы только барчат отрицаем!.. А поскольку наука народу служит — поклон ей земной. Вот-с.

Но тут голоса смешались в такую кашу, что трудно было разобраться в них. И Захар Иваныч кричал, и Илья Петрович кричал, и даже Волхонский, раззадоренный неукротимостью Ильи Петровича, утратил свою комильфотность и тоже кричал. А Варя весело наблюдала за ними. Правда, она почти ничего не понимала; но она видела, что отец выходит из себя и постоянно меняет тон, то придавая ему ядовитое выражение, то переполняя его ироническим смирением; что Захар Иваныч смешно краснеет и беспрерывно повторяет одни и те же доказательства и как бы вращается в каком-то заколдованном круге... И что Илья Петрович как будто разбивает своих противников, хотя излагает (или, лучше, выкрикивает) очень странные мнения. И мнения эти интересовали девушку: с одной стороны, они как будто ужасно консервативны, но с другой... с другой — либерализм отца кажется пред ними чем-то жидким и мелким. «Мелким!» — повторила Варя вполголоса. «Отчего же это? — подумала она.— Ведь все, что говорил отец в этом либеральном духе, так ей нравилось прежде! Особенно красота и благородство его выражений нравились. Почему же теперь дикие возражения Ильи Петровича как будто вытравили всю суть из этих благородных выражений, и они как-то праздно звенят, без толку утомляя внимание. Вот фокус-то! — сказала и внутренне усмехнулась девушка.— Нет ли во мне скверных зачатков каких,— консервативных?.. Не перешло ли ко мне чего от бабушки? (Бабушка Варвары Алексеевны и до сих пор отстаивала аракчеевские порядки.) Не потому ли странные мнения Ильи Петровича привлекают меня?..— Но тут же вслушивалась в невыразимый крик Тутолмина и задумчиво повторяла: — Нет, нет, он не консерватор!» И вдруг ей ужасно захотелось проникнуть в мир идей, волновавших Илью Петровича, узнать его убеждения, перенять от него обильные познания, которыми он так легко побивал Алексея Борисовича, а Захара Иваныча заставлял беспомощно топтаться на одном месте. «Все это, должно быть, очень оригинально»,— подумала она и пристально посмотрела на Тутолмина. Растрепанный, бледный, с горящими глазами, он теперь показался ей привлекательным, и даже несчастный сюртучок его показался ей необходимым дополнением к его ориги-

нальной наружности. Будь на нем сейчас изящный фрак от Тедески, ей это, может быть, и не понравилось бы.

Разошлись поздно. Илья Петрович, бесконечно взволнованный спором, совершенно забыл о существовании Вари, и когда она сказала ему: «Прощайте же, Илья Петрович!» — рассеянно сунул ей руку. На дворе была тишина. Звезды горели ясно. Острый холодок пахучей струйкой доносился из сада. На земле лежал легкий мороз.

— Однако ты...— с мягким упреком произнес Захар Иваныч.

— Не могу я,— утрюмо проворчал Тутолмин.

В молчании вошли они к себе в комнату.

— Но согласись, что все-таки Алексей Борисович человек гуманный; а в политическом отношении все же лучше монстров каких-нибудь,— как бы извиняясь, сказал Захар Иваныч, замечая, что мрачная полоса не сходит с Тутолмина.

— На то они и монстры,— возразил тот отрывисто, но вдруг посмотрел на Захара Иваныча и рассмеялся.— А насчет либерализма я тебе вот что скажу, друг любезный. Есть у меня барыня одна знакомая. Тоже большая либералка. Та не только конституции — республики требует. Только, говорит, чтоб мужика этого противного не было.

А Варя вошла в свою комнатку и долго не раздевалась. Она стояла и смотрела в окно и думала о Тутолмине. Прозрачные тени лежали на полях. Роща недвижимо темнела. В озере сияли звезды и как будто с любопытством переглядывались с теми, которые горели в вышине. Высокий камыш задумчиво смотрел в воду. «А должно быть, он очень умный, этот Илья Петрович!» — прошептала девушка и с тихим вздохом стала расстегивать свое платье из синей французской вигони.

V

Наутро Илья Петрович проснулся поздно. В соседней комнате нетерпеливо бушевал самовар. В окна светило солнце. Илья Петрович потянулся и посмотрел на белый потолок. Внезапная веселость овладела им. «А славно тут у них, черт возьми!» — воскликнул он и проворно вскочил с постели. Вошел вчерашний заспанный мальчик с рукомойником в руках и с полотенцем через плечо. Теперь у него вид был бойкий и живой.

— Тебя как звать,— Акимкой? — шутливо спросил его Тутолмин.

— Алистратом,— отвечал мальчик, посмеиваясь.

— Ну, Алистрат, давай мыться.— И Тутолмин стал шумно плескаться холодной водою. Затем он оделся и вышел в другую комнату. Обе комнатки были уютны и светлы. В них дышалось как-то легко: особенное чувство успокоения сходило среди этих стен, ярко выбеленных мелом.

К чаю появился Захар Иваныч, немилосердно гремя своими длинными сапогами. Вместе с ним запах какой-то славной свежести ворвался в комнату. Да и сам он был славный: розовый румянец заливал его добродушное лицо и глаза оживленно блистали. Оказалось, что он встал сегодня в три часа и до сих пор находился в поле. У него начинался сев. Новые сеялки, выписанные от Липгарта, работали великолепно. «И, представь, до чего сметлив этот русский человек,— поспешно рассказывал Захар Иваныч,— я все не догадывался: почему сеялка вдоль борозд высевает столько-то, а поперек — больше. И что же! Нестерка, бездомовник, пропойца, лентяй, сразу открыл Америку: весь секрет-то в том, что вдоль борозд сеялка идет плавно, а поперек — порывами, а потому усиленно выталкивает семена... Простая штука, а поди ты с ней!.. Ведь все горе-то — эта закаменелость русская. Тот же Нестерка непременно на жниво уйдет от меня, и не удержать его ни за какие пряники... А куда уйдет? Паршивую ржишку убирать, да потом эту же ржишку и жрать пополам со всяким дерьмом!.. В голод, в холод уйдет!

Илья Петрович безостановочно пил чай и тонко посмеивался в ответ на рассказы Захара Иваныча. Нервы его были как-то странно покойны. На душе было ясно и тихо. И он вспомнил о вчерашнем вечере. «Для чего кипятился? — подумал он, и особенно противен стал ему вчерашний вечер. «Не заманут!» — промелькнуло у него. Но вместе с этим как будто и приятное чувство шевельнулось в нем. Он с удовольствием припомнил внимательное личико девушки и ее грациозную фигуру, изящно драпированную платьем, и ее пристальный взгляд, умный и блестящий...

— Вот завтра поедем-ка паровой плуг пытать,— продолжал между тем Захар Иваныч,— по случаю куплен. Стоит две тысячи фунтов, а я за семь тысяч рублей купил. Лорд тут один в трубу вылетел. Любопытная штука. Осенью-то привезли его по заморозкам, я и не успел по-

пытать. А интересно. В Бельгии, у Платера, двенадцать гектаров катает. Как-то у нас?

— Да на какого лешего тебе паровой плуг?

— Ты не знаешь, брат. Я с ним ведь на все кризисы плюю. А то два года тому у крестьян случился урожай богатый — плугарей я и не нашел.

— Так, значит, урожай богатый — для вас кризис? — иронически заметил Тутолмин.

— Не придирайся ты к словам, пожалуйста.

Но Тутолмин и не придирался. Он только посмеивался себе в бороду да аккуратно опоражнивал неисчислимые стаканы с чаем. А по уходе Захара Иваныча стал разбираться со своими вещами. Из чемоданчика вылезли на свет божий и поместились на комоде несколько растрепанных книжек какого-то журнала, да толстое исследование об общине, да «Крестьяне на Руси» Беляева, да несколько программ для собирания сведений по различным отраслям народного быта. В конце концов на комоде же появилась и знакомая нам записная книга. Илья Петрович развернул ее, прочитал несколько страниц, написанных спутанным и торопливым почерком, и нахмурился. Это были песни, сообщенные ему Мокеем. «Вот тебе и «Не шуми ты, мати, зелена дубравушка!» — сказал он с горечью. И опять мелькнул перед ним образ Вари. «Ишь ты — упомнила!» — подумал он, вспоминая, как Варя заступилась за него по поводу этой песни, и снова какое-то кроткое и приятное чувство шевельнулось в нем.

К вечеру пришел Мокей и принес еще две песни. Илья Петрович аккуратно записал их и дал Мокею двугривенный. Но Мокей посмотрел на монету и сказал:

— Это что! Мы и так завсегда вашей милости...— Тут он спрятал монету в кошель.— Ты вот местечко мне поспособствуй у Захара Иваныча.

— Какое местечко?

— Да в работники, например. Я, брат, на сеялках-то отчаянный.

Илья Петрович сокрушился.

— Да у тебя что, нужда, что ли? — спросил он.

Мокей почесал затылок.

Коли не нужда,— ответил он.— Нужда-то нуждой, а тут отсеялся я. Так и быть, послужил бы я Захар Иванычу, парень он хороший.

— Да ты бы к нему и лез,— рассердился Тутолмин.— Что ты ко мне-то? Захотел ярма и лезь сам. Я-то тут при чем?

Мокей снова и уже с большей настоятельностью почесал в затылке.

Серчает он на меня,— произнес он.

— Кто серчает?

— Захар Иваныч.

— За что?

— А за что! Спроси! — в благородном негодовании заторопился Мокей.— Народы-то у нас оченно даже приятные... У нас мастера ямы-то рыть под доброго человека... У нас, ежели не слопать кого, так праздник не в праздник!..

— Стало быть, наговоры на тебя?

— Наговоры,— кротко сказал Мокей.

Илья Петрович помолчал.

— Или перемогся бы? — наконец вымолвил он.

Мокей тряхнул волосами.

— Никак невозможно,— сказал он решительно.

— Ну к своему бы брату, мужику, нанялся. Там хоть равенство отношений. («Эку глупость я отмочил!» — подумал Тутолмин в скобках.)

— Как можно к мужику! — горячо возразил Мокей.— Мужик на работе замучает. Мужик прямо заездит тебя на работе! Нет, уж вы сделайте милость.

— Хорошо, я скажу,— печально согласился Тутолмин.

Мокей рассыпался в благодарностях.

— А что насчет песен, это уж будьте покойны,— говорил он.— Я тебе не токмо песни — чего хочешь предоставлю. Мы за этим не постоим! — И вдруг игриво добавил: — Будешь в деревню ходить — девки у нас важные.

Илья Петрович хотел было рассердиться, но вовремя опомнился и сказал:

— Нет, уж насчет девок ты оставь, Мокей,— я женатый.

— О? Не уважаешь? Ну, как хочешь. Насчет девок не хочешь — песни буду представлять. Я, брат, ходо́к на эти дела. Ты у кого ни спроси про Мокея, всякий тебе скажет, например. Я не то, что другие,— измигульничать не стану.

Вечером, когда приехал Захар Иваныч, Тутолмин сказал ему о желании Мокея. Захар Иваныч поморщился.

— Больно уж он неподходящ! — сказал он.

— Чем же? — спросил Илья Петрович.

— Да как тебе сказать: очень уж он привередлив. Он ведь жил у меня раза три. Надо тебе сказать, что за пищей рабочих я сам слежу, и уж что другое, а пища у меня сносная...

— Да он говорил мне об этом.

— Ну вот видишь. Говорить-то он говорил, а когда жил — у меня недели не проходило без скандала: то то ему не хорошо, то другое. То масло горчит, то в крупе галки много, то говядина не жирна. Просто наказание! И представь себе: сейчас же собьет всех, сговорит, и скопом являются расчет просить. Помучил он меня. Ты не поверишь — я в лето три кухарки сменил, и все из-за его претензий. Вот он какой, этот Мокей.

— Да отчего же он такой требовательный?

— А бог уж его знает. Живут они плохо и дома, я уверен, мяса в глаза не видят. Я тебе говорю: окаменелость какая-то. Вот уходил он от меня: один раз ушел,- чирий на спине вскочил,— не смех ли! Другой раз — рансомовский трехлемешник ударил его рычагом по сапогу... А третий — смешно даже сказать: ночевал он в картофельной яме и вдруг говорит: «Я, говорит, не буду здесь ночевать». - «Отчего же ты не будешь?» — «Лешик боюсь...» Уговаривал его, убеждал,— ничего не помогло. Так и ушел! Вот он какой, этот Мокей.

Илья Петрович засмеялся.

— Да, действительно неудобный продукт для капиталистических манипуляций,— сказал он. — Но ты все-таки его прими. Как хочешь, а ведь в принципе-то все-таки отлично, что у Мокея этакое органическое нерасположение к ярму.

— Поди ты! — с неудовольствием произнес Захар Иваныч, но все-таки не забыл сказать явившемуся приказчику, чтобы он взял Мокея.

После чая Захар Иваныч отправился в дом. Тутолмин, разумеется, отказался сопровождать его. Он весь вечер прокопался за материалами, собранными в записной книжке. Много сведений он разнес оттуда по различным отделам. Большинство досталось общине; затем добрый кусок зацепили обычное право и раскол; этнография удовольствовалась меньшим, и наконец самую маленькую частичку получила статистика.

Захар Иваныч возвратился с новостью: Варвара Алексе-

евна просила Илью Петровича поехать с ней в шарабане на испытание парового плуга. Старику нездоровилось, и он оставался беседовать с Куглером. «Вот еще не было печали! — как будто с видом неудовольствия воскликнул Тутолмин, отрываясь от своих материалов.— Я и править-то не умею». Но в душе он был доволен этим предложением. И когда лег спать, несколько раз подумал о Варе. Нервы его были слегка возбуждены. Сердце беспокойно трепетало. Ночью он часто просыпался и злился на безмятежное сопение Захара Иваныча. Мерный лязг часового маятника тоже раздражал его.

VI

Славная погода установилась на другой день. Правда, солнце не светило и небо было покрыто сплошными тучами, но теплота стояла в воздухе изумительная. От полей подымался пар. Тонкий и затхлый запах земли разлит был всюду. Даль подернулась влажностью. Неумолкаемые крики грачей мягко замирали в отдалении.

Было воскресенье, и целая толпа привалила из села поглазеть на паровой плуг. Девки в ярких платках грызли семечки; нарядные парни стояли отдельными группами и громко пересмеивались; ребятишки затевали игру в «репку», мужики сосредоточенно ходили около локомобилей. Эти локомобили приехали на место еще вчера и теперь разводили пары. Захар Иваныч озабоченно посматривал на манометр. Замазанный и шершавый кочегаришка метался как угорелый с масленкой в руках и в свободные мгновения важно озирался на мужиков. Нахмуренный машинист, в валенках и в круглой касторовой шляпе, глубокомысленно разглядывал какую-то заклепку. У другого локомобиля, поместившегося на том конце опытного поля, тоже толпилась небольшая кучка зрителей.

Захару Иванычу, очевидно, не нравилось это присутствие посторонней публики. Он не особенно надеялся на успешность опыта: локомобили были-таки достаточно помяты жизнью, и лемеха посматривали подозрительно. А этот неуспех непременно подал бы повод к насмешкам, на которые так щедр простодушный российский мужичок. Вот и теперь уже между ними с какой-то комической неподвижностью стоит Влас Карявый и произносит ядовитые свои шуточки,

на которые мужики сдержанно усмехаются. А тут как на грех легкое топливо давало мало жару и стрелка манометра подымалась с возмутительной медленностью. «Вали, вали, Николай!» — торопил Захар Иваныч рабочего, подкладывающего дрова, и тот целыми охапками валил эти дрова в ненасытное жерло топки.

— Ты бы, Миколай, прямо с возом туда въезжал,— скромно заметил Влас Карявый. Толпа хихикнула.— Право бы, способней с возом... А то взял бы ворота с конюшни туда засадил... Кто ее щепкой-то растревожит, экую прорву!

— Растревожим! — невнятно проворчал явно сконфуженный Николай.

Захар Иваныч отошел в сторону.

— Я бы амбарушку продал,— сказал другой,— дать бы за нее рублев тридцать, я бы и продал: все бы, глядишь, на раз хватило.

— Подавишься,— вымолвил Николай.

— Эка ты чудачина,— подхватил Карявый,— кабыть у них лесу мало. У них, чай, Редушки... Все как-никак поглотается лето-то.

— Что экой прорве Редушки!.. В Редушках всего-то никак сто десятин... А ты гляди-ка на нее!

А один дряхлый старик все смотрел и вздыхал. «Что же это будет такое?» — шептал он в каком-то ужасе и беспомощно перебирал пересмягшими своими губами. «Эй, девки! — кричали из толпы парней.— Печка-самопека приехала... Кому желательно блинцов покушать!.. А мы духом сыти...» — «Нет, это жар-птица,— возражали девки,— а вот Иван-царевич!» — и они с хохотом указывали на чумазого кочегара.

Несколько мужиков, наиболее отличавшихся солидностью, ходили около плуга и с любопытством ощупывали блестящую поверхность лемехов. Иные в задумчивости покачивали головами. А один все заходил и, прищуривая один глаз, следил за изгибом лемехов. «Вон оно как!» — наконец промолвил он и решительно нахлобучил шапку. «А что?» — спросили его. Но на это он ничего не ответил и многозначительно отошел от плуга. «Не пойдет»,— заявлял другой. «Ну, как не пойти!» — возражали ему. «А вот пласт он отваливать не станет — это верно. Ты гляди, как отвалы-то приспособлены». И все согласились, что точно пласт не будет отваливаться.

По мере того как пар бездействовал и все новые и новые охапки дров бесследно исчезали в топке, настроение народа становилось все веселее и веселее. Наряду с этим прислуга была явно обескуражена. Николай даже изъявил наклонность к измене: стал насмехаться над печкой, так беззастенчиво пожиравшей его труды. «Эка хапуга проклятая, право хапуга!» — восклицал он. Один только Мокей не унывал (он уже очутился в усадьбе). С какой-то грязнейшей тряпкой в руках он весело суетился вокруг локомобиля и беспрестанно отпускал соответствующие замечания. Так, когда близ него находился Захар Иваныч, он говорил вполголоса, видимо обращаясь к машине: «Врешь, матушка, пойдешь! Не на таковского наскочила, и не таких, как ты, объезживали...» Когда же ему случалось пробегать мимо мужиков, он корчил лукавую усмешку и произносил: «Дела не наделаем, а лупоглазой невестке глаза вставим!» И мужики сочувственно ему улыбались.

В это время подъехал и Тутолмин с Варей. Всю дорогу он испытывал приятное и неутихающее волнение. Резвый побег горячего серого жеребца, которым правила Варя, эластическое покачивание рессорного экипажа, мягкий треск колес, с изумительной быстротою попиравших почву гладкой дороги, пробитой по выгону, а пуще всего соседство красивой и возбужденной девушки — переполняли все его существо глубоким удовольствием. А Варя действительно была хороша. В своей широкой зимней шляпе, кокетливо надвинутой на глаза, в своем тяжелом плюшевом костюме, ловко обхватывавшем ее упругий и гибкий стан, она и не на Илью Петровича могла бы сделать впечатление. День — тихий и теплый, кроткое и задумчивое очертание далей, запах свежеразрытой земли, стоявший в воздухе, близость Ильи Петровича с его лицом, сосредоточенным и добрым,— все это отпечатлевалось на ее душе ясными и безмятежными полосами, и глаза ее глядели безмятежно.

Около локомобиля у них приняли лошадь, и Варя подхватила Тутолмина под руку. Но тому уже не до ней было. Народный говор, оживленные толки мужиков и баб, явно недоброжелательное отношение их к машине, смущенный вид Захара Иваныча и прислуги — все это сразу охватило его интересом. Он рассеянно выпустил руку Вари и направился к толпе. Девушка опешила, и даже горькое чувство обиды вдруг шевельнулось в ней, но обстановка и ее скоро за-

интересовала. Она подхватила Захара Иваныча и стала расспрашивать его о подробностях устройства машины. Правда, она мало понимала из его толкований, но тем не менее с любопытством заглянула в огненное жерло топки, постучала пальчиком по толстому стеклу манометра, осторожно прикоснулась к ясным шарам регулятора и даже нагнулась и посмотрела на проволочный канат, плотно стянутый на колесе.

Стрелка наконец возвысилась до сорока пяти градусов. Пар вступил в золотники. Прислуга ободрилась. Народ притих в нетерпеливом ожидании. Машинист с важностью подошел к свистку и повернул кран. Хриповатый и смешной свист вылетел оттуда отрывистой нотой. Здоровенный хохот прокатился по толпе. «Захлебнулась, сердешная!» — сказал Карявый. Тогда рассерженный машинист еще раз прикоснулся к аппарату. Свисток пронзительным и тонким звуком огласил окрестность. Варя закрыла уши. Хохот усилился. «Зазевала! — вымолвил Влас.— Не зевай: надорвешься!» Парни под шумок заигрывали с девками.

А Захаром Иванычем овладевало беспокойство. Дело в том, что рабочий, который один только умел управлять плугом, не являлся. Он был занят у прежнего владельца плуга и по временам запивал. Последнего-то и боялся Захар Иваныч. Как только колесо локомобиля пришло в движение и регулятор медленно закрутился, вся прислуга вместе с Захаром Иванычем устремила взоры на дорогу из усадьбы. Наконец кто-то воскликнул: «Едет Пантешка!»

Не доезжая добрых десяти сажен от толпы, Пантешка выпрыгнул из телеги и направился к плугу. Он был в красной рубахе и в картузе набекрень. Движения его были проникнуты каким-то разухабистым ухарством и лицо изъявляло беззаветную отчаянность.

— Видали наемщика! — встретил его Карявый, и толпа снова отозвалась хохотом.

И действительно, Пантешка живо напоминал собою «наемщиков» былого времени. Те же развинченные ухватки, то же удальство подозрительного пошиба. Он важно осмотрел плуг, осведомился о числе градусов на манометре и, свернув цигарку, направился к толпе.

— Что, галманы,— воскликнул он,— аль гляделки продавать пришли!

— Продашь,— ответил Карявый,— бывало, наемщиков-то под руки водили, а теперь ими плетни подпирают.

— Это кто же был наемщик-то? — подбоченясь, спросил Пантешка.

— Не мы.

— Да и мы не таковские.

— Видать.

— Мы-ста кланяться не станем. У нас и управитель покланяется! — бахвалился Пантешка.

— Как, поди, не поклонится,— простодушно возразил Карявый,— вы, поди, обхождения-то всякого видали.

— И видали.

— Вы, чай, не одно толокно, и зашейное едали.

— Да не сидели на овсянке как галманы которые...

— Где сидеть! Поди, и под заборами леживали

— Леживали, да с голоду не пухли.

— Как тута пухнуть! Тонкого человека сразу видно.

— И видно.

— Тонкий человек и... (тут Карявый сделал неприличный намек на свойство тонкого человека).

Толпа, утаивая дыхание, следила за пререканиями Власа с Пантешкой. Иногда пробегал по ней тщетно задушаемый смех. Но последнее слово Карявого как будто прорвало плотину: оглушительный хохот вылетел из всех мужичьих грудей и долго стоял в воздухе. Обескураженный Пантешка отплюнулся и подошел к девкам. «Эй, Сашки, канашки мои!» — закричал он, бросаясь заигрывать с ними. Но его встретили руганью и оплеухами. Тогда он снова возвратился к мужикам.

Ты как же на лопатку-то на эту цепляешься? — с притворной любознательностью спросил его Влас Карявый, указывая на сиденье плуга, торчавшее в воздухе.

Польщенный Пантешка ободрился.

— Ты эфто не так понимаешь,— предупредительно сказал он и неизвестно для чего начал врать: — Я, к примеру, сажусь и берусь за колесо. И как взялся за колесо — тут уже прямо пущают. А я сижу и гляжу. Плуга направо — я сейчас напрямик ее. Плуга налево — я опять ее напрямик. Дело, брат, хитрое!

— Чего хитрее! — подтвердил Влас с иронией.

— Рукомесло тоже,— со вздохом вымолвил дряхлый старик.

— А ты думал, не рукомесло,— живо откликнулся Пантешка, видимо стараясь заручиться расположением мужиков.— Я, брат, три лета на ней страдаю. Однова вот руку пере-

шибла, окаянная, повыше локтя,— он указал,— а в другой ногу искорежило,— он снова указал.— Вот оно какое рукомесло.

— Э! — с любопытством воскликнули в толпе.— Как же это тебя угораздило?

— Очenно просто,— сказал Пантешка и опять почувствовал в себе героя.— Лемех зацепился за корень за какой аль за голыш, тебя и ковырнет вверх тормашками. Я, брат, разов семь летал. Спасибо, больше все мордой отвечаешь.

— А прежде вы по какой части происходили? — спросил его Влас Карявый.

— В кучерах езжал.

— Тэ-эк. И по купцам живали?

— Живал.

— Едали хорошо?

— Здорово кормили. У нас, у купца Аксенова, от масла переслеппли все!

— Тэ-эк... А с лопатки-то с эстой много ли летал? — бесхитростно осведомился Карявый, указывая на плуг.

— Семь разов.

— Ну и летать тебе, видно, до веку! — хладнокровно заключил Влас при общем хохоте предстоявших.

Пантешка обиделся и отошел.

Илья Петрович ходил посреди народа и чувствовал, как земля под ним горела. Настроение толпы глубоко радовало его. Здоровенный ее хохот, беззастенчивый и грубый юмор, свободолюбивое отношение к действительности, насмешки над этим хитрым чудовищем, на славу сооруженным в Ипсвиче,— все это как нельзя более отвечало его теоретическим представлениям о народе и с особенной настойчивостью возбуждало коренные его влечения. «Что, буржуй, съел гриб!» — подсмеивался он над Захаром Ивановичем и нисколько не разозлился, когда тот, выведенный из терпения, сказал: «Э, брат, и дикари глумятся над Европою, а она все-таки пожирает их через час по ложке!»

А Варя недоумевала. Неприязненное отношение народа к машине печалило ее. В этом отношении ей чуялось дикое и упорное невежество. Она вспомнила некоторые факты из истории (за которую так еще недавно получила на выпускном экзамене высшую отметку) — Стефенсона, Везелиуса, Джиордано Бруно. Вспомнила судьбу «Басурмана», которым зачитывалась в детстве. Вспомнила наконец печальную участь многих открытий и изобретений, так живо расска-

занную в иллюстрированных английских волюмах... И в лице огорченного Захара Ивановича, досадливо сдвигавшего свои брови, почудился ей новый мученик за идею. Тем больше удивляло ее поведение Тутолмина. Он казался таким веселым и ясным, он так сочувственно относился к невежественным выходкам толпы, так явно радовался плохому и медленному действию локомобиля, что даже возбудил гнев Вари. Никаких оправданий она не могла подобрать этому поведению Ильи Петровича,— хотя внутренне и признавалась, что желала бы видеть эти оправдания.

— Почему Илья Петрович такой странный? — спросила она Захара Иваныча.— Неужели он радуется их невежеству? — И она указала на толпу.— Но ведь это же гадко!

Захар Иваныч тотчас же заступился за приятеля.

— Бог с вами, Варвара Алексеевна,— горячо сказал он.— Илья на смерть бы пошел за них и за их счастье!

— Но разве счастье в невежестве?

— Эх, долго об этом говорить! — ответил Захар Иваныч, с нетерпением посматривая на стрелку манометра, подвигавшуюся к вожделенному градусу,— да мы вряд ли и поймем друг друга... У него, видите ли, принцип есть: все для народа, и все посредством народа... Одним словом, он почвенник. И принцип этот, кажется ему, теперь торжествует, потому что другой-то, противоположный, затемнен... Он и рад. Вот видите, я говорил, что не поймете! — добродушно добавил он, мельком взглядывая на Варю, и побежал к плугу.

Варя действительно ничего не поняла, но Тутолмин внезапно предстал пред нею в ином освещении. Снова какая-то загадочная и таинственная пелена окутала его, и снова проснулось в ней желание проникнуть в его душу и узнать мысли, руководящие странными его поступками.

Наконец колесо завертелось с невыносимым грохотом и потянуло канат. Плуг подкатился к позиции. Пантешка, засучив по локоть рукава рубашки и до невозможности сдвинув набекрень картуз, сел с видом отчаянной решимости и обеими руками ухватился за колесо рычага. Для пущей тяжести рядом с ним, на раме, поместился Мокей. Дали свисток тому локомобилю. Толпа застыла в каменной неподвижности. На висках Захара Иваныча выступил пот. Две-три минуты прошли в немом ожидании. Вдруг цепь напряглась и плуг судорожно дрогнул. Пантешка повернул рычаг; лемеха вонзились в землю... Тонкий пласт разорвался и метнулся в сторону... И тяжелая громадина, не-

уклюже колыхаясь, двинулась вдоль пашни. «У-лю-лю-лю!» — закричали ребятишки, с визгом бросаясь вслед за плугом. В толпе послышались одобрительные восклицания: «Вот так долбанула!.. Гляди, гляди, ребята, выворачивает!.. Словно боров!.. Ай да окаянная!». Но вскоре это настроение снова сменилось насмешливостью. Дело в том, что лёмеха действительно скверно отваливали пласт и ножи плохо подрезывали его.

— Швыряет здорово! — сказал Влас Карявый, ощупывая мозолистыми своими руками неподрезанную глыбу.

— Ни красы, ни радости,— заметил другой.

— Может, она к тому и приспособлена, чтоб, к примеру, в снежки с ребятами? - серьезно предположил Влас. Смешливое настроение неудержимо овладело толпой.

Когда плуг прошел другую полосу, Тутолмин спросил Власа:

— Ну что, дядя Влас, каково?

Влас почесал затылок.

— Игрушка занятная,— ответил он с обычным своим выражением лукавой простоватости,— игрушка такая, что и Волхонку на ней можно проиграть. А дорого стоит?

— Говорят, семь тысяч.

— А-а! — протянул он с удивлением и, помолчав, продолжал: — Что ж — деньги плевые! Нам ежели потянуться два годика да притащить барину оброк, вот-те и игрушка готова... Ковыряй до нового оброка!

Тутолмин не утерпел и ударил Власа по плечу: «Молодчина ты, дядя!» — сказал он. На что Влас кротко отвечал: «Вашею хвалою хлеб едим, батюшка барин»,— чем снова вызвал одобрительный смех окружающих.

Захар Иваныч, конечно, и сам замечал, что плуг пашет неладно. Он ходил за Пантешкой и внимательно всматривался в работу лемехов. Да, кроме лемехов, и локомобили грешили. Когда плуг приближался к какому-нибудь из них, канат начинал крутиться с преувеличенной быстротою. Тогда плуг прыгал, порывисто вздрагивал, а Пантешка изо всех сил кричал: «Стой, стой, дьяволы!» — и, словно утопающий, отчаянно махал руками. Что касается Мокея, то он в таких случаях обыкновенно сваливался на мягкую землю и спокойно предоставлял облегченному плугу метаться сколько ему угодно.

Наконец опыт прекратили. По окончании его Влас Карявый подошел к Захару Иванычу и сказал:

— На водочку бы с вас, Захар Иваныч.

— Это за что? — удивился тот.

— Как же! Мы старались, Захар Иваныч. Мы, может, сколько животов из-за ней, окаянной, надорвали.

— Дай, дай! — сквозь смех произнес Тутолмин.

Захар Иваныч опустил в ладонь Карявого несколько монет. Карявый легонько подбросил их и спросил с глубочайшей серьезностью:

— А по какой цене, Захар Иваныч, вам пахота эта ляжет?

— Не знаю...— сухо ответствовал Захар Иваныч.— Гляди, не дороже вашей.

— Тэ-эк-с. Значит, теперь нам по две красненьких будешь выдавать?

— Как по две? За что?

— Опять-таки за десятинку.

Захар Иваныч уразумел ядовитость намека.

— Ну, и по четыре рублика будете наниматься,— с усмешкой сказал он.

— Будем, это верно,— подтвердил Карявый,— и четыре рубля — цена. Ну мы будем пахать, а на этой-то?

— И эта будет пахать.

— Во как,— с почтительностью сказал Карявый и, подумав, заметил: — А ловок у тебя Пантешка править: на этой его пашне ежели голыши посеять — и те, гляди, дурманом обродятся...

— Ну, это мы посмотрим,— угрюмо вымолвил Захар Иванович и отошел от Власа. Толпа со смехом и шутками направилась к селу. Девки звонко затянули песню. Илья Петрович глянул им вслед, и сердце его заиграло. Народ, с торжеством и с сановитым выражением достоинства удаляющийся с поля, показался ему сильным и крепким богатырем, изумительно великодушным в своем превосходстве и кротким во всем сознании сказочной силы своей. «Народ, народ!..» — в восторге воскликнул он и даже еще что-то хотел прибавить, но тут Варя позвала его, и он поспешил к шарабану.

VII

— Илья Петрович, что такое «почвенник»? — спросила Варя, когда они довольно далеко отъехали от плуга.

— Почвенник? — протянул Тутолмин и с удивлением посмотрел на девушку.

— Да, почвенник,— повторила она настоятельно.

В этой настоятельности Тутолмину почудилась капризная нотка.

— Да не костюм от господина Ворта,— насмешливо сказал он.

Варя вспыхнула.

— Я вас серьезно спрашиваю, Илья Петрович,— произнесла она, и в ее дрогнувшем голосе послышались слезы.

— Серьезно,— вымолвил Илья Петрович, несколько устыдившийся своей грубости.— На что же это вам серьезно, милая барышня?

— Да уж надо,— уклончиво ответила девушка и подумала про себя: «Как он, однако же, фамильярен».

— Как вам сказать...— И он, подумав, добавил, усмехаясь: — Почвенник — человек, под которым почва.

— Вы опять шутите,— печально сказала она,— а между тем мне ужасно бы хотелось знать... Неужели только потому, что я такая глупая, вы не хотите сделать меня умнее?

Упрек этот подействовал на Илью Петровича. «А и в самом деле, что это я ломаюсь,— подумал он,— может, и вправду человеку тьма опротивела»,— и он с невольным любопытством заглянул Варе в лицо. А она пристально и тоскливо смотрела вдаль и, тщетно осиливая упрямое волнение, кусала губы.

— Вовсе вы не глупая,— серьезно произнес Тутолмин.— А дело вот в чем: что бы вы возмечтали о субъекте, который, не имея об арифметике понятий, захотел бы алгебраическую теорему постигнуть?

— Я вас не понимаю,— сказала Варя, быстро оживившаяся при первых звуках серьезной речи.

— А, однако, это весьма просто. Вы смекаете, что обозначает «народный вопрос»?

Девушка затруднилась.

— Народный вопрос... Это, вообще, о мужиках...— нерешительно ответила она.

Тутолмин снисходительно улыбнулся.

— Вот и видно, что арифметике не обучены. Ну как же я вас буду в «теоремы» посвящать?.. Скажите вы мне, милая барышня.

— Но ведь это же последователи принципа какого-то,— робко вымолвила Варя.

— Какого же-с? — саркастически осведомился Илья Петрович, которого вдруг неприятно резнула наивность девушки.

— Погодите...— припоминая, произнесла она.— Да! Все для народа, и все... ну, одним словом, все чтобы народ сделал для себя сам.

— Ловко! — отрезал Илья Петрович и засмеялся.— Нет, дело не так просто,— продолжал он,— не так оно просто, драгоценная барышня, и не так бессовестно. Это, может, у вас в гимназии — ведь вы в гимназии изволили обучаться? — может, у вас в гимназии какой-нибудь штатный снотолкователь и внушал вам; только он напрасно. Ежели есть у «почвенника» враги, ежели есть у него лихие люди — так это именно вот из тех гусей, которые «самопомощь»-то эту провозглашают... Вы удивлены, милая барышня?.. Вы туго понимаете?.. Да, такие вопросцы посложнее вопросов вашего затейливого туалета... Это уж по совести надо говорить... А, однако ж, и туалет ваш в этой же сфере крутится. Вы опять удивлены?.. Между тем это воплощенная простота, хорошая вы моя. И ваш туалет на горбе «народного вопроса» танцует, и ваш щегольской экипажец, и вот те дивы заморские, на которых так опростоволосился мой закадыка Захар Иваныч...

Но тут Илья Петрович взглянул на Варю и нахмурился. В ее лице и вообще во всей ее позе напряглось такое жадное внимание и с такой пытливой сосредоточенностью устремлены были на него ее глаза, что ему сразу сделалось стыдно. «Как глупо!» — внутренне воскликнул он, подразумевая свои шпильки и уколы, перемешанные с многозначительными намеками... И вместе с этим глубокая внимательность девушки приятно защекотала его самолюбие. Легкое возбуждение снова поднялось в нем. Он почувствовал, что находится в ударе. Факты и мысли, как в ключе, бились в его воображении и, казалось, только ждали предлога, чтоб воплотиться в слово и рядом стройных картин встать пред слушателем. И каким слушателем! Жаждущим, молящим, изнывающим в немом и чутком ожидании... «Принципиальный» человек проснулся в нем.

— Народный вопрос, милая барышня, имеет историю длинную, но в современном его виде недавно гуляет по нашим нервам,— строгим и несколько пересохшим голосом

произнес он.— Но уж начинать, так начнем с Адама, и прежде чем «вопроса» коснуться, потолкуем о почве, этот вопрос возрастившей...— И он кратко и выразительно перечислил ей внешние факты русской крестьянской истории. Государственное собирание земли на Москве; немощь в крестьянском обиходе, вызванная этим собиранием; разброд как следствие этой немощи; насильственное прикрепление к земле; беспрерывный стон народный, заглушаемый визгом политической суетни; торжественное шествие государственной машины под гул победоносных и иных кампаний,— вот какими чертами он определял эту историю. А дошед до времен пугачевщины — с иронией сказал:

– Это реприманд нумер первый.

Затем в его живом и резком изложении опять потянулись однообразные факты. Систематическое расширение крепостного права. Редкие вздрагивания крестьянского горба, изнывавшего под тяжестью государственных забав. Английский пластырь на зияющих язвах. Наивное свирепство поместного дворянства и плотоядной бюрократии. Наконец, целая сеть кровавых расправ, с особенной настойчивостью расползавшаяся по тихим захолустьям и идиллическим дворянским гнездам,— все это вырастало и тянулось пред Варей стройной и сокрушающей вереницей и неотступно заполняло ее воображение.

– Там повар, как куренка, резал свою барыню; там сенная девка подсыпала барину зелья в питье; там мужики дубьем расправлялись со своим мучителем; там просто-напросто «властей не признавали» и объявляли заведомую войну изъедавшему их режиму; так назревал и насыщал атмосферу тяжким предвестием грозы крестьянский протест,— говорил Тутолмин, и на этом прервал свою речь насмешливым примечанием: — Это был второй реприманд.

На освобождении крестьян он покончил с их историей.

— Теперь у нас иная песня потянется,— сказал он,— теперь мы доберемся до «народного вопроса», милая барышня...— И прямо указал на Радищева.— Это первый печальник народный,— вымолвил он,— первый, если можно так выразиться, *принципиальный* печальник, то есть сознательный, идейный...— Затем с иронией упомянул о «Бедной Лизе» Карамзина, о чувствительных европейских влияниях во вкусе изысканных пасторалей Ватто, о «романтическом» народолюбии декабристов, о «народности», возвещанной правительством Николая... Когда же дошел до сороковых

годов и коснулся литературного направления, вырастившего «Записки охотника» и «Антона Горемыку», ирония его пропала и заменилась несколько пренебрежительной снисходительностью. Он признавал за направлением воспитывающее значение и в этом смысле — известную заслугу, но немного давал ему цены как серьезному выражению крестьянских нужд и крестьянских стремлений. Впрочем, упомянул он об этом вскользь, и Варя больше по тону его догадалась, что он не большой поклонник «художников» сороковых годов.

Но зато в его голосе явно зазвучали теплые нотки, когда он заговорил о немце Гакстгаузене, о трудах Беляева, о первых исследователях народного быта, народной поэзии, народных понятий о праве и религии. И тут, как бы мимоходом, посвятив Варю в течение западноевропейских социалистических идей — течение, захватившее своими волнами прогрессистов шестидесятых и семидесятых годов, он в широких и ясных чертах представил ей идеальный путь народного развития. «Община — в экономической жизни, песня и сказка — в бытовой, обычай — в юридической,— вот вехи, по которым долженствовало направиться этому развитию»,— говорил он. И тут же пояснил, что и то, и другое, и третье он понимает в смысле *принципа*, в смысле *типа*, а отнюдь не в смысле формы, ныне застывшей на известной зарубке. (Варя совершенно ничего не поняла из этой тирады, но переспросить не осмелилась.)

Покончив с идеалами, Тутолмин воскликнул:

— Но тут-то и начинается вопрос! — и с напускной шутливостью, плохо скрывавшей его волнение, обратился к Варе: — Вы, конечно, не понимаете, что такое «вопрос»? Вот что, милая барышня: ежели вам захочется сторублевое платье купить, а папашенька сие воспрещает,— это и будет обозначать «вопрос». В данном случае «вопрос сторублевого платья».

Варя даже не усмехнулась. Она только слушала да вникала неотступно, да смертельно боялась проронить хотя̀ одно слово.

Илья же Петрович перешел к «вопросу». Прежде всего он указал ей на страшное несоответствие действительности с идеальными построениями. Неудержимо увлекаемый предметом речи, глубоко взволнованный рядом воспоминаний, мучительных и мрачных, он в каком-то тоскливом пафосе раскрывал перед Варей бесконечные перспективы народ-

ных скорбей. И народ вставал перед нею наподобие Прометея, прикованного к скале... Всеобщее разорение; бесшабашная оргия кулаков, заполонивших деревни, и свирепство патентованных пиявок; тлетворное дуновение себялюбивых начал, входящих в села под флагом римского права; тяжкое изнеможение общины под напором неумолимых государственных воздействий; соблазны фабричного быта, разъедающие основы деревенского мировоззрения; голод, болезни, нищета; нивы, истощенные хлебом, пожранным Европой; розги становых и плети урядников наряду с ужасным молотком судебного пристава,— в таком выражении предстали пред девушкой невзгоды, терзающие Прометея. А Тутолмин, когда перечислил всю эту благодать, когда растревожил свои нервы до мучительной и ноющей боли какой-то,— остановился и сказал с деланной насмешливостью:

— В этом и состоит вопрос, драгоценная барышня.

Варя ничего не сказала. Она чувствовала только, что невыразимая печаль какой-то угрюмой и темной тучей надвигалась на нее и слезы горьким клубком подкатывались к ее горлу... Рысак шел развалистым шагом, звонко стуча копытами и изредка натягивая на себя свободно опущенные вожжи. С серого неба накрапывал мелкий и теплый дождь. Жаворонки низко перелетывали над полями и отрывисто выводили свои песни. На далекой речке суетливо крякали утки.

— Говорите,— прошептала Варя.

— Что же говорить? — грустно сказал Илья Петрович.— Старая история: ты на гору — черт за ногу... Ах, да,— спохватился он,— вы о «вопросе»-то напоминаете? Очень ведь вразумительно, как он произошел и в чем состоит. Произошел он оттого, что вам хочется платья, а папашенька вам сие воспрещает. А состоит — в ваших мероприятиях по приобретению сего платья и в тех подвохах, которые вы по поводу сего приобретения предпринимаете.

— Ваше сравнение не совсем удачно,— сказала девушка и просто посмотрела на Тутолмина.— От платья я могу отказаться и, следовательно, этим отказом решить мой вопрос... А ваш вопрос...— И тихо добавила: — Разве можно от него отказаться?..

— Правда, моя хорошая,— живо произнес Илья Петрович и ласково взглянул на Варю.— А за эту правду я уж вам изъясню, что обозначается словом «почвенник». По

секрету вам сказать, и слово-то это недавнее, да и в употреблении оно местном. Однако же вообразим, что нам до этого дела нет. Вообразили?.. Теперь приступим...— И он с комической торжественностью начал: — Ежели какой интеллигент и вообще деятель строит свои идеалы сообразно идеалам крестьянским — он почвенник. Ежели и в политическом, и в экономическом, и в бытовом обиходе он стремится к воплощению самобытных начал, скрашенных соответствующими научными указаниями — он опять почвенник. Ежели идею развития он полагает в развитии исконных форм народного — экономического и иного — мировоззрения и народного быта,— он снова и снова почвенник, милая барышня. Поняли?..

Но Варя вспыхнула и, в нерешительном смущении кивнув головкой, натянула вожжи. Рысак встрепенулся, жадно расширив ноздри, Тутолмин откинулся назад, и шарабан стремительно покатился к усадьбе.

У домика Захара Иваныча Илья Петрович слез. Но он не сразу вошел в комнаты. Он невольно подождал, пока Варя подъехала к крыльцу и ловко осадила рысака. Суровый и гладко обритый человек в кашемировом сюртуке поспешно вышел ей навстречу и помог сойти с высокой подножки шарабана. Конюх в щегольской безрукавке, с шапкою в руках, подбежал к рысаку и принял его под уздцы. Варя слегка оправила костюм и, важно кивнув суровому человеку, скрылась за блестящею дверью подъезда.

Неприязненное чувство охватило Тутолмина. Ему показалось, что он совершил какую-то измену, выложив перед этой надменной барышней запас сокровеннейших своих помыслов и мечтаний. И вдруг неодолимое презрение к себе, к своей податливости и впечатлительности поднялось в нем. «Разнежился! — воскликнул он с злобою.— В развиватели поступил!.. Романического героя захотел пробразить... Как же! Красивая щеголиха любознательность изволила выказать... благосклонность изъявила... в шарабане рядом с замухрышкой каким-то соблаговолила прокатиться»,— и он посмотрел на свое куцее пальтишко, кое-где испещренное пятнами, и сердито плюнул.

А Варя прямо прошла в свою комнату, рассеянно сбросила на руки Надежды пальто и шляпу и опустилась в кресло. Голова ее пылала. Отрывки сумрачных картин, имена, факты, слова Тутолмина смутно бродили перед нею в каком-то странном и привлекательном сочетании. Многого

она не понимала,— как, например, не поняла его последних слов о «почвеннике»; обо многом слышала прежде в совершенно ином духе и роде; со многим как будто и не могла помириться,— не могла помириться с его отзывом о декабристах, которых знала по «Русским женщинам», с его непочтительным отношением к «художникам» сороковых годов, из которых Тургенева боготворила, хотя и не читала его «Записок охотника»,— но совокупность его речей и мнений как будто открыла перед ней какие-то неизъяснимые глубины. Ей казалось, что даль внезапно расширилась перед нею и раскрыла бесконечные перспективы, и перспективы эти сверкали в чудных переливах загадочного и таинственного освещения и неотступно влекли ее к себе. Сердце ее ширилось и замирало и млело в каком-то сладком и порывистом трепете...

И повсюду вставал образ взволнованного, симпатичного и нервного человека. Она чувствовала, как между этим человеком и ею властительно образовываются какие-то нити, крепкие и нежные, и ей было тепло и отрадно от этого чувства. Она припомнила его голос, глубокий и мягкий, его простое обращение, которое вначале показалось ей таким грубым и фамильярным («Нет, это не фамильярность!» — воскликнула она теперь.), его ласковое участие. И она начала представлять себе подробности разговора, его насмешливый тон вначале, его увлечение потом... И вдруг сухая и резкая полоса прикоснулась к ней. «Боже мой, какая же я глупая! — воскликнула она и с отчаянием всплеснула руками.— Ничего-то я не знаю, ничему-то нас не учили!» И она снова стала возобновлять в своей памяти имена и факты, сообщенные ей Тутолминым. Но они бродили перед ней как тучки, разорванные ветром. Стройность, последовательность, смыкавшие их в законченные и живые картины, исчезли. И только их смысл, их внутреннее значение по-прежнему волновали душу девушки таинственным и неясным очарованием.

Тогда она в некотором даже ужасе стала припоминать свои познания. Но они, как нарочно, либо упрямо не являлись на отчаянный призыв ее памяти, либо представали в жалком и наивном убранстве. Явился Пипин Короткий — маленький и розовый старичишка — в сообществе с молодцеватым Карлом Бургундским; впорхнул расфранченный Людовик XIV под ручку с толстой дамой — Анной Австрийской и в сопровождении пронырливого старика в

длинной фиолетовой рясе — Мазарини. Вошел тяжелой поступью угрюмый Кромвель, окруженный толпою важных и чопорных пуритан с библиями в руках; приехал в каких-то носилках рыхлый и дебелый царь московский в ризе и митре; величественно приплыла благосклонная Екатерина II, окруженная раззолоченной и напудренной знатью. И сверкающий кортеж медлительно разгуливал под звуки различных маршей и гимнов и фигурировал на каких-то раскрашенных подмостках, высоко возносившихся над землею. Внизу в неясных и смутных очертаниях двигались массы. Массы эти орали как оглашенные, палили из ружей, дрались, кричали «ура» и «виват», перебегали с места на место бестолковыми волнами...

Вот и все. Затем перед Варей пробежала ощипанная и кургузая физика — необыкновенно похожая на цыпленка; математика, строгая и сухая как треска; пышная и надоедливая география со своими метрами, футами, меридианами, тропиками, штатами, городами, градусами...

Варя схватилась за голову и в тоске приникла к столу. Ей стало нестерпимо жаль этих лет, проведенных в гимназии,— потерянных лет и глупых, как теперь ей казалось, и гимназическая жизнь предстала перед ней не в виде лакированных пейзажиков, как представала прежде, а скучная, пошлая, пустая. Механическое усвоение разнообразных наук, сладкое замирание над романами, дразнящие мечты вперемежку с пустыми и наивными разговорами подруг... «Господи, как это мелко и ничтожно!» — воскликнула Варя и горько усмехнулась. А между тем и тогда были порывы и неясные стремления к какому-то свету. Некрасов волновал ее; и перед речами отца она благоговейно склоняла голову; она знала наизусть многие стихотворения из «Полярной звезды», которую однажды вручил ей Алексей Борисович с строгим наказом не давать никому...

И она достала из ящика тетрадку, в которую переписывала стихи, и небрежно зашелестила ее листами. Вот —

Добро б мечты, добро бы страсти,
С мятежной прелестью своей,
Держали нас в своей напасти...

Вот еще... Но среди таких мотивов явно превозмогали иные. С досадой и с каким-то чувством обиды она проследила эти «иные» мотивы, но на последней странице она прочитала:

Если ты любишь, как я, бесконечно,
Если живешь ты любовью и дышишь,
Руку на грудь положи мне беспечно —
Сердца биенья под нею услышишь.
О, не считай их...

И вдруг задумалась и вспыхнула стыдливым румянцем и туманно посмотрела вокруг себя. Но спустя минуту снова очнулась. И снова пришла в отчаяние. Ее приходили звать к обеду. Она не пошла. Она легла на кровать и, крепко прижимаясь к подушке, плакала, плакала неутешно...

Спустились сумерки. В комнате было тихо. Столовые часы однообразно и мерно звенели своим маятником. Варя поднялась и решительно подошла к столу.

«Добрый, хороший Илья Петрович,— порывисто писала она на листке прелестной репсовой бумаги от Дациаро,— помогите мне, спасите меня от пустоты. Я ничего не знаю, ничего не помню, но я страстно,— слышите ли — страстно, настойчиво, глубоко, хочу знать. Научите меня. Скажите, что читать. Приходите к нам чаще... Вы не поверите, как я изменилась. Я будто родилась вновь... Ах, вы не знаете, какое искреннее, какое горячее спасибо я вам говорю. Вы свет мне открыли. Вы дали мне жизнь... Вы... вы... хороший вы человек, Илья Петрович!.. Крепко жму вашу руку.

Варвара Волхонская».

А голый бронзовый мальчишка, копавшийся на столовых часах, лукаво поглядывал на Варю, прикасаясь к своим губам изящным бронзовым пальчиком.

VIII

Прошли недели. На деревьях затрепетали листья; в саду появились соловьи. С каждым днем солнце становилось жарче и небо ласковей простиралось над землею. Поля оделись всходами. Шумные грозы не раз тревожили воздух. Камыш на озере зазеленел как лук. Дикие утки плескались в заводях. В роще закуковала кукушка. Кроткие горлинки мелодично оглашали аллеи. Яблони начинали зацветать... Зóри погорали в небе долго и пламенно. Иногда мерцала шаловливая зарница. Из села по вечерам долетали песни и печально погасали за холмами.

Кучеренок Прошка аккуратно ездил в город и привозил Варе книги. Она брала их по выписке Тутолмина. Часто той или другой не оказывалось в городской библиотеке, больше промышлявшей Рокамболем, и тогда летели требования в Москву и Петербург.

Прислуга находила, что барышня изменилась, и прислуге не нравилось это. Особенно строгую Надежду возмущали новые приемы Вари. Ее сдержанность, мягкость ее тона, участие к мужикам и бабам, иногда приходившим на заднее крыльцо попросить хины, а особливо осторожное и ласковое отклонение послуг,— все это подымало желчь в Надежде и ужасно противоречило стародавним ее понятиям о барском достоинстве. «Какая вы барышня!» — с глубоким чувством обиды говорила она, когда Варя без ее помощи застегивала пуговицы своих гетр или убирала голову.

Замечал и Алексей Борисович перемену в дочери. Но он нашел, что перемена эта в новом и привлекательном освещении представляет девушку. В ней, например, теперь уж не было прежней резкости манер, то надменных, то чересчур шаловливых,— манер, правда, очень грациозных и очень идущих к ней, но придававших ее фигуре слишком уже колоритный, слишком законченный облик. И вот эта-то «законченность» сменилась теперь мягкостью и какою-то загадочной теплотою, неясно сквозившею в тихих движениях девушки, в сосредоточенном ее взгляде, в ее речах, рассеянных и кротких... Алексей Борисович догадывался и о причинах перемены, но смотрел на эти причины скорее с интересом «художника, нежели с опасениями отца». «Весна и девятнадцать лет...— с легкою дозой цинизма рассуждал он,— пусть балуется. Притом же ведь эти «лапотники» (так он прозвал Илью Петровича) ужасные... вислоухие!» И он с удовольствием вспоминал свои волокитства, в которых он уже, во всяком случае, не бывал «вислоухим».

Но иногда он с неприязненным удивлением думал о вкусах Вари. «Откуда у ней эта неразборчивость,— размышлял он, отрываясь от каких-нибудь «Типов Шекспира» в великолепном немецком исполнении,— уж во всяком случае не от меня. Разве от матери?.. Непременно от матери. Той ведь нравилось все вульгарное,— и добавлял с усмешкой: — Любопытно, любопытно»...— и снова погружался в смакование прелестной гравюры, изображавшей кроткую

Дездемону или леди Макбет с негодующим выражением на гордом лице.

Но он встречался с Тутолминым редко и с неохотою. Нужно сознаться, что в глубине души он боялся этих встреч. Он боялся тех познаний, с которыми Илья Петрович вступал в разговоры о политике, истории, общественной жизни и т. п. Он признавался внутри себя, что его сведения отстали, что интересы его к этим вопросам охладели, что они нагоняют на него скуку... Рассуждений же об искусстве Тутолмин явно и решительно избегал, и, кроме того, Волхонского коробила внешность Ильи Петровича — его манеры, его язык, грубый и аляповатый, его далеко не изысканный и даже грязноватый костюм, его привычка есть с ножа, его неряшливые ногти.

Тутолмин совершенно разделял эти чувства Волхонского. Как тот не переносил его внешности, так Илья Петрович брезгливо относился к вылощенному виду Алексея Борисовича. Эти белоснежные воротнички á la Delavar или jeune France, эти кокетливо подвязанные галстуки, эти беспрестанные смены изящных костюмов, эти руки, выхоленные и нежные, этот тонкий запах иланг-иланг, всегда веявший от старика,— все претило ему и невыносимо досаждало его демократическим вкусам. В соответствии с этим и к идеалам Волхонского он относился, и к его красивой и плавной речи, унизанной пикантными ядовитостями, и к его эпикурейским наклонностям.

Но он близко и хорошо сошелся с Варей. Он читал ей, рассказывал... И с наслаждением примечал плоды неустанных своих воздействий. Он с какой-то жадностью следил, как мысль девушки росла и развивалась, и в ее умной головке возникли основы стройного миросозерцания. Шаг за шагом, черточка за черточкой, медленно и, казалось, прочно подвигалась работа. Многое давалось слишком легко, перед другим представали непреодолимые трудности. Там и сям сказывались в девушке привычки, наклонности, отсутствие навыка к последовательному мышлению. Часто Тутолмину приходилось довольствоваться ее верою, инстинктивным пониманием, проникновением каким-то. Но помимо этих преград, новый человек вырастал в девушке ясно и неотразимо. Правда, иногда некоторые неожиданности смущали Илью Петровича и заставляли его с тревогой вглядываться в «нового человека»,— так бросалась ему в глаза слишком большая вера девушки в его личные достоинст-

ва, слишком восторженное преклонение ее перед его авторитетностью, его превосходством. Но это были смутные тени на поверхности гладкой и прозрачной. Обыкновенно они уступали место какому-то отрадному и горделивому чувству самодовольства, и если оставляли по себе какой-либо след, то лишь в том волнении, сладком и мечтательном, которым переполнялось все существо Тутолмина.

И за этими сладкими ощущениями, за этими речами и наблюдениями своими Илья Петрович как-то незаметно позабыл о существовании своей «памятной книжки». Он уже не спорил с Захаром Иванычем о значении капитализма в России (чему тот был очень рад); он уже записывал песни и бытовые обрядности, которые от времени до времени приносил ему Мокей, с видом какого-то неотступного долга; он не начинал давно задуманного очерка «из быта батраков»,— он при первой возможности уходил в дом, в сад и говорил, гулял с Варей, катался с ней по полям. Незаметно для себя, ею одной, ее пленительным образом, всюду его преследовавшим, он переполнил свое существование.

Что происходило с ней — трудно сказать. Она и сама не знала, какие ощущения заполонили ее душу и придали ее нервам изумительную чуткость. В ней что-то совершалось и зрело с медлительной непрерывностью. Но что? В этом она не могла дать себе отчета. Все окружающее приняло в ее глазах какое-то особое, неизвестное ей дотоле выражение. Слушала ли она соловьиную песню, мелким серебром стоявшую над садом, смотрела ли на вечернее небо, в котором пламенел закат и неясно мерцали звезды, следила ли за полетом жаворонка, в сверкающем трепете взлетавшего к солнцу, гуляла ли по тенистым аллеям сада в сумраке и тишине душистой ночи,— везде преследовала ее какая-то задумчивая и приятная печаль. И особенно она полюбила даль, замыкавшую необозримые волхонские поля. Любила она ее в переливчатом блеске солнечного утра, и в туманных очертаниях знойного полдня, и в зареве заката, жарком и пышном, и в ту пору пасмурной погоды, когда эта даль синела,— синела без конца и своим загадочным простором рвала и терзала душу невыносимой тоскою...

И когда она была одна и ждала обычного появления Тутолмина — неспокойное волнение охватывало ее. Дыхание стеснялось. Сердце билось в надоедливой тревоге... Но появлялся он, и волнение проходило. Без всякого трепета жала

она его руки и смотрела ему в лицо и начинала беседу. И все существо ее погружалось в тихое и ясное блаженство.

Книг она почти не читала. Все, что было в них, обыкновенно рассказывал ей Тутолмин. И в его изложении книги эти ложились на ее душу резкими и незабываемыми чертами. Иногда он читал ей. Когда же сама она принималась читать, с нею совершалось что-то странное. Не то чтобы она ощущала скуку или плохо понимала,— нет, но мысли и факты, представляемые книгой, воспринимались ею как-то сухо и недоверчиво. Именно — сухо. Им недоставало какой-то плоти, каких-то живых и привлекательных красок, которые приносило с собою изложение Тутолмина или его чтение,— и они толпились перед ней стройными, но безжизненными колоннами, холодные и черствые, как мертвецы. И книга выскользала из рук, и взгляд неотступно уходил в глубь сада, где в тени пахучих лип щелкал голосистый соловей и меланхолическая иволга тянула свои переливы...

Иногда ей казалось, что она любит, и тайное опасение закипало в ней. И она представляла его себе близким человеком, мужем... Но какая-то враждебная струя быстро охлаждала ее мечтания, и где-то далеко, в самой глубине души, смутно шевелилось неприязненное чувство. И вслед за этим какая-то досада вставала в ней — она злилась на себя, на свою мечтательность, и — мгновенно воображала Илью Петровича уже не мужем и не близким человеком, а чем-то важным, светозарным, недосягаемым.

Раз выдался хороший денек, недавно прошла гроза. Гром еще рокотал в неясных и внушительных раскатах. На дальнем горизонте чернела туча... Но небо очистилось и с веселой ласковостью простирало свежую свою синеву. Солнце сияло. В теплом воздухе, ясном и прозрачном, как хрусталь, стоял крепкий запах березы и тонкое благоухание цветущих трав расплывалось непрерывными волнами. Листья деревьев, обмытые дождем, блистали кропотливым блистанием и радостно лепетали. Птичьи голоса звенели особенно задорно. Яркая зелень полей и муравы, вспрыснутая влагой, била в глаза мягкостью и сочностью своих тонов. Озеро недвижимо сверкало. Мокрый камыш как будто замер в чутком и осторожном безмолвии.

Варя с Тутолминым прошли сад и вышли на поляну.

Кругом расстилалось поле яровой пшеницы. Легкий ветерок ходил вдоль поля голубыми волнами и пригибал к земле молодые стебли. Дальше извивалась река в недвижимом блеске. За рекою вставали холмы и виднелась бледно-зеленая рожь. Проселочная дорога тянулась по ней черною лентою и пропадала в прихотливых зигзагах. Вверх по течению реки открывалась даль. Теперь в ней легкими волнами курились испарения, и солнечные лучи заманчиво трепетали в них... Очертания церквей приветливо сверкали в отдалении. Смутно чернели поселки... Густая зелень кустов резко обозначалась среди полей. В голубой высоте звенел жаворонок.

Варя села на копну сена, и Илья Петрович поместился около нее. Она облокотилась на руку, с которой спустился рукав вышитой малороссийской рубашки, и смотрела вокруг и слушала. Тутолмин читал ей новый очерк знаменитого «народника-беллетриста». Он читал с увлечением, с жаром; он весь отдавался рассказу, в котором ему чудился возврат автора к верованиям и идеалам «почвенников». Он этим рассказом крупного и сильного противника особенно хотел поразить Варю, и особенно оттенить те принципы, которые развивал ей доселе.

А она застыла в жадном и страстном внимании. Но не рассказ знаменитого «народника-беллетриста» слушала она, не картины его суровой и решительной кисти — подобной кисти Репина, возникали перед ней,— она слушала звуки голоса Тутолмина, слушала радостное щебетанье жаворонка, мелькавшего в небе, слушала отдаленный птичий гам, висевший над садом, и унылое кукованье кукушки, притаившейся в ближней роще... И картины какого-то огромного счастья надвигались на нее пленительною вереницей, и волны изумительного восторга затопляли ее душу.

И все ее существо переполнилось знойным желанием. Она внезапно обвила руками шею Тутолмина, и вся в каком-то изнеможении, трепетном и стыдливом, вся пронизанная какою-то горячей и мелкой дрожью, приникла к его груди. «Люблю тебя...» — прошептала она едва слышно.

Он опустил книгу. «Любишь?..» – в растерянном недоумении произнес он. И вдруг почувствовал, что радостное стеснение перехватило ему дыхание. И до такой степени стали ему ясны теперь и беспокойные тревоги, и сладкие ощущения, волновавшие его душу во все время сближения с Варей, и так невыразимо дорога стала ему эта девушка...

Он прикоснулся губами к ее затылку, от которого пахнуло на него тонкими духами, и тихо погладил ее голову. «Дорогая моя, невеста моя»,— сказал он. Она подняла лицо и блестящими, радостными глазами посмотрела на него; щеки ее пылали, полуоткрытые губы как бы пересохли от жажды... Тутолмин в умилении смотрел на нее...

Прошло несколько мгновений.

— Мы теперь будем на «ты», да? — слабо прошептала Варя.

— О, непременно! Раз если любишь — разговор короткий, родимая моя,— ответил Илья Петрович.

Варя хотела было спросить: любит ли он ее и как, но не спросила, а тихо отняла руки и положила голову на его плечо. А он, счастливый и безмятежный, начал развивать перед ней свои планы. Она непременно должна ехать в Петербург и слушать лекции на высших курсах. Курсы дадут ей факты — научную основу для ее стремлений, полезные знакомства и связи. Он поездит по деревням, соберет материалы для книги, которую думает написать — «О проявлениях артельного духа в пореформенной деревне, в связи с стойкостью русских общинных идеалов вообще»,— а к зиме возвратится в Петербург, и они заживут там на славу. Впереди же... о, впереди масса работы, масса честного и светлого труда — рука об руку с верными «однокашниками», с товарищами, испытанными в лихую и жестокую годину.

Варя слушала его, кивала головкой и улыбалась кроткою и блаженной улыбкой.

Назад они возвращались рука с рукою. Вокруг них болтливо лепетали березы, и нежные липы задумчиво шептались, и гремели неугомонные соловьи; над ними висело побледневшее небо и тихо двигались румяные облака; вдали сквозило голубое озеро и белелась у берега лодка, красивая как игрушка... «Милый мой, поедем на лодке!» — сказала Варя и бегом пустилась к берегу. Илья Петрович последовал за ней. Они отчалили; иловатое дно зашуршало под лодкой. Весла блестели и разносили звенящие брызги... Сад удалялся со своим шумом и с пахучею тенью бесконечных аллей... Купы зеленого камыша медлительно тянулись им навстречу... В прозрачной воде прихотливо извивались водоросли.

Лодка долго плавала по озеру. Она заходила и в молчаливые заводи — кругом которых сторожко и важно стоял

частый камыш, и где особенно ясно отдавались удары весел о корму и мерный всплеск воды. Она приставала и к островам, на которых непроходимой чащею рос гибкий тальник и гнездились дикие утки. Она приближалась и к тому берегу, над которым в глубокой дремоте стояла рожь и возвышались холмы круглые как купол. Иногда утки, встревоженные ее приближением, тяжко взлетали из камыша и резко крякали. Тогда серебристый смех Вари вторил этой шумной тревоге и долго стоял в воздухе, и весло гремело о корму гулко и часто. А солнце зажигало запад, и небо розовым сводом опрокидывалось над озером. В усадьбе ослепительно блестели окна. Шпиц колокольни пламенел как свеча. Отражение водяной мельницы стояло в воде ясно и живо. Смутный шум колес меланхолически разносился в чутком воздухе. Откуда-то из-за сада тоскливо тянулась песня.

Заблаговестили к вечерне. Протяжный колокольный гул плавно огласил окрестность и звенящим отзвуком разнесся по воде. И Варя встала во весь рост и, заслонившись ладонью от заходящего солнца, огляделась. И вдруг — и сад с вершинами деревьев, позлащенных закатом, и тихое озеро, и холмистое поле, и усадьба, и крылья английской мельницы, недвижимо распростертые в бледном северном небе, и село, приютившееся под ракитами, и сквозные облака, пронизанные горячим золотом,— все это предстало Варе чем-то важным и внушительным и вместе бесконечно дорогим и бесконечно близким. И она смотрела вокруг широкими глазами, и запоминала, и любовалась, вся охваченная теплотою какого-то серьезного и умилительного настроения... А Тутолмин покинул весла и, не сводя восторженного взгляда с лица девушки, залитого розовым сиянием, крепко и значительно сжимал ее руки. Вода неутомимо журчала под кормою и робко плескалась и убегала вьющимися струйками... Ласточки носились над водою.

Алексей Борисович встретил Варю на балконе. Он небрежно разрезывал новую книжку «Nouvelle Revue» и от времени до времени прихлебывал чай, стоявший перед ним на серебряном подносике. Около него лежали вскрытые письма и целый ворох газет и журналов.

— Что, m-lle, с лапотником на лоне природы услаждались? — с обычной своей усмешкой сказал он, не без удо-

вольствия посмотрев на девушку.— Что, он не сочинил еще нового «отрывка» о мировом значении артельного мордобоя?

— Ах, как это тебе не надоест, папа,— возразила девушка,— лучше расскажи, что нового,— ведь это почту привезли?

— Что нового! Новости наши вечные. В русских журналах до того все закоулки пропахли мужиком...

— Опять...— с упреком сказала Варя.

Алексей Борисович засмеялся.

— Что делать, милая, никак не могу приучиться к мысли, что лапоть парадирует в роли «властителя дум»... Прости!.. Ну что еще,— в газетах обычный трепет и вилянье вперемешку с намеками на то, чего не ведает никто. Сферы делают мужичку глазки, что, однако, не особенно должно беспокоить нашего брата плантатора... Потом обычные пейзажи — воровство, кражи, казнокрадства, похищения, растраты... Ах, моя прелесть, что же и делать со скуки благородным россиянам — не кобелей же в самом деле топить... Pardon,— поправился он в скобках, но тотчас же с лукавством добавил: — Ты, впрочем, вероятно, привыкла к *народным* выражениям...

— Опять...— повторила Варя.

— Прости, прости... забываю, что ты еще не *обнародилась* до похвальбы грязными манжетками...

— Папа!

— Ну что еще... Много получил писем. Из Петербурга все больше точки и остервенелые доносы на скуку. Впрочем, Фонтанка воняет по-прежнему. В заграничных — жалуются на курсы и на кухню. Представь себе, подлецы немцы — до того онаглели, даже на желудки наши покушаются! Вот пишет Савельев из Карлсбада: «...Когда приходит время обеда — меня начинает тошнить: так все скверно готовят и баснословно дерут; например, за бифстекс (1/3 нашего) 1fl. 60 kr., что составит по курсу 1 р. 36 к., и тот вареный на бульоне, чтобы не жарить его в масле, из экономии; — к нему картофель жаренный в сале, по 5 крейцеров за штуку; яйцо — от 6 до 8 крейцеров за штуку; булочка в два глотка — два крейцера: по крейцеру за глоток»... и так далее. Каково!.. Скоро, кажется, до того дойдем — Европа нас в лакейскую не будет допускать!.. Ну что еще... Ну, разумеется, по курортам различные Балалайкины шныряют, или как там у Щедрина?.. Ах, да!..

Вот...— и он с живостью взял листочек с графской коронкой.— Ты помнишь своего кузена, Мишу Облепищева? Графа Облепищева?

— А,— быстро отозвалась Варя,— ну, конечно, помню: он такой милый.

— Так вот он пишет. Просит позволить приехать ему погостить в Волхонку с товарищем, с каким-то Лукавиным. Не помню,— в недоумении промолвил Алексей Борисович,— какой это Лукавин. Пишет: «Представляет из себя возникающую лозу, упитанную миллионами, но за всем тем — мил и благороден».

— Лукавин... Знакомая фамилия...

— Ах, ты думаешь, что это... известный? Может быть. Но в таком случае это его сын. Посмотрим сей отпрыск лаптя, оправленного в золото...

— Но... ты думаешь его пригласить?

— Отчего же? Дом велик. А если ты затрудняешься ролью хозяйки и вообще забыла некоторые наши «барские» привычки и «приобыкла» к иным... так я тебе «Хороший тон» от господина Гоппе выпишу.

Варя невольно рассмеялась.

— Приглашай, приглашай,— сказала она.

— А ты совершенно забросила музыку,— уже серьезно заметил Волхонский,— хотя бы «бычка» изучала под руководством господина... как бишь его?.. Ведь ты помнишь Мишеля — он без музыки жить не может.

— Надо рояль настроить, папа.

Алексей Борисович сейчас же распорядился послать в город за настройщиком.

Варя прошла к себе и, не снимая шляпы, села у окна. Сладкий запах сирени доходил до нее. На сад ложились тени. В кустах бузины щебетала малиновка.

Варя думала о своем кузене. «Каков-то он теперь?» — думала она и с удовольствием вспомнила время своего сближения с ним. Ей было тогда тринадцать лет. А он был такой тоненький и хрупкий и грациозный в своем пажеском мундире. Одно время он был влюблен в нее. Но это прошло быстро и незаметно. Истинной его любовью пользовалась только одна музыка. За роялью он забывал все на свете... Но, однако же, никогда она не забудет одной прогулки. Ей и теперь мерещится иногда зимняя лунная ночь с крепким морозом, необыкновенно высокое синее небо, простертое над бесконечными снегами, мелкое сверканье

инея на сугробах, протяжный визг полозьев, заунывный звон колокольчика, медленно замирающий в сумрачной дали... Вместе с Мишей и бабушкой (той самой, которая и до сих пор отстаивает аракчеевские порядки, а Алексея Борисовича иначе не называет как фармазоном) они устроили этот пикник в одну из рождественских ночей. Варя и теперь помнит, как близко сидел около нее румяный Мишель, и как горячо соприкасались их ноги, и как острая струя морозного воздуха веяла ей в лицо, а на душе было свежо и грустно. Позади голубым блеском светились колокольни губернского города и смутно замирал городской шум...

Вдруг она очнулась и мгновенно вспомнила сцену на поляне. Она живо вообразила себе и небо, и даль, и песню жаворонка, и лепет берез, пронизанных заходящим солнцем, и румяные облака... Но сердце ее билось ровно, и образ Тутолмина в каком-то тумане возникал перед нею. И странное чувство какой-то неудовлетворенности робко шевельнулось в ней.

IX

– Ну, как твои «одры»? — спросил однажды Захара Иваныча Тутолмин.

– Какие одры?

— Ну эти, как их там... плуга-то твои?

Захар Иваныч усмехнулся.

Да идут себе,— сказал он не без гордости.

— Идут? — в удивлении протянул Илья Петрович.— И Пантешка пашет?

— И Пантешка пашет.

— И пласт не раскидывается?

— И пласт не раскидывается.

— Чудеса! Что же ты со всем этим натворил, буржуй окаянный?

— Ничего не натворил. А лемеха установил; рабочим назначил премию; вместо щепок топлю антрацитом...

— И идет? – недоверчиво произнес Тутолмин.

— И идет.

Илья Петрович с неудовольствием прикусил губы.

Ну, этим ты погоди важничать,— немного спустя промолвил он,— плуг-то, может быть, у тебя и пашет, а уж в об-

щем ты оборвешься, буржуй! Как ни вертись, а мужик тебя слопает.

В это время Захару Иванычу подали лошадь.

— Да чего лучше,— сказал он, вставая и снисходительно посмеиваясь,— поедем со мной в поле, поглядишь, как хлеба у меня растут на возделанных нивах; как твой «каменный» мужик мягко с орудиями «капиталистического производства» обращается... Поедем!

Илья Петрович согласился.

И куда они ни приезжали, отовсюду веяло порядком и удачей. Озимая пшеница, рассеянная механическим способом, по земле, удобренной компостом и семенами, отобранными на машине, буйно и внушительно волновалась темными волнами. Из густо-зеленых ее перьев выметывался белый и жирный колос. Рожь превосходила рост человеческий. Она была в полном цвету и вместе с запахом, подобным запаху спирта, разливала в воздухе волнообразный палевый туман. Затем они осмотрели яровые. Синяя пшеница была чиста и высока. Просо отливало сочной и яркой зеленью. Турнепс и картофель заполоняли нивы шероховатой и грубой листвою.

Захар Иваныч радостными глазами осматривал поля.

— Тут прежде сеяли рожь,— говорил он, указывая на озимую пшеницу,— и продавали ее три с полтиной четверть. А я в прошлом году с этого поля пшеницу продал по шестнадцати рублей!.. На сем месте испокон веку овсы произрастали,— продолжал он, приближаясь к яровой пшенице,— пшеницу же сеяли и бросили: не рожалась. У меня она второй год родится; а цена ей — пятнадцать рублей... Турнепсом быков кормлю,— рассказывал он далее.— Картофель на винокуренный завод поставляю: важно берут с тех пор, как немцы рожь стали вывозить. Просо на пшено переделываю — локомобили зимою-то свободны, я их и приспособляю к рушке. Толку на водяной...

— Эка у тебя нутро-то играет! — насмешливо заметил Тутолмин, поглядев на Захара Иваныча.

— Друг! С чего ему не играть-то; результаты вижу!

— Так. А ты, буржуй, здорово отупел. Ну какие же это к лешему результаты?

— А что же?

- Иллюзии.

— Какие такие иллюзии?

— А такие. Талан свой зарываешь в землю — злаки-то и прут оттуда как оглашенные. А все-таки талан в земле,— подчеркнул он.

— Как в земле? — в некоторой обиде вымолвил Захар Иваныч.

— Как? Очень просто. Кому какое дело, что у тебя быки турнепс лопают? Разве Дациаро лишнюю копейку зашибет. А Влас Карявый с того не просветлеет...

— Ой ли! А ежели просветлеет... А если волхонские мужики у меня уж два рансомовских плуга купили?

— В долг?

— Да уж там как ни купили...— уклончиво возразил Захар Иваныч.

— Нет, это не все равно,— горячо промолвил Тутолмин,— на филантропии никакой прогресс еще не двигался.

— Да не в филантропии дело, Илья,— мягко сказал Захар Иваныч,— дело в том, что потребности просыпаются. Привычки к новым приспособлениям...

— Значит, «обобществлять» труд изволите?..

— Значит.

— Любопытно,— пробормотал Илья Петрович.

Затем через степь они проехали на пашню. Трава была уже скошена, и бесчисленные стога важно возвышались своими конусообразными вершинами. Но отава не расходилась обычными подрядьями и не лезла в глаза неизбежными клочками плохо скошенной травы, а отливала гладкой скатертью, красиво испещренной мелкой и четкой рябью. Захар Иваныч даже лошадь остановил.— Смотри, Илья, до чего прелестно работают косилки! — воскликнул он, блаженно улыбаясь.

А впереди смачно чернелась пашня. Они въехали в нее. Колеса мягко утонули в рыхлых пластах, и дрожки закачались как в люльке. «Каково!» — вымолвил Захар Иваныч. Навстречу им тянулись плуга. Длинные вереницы быков важно переступали вдоль загона, медлительно пережевывая на ходу свою жвачку. Погонщики хлопали кнутами и кричали: «Цабе, цабе...», «Цоб, дьявол тебя обдери!»

Когда Захар Иваныч подъехал к заднему плугу, тот остановился. «Помогай бог!» — произнес Захар Иваныч. Плугарь поклонился. «Эх, плуга, пес ее побери!» — сказал он, и все лицо его, темное от грязи и пота, изъявило удовольствие.

— Хороша? — улыбаясь, спросил Захар Иваныч.

— Больно хороша, окаянная,— живая!.. Только я что думаю, Захар Иваныч (в это время подошли и другие плугари), что мы, мужики, думаем,— и он закопошился над плугом,— взять бы теперь, к примеру, этот отрез, и ежели б на него связочку поаккуратней... А то видишь ручка-то у него круглая, чуть что попадается ему навстречу, он и вертится в связке-то... Мы и то клинушки в нее продеваем... (Действительно, около всех «отрезов» виднелись клинушки.)

— Да ведь тут винт есть!

— Есть. Есть-то он есть, а державы в нем нетути. Ты гляди — как ее, круглую вещию, винту содержать?.. Никак ее содержать невозможно. Немец-то хитер, а тут, прямо надо сказать, опростоволосился.

— Може, у них земли мягкие,— снисходительно заметили другие,— пусти-ка ты ее в огород, она и у тебя без клиньев будет ходить.

И Захар Иваныч, с широкой улыбкой на сияющем лице, согласился, что точно, для наших земель отрез нужно переладить. Восхищался и Тутолмин этой сообразительностью мужиков:

— Ведь ежели бы им в общину эти плуга,— они бы закопались в жите! — воскликнул он и тут же просил Захара Иваныча: — А ты те-то два плуга — в мир продал?

— Нет, хозяйственным мужичкам.

Илья Петрович гневно посмотрел на него.

— Скотина ты,— решительно сказал он.

— Да не берут в мир-то; что ты с ними поделаешь...— оправдывался Захар Иваныч.

Но Тутолмин не верил.

— Оттого и не берут, что совесть у тебя, у буржуя, не чиста,— ворчал он,— видят, не ихний ты слуга, а барский, и не берут. К подвохам-то к нашим пора и привыкнуть: века обучались!

Паровой плуг тоже работал великолепно. Пантешка несколько утратил развязность своих манер и был уже в синей, а не в красной рубахе. Но тут Захар Иваныч все-таки нашел беспорядок: пары были подняты до 115 фунтов, между тем как уже 90 отмечалось на манометре красной черточкой. Локомобили глухо ворчали и дрожали как в лихорадке.

— Что вы делаете! — в отчаянии закричал Захар Ива-

ныч,— ведь третий раз вас ловлю... Ей-богу, штрафовать буду... Ведь ваших и костей-то здесь не разыщешь!

Машинист пасмурно хмурил брови и ругался на кочегаров. Кочегары сваливали вину на пылкий уголь...

— Да чего это они? — полюбопытствовал Илья Петрович, когда плуг остался далеко позади.

— Вся беда в премии и в лени,— сказал огорченный Захар Иваныч,— с большим паром плуг успешней работает, и, следовательно, для них выгодней; а для лени опять-таки способнее, меньше забот с топливом.

— Да разве они не знают, что эта игра может скверно кончиться?

— Лучше нас с тобой. Да что ты поделаешь с этими отвратительными российскими свойствами!.. Тот же кочегар Труфлий — это шершавенький-то — ужасный трусишка, и как-то на днях его ни за что не уговорили идти ночью рыбу ловить. Там, видишь ли, «водяной» его слопает!.. Здесь же ежечасно взрыв может последовать, а он сидит около топки да в рубахе блох ищет!.. Изумительнейшие чудаки!

— А где Мокей? — вдруг вспомнил Тутолмин.— Я его недели две не вижу.

— Эге! Мокей давно уж восвояси.

— Опять ушел?

— И деньги вперед забрал.

— Тоже чирий вскочил?

— Нет; говорит, жена умирает. Может, и правда. В селе действительно ходит горячка.

— Что же, есть помощь? Есть доктор? — встрепенулся Тутолмин, и вдруг какое-то жгучее ощущение стыда хлынуло на него неукротимыми волнами.

— За доктором два раза уже посылал. Фельдшер приезжал, ходил по избам...

— Да что же это... да как же ты...— заволновался Илья Петрович.

— Да я-то что поделаю? Я и узнал-то только четвертый день.

— Нет, хорош я!..— с горечью произнес Тутолмин.— Люди издыхают как собаки — без помощи, без света, в грязи, в гное, а я...— и он не мог договорить от душившего его волнения.

— Да беда вовсе не такая страшная... Ты напрасно волнуешься, Илья,— говорил Захар Иваныч, с участием

заглядывая в лицо Тутолмина,— еще никто и не думал умирать. И каждое лето в это время народ болеет...

— Каждое лето! — с негодованием воскликнул Тутолмин.— Если каждое лето болеет — объясним законом, придумаем формулу и успокоимся... И успокоимся?.. Каждое лето!.. Да что же это такое, Захар? Да ужели же так легко обратиться у нас в подлеца?.. Да ужели же... Ах, проклятые нервы! — спохватился он, весь охваченный дрожью.

Дома его ожидал изящный конвертик с монограммой, увенчанной темно-синей коронкой. Он в досаде разорвал его и прочитал записку. «Дорогой мой! — писала Варя. — Скучно мне без тебя; не мил мне без тебя этот сухой господин Постников!.. Приходи, скучно, жду. *Твоя В.*».

Злоба закипела в Тутолмине.

«У нас под боком люди околевают, драгоценная барышня,— писал он ей в ответ,— а мы,— благодаря терпким горбам этих людей получившие возможность корежиться в миндальных мечтаниях,— толчем розовую воду и смакуем книжки. Не приду я к Вам.

Илья Тутолмин».

В postscriptum'е[1] значилось: *«В селе горячка. Крестьяне умирают без малейшей помощи».*

Но не успел еще Илья Петрович, отославши записку, несколько успокоиться, и не успел он натянуть сверх старенькой своей блузы неизменное куцее пальтишко, как в дверях неожиданно появилась Варя. Она была в своем малороссийском костюме, и простенький платок покрывал ее голову. В левой руке она держала битком набитую корзинку. Лицо ее было бледно и встревоженно.

— Пойдем же скорее,— торопливо сказала она.

— Куда? — в удивлении спросил Тутолмин.

— Как куда! Туда, где болеют, где нуждаются в помощи.

Радостное умиление охватило Илью Петровича.

— Славная ты моя,— вымолвил он, с любовью поглядев на возбужденное личико девушки.— Что же у тебя в корзинке?

Она застенчиво приподняла салфетку, закрывавшую корзину

[1] приписка к письму *(лат.)*.

— Булки тут,— нерешительно сказал она,— бисквиты, варенье, пирожки...

Тутолмин рассмеялся.

— Не подходит, моя родимая,— ласково произнес он.— А уксус взяла? А чай, сахар, лимоны, вино?

— Не догадалась,— прошептала девушка.

— Ну, это мы все достанем,— и он с веселой поспешностью начал рыться в буфете.

Когда они вышли, Варя с опасением оглянулась.

— Ты знаешь,— сказала она,— папá ужасно мне надоедает своим глумлением. Я не хочу, чтоб он знал о моем путешествии.— И они глухой дорожкой, минуя усадьбу, прошли в село.

X

На порядке было пусто. Только среди улицы тоскливо бродили куры да в тени пыльных ракит отчаянно зевала какая-то Жучка, истомившаяся в непроходимой скуке.

— Где же народ? — спросила Варя, удивленная этой пустынностью села.

— Пар мечут; просá полят, у иных покос еще не отошел. А может, и болеют многие,— ответил Тутолмин, которого при входе в деревню охватило строгое и унылое настроение.

Наконец у кузницы они набрели на толпу. Девчонки сидели в кружок и, наблюдая за крошечными своими братишками и сестренками, играли «в камешки». Но только лишь они заметили «господ», как тотчас же схватились с места и пустились врассыпную. Более маленькие подняли крик. Одна девочка, впрочем, осталась. Она крепко зажала в колени беловолосого мальчугана с лицом, вымазанным кашей, и смело смотрела на подходивших «господ».

— Ты, девка, чья? — спросил ее Илья Петрович, и лицо его сразу сделалось добродушным.

— Мамкина.

— А мамка твоя чья?

— Батькина.

— Хорошо. А сколько тебе годов?

— Семой.

— А зовут тебя как?

Лушкой.

Разбежавшиеся девчонки стояли в отдалении и перешеп

тывались. Иные из них нерешительной поступью приближались к Лушке, крик унялся.

— А пряника хочешь? — спросила Варя.

Лушка подумала.

— Нет,— сказала она, быстро мотнув головою.

— Отчего? — удивилась девушка и в недоумении посмотрела на Тутолмина.

— Ты, ну-ко, испортишь.

Варя рассмеялась.

— Это кто же тебе рассказывал, что можно испортить? — спросила она.

— Мамка сказывала.

— Ты знаешь, где Мокей живет? — вмешался Илья Петрович.

Лушка похлопала глазами и ничего не ответила.

— Мокей, который на барском дворе жил,— подчеркивая каждое слово, повторил Тутолмин.— Мокей — ямщик.

— Шильник! — живо воскликнула девочка.

— Ну, стало быть, «шильник» — с усмешкой согласился Тутолмин.

Лушка тотчас же указала на Мокеев двор.

По уходе «господ» девчонки быстро собрались в кучку и горячо стали рассуждать о происшествии. Больше всех размахивала руками Лушка. Но они не побежали вслед за «господами» и не стали кричать и выказывать запоздалое молодечество, как то сделали бы мальчишки, а с преувеличенной развязностью сели в кружок и степенно заорали:

Я по тра-а-вке шла
По мура-а-вке шла,
Чижало несла,
Чижалехонько!
Чижа-а-лехонька,
Жалу-у-бнехонька.
Жалубней тово
Девка плакала!
Па сва-а-ем дружку,
Па Ива-а-нушке —
У Иванушки
На головушки
Вились кудрюшки!..

— Что это значит, что девочка говорила о порче? — спросила Варя, когда они подходили к Мокеевой избе. Но Тутолмин не ответил. Глубокая морщина лежала у него над бровями.

Они вошли в сени. Там никого не было. Илья Петрович отворил дверь в избу: оттуда пахнул на них удушливый и прелый запах да неясный стон послышался... «Где же Мокей?» — в недоумении произнес Тутолмин. Вдруг со двора донесся до них дробный звук отбиваемой косы. «Мокей, где ты? — закричал Тутолмин и пошел на двор. Варя с каким-то чувством страха и вместе наивного любопытства последовала за ним. Мокей сидел на пороге клети и отбивал косу. Он очень удивился гостям и как будто сконфузился. Варя тоже испытывала смущение.

— Ну, что баба? — осведомился Илья Петрович.

— Баба-то?.. — рассеянно отозвался Мокей и вдруг, суетливо откладывая косу, произнес с искательной улыбкой: — А песенки я вам, барин, важные заучил... кхе, кхе... сказать?

— Какие песни! — сурово промолвил Тутолмин.— Ты бабу-то покажи... Что у ней, горячка, что ль?

— Ах уж эта баба мне,— плаксиво воскликнул Мокей,— руки она мне все повязала, эта баба... Теперь бы у Захар Иваныча жить, а я вот...— и он беспомощно развел руками.

— Она где у тебя? — с участием спросила Варя, в глазах которой заблестели слезы.

— В избе она... да что! — он махнул рукою.— Измучила лихоманка.

— Проведи нас к ней.

— Хе, хе, грязновато быдто у нас, барышня... Не ровён час, ножки...

Но Варя решительно направилась к избе. Она отворила дверь, ступила на высокий порог и... отшатнулась. Воздух, удушливый и тяжкий, поразил ее. Но ей тотчас же сделалось стыдно своей слабости. Она вошла. В избе было темно: на зеленоватых стеклах единственного оконца черным роем кишели мухи. Под ногами ощущалась сырость. Пахло печеным хлебом и острым запахом аммиака. Жара стояла нестерпимая. По столу важно расхаживали тараканы.

Вдруг слабое всхлипывание ребенка послышалось, затем глубокий кашель, стон... Варю с ног до головы пронизала холодная дрожь. В глазах у ней потемнело... Но она скрепилась и пошла в глубину избы. Больная лежала на нарах растерзанная и худая. Неподалеку от ней висела люлька, прикрытая грязными отрепьями. Оттуда невыносимо пахло. Варя приложила руку ко лбу больной. Он был раскален.

В висках беспокойно билась кровь. Все лицо покрыто было потом. «Испить бы...» — прохрипела больная и попыталась вздохнуть. Кашель коротким и сухим стоном вылетел из горла. Она поднесла ко рту руку... На пальцах заалела кровь. Варя слабо вскрикнула. Илья Петрович подбежал к ней. Она в немом ужасе указала ему на больную.

А Мокей суетился около люльки.

— Эка! — с неудовольствием бормотал он, неловко делая соску из хлеба.— Нишкни! Нишкни!.. Он-те, барин-то, он-те!..— И замечал в скобках тоном подобострастным и мягким: — Хе, хе, говорил я, грязновато... говорил... Ишь у нас удобьи-то!.. У нас не токмо — и в хлеву-то у вашей милости чище... Мы разве понимаем что?..— И добавил с презрением: — Сказано — мужик! — А потом подошел к жене: — Эка, эка...— зашептал он, заботливо и торопливо прикрывая ее распахнутую грудь.— Эко-ся... Овдоть!.. Овдотья... привстань-ко малость... привстань! Господа вот пришли... привстань, матушка.

— Да не трогай ее,— сердито произнес Тутолмин.— Что это, она кровью кашляет?

— Кровь,— ответил Мокей и вдруг заспешил: — Есть, это есть... как с весны ноне, так краска эта и пошла!.. Иной раз как тебе... Иной раз вот как шибанет!

— И лихоманка?

— И лихоманка. Так тебе трясет, так... беда!.. А то еще водопой теперь... Страсть как одолевает водопой. Я и то говорю Захар Иванычу: «Захар Иваныч! Кабы не жена, я тебе не токмо что...».

Ребенок опять запищал беспомощно и жалко. Мокей поспешил к нему.

— Чахотка у ней,— угрюмо сказал Тутолмин, обращаясь к Варе. А Варю точно кольнуло что. Она бессознательно прислонилась к печке и вся затрепетала, потрясаемая рыданиями. Слезы ручьями обливали ее лицо. Сердце мучительно разрывалось... Илья Петрович вывел ее в сени, дал воды... Но горькие спазмы душили ее, и трепет не утихал. Иногда она переставала плакать, сердце у ней уж застывало в какой-то каменной и тоскливой неподвижности... Как вдруг раздирающий кашель доносился до нее, и горе закипало в ней неукротимым ключом, и снова рыдала она в невыносимой муке, и снова сжимала свою голову, и ломала руки, и дрожала, охваченная ужасом...

А Мокей даже развеселился, ухаживая за барышней.

«Эк ее разрывает, эка,— думал он,— то-то бы в хоромах-то сидела!» — и усердно таскал воду.

Наконец Варя успокоилась. Ее только изредка пожимал озноб, да сердце у ней ныло и болело сосущею болью. Тутолмин дал Мокею кое-что из припасов, посоветовал перенесть больную в клеть и спросил:

— Да где же у тебя семейские?

— Разбрелись кой-куда,— ответил Мокей.— Матушка со снохой просо полют; брат на покосе; ребятенки скотину стерегут... Кой-куда! — И с веселой усмешкой добавил: — Так как же насчет песни-то?..

— После, после,— промолвил Тутолмин, и они двинулись далее.

В редком дворе не было больных. Иные лежали в избе, в тяжкой духоте и затхлости, облепленные мухами, изнывающие в неутолимой жажде... Другие задыхались в клетях, под тулупами и зипунами. Попадались и такие, что через силу ходили, странно и неуверенно колеблясь на слабых ногах, или сидели где-нибудь на пороге клети, задыхаясь в пароксизме и беспрестанно поникая от мучительной головной боли... Своими движениями они напоминали отравленных мух. Лица их были желтые и влажные. Мутные глаза смотрели тоскливо. Из полуоткрытого рта вырывались сдержанные стоны...

Но все-таки слухи были преувеличены. Горячки не было. Была какая-то чудна́я лихорадка, в ознобе доходившая до смертельного холода, а в жару сопровождаемая бредом и бесконечной жаждой.

Варя раздавала припасы, делала кислое питье, прикасалась своей нежной ладонью к пылающим лицам, и все спешила куда-то с неловкой торопливостью, да в смущении озиралась по сторонам и смотрела на невиданную обстановку с каким-то недоумевающим любопытством. Больным она обещала завтра же прислать хины (и, странное дело, это слово «прислать», сказанное девушкой, видимо, без всякой задней мысли, как-то нехорошо подействовало на Илью Петровича).

Они возвращались поздно. Солнце уже закатилось. В село пригнали стадо. Народ понемногу появлялся среди улицы. Янтарные облака таяли и в причудливых очертаниях толпились над закатом. Ветер спал. Ласточки весело щебетали. Где-то вдали гремела телега. С полей доносился теплый запах цветущей ржи. В воздухе гудел шмель, точно

басовая струна гитары... Но они шли молча и в печальной задумчивости. Варя испытывала усталость. Нервы ее были как-то странно утомлены. В голове стояла мутная туча. Черты измученного и бледного лица были строги и неприязненны.

Она тихо прошла через заднее крыльцо. В комнате Надежды слышались голоса.

— Смотри же, Лукьян,— говорила Надежда,— ты уж постарайся для гостей-то.

— Оно отчего не постараться,— грустным басом ответил повар Лукьян,— постараться мы завсегда можем, Надежда Аверьяновна... Старанья-то только наши — вроде как подлость от них одна!

Надежда вздрогнула и ничего не ответила.

— Теперь притащится эта гольтепа, например,— медлительно продолжал Лукьян, видимо поощренный сочувственным вздохом Надежды,— и вдруг я этой самой гольтепе подам соус сен-менегу, и вдруг они этот самый соус стрескают, например... Какое же у него, у гольтепы, понятие, чтобы насчет соуса, а?.. Что ни говори, оно, матушка, больно, Надежда Аверьяновна.

Надежда вздохнула еще глубже, но опять ничего не ответила.

— Аль опять соус кырпадин приготовить,— сдерживая негодование, говорил Лукьян: — Мы это можем, Надежда Аверьяновна!.. Мы это все можем: слава богу, в аглицком клубе воспитывались... Только каким же теперича манером гольтепа этот самый кырпадин слопает?.. Обидно-с!

— Нет, уж ты постарайся,— произнесла Надежда,— их сиятельство припожалуют. А уж с ним и не скажу тебе кто — миллионщик какой-то.

— О, господи,— в преизбытке усердия воскликнул повар,— аль мы не понимаем, Надежда Аверьяновна! Ужели мы не понимаем — ежели граф аль миллионщик какой-нибудь, к примеру, и — вдруг гольтепа в сапожищах... Оченно мы это понимаем! — и добавил с грустью: — А!.. Времена!.. Бывалоче, какой управитель Исай Дормедоныч,— может, сколько народу от него пострадало, — и тот — стоит себе, бывалоче, у притолки да за спинкой суставчиками перебирает... А барин-то кричит да гневается, да подойдет, подойдет эдак: «Дышать не смей, такой сякой анафемский

сын!» Вот оно что было. А теперь! Не токмо сам, например, за один стол, да и нахлебника-то своего гольтепу тащит... Обидно, Надежда Аверьяновна!

У Вари даже не нашлось сил улыбнуться. Только какой-то стыд за Илью Петровича слабо шевельнулся в ней и замер... Она прошла на балкон. Алексей Борисович читал с лампой и сидел сумрачный и недовольный.

— Облепищев прислал телеграмму,— сухо сказал он.— Завтра приедут.— И, немного помолчав, добавил: — Тебе приятно будет, если всякая canaille[1] будет указывать на тебя пальцами?

— Почему, папа́? — равнодушно спросила Варя.

Алексей Борисович пожал плечами.

— Вы ужасно наивны, m-lle,— сказал он.— Я думал, что только в институтах выделывают девиц, воображающих, что французские булки прямо на нивах родятся...

— Но что такое?

— Как «что такое»! — вспылил Волхонский.— Сегодня мне с такой гадкой осторожностью заявил кучер Никитка, что ты направилась в село с этим.... как бишь его?.. Милая моя, если aprés nous le déluge[2],— что, в сущности, и справедливо,— то пока мы живы-то — не déluge, и потому никаких нет резонов, чтоб различные хамы пальцами на нас указывали. Мы не в долине Баттюэков, и не в Белой Арапии. Ты знаешь мои мнения: свобода во всем. Но надеюсь, ты не заставишь же меня краснеть от кучерских намеков. Это, впрочем, между строк,— мягко добавил он.

Варя повернулась и пошла к себе наверх. Сердце у ней как будто закаменело. Но она чувствовала себя глубоко несчастной. И это чувство как будто поднимало ее в собственных глазах. Она даже выпрямилась с холодной гордостью и сложила губы в надменную усмешку. И в то же время мысль о m-me Roland с быстротою молнии промелькнула в ней. Но она вспомнила, что Тутолмин как-то с пренебрежением отзывался о m-me Roland, и ей сделалось досадно.

А за ее плечами все стоял какой-то кошмар и темными крыльями веял на нее и от времени до времени обнимал ее судорожной дрожью.

---

[1] сброд *(франц.)*.

[2] после нас хоть потом *(франц.)*.

XI

На другой день Варя получила от Тутолмина записку, в которой он извещал ее, что «сам едет разыскивать упорно не являющегося доктора». «Вот это отлично!» — подумала девушка и вздохнула облегченным вздохом. Она взяла книгу и отправилась на балкон, но ей не читалось... Что-то мрачное и холодное стояло в ней и отвратительно влияло на расположение ее духа. Она знала, что это следствие вчерашних посещений и что стоит ей только дать волю своему воображению, как ужасные подробности этих посещений встанут перед ней с неумолимой яркостью. Она знала это и... упорно отгоняла тоскливые картины, спутывала их настойчиво возникавшие очертания, старалась уйти от них, одолеваемая неясным страхом.

День был сухой и знойный. Раскаленное солнце светило в каком-то тумане. Горячий ветер подымал шум в деревьях и волновал поверхность озера. В небесах, как птицы, неслись суровые облака. На пыльных дорогах от времени до времени ходили вихри.

Варя нетерпеливо вскочила и позвала проходившую Надежду. «Приказать оседлать Домби!» — повелительно сказала она, невольно припоминая вчерашний разговор ее с Лукьяном. Надежда произнесла: «Слушаюсь»,— и проворно побежала в лакейскую. «Видно, взялась за ум-то, графа поджидаючи»,— с тайной радостью думала она, смакуя повелительный тон Вари.

А между тем Варя совершенно забыла о графе. Она села на Домби и поехала садом. Березы и липы тревожно шумели над нею. Горячий ветер бил ей в лицо. В кустах орешника робко звенела малиновка. Смелая синица взлетала по верхушкам, и ее резкий писк отдавался металлической жесткостью. Где-то иволга прокричала кошкой... Домби всхрапывал и осторожно переступал по аллее.

А Варя сидела в седле недвижимая и немая. Какие-то обрывки туманных дум носились в ее голове. Иногда светлая полоса неожиданно вторгалась и согревала ее душу — вспоминалась встреча с Тутолминым за ольховой рощей, сцена на поляне, катанье на лодке, озеро, залитое кротким сиянием зари... Но полосу снова сменяло мрачное и холодное настроение, и снова томительные картины неотступно теснились в ее голове. И она снова упрямо отгоняла их, убегала от них с боязнью и тоскою... И вдруг, как иногда часто

бывает, знакомое слово попалось ей на язык. «Корежиться! — произнесла она, вспоминая записку Тутолмина.— Что это значит?.. Это, должно быть, кривляться, ломаться...— И повторила, неприязненно подчеркивая: — *Корежиться в миндальных мечтаниях!..»* И горькое чувство обиды засочилось в ней разъедающей струйкой. Она заплакала.

Вдруг ветер затрепетал в березах, как пойманная птица, и пронзительно загудел. Домби заржал внушительно и тихо. Варя огляделась: через вершины деревьев сквозило угрюмое небо; солнце погасло. С озера веяло холодом. Слезы Вари мгновенно высохли. Она быстро миновала сад и выехала в поле. Кругом расстилался необозримый простор. Нивы шумели и расходились пасмурными волнами. Зловещие тени легли на них. Тучи курились туманными клубами и поспешно надвигались на Волхонку. В отдалении неясно рокотал гром. Перепела тревожно кричали. Треск коростеля в ближней лощине то относился, то приносился ветром. Шум сада стоял в ушах Вари глухо и страшно. Бурный ветер трепал ленты ее шляпы.

А она чувствовала какое-то странное удовлетворение в этом жутком приближении грозы. Она поставила Домби в упор ветру и широко раскрытыми глазами смотрела, как тучи ширились и чернели и багровая молния все чаще и чаще разрывала их недра... Внутренний ее мир как будто закрылся для нее; и только какая-то превозмогающая струна звучала в нем трагической и суровой нотой, и этот непрестанный звук как-то странно совпадал с теми звуками, которые слышались ей и в грозном рокотании грома, и в шуме сада, диком и внушительном, и в пугливом шепоте беспредельных нив... И она внезапно вспомнила картину Доре, фотографию с которой Гупиль недавно прислал Алексею Борисовичу. Среди бесчисленной толпы, охваченной каким-то исступленным энтузиазмом и кричащей, шла женщина во фригийской шапке. Она в диком упоении грозила мечом и пела, буйно потрясая знаменем. Вдали крутился мрак, вставало зловещее зарево, угрюмо чернелись башни... Потом снова деревенские впечатления хлынули на нее... Но теперь они уже свободно заполонили ее восторженное воображение. И уже не с серенькими и мелочными подробностями предстали они,— далекое зарево пожара освещало их пламенным и грозным светом, и они величест-

венным апофеозом воздвигались перед Варей, и охватывали ее душу бесконечным и блаженным ужасом... Вдруг крупные капли дождя тяжело шлепнулись на нее. Домби беспокойно шевельнул ушами. Молния загорелась синим огнем и скользнула ослепительно... И небо разорвалось, вспыхнуло, смешалось в мутном беспорядке. Варю оглушил невыносимый треск. Ей казалось, тучи обрушились на нее. Она ударила Домби хлыстом и понеслась к саду. Дождь барабанил по листьям и как будто гнался за нею. Деревья пугливо кивали ветвями.

Она заехала в покинутый курень, где прежде обитали садовники, и переждала в нем грозу.

После грозы погода изумительно похорошела. В ясном небе медлительно бродили серебряные облака. Озеро синело и тихо плескалось. Деревья весело лепетали. Влажный блеск листьев мелькал четким бисером. В воздухе носился теплый и свежий запах сена, смешанный с лекарственным ароматом липовых цветов. Птицы встрепенулись и переполняли аллеи звонким щебетаньем.

И на душе у Вари прояснилось. Недавнее возбуждение покинуло ее. Нервы улеглись... Воображение поникло. Она снова поехала в поле, посмотрела на сочные нивы, беззаботно игравшие с ласковым ветром, дозволила Домби сорвать жирный пук пшеницы, который он, однако же, тотчас же и бросил, проследила глазами голубой извив реки, обвела дали пристальным и каким-то деловым взглядом и возвратилась к усадьбе. Не доезжая дома, ее поразили звуки рояли. Они неслись откуда-то с вышины и, казалось, толпились в сверкающей синеве ясным и грациозным хороводом. И на душе у ней стало еще светлей и еще безмятежнее. «Откуда это» — произнесла она, как вдруг угадала пьесу — одну из серенад Шуберта — и догадалась, кто играет. «Это, конечно, Мишель!» — воскликнула она с сияющими глазами и поспешила к подъезду.

Наверху ее встретила Надежда. Лик ее был переполнен торжественностью и движения приобрели какую-то особливую важность: «Их сиятельство пожаловали. Прикажете одеваться?» — сказала она. Варя оделась быстро и просто. Ей все поскорее хотелось сойти вниз и посмотреть Облепищева. «Каков-то он?» — думала она с любопытством, и картины рождественского катанья привлекательными обрывками возникали в ее памяти.

— Кузина! — раздался певучий и мягкий голос, когда Варя появилась в дверях гостиной, и Облепищев, быстро покинув рояль, поспешил ей навстречу.— Какая же ты прелесть! Как ты похорошела! Какая ты пикантная! — говорил он по-французски, крепко целуя ее руки.

Она посмотрела на него. Тонкий профиль, прозрачная бледность лица, глубокие глаза с каким-то темным и неподвижным блеском — вот что бросилось ей в глаза. Он был очень мал, очень строен, одет во все черное, носил монокль в петлице жакета и имел порядочную лысину. И Варя вдруг почувствовала к нему какую-то жалость.

У окна сидел и говорил с Алексеем Борисовичем Лукавин. При входе Вари он встал. Облепищев подвел его к Варе.

— Позволь представить тебе, моя прелестная,— вымолвил он в каком-то нервном и торопливом возбуждении, — друг мой Pierre...— И добавил с едва уловимой гримаской: — Петр Лукьяныч Лукавин. Рекомендую: дохода полмиллиона, а с Тедески торгуется как лошадиный барышник.

— Граф ни на шаг без подвоха,— возразил Лукавин, улыбаясь, и низко раскланялся с Варей. Варя и на него посмотрела. Он стоял рядом с Облепищевым и как будто напрашивался на сравнение. И контраст был так велик, что Варя не могла сдержать улыбки. Статная, крепкая и осанистая фигура Лукавина, плотно и ловко обтянутая великолепным сюртуком, превосходила на целую голову изящного и хрупкого графа. Но зато лицо Лукавина не отличалось нежною тонкостью очертания, и нервы не сквозили в нем непрестанной игрою чутких мускулов,— оно было пышно и румяно, и печать великорусской смышлености явно лежала на нем. Зубы так и сверкали ослепительной белизною, серые глаза смотрели умно и насмешливо, коротко остриженная бородка придавала несколько купеческий облик... «Как он типичен!» — невольно подумала Варя.

Подали обед. К обеду пришел и Захар Иванович. Облепищев поместился рядом с Варей. Он почти ни до чего не дотрагивался. Ложки три супу да кусочек куриной котлетки, вот все, что проглотил он за весь обед. И все как-то жался и болезненно морщился, как бы от озноба. Но речь его, порывистая и капризно разнообразная, не утихала ни на минуту. Он то рассказывал о новостях Ниццы – откуда только что приехал, то о впечатлениях дороги, то сообщал

какую-нибудь сплетню политического свойства, то восторгался новой пьеской Рубинштейна. И эти капризные переходы, этот певучий и гибкий тон графа, эта мягкая и несколько грустная насмешливость, которой он беспрестанно освещал свои рассказы, ужасно нравились Варе. В ней самой просыпалось какое-то мечтательное и ласковое настроение, и под влиянием этого настроения Мишель все более и более казался ей меньшим братом, больным и милым и несколько загадочным.

А Лукавин преисправно уничтожал и суп, и котлеты, и цыплят á la crapaudine[1], которыми щегольнул-таки Лукьян, и ананас, поданный с шампанским, и дыню-канталупу... А в промежуток говорил с Захаром Иванычем и с Волхонским. Впрочем, больше с Захаром Иванычем, чем с Волхонским. Он расспрашивал Захара Иваныча о хозяйстве, о качествах земли; спрашивал, можно ли устроить в окрестности сахарный завод, какой процент сахара можно ожидать в здешней свекловице, каковы должны бы быть условия сбыта, велик ли подвижной состав у ближней железной дороги, как можно эксплуатировать отбросы... И, видимо, оставался доволен обстоятельными и дельными ответами Захара Иваныча.

Пить кофе перешли в гостиную. Граф свернулся на paté[2], которое по его просьбе придвинули боком к рояли, от времени до времени прикасаясь длинными и прозрачными своими пальцами к клавишам, медленно кусал ломтик ананаса, предварительно опуская его в вазочку с шампанским. Варя поместилась около него.

— Как живется тебе, Мишель, расскажи мне,— тихо спросила она, с участием заглядывая ему в лицо.

— Ты знаешь, моя прелесть,— залепетал Мишель, оживленно приподнимаясь на paté,— я ведь, собственно, не настоящий человек. Я так называемый *причисленный*... Я не живу, а числюсь; числюсь, мой ангел. Ты недоумеваешь? О, это так и нужно, чтобы ты недоумевала. Это вообще устроено для недоумений. Как и все, по словам одного ученого, но противного немца. Видишь ли — есть лавочки. И в лавочках есть люди, важные и воображающие, что они необыкновенно заняты делом. Тогда я смиренно прячу под мышку свою трехуголку и являюсь в лавочку. «Я граф

[1] Известный еще в XVIII в. способ приготовления блюда из птицы *(франц.)*.
[2] Устаревший тип мебели *(франц.)*.

Облепищев,— говорю я важным людям,— у меня имя, связи, имение, последовательно заложенное в четырех поземельных банках и у Лукьян Трифоныча Лукавина, и так как position oblige[1], то пожалуйте мне ярлычок...» Тогда важные люди дают мне коллежского асессора не куклу, милая, а настоящего коллежского асессора, хотя, разумеется, не человека, а чин,— дают мне еще маленький значок, обозначающий — прости за плеоназм — орден какого-нибудь миродержавца, с острова Отаити, дают мне вечный отпуск и перспективу периодических чинополучений... И я числюсь. О, моя прелесть, какое это пикантное ощущение!.. Раз в Абруццах я отстал от спутников... Но я тебе надоел своей болтовней?

— О нет,— быстро произнесла Варя.

— Отстал и сбился с дороги. Солнце погорало, торжественно и шумно, точно Requiem, горы дремали в золотом тумане, облака курились и таяли, вдалеке пламенело озеро, где-то задумчиво звенел мул... а до меня никому не было дела, и я шел извилистой тропою одинокий и забытый...— Он печально поникнул головой.

— Но ты...— начала было Варя, вся потрясенная жалостью.

— Но я, разумеется, никогда не забываю уповать на милосердие божие и на распорядительность моей maman,— продолжал он, и в тоне его вдруг проскользнула жесткость.— Вообрази, она вздумала недавно вдвинуть меня в жизнь!.. О, это было преуморительно. Она говорит: «Вы, граф, должны быть мировым судьею»... Понимаешь ли — *должны*. Ты, моя прелесть, посмакуй это слово. Оно терпкое и вкусом походит на корку вот этого ананаса. Хорошо. Я, разумеется, посмаковал и поехал в деревню. И представь себе: деревенский люд уже изнывал по моей особе, и только что появился я в земском собрании, как едва не захлебнулся в искательных улыбках...

Варя усмехнулась.

— Ты находишь неправильным мое выражение? Ты думаешь, что в улыбках нельзя захлебнуться? — живо спросил граф и, не давая ей ответить, продолжал меланхолически: — О, какая ты счастливая, кузина! Ты не воспитывалась в пажеском корпусе, ты не учила грамматики!.. (Она попыталась возразить, но он снова перебил ее.) Ты не

---

[1] положение обязывает *(франц.)*.

учила грамматики... Ты знаешь, что за остроумный прибор эта грамматика? Это сапоги, которые до того *научно* обнимают твои ноги, что в них невозможно ходить... или, лучше всего,— культурная мамаша, которая странствует за своим ребенком с новейшей и рациональнейшей книжкой в руках — «Принципы к руководству ухода за детьми»,— пошутил он в скобках,— в трех томах, цена за каждый том три целковых... Ребенку кушать хочется — мамаша в книжку смотрит: «Нет, mon enfant[1], потерпи пятьдесят три минуточки»... Терпеть! Да ему, может быть, животишко подводит, драгоценнейшая madame!.. Ребенок от сонливости глазенки провертел кулачишками, а мамаша снова к книжке, и снова не полагается спать бедняжке, а полагается бодрствовать и кушать, и какой-то патентованный бульон на воробьиных лапках... О, бедовое дело эта грамматика!.. Ты не замечала ли в своей комнатке: раскрытая книга лежит на ковре вверх тисненым переплетом; бархатная скатерть полуспущена и широкими складками драпируется на полу; с резного кресла в красивом беспорядке ниспадает твое бальное шелковое платье; на столе, рядом с бронзовой чернильницей, стоит граненый графин с водою; тяжелая гардина откинута; кошка лежит на атласной подкладке драпри и лениво мурлычет. А утреннее солнце ярко и горячо освещает этот живописнейший беспорядок. Оно и в графине сверкает прихотливой радугой, и блестит на крышке чернильницы, и светит на ковер, на стальной отлив твоего платья, на переплет книги... и мелкая пыль бьется золотым столбом, и крутится, и толпится в его лучах... И нега тебя обнимает, и встают перед тобой странные мечтания, мерещится палитра, арматура загадочного сооружения, недопитый бокал с янтарным рейнвейном, бархатный костюм художника... И какие-то крылья навевают на тебя смутные грезы, и веселая эпоха какого-нибудь Возрождения силится предстать пред тобою... О, дивно иногда живется без грамматики, моя прелесть!.. Но придет твоя Марфа — или как ее,— впрочем, пусть будет Марфа, это так идет к ней, к твоей воображаемой горничной,— помнишь: *Марфо, Марфо, что печешися о многом?..* И придет эта Марфа с шваброй в руке и водворит порядок, и закричит на кошку: *«Брысь, проклятая!»* — и сметет пыль, и оправит скатерть, а в сердце твое, мой ангел, нагонит сухого и скучного

---

[1] мое дитя *(франц.)*.

холода... И грезы твои разлетятся как птицы... О, это остроумный прибор.— И он опять поник в задумчивости.

Варя не решилась заговорить. Только интерес ее к графу разгорался все больше и больше, и нервы как-то странно ныли. А Облепищев махнул головой, как будто отгоняя дремоту, и взял рассеянный аккорд.

— Но о чем я начал говорить? — вдруг с прежней живостью произнес он.— Да, о потоплении, о потопе улыбок.— Итак, меня выбрали. И представь: какая добрая эта моя maman,— она мне сюрпризом приготовила камеру. Я возвратился из собрания, и уж камера готова. О, это был восхитительный сюрприз! Ты не знаешь, в Петербурге на вербной продают: ты покупаешь просто обыкновенную баночку; но стоит только открыть крышку этой баночки — мгновенно выскакивает оттуда преинтересный, прелюбопытнейший чертенок... Итак, maman устроила мою обстановку (он вздохнул); я тебе расскажу о ней... То есть не о maman — ведь ты знаешь ее, эту величавую совокупность льда и стали (он это сказал, несколько понизив голос), а про обстановку расскажу. Пол был паркэ; монументальный стол от Лизере занимал середину. На столе высился бронзовый араб с толкачом в руках и с ступой у подножья. Это — звонок, и maman выписала его от Шопена. Почему араб, и почему не земец, например, и не газетчик — не могу тебе объяснить. Но не в этом дело. Добрая половина камеры была загромождена лакированными скамьями. Впереди стояли кресла для сливок. Все это было отлично, и все ужасно понравилось мне. И к тому же в своем костюме — fantaisie, который прислал мне Сарра ко дню первого моего упражнения, и в золотой цепи на шее, я ужасно походил... как бы тебе сказать... ну, на хорошенькую левретку походил, которая, помнишь, вечно торчала на коленях у бабушки... Кстати, не рассыпалась она, то есть бабушка, а не левретка?

Варя отрицательно покачала головой.

— Надо проехать к ней, потревожить проклятые кости графа Алексей Андреича... Итак, я походил на левретку. Впрочем, барыни — те самые, которые подымают платок, когда maman заблагорассудится уронить его, а в Петербурге фамильярничают с нашим швейцаром и таскают из наших ваз визитные карточки разных особ, чтобы хвалиться ими дома, где они изображают самую накрахмаленную аристократию,— эти барыни находили, что я ужасно на-

поминаю Ромео... Где они видели этого Ромео? А ты никогда не воображала, как Джульетта просыпается в подземелье и в брезжущем полусвете видит мертвого Ромео... О, я воображал, и мне было ужасно хорошо. Такое, знаешь ли, трагическое сладострастие возникает, и в таком мучительном блаженстве разрывается сердце... (Он вздрогнул и сделал болезненную гримасу.). И так час пробил. Мои аристократки вооружились веерами, заняли позицию. Maman со спиртом в руках торжественно водрузилась в резном кресле... Оно походило несколько на трон, но это в скобках, в скобках, кузина... Я тронул пружину. Усердный араб грянул толкачом. Швейцар — здоровенный верзила в аракчеевском жанре — распахнул двери и, изо всех сил упираясь в груди грузно валившихся мужиков, пропускал их по одиночке!.. Я опять тронул пружину. Араб опять громыхнул толкачом. Аристократки тихо визжали,— прости! Швейцар страшно нахмурил брови и погрозил задним рядам. Началась фантасмагория. Выходит мужик в лаптишках и в рваном кафтане. «Вы — Антип Кособрыкин?» — «Мы-с».— «Вы обвиняетесь в нарушении публичной тишины и спокойствия». Молчит в тяжком недоумении. «Вы обвиняетесь...» Сугубо молчит. Меня начинает одолевать конфузливость. Аристократки ахают и негодуют. Maman нюхает спирт. Швейцар таращит глаза и крутит кулаки, как бы испрашивая полномочий. К счастью, чары разрушает обвинитель-урядник. Он энергически и какими-то очень простыми словами уясняет Антипу, в чем дело. Тогда Антип оживляется, говорит быстро и убедительно, размахивает руками, утирает полою нос и вообще входит в ажитацию. В его речи мелькают и какие-то *поезжане*, и *сыспокон веков*, и *ейный деверь*, и *на то ён и дружка, чтобы, к примеру, порядок содержать, а эдак-то всякий ошелохвостится!* Вы не понимаете, моя прелесть? А я понял, понял я, что и я сижу дурак дураком, и араб мой бухает своим толкачом сдуру — не потому ли, что обоих нас сочинил иностранец? — и maman моя... О, она очень остроумная, эта maman! И вдруг, вообрази, я разом порешил эту пастораль: «По обоюдному непониманию дело откладывается до умнейших времен»,— сказал и вышел из камеры.

И он пробежал рукой по клавишам и засмеялся.

— А знаешь, кузиночка,— вымолвил он,— вот диалог этот мой с Антипом,— есть такие искусники, что на музыку его могут переложить! — И он застучал по клавишам.—

Вот это будет означать: *чаво*? А это: *ах ты, разнесносный гражданин Антип!* А вот это allegreto ma non troppo[1] изобразит: *а посему, руководствуясь 79 и 81 ст. Уст. Уголов. Судопр. и на основании 112 и 115 ст. Уст. о наказ., налаг. Миров. Судьями...*

Варя улыбнулась.

— Ты смеешься? Нет, ты не смейся,— и он грустно вздохнул,— ты лучше пойди, поплачь к себе. А знаешь, когда я люблю плакать? Когда вечером мрачные тучи покроют небо и густо столпятся над закатом, а под ними узким и пламенным румянцем горит заря. И в поле ходят трепетные тени и погасают, и заря как будто прощается, как будто умирает и на века покидает холодную землю... Есть картина такая: «Вечер на острове Рюгене», Клевера, кажется... Так вот перед этой картиной я раз стоял и плакал. Я плакал, а на меня смеялись. И толстый купчина с пятном на животе смеялся, и накрахмаленный жидок из банкирской конторы смеялся, и барыня в гремящем платье смеялась, и мадмуазелька, с лорнеткой в одной руке и с любовной запиской в другой, и та смеялась... А ты не читала Байроновой «Тьмы»? Я читал, а потому и плакал пред картиной. Ты не читай... А ты знаешь, моя прелесть, я слишком много говорю и, наверное, скоро расплачусь... Но ты ужасно мне нравишься... А как ты находишь Лукавина? О, как он поет, моя милая!.. Вот погоди! И он никогда, никогда не расплачется. И заметь, какой он здоровый. Таковы были варвары, которых изображал брюзга Тацит. А мы с тобой римляне, моя ненаглядная, изнеженные, истерзанные римляне.

И он с печалью улыбался, тихо прикасаясь к клавишам.

- А где господин Тутолмин? - спросил Волхонский у Захара Ивановича.

Варя вздрогнула и оглянулась. И вдруг вспомнила, что она любит. Но мысль эта не отозвалась в ней, как отзывалась прежде — жутким и блаженным замиранием, она только напомнила ей факт; напомнила еще деревенских больных — и то, что Илья Петрович привезет доктора и больные выздоровеют... И она снова наклонилась к графу.

— Он уехал за доктором,— сказал Захар Иваныч.

— Кто болен? — живо произнес Волхонский.

— Да вся деревня больна. В каждом почти дворе ли хорадочный.

---

[1] Музыкальная помета: оживленно, но не слишком *(итал.)*.

— Ах, деревня,— протянул успокоенный Алексей Борисович,— надеюсь, вы распорядились купить хины и раздать?

— Покупать не покупал. Но у меня есть немного.

Легкая тень неудовольствия скользнула по лицу Волхонского.

— Пожалуйста, пошлите купить,— сказал он,— положение обязывает, вы знаете это. И чтобы не путаться по конторе, то вот...— Он поспешно поднялся и спустя несколько минут принес Захару Иванычу сторублевку.— Пожалуйста,— повторил он. Захар Иваныч начал прощаться.

— Вы мне дозвольте осмотреть ваше хозяйство,— вымолвил Лукавин,— я большой охотник.

Лик Захара Иваныча засиял.

— С величайшим удовольствием, - произнес он.

— Многонько платите? — спросил Лукавин Волхонского когда Захар Иваныч скрылся за дверями.

— Тысячу двести.

— А именьице велико ли?

— Четыре тысячи десятин.

— Дешевенько. Вы ему набавьте. Дельный он у вас парень.

— Но тут особые условия, Петр Лукьяныч,— сказал Волхонский,— он ведь у меня — свой человек.

— Это в расчет не идет,— с тонкой усмешкой возразил Лукавин.— Нынче, Алексей Борисыч, честь не велика в салонах обращаться. Нынче голова ценится. А головка у вашего управителя золотая-с.

— Но я ведь не говорю,— живо произнес Волхонский,- я вовсе не думаю, чтобы... вы понимаете? Я только хочу сказать,— он у меня свой в смысле родного.

— Да; ну это ваше дело. Это бывает-с. А вам стоило бы обратить внимание на его мысли о сахарном заводе. Мысли важные.

— Но это — ваши мысли? — льстиво сказал Алексей Борисович.

— Я только вопрос ему предложил. А у него уж целый проект в голове сидит; он и свекловицу сажал для опыта: двенадцать процентов сахара — помилосердствуйте!

— Капитала нет,— со вздохом произнес Волхонский.

— Пустое дело,— сказал Лукавин,— семьсот, восемьсот тысяч при известной солидности предприятия добыть легко.

– Ах, не греми ты этими противными своими словами! — нетерпеливо воскликнул граф.– Не слушай его, дядя:

он ведь точно ребенок — не уснет без гремушки, без своих противных валют и дисконтов. Идите лучше сюда.

— А вы чем руководитесь в своих действиях,— смеясь и несколько книжно спросила Варя у Лукавина, когда он подошел и сел около нее,— грезами или действительностью?

— Во сне — грезами,— ответил он, усмехаясь.

— А наяву?

— Гроссбухом,— ответил за него Облепищев.

— На это у нас есть конторщики,— возразил Лукавин.

— А чем же? — полюбопытствовала Варя.

— Жизнью, Варвара Алексеевна, фактами, как пишут в книжках.

— И чувствуете себя довольным?

— Как будто не видишь,— смешался граф.

— Ничего-с,— ответил Лукавин и характерно тряхнул волосами.

— Нет, зачем ты с Тедески торгуешься? — капризно пристал к нему Облепищев.

Петр Лукьяныч отшучивался.

— Отец научил.

— Но ведь тому простительно, тот «Лукьян Трифоныч».

Алексей Борисович заступился за Лукавина.

— Но для чего же необдуманно тратить деньги, мой милый,— сказал он.

— О, дядя! — патетически воскликнул Облепищев и умолк. Вообще в его отношениях к Лукавину замечалась какая-то двойственность: наряду с обращением дружеским и шутливым вдруг аляповато и резко выступала раздражительная насмешливость. Варя это заметила и в недоумении посмотрела на «приятелей». Приводил ее в недоумение и Алексей Борисович. В тоне его ясно звучали какие-то чересчур благосклонные нотки, когда он говорил с Лукавиным. И даже обычная ядовитость как будто покинула его,— это Варе не понравилось.

XII

Вечером все маленькое общество собралось у рояля. Облепищев выглядел теперь уже не таким нервным и го-

ворил мало. Черный бархатный костюм какого-то невиданного покроя привлекательно оттенял матовую белизну его лица. Он перебирал ноты, высоким ярусом наваленные у его ног, и категорически отмечал их недостатки. То было «шаблонно», это «тривиально», это «переполнено треском»...

— Да где ты такие вкусы развила, моя прекрасная? — воскликнул наконец он, обращаясь к Варе.

— Ты знаешь, я ведь плохо понимаю музыку,— ответила она краснея.

— А вот эту вещичку ты поешь, Pierre,— заметил Облепищев, не обращая внимания на ответ Вари и развертывая на пюпитре ноты.— Немолодая вещь, но не дурна. Будешь? — вопросительно сказал он, обращаясь к Лукавину.

— Пожалуйста! — попросила Варя. Лукавин вежливо поклонился. Варя отошла от рояли и уселась на открытое окно. Она ждала. В окно видно было небо глубокое и звездное. Из сада доносился слабый шорох деревьев и беспрестанно замирающий соловьиный посвист. Озеро в неясном и загадочном мерцании уходило вдаль, незаметно сливаясь с темнотой. Варя посмотрела в комнату. В молочном свете ламп мраморный профиль Облепищева выделялся особенно тонко и благородно; Лукавин стоял мужественно и прямо, как Антиной, и от его красивого лица веяло какой-то самоуверенной силой; Алексей Борисович задумчиво утопал в кресле, изящный и эффектный; полный и цветущий Захар Иваныч, скрестив руки на брюшке, с любопытством поглядывал на Лукавина... Вдруг руки графа быстро пронеслись по клавишам, и звуки рояли шаловливой и спутанной вереницей затолпились в высокой комнате. Но вслед за ними протянулась нота знойная и печальная и оборвала их звонкое лепетанье и медлительно угасла. «Что, моя нежная, что, моя милая»,— запел Лукавин,—

Что ты глядишь на осенние тученьки..
Сна ль тебе нет, что лежишь ты, унылая,
Грустно под щечки сложа свои рученьки...

И Варя почувствовала, как его голос, звучный и мягкий как бархат, с тихой отрадой льется ей в душу. «Э, как давно не слыхала я музыки»,— произнесла она сквозь беспомощную улыбку, и слезы у ней закипели. «Я зашепчу твою злую кручинушку»,— пел Лукавин,—

Сяду у ног у твоих я на постелюшку,
Песню спою про лучину-лучинушку,
Сказку смешную скажу про Емелюшку...

Захар Иваныч покрутил головою и усмехнулся. Варя в досаде отметила эту усмешку. «Ему, кроме своей интенсивности, на свете ничего не мило»,— подумала она. Но тотчас же забыла и о существовании Захара Иваныча и снова замерла в чутком внимании. И вкрадчивые звуки ласково и нежно ластились к ней и приникали к ее сердцу осторожной струйкой, и наводили на нее какую-то сладкую и пленительную истому. «Стану я гладить рукой эту голову»,— продолжал Петр Лукьяныч, ниспуская голос до каких-то изнемогающих ноток,—

Спи ты, мол, дитятко, баиньки-баюшки...

А Варя сидела как очарованная и, точно в полусне, крепко и тревожно сжимала свои руки.

Разошлись рано. Прежде всех раскис граф: после пения его снова стало поводить как в ознобе, и тусклые тени забродили по его лицу. Он начал было какую-то фантазию дикими и торопливыми аккордами, постепенно переходившими в тоскливое и задумчивое adagio[1], но оборвал эту фантазию резким диссонансом и простился. За ним последовали и другие.

Но Варе не хотелось спать. Она завернулась в плед и тихо сошла в сад. В ее ушах все еще стояла музыка. Какие-то неясные грезы вились в ее головке, и ночной воздух веял на нее жуткими и таинственными струями. В саду загадочная темнота ее обступила. В этой темноте смутными очертаниями возвышались деревья, блистало черное озеро в мрачной неподвижности, выдвигался угрюмый фасад дома, длинный и несоразмерный, тускло и трепетно мерцали звезды... И повсюду бродили тени, переплетаясь в причудливом колебании. Иногда как будто какая рука прикасалась к глазам Вари: тьма сгущалась, ближний куст сирени выдавал себя только слабым, едва уловимым шорохом да особенным запахом холодной влажности; очертания высоких берез сливались с небом; озеро облекалось мраком... И тогда особенно жутко становилось Варе, и сердце ее стучало сильно и пугливо. Иногда же тени раздвигались медлительно и стран-

---

[1] Музыкальное произведение или его часть, исполняемые в медленном темпе *(итал.)*

но, мрак редел, вода далеко уходила в глубь ночи, березы подымались ясными контурами, и купы сирени резко обозначались на синей темноте.

Варя с боязливой осторожностью переступала по дорожке. Она как будто опасалась внести тревогу в этот капризный мир теней, неслышно скользивших вокруг нее и словно прикасавшихся к ее лицу легким и прохладным прикосновением. Вдруг звучный плеск волны раздался у ее ног. Она слабо вскрикнула и отступила, оглянувшись по направлению к дому. Там ясно и ровно горела свеча в ее комнате. Тогда она невольно усмехнулась и остановилась как вкопанная. И музыка снова наполнила ее слух. Звуки рояли причудливо мешались с мерным и однообразным плесканием озера, с неясным лепетаньем листьев, непрестанно будившим чуткую темноту, и в каком-то сказочном сочетании носились вокруг нее, манили ее куда-то, переполняли все ее существо тайным и сладостным томлением... И она жадно вслушивалась в этот неясный призыв. Словно какие чары ласковой и медлительной струею вливались в ее душу и повергали ее в смутный сон.

И долго она стояла на берегу озера, немая, неподвижная, внимательная. Иногда ей казалось, что времени не существует, что в пространстве неуловимо носятся призраки, и что она сама как будто тает и превращается в призрак, готовый улететь в это бесконечное пространство. И вдруг слезы приступали к ее горлу, сердце тоскливо сжималось, ей хотелось бежать отсюда, видеть людей, слышать человеческий голос. Но тогда какая-то струна звучала сильно и пленительно и заглушала это стремление, и Варя стояла как прикованная, беспомощно отдаваясь напору томительных мечтаний и звуков, мерных и таинственных как шепот волшебного заговора.

И чем дальше, тем чаще выступал из темноты сильный струнный звук. Он звенел как будто особо от тех, что толпились в голове Вари, и — то прерывался, рассыпаясь мелкой трелью и уныло погасая, то возникал снова, смело и самоуверенно. И по мере того как он усиливался — чары как будто уплывали от Вари, сон ее покидал, грезы отлетали от нее как ночные птицы, встревоженные ярким блеском солнца. Наконец она разобрала этот властительчый звук — это был колокольчик. В далеком поле кто-то ехал. Тогда Варя глубоко вздохнула и медленно пошла к дому. Какая-то слабость овладевала ею, нежно утомляя члены.

Но когда она легла, сон не сходил к ней. Она думала о графе, о его разговорах, полных какой-то причудливой прелести и странных как фантастическая сказка. Представляла себе его лицо, изменчивое и печальное. И снова какая-то жалость прокралась в ее сердце. Потом Лукавин прошел в ее воображении красивым, но холодным и неинтересным силуэтом. А затем она вспомнила о Тутолмине. И опять это воспоминание не отозвалось в ней прежним ощущением... Самый образ Тутолмина как будто потускнел и появился теперь перед Варей в каких-то чересчур уже простых и будничных очертаниях. Душа ее не рвалась к нему, сердце не замирало в блаженной тревоге. Она думала о нем спокойно и сухо. Думала *наружно,* если можно так выразиться, не углубляясь в суть, не анализируя, с какой-то невольной осторожностью, незаметной для себя самой, минуя те струны, которые могли бы звучать страстно и беспокойно. Думала о том, как она поедет на курсы, выйдет за него замуж, будет уже не Волхонская, а *Варвара Алексеевна Тутолмина* (она даже произнесла это громко и осталась довольна звучностью произношения). Дальше мысли ее обрывались. И вдруг ей сделалось скучно. Тогда она опять вообразила себе бледного Мишеля, с его речами, странно влияющими на нервы. Затем вспоминала о том, как еще много нужно ей прочитать и «осмыслить» из прочитанного. «Точно уроки!» — подумала она, и серенькая гимназическая жизнь предстала пред нею. «Уедут гости — займусь тогда»,— решила она и на этом решении заснула.

Наутро Варя проснулась очень поздно. Голова ее была несколько тяжела и мысли смутны. Солнце проникало из-за драпри. В распахнутое окно вливался душистый воздух. Надежда прибирала комнату. Варя спросила у ней, где гости. Оказалось, что Лукавин с Алексеем Борисовичем и Захаром Иванычем уехали в поле. («Папа́ в поле!» — недоверчиво воскликнула Варя.) Граф же только что вышел и теперь сидел на балконе.

Варя поспешно оделась и вышла к графу. Он рассеянно перелистывал Мильтонов «Рай» с великолепными рисунками Доре и скучающим взглядом обводил окрестности. Красный шелковый платок небрежно повязывал его шею, отражаясь на лице нежным и прозрачным румянцем.

При входе Вари он оживился и повеселел.

— О, как ты славно спишь, моя прелесть,— сказал он, крепко целуя ее руки.

— Я долго не спала с вечера,— оправдывалась Варя и с беспокойством посмотрела на лицо графа.— Ты не болен? — спросила она.

— Ах, когда же я бываю «не болен»,— с печальной усмешкой возразил граф,— никогда. И ты знаешь, что странно: болезни, в сущности, никакой нет,— все в порядке; и вместе — все бессильно, расшатано, истерзано... Что делать, милая, мы ведь слишком чистопородны. Ты просмотри бархатную книгу: сотни лет — и ни унца здоровой демократической крови!.. То ублажаем хана витиеватыми речами, то строчим бумаги в посольской избе, то поем обедню с Иваном Грозным, то обучаемся наукам в немецкой земле и прожигаем жизнь в Париже... Ни одной капли рабочей крови!.. Ни одного «мезальянса», который обновил бы нас!.. С незапамятных лет живут Облепищевы,— живут в голову, в язык, в ноги — сколько десятилетий скользившие по паркету,— живут в нервы, но никогда не в мускулы!.. И вот теперь можете полюбоваться,— вытянул свои руки и снова сложил их,— малейшее волнение приводит меня в дрожь... Когда я в первый раз увидал Рим — я плакал как ребенок; в французской палате депутатов со мной чуть истерика не сделалась,— правда, в то время говорил Гамбетта...— И добавил, усмехаясь: — Ах, отчего моя великолепная мамаша не сочеталась с Лукьяном Лукавиным!

— Вот если бы она услыхала тебя,— заметила Варя.

— Что же тогда? — произнес граф, с насмешливой внимательностью посмотрев на Варю.

— Как что? По всей вероятности, на сцену выступил бы спирт...

— Ты думаешь? — протянул он и неопределенно улыбнулся.

— А жива мать Петра Лукьяныча? — спросила Варя, несколько смущенная этой улыбкой.

— А тебя это интересует?.. О, крепка как ломовая лошадь и гостей своих встречает босиком,— у нее, видишь ли, «пальцы преют». Впрочем, ее выпускают только к действительно статским,— с генералами военными она невозможна: слишком уж пыхтит... А действительные статские советники сны ей разгадывают, руки у ней целуют, и она очень довольна.

— Однако какой ты злой, Мишель! И с какой стати

важные люди будут унижаться перед Лукавиным,— признайся, ведь это у тебя pour passer le temps[1] вышло?

— О, наивность ты моя! Да давно ли ты с Гебридских островов?.. Мало того — сны разгадывают, сам собственными своими очами видел, как субъект в ленте и в звезде,— правда, станиславской,— Лукьяну шубу подавал... Прелесть ты моя, да разве же мы не хватили революционных понятий... égalitè[2], помилуй!.. Мы не только шубу, честь свою преподнесем его степенству, лишь бы... О, как это гнусно, однако ж! — внезапно добавил он с дрожью в голосе.

День был душен. Солнце палило безжалостно. На балконе становилось невыносимо жарко. Граф и Варя перешли в гостиную. Там было прохладно. Широкие маркизы заслоняли окна. Пышные растения распространяли душистую влагу. Облепищев снова расположился около рояли и попросил Варю сесть около него. И опять он заговорил не умолкая. И опять его речь, причудливо изменяясь в тоне и выражении, как-то странно стала действовать на Варю: и грустно ей было, и хорошо, и не в силах она была оторваться от лица графа, на котором трепетно ходили тени кактусов и зеафорций, стоявших у окна, и — о чем бы ни подумала она — представало пред ней в каком-то ином, особливом, освещении, фантастическом и неясном, словно сквозь узорчатые стекла старинного немецкого собора...

— Странное это дело — выродившийся человек! — говорил Облепищев.— Он несет в себе идеи века, познания века, кряхтит под ними, изнемогает, но несет... Сердце его чутко, совесть чутка, о нервах говорить нечего... И никому-то он не нужен, никому до него нет дела... Ты не воображала картину,— чудовищная машина-история катит себе по человеческим спинам, посреди оханий и мучительных стенаний... И благоразумный люд умненько сторонится от ней, торгует, любит, плодится, пляшет, ест, пьет, распевает романсы на мотив apres nous le deluge... Но спицы безжалостных колес, разрывая толпу, разрывают и сердце чуткого человека. Горит его сердце... И вот он, хилый, хрупкий, нервный,— хватается бледными руками за ужасные спицы и силится остановить глупую громадину, направить ее на иной путь, где бы не было этой бесконечной

---

[1] чтобы провести время *(франц.)*.

[2] равенство *(франц.)*

подстилки из человеческого мяса... Я вот часто вижу его, этого чуткого человека. Руки замерли, судорожно охватывая железные полосы; лицо искажено неизъяснимым отчаянием; хрупкое тело гнется и готово разбиться и захрустеть под тяжестью исполинского колеса... О, этот треск костей человеческих, как он ужасен!

— Но разве же только одни хрупкие руки хватаются за эти спицы, милый? И разве чуткость в одном «выродившемся» человеке? — тихо прерывала его Варя.

В нем одном,— решительно говорил граф.— Чтобы бросаться под колеса, забывая счастье, жизнь, любовь, солнце,— нужно быть больным Шиллером, а не здоровым Гете. Милая моя, здоровый человек не бросается — он приспособляется. Его нервы не одолеют, у него не загорится сердце непрестанной, неутихающей болью...

— И «чуткие» не победят? — спрашивала Варя.

— Никогда. Где антилопа побеждала тигра? «За днями идут дни, идет за годом год» — и вечно торжествует, моя прелесть, один и тот же принцип — принцип вражды, силы, злобы:

...И будто где-то я затерян в море дальнем —
Все тот же гул, все тот же плеск валов
Без смысла, без конца, не видно берегов...
Иль будто грежу я во сне без пробужденья,
И длинный ряд бесов мятется предо мной:
Фигуры дикие, тяжелого томленья
И злобы полные, враждуя меж собой,
В безвыходной и бесконечной схватке
Волнуются, кричат и гибнут в беспорядке.
И так за годом год идет, за веком век,
И дышит произвол, и гибнет человек.

— Но как это печально,— пролепетала девушка, и вдруг какая-то трезвая и бодрая струя коснулась ее: она вспомнила о Тутолмине.— Но ты преувеличиваешь, ты болен! — воскликнула она, и щеки ее запылали.— На свете вовсе не так грустно, и вовсе нет такого безумного предопределения... Я не знаю — но в нем так много надежд, так много светлого...

— Ах, моя прелесть, я не имею тучных щек, чтоб мечтать об Аркадии,— с некоторым неудовольствием перебил ее граф,— и притом, что мои мечтания? Ты замечала, над пышным закатом — когда птицы поют, провожая светлый день, и деревья лепечут, как будто произнося:

«Gut Nacht! Gut Nacht!»[1] — и вдруг неожиданно встает бронзовое облако, и омрачает румяный вечер, и кропит землю теплыми слезами... Разве птицы замолкали; разве деревья переставали лепетать?.. А что нужды, если в твою душу вместе с облаком вторгалась легкая тень и наводила на тебя грусть и жаль тебе было пышного заката... Завтра ты снова встанешь бодрая и свежая... А облако... облако, моя милая, давно уж растаяло и разлилось в слезах...

И вдруг он спросил Варю:

— Ты любила, кузина?

Варя вспыхнула до корней волос и промолчала. Но Облепищев и не ждал от нее ответа: он взял длинный и печальный аккорд и прикоснулся лицом к клавишам.

— Я любил,— медленно сказал он, выпрямляясь, и повторил, как бы вдумываясь в свои слова: — Я любил...— Затем он сосредоточенно и тоскливо посмотрел в неопределенное пространство. На его глазах заблестели слезы.

— Расскажи...— прошептала Варя, ласково погладив его руку.— Расскажи, мой милый... Тебе будет легче.

Он с благодарностью посмотрел на нее и, немного помолчав, начал:

— Это было не здесь. Мы зимовали в Женеве. Я только что вышел из корпуса и отдыхал. То есть мне говорили, что я отдыхал,— в сущности, я изображал своими нервами скрипку, по которой разгуливал смычок графини... Но это в сторону. Все-таки было весело. Maman день и ночь рассуждала, под каким соусом подать меня в свет; примеривала на меня и мундир посольского юнца, и гвардейский, и юстиции, и археографический из второго отделения... Но в антрактах я был свободен и намордник мой прятался под подушку. У нас было знакомство. Были две-три генеральши довольно сомнительной породы, но очень богатые (одна, впрочем, впоследствии времени оказалась штабс-капитаншей); была одна графиня с лицом, поразительно напоминавшим бутылку из-под шампанского, и с дочерью, стройной и пронзительной как уланская пика; был старичок сенатор, лечившийся от сонливости, одолевавшей его при виде красного сукна — любопытное извращение известного физиологического факта, наблюдаемого при другом случае; был предводитель дворянства, непомерно глупый и толстый,

[1] «Доброй ночи! Доброй ночи!» *(нем.)*.

но, однако же, отчаяннейший либерал... Впрочем, воздух ли Женевы влиял на нас, но все мы либеральничали напропалую. И вот среди нас-то появлялась одна девушка. Что тебе сказать о ней? Она никогда не либеральничала. Она говорила глубоким, гортанным голосом и иногда пела. Лицо у ней было смуглое и неизъяснимо гордое. Помню, как все притихали при ней и осторожно вдумывались в слова,— что, разумеется, не мешало им изрекать вечные глупости... Вот и все. Но я ужасно полюбил ее. Я бредил ею. Когда она бывала у нас, я не сводил с нее взгляда. Я угадывал шелест ее темного платья иногда за две, за три комнаты. Но она, конечно, не замечала меня. Да замечала ли она кого? Она была, как царица, недоступна.

Но раз она перестала бывать в нашем доме. Причина ужасно всех поразила. Из России пришли неслыханные, потрясающие вести... Наш salon вдруг как-то приник и моментально утратил фрондерское свое обличье. Помню, графиня все ходила, преодолевая волнение, по нашей светлой зале с видом на голубое озеро и, посадив меня в позицию, назидала. Вечером приступили к дебатам. И вот во время этих-то дебатов первый раз показала наша царица свои львиные когти. Сначала она как будто изумилась, когда генеральша,— та самая, которая оказалась впоследствии времени штабс-капитаншей,— круто повернула фронт и с сочувственным вздохом помянула времена графа Бенкендорфа. Но когда весь salon подхватил этот вздох, когда все эти вчерашние вольнодумцы, спеша и захлебываясь друг перед другом, стали выгружать свои подлинные чувства — без всяких уже карбонарских плащей и фригийских шапок, она внезапно встала и... ушла, надменно подняв голову...

Он замолчал.

И все? — спросила Варя.

- И все, и нет,— вымолвил граф.— Я уже более не видал ее. Я бегал по Женеве, искал, расспрашивал — все было напрасно. Прошел год. Я торчал в Мадриде в качестве «причисленного»... И одно время узнал о ее свадьбе. Жених был молод, богат, имел положение, связи... Казалось, все окончилось благополучно. И затем все кануло как в воду. Знаешь, точно камень: ударится, взволнует светлую поверхность... И снова тихо, и только далеко-далеко отраженная волна плеснется в сонный берег и рассыплется звонкими брызгами.

— И все?

— О, нет. Я тебе не буду рассказывать, как я развенчивал мою царицу, как воображал ее среди пеленок, в беседе с поваром, в разговорах с прачкой... Об этом тебе расскажет Гейне. Но не особенно давно я узнал о ней: графиня с злорадной улыбкой подала мне газету. «Вот до чего доводит эксцентричность, граф»,— произнесла она, видимо подразумевая недуги твоего покорнейшого слуги... Бедная maman, она называет это эксцентричностью! Но я не спорил с ней,— я ведь не могу с ней спорить,— я заболел, долго жил в Ницце, долго... Но это, впрочем, неинтересно. Она промчалась по нашему беспутному небосклону ослепительной звездой и трагически угасла.

— Но за что же? — в ужасе спросила Варя.

— За «эксцентричность», моя прелесть,— горько сказал граф и спустя немного продолжал: — Потом я узнавал подробности... Шаг за шагом восстановлял странную жизнь этой девушки — я не могу называть ее madame — и, знаешь, к чему я пришел, моя ненаглядная: без трагической ноты эта жизнь не была полна. Эта нота как будто гамму собой дополнила. Иначе была бы трудовая, мещанская проза, без величия, без геройства... Вообрази Ромео и Джульетту в благополучном сожитии или Отелло, окруженного карапузиками... Слишком много прозы!.. А теперь вот звучит эта гамма душу леденящим созвучием, и стоит предо мной моя царица в дивном гневе, и я не смею ее любить, смею только боготворить ее, преклоняться перед нею...

— Как ее звали? — спросила Варя, чувствуя, что вслед за словами графа и в ее душе возникает светозарный образ величавой и загадочной женщины.

— Женни,— ответил граф и, покинув диванчик, пересел на табурет. — Вот послушай: я попытался звуками изобразить эту жизнь,— произнес он.— Но не ожидай чего-нибудь самостоятельного, о, нет... Ты знаешь, у меня нет композиторского таланта, нет оригинальности, я хочу сказать, у меня есть только вкус да «чуткость», моя прелесть,— он грустно вздохнул.— Что делать m-lle Каллиопа, по всей вероятности, прозевала час моего рождения в балагурстве с герром Вагнером, и вот теперь суждено мне, бедному, выжимать апельсины... Знаешь, как в Италии,— там не чистят их, а просто сосут и бросают. Итак, не ожидай оригинальности. Но прежде сообщу тебе текст: «Ни одной тре-

вожной думы на душе. Небо сине. В сердце горит любовь. Соловьиная песня навевает радужные грезы...»

И он прикоснулся к клавишам. Рояль запела. Грациозные звуки с веселой безмятежностью обступили Варю. Она разбирала среди них что-то знакомое, где-то слышанное, но это знакомое струилось едва заметно и, сливаясь с новыми звуками, являлось в каком-то ясном и свежем сочетании. Воображению Вари представлялась березовая роща, насквозь пронизанная солнечным блеском, веселое мелькание душистых листьев, соловьиная песня, замирающая в отдалении, яркая зелень луга... Но вдруг какая-то тень смутно нависла над пейзажем. «Облако?» — подумала Варя и отчетливо увидала, как потускнели стволы берез и исчез глянец с клейких листочков... Соловей замолк... Она вслушалась. Светлые звуки стихали, отступали куда-то, погасали с робкой торопливостью. И внезапно в какой-то смутной дали возник невыразимо печальный и долгий стон. С каждой минутой он приближался, однообразно повышаясь, и властительно вытеснял идиллию. Неспешная вереница грациозных ноток беспорядочным узором вилась около него и в смущении разбредалась. И с каждой минутой этот скорбный звук все более и более пробуждал в Варе какие-то глубокие воспоминания. «Да что же это?» — думала она в тоскливом недоумении. Вдруг мотив зазвучал сильно и уныло. У Вари как-то радостно упало сердце: она угадала его. «Как это хорошо!» — прошептала она и смахнула слезы.

— Ты была на Волге? — говорил Облепищев.— День жаркий и душный. Раскаленный воздух неподвижен. Река в невозмутимом покое уходит вдаль. Песчаные отмели ярко желтеют, на них рядами сидят птицы. Там и сям белеют паруса, поникшие в сонном изнеможении... Все тихо. И вдруг в знойный воздух тоскливо врезается песня:

Эх, дубинушка, ухнем...
Эх, зеленая, сама пойдет!..—

и унылое настроение охватывает тебя, и тупою болью ты смотришь на эту знойную даль, на Волгу, на поникшие паруса... И кажется тебе, что и барки эти, сонная Волга, и пустынные берега, изнизанные птицами, и вон тот курган, что, вероятно, помнит Стеньку Разина, а теперь навис над рекою в мрачной задумчивости,— все разделяет твое уныние

и твою медленную боль... А песня стонет и тянется, и бесконечно надрывает твою душу.

И он снова заиграл. Однообразный стон «Дубинушки» медлительно замирал под его пальцами, уступая место звукам сильным и широким. И Варю заполонили эти звуки какой-то величавой и строгой серьезностью. Правда, тоска сказывалась и в них, но уже не казалась Варе подавленным стенанием, как в «Дубинушке», — она походила на призыв и гудела точно набатный колокол... Варя знала, что это был напев какой-нибудь старинной песни, но какой именно — не помнила. И она вопросительно посмотрела на графа.

— Разбойничья песня, — сказал он и, не отрываясь от рояли, проговорил внушительным речитативом:

Как на славных на степях было саратовских,
Что пониже было города Саратова,
А повыше было города Камышина,
Собрались казаки-други во единый круг,
Как донские, гребенские и яицкие...

Но тут характер музыки снова изменился. Протяжный напев стал прерываться. Там и сям среди него подымались какие-то гордые звуки и, утихая, уступая дорогу могучему напеву, опять возникали. И с каждым таким возникновением неслышно, но неотступно образовывался новый мотив. Он ширился, развивался, ускорял темп, как будто торопил медленную песню, захватывал ее с собой, шел с нею рядом... И вдруг раздался громко и торжественно. Варя даже вздрогнула от неожиданности: это была марсельеза. И снова она вспомнила картину Доре. Но теперь среди восторженной толпы шла и потрясала знаменем гневная Женни. И все существо Вари переполнилось любовью к этой таинственной женщине.

Но победоносная музыка прекратилась скоро и внезапно. Лицо графа явило вид неизъяснимого волнения. Инструмент зарыдал под нервным прикосновением его рук... И надрывающий напев русской свадебной песни, причудливо переплетаясь с мотивами известного трио из «Жизни за царя», — больно и настойчиво защипал сердце Вари. Затем пронесся какой-то смутный гул, подобный отдаленному шуму волн и напомнивший Варе одно место из бетховенского «Эгмонта»; потом раздался резкий и сильный металлический удар... и все смолкло. Но граф не покидал клавиатуры;

с лицом, белым как мрамор, и с недоброй усмешкой на губах он стремительно опустил руки на клавиши и, подражая приемам тапера, заиграл с преувеличенной, с нервической быстротою. Торопливый темп опереточного вальсика нахально закрутился в воздухе. Иногда грозный гул, подобный отдаленному волнению бесчисленной толпы, пытался бороться с этим темпом, пытался потопить пошленькие его звуки в своем внушительном рокоте... Но вальсик вырывался как исступленный, дерзко и нагло заглушал этот рокот своей подленькой игривостью, и мало-помалу рокот утихал, дробился, поспешал с неуклюжей готовностью за расторопными звуками вальсика... И в конце концов все превратилось в какой-то шумный и приторный хаос, целиком преобразивший вечеринку Марцинкевича.

Наконец Облепищев оторвался от рояли и закрыл лицо руками. «Жизнь Женни»,— пролепетал он в волнении. Варя, вся в слезах, вся потрясенная какой-то жгучей жалостью, гладила его голову, называла его ласковыми именами, участливо сжимала ему руки... О, чего бы она не отдала, чтобы все вокруг нее были веселы и счастливы и чтобы никто не извлекал из рояли таких надрывающих звуков.

— А как тебе нравится эпилог, моя прелесть? — сквозь слезы произнес граф, с любопытством взглядывая на Варю.— Не правда ли, это очень удачно?.. Это, если хочешь — философия пьесы. Когда я играл ее N. (он назвал музыкальную знаменитость), N. сказал мне: «Да это пир во время чумы, мой милый гном...» Не знаю почему, он всегда зовет меня «гномом». Разве я похож на гнома, моя дорогая? — И он кокетливо улыбнулся со слезами на глазах.

Варя ничего не сказала. Она провела рукою по лицу и в тихой задумчивости вышла из комнаты. В голове ее роились великодушные мечтания.

XIII

Долгих усилий стоило Илье Петровичу разыскать земского Гиппократа. А когда он наконец нашел его и с обычной своей горячностью напустился, упрекая его в бездействии, Гиппократ только руками развел.

— Батюшка мой, да вы с луны? — флегматично вымол-

вил он, отрываясь на минуту от ящика, в который упаковывал медикаменты.

— Я не с луны — я из деревни, где люди дохнут без всякой помощи,— отрезал Тутолмин.

— А где они не дохнут, позвольте вас спросить? — язвительно осведомился медик и, не получив ответа, продолжал: — Я, батенька, десятый день из тележки не выхожу. А участочек у меня: сорок верст так да сто сорок эдак — итого *пять тысяч шестьсот* квадратных!.. А голова у меня одна и рук только две; вот оно какое дело, горячий вы человек.

— Но у вас фельдшера...

— Есть-с. Есть, любезнейший вы мой; три фершела есть — не фельдшера, а именно *фершела* — один при больничке гангрену разводит, другой пьет запоем, а третий — у третьего, голубь вы мой, тифозная горячка третий день, и будет ли он жив — ведомо господу. Я же, извините вы меня великодушно, две ночи не спал да два дня не жрал.

Тутолмин стих и во всю дорогу обращался к доктору с глубокой почтительностью. Его как бы подавляла эта непосильная преданность своему делу, обнаруженная флегматичным и сереньким человеком.

— Но что же делает земство? — любопытствовал Илья Петрович.— Отчего мало докторов, почему нет медикаментов?

— Денег нету-с. Оттого и докторов нет, что денег нету. Народ мы дорогой, жалованье нам немаленькое, а обкладать-то уж нечего: земли обложены, леса обложены, купчина защищен нормой, а доколе норма оставляет его на произвол судеб, и купчина обложен...

— Но бюджет, кажется, очень велик.

— Это вы, батенька, справедливо сказали: бюджет велик. Но вы знаете, сколько одних канцелярий на шее этого аппетитного бюджета? Изрядно, голубь вы мой.— И доктор начал откладывать пальцы: — Управская — раз, съезд мировых судей — два, крестьянского присутствия — три, воинского присутствия — четыре, училищного совета — пять...

— Но ведь это можно бы изменить, сократить...

— Эге, вы вона куда! Вы зачем же, любезнейший, в теорию-то улепетываете? Вы не улепетывайте, а держитесь на почве. Почва же такова: обязательных расходов *сорок два процента* — понимаете ли: о-бя-затель-ных! — админи-

страция и канцелярии («Приидите и володейте нами», — в скобках пошутил он) *двадцать два процента;* ремонт зданий, страховка и расширение оных — *шесть процентов...*

И Тутолмин ясно увидел, что если «не улепетнуть в теорию», то и земство не виновато.

— Но тогда уж возвысить бюджет приходится,— нерешительно сказал он.

— Тэ, тэ, тэ!.. Это, другими словами, налоги возвысить? Превосходно-с. В высшей даже степени превосходно и просто. У меня и то есть один благоприятель,— великолепно он так называемый вопрос народного образования разрешает: собрать, говорит, по рублю с души единовременно — и гуляй душа!.. Батюшка вы мой, в том-то и штука, что повышай не повышай — толку не будет. Только счетоводство одно будет... Недоимка одна сугубая...

— Но в таком случае как же вы хотите обойтись без теории,— заволновался Илья Петрович,— вспомните «народоправства» Костомарова... в Новегороде, например...

— А, это другое дело! — с протодушным лукавством произнес доктор.— Поговорить мы можем. Поговорить мы всегда с особым удовольствием... Ну что, что там у Костомарова?.. Я, признаться вам, батенька, не токмо так называемых «книг светских», «Врача» уже третий месяц в глаза не вижу. А что касается ученых каких-нибудь сочинений, то перед богом вам клянусь — не виновен с самой академии.

И точно, «теоретический» разговор, который затеял было Илья Петрович, погас чрезвычайно быстро.

— Вы лучше расскажите, какова барышня у вас в Волхонке? — вымолвил доктор, преодолевая зевоту.— Говорят, чистейший маньифик. Вот бы, канальство, посвататься!.. Я, батенька, выискиваю-таки бабенку. Скучно, знаете. Дела — гибель, а приедешь домой, и позабавиться нечем. То ли дело мальчуганчика бы эдакого завесть или девчурку...

Тутолмина покоробило: он не ожидал таких признаний от добросовестного земского работника. Отсутствие «принципов» в этом работнике смертельно оскорбило его. «Затирает! — подумал он с горечью и невольно сравнил Гиппократа с Захаром Иванычем.— И буржуя моего затрет,— мысленно продолжал он,— и выищет он себе манерную самку, и наплодит с ней краснощеких ребятишек... Эх, болото,

болото!» Но когда показалась Волхонка и засинело волхонское озеро, мысли Ильи Петровича изменили грустное свое настроение. Он подумал о Варе: «Эта не самка! — чуть не произнес он вслух, внезапно охваченный чувством какого-то горделивого довольства,— мы не изобразим с ней мещанского счастья...»

Однако же в деревне Тутолмину снова пришлось изменить свое мнение о Гиппократе. Этот «пошловатый» человек (как об нем было уже подумал Илья Петрович) с такой внимательностью осматривал больных, так безбоязненно обращался среди вони и грязи, до того ясно и быстро устанавливал дружественные отношения с крестьянами, что Тутолмин опять почувствовал к нему глубокое уважение. Это уважение еще усилилось, когда Гиппократ наотрез отказался заехать в усадьбу и настойчиво заспешил в ближнюю деревню, где свирепствовал дифтерит. Илья Петрович только в недоумении посмотрел на него: он никак не мог помирить такое самоотвержение с отсутствием «принципов». «Может, скрывается?» — предполагал он, задумчиво шагая по направлению к усадьбе (экипаж он уступил доктору), но тут же вспоминал бесхитростный облик доктора и снова повергался в недоумение. «Э, ну его к черту! — наконец воскликнул он, подходя уже к самому флигелю: — Явно разбойник, буржую моему подобен...» И любовное отношение к доктору, смешанное с какою-то раздражительной досадой, окончательно установилось в нем.

Захар Иваныч только что возвратился с поля, и Тутолмин, захватил его за какими-то длинными выкладками. Они повидались.

— Вот, Илья, сила-то грядущая! — вымолвил Захар Иваныч, откладывая карандаш.

— Какая такая? Уж не та ли, что щедринский помещик изобрел: сама доит, сама пашет, сама масло пахтает?..— иронически отозвался Илья Петрович.

— Э, поди ты... Я тебе о Лукавине говорю.

— Аль приехали?

— Приехали. Ну один-то не по моей части: он, кажется, все больше по части художеств — Варваре Алексеевне все ручки лижет...

— Что ты сказал? — переспросил Тутолмин, внезапно ощущая какую-то сухость в горле; и когда Захар Иваныч

повторил, какая-то жесткая злоба поднялась в нем.— Ну, а другой что лижет? — грубо произнес он.

— Э, нет, брат, другой не из таких. Другой не успел еще путем оглядеться, как со мной все поля обрыскал. Сметка, я тебе скажу! Взгляд! Соображение!

— Еще бы! Ты, поди, растаял. Эх, погляжу я на тебя.

Но Захар Иваныч не обратил внимания на укоризненный тон Тутолмина.

— Ты посмотри на этот проектец,— возбужденно заговорил он, снова подхватывая лист бумаги и быстро чертя по нем карандашом.— Это, например, сахарный завод. Вот затраты: это — оборотный капитал; это — убытки от превращения севооборота... это вот отбросы...

— Так,— саркастически вымолвил Илья Петрович,— значит, тебе мало «одров», ты еще настоящую фабрику вздумал воздвигать...

— Не фабрику, Илья...

— Завод. Это все равно. Тебе мало твоих батрацких машин, ты еще всю окрестность хочешь заразить фабричным ядом... Ты хочешь вконец перегадить нравы, опоганить народное мировоззрение, расплодить сифилис... Подвизайтесь, Захар Иваныч!

— Как же ты не хочешь понять, Илья,— корнеплоды необходимы. Ты посмотри: нынче гессенская муха пшеницу жрет, завтра — жучок, послезавтра — червячок какой-нибудь... Помилуй! Ведь нас силой загонят в корнеплоды... Так лучше к этому порядку вещей приготовиться. А скот! Ты посмотри, нам ведь его кормить стало нечем...

Но Илья Петрович сидел неподвижный и угрюмый.

— Действуй,— с злобой говорил он,— поступай к Лукавину в рабы. Давите народ, Захар Иваныч, поганьте его!.. Надолго ли? Посмотрим, милостивейший государь.

Захар Иваныч рассмеялся.

— Ну, чудак ты,— сказал он.— А к Лукавину я действительно мог бы поступить. Ты знаешь, какая штука: он меня сегодня отводит и говорит: берите с меня три тысячи целковых, почтеннейший, и покидайте вашего маркиза...

— Как это благородно! — воскликнул Илья Петрович.

— Ах, кто тебе говорит о благородстве,— в некоторой досаде возразил Захар Иваныч,— тебе говорят, какова сила...

— Наглости?

— Нет,— сообразительности, смекалки, милый мой. Я, разумеется, пойти-то к нему не пойду...

— А следовало.

— Не пойду,— повторил Захар Иваныч,— а завод с его помощью как-нибудь устрою.— И вдруг он ударил себя по лбу. — А знаешь, если бы ему жениться на Варваре Алексеевне! — воскликнул он.

— Опомнитесь, Захар Иваныч,— язвительно проговорил Тутолмин.

— Да ведь я как... Господи боже мой,— оправдывался Захар Иваныч,— я говорю в виде предположения. Я говорю, если бы она полюбила его... и вообще...

— Что между ними общего! — закричал Тутолмин яростно на Захара Иваныча.

— Как что?..— в изумлении произнес Захар Иваныч.— Богат, красив,— он очень красив... Ты-то что, Илья! Граф какой мозгляк перед ним, а и то она тает. Барышня, брат...

— Что барышня? — внезапно опавшим голосом спросил Илья Петрович.

— Да вообще...

— Вообще подлость,— резко перебил Тутолмин и, шумно поднявшись с места, ушел в свою комнату.

А Захар Иваныч никак не мог догадаться, чем он так рассердил приятеля. Он подумал и тихо подошел к двери его комнаты.

— Илья,— сказал он,— Илья!..

— Что вам угодно? — ответил тот.

— Но ты не осмыслил вопроса, Илья; ты не обсудил его воздействий на крестьян,— вкрадчиво вымолвил Захар Иваныч, стоя у двери,— ты не сообразил всех польз...

— Я давно обсудил.

— Но ежели они будут садить корнеплоды...

— Я давно обсудил, повторяю вам.

— Но согласись, Илья...

— Я давно обсудил, что вы все тут трещотки и фарисеи! — раздражительно воскликнул Илья Петрович.

Захар Иваныч хотел было что-то сказать, но подумал и не решился. Он взял фуражку, взял лист бумаги с карандашом и вышел на цыпочках из комнаты. «И милый человек,— думал он,— а как от жизни-то отстал... Вот тебе и книжки!» — И, уютно поместившись на крылечке, старательно начал вычислять стоимость рафинадного отделения.

А Тутолмин лежал на постели, гневно плевал в потолок и чувствовал себя очень скверно.

Вечером суровый и гладко выбритый человек в кашемировом сюртуке явился к Захару Иванычу и доложил, что «господа просят его пожаловать с гостем чай кушать». Илья Петрович было отказался. Но Захар Иваныч так просил его и вместе с тем так хотелось самому ему повидать Варю, что он не выдержал и напялил свой парадный сюртучок. Кроме сюртучка, он надел еще свежую рубашку отчаянной твердости и белизны и отчаянного же фасона: воротнички достигали до ушей. Но ему казалось, что это последнее слово моды, а он на этот раз не хотел ударить лицом в грязь.

Как же зато и вспыхнула Варя, когда он петушиной походкой вошел в гостиную. По обыкновению, она сидела около графа и внимала неутомимой его болтовне. При входе приятелей граф вопросительно посмотрел на неё. «Тутолмин...» — прошептала она, потупляя глаза и не подымаясь с места. «Боже мой, какие несчастные воротнички!» — восклицала она мысленно. Произошло обоюдное знакомство. Илья Петрович тотчас же заметил смущение Вари и ее соседство. В горле у него снова пересохло; на лбу появилась неприязненная морщина. А между тем он волей-неволей должен был присоединиться к ним: Захар Иваныч, как только вошел, сейчас же затеял разговор о заводе, и не только Лукавин, но даже Алексей Борисович стремительно пристали к этому разговору.

— Вы изволите участвовать в... — граф назвал журнал.

— Точно так,— сухо отчеканил Тутолмин.

Варя посмотрела на него удивленными глазами. И опять воротнички привлекли ее внимание.

— Если не ошибаюсь, я читал ваш очерк... — продолжал граф и упомянул заглавие очерка.

— Может быть,— с сугубой сухостью вымолвил Илья Петрович.

Но Облепищев или не замечал, или не хотел замечать этой сухости. Присутствие нового человека приятно возбуждало его нервы. Любезно наклоняясь к Тутолмину и с обычной своей грацией жестикулируя, он заговорил:

— Но всегда меня поражало это ваше пренебрежение

к форме, простите... Это, разумеется, может составлять эффект; но, согласитесь, только в виде исключения. Знаете, исключение, обращенное в привычку, чрезвычайно надоедливая материя,— и поправился, мягко улыбнувшись: — Иногда! Иногда!

Тутолмин угрюмо молчал. Варя посматривала на него с беспокойством (его костюм уже переставал резать ей глаза).

— И к тому же новизна-то не приводится в систему! — продолжал граф, все более и более оживляясь.— Шекспир отверг классические образцы, но зато дал свой. Лессинг насмеялся над чопорными куклами Готтшеда, но написал «Эмилию Галотти...» Наконец, наш Пушкин... Да наконец совершенно в другой области искусства можно проследить это последовательное развитие форм. Мы имеем строго законченное архитектурное построение в форме Парфенона. Но раз форма эта приедается,— простите за вульгарное слово (Тутолмин язвительно усмехнулся),— не хижина зулуса какого-нибудь появляется ей на смену, а римский свод. Этот свод, в свою очередь, уступает место готическому. Но с каждым разом мы видим систему: переход от строгой простоты греческого портика к узорчатым стрелам Кельнского собора ясен как серебро. Так же как ясен переход от «Капитанской дочки» к «Песне торжествующей любви». Но переход обратный, переход от Парфенона к хижине зулуса какого-нибудь, от самого *принципа* формы к полнейшей стихийности... Воля ваша!

– Вы где изволили обучаться? — быстро перебил его Илья Петрович. Варя встрепенулась в испуге. Граф в изумлении посмотрел на него.

— В пажеском корпусе,— сказал он.

— И по заграницам ездили?

— Путешествовал...

— Бывали в музеях, видели Мадонну Сикстинскую, Венеру в Лувре?

— Видел... Но я не понимаю...

– И языками владеете? В подлиннике Шекспира читаете? Декамерон, поди, штудируете на сон грядущий? Римские элегии изучаете...

— Простите, но я...

— Отлично-с,— резко остановил его Тутолмин,— а я, смею доложить вашему сиятельству, сын стряпчего,— знаете, взяточники этакие существовали в старину,— а учился я у

дьячихи... А в университет пешком припер, с родительским подзатыльником вместо благословения. Да университета-то не кончил по случаю голодухи, ибо на третьем курсе острое воспаление кишок схватил от чухонских щей... В детстве читал «Путешествие Пифагора» да сказку про солдата Яшку-красную рубашку,— вашему сиятельству неизвестна такая?..

— Все, разумеется, имеет raison d'être[1]...— начал было явно опешенный граф.

— Но граф и не думает винить вас, Илья Петрович...— вмешалась Варя.

— О, я и не воображал в вашем доме встретить прокурора, мадмуазель,— язвительно произнес Тутолмин,— я только имею интересный вопрос к его сиятельству...

— Чем могу служить? — с преувеличенной вежливостью вымолвил граф. А Варя надменно закинула головку: она глубоко негодовала.

— Служить-то вы мне ничем не можете,— бесцеремонно сказал Тутолмин.— Я только хотел вас спросить: отчего это все вы, изучающие Мадонн и Шекспиров, предпочитаете курорты навещать, а не являетесь в литературу?

— Но странное дело, таланты...

— Что до талантов! Хотя бы принцип представляли. Принцип изящной формы. Мы, глядишь, посмотрели и усвоили бы его... А то ведь нам не то жратву добывать (граф сделал гримасу; «Извините за вульгарное слово»,— с насмешливым поклоном заметил Тутолмин), не то «сущность» ловить, где-нибудь в самой что ни на есть «бесформенной» деревушке... Где уж тут до Парфенона-с!.. А вы бы нас и научили, изящные-то люди...

— Но у вас есть образцы...

— Есть, это верно. А если...

— Но вы не понимаете своих выгод,— сказал граф,— вы выходите на битву без лат... Вы забываете, что форма то же оружие... Гейне...

Тутолмин встал во весь рост.

— Выхожу с открытой грудью и горжусь этим, ваше сиятельство,— почти закричал он,— мне некогда было сковать мои латы, да еще вопрос: пригодны ли они для нашей битвы... Но я не шляюсь по курортам... не изнываю по музеям в томительной чесотке... не транжирю мужицких денег на так называемое «покровительство» изящных ис-

---

[1] право на существование *(франц.)*.

кусств, до которых мужику такое же дело, как нам с вами до китайского императора...

Варя с упреком посмотрела на него. Тогда он круто оборвал и раздражительно взялся за шапку.

— До свиданья-с! — проронил он.

— Куда же вы? — воскликнули все хором. Один граф молчал и обводил его растрепанную фигуру юмористическим взглядом.

— Не могу, у меня есть дело,— охрипшим голосом вымолвил Илья Петрович и, неловко поклонившись, направился к выходу. Варе вдруг стало ужасно жаль его. Она наклонилась к графу и, прошептав ему несколько слов (из которых он понял, что ей до конца хочется соблюсти долг любезной хозяйки), поспешно догнала Илью Петровича. Он уже натягивал пальто. В передней никого не было.

— Милый мой, что же это такое? — в тоскливом недоумении воскликнула Варя, бросаясь к нему. Он грубо отвел ее рукой.

— Ступайте! Поучайтесь у этой шоколадной куклы изящным искусствам! — задыхаясь от гнева, сказал он.

Варя побелела как снег.

— Илья! — воскликнула она с упреком. Но он сердито распахнул дверь и скрылся. Варя стояла подобно изваянию. Все в ней застыло. И холодное, тупое, жестокое настроение медленно охватывало ее душу. Она провела рукою по лицу; хотела вздохнуть, улыбнулась блуждающей и недоброй улыбкой и тихо возвратилась в гостиную. «Как ты бледна, моя прелесть!» — сказал граф, когда она с какой-то осторожностью села около него. Но она взглянула на него рассеянным взглядом и ничего не ответила. Руки ее холодели.

XIV

Тутолмин разделся и решительно развернул «Отечественные записки». Но дело не пошло на лад: интересная статья как-то туго и тяжело влезала в его голову. Маятник, равномерно стучавший в соседней комнате, ужасно мешал ему. Он закрыл уши и снова начал страницу. Но мысли его улетали далеко от экономических данных, представляемых статьей, и сердце беспокойно ныло. Тогда он с досадой бросил книгу и порывисто заходил по комнате. Злоба душила

его. Он с каким-то едким наслаждением представлял себе красивое лицо графа, повергнутого в недоумение. И все в этом графе возбуждало его ненависть: и манеры, и мягкая любезность, и меланхолическое очертание губ... И он преувеличивал в своем воображении эти особенности, доводил их до карикатуры, до шаржа. Он представлял графа в виде паршивенького петиметра, в виде приторного пастушка из французских пасторалей времен Людовика XV... Но от этих представлений он круто и с какой-то стремительной поспешностью перешел к Варе. И досталось же несчастной!.. Он громоздил на ее бедную голову целую лавину обвинений. И ее изысканный костюм, и ее видимое благоволение к графу, и ее смущение при появлении Тутолмина — все ставилось ей в счет. Он не знал, как заклеймить ее поведение... Нелестные наименования ежеминутно срывались с его языка и необузданно будили мертвую тишину уютной комнатки. Он не мог простить себе те разговоры, которые вел с нею, ту «идиотскую» растрату времени, которую допустил ради поучения этой «либералки»... О, теперь он отлично видит, что дело заключалось в романических изнываниях. Все остальное служило лишь фоном для этих изнываний... «Прекрасно! — в ярости восклицал Илья Петрович.— Превосходно! В высшей даже степени великолепно, почтеннейший господин Тутолмин!» — и он с азартом обрушивался на свою особу. Не было того яда, который он не излил бы на себя. Не существовало таких унизительных сравнений, которыми он не воспользовался бы при этой безжалостной расправе. Не находилось таких презрительных прозваний, которыми он не обременил бы «свое ничтожество». С какой-то ненасытимой жадностью он переворачивал свою память и выкладывал ее содержимое для пущего уязвления «своих поползновений». И Онегин-то, и Печорин, и Рудин, и Агарин — проворно вылезали оттуда и с коварными гримасами поспешали на прокурорскую трибуну, откуда стыдили и дразнили Илью Петровича сходством своих похождений с его отношениями к Варе... Голова его пылала. По спине ходили иглы.

Он бросился на постель и уткнулся лицом в подушку. И долго ни одной связной мысли не появлялось в его горячей голове. Он только чувствовал какое-то бессмысленное и беспокойное угнетение. Сердце его ныло с тупою болью... Но мало-помалу волнение утихало; злоба исчезала, обессиленная наплывом тяжелой усталости... И он ясно вообра-

зил Варю в тот миг, когда она подбежала к нему в передней. Тогда что-то вроде укора совести шевельнулось в нем. Он стал рассуждать сухо и правильно. Правда, он не обвинял себя; он не брал назад презрительных наименований, данных им девушке во время раздражения... Но в нем выросло и стало во весь рост сознание глубокой и страстной любви к ней. «Это факт,— произнес он громко,— и с ним надо считаться... Но нужно вырвать ее из этой экзотической гнили; нужно решительно и раз навсегда вывесть ее на прямую дорогу...» — и он, почти успокоенный, встал и твердой рукою написал ей письмо.

«Варвара Алексеевна! — гласило письмо.– Я не признаю шуток в серьезных вещах. Наши с вами отношения я считаю вещью *серьезной*. Играть в нервы, а тем паче раздражать чью-либо экспансивность, моего согласия нет. А так как наши отношения в вашем *салоне* именно таковы, что могут только потворствовать этому раздражению и этой игре, и так как по этому пути мы, может быть, зашли слишком уже далеко, то, я думаю, было бы уместно: игру прекратить и заявиться перед разными салонными пряниками в подлинном своем виде. Для этого благоволите разрешить мне говорить вам «ты» уже не под сурдинку, а как и подобает взрослым людям — громко и ясно. Конечно, есть и иной выход: я бы мог сделать вам так называемое «предложение», а вы — принять его. Но дело в том, что я считаю очень разумным наше прежнее решение: не сходиться до тех пор, пока вы не взглянете жизни прямо в глаза, то есть не изведаете ее нужд и ее прозы, а потому и «обычный» выход нахожу неподходящим. Жду ответа.

Илья Тутолмин».

Разыскав Алистрата и отправив с ним письмо, Илья Петрович совершенно успокоился. Правда, он все-таки не взялся за статью в «Отечественных записках», но улегся на кровать и начал мечтать. Он воображал себе Варю без всяких «барских свойств». Умная, красивая, развитая, в простеньком темном платьице — она сидела в кругу его друзей и, дельно аргументируя, отстаивала его заветные мысли о мировом значении русских бытовых форм и об устойчивости крестьянских общинных идеалов... Дальше она представала ему в заманчивой простоте деревенской обстановки, среди ребятишек и баб, ведущих нескончаемую беседу... И сердце его теплилось тихо и спокойно.

Вошел Алистрат. Тутолмин протянул руку... В конце его собственного письма стояло смутно и неразборчиво: *Мне надо говорить с вами. Приходите утром в березовую аллею.* Тутолмин еще раз прочитал... И какое-то неясное чувство страха стеснило ему сердце.

Длинные тени лежали еще на росистой траве, когда Илья Петрович появился в березовой аллее. Озеро дымилось. Солнечные лучи червонным золотом сквозили чрез деревья. Было свежо. Березы издавали крепкий запах. Тутолмин сел на пень, подобрал сухой сучок, валявшийся на дороге, и в задумчивости начал чертить им по песку. Где-то вблизи неугомонно стрекотала сорока. «И на что ей понадобилось это свидание?» — думал Илья Петрович, и снова неясное ощущение страха обнимало его. Но он как бы отклонялся от этого ощущения, как бы убегал от него... Он вспомнил первое свое знакомство с Варей, ее удивленное личико при его внезапном появлении, ее шаловливую улыбку после, во время представления... Он представлял себе подробности их сближения, разговор в шарабане, сцены на поляне и на озере... И хорошо ему делалось. И не хотелось ему думать о вчерашнем вечере, об этой загадочной приписке к его письму, о свидании... «Точно в романе!» — мысленно произносил он и улыбался с деланной насмешливостью; а чувство страха опять надвигалось на него смутной и неопределенной тенью.

Вдруг послышался легкий шорох... Тутолмин вздрогнул и поднял голову. В двух шагах от него стояла Варя. Она неподвижно смотрела на него и была печальна. Белый платок обрамлял ее бледное личико; под глазами темнелись круги. Илья Петрович бросился к ней.

— Здравствуйте, Илья Петрович,— тихо вымолвила она и опустила глаза.

Тутолмин в тревожном изумлении посмотрел на нее.

— Что с тобой, моя дорогая! — воскликнул он, взяв ее за руку. Она было попыталась освободить эту руку, но после легкого усилия оставила ее в руке Тутолмина.— Что с тобой,— продолжал он,— или ты рассердилась на глупую мою выходку?.. Но, милая моя...

— Я вас прошу говорить мне «вы», Илья Петрович,— едва слышно произнесла Варя. Илья Петрович бессильно выпустил ее холодную руку.

— Что это такое? — прошептал он в ужасе.

Тогда она взглянула ему прямо в лицо и заговорила с какой-то нервической поспешностью:

— Я вам пришла сказать... Я пришла... Я долго думала, Илья Петрович... Но я вас не люблю... Я вас очень, очень уважаю, но я не могу вас любить...

Тутолмин с горьким стоном отошел от нее.

— За что же это? — с изумлением проговорил он и, не дождавшись ответа, рассеянно приложил ко лбу руку.— За что?..— повторил он тихо.

Варя хотела говорить и не могла: рыдания душили ее. Она больно прикусила губы и отвернулась. Но она не могла бы сдвинуться с места: ноги ее, казалось, окаменели.

— Но зачем же вы признавались мне в вашей любви? — спросил Тутолмин.

— Я не лгала,— отвечала девушка.

Он усмехнулся.

— Но вы хотели быть моей женою,— сказал он.

— Я преувеличивала,— прошептала Варя.

Тутолмина передернуло.

— Вы *преувеличивали*? — язвительно и длинно протянул он.— С которых же пор вам стало ясно это «преувеличение» — до его сиятельства или после?

Глаза девушки гневно засверкали. Она выпрямилась.

— Вы можете оскорблять меня,— произнесла она.

Тогда Илья Петрович склонился как подкошенный и беспомощно, истерически зарыдал. Неизъяснимая тоска изобразилась в лице Вари. Она стремительно бросилась к Тутолмину и вдруг как бы захолодела вся и судорожно стиснула свои руки.

— Я не люблю вас! — повторила она твердо и выразительно.

Тогда он распространился в мольбах. Он заклинал ее подумать, не делать опрометчивого шага под влиянием случайного раздражения, не возводить минутного настроения на степень факта, бесповоротно решающего судьбу... Он молил ее подождать, помедлить, он жадно приникал к ее рукам, мокрым от его слез и холодным; он называл ее милою, дорогою, радостью, счастьем, любовью... А она стояла немая и недвижимая, как мрамор, и с тоскливым отчаянием смотрела вдаль. Солнце подымалось. Косые его лучи бодро и весело пронизывали аллею. Березы стыдливо румянились. В роще щебетали птицы, кропинки росы сверкали как раз-

дробленный хрусталь. Душистая прохлада расплывалась непрерывными волнами и ласково веяла ей в лицо. А сердце ее не растворялось и в голове бродила мгла.

— Ты не спеши, не надо спешить,— говорил Тутолмин голосом, поминутно прерывавшимся от волнения,— ты погоди... Ты всмотрись в меня, моя красавица... Узнай меня поближе... Не обращай внимания на эту проклятую шероховатость мою... Смотри ты глубже... Зачем же прельщаться лаком!.. Не забывай моей сущности... Не забывай идей, которые я представляю... Пойми, что счастье твое только в них... Ведь ты же не пойдешь, не можешь пойти по следам Алексея Борисыча?.. Ведь правда? Ведь не удовлетворят же тебя красивые картинки?.. Счастье мое, родимая моя... О, скажи же мне, скажи...

Варя тяжко вздохнула и с грустью покачала головою.

— Что же я тебе скажу? — тихо произнесла она.— Нечего мне тебе сказать... Дорогой ты мой, не волнуйся ты, береги себя... Ты нужен, ты полезен...

— Но я ответа прошу...— со стоном вымолвил Тутолмин.

— Не люблю я тебя, не могу любить,— печально сказала Варя.— Помнишь, с той сцены на поляне,— она покраснела в смущении,— я тогда не смогла решить, но я тогда же подумала... Дорогой ты мой, как *мужа* не могу я тебя любить... Я вот как виновата пред тобой — я поступила бесчестно, я это сознаю... Но я теперь не могу лгать... Простите меня,— она заплакала,— если бы вы знали, что со мною было... Я убить себя хотела — я не знаю, как я пережила эту ночь... Я ведь только с вашей записки поняла, что совсем, совсем не люблю вас... И вы не подумайте — я никого не люблю. Выше вас я никого не знаю. Но... друг мой, брат мой, милый мой брат, я никогда не буду твоей женою... Пойми же ты меня!.. Если бы вы сказали мне пойти и умереть, о, я бы с радостью умерла.— И воскликнула с блистающими глазами: — Ах, укажите мне дело, за которое я могла бы умереть!

А Илья Петрович только вздрагивал как бы от ударов да замирал в тупом и холодном отчаянии. Он ясно видел, что все его надежды разлетаются дымом. Он прекрасно сознавал, что справедливость, по крайней мере теперь, вся на стороне Вари и что давно пора было отдать себе строгий отчет в этих романических отношениях — и все-таки не мог успокоиться. И бешенство в нем подымалось, и страсть кипела неукротимым ключом, и оскорбленное самолюбие заявля-

ло свои притязания... При последних словах девушки он встрепенулся.

— С музыкой? — насмешливо спросил он; и когда она не поняла, добавил: — Нет у меня в распоряжении такого дела, Варвара Алексеевна. Мое дело жизни требует, а не смерти. Самой что ни на есть прозаической жизни. Без барабанов...

— Я не понимаю тебя,— сказала она, поглядев на него в недоумении.

— Глупо делали и прежде, что барабанили, говорю,— вымолвил Тутолмин.— Христос без барабанов победил мир.

— Но он умер на кресте,— живо произнесла Варя.

— Не следовало.

— «Есть времена, есть целые века»,— в каком-то восторге сказала она,—

В которые нет ничего желанней,
Прекраснее — тернового венка...

— Но терновый венец и без барабанов может снизойти,— возразил Илья Петрович.— Я вот за доктором ездил: вживе терновый венец носит, а с виду сер и приискивает бабенку для забавы.

Перед Варей внезапно встала деревня с ее больными и с ее невыразимой грязью. Она вообразила этого «серого» доктора в бесконечной возне с этой грязью и не нашлась что ответить. Она только в ужасе охватила свою голову и произнесла сквозь слезы:

— Никуда-то я, никуда-то не гожусь!

А в Илье Петровиче звуки ее голоса, беспомощно поникшего и переполненного страхом, снова возбудили какую-то надежду.

— Славная моя девушка,— быстро и убедительно заговорил он,— не горюй, не убивайся... Разве наука, разве серьезное и любовное изучение народной жизни не так же светлы и ясны... Это в твоих ведь руках... Читай! Учись!

— Но не могу я одна!.. — вырвалось у девушки.

У Тутолмина дух захватило от радостного волнения.

— Любовь моя,— произнес он замирающим шепотом.— Я твой... Ведь я весь твой!.. Пойдем рука с рукою вперед, как, помнишь, шли с той поляны... Всю жизнь свою...

Но она печально остановила его.

— Милый мой, я не могу лгать,— сказала она.

Тогда он посмотрел ей в лицо пристальным и мутным

взглядом и внезапно упал духом. Какая-то странная кротость овладела им. Он медлительно протянул ей руку и промолвил:

— Простите, Варвара Алексеевна.

Она машинально подала ему свою, прошептала:

— Прощайте, простите...— Но когда он повернулся и, понурив голову, пошел от нее, все существо ее заныло в невыносимой жалости.— Илья Петрович! Илья!..— слабо вскрикнула она. Но он не возвращался. Тогда она схватилась за сердце и тихо охнула. Солнечный луч горячим пятном ударил ей в лицо. Ласточка стремительно влетела в аллею и едва не коснулась крылом ее платья. Где-то закуковала кукушка... Варя осмотрелась в каком-то изумлении и направилась к дому. Лицо ее было строго и серьезно, глаза сухи. Взгляд — как-то странно внимателен... Но она ничего не замечала. Она с какой-то размеренной осторожностью шла и несла в себе что-то мертвое и мучительно холодное. Так, мимо балкона, мимо удивленной Надежды, сметавшей пыль с мебели в гостиной, прошла она в свою комнату. Там она собрала все книги, которые читала с Тутолминым, бережно завернула их и положила в дальний ящик комода. И когда задвинула этот ящик и подошла к окну, за которым ослепительно сверкал день и синеющая даль курилась без конца,— вдруг что-то как бы оборвалось в ней и загорелось неизъяснимой болью. Она бросилась в кресло, в отчаянии заломила руки и зарыдала горько, тоскливо, неутешно...

XV

Облепищеву привезли с почты письмо, получив которое. он поморщился точно от боли. Письмо было от графини. «Правда, я привыкла к вашей неаккуратности, граф,— писала она по-французски почерком тонким и четким как бисер,— но я рассчитывала на исключение. Отчего вы не пишете мне: понравилась ли Варя Пьеру, и сделал ли он ей предложение. Не забывайте, что от этого брака зависит наше состояние. Лукиан Трифонович соглашается погасить наши закладные, если Pierre женится на вашей кузине. Вы, конечно, помните, как *много* вы содействовали возникновению этих закладных, и потому поймете, *что* честь обязывает вас сделать в настоящем случае. Если предложение состо-

ится и будет принято — телеграфируйте мне так: *курсы повысились...»* Дальше шло неинтересное перечисление светских новостей.

Но граф и не читал дальше. Он бросил письмо и страдальчески улыбнулся. И долго сидел в глубокой неподвижности. Маленькие золотые часики с веселой торопливостью тикали на столе. Бесчисленные баночки и флаконы значительно молчали, точно поверженные в раздумье. Бетховен в громаднейшем жабо меланхолически смотрел в пространство. Вокруг фотографии спящего Моцарта витали фантастические призраки... Мишель все сидел, потупя голову.

— Ничтожность, женщина, твое название! — наконец с горечью вымолвил он и подошел к зеркалу, внимательно посмотрел на выражение своего лица. Оно было мрачно и задумчиво. Тогда он, увлекаясь, стал в позу и картинно произнес словами Гамлета: «Быть или не быть!» — и как бы внезапно воспламененный внутренним жаром, продолжал патетически:

...Вот в чем вопрос!
Что благородней? Сносить ли гром и стрелы
Враждующей судьбы, или восстать
На море бед и кончить их борьбою?
Окончить жизнь,— уснуть,
Не более! — И знать, что этот сон
Окончит грусть и тысячи ударов,
Удел живых... Такой конец достоин
Желаний жарких!..—

и с унылой решимостью добавил:

Умереть — уснуть!

Но после многозначительной паузы он поднял голову и, подражая Сальвини, которого видел в Милане, прошептал в тяжком недоумении:

Уснуть? — Но если...

И вдруг взгляд его упал на письмо графини. «Однако, черт возьми, нужно что-нибудь предпринимать!» — произнес он с озабоченным видом и потер лоб. Но в голову ничего не лезло. Он только вспомнил видимое равнодушие Вари к Лукавину, и что-то вроде удовольствия шевельнулось в нем. Но тотчас же он и упрекнул себя. «Боже, какой я эгоист!» — подумал он, припоминая свое сближение с кузиной, свои

беспрестанные tête-á-tête[1] с нею; но тут же прибавил в виде извинения: «Но она такая пикантная!» И он вообразил ее в сверкающей диадеме, в бриллиантах и кружевах, среди бесчисленных огней и блистательных пар, грациозно скользящих под звуки упоительно ноющего смычка... Вообразил ее на Невском в четыре часа, в облаках сияющего снега, взбитого копытами драгоценных рысаков, в соболях и тысячной ротонде... «Да, это ее сфера! — сказал он. Но упрямо отказывался представлять Пьера в качестве мужа Вари.— Это не муж, а просто аппетитная ассигновка!» — вырвалось у него в порыве презрительной досады.

И он опять взялся за письмо. Внизу неинтересных новостей стоял postscriptum: «Дядю, я думаю, можно посвятить в наш проект: он настолько благоразумный человек, что поймет все выгоды этого брака. Но не забывай, что Pierre ничего не знает. Лукиан Трифонович говорит, что он Pierr'у писал «обиняком»,— я, впрочем, не понимаю этого слова».

Облепищева точно откровение осенило. Он с веселым видом оделся и позвонил.

— Доложите Алексею Борисовичу, что мне нужно говорить с ним,— приказал он своему лакею, элегантному парню с лицом из папье-маше и с pince-nez на борту фрака.

Волхонский с интересом ожидал графа в своем кабинете. Он никак не мог придумать, на что тому потребовалось это рандеву. «Уж не денег ли нужно,— предполагал он,— дела их, кажется, весьма неважны, а сегодня сестра ему писала»,— и решил дать, но не более тысячи рублей. Но когда Мишель вошел и в коротких словах сообщил ему «мечтания maman, о которых она просила передать», Алексей Борисович приятно изумился. Он, правда, не показал своей радости и даже промолвил с небрежением:

— Но, мой милый, ведь они же костромские мужики!

Но когда Мишель стал доказывать ему, что, во-первых,— они не мужики, а Лукьян Трифоныч такое же «его превосходительство», как и воронежский губернатор, и что вообще при лукавинском многомиллионном состоянии эти устарелые толки о породе, по меньшей мере, не тактичны,— Волхонский внимал этим доказательствам с любовной готовностью.

[1] свидания *(франц.)*.

— Но как Петр Лукьяныч? — спросил он.

— О, Pierre, несмотря на эту свою положительность, спит и видит себя в родстве с нами,— сказал граф.

— Да...— в задумчивости произнес Алексей Борисович,— и, кажется, это дело с заводом ему по душе... Но ты поговори с ним, мой милый! — добавил он и, когда граф вышел, так и расплылся в пленительных мечтах. В его воображении вставала галерея картин на манер Боткинской в Москве, о которой он вздыхал как еврей о земле обетованной (Третьяковская не удовлетворяла его европейским вкусам). Он представлял себе обширную залу в два света, всю сплошь увешанную произведениями Мейссонье, Белькура, Коллера, Макарта, Виллемса, Коро́, Фортуни... Затем мысли его уносились дальше. В Волхонку собирались туристы, художники, музыканты, литераторы. Все они находили приют в отеле, изящно и характерно отделанном в особом, «волхонском» стиле. Все они собирались вокруг Алексея Борисовича и устраивали пикники, беседы, parties de plaisir[1],— литераторы читали свои произведения, музыканты играли, художники рисовали в альбомах; скульпторы и те лепили маленькие статуэтки и оставляли их на память хозяину... И все с внимательнейшей чуткостью прислушивались к тонким замечаниям Алексея Борисовича и благоговейно поникали перед ним. Иногда в этом кружке появлялась Варя. Она вносила с собой пикантное и восторженное настроение. Изящная, великолепная, обворожительная, она повсюду зажигала сердца. Поэты слагали ей сонеты, фельетонисты описывали ее костюмы, художники писали с нее картины, музыканты посвящали ей серенады и вальсы...

Граф застал Лукавина за чтением газетных объявлений.

— Как тебе не стыдно! — воскликнул он.

— Чего стыдиться-то? — с недоумением произнес Петр Лукьяныч.

— Да кто же читает объявления?

— А что же, по-вашему, читать? (Несмотря на то, что Облепищев давно уж говорил ему ты, он все еще не решался следовать его примеру.)

— Ну, передовую статью, фельетон, хронику.

Лукавин тряхнул волосами.

---

[1] увеселительные прогулки *(франц.)*.

— Что до хроники — я ее прочел,— сказал он.— А передовые статьи да фельетоны — неподходящее дело, Михайло Ираклич!

— Как неподходящее?

— Да так-с... Положительности от них никакой нет. В объявлении я что вижу: ежели продается карета, так уж она продается, сдается квартира по случаю — так сдается... А теперь вы возьмите фельетон ваш: вон какой-то барин за женский вопрос распинается. Ну и распинайся он до скончания веков, а все-таки по его не сделается. Так и в передовой статье: джут! джут!.. Джут, точно, дело интересное, да решит-то его господин министр финансов. Скажите же на милость, зачем я буду читать ее, эту передовую статью!

— Ну, логика,— усмехаясь, сказал Облепищев.— Как это ты с такой-то логикой да не женился до сих пор!

— И женюсь,— шутливо ответил Лукавин,— вот погодите: найду девицу, чтобы восемь пудов тянула, и сочетаюсь.

— И миллион приданого?

— Ну — миллион! С одним весом возьмем.

— Почтенный идеал,— насмешливо сказал граф и вдруг игриво ткнул Петра Лукьяныча в живот,— ведь балаганничаешь все, Пьерка,— воскликнул он,— смотри, не к туше пламенеет твое сердце, а к моей кузине!

Лукавин ухмыльнулся.

— Барышня важная,— вымолвил он,— не для нас только.

— Да ты бы приволокнулся?

Но Петр Лукьяныч даже несколько рассердился.

— Что городить! — сказал он.— Варвара Алексеевна принца ожидает.

— Напрасно ты,— совершенно серьезно возразил Облепищев,— я, по крайней мере, думаю, что ты ей очень нравишься.

— А разве она что-нибудь говорила? — живо отозвался Лукавин.

Облепищев засмеялся.

— Сказалось сердечко! — пошутил он (внутри же себя подумал: «Какой я, однако, пошляк!»).

— Вот что, Михайло Ираклич,— решительно произнес Петр Лукьяныч, придвигаясь к графу,— будем говорить прямо: барышня мне больно по душе. Приданого мы не токмо с Алексея Борисыча — ему сахарный завод выстроим.

Дело для нас пустяковое. И папаша не прочь. А с тобой (графа кольнула эта неожиданная фамильярность), с тобой мы сделаемся по-дружески: ежели понадобится кредитец на парижского Ротшильда, мы это и без папаши устроим.

Граф оскорбился.

— Ты, Pierre, напрасно думаешь...— начал он.

Но Лукавин встал и по-приятельски ударил его по плечу.

— Будет толковать,— сказал он,— сочтемся — люди свои!

Тогда Облепищев пожал плечами и подумал: «А и в самом деле не стоит с ним церемониться!» Спустя немного он рассказал ему, что и Волхонский на их стороне и что все дело теперь только за Варей.

— Только! — насмешливо воскликнул Лукавин и озабоченно почесал в затылке. Облепищев же вышел от него скучный и взволнованный и долго терзал рояль надрывающими звуками шопеновской мазурки.

XVI

Что-то странное совершилось с Варей. Она так весело болтала и шутила, так была оживлена и подвижна, когда вечером сошла в гостиную, что Алексей Борисович даже с удивлением посмотрел на нее. Но он не приметил особого выражения тупой и мрачной тоски, иногда появлявшейся в ее взгляде, и остался очень доволен: тот меланхолический вид тихой и романтической грусти, который ему некогда так понравился в девушке, теперь уже окончательно не подходил к его целям.

Впрочем, и на всех это Варино настроение подействовало очень хорошо. Все как-то вдруг сделались остроумны, и общий разговор закипел точно игристое вино. Один только Захар Иваныч был недоволен; как нарочно, он для этого вечера принес с собою чисто и красиво переписанный проект, в котором выгоды и удобства сахарного завода были изложены с вопиющей убедительностью. Чтобы предъявить его, он только ждал обычного разделения общества — когда граф уходил к рояли и заводил с Варей нескончаемые разговоры, перемежая их длинным целованием ее рук, а Волхонский с Лукавиным присоединялись к Захару Иванычу. Но теперь нечего было и думать об этом

разделении. «Эка разошлась!» — с досадой помышлял он, наблюдая за смеющейся Варей, которая расспрашивала Лукавина, как он, не зная английского языка, ездил в Англию. И Петр Лукьяныч, покинув вечную свою сдержанность и беспрестанно сверкая ослепительными своими зубами, как бы нарочно выдумывал комичные подробности, представлял в лицах мимические свои переговоры с извозчиком в Лондоне, смешно намекал, к какому неожиданному результату эти переговоры привели... А Алексей Борисович быстро подхватывал тему и вспоминал свои похождения в Венеции, свои попытки объясняться с гондольерами на языке Горация и Овидия Назона (по-итальянски он не знал).

Не отставал и Облепищев. С мечтательной улыбкой, составляющей странную противоположность пикантному предмету речи, он ворошил свои мадридские воспоминания; рассказывал, как его едва не поколотил буйный тореадор, при котором он непочтительно отозвался о способности Сант-Яго Компостельского исцелять вывихнутые члены... Но и Захар Иваныч недолго сидел одиноким. Варя быстро посмотрела на него и спросила о здоровье парового плуга. Это возбудило любопытство. Тогда Варя в забавных выражениях представила неудачу опыта, насмешки крестьян, жалостное смущение Захара Иваныча. И сама хохотала как безумная. Захар Иваныч оправдывался так же неповоротливо, как и ходил, и путался в фразах точно в тенетах.

Но Варя не дождалась окончания этих неуклюжих оправданий.

— Ах, messieurs, давайте танцевать кадриль! — воскликнула она и с лихорадочной поспешностью вскочила с места. Алексей Борисович запротестовал. Тогда она бросилась перед ним на колени и стала целовать его руки, умоляя.

— Но дамы...— слабо возразил Алексей Борисович. Она быстро вскочила и, представляя ему мешковатого Захара Иваныча,— произнесла:

— Вот, папа́, твоя дама! — Затем, лукаво потупив взгляд, степенно подошла к Петру Лукьянычу.— Надеюсь, вы пригласите меня! — сказала она. Он с восторгом подал ей руку, и все отправились в залу.

В зале стояла тусклая полутьма: одинокое бра светило неверно и трепетно. Но когда Волхонский хотел было приказать зажечь люстру и канделябры, Варя воспротивилась. Эта громадная комната, по углам которой бродили сумрачные тени, как-то странно нравилась ей. Она точно в полу-

сне скользила по паркету, чутко прислушиваясь к обворожительным звукам кадрили. И какой кадрили. Граф по своему обыкновению, взял какую-то немудрую тему и разнообразил ее прелестными отступлениями. Рояль под его пальцами то замирала и в каком-то заунывном упоении издавала едва слышные звуки, мягкие и вкрадчивые, то гремела ясно и отчетливо и переполняла сумрачную залу торжественным гулом. Варя скользила, подавала руки, садилась и временами в каком-то изумлении широко раскрывала глаза. Она как будто ничего не замечала. Ни аляповатые движения Захара Иваныча, беспрестанно путавшего фигуры, ни утонченные манеры отца, ни самоуверенные приемы Лукавина,— ничто не возбуждало ее внимания. Она точно в тумане находилась. Зала раздвигалась перед нею и уходила в таинственное пространство. Звуки воплощались, уносили ее куда-то, медленно сосали ее сердце... И ей было жутко.

Вдруг быстро и мечтательно закружился темп вальса. Лукавин охватил Варю и горячо сжал ее руку. Она невольно склонилась к нему. Ей казалось, что у ней выросли крылья и что звуки подымают ее в недосягаемую вышину. И, упоенная каким-то неизъяснимо тоскливым восторгом, она понеслась в бешеном кружении. Перед ней мелькали свечи одинокого бра; над нею склонялся красивый силуэт ее кавалера; воспаленная ладонь его руки томительно и приятно жгла ее стан; тени убегали куда-то и надвигались в непрерывном колыхании. И ей казалось, что она погружена в какой-то длинный и фантастический сон, и неясная мысль о пробуждении мучительно угнетала ее душу.

Захар Иваныч смотрел на вальсирующих и думал: «Эх, кабы он женился на ней: была бы Волхонка с заводом!» — и бесконечные поля, унизанные свекловицей, представали пред ним. Паровой плуг ворочал как исступленный. Вся окрестность садила корнеплоды. Свекловичные остатки упитывали чахлую мужицкую скотину. Гессенская муха летала, околевая без еды, и горько плакалась на Захара Иваныча... Волхонский не отставал в мечтаниях от своего управляющего; но ему грезилась не свекловица: ему казалось, что он под носом у Боткина перекупает драгоценный и чрезвычайно редкий экземпляр Фортуни.

Лукавин замирал в блаженстве. Он ни о чем не думал и не мечтал. Он только всем существом своим испытывал страстное желание обладать этой бледной красавицей, до-

верчиво склонившейся к нему на плечо, и чувствовал, что ради исполнения этого желания он в состоянии пренебречь всеми делами на свете. Кровь в нем клокотала буйно и настойчиво.

Граф же склонился над роялью и утопал в звуках. И все забыл он под влиянием дивного настроения, заполонившего его душу гармоничными и звенящими волнами, — и проекты матери, и ее непреклонную волю, и закладные...

И закутила Волхонка. Не проходило и дня без танцев, без пения, без какой-нибудь увеселительной поездки или пикника с чаем и холодными закусками. В промежутке всем обществом съездили к бабушке и представили ей Петра Лукьяныча за какого-то князя Аракчеева. Старушка была ужасно рада и польщена и выложила перед воображаемым потомком знаменитого графа все свое благоволение. Она даже позволила своей любимой болонке (левреток она уже разлюбила) посидеть на его коленях, а это было чисто сверхъестественным исключением.

После этого визита ездили в ближний лес за клубникой. Потом опять принялись за танцы и музыку, рыбную ловлю и катанье на лодке. Варя, казалось, все силы устремила на то, чтобы чем-нибудь переполнить свое время. И действительно у ней не было свободной минуты. Она похудела. Но это очень шло к ней. Она избегала всяких «умственных» разговоров, и causerie[1] свирепствовала в волхонском доме. Она не прикасалась к книгам, старалась не думать серьезно и чувствовала себя очень хорошо, когда после катанья и песен, после музыки и бурного вальса с Лукавиным или безумной скачки на Домби сон поспешно сходил к ней, глубокий и мертвенно-спокойный. Но иногда среди этой нервической и беспокойной суетни какой-то ужас посещал ее, и мутная мгла воцарялась в ее рассудке. Тогда она плакала по целым часам и ломала свои руки.

Но день ото дня эти посещения становились реже. Тутолмин не появлялся (он целыми днями пропадал в селе и в деревнях окрестности). Те впечатления, которые могли бы пробудить в ней «прежнюю Варю», она осторожно, хотя и бессознательно, обходила. Так в семье, где недавно похоронили покойника, невольно понижают голос. И мысли,

---

[1] непринужденная беседа *(франц.)*.

поднятые в ней разговорами Ильи Петровича и его книгами, расплывались в беспорядке, уступали место тупой и равнодушной апатии, западали куда-то вглубь...

Зато она стала находить какое-то безотчетное удовольствие в обществе Петра Лукьяныча. Его самоуверенная речь, пересыпанная характерными словечками, его заунывные русские песни и романсы, захватывающие душу, его молодечество и самообладание при самых рискованных положениях,— положениях, во время которых Мишель только куксился и расплывался в мечтательном резонерстве,— как-то странно тешили ее. Он напоминал ей богатыря народных былин, когда на лихом скакуне гарцевал по двору или с обычной своей усмешкой неожиданно отстранял пахаря где-нибудь в поле и, весело покрикивая «возле! возле!», разваливал сохой глубокую борозду. Она часто ездила с ним вместе, и верхом, и в шарабане, и на лодке, с которой тянулась тогда бесконечным стоном русская песня. Какая-то опора чудилась Варе в его крепкой и осанистой фигуре, и его твердый и решительный голос чрезвычайно благодетельно действовал на ее нервы.

Приближался день рождения Вари — 27 июля. Еще задолго до этого дня длинные реестры полетели к Елисееву и Раулю. Madame Бриссак обеспокоена была заказом. Из Воронежа выписали музыку и фейерверк. Ближним и дальним соседям разослали приглашения. Алексей Борисович на целые часы запирался в кабинете и чертил рисунки фонарей и транспарантов. Прислуга суетилась и чистилась. Захар Иваныч и тот принужден был оторваться от жнитва пшеницы и съездить в Воронеж, где взял у Безрукова три тысячи рублей до продажи хлеба. Он, впрочем, все-таки упорно не показывался в дом и с утра до ночи торчал около жнеек. Да об Илье Петровиче не было никакого слуха.

Лукавин же самодовольно поглаживал бородку и не спускал глаз с Вари. Временами на него находила какая-то необузданная потребность шири и простора: плечи его зудели, руки так и напрашивались на работу. Тогда он беспокойно метался в своей комнате или отламывал добрые десятки верст с ружьем за плечами. И удивительные планы роились в его голове. Ему хотелось чем бы то ни было поразить Варю, заставить ее окаменеть в изумлении, показать ей в полном размахе свою удаль-силу. В нем словно и впрямь просыпался какой-то Алеша Попович. Но к сожалению, что бы он ни придумывал в этом роде, все отверга-

лось его верным советником Облепищевым. Так последовательно пали его планы: купить тройку диких донских лошадей и самолично объездить их для Вари («Фи! Что ты за кучер!» — протянул граф); выписать Варе от Фульда бриллиантовое ожерелье в сорок тысяч франков («Не имеешь права»,— заметил граф); пригласить на несколько вечеров m-lle Зембрих из Мадрида в Волхонку («Ты сам здесь гость»,— возразил Мишель); сжечь фейерверк в тысячу рублей (на это Облепищев только пожал плечами)...

Тогда Петр Лукьяныч, негодуя, размышлял о глупости «всех этих бар», добровольно опутавших себя целою сетью приличий и условных отношений. И что-то вроде презрения к ним шевелилось в нем. Но он усмирял свои порывы, утомлял себя ходьбой и движениями и с обычной своей смышленостью рассчитывал удобный момент для того, чтобы сделать предложение. С отцом он уже списался и получил от него самые широкие полномочия. Лукьян Трифоныч только приказывал уведомить его вовремя, чтобы он мог приготовить салонные вагоны для путешествия молодых за границу.

Граф тоже сообщил матери, чтобы она со дня на день ожидала желаемую телеграмму.

XVII

День 27 июля не был праздничным днем. Но по селу еще с вечера повестили, что по случаю рождения барышни народ приглашается на обед и угощение. Благодаря этому в полдень весь барский двор был запружен разряженными бабами и девками и несметное количество мужиков толпилось около тазов с водкой. Столы тянулись в несколько рядов. Горы ситного хлеба и калачей возвышались на них.

Народ вел себя чинно. Песен еще не было слышно. Разговоры происходили втихомолку. К вину подходили, точно обряд совершали — степенно и серьезно. Выпивали с деловым выражением лиц и, медлительно утираясь полою, рассаживались за столы. Иные многозначительно вздыхали. Бабам и девкам водку подносили за столом. Тут много было упрашиваний и стыдливых закрываний рукавом, но в конце концов стаканчики все-таки опоражнивались до дна и легкое возбуждение сказывалось в лицах.

Мокей, в силу прежнего своего проживания в усадьбе, моментально определил себя в подносчики и, немилосердно гремя новой рубахой, как-то невероятно растопыренной, важно расхаживал около столов с громадной бутылью под мышкой. От времени до времени он не забывал и себя. «Глядико-с, девушки, шильник-то бахвалится!» — шептали бабы, указывая на Мокея, но когда он подходил к ним с заветной бутылью, лица их расплывались в улыбки и речи становились ласковы.

— С коих пор в целовальники-то определился? — насмешливо спросил его Влас Карявый, медленно уплетавший жареную баранину.

— Ай завидки взяли? — ответил Мокей и молодцевато тряхнул волосами.

— Как не завидки: чай, под мышкой-то мозоли насмыгал.

— Мозоли не подати — за ночь слезут.

— Ну, брат, это что пара — подать без мозоля не ходит.

— На дураков.

— Известно — умники в неплательщиках состоят,— с иронической кротостью произнес Влас.

— Да и умники!

— За ум-то их и парят по субботам.

— Парят, да продавать нечего.

— Не сладок и пар.

— Горек, да выгоден.

— Иная выгода — жгется, малый!

— То и барыш, коли морда в крови.

— А ты, видно, падок на барыши-то на эти?..

— Об нас, брат, сказки сказаны: для нас в конторе углы непочаты.

— А много нацедил в конторе-то?

— Хватит!

— Э! Собаки-те ешь! Ну, наливай... Видно, и впрямь ты шильник!

Около них раздавался сдержанный смех. Соседи захлебывались от удовольствия и в изумлении покачивали головами.

«Эка, брёхи!» — произносили иные в радостном восторге. А Мокей и Влас корчили серьезные лица и были чрезвычайно довольны друг другом. Мокей, засучив рукав, хмурился и до краев наполнял стакан. Влас же с видом жесто-

кой основательности опрокидывал его в рот и снова принимался за баранину.

— Пейте, девки! Ноне барышня родилась,— балагурил Мокей в другом месте.— Вам радость, а мне горе.

— Какое тебе горе?

— Какое! Вам в поле да жать, а мне утресь опохмеляться идти. Кабатчик и то должок за мной считает: тринадцать шкаликов с петрова дня не выпито. Да мне что! Тринадцать шкаликов — тринадцать песен. Мы ноне купцы: иные которые бабы глотку дерут, а мы в мешок да в Питер. Товар сходный!

— О, чтоб тебя!..— восклицали девки и, тихо пересмеиваясь, церемонно жевали калачи. Но многие угадали намек Мокея.

— И чудён этот барин, родимые мои! — произнесла одна молодая бабенка, когда Мокей прошел далее.

— Какой?

— Да вот что песни-то у шильника покупает.

— Это Петрович?

— Петрович. Намеднись я так-то вышла стадо встречать, а он пристал: «Ты чего, говорит, в руках держишь?» А я хлеб держу. «Хлеб»,— мол. «На что хлеб?» — «Буренку привечать.» — «А речами, говорит, привечаешь?» — «Привечаю»,— мол. И пристал: расскажи да расскажи ему...

Бабы в удивлении разинули рты.

— О-о-о! — удивленно воскликнули они и спрашивали в торопливом любопытстве: — Что ж, рассказала?

— Да чего я ему, оглашенному... Я говорю, ты, мол, уйди от греха: а то он-те, Васька-то, выйде!..

Вдруг пожилая и степенная баба перебила рассказчицу:

— Это ты, лебёдка, напрасно,— сказала она.— Он тебе не токмо — крохотную какую, бывает которая крохотная,— и ту не обидит.

Рассказчица несколько сконфузилась.

— А он что пристал как оглашенный...— невнятно возразила она; но пожилая баба не слушала ее; возвысив голос, она продолжала:

— У меня мужик-то захворал,— захворал он, милые мои, а моченьки-то моей и нету с ним вожжаться. Так он что, Петрович-то! Возьмет придет к ему в клеть, к мужику-то моему, придет и сядет. Я в поле уйду, а он и воды ему, и чайку припасет, и к голове лопух, к примеру... Нам за не-

го бога молить, за Петровича-то, а ты вон какие речи...— И она с упреком посмотрела на легкомысленную бабенку.

— Моего Митрошку грамоте обучил! — подхватила другая.

— Ох, бабочки, от порчи лечит! — воскликнула третья.— У нас тетку Химу как корежило; чуть что, сейчас это ее поведет, поведет... бьется, бьется она... А теперь она забьется, а он ей порошку такого; она затрепыхается, а он ей в ложку да в рот... Здорово помогает!

— Вроде как квасцы? — с живостью спросила четвертая и, не дождавшись ответа, затараторила: — Давал он мне. У меня как помер Гришутка, болезные мои,— помер он, и ну меня поводить, и ну... Все сердечушко изныло. Я ли не плакала, я ли не убивалась... Бывалоче, бьюсь, бьюсь... Только Петрович приходит к Мирону. Мирон и говорит: «Вот, бабе подеялось». Ну, он и дал мне тут... Так что ж, родимые вы мои, свет я тут взвидела, какой он такой свет белый бывает!

С бабьих столов разговор об Илье Петровиче дружным и сочувственным рокотом перешел к мужикам.

— Кто? Петрович? — спросил Карявый и хотел уж было, по своему обычаю, прибавить едкое словечко, но подумал и вымолвил решительно: — Петрович парень важный.

— Намедни как ловко мне расписку с старшиной написал,— сказал один.

— Человек с расчетом! — важно произнес другой.

Третий рассмеялся и покачал головою.

— Чудачина! — проговорил он, как бы обессиленный наплывом веселых воспоминаний, но больше ничего не сказал, ибо получил в ответ сдержанное молчание.

— А с господами-то он вряд хороводится! — заметил рыжий мужичок с бородкой клинушком.

— Куда ему! — снисходительно ответил другой рыжий мужичок с бородой лопатой.

И на этот раз Карявый не вытерпел.

— Где ему, горюше, с господами вожжаться,— произнес он.— Гляди, порток не начинится с доходов-то своих!

Но и на остроту Карявого мужики усмехнулись слабо. А рыжий мужичок с бородкой клинушком даже пришел в неописанное возбуждение и заговорил спутанно и поспешно:

— Это ты, Влас, не говори... Это так-то всякий... Иной,

брат, и бедный ежели... Иной, он и бедный, да бога, например... бога иной помнит!

И все дружно согласились с рыжим мужичком.

Во время обеда появился Захар Иваныч и обошел столы. Мужики громко здоровались с ним. С бабами он заговаривал сам. Мокей с подобострастной улыбкой на лице семенил около него бочком и вкрадчиво нашептывал:

— Очень довольны мужички вашей милостью, Захар Иваныч! Мы, говорят, не токмо — замест отца почитаем ихнюю милость. Это вроде как замест родителев, например, — пояснил он в скобках, — очень даже довольны!

— Ты когда мне деньги-то заработаешь? — так же тихо спросил его Захар Иваныч.

Но Мокей как бы не расслышал этого вопроса. Он внезапно изъявил в лице своем деловую озабоченность и закричал на другого подносчика:

— Эй, волоки свежину! Разинул гляделки-то! Не глядеть тут пришли! — а за сим стремительно покинул Захара Иваныча и беспокойной походкой заспешил на кухню.

В кухне происходило столпотворение. Повар Лукьян, точно некий маг, стоял около плиты и мановением рук распоряжался поварятами. И поварята сновали по кухне словно угорелые; они в каком-то исступлении стучали ножами, толкли, мололи, месили, крошили, очищали коренья, гремели противнями... И дело строилось как по нотам. Бульоны кипели, дичь жарилась, горы нежных пирожков воздвигались на блюдах. Мокей остановился в дверях, посмотрел на величественного Лукьяна, повел с пренебрежением носом и, почесав в затылке, снова возвратился к столам.

Утром Варя встала пасмурная. Шум и суетня прислуги необычайно раздражали ее. Но когда настала очередь торжествований, когда на нее посыпались поздравления, когда седенький священник добродушно прошамкал молебен «О здравии болярыни Варвары» и немилосердно накурил в столовой ладаном,— она быстро ожила и запорхала как птичка. И странное ощущение она испытывала: ей казалось, что каждый нерв в ней трепещет в каком-то чутком напряжении, и это непрестанное трепетанье подмывало ее точно волнами. Как будто какая посторонняя сила руководила ее движениями и влекла куда-то... И порывы безотчет-

ной тоски, безотчетного веселья вставали и проходили в ней прихотливой чередою.

Когда крестьяне пообедали и бабы разместились вдоль двора живописными группами, а мужики собрались в один огромный круг, Варя под руку с отцом сошла к ним. Она останавливалась около баб и девок, любовалась на их яркие костюмы и загорелые лица, приветливо улыбавшиеся ей, дарила им платки и ожерелья, просила играть песни и водить хороводы. К мужикам же подошла молча и в каком-то страхе. Эта громадная толпа подавляла ее своим внушительным рокотом. Но зато с ними заговорил Алексей Борисович.

— Ну, пейзане,— сказал он с обычной своей усмешкой,— давно мы с вами не видались. Что поделаешь! Вы теперь свои, мы — свои. Мы уж больше не милостивцы, а соседи. И отлично. Будем и жить по-соседски: мирно и справедливо. В рыло друг другу не залезать, в карман — тоже. Ведь вы мною, надеюсь, довольны, граждане?

Толпа издала дружный и поспешный гул, из которого можно было уразуметь, что она довольна.

— Великолепно. Ну, это дочь моя, барышня,— он указал на Варю,— девка она важная, говоря вашими словами, и вас, мужиков, твердо почитает ситойенами...[1]

Варя стыдливо вспыхнула и прошептала с упреком: «Папá!»

— Façon de parles[2],— в скобках ответил Алексей Борисович.

А толпа снова отозвалась одобрительным гулом.

Вдруг из-за ней пробралась какая-то дряхлая старушонка, изогнутая чуть не до земли, и с бессильным хныканием прошамкала:

— Где он, мой батюшка... Хоть глазком-то на него... Мальчоночкой я его, батюшку, видела...— и, увидав Алексея Борисовича, воскликнула в умилении: — Ах ты мой ба-а-тюшка! — и приникла к его руке.

— О, наивная старина! — произнес насмешливо Волхонский, но руки от губ старухи все-таки не отнял. В толпе сдержанно посмеивались.

— Дай ей что-нибудь,— шептала взволнованная Ва-

[1] Гражданами *(франц.)*.
[2] Манера говорить *(франц.)*.

ря, в смущении отворачиваясь от отца. Алексей Борисович протянул старухе десятирублевую бумажку.

— Отслужи, старуха, панихиду по сладчайшим крепостным временам! — сказал он шутливо. И старуха, разливаясь в слезах, шептала едва внятно:

— Отслужу, кормилец, отслужу...

По уходе господ Влас Карявый первый воскликнул: «Вот-те и бабка Канючиха!» — «И впрямь «канючиха»!» — подхватили другие. «Ай да бабка!» — «Ничего себе — она слизала десятку».— «Ведь ишь, старая ведьма!..» — «А ты думал, она спроста?» — «Небось, брат, не из таковских».— «А панихиду-то ей служить?» — «Рассказывай! она сунет тебе попу куренка какого, вот те и панихида».— «Да по ком панихиду-то?» — «А шут их тут...» — «Должно, по барину-покойнику...» — «Нет, бабка-то, бабка-то! А!.. ловко подкатилась!..» — «Ну, ведьма!» Бабы встретили старуху тоже неодобрительно: сначала они все просили показать им кредитку, но когда старуха отказала в этом,— целый град ядовитых насмешек на нее посыпался. Название, данное ей Карявым, вмиг разлетелось по народу. И кончилось тем, что старуха изругала всех наисквернейшими словами и, пошатываясь, торопливо побрела восвояси. Ребятишки бежали за ней и кричали: «У, у, канючиха! Канючиха!»

Но мало-помалу хмель брал свои права. В народе воцарялась веселость. Девки и бабы расхаживали по двору, грызли орехи и подсолнухи, орали звонкие песни. Мужики гудели как пчелы и в свою очередь затягивали песни. У кого-то очутилась гармоника, и вмиг составился дробный трепак с четкими и скоромными приговорками и оглушительным хохотом предстоящих.

А между тем стали подъезжать гости. Приехал предводитель — тонкое и кислое существо, чрезвычайно похожее на ощипанную птицу. Прикатили офицеры ближнего полка — люди все ловкие и душистые, с молодецким встряхиванием плеч и лихими взорами, однако же в мытых перчатках. Примчался на любительской тройке хват полковник, из бывших гвардейцев, мужчина тучный и знаменитый тем, что под Плевной в единственном экземпляре уцелел от своего батальона. Притащился в дряхлой карете, на костлявых одрах, дряхлый, но тем не менее известный

муж — тайный советник в отставке и вместе автор неудобочитаемой заграничной брошюры: *Жупел, или raisonnement*[1] *о том, как надобе жить, дабы revolution*[1] *не нажить.* Прилетел сановник, недавно сдвинутый с позиции, а потому и красный как пион — щепетильный и подвижный, но чистоплотный до приторности и тупой как бревно.

Но этим, конечно, не ограничивалось общество Волхонки в такой знаменательный день. Тут были и братья Петушковы, очень приличные молодые люди, которые великолепно обращались с салфетками и... простите за нескромное выражение — с носовыми платками; здесь находился и старик Кочетков с сыном, которого все почему-то звали Монтре, несмотря на то, что он был женат и имел Станислава в петлице. Нужно ли упоминать, что все уездные миродержцы присутствовали в Волхонке? Нужно ли рассказывать, что и Психей Психеич, председатель земской управы, был здесь, и Корней Корнеич исправник, и мировой судья Цуцкой, и другой Цуцкой, тоже мировой судья, но только поглупее, и непременный член Клёпушкин, женатый на барыне, которую в глаза все звали Клёпкой, а за глаза Клеопатрой Аллилуевной. Тут был даже какой-то отец Ихтиозавр, впрочем не поп, а уездный врач и надворный советник.

Что касается до барынь — волхонский дом едва вмещал их. Были всякие барыни: и сплетницы с горячим воображением и с неизбежным пушком на рыльце; и щеголихи, изнывавшие в ненасытимой жажде модной шляпки или какого-нибудь sortie de bal[3] с невиданной отделкой; и кокетливые — игравшие глазами не хуже любого арапа на часовом циферблате и отчаянно шевелившие бедрами; и смиренницы — с добродетельными припевами на языке и с любовной запиской в кармане... Были и такие, что дома орали и дрались с прислугой, а здесь лепетали как расслабленные о преимуществах конституционного правления и жаловались на нервы. Много было красивых и подкрашенных; одна хромала. Но большинство одето было по моде и попугайных цветов избегло. Правда, костюм от Hentennaar был только на предводительше, да еще жена одного Петушкова приехала в платье от московской Жозефины; но все осталь-

---

[1] рассуждение *(франц.)*.
[2] революция *(франц.)*.
[3] манто, накидка, надеваемые на вечернее платье *(франц.)*.

ные были очень мило обряжены туземными Вортами и выглядели точно картинки из «Нового базара».

Усадьба сразу переполнилась малиновым звоном колокольчиков, дребезгом колес, криками кучеров... Песни прекратились. Народ с любопытством толпился у подъезда и подвергал бесцеремонной критике господ и экипажи. И здесь более всех отличался Карявый. Он стоял впереди и, хладнокровно поигрывая прутиком, расточал эпитеты. Предводителя он назвал «глистой», Цуцких — «борзыми», офицеров — «коняшками», сановника — «коренником», автора брошюры — «пустельгою»[1]. Перед некоторыми из господ мужики стихали и снимали шапки. Так было, когда появился полковник в густых своих эполетах, предводитель, всем известный по рекрутскому присутствию, непременный член Клёпушкин, мировой судья волхонского участка, исправник... Остальных встречали, нимало не смущаясь, хотя держали себя вообще сдержанно и прилично.

Каждый из гостей, входя в дом, тотчас же изъявлял свои наклонности и привычки. Иной держал себя гордо и самоуверенно и, покидая с великолепной небрежностью пальто на руки ливрейных лакеев, с самого порога гостиной расточал французские фразы. Другой входил с некоторой робостью и ласково упрашивал лакеев «приберечь его пальтецо», а появляясь в гостиную, бочком проходил к Варе и величал ее «новорожденной». Разные были люди. Автор заграничной брошюры, тот, как вошел, добрую минуту топтался на одном месте и, беспомощно подрыгивая костлявыми своими ногами, истерзанными подагрой, извинялся перед Варей и Алексеем Борисовичем, что явился не в форме. Его тотчас же тесно окружили.

— Какой случай! — лепетал он, сильно пришепетывая и с беспокойством разглаживая бакенбарды.— Кхе, кхе... преинтересный случай... Был я, представьте себе, в Петербурге и в багаже-с препроводил в деревню все свои, эти так называемые онёры, хе, хе, хе... и, представьте себе,— получается... пакля-с! — Окружающие вскрикнули в подобострастном удивлении. Старец обвел их торжествующим взглядом.— Именно пакля,— повторил он,— ни мундира, ни звезды, ни...— он в затруднении зашевелил губами.

---

[1] Местное наименование филина. (Прим. автора.— *Ред.).*

— Пьедестальчиков, ваше высокопревосходительство? — сказал Алексей Борисович, едва заметно улыбаясь.

— Именно — пьедестальчиков! — с живостью подхватил старец. — Хе, хе, хе... именно — пьедестальчиков. Представьте мое положение... — и добавил, игриво разводя руками: — Генерал без пьедестальчиков! — после чего, молодецки подрыгивая ножками, двинулся в гостиную, окруженный почтительно смеющейся толпою. Только отец Ихтиозавр с Монтре остались позади, и тогда первый позволил себе язвительно фыркнуть. Но Монтре с ним не согласился.

— Что ни говорите, батенька,— тайный советник! — вымолвил он тоном непобедимого аргумента.

А тайный советник внезапно остановился среди гостиной и, разводя руками, снова залепетал:

— Но в пакле, господа... Кхе, кхе... представьте мое положение: в пакле оказалась... шляпа!

Все точно оцепенели в изумлении.

— С плюмажем, ваше высокопревосходительство? — вежливо осведомился Волхонский.

— Хе, хе, хе, совершенно верно изволили заметить, именно — с плюмажем!

— И в шляпе?.. — вопросительно произнес Алексей Борисович, подобно всем давно уже слышавший об этой истории с генеральскими вещами.

— И в шляпе, кхе, кхе... в шляпе... — снова затруднился старец, приискивая выражения и торопливо подергивая бакенбарды.

— Нецензурная дрянь, ваше высокопревосходительство? — подхватил Волхонский.

Старец даже покраснел от удовольствия.

— Вот, вот... — поспешно произнес он, — совершенно верно изволили выразиться... именно — дрянь... именно — нецензурная дрянь, хе, хе, хе... Нет, представьте, какова дерзость!

— И вы, ваше высокопревосходительство, — без шляпы и без пьедестальчиков, — с участием сказал Алексей Борисович.

— И прибавьте: без мундира и без звезды-с... хе, хе, хе, — и старец победоносно двинулся далее.

Лукавин и Мишель произвели своим появлением совершеннейший эффект. Все характеры как-то внезапно извратились и слились в общем подхалимском порыве. Ядовитый отец Ихтиозавр улыбался точно гимназистка третьего

класса, получившая хорошую отметку. Чопорный сановник делал застенчивые глазки. Важный полковник изъявил полнейшую готовность устремиться за платком, который уронил Лукавин. Цуцкой, что поглупее, бродил около него как ягненок и беспрерывно заглядывал в глаза... Даже автор знаменитой брошюры и тот таял, как мармелад, и, фамильярно подхватив Петра Лукьяныча под руку, дружески расспрашивал его о здоровье «знаменитого родителя» и о том, есть ли шансы получить Лукьяну Трифонычу концессию на Сибирскую дорогу, и только тот Цуцкой, что поумнее, с азартом посматривал на него, от времени до времени плотоядно оскаливая зубы. Лукавин держался чопорно, но иногда слабая усмешка мелькала у него в усах, и он оглядывал господ с вежливой презрительностью.

Что касается до графа, то ему особливо везло среди дам. Так, когда он раскрыл свой меланхолический ротик и рассыпал перед ними прелестнейшие французские словеса, они даже издали нечто вроде тихого и упоительного визга.

Когда свечерело и господа пообедали, вокруг дома зажгли иллюминацию. Бесконечные гирлянды разноцветных фонариков опоясали ограду и ярким ожерельем унизали ближние аллеи. На фасадах загорелись транспаранты. Французское W на каждом шагу искрилось и переливало огнями. Потоки белого, палевого, зеленого, красного света красивыми волнами разливались по двору, и народ двигался в этих волнах непрерывными толпами, гудел, изумлялся, заводил песни... На озере длинной цепью горели смоляные бочки. По островам сидели люди с запасом ракет и ждали сигнала. Музыка гремела.

Варя испытывала какое-то опьянение. Глаза ее сияли. Бледное лицо пылало каким-то странным, не выступающим наружу пожаром. Лукавин не отходил от нее. Он до забвения всяких приличий любовался ею. И действительно, она была хороша. Белое бальное платье, унизанное камелиями, изумительно шло к ней. В ее ушах горели бриллианты... Петр Лукьяныч танцевал с ней, сидел около нее, нашептывал ей любезности. И Варя была довольна этим, она с какой-то насмешливой веселостью отмечала огульное поклонение пред Лукавиным, эти заискивающие улыбки, эти вкрадчивые фразы, что неслись к нему со всех сторон. И ее

тешило, что ни на кого он не обращает внимания, а следует за ней как тень и с рабской покорностью глядит ей в глаза. Она чуяла в себе силу. Это ее забавляло. Но иногда в ее душе теснилась грусть и какой-то неприязненный холод сжимал ей сердце.

Бал был в полном разгаре. Зала, залитая огнями, представляла привлекательный вид. Музыка заполоняла окрестность подмывающими звуками. Пары кружились неутомимо. В окна врывались мужицкие песни, и теплый ветер доносил с полей медовый запах спелого хлеба... Усталая Варя подхватила под руки madame Петушкову и, обмахиваясь веером, прошла в другие комнаты. В столовой винтили. Партнеры ожесточенно ругали тяжело отдувавшегося отца Ихтиозавра и обличали его в незнании арифметики. Дальше — автор знаменитой брошюры играл в пикет с Алексеем Борисовичем и между сдачей сладостно припоминал свое знакомство со стариком Лукавиным, совершившееся в швейцарской бывшего министра. Дальше — играли в преферанс с неограниченной курочкой, причем за одним из Цуцких специально присматривал Корней Корнеич, дабы этот Цуцкой не подавал другому Цуцкому аллегорических знаков. Варя прошла в кабинет. Там происходили разговоры. Сановник и предводитель говорили с Облепищевым о Париже.

— Да, не тот Париж,— грустно тянул Мишель по-французски.— Я, конечно, едва помню империю, но, боже, что это был тогда за шикарный город! Эти выходы, эти балы в Тюильри, эти... эти грандиозные празднества... О, это было нечто изумительное!.. Надо представить себе, что это такое было!.. А теперь что вы видите — monsiur Греви чуть сальные огарки не жжет...

— О, что касается сальных огарков...— ядовито вымолвил сановник.

Но Облепищев с решительностью перебил его.

— Нет, я с вами в этом не согласен,— произнес он,— совершенно не согласен. Режим придает колорит; согласитесь, что придает колорит. Эти мещанские soirées господина Греви, эти его маркерские забавы... Нет, положительно надо признаться, что эта бедная Франция ужасно потеряла с этим республиканским режимом.

Варя слышала всю эту тираду. Она подошла к графу и с холодной улыбкой положила ему руку на плечо.

— Мишель, а Женни?..— протянула она значительно.

Облепищев посмотрел на нее в недоумении. Затем поцеловал руку.

— Я тебя не понимаю, моя прелесть,— сказал он.

— Разве ты либеральничал тоже только в Женеве? — произнесла она вполголоса.

— О, ты меня не поняла, если так,— живо отозвался он, наклоняясь к Варе.— Я вообще плохой политик, мой ангел. Мое мнение: доктрина — то же, что грамматика. Не правда ли? Бог у меня один, моя прекрасная,— *красота.* Красота в форме, в идее, в чувстве, в звуке, в движениях...— и, окинув ее пристальным взглядом, сказал в восторге: — А ты — пророк моего лучезарного бога!

Варя посмотрела на него рассеянным взглядом и медлительно прошла в залу. Неясные думы вставали в ее головке. Но вдруг она как бы испугалась этих дум и, опустив веер, быстро понеслась с Лукавиным в вальсе.

Раздался далекий залп. В дверях зала появился Алексей Борисович.

— Mesdames,— воскликнул он,— не угодно ли полюбоваться «огненной потехой»!

Гости высыпали в сад. Музыка прервалась на несколько минут и затем уж загремела в саду. Варя под руку с Лукавиным вышла на балкон и остановилась около балюстрады. Деревья сада возвышались в фантастическом освещении. Странная зелень листьев вырезывалась отчетливо и ярко. Высокие березы точно курились, ивы, склонившиеся над озером, походили на декорации. В темной воде ясно и трепетно отражались горящие бочки. Со двора доносились крики, и песни, и удалой посвист. Какой-то марш торжественно и задорно гремел из сиреневой аллеи, вызывая смутный отзвук в далеком поле.

Варя стояла точно в забытьи. Иногда ей казалось, что вокруг совершается сказка и что еще одно мгновение, и она проснется во тьме кромешной. И не хотелось ей просыпаться. Ей было хорошо. Голова ее слегка кружилась. Какая-то нежная теплота медлительно расплывалась по ней и как будто сковывала ее, погружая в неизъяснимую истому. Лукавин пожал ей руку, она не отняла ее. Она только слабо улыбнулась и пролепетала невнятно: «Как странно...» — и внезапно вздрогнула: ракета с ужасным треском вылетела из купы деревьев и, точно располыхнув темную бездну, описала смелую дугу и рассыпалась в вышине синими, красными, зелеными огоньками. Барыни ахнули. Со двора загал-

дели в неистовом восторге. Звуки музыки с какой-то победоносной гордостью полетели в пространство. В дальней роще зашумели встревоженные грачи... Треск повторился, и взвилась другая ракета. Варя бессознательно прислонилась к Лукавину. Он пристально посмотрел ей в лицо. Глаза ее были полузакрыты, на губах блуждала блаженная улыбка... Он оглянулся вокруг: только отец Ихтиозавр сладко улыбался около них. Но и тот едва завидел взгляд Лукавина, как тотчас же понурился и удалился, торопливо колыхая своим брюшком. Петр Лукьяныч близко наклонился к Варе. Вдруг она раскрыла глаза и в испуге посмотрела на него. Тогда он снова пожал ей руку, и она снова не отняла ее.

— Варвара Алексеевна,— произнес он. Она молчала.— Варюша,— вымолвил он тихо и нежно и, помедлив, продолжал: — Вы не прочь быть моей...

— Что это такое! — вскрикнула она в страшной тревоге и указала на озеро.

Лукавин быстро оглянулся: озеро пламенело в каком-то кровавом освещении. И потрясающий вопль вырвался за домом. Этот вопль все потопил в себе: и гром музыки, и раздирающий треск ракет, и шум грачей, беспокойно взвивавшихся над своими гнездами...

— Это, вероятно, бочки,— неуверенно выговорил Петр Лукьяныч.

И вдруг частый и жалостный звук набата задребезжал в отдалении. Варя стремительно бросилась в дом и, миновав пустынные комнаты, где праздно горели люстры и канделябры, выскочила на крыльцо. Огромное зарево встало пред нею: горела деревня. И, не помня себя от испуга и горя, она побежала к пожару.

XVIII

Вся дорога от усадьбы до села была усеяна народом. Беспорядочный и тяжкий топот торопливых шагов смутным и жутким гулом отдавался в ушах Вари. Зарево ярко падало на толпу. Багровый свет мрачно и отчетливо выделял лица, искаженные горем, отчаянием, испугом... и каждую былинку на дороге освещал с зловещей ясностью. В воздухе стоял какой-то сплошной, неясный и надорванный стон. Иногда вырывались бессильные всхлипыванья, иногда какая-нибудь

баба причитала на ходу и тотчас же утихала... Кто-то наступил Варе на шлейф, какая-то молодуха пребольно толкнула ее... Но она ничего не замечала и бежала, бежала, гонимая непреодолимым ужасом. Одно время грудь у ней стеснилась с болью. Она остановилась, но толпа снова увлекла ее и, задыхаясь от усталости, она снова побежала. Иногда она озиралась по сторонам, и тогда этот вид растерянного люда, в испуге шумевшего около нее, мучительно рвал ей сердце.

Колокол гудел спутанно и тревожно. Порою уставшая рука звонаря отрывалась от него, и тогда унылый звук замирал в долгом и печальном дребезжании. Но чрез мгновенье торопливые удары снова сыпались и волновали окрестность беспокойным страхом.

Горел верхний порядок. Огонь уже успел схватить несколько дворов. Соломенные крыши, насквозь высушенные июльским солнцем, вспыхивали как порох. Утлые стены избушек, сухие и тонкие, пылали точно свечи. Ракиты, дружно охватываемые огнем, трещали и волновались. В дворах тоскливо мычали коровы, блеяли овцы... Народ суетливо метался около полыхающих строений, вытаскивал пожитки, толпился в дыму и раскаленной атмосфере. Но толку из этого выходило очень мало.

Две пожарные бочки с отчаяннейшим визгом и гулом помчались за водою. Но когда воду налили в них, она бесчисленными струйками засочилась в рассохшиеся пазы и достигла пожара в совершенно смешном количестве. Все лошади были в ночном, и кроме обязательной пожарной пары не на чем было съездить на реку. Тогда стали качать из ближнего колодца. Но цепь из десятка ведер как будто только раздражила пламя, и оно свирепело с каждой минутой. Оторопевший староста бегал вокруг пожара и расточал приказания, на которые никто не обращал ни малейшего внимания... Влас Карявый догадался притащить багор. Человек пять ухватились за него и с усердием зацепили за пылающие бревна; но после первого же усилия крюк соскочил с рычага и бесследно потонул в пламени. Тогда вспомнили, что есть и еще багры, но когда прибежали за ними в сарай, то нашли их никуда не годными.

Да и тушили-то пожар только хозяева горевших строений да окольные жители. Все остальные разбежались по своим дворам и выносили пожитки, выводили скотину, выгружали из амбаров припасы, вывозили телеги и сохи. По

всему селу кипела суматоха. Ворота неистово скрипели; там и сям звенели стекла разбиваемой второпях рамы. Бабы бегали и метались в безумном отчаянии и переполняли улицу надрывающей голосьбою.

Варя остановилась в толпе. Она какими-то неподвижными глазами смотрела на сцену пожара и стояла точно застывшая. Волосы ее распустились, шлейф висел клочьями, камелии осыпались... Она же ничего не примечала и, до боли стиснув руки, смотрела и слушала неотступно. Она смотрела, как люди черными и резко очерченными силуэтами копошились вокруг огня, как они вбегали на дворы и тащили оттуда коров, тупо поводивших огромными глазами, сгоняли овец, теснившихся в диком недоумении; как из занимавшихся строений выползал дым мутными волнами и багровым столбом клубился в вышине; как голуби кружились и взмывали в испуге, трепеща огненными крыльями... Она глядела, как отбивали рамы из окон, влезали в избы, выкидывали оттуда дерюгу, сундучишко с различной рухлядью, потемневшую икону, скамью, всю изнизанную тараканами... Она вслушивалась в ноющий гул набата, в оглушительный треск пламени, победоносно взвивавшегося к небесам... Беспорядочные крики, рев ополоумевшей скотины, горькие вопли баб, торопливое скрипение бочек, холодный лязг железных ведер, бессильные всплески воды — все это ходило около нее грозными волнами и переполняло ее душу чувством неизъяснимой скорби. Но эта скорбь уже не терзала ее и не рвала ей сердце,— она надвинулась на нее тяжкой, свинцовой тучей и всю с ног до головы заледенила. Иногда по ней пробегал озноб: обнаженные плечи ее вздрагивали мелкой и колючей дрожью. Тогда она пожималась с видом рассеянного и тупого равнодушия и еще больнее стискивала свои руки. И ни одной мысли не шевелилось в ее голове. Она не думала, но только ощущала; и чувствовала, что внутри у ней неприязненно холодеет какая-то пустота и что вместо сердца как будто камень какой лежит тяжелым гнетом и не дает ей вздохнуть. Иногда она закрывала глаза, и тогда ей казалось, что разъяренное море бушует вокруг нее и нет ей спасения от этой ярости, и смертельная тоска ее обнимала...

А между тем к пожару прискакали трубы из усадьбы. Захар Иваныч сам правил лошадьми на одной из них. Около него лепился Корней Корнеич. За трубами длинной вереницей показались экипажи; пары и тройки звенели колоколь-

чиками; пьяные кучера кричали. Исправник тотчас же вступил в распоряжение. Не говоря ни слова, он первому попавшемуся мужику влепил затрещину, а старосте закатил здоровую оплеуху. Это как бы поощрило последнего: он шибко припустился к толпе и начал направо и налево рассыпать удары своей палочкой. Корней Корнеич бежал за ним и крепко ругался. Мужики вдруг дружно загалдели. «Эй, эй, полезай на крышу-то,— орал один,— полезай, Митюха... Держись за плетень-то, держись... Приваливайся».— «Наваливай на сарай,— кричал другой — напирай на сарай!.. Наяривай!..» Но третий подхватывал в тревоге: «Соскакивай, ребята!.. Занимается!.. Прыгай живее!.. Сползай!.. Животом, животом-то съерзывай!..» И «ребята» проворно скатывались с крыш, а пламя стремительно охватывало эти крыши и с торжествующим ревом пожирало их.

Варя почувствовала прикосновение чьей-то руки; она безотчетно оглянулась.

— Разве так можно, Варвара Алексеевна! — с упреком воскликнул Лукавин. Она ничего не ответила. Он накинул плед на ее плечи, взял ее за руку, вывел из толпы... Она шла в каком-то изумлении.— Долго ли схватить простуду! — произнес Петр Лукьянович, подсаживая ее в коляску. Но она не села; она встала во весь рост и, не отрываясь, смотрела на пожар. Вся она точно оцепенела. Даже вид Тутолмина, внезапно появившегося на багровом фоне с упирающейся коровой, которую он изо всех сил тащил за рога,— даже этот вид не возбудил в ней ничего, кроме смутного и отдаленного чувства сожаления. К ней подошли барыни. Раздались восклицания: «Ах, как это ужасно!» — «Кто мог ожидать!.. Так внезапно!» — «Бедные крестьяне...» — и тому подобное. Варя не проронила ни слова. Но когда Лукавин заметил наконец ее состояние и, тряхнув волосами, произнес в виде утешения: «Это сущие пустяки — беда поправимая!» — она остановила на нем презрительный взгляд и длинно протянула, искривляя пересохшие свои губы: «Вы думаете?» — после чего снова закаменела в неподвижности.

Те из господ, которые не хлопотали вокруг огня, столпились около длинной линейки, стоявшей в значительном отдалении, и, меняясь оживленными фразами, смотрели на пожар. Иные сидели.

— Как это эффектно! – восклицал Волхонский, указывая рукою.

— Да, да... – лепетал старец, автор знаменитой брошю-

ры.— Именно эффектно... Но, знаете ли, я теперь начинаю припоминать... припоминать этот апраксинский пожар... этот петербургский...

— Я видел этот пожар, ваше высокопревосходительство,— сказал Алексей Борисович.

— А, а, видели?.. Превосходно сделали, превосходно изволили сделать... Не правда ли, эти... эти языки огня... эти, эти столбы дыма...

— Напоминали нечто грандиозное.

— Вот, вот... Именно — грандиозное, именно — напоминали... Это вы превосходно изволили выразить...— И вдруг, наморщивши чело, он прошептал, наклоняясь к Волхонскому: — А что здесь, как вы полагаете, здесь не совершено злого умысла?..

— Не думаю, ваше высокопревосходительство,— с едва заметной иронией отозвался Алексей Борисович,— разве вот нигилисты...

Старец даже подпрыгнул.

— Вот, вот, вот...— горячо подхватил он, в беспокойстве ковыряя пальцами свои баки,— именно — нигилисты, именно я их и имел в виду!..

— Да нет, вряд ли! — произнес Волхонский, внутренне помирая со смеху.— Тут и всего-то один нигилист, да и тот вон корову за рога тащит...— Он указал на Тутолмина.

— А, а, корову...— старец любопытно посмотрел по указанию,— корову... Это отлично,— сказал он и добавил глубокомысленно: — Но... несомненный нигилист?

— О, несомненнейший! При мне обходился без помощи носового платка и даже громогласно утверждал, что чин тайного советника в сущности не чин, а сонное мечтание.

Старик широко раскрыл глаза и явил в них беспокойство.

Офицерики увивались около барынь.

— Но скажите, ежели мне одинаково нравятся лилия и роза? — спрашивал один, пронизывая коварным взглядом шуструю дамочку, беспрестанно выдвигавшую из-под платья изящную ножку в серой туфле.

— О, непременно должны сделать выбор! — говорила та.

— Но если это значит разорвать сердце?

— Разрывайте.

— О, как вы жестоки!..

Некоторые приглашали на кадриль.

— Пановский, будешь со мной визави? Пожалуйста,

Пановский! — умоляющим голосом взывал свеженький субалтерник.

— Нет, что ни говори, а ужасное мы государство,— значительно тянул сановник.— Смотрите, это ведь вопиющая мерзость — эти соломенные кровли!

Старец быстро оборотился в его сторону.

— Совершенно верно изволили выразить, ваше превосходительство,— залепетал он,— именно — мерзость, именно — соломенные кровли мерзость... Но теперь этого не будет! — И он торопливо замахал кистью руки.

— То есть как же так? — ядовито спросил сановник, питавший странную ревность ко всем улучшениям, которые могли бы совершиться без его ведома.

— А я изобрел... я очень наглядно изобрел... Знаете, постройки эдакие... эдакие огненеподдающиеся постройки...

— Но в чем же их преимущество? — полюбопытствовал сановник.

— О, преимущество громадное,— подхватил Волхонский,— обычные постройки горят, и от них остаются угли... Но когда сгорает эдакая... огненепобораемая... от нее остается глина, и... мужик. Мужик и глина.

— Вот, вот,— радостно подхватил старец,— совершенно верно изволили... именно — мужик, именно — мужик и глина!

Сановник благосклонно улыбнулся.

Мишель, закутанный в пледы, лежал в глубине какого-то тарантаса. Рядом с ним сидели madame Петушкова и предводительша. Он пожимал им руки и, мечтательно посматривая в вышину, восклицал: «Полюбуйтесь, mesdames!.. Посмотрите, как кружатся эти голуби, точно искры... Или, как это у Гоголя... А как мрачна и загадочна эта бездна,— продолжал он, указывая в небо,— не кажется ли вам, что кто-то хмурится оттуда и грозит... О, как понятна сейчас эта идея гневного и карающего бога!»

Дамы благоговейно внимали его речам, и Петушкова не смела отнять своей руки, которую граф пожимал слишком уже дружественно, а предводительша не хотела отнимать и даже слегка отвечала на его пожатие. Ей очень нравился Облепищев.

Официальные люди убивались на пожаре. И по справедливости надо сказать, что хлопотали ужасно. Корней Корнеич самолично распорядился, по крайней мере, с дюжиной мужицких физиономий; кроме того, он посулил старосте

долговременные узы. Клёпушкин, в свою очередь, поработал. Но всех усерднее действовали Цуцкие. Они метались по народу, точно угорелые, и раздавали столько пинков и оплеушин, что их не было никакой возможности перечислить. Впрочем, один из Цуцких (тот, что поглупее) даже залез на крышу и для чего-то стал расковыривать солому, но провалился в дыру и был извлечен за ноги. И, конечно, огонь не мог устоять против такого самоотвержения. Он достиг до площади, на которой стояла церковь, и, моментально сожрав крайний дворишко, принадлежавший убогой просвирне, упал. Тогда начальство вздохнуло свободно.

— Кончено,— произнес Лукавин и предложил Варе сесть. Она обвела пожарище длинным и тяжелым взглядом и опустилась на подушку. Обугленные остовы жарко тлели. Полуразрушенные печи черными и мрачными столбами возвышались среди них. Погорельцы слонялись по пожару как тени и ковыряли груды скипевшегося пепла. Бабы причитали. Среди улицы валялся разнохарактерный скарб. В нем пугливо копошились дети. Иногда плач оттуда вырывался, тоскливый и жалостный. Порою можно было слышать глухой стон. Церковь алела, точно залитая кровью. Где-то завывала собака...

Экипажи медленно пробирались по улице; колокольчики осторожно перезванивали. Но господа притихли и пребывали в почтительном безмолвии. Над ними точно туча повисла. Их угнетало мужицкое горе — не так заметное за треском пламени, суетнею и звуками набата.

Варя сидела, как-то странно выпрямившись, и бессмысленно озирала пространство. Однажды она скользнула взглядом по лицу Лукавина, на котором пламенным румянцем отражалось пожарище, и ужасно чуждым показалось ей это красивое лицо. Но она только мгновение подумала об этом и как будто отвернулась от этой мысли, до того она показалась ей скучной и неинтересной. Что-то важное и значительное вставало в ней. Сердце ее болело.

Выехав из деревни, кучера гикнули и понеслись с шумом; колокольчики бойко зазвенели. Господа вздохнули с облегчением. Усадьба вырастала перед ними, унизанная гирляндами фонариков и потускневшими транспарантами. Музыканты, услыхав приближение экипажей, мгновенно настроились и загремели «Персидский марш».

Коляска, в которой сидела Варя, первая подкатила к подъезду.

— Э, вы, почитай, заснули, Варвара Алексеевна! — шутливо воскликнул Лукавин, выходя из коляски. Варя быстро поднялась, мгновение как будто прислушивалась к чему-то (неясные вопли странно перемешивались с звуками музыки), глянула на пожарище, угрюмо пламеневшее в отдалении, и вдруг, слабо вскрикнув, пошатнулась. Лукавин подхватил ее,— она была без чувств. Лицо ее, покрытое мутной бледностью, являло вид неизъяснимого ужаса.

XIX

Страшная тревога поднялась в волхонском доме. Варю окружили тесною толпой. Некоторые побежали к музыкантам и, махая руками, приказывали им перестать. Но музыканты недоумевали, и музыка стихала нестройно и медленно. Прислуга бегала с растерянными лицами. Отец Ихтиозавр важно сопел и щупал пульс у Вари. Все жадно смотрели ему в лицо.

Наконец он нашел, что беспокоиться нечего и что у девушки просто легкий обморок. Тогда ее отнесли наверх и уложили в постель. И грузные шаги прислуги, подымавшей Варю по лестнице, как-то неприятно всех поразили, голоса понизились. Все для чего-то стали ходить на цыпочках. Облепищев почувствовал дурноту и удалился в свою комнату, не забыв, однако же, шепнуть предводительше, что она напоминает ему Эсмеральду... Многие поспешили уехать. Но, однако же, устроили подписку в пользу погорельцев, причем с затаенным любопытством ожидали, сколько-то выложит Лукавин.

Иллюминация погасала. Забытые транспаранты распространяли копоть. Потухшие бочки смрадно дымились.

Встревоженный Алексей Борисович бесцельно ходил по комнатам и с односложной вежливостью отвечал на успокоения гостей. Отец Ихтиозавр сидел около Вари. Волхонский несколько раз подымался наверх и спрашивал, не очнулась ли она. Но обморок все продолжался, перемежаемый неясными вздохами, и он мрачно сходил оттуда и в рассеянности смотрел на гостей. Автор знаменитой брошюры под шумок завладел Лукавиным и рассказывал ему о блистательных свойствах его «знаменитого родителя» и о том, что

он, старец, хотя и косвенно, но некоторым образом поспособствовал получению Лукьяном Трифонычем ордена «святыя Анны». А после старца к Петру Лукьянычу с азартом подошел Цуцкой (тот, что поумнее).

— Не можете вы одолжить мне до завтра семьсот рублей? — отрывисто спросил он, сердито вращая глазами.

— Не располагаю такой суммой,— вежливо ответил Лукавин.

— И пятьюстами не располагаете?

— И пятьюстами не располагаю.

Цуцкой подумал.

— Ну, давайте две сотни,— сказал он.

— И тех не могу.

Цуцкой укоризненно посмотрел на Лукавина.

— Эх, вы!.. А еще Россию грабите,— вымолвил он и, не поклонившись, направился к выходу.

«Эка чистяк какой!» — мысленно воскликнул Лукавин и насмешливо улыбнулся. Но он и не подумал рассердиться на Цуцкого.

Наконец все разъехались. Все на прощанье горячо пожимали руку Алексея Борисовича и с сочувствием заглядывали ему в глаза. Лукавин тоже подошел к нему с пожеланием покойной ночи. Но Волхонский вдруг расчувствовался и по какому-то влечению крепко обнял и поцеловал Петра Лукьяныча.

Остался один отец Ихтиозавр. Он тяжко вздыхал и, раздражительно пошевеливая усами, хлопотал около Вари. «По крайней мере, двадцать пять рублей должны мне дать»,— подумал он в промежутках между тем, как давал Варе нюхать спирт или приказывал Надежде согревать ей ноги.

Алексей Борисович долго и неспокойно ходил по своему кабинету. Какая-то тоскливая скука одолевала его. Он, правда, не придавал особого значения обмороку Вари, но обстоятельства, сопровождавшие обморок,— этот пожар, этот прерванный праздник, эта иллюминация, потухавшая в небрежении и отравлявшая воздух копотью и смрадом дегтя, этот торопливый и как будто панический разъезд — все это наполняло его душу каким-то угнетающим чувством. Стройный порядок Волхонки был нарушен грубо и неожиданно. Кроме того, он сегодня ожидал решительного ре-

зультата в отношениях Вари к Лукавину... «И пришло же на ум гореть, когда не следует!» — в раздражении восклицал он, а спустя минуту приказал позвать Захара Иваныча. Одиночество его подавляло.

Захар Иваныч явился усталый и пасмурный.

— Ну, что, как там у вас? — спросил Волхонский.

— Потушили,— кратко отозвался Захар Иваныч.

— А трубы, кажется, хорошо действовали?

— Какое там хорошо! Скверно действовали. Да что трубы! — Захар Иваныч безнадежно махнул рукой.— Тут если и паровые притащишь, толку не будет. Разве можно гасить порох?

— Да-а...— глубокомысленно произнес Алексей Борисович.— Сколько же сгорело?

— Двадцать три двора.

— Гм... Экие они какие. Не слышно причины?

— Каких там слухов захотели. Тот одно говорит, тот другое... Верней всего золу с огнем вынесли.

— Это ужасно,— сказал Волхонский и покачал головой.— Вот тут передайте им,— добавил он, после легкого молчания подавая Захару Иванычу пачку кредиток и подписной лист.— Петр Лукьяныч пятьсот рублей подписал! — И Алексей Борисович с умилением посмотрел на Захара Иваныча.

Опять произошла пауза.

— Скотины много погорело,— вымолвил Захар Иваныч.

— Да, да...— произнес Волхонский, сожалительно чмокнув языком.— Совсем погорела?

— Совсем.

Снова совершилось безмолвие.

— Что это с Варварой Алексеевной? — спросил Захар Иваныч, усиливаясь сдержать зевоту.

Алексей Борисович в недоумении развел руками.

— Подите вот! — сказал он.— Нервы эти... Пешком, как оказывается, пробежала в село,— и с раздражением добавил: — Ведь эти барышни не могут без геройства!

Захар Иваныч подумал и хотел было возразить, но не возразил, а вынул платок и громко высморкался. Опять помолчали.

— А ваш знакомый? Он, кажется, был там? — вяло спросил Волхонский.

— Да, как же, был.

— Что мы его не видим?

— А он в Ерзунах, кажется, гостил у мужичка там одного; да на пожар и приехал.

Алексей Борисович снисходительно улыбнулся.

— Народники,— сказал он и добавил в покровительственном тоне: — Благородные люди!

Захар Иваныч промолчал. Но, посидев немного, поднялся.

— Так я уж пойду, Алексей Борисыч,— вымолвил он.

— А, вы идете? Ну, покойной ночи. Так передайте им... И вообще из хлеба что-нибудь... Вообще, чтобы не было этого... этого... (он потряс пальцами в воздухе) этого нытья!..— и добавил с внезапной благосклонностью: — Мое почтение вашему знакомому.

По уходе Захара Иваныча он снова походил немного и затем, поместившись в глубоком кресле, погрузился в тонкую дремоту. Вдруг легкое прикосновение пробудило его. Он вздрогнул и быстро поднял голову. Пухлый лик отца Ихтиозавра в испуге наклонялся над ним.

— Что такое? — вскрикнул Алексей Борисович.

— Дело отвратительное...— сказал отец Ихтиозавр,— очнулась в бреду, и термометр стоит на сквернейшей цифре.

Волхонский схватил себя за голову.

— Что вы со мной сделали, злодей! — закричал он в отчаянии и схватился за сонетку.

В тот же миг полетели телеграммы в Воронеж и в Москву, а за ближним доктором во весь опор поскакала тройка.

Утро всех застало в переполохе. Волхонский пожелтел и осунулся. Облепищев не выходил из своей комнаты. Лукавин, пасмурный, ушел к Захару Иванычу и не появлялся во весь день. Комнаты стояли в неприветливом беспорядке. Прислуга бестолково двигалась из угла в угол и перекидывалась унылыми замечаниями. Надежда ходила с заплаканными глазами. Суровый и гладко обритый человек в кашемировом сюртуке смотрел на всех исподлобья угрюмым и враждебным взглядом.

Варя лежала в страшном жару и никого не узнавала. В бреду у ней вырывались слова, никому не понятные, и часто в страстном и нежном шепоте упоминались ласковые названия; но к кому они относились, осталось тайною. Иногда на лице ее появлялась блаженная улыбка и воспа-

ленные губы шептали едва внятно: «Как хорошо... как это хорошо... Расскажите теперь о Женни — это очень хорошо... Ах, какая она огромная, эта Женни!..» Порою дикий восторг загорался в ее взгляде, из уст вырывались нестройные клики, она все подымалась в каком-то трепете... и снова бессильно упадала на подушки и закрывала глаза. Но чаще всего она металась в тоскливом беспокойстве и пугливо вскрикивала, в неподвижном ужасе расширяя глаза. Казалось, какие-то страшные видения выступали перед нею, нестерпимо разрывая ее душу. Одно время она стала перечислять книги и статьи, указанные ей Тутолминым,— перечисляла поспешно, спутанно, торопливо и умоляла кого-то поверить ей и допустить на курсы, где читает «эта лучезарная Женни»... и вслед за этим хриплым голосом восклицала угрожающие слова... и гневно потрясала рукою.

И толстенький Ихтиозавр, давно уже растерявший все свои познания в механическом полосовании «мертвых тел» да в вечных карточных заботах, бестолково метался около Вари, прикладывал ей компрессы, беспрестанно ставил термометр, озабоченно считал горячечное биение пульса...

На другой день предоставили земского Гиппократа. Он внимательно осмотрел больную, расспросил сконфуженного Ихтиозавра, скользнул по нем укоризненным взглядом,— а затем пожал плечами и стал дожидаться «перелома».

На третий день приехала местная знаменитость. Местная знаменитость галантно расшаркалась с Волхонским, пролепетала несколько успокоительных фраз, подержала совет с докторами, которых неоднократно обозвала «коллегами», исследовала больную,— а затем развела руками и стала дожидаться «кризиса».

На четвертый день московская знаменитость прислала телеграмму, в которой заявляла, что меньше чем за тысячу рублей она выехать из Москвы не может...

Московской знаменитости не успели ответить. На четвертый же день, ночью, Мишеля разбудили, и он, с ног до головы охваченный ужасом, бледный, дрожащий, сквозь глухие рыдания написал матери телеграмму. Но спустя минуту разорвал ее и с жестокой иронией изобразил другую. В ней значилось:

«Курсы повысились: сегодня в ночь умерла кузина. Поздравляю.

Граф Облепищев».

XX

Спустя две недели из Волхонки тащилась тележка, запряженная парою серых лошадок. В тележке сидел Илья Петрович Тутолмин. На облучке лепился Мокей. Солнце палило нестерпимо. Мелкая пыль вилась за колесами. Неугомонные слепни кружились над лошадями и беспрестанно присасывались к ним. Мокей сидел полуоборотясь к Тутолмину. Он вяло помахивал кнутиком и подергивал веревочными вожжами.

Илья Петрович сильно изменился. Лицо его потускнело и осунулось. Глаза были печальны. Он сгорбился точно старик и рассеянно смотрел, как пристяжная лениво перебирала косматыми ногами и вздрагивала, когда слепень впивался в нее своим жалом.

— Ну, Петрович, простись теперь с Волхонкой! — произнес Мокей, когда тележка вползла на возвышенность.

Тутолмин медленно оглянулся. В долине живописно раскидывалась усадьба. Озеро блестело, как ярко отполированная медь. Бурый камыш неподвижно отражался в воде. Барский дом возвышался тяжелой громадиной. За домом огромным островом вставал и зеленелся сад. Водяная мельница меланхолически грохотала. Сельская церковь стройно белелась, сияя крестами. Дальше тянулось поле, усеянное копнами, и пустынное жниво; за жнивом трепетало обманчивое марево и смутно вставали деревни. Там и сям виднелись кусты... В высоком небе гордо кружился ястреб.

И вдруг Илья Петрович почувствовал, как что-то щипнуло его за сердце и тоскливо сдавило грудь. Он украдкою смахнул слезу, одиноко скатившуюся с ресницы, подавил тяжелый вздох и с решительностью отвернулся.

И долго они ехали в молчании. Возвышенность давно уже миновала. Крест волхонской церкви едва сиял за ними. Кругом расходились безмолвные поля; порою возы с снопами тянулись им навстречу медлительно и тяжко. Иногда в стороне пестрело стадо. Где-то в отдалении протянули журавли... Колеса однообразно гремели, и лошаденки трусили ленивой рысцою.

Наконец они пошли шагом. Мокей закурил трубочку и окончательно оборотился к Илье Петровичу.

— Что ж, приедешь к нам на лето? — спросил он.

— Вряд ли,— с унынием отозвался Тутолмин.

— О? А то приезжал бы. У нас, брат, хорошо.

Тутолмин ничего не ответил. Тогда Мокей усиленно посопел трубочкой, выколотил из нее пепел и снова задергал вожжонками. «Эй, вы, уморительные!» — закричал он пискливым голоском. Илья Петрович усмехнулся. «Ведь, ишь он, как его... ишь как выдумал!» — подумал он с удовольствием и, вынув из мешка памятную книжку, записал Мокеево восклицание. Потом в задумчивости стал перелистывать книжку... Немного в ней было утешительного. Общинный уклад расползался. Всевозможные устои подтачивались неотступно. Новые взгляды нарождались с стремительной неукоснительностью. Старина, видимо, издыхала... И грустно ему сделалось.

Вдруг Мокей с живостью обратился к нему.

— А я ведь еще песню подслушал,— промолвил он, улыбаясь.

— Какую?

— Да уж песня! Всем песням песня. Девки от табашника переняли.

— Ну, говори, говори.

— Говорить-то говорить...— Мокей почесал за ухом.— Только ты уж, Петрович, без обиды... Больно хороша песня!

Тутолмин в изумлении посмотрел на него.

— А я разве тебя обижал? — спросил он.

— Ну, как можно обижать,— с предупредительностью возразил Мокей и добавил вкрадчиво: — А все-таки маловато.

— Да чего маловато-то?

— А насчет песен... Это ты уж как хочешь, а оно, брат, тово... Тоже ее запомни всякую... Ее, брат, тоже не всякий запомнит.

— Ну, сколько же тебе?

— Да что уж... Все бы, глядишь, четвертачок надо...— И он нерешительно взглянул на Тутолмина.

— Ну, ладно,— сердито сказал Илья Петрович,— говори, что там за песня.— Он раскрыл свою книжку.

Мокей крякнул и плутовато улыбнулся.

— Пиши,— вымолвил он,— пиши...

Купил Шаша две бутылки,
Одна — пиво, другой — ром,
Давай с тобой разопьем,
Бутылочки разобьем...
Э-их, будем пить и кутить —
Нам немножко с тобой жить.
Тебя, миленок, женить...

— Да ты чего ж не пишешь? — вдруг спросил он.

Но Тутолмин в негодовании захлопнул книжку и плюнул.

— Черти вы! — решительно воскликнул он.— Мало вас, чертей, дурачат!.. Я тебе не только четвертак — пятака не дам за этакую песню!

— О? Ай не хороша? — в наивном удивлении вымолвил Мокей и тотчас же прибавил в примирительном тоне: — А не хороша — и шуты с ней!.. Эй вы, размилашки! — И он весело замахал на лошадей.

А Илья Петрович долго не мог успокоиться. Он и прежде выслушивал подобные песни в страшной досаде, эта же «песня песней» как-то особенно взволновала его. «Ведь переняли же эдакую гадость,— восклицал он,— а старые песни не перенимают... Так и вымирают старые песни, и глохнут бесследно...» И он погрузился в прискорбные размышления.

Мокей тоже думал, но о чем, неизвестно, и только после долгого перерыва он мотнул головою и опять обратился к Илье Петровичу.

— А что, Петрович, барышня эта, покойница... как ты полагаешь? — он вопросительно посмотрел на Тутолмина.

— Что полагать-то? — с неохотой ответил тот.

— Помнишь, ты приходил-то с ней.

— Ну?

Мокей решительно тряхнул волосами.

— Я так полагаю — она из блаженных,— произнес он и ловко стегнул коренника под седелку.

— Как это из блаженных? — угрюмо осведомился Илья Петрович.

— А из блаженных. Вот блаженные бывают, которые..

Тутолмин хотел было что-то ответить, но посмотрел вдаль и вскрикнул в тревоге. Кудрявая полоска сизого дыма тянулась по горизонту, быстро приближаясь к далекому вокзалу. И до того ужасным показалось Тутолмину опоздать на этот поезд и снова возвратиться в Волхонку, что он даже в лице изменился. «Гони, Мокей!» — закричал он. Мокей поплевал на руки, поправил картуз и вдруг возопил благим матом. Лошаденки рванулись в испуге, колеса неистово загремели, седая пыль заклубилась и затолкалась мутным столбом... «Гони!» — кричал Илья Петрович, не отрывая

глаз от поезда, победоносно подходившего к вокзалу. Тележка подпрыгивала, пыль летела ему в лицо и в рот, Мокеев кнут жгучей полоской проскользнул по его носу, а он ничего не примечал и, крепко ухватившись за края тележки, взывал отчаянным голосом:

— Гони, гони, Мокей!..

Жадный мужик

Повесть

I

В Орловской губернии есть село Большие Ключи. Тому назад лет тридцать, еще при господах, жили в этом селе три брата: Иван, Онисим да Ермил. Барин их проживал в чужих краях, мужиков не отягощал, и сидели у него мужики на оброке, высылали барину каждый покров по десяти рублей с тягла. Старший брат Иван да средний Онисим были женаты и уже имели детей: Онисим двоих имел детей, Иван — троих; меньшой брат Ермил был еще подросток. Хозяйство у братьев велось исправное, но не зажиточное. Мужики они были непьющие и на работу завистливые: выйдут, бывало, косить — за троих управляются. Но как было у них много едоков, а Ермил по своим малым годам за мужицкую работу еще не принимался, то и не было большого избытка в их хозяйстве. Обходились своим хлебом, пахать выезжали в две сохи; в стадо выгоняли бабы корову да подтелка, да четыре овцы; оброк о покрове выправляли аккуратно. Избытка же не было.

Только сделалась в России война. Пришел француз, пришел англичанин, с туркой и с итальянцем, обложили русский город Севастополь и побили много народу. Не хватило солдат у царя, велел он собирать ратников. Дошел черед и до села Больших Ключей, пришлось идти Онисиму в ратники. Пошел он, захворал в походе,— похода еще не кончил, помер от горячки. Он помер, ратничиха с сиротами осталась у Ивана, и стало Ивану очень трудно. Взялся Ермил

за косу, начал привыкать помаленьку, и подумал Иван: женим малого, посадим на тягло, извернемся как-нибудь. Хотел женить, а тут случился плохой год; ударили поздние морозы, охватили рожь на цвету; летом пришла на горох вошь, горячие ветры овес пожгли. Пришлось убирать мужикам одну солому. Еще труднее стало братьям.

Тем временем у барина появились свои заботы. Пришло письмо от барина, погнали добавочный оброк по шести рублей с тягла. Староста повадился ходить к Ивану чуть не каждый день, ходит, посошком постукивает, зудит. И заскучал Иван: стыдно ему стало перед людьми за свою бедность.

Вот сели обедать, Иван и говорит Ермилу:

— Иди, Ермил, к купцу в работники. Возьмем задаток, извернемся как-нибудь. А я, как-никак, оборочусь один: может, в извоз съезжу, может, поденщина какая навернется.

Ермил покряхтел, почесал в голове, почесал вокруг поясницы и говорит брату:

— Дело-то непривычное в работниках. Кто ее знает, как оно там... Порядки, гляди, не нашенские: какой ногой ступить, где стать, где сесть...

II

Однако подумали-подумали — собрался Ермил, выправил себе билет у приказчика, пошел в город. И такое ему вышло счастье, что сразу нанял его купец и выдал вперед двенадцать рублей. Откупился Иван от старосты.

И попался Ермилу купец добрый. Ругаться не ругается, работой не неволит, харчей дает вволю, а по праздникам и водки подносит. Полюбилось Ермилу такое житье. Малый он был проворный, сметливый, и стал он мало-помалу приглядываться.

Увидит на первый раз, что купец уважает чистоту: двор у него большой, мощеный, навезут мужики хлеб с базара, натаскают навозу, насорят зерном,— Ермил возьмет метлу да все чисто-начисто и подметет. Подымется метель, повалит снег, навеет вьюга сугробы — Ермил возьмет в руку лопату, да и сгребет снег к сторонке. А купец пройдет мимо, ухмыльнется, погладит бороду и скажет Ермилу:

— Старайся, старайся, парень, труды твои за мной не пропадут.

И еще видит Ермил, что купец любит почет; любит, чтоб с ним обходились вежливо, кланялись бы ему низко. Бывало так: назовет его какой-нибудь человек вашим степенством, поклонится ему, и купец рад — и всячески отличает такого человека. Ермил тоже стал приноравливаться: начал хозяина величать, шапку перед ним скидать — сам кланяется, а лицо оказывает веселое, точно ему великий праздник хозяина своего видеть. И купец очень был доволен Ермилом.

И еще видит Ермил —ссыпает купец у мужиков хлеб, и как какой молодец озорнее поступает с мужиками, как ежели поход на весах выходит у него больше против других молодцов — так тот молодец приятней купцу, и случается, что купец выдает ему награждение. И носят такие молодцы одежду из тонкого сукна, сапоги на них хорошие, вытяжки, живут весело, всегда с деньгами. Ермил, не будь плох, и говорит купцу:

— Сем-ка я, ваше степенство, попытаюсь. Я к этому делу присмотрелся.

Согласился купец и остался очень доволен Ермиловой ссыпкой. С мужиками Ермил зуб за зуб; ежели ссыпка на меру идет — в мере зерно кулаком утаптывает, греблом о бока поколачивает, сгребает с хитростью все больше около краев, а середка горбом стоит; ежели ссыпка на вес — Ермил промеж весов вертится, пальцем за стрелку цепляет, норовит доску с гирями ногой подтянуть. Мужики только головами крутят.

— Ну, уж пёс у тебя этот парень,— говорят купцу.

А купец притворяется, будто не его дело. Сам же примечает за Ермилом и радуется. И призывает его один раз к себе в горницы и говорит:

— Вижу твою ухватку, Ермил. Труды твои за мной не пропадут.— И тут же подносит ему стакан водки, а сам вытаскивает из кошелька пятишницу и говорит: — Это тебе за твои труды награждение. Старайся.

Обрадовался Ермил. Купил себе рукавицы замшевые, справил поддевку тонкого сукна и еще больше начал угождать хозяину.

III

И стал купец сажать его с собой вместо кучера. Поедет к господам хлеб скупать — и Ермил с ним; поедет по база-

рам ссыпку делать — и Ермил с ним. Не нахвалится купец Ермилом. Кули набивает, подводы нанимает, мерой гремит — вся ухватка молодцовская, совсем на мужика стал не похож.

Вот раз едут они дорогой. Небо белое, поле белое, по дороге вешки натыканы, полозья визжат по морозу. Скучно сделалось купцу, и завел он разговор с Ермилом.

— Вот,— говорит,— Ермил, купили мы с тобой две тысячи кулей овса. Купили дешево, а продадим дорого. Смотри сюда,— и показывает ему на пальцах,— цена в покупке девять гривен серебра, амбар ляжет пятачок на куль; кули — три денежки с пуда: девять копеек; до Москвы переправить: четвертак с пуда, за куль — полтора целковых. Сколько выйдет, по-твоему?

Смекнул Ермил, и говорит:

— По-моему, выходит девять рублей без гривны, ваше степенство.

— Дурак! Кто нынче на ассигнации считает? Смекни на серебро.

Подумал Ермил, и вышло у него на серебро два рубля пятьдесят четыре копейки за куль. Сказал он так, да тут же и притворился, чтобы польстить купцу:

— Конечно, мы люди темные, вашему степенству лучше знать, вашему уму виднее.

Купец совсем размяк от этих слов. Погладил бороду, шубой запахнулся, и еще больше стал ему люб Ермил. И показывает он ему письмо.

— Вот, гляди,— говорит,—Ермил, парень ты тямкой, одна твоя беда: грамоте не смыслишь. А я учен грамоте. Потому — ты мужик и отцы твои, может, пням богу молились, а у меня и отец купец, и дед купец, и сам я купец, по третьей гильдии. И потому мне грамота нужна. Вот в самом этом письме из Москвы пишут: цена на овес стоит сильная — три рубля серебром за куль; а коли овинный, то и набавят. Понял?

— Понял,— говорит Ермил, а у самого так и мелькает в мыслях: сколько же лишков получит купец? И смекнул, что лишков будет на каждый куль сорок шесть копеек, потому овес больше всемужицкий, сыромолотый. И, смекнувши, говорит:

— Лишков на каждый куль сорок шесть копеек выходит, ваше степенство.

— Лишков! Это барыш, малый, а не лишки. А сочти те-

перь, сколько всего перепадет на мою долю от двух тысяч кулей.

Не сосчитал Ермил, сбился. Купец засмеялся и говорит:

— Девятьсот двадцать целковых, дурашка ты эдакая! — И захотелось ему побахвалиться пред Ермилом. Вынул он бумажник, развернул и говорит:

— Гляди, тут всего семьсот рублевок однех. Так ежели вот доложить к этой куче еще две сотенных бумажки,— это и будет мой барыш на овес. Понял?

Покосился Ермил, видит — бумажник у купца так и распух от денег, словно подушка какая набита.

— Понял,— говорит, а у самого так сердце и загорелось от жадности.

— Вот то-то. Сказано — ученье свет, а неученье тьма, так оно и выходит. Ну-ка, малый, хлестни пегушку-то, чего она, шельма, постромки опустила.

Вздохнул Ермил, погнал лошадей.

И стал с этих пор скучать Ермил. Возьмет ли метлу в руки, примется ли жеребца хозяйского чистить, начнет ли сугробы сгребать — не лежит его душа к работе. Поужинает, заляжет спать на печь, и тепло ему и сытно, а не спокойно у него в мыслях. Представляется ему — едут они с купцом по дороге, поле белое, небо белое; полозья визжат, вешки по сторонам натыканы, а купец запахнул шубу, и из-за шубы бумажник у него оттопырился. Люди храп подымут, на дворе петухи закричат, в соборе к утрене ударят, а Ермил все вертится с бока на бок. Прежде разъелся он на хозяйских харчах: щеки отдулись, шея стала как у борова, кафтан, что захватил из дома,— не сходится: станет застегивать — петли трещат. А тут дело подошло — отощал он от своих мыслей, из лица стал темный, глаза ввалились. Никак не одолеет своей жадности. А поглядит на купеческую жизнь — еще больше разжигает его зависть. Утром встанет купец, обрядится, вздернет лисью шубу и пойдет к обедне. Домой воротится — самовар у него на столе; пироги пшеничные, лепешки сдобные. Жена разрядится, ковровый платок распустит по плечам, сидит, чаек попивает; щеки красные, сама рыхлая, толстая, так и разваливается, как малина. Наестся купец, напьется, отвалится от стола и пойдет в ряды на прогулку. Соберутся купцы в рядах, учнут шутки шутить, зазовут для потехи дурачка какого-нибудь, заставят его песни играть, плясать,— сами так и надрываются со смеху. Не то — в трактир пойдут чай пить, о торговых своих

делах толкуют. Придет купец домой,— уж на столе и жареное и вареное. И гусятина каждый день, и щи с убоиной, и каша с маслом, и водка, и квас. После обеда ляжет купец с женой на пуховики и спит вплоть до вечера. Выспится — за ворота выйдет, орехи начнет щелкать. Кто не пройдет мимо — поклон ему отдает.

Тем временем колесо идет своим порядком. Мужики хлеб привозят; молодцы ссыпают, ругаются с мужиками, кули набивают. Ермил иголкой да суровыми нитками все себе руки намозолил. Ссыпка спешная, горячая. Обозы чуть не каждый день купеческий хлеб в Москву отволакивают.

IV

И видит Ермил — все колесо держится грамотой, чужими людьми да деньгами. Подумал, подумал он: «Дай,— говорит,— грамоте научусь, не обсевок я какой-нибудь на самом деле». И услыхал, что живет в слободе такой человек,— обучает грамоте и счету. Выбрал Ермил праздничное время, отпросился у хозяина будто к сапожнику за сапогами и пошел в слободу. И долго искал того человека. Жил он у мужика на задворках; кругом избушки сугробы намело; окошки крохотные, в дверь пролезать — скрючиться надо. Вошел Ермил в сенцы, обмел сапоги, взялся за кольцо, и вдруг ему стало стыдно: как это такой большой малый и вздумал грамоте учиться; не засмеял бы его этот человек!

Однако справился, виски пригладил, дернул за кольцо, вошел. И видит — сидит на лавке немолодой человек, обряжен в чистую рубаху, из себя костлявый, сморщенный, сидит и в книжку смотрит.

— Здоров будешь,— говорит Ермил, а у самого в глотке пересохло от страха. Оторвался человек от книжки, посмотрел на Ермила. И по глазам увидел Ермил, что человек тот мягкий, милостивый, не станет над ним смеяться, и сразу сделалось ему ловко. Рассказал он свое горе. И как сказал, что желает грамоте научиться,— просветлел тот человек, обрадовался, не знает где посадить ему Ермила; а как сказал Ермил, на что ему грамота нужна, понял человек, какая жадность одолевает Ермила, и запечалился.

— Ты уж сделай милость — научи, милый человек,—

говорит Ермил,— я тебе не токмо — по гроб жизни буду благодарен.

Молчит человек, глядит в землю.

— Ты уж не сомневайся,— говорит Ермил,— труды твои за мной не пропадут. Как-никак — отплачу тебе.

Поднял человек глаза и заговорил. И видит Ермил — совсем перед ним другой человек: голос строгий, из лица пасмурен.

— Не от бога,— говорит,— твоя охота к учению, но от дьявола. Бог вложил в тебя понятие и дал разум. Но ежели ты захотел учиться ради наживы, ежели ты раззарился на сладкое житье и хочешь подражать купцам,— это не от бога, но от дьявола. Грамота не на то дана, чтобы душу погубить, но чтоб спасти.

— Эка, голова, при деньгах и спасаться легче,— со смешком говорил Ермил, а самого зло берет на человека,— ты гляди, наш хозяин каждый день к обедне ходит, свечки ставит, по четвертаку за свечку, колокол справил в собор.

Покачал человек головой на эти слова, насупился, развернул книжку и прочитал Ермилу: «Увидел Христос богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все от избытка своего положили в дар богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, которое имела».

Ермил в одно ухо слушал, в другое выпускал; очень уж его разбирала досада на человека, и говорит:

— Ты вот что, нечего тут с тобой толковать: мне еще жеребца хозяйского надо напоить, хочешь целковый за учебу?

— Мне денег твоих не надо,— говорит человек,— подумаешь, отстанешь от своей жадности — даром выучу.— И опять сказал: — Грамота не дана, чтобы погубить душу, но спасти.

— Да чудак ты, ежели не по торговой части, на что она мне, грамота-то, твоя! Я в мужиках и без грамоты цеп-то в руках удержу. Мне счастие свое хочется найти, талант.

— Иной и талант на погибель,— сказал человек.

Осерчал Ермил, не стал слушать человека, нахлобучил шапку, хлопнул дверью, изругался и пошел ко двору.

V

И на его счастье, взялся один приказчик научить его. Сбегал украдкой Ермил на базар, купил азбуку, выстругал указку; отслужили они с приказчиком молебен святому Науму; сходили для начала в трактир, и засел Ермил. И учился он от людей тайком, крадучись, чтобы люди не смеялись над ним: вот, мол, какой здоровый малый за азами убивается. Люди спать, а он в книжку глядит; люди за ворота пойдут, а он забьется в конюшню, склады твердит. И так ему далась грамота, что не прошел еще великий пост, а уж он печатное стал разбирать, начал понимать, что если цифрами обозначено; на бумаге мог пером слова выводить.

А дела его шли своим порядком: то снег счищает, то хлеб ссыпает, то кули зашивает; и купец его не забывал: когда рублевку даст, когда две. Справил Ермил себе весь обряд, а про брата Ивана и думать забыл. Посылал ему, что причиталось с договоренного. Когда полтинник пошлет, когда четвертак. Село было далеко, за сорок верст. Мужики ездили в город редко, разве нужда какая пристигнет. С ними и посылал Ермил деньги брату Ивану.

Только на святой пришел в город Иван. Отощал за зиму; кафтан на нем с заплатами, онучи веревками обмотаны. Посмотрел, посмотрел, видит — Ермил в поддевке тонкого сукна, рубаха на нем французская, портки плисовые, сапоги вытяжные. И прискорбно показалось это Ивану.

— Ты бы,— говорит,— Ермил, поопасался маленько. Мы за зиму-то бились, бились. Телку на муке стравили, и телки не хватило, одежонку заложили. Извоза не было, скотинка отощала. Теперь вот овса на семена надо купить, а ты форсишь.

— Что ж, форсишь! — говорит Ермил.— Зажитые которые я тебе отсылал. Да пятишница за хозяином, коли не больше. А это воля хозяйская — давать сверх договору. Уж это за ухватку за мою. А ежели тебе обряд мой не по нраву — это опять дело хозяйское.— И соврал тут Ермил: сказал, что хозяин дарил его не деньгами, а одежей.

Нечего сказать Ивану. И приятно ему, что Ермилом доволен купец, и прискорбно, как поглядит на малого. «Ну,— думает,— за соху возьмется, форс-то с него скоро соскочит. Обойдется как-нибудь».

Пошли они в трактир, напились чаю с калачом, выпили водки. Иван и говорит Ермилу:

— Иди ты, Ермила, покамест к купцу, забирай расчет

да укладывай худобу, а я тем временем на базар сбегаю: бабы наказывали пряжу продать.

Взял мешок, пошел на базар с пряжей.

Что тут делать! Воротит душу у Ермила, не хочется сходить ему от купца, отвык он от крестьянской работы. Поднялся он в горницы, постоял-постоял он в сенях, махнул рукой и не пошел к хозяину. Сел за воротами, сидит — подсолнухи лущит.

Иван на базаре еще выпил водки. Идет оттуда веселый, под мышками новую палицу тащит, в мешке — бублики ребятишкам да две свистульки. Пряжу продал хорошо.

Увидал его Ермил, повернулся от ворот, пошел в конюшню. «Ну,— думает Иван,— Ермил, должно, собрался, за воротами меня поджидал». Присел сам за воротами; ждет — нету Ермила. «Что,— думает,— за оказия». Пошел, разыскал.

— Собрался, что ли? — говорит.— Давай мешок-то, я туда палицу положу. Ей способней в худобе лежать. Взял деньги? Много пришлось?

Сопит Ермил, молчит. Понял Иван, что малый замудрил; взяло его сердце. Хмель ему в голову ударил, закуражился он, закричал на брата. Пошел сам к купцу. Маленько погодя позвали и Ермила в горницы.

— Вот что, Ермил,— говорит ему купец,— делов у меня летом мало, а тебя вон брат требует, артачится. Я этих пустяков не люблю. К зиме приходи — опять возьму: ты малый ухватистый. А теперь иди с господом ко двору.

Выплатил, что причиталось, отпустил их. Нечего было делать Ермилу. Собрал он свою худобу. Взвалил на плечи и пошел скрепя сердце за братом.

VI

На фоминой выехали братья пахать. Обул Ермил лапти, вздел посконную рубаху,— походил за сохой. Сперва одышка брала, поясницу ломило, потом обошелся — ничего, легко ему сделалось пахать.

Однако не лежала его душа к крестьянской работе. Отлынивать не отлынивает, а все прежнюю жизнь вспоминает.

Сядут в праздник за стол. Нарежет Иван хлеба, нальет баба щей. Хлеб горький, с лебедой, щи пустые, молоком забелены. Хлебает Ермил, а сам думает: «Эх, у купца-то теперь щи с убоиной, каша с маслом!»

Зачали мужики пар метать, зацвела рожь, овес выровнялся, в трубку пошел. Дожди перепадают вовремя, теплынь стоит. Сходил Иван на полосу, поглядел, заиграло в нем сердце.

— Благодать господь посылает, урожай,— говорит Ермилу.

Молчит Ермил, крюк облаживает. Осерчал на него Иван.

— Ты,— говорит,— ровно чужой, Ермил. Ты бы поопасался маленько. Весь мир крещеный радуется, а тебе словно и дела нет.

— Экая невидаль! Зиму прокормимся, а там опять зубы на полку. Корысть-то не велика.

— А ты чего захотел? Не велика корысть. Экое слово сказал. С жиру-то, малый, люди бесятся. Ты на миру живи, не как иные прочие, а как люди живут.

Ничего Ермил не сказал на эти слова. Повернулся от Ивана, пошел под навес, зачал косу отбивать.

Видит Иван — подеялось что-то с братом. Работает как следует, пашет, косит, а нету веселья в его работе. На словах неозорной, из послушанья не выходит, а нет промеж них прежнего ладу. Не свой человек Ермил в дому; словно чужак воротился он от купца. «Надо женить малого»,— думает Иван.

А у Ермила свои мысли. Присматривается он к мужикам и видит — большая от них пожива денежному человеку. Видит — пристигнет мужика нужда, он так и лезет в петлю к денежному человеку. Продает дешево, покупает дорого. Видит Ермил — и кабатчик опухает от мужика, и свой брат, мироед, опухает, и купец. «Эх, кабы мне деньги,— думал Ермил,— наворочал бы я делов!»

Придет праздник; иные ребята к девкам норовят — песни играть, а Ермил держит в уме другое. Прислонится к старикам и слушает. Почем мука на базаре, почем соль, за сколько мужик борова продал: все ему нужно. Все примечает и раскладывает в мыслях. Из лица стал угрюмый, задумчивый, на людей прямо не смотрит: опасается, как бы мысли его не прочли. А сам про себя думает: «Эх, кабы мне сотняжку какую раздобыть, натворил бы я делов!»

Подошли спожинки. Убрались мужики с поля, намолотили новой ржи, отдохнули на чистом хлебе. Девки на посиделки зачали собираться. Пошли по селу песни. Кабатчик целую сорокоушку припас к покрову.

VII

— Надо нам малого женить,— говорит Иван своей бабе.

Согласна и баба; ратнице попритчилось: как муж помер, словно свечка стала таять, ребятишки все мелюзга, тяжело ей одной домом править, не способно. Купили боровка; стали смекать, откуда денег добыть на свадьбу. Свез Иван на базар четыре воза ржи да овса семнадцать четвертей, выручил деньги, отдал, что причиталось оброку, купил соли, купил рукавицы, купил по платку бабам,— осталось у него пять целковых. Мало на свадьбу. Поговорили они с бабой и решили так: Ермилу женить, а Иван поблизости заложится к чужому барину, проживет у него зиму в работниках. Стали Ермилу пытать. Зачала Иванова баба вздыхать, на жизнь на свою роптаться.

— Все мои косточки,— говорит,— изныли от работы. Корову подои, борову замеси, мужиков обряди, ребят накорми. Выйдешь в поле вязать, разве угоняешься за двумя крюками; невестка хворая, какая от нея работа. Стадо пригонят — некому скотину встретить. Петровками куцую ярку насилу разыскали, все село, почитай, обегали за каторжной.

Молчит Ермил, будто и не его дело.

Послушает-послушает Иван, поведет и сам речь обиняком.

— Не способно одной бабе,— скажет,— неуправка.

А Ермил об одном думает: «Зачнется теперь у купца ссыпка, пропасть он денег награбит. Год хороший, праздники подошли, оброк выгоняют: мужики так и попрут на базар, так вал валом и повалят. Эх, кабы мне деньги!»

Видит Иван, что у Ермила уши заткнуты, говорит ему напрямки:

— Ты бы, Ермил, поопасался маленько. Бабе не надорваться. Год хороший, надо бы и сватов засылать. Есть что ли на примете? Вот Дунька Павликова — куда работяща девка.

Ермил потупился в землю, молчит.

— Чего груши-то околачивать,— говорит Иван,— ты малый в поре: двадцать третий год с Егорья пойдет. Телок порядочный. Я как-никак проживу зиму в людях, а ты женись. Небось всякая пойдет. Мы не какие-нибудь. Скотина есть, вот борова кормим, муки до новины за глаза хватит.

Тряхнул Ермил висками, скосил глаза и говорит:

— Я,— говорит,— к купцу пойду.

— За каким рожном?

— Жить.

Осерчал Иван и не нашел что сказать. Плюнул, схватил шапку, пошел, сел на завалинку — сидит, глядит на улицу.

Тем местом собрал Ермил свой обряд, вздел сапоги-вытяжки, выломил палку, говорит Ивану:

— Я пойду. Коли нужны деньги — накажи с мужиками. Али сам приедешь?

Взяло Ивана зло. Отвернулся он, хоть бы слово Ермилу.

Иванова баба посконь на гумне стлала. Отыскал ее Ермил.

— Прощай,— говорит,— невестка!

Увидала она его с мешком да с палкой, вытаращила глаза, побежала к мужу.

— Аль вы поругались? — кричит.— Куда Ермил-то собрался? Что вы, черти, белены, что ль, объелись, пропасти на вас нету. Жили, жили все ладно, мирно, а тут — на-ко!

— Пускай! — говорит Иван.— Ему хлеб мужицкий горек. Пускай сладкого попытает. Так-то оно лучше.

Однако баба урезонила Ермила: остался он на покров. Отгуляли праздник, не стал Иван перечить малому: запряг мерина, отвез Ермила в город.

VIII

И пошло все по-старому. С мужиками Ермил грызется, кули зашивает, купцу угождает всячески. Способно ему в этих делах. Словно рыба в воде хвостом виляет.

Видит купец, ссыпает Ермил рожь и отмечает вес цифрами.

— Аль,— говорит,— научился?

Ухмыляется Ермил.

— Так точно,— говорит,— ваше степенство. Я и слова писать могу.

Посмотрел, посмотрел купец. Набавил ему два целковых в месяц.

— Старайся,— говорит,— труды твои за мной не пропадут.

И прожил Ермил у купца зиму, прожил лето, осень пришла, сровнялся круглый год его житью. Остался он на другую зиму. Иван перемогся, махнул рукой на Ермила, принанял работника.

И чем больше живет Ермил у купца, тем все больше разгорается.

Спит он и видит, как бы ему разбогатеть. И так, и этак ломает голову. «Только бы начать мне,— думает,— только бы мне сотняжку какую наковырять; а уж там я пойду, с сотней-то я наворочаю делов». И смотрит он — иные молодцы прихватывают у хозяев, достают себе денег на баловство: то лишний расход покажут, то сбудут из амбара хлеб на сторону. Сбивают и Ермила на такие дела. Ермил подумал,— не вошел в согласие с молодцами. «Буду я,— думает,— с ними заодно — делиться придется, им на баловство деньги нужны, мне — на торговлю. Сем-ка, я один попробую...» И вошел он в большую зависть; приспособил человека, начал овес ему сбывать от хозяйских лошадей. Переправил мешок, улучил время, пошел за деньгами.

— Какие тебе деньги? — говорит человек.

— Аль не знаешь какие? За овес!

— Ты его сеял, овес-то?

— Я хоть не сеял, а деньги подай!

— А в острог хочешь?

Испугался Ермил — закаялся воровать.

Пришла зима, опять его купец за кучера начал сажать с собой. Ездит по базарам, по господам, нонче тут поживут дня три, завтра — там. Купеческие обозы день и ночь волокутся в город. Ермил из сил выбивается. Встанет чуть свет, лошадей напоит, овса засыплет, отопрет амбар, меры изнутри кирпичом вычистит, весы приладит. Купец напьется чаю и пойдет по базару; сторгует у мужика хлеб, напишет мелом на спине цену и отошлет к амбару. А там уж Ермил знает свое дело.

И все бы хорошо, только сосет червь Ермила, хочется ему разбогатеть. Думал он сперва, что поверит ему купец расчет делать, и придумал так: «Возьму от купца деньги, схороню где-нибудь в потаенном месте, скажу — обронил». Однако боялся купец, что Ермил прошибается в счете, не доверял ему денег.

Думал Ермил с мужиками как-нибудь съякшаться — страшно. Начнут кули набивать, окажется провес, засудит его купец. Да и мужики неизвестные,— как на них положиться? Так до поры до времени ничего и не удалось Ермилу.

IX

Вот раз едут они дорогой. Небо белое, поле белое, по бокам вешки натыканы, подреза визжат. Скучно сделалось купцу. Запахнул он шубу, прилег на подушку, заснул. Глядит Ермил, видит — кругом чистое поле. По сугробам поземка крутится, облака низкие, пухлявые, снежок перепархивает. Купец выставил брюхо; лежит навзничь, свистит носом. Подумал Ермил, и страшно ему сделалось своих мыслей. Прыгнул он из саней, пустил лошадей шагом, а сам пошел за санями.

И думает: «Много денег с купцом. Ежели взять сотни три или четыре, и не хватится, пожалуй. А хватится дома, подумает, что прочелся».

Крепко спит купец.

Зябко стало Ермиле. Пустил он лошадей рысцой — дорога ровная, гладкая,— бежит следом за санями, а сердце так и колотится в нем, так и бьется. Застилает ему жадность глаза. Сверлят в голове дурные мысли. «Такого случая ждать не дождаться,— думает,— спит как убитый, и не опомнится, как вытащу деньги». И сделался Ермил из лица угрюмый, злой. Приостановил маленько лошадей, вскочил на сани, полез к купцу за пазуху.

Очнулся купец, глянул на Ермила, обомлел.

— Что ты,— говорит,— пес, затеял?

Не вспомнил себя малый. Затряслись у него руки, помутилось в глазах, схватил он подушку и накинул на купца. Брыкнул купец раз, брыкнул другой, затрепыхался,— задохся. Испугался Ермил. Отнял подушку, видит — глаза у купца кровью налились, жилы вспыхнули, щеки синие, рот разинут — задохся до смерти.

Что тут делать? Глянул он, видит — кругом чистое поле. Лошади плетутся себе шажком, гужи скрипят, подреза визжат, снежком перепархивает. Все тихо. Полез Ермил к купцу за пазуху, вытащил деньги, отобрал пачку, которая потолще, отворотил лубок в санях, запихнул туда пачку, а бумажник опять купцу за пазуху положил. И погнал в город.

X

В городе сделалась большая тревога. Призвали Ермила, стали его тягать.

Только видят – помер купец ударом, денег с ним оказалось много – сколько-то тысяч. Начали было смекать: нет ли недостачи какой; бились, бились, записи настоящей у купца нет, колесо большое, и вышло так, что еще лишки оказались в деньгах. С тем и бросили.

И отпустили Ермила.

По весне купчиха собрала долги, продала хлеб, молодцов распустила. Порешила торговлю. Пришел Ермил за расчетом.

— Ты бы в кучерах у меня оставался,— говорит купчиха,— лошадей-то я других заведу, хороших. В пролетке будешь меня возить.

— Никак невозможно. Брат серчает, велит сходить. У нас пахота, сев.

— Да ты ее брось, пахоту-то. Я тобой довольна. Ты малый тямкой. И с покойником ты езжал. Оставайся.

Отказался Ермил.

— Нам,— говорит,— по крестьянству никак невозможно. У нас земля.

— Ну, как знаешь.

Вынула рублевку, дала.

— Поминай,— говорит,— покойника.

А сама думает: «У другого бы, глядишь, згинули денежки, а он малый с совестью, все в целости доставил». Потом подочла, что ему следовало из жалованья, отдала и отпустила.

Дождался Ермил ночи, слазил на сеновал, вынул из потаенного места пачку с деньгами, засунул за голенище, закинул мешок за спину и пошел в село.

И повел он дело свое очень тонко. Деньги схоронил. Работал по-прежнему, от брата не отставал в работе. И все думал, как бы ему извернуться, темные деньги оказать, в оборот их пустить, в торговлю. И видит — растет у кабатчика дочь; девка дурная из себя, неаккуратная, злая, сидит день-деньской на крыльце, орехи щелкает, а войдет в избу — работнице проходу не дает, все лается.

У Ермила свои мысли. Ему до этого дела нет, что плохая девка. Повадился он ходить мимо кабака. Ноне пройдет словечко обронит, завтра — обронит. Девка и не смотрит на него. Знает, что малый из крестьянской семьи, радости мало с ним связываться. У ней в голове женихи полированные: поповичи, писаря.

Видит Ермил — не берут его подходы, улучил время,

пришел в кабак. Кабатчик был вострый мужик, сметливый, наметался на своем деле. Увидел Ермила, удивился: никогда Ермил в кабак не захаживал. Однако вида не показал.

— Чего тебе? — говорит.

Огляделся малый, видит — людей в кабаке никого нет.

— Я к тебе,— говорит,— Петрович, за большим делом!

— За каким таким?

— Отдай за меня Анфису.

Выпучил глаза кабатчик и говорит:

— Ты, малый, в уме? Поди проспись.

Ермил не сробел.

— Ты,— говорит,— поезжай в город, собери обо мне слухи. Я всякое дело могу по торговой части. Хлеб ли ссыпать, аль опять купить, али другое что. Я грамотный. Что записать, что сложить на счетах — я все могу.

Сидит кабатчик, перебирает по столу пальцами, глядит на Ермила, усмехается во весь рот.

— Толкуй, толкуй,— говорит,— мне такой потехи давно не было.

Огляделся Ермил по сторонам, пригнулся к кабатчику и шепчет:

— А коли у меня деньги. Коли я тебя со всем потрохом куплю, если на то пошло.

Кабатчик так и вскинулся.

— Как так! Откуда?

Да как вспомнил, что помер Ермилов хозяин в чистом поле, как вспомнил, что большие с ним деньги были, сразу смекнул, какие деньги у Ермила. Развел в мыслях, видит — дело подходящее. Поглядел на малого, и малый ему показался.

Подумал, подумал.

— Много,— говорит,— денег?

— Шестнадцать сотенных.

— А не врешь?

— Покажу, коли не веришь!

— Волоки.

— Ну, нет, это оставь. Я штуки-то эти знаю. Коли хочешь — приходи на заре в огороды,— покажу.

«Тямкой малый, в рот пальца не клади, далеко пойдет»,— подумал кабатчик, и еще больше показался Ермил.

XI

Прокрался на заре кабатчик в огороды, притулился в канаве, лежит. Видит: идет Ермил, по сторонам озирается, как волк, и руку за пазухой держит. Взглянул кабатчик из канавы, машет ему и говорит сиплым голосом:

— Принес?

А Ермил все озирается. Заглянул в канаву, пошел по огородам, заглянул,— видит, никого нет.

— Ну,— говорит,— лежи,— принесу.

— Да ты что ж руку-то за пазуху запустил?

— Это я так. Попытать тебя захотел. Может, ты привел кого.

«Ну,— думает кабатчик,— вострый парень, таким только и деньги наживать!»

Принес Ермил деньги, показал – точно шестнадцать сотенных.

Раззарился кабатчик.

— Засылай,— говорит,— сватов.

Только этим Ермил не обошелся, измыслил другую штуку. Поехал в город, пришел к прежней хозяйке и говорит: так и так — увидал наш кабатчик, что я грамотный, к торговой части приобык у вашего степенства,— отдает за меня дочь и зовет к себе в зятья. Кабатчик богатый, да больно девка из себя дурна.

И просит у купчихи совета: не то идти ему в зятья, не то нет.

— Как вы наши хозяева,— говорит,— на вас одна надежда. Народ мы темный, деревянный. Вам виднее в этих делах.

Купчихе как маслом по сердцу такие слова. Насупилась она, стала разводить мыслями и говорит:

— Богатый ейный отец-то, говоришь?

— Зажиточный. Надо полагать, не одна тысяча в кармане.

— И девка, говоришь, одна?

— Одна как перст.

— А из себя дурна?

Ермил только головой покрутил. Подумала купчиха и рассудила:

— Ну что ж,— говорит,— Ермилушко: с лица не воду пить, а от своего счастья убегать не следует. Мой совет — идти тебе в зятья.

Вынула из сундука старую шаль, дала ему.

— Невесте,— говорит,— подари.

Бухнулся ей в ноги Ермил, справил что нужно в городе, поехал в село. Едет да думает: «Замел я теперь следы».

И точно замел. Кабатчик, не проживя года, помер.

XII

Тем временем объявилась народу воля. Вышел Ермил в купцы, взял у своего прежнего барина мельницу, большими делами начал ворочать.

Жизнь его словно колесо покатилась. Там купит, там продаст. Купит дешево, продаст дорого. И только об одном думает, как бы ему еще больше разжиться. Справил себе тележку, завел быструю лошадь, летает из села в село.

— Ты себе, Ермил Иваныч, и покою не знаешь,— говорят ему люди.

— Волка ноги кормят,— говорит.

И точно схож стал Ермил на волка. Волк носом падаль чует, а Ермил нужду людскую чует носом. Где ни объявится нужда, уж он там. Продают мужицкую скотину за недоимки — Ермил первый приедет на торги — и все за полцены закупит. Сгорит деревня — Ермил тут как тут: открыт его карман для мужиков: станови избы, справляй подушное! А придет дело к расчету, Ермил, что твой огонь, оберет деревню. Придет чума, падает у мужиков скотина, глядят — уж Ермил как снег на голову: тому корову всучит, тому телку, а придет дело к расчету — пуще чумы окажет себя Ермил.

Закаменело в нем сердце. Не было перед ним того горя, чтобы он содрогнулся в своем сердце. Не было в нем жалости. Целковый ему попадется, он целковый глотает, грош сиротский встретится — он и грошом не брезгает. На весь околоток распустил паутину.

Бьются мужики в этой паутине словно мухи. Плачется бедность на Ермила, клянет его за углами, а пристигнет нужда — кланяется Ермилу, по батюшке его величает, шапки перед ним ломает.

И не от одной людской бедности разживался Ермил. Разживался он и от неправды людской, и от слабости, и от темноты. Обокрадут где амбар, привезут к нему ночью ворованное на мельницу,— он не разбирает откуда, лишь бы сход-

но. Стали к тому времени кабаки вольные, зачал народ пить шибко. Ермил кабаков завел целый десяток. В расписках неустойки проставляет, прижимает неграмотных мужиков, тягает их по судам.

И такими делами скоро он разжился так, что и счет потерял бы своим деньгам, если бы не помогла ему грамота. Мельницу в вечность купил, лабазы понастроил.

Едет иной раз дорогою, говорит сам на себя: «Умственный ты человек, Ермил Иваныч! Валит тебе счастье. Переедешь ты, маленько годя, в город, заведешь знать с купцами. Большой тебе будет почет от людей».

И люди много по своей простоте прощали Ермилу за его богомольность. Службы церковной он не пропускал; свечки ставил толстые, по четвертаку на тарелку клал, когда полтину, а когда и больше.

XIII

Видит Ермил — колесо у него большое, дела широкие. Нельзя ему стало из дома отлучаться. Во всякий день волокутся на мельницу обозы; толчея гремит — пшено толкет: надо в ступы краски подбавить, чтоб товар лицом выходил; кружатся жернова, рожь перемалывают: надо следить, кому какая мука нужна,— мужикам похруще, в Москву — помягче; в свинятниках свиньи чавкают, в сараях быки стоят, к колодам привязаны; на пруде в огороже гуси гогочут, утки квачут. Все надо в сало вогнать, все надо откормить на убой, порезать, побить, ощипать, опалить, в туши убрать. За всем нужен хозяйский глаз.

Руки у Ермила долгие, глаза зоркие — сел он сам на мельнице, распустил по округе молодцов. И где прежде не управиться было Ермилу, все теперь зацепилось в один невод. Мужики ровно караси затрепыхались в Ермиловых сетях.

И все было бы хорошо, только не было детей у Ермила. Анфиса совсем опухла от сладкой жизни, колода колодой сделалась.

В доме у ней непорядки, везде грязь, нечисть, работницы не уживаются; сначала, как не доходили Ермиловы глаза,— все ему было ничего.

Покричит иной раз на жену, даст ей тумака и скроется опять по своим делам. Но как осел на месте, видит — из

рук вон плохая баба Анфиса. Взяло его зло. Принялся он ее бить. Из синяков не выходит баба.

Сделалось горько Анфисе. Умом она была слабовата. Слова хорошего отроду не слыхала ни от кого. Отец только о том и думал, как бы денег побольше нахапать. Как жива была мать — только и норовила, что сытно съесть да сладко выпить. Так Анфиса и понимала об жизни. «Мужик,— думает,— пусть себе деньги добывает, а я — баба — буду с ним спать, детей рожать, сытно есть, сладко пить и обряжаться».

И как начал бить ее Ермил, подумала, подумала она,— принялась тайком от него водку пить. Напьется, рассолодеет в теле, заляжет ничком в пуховики,— хоть убей ее Ермил, ей все равно, ей пьяной — море по колено. Плюнет Ермил, потемнеет со зла, а сделать ничего не может.

Однако на пятом году родился у них сын, а после первого родился еще сын. Ермил поднялся духом. Если и прежде был он жаден, то как родились дети, совсем остервенился. Ему дела нет, что и у людей есть дети. Он только о том и думает — у людей урвать, а своим детям барское житье изготовить. «Поставлю,— думает,— ребят на ноги, в господа их выведу. Пусть люди глядят, каковы у Ермила сыновья».

XIV

Тем местом подошли плохие времена. Недород за недородом, мужики отощали, скотина начала выводиться, господа поразорились, купцы стали барские земли скупать. И всякий купец как сядет на землю, так и норовит свой круг завести. Тесно стало Ермилу, мало показалось ему наживы при новых порядках. Раза два случилось — так даже подставили ему ногу купцы, понес он большой убыток. «Нет,— думает,— не гоже дело, надо от огня подальше».

Навернулся на его счастье покупатель, продал он мельницу, переправил в Москву товар, выручил деньги и съехал в город. И оказалось у него денег пятьдесят тысяч.

И как переезжать Ермилу в город, пришел к нему брат Иван. Зипунишка на нем рваный, лыком подпоясан, лаптишки худые, из лица испитой, виски седастые.

— Что ж,— говорит,— брат Ермил, ты бы поопасался маленько. Посетил меня господь. Коровушка пала, лошаденку свели, старшего сына в солдаты отдали, землю твою душевую старики по злобе на тебя отняли. Не то что подушное

платить, и кормиться стало нечем. Сколько годов я к тебе и на глаза не показывался. Вот пришел. Помоги, ради Христа, вызволи из беды.

Сидит Ермил, лавка под ним сукном обита, из себя — щекастый, румяный, на шее цепь золотая, жилетка бархатная, сапоги лощеные, хоть глядись в них.

— У меня,— говорит,— у самого дети. Мне их надо произвесть. Ты бы работал побольше, ан, глядишь, и не пришлось бы христорадничать. Ты отлынивай больше от работы-то!

Повернулся Иван, отер слезы, пошел домой скрепя сердце.

— Бог тебе,— говорит,— судья, Ермил Иваныч.

Думал Ермил воротить брата, да загордился — не поднялся с лавки.

— Ишь,— говорит,— выискался какой. Словно за своим пришел. Небось не отвалилась бы голова в ноги-то поклониться.

Переехал Ермил в город. Купил дом. Хотел было хлебную ссыпку заводить, да видит — плохая стоит торговля. И думает,— что бы с деньгами своими сделать. Посоветовался кой с кем из купцов, присмотрелся; видит — сговорились большие люди, собирают себе со всех концов деньги, раздают эти деньги купцам для оборота. И кто отдает этим людям деньги на руки, пусть сидит сложа руки: поплывет к нему барыш без всяких хлопот. И зовется этот барыш процентом, а люди, которые всем делом ворочают, составляют из себя банк. И таких банков на всю Россию много пооткрывали купцы.

И думает Ермил, в какой ему банк деньги свои положить. Смекнул, видит — самое подходящее дело вложить деньги в такой банк, который больше всех дает барыша. И опять-таки не сразу вложил, а расспросил, как лучше.

— Чего ж тебе,— говорят Ермилу купцы,— воротила в этом банке — первостатейный купец, человек почтенный.

Взял и вложил Ермил свои деньги в этот банк.

И исполнилось его желание. Стал Ермил жить — время проводить точно так, как жил, время проводил богатый купец, его учитель; перенял Ермил все его привычки — и в еде, и в спанье, и в гулянье: утром встанет, умоется, воздеnет лисью шубу и пойдет к обедне. Обедню отстоит, воротится,— самовар у него на столе, пироги пшеничные, лепешки сдобные. Наестся Ермил, напьется, отвалится от еды

и пойдет в ряды на прогулку. Соберутся купцы в рядах, учнут шутки шутить, зазовут для потехи дурака какого-нибудь, заставят его песни играть, плясать, надрываются со смеха. Не то в трактир пойдут чай пить, машину слушать, о торговых делах толкуют. Придет Ермил домой, а уж на столе и жареное и вареное. И гусятина каждый день, и щи с убоиной, и каша с маслом, и водка, и квас. После обеда ляжет Ермил на пуховики — спит вплоть до вечерни. Выспится, напьется квасу, за ворота выйдет, примется орехи щелкать. И кто мимо ни пройдет — поклон ему отдает.

Зажирел Ермил от такой жизни. Брюхо отпустил толстое; тело у него стало рыхлое, дряблое, щеки отвисли, глаза — как у мерзлого судака. Сходит к обедне — упарится весь, придет словно из бани.

Пожил он так-то годика два, и пристала к нему скука. Бывало, спит-спит, очнется, сядет на кровати: глаза так и застилает от сна. Велит работнице квасу подать. Выпьет квасу, опять нечего делать. Поболтает, поболтает ногами, зевнет раз десять, слезет с кровати, пройдется по горнице, посмотрит — некуда ему деваться.

Разомнется, пойдет в ряды. Поглядит, поглядит — все по-вчерашнему в рядах. Тошно ему станет. Воротится, велит жеребца заложить, посадит Анфису, поедет на прогулку. Сидит Анфиса как бревно, одежда на ней дорогая, в ушах золотые серьги, а рожа пьяная, умного слова не проронит. Подумает Ермил, глянет искоса на жену, и того ему сделается еще скучнее.

— Ослаб ты, Ермил Иванов,— говорит на себя,— обмяк.

И думает: дай-ко я старину вспомяну. Выбрал час, пошел к себе в сад, взял косу у садовника, попытался косить. Упыхался — и ряда не прошел, бросил.

— Нет,— говорит,— не купецкое это дело.— А сам подошел к забору, глядит в щелку — не смотрит ли кто.

XV

Спит, ест Ермил,— поест, опять ляжет спать. Проснется — не знает, куда девать себя. Скучает. Только об одном и думает, чем бы забавить себя.

И пустился в дурные дела. Забыл закон, забыл, что дети уж не маленькие,— Анфису бьет, вожжается с чужими женами. Начал вином зашибаться.

А тем временем случилось вот что: помер у одной бедной вдовы сын от горловой болезни, и она по великой своей бедности понесла продавать его одежду. Любила вдова своего мальчика, обряжала из последних и справила перед тем, как ему помереть, куртышку плисовую и плисовые порточки. Увидал Ермил вдову, раззарился на одежу. «Сем-ка,— думает,— я Ваську своего обряжу». Позвал ее, пощупал плис, видит — добротный товар, совсем еще новый. Однако не показал виду, что льстится на одежу.

— Сколько,— говорит,— тебе за рухлядь-то за эту?

— Какая же рухлядь, Ермил Иваныч? Одежа новая. Только исправила, как помереть ему сердечному. Одного плиса на четыре рубля погнала. Если бы не нужда, и не думала бы продавать. Нужда-то моя горькая.

— Рассказывай. Разве по нужде справляют такую одежу? Небось бы и в посконной походил твой малый. Всякая голь транжирит деньги, а там и пойдет канючить по добрым людям. Ну, да что с тобой толковать,— хошь полтинник — бери, не хошь — пробирайся. Мне с тобой толковать некогда.

Подумала-подумала вдова: ходит она с одеждой с самого утра, придет домой, и поесть нечего; утерла слезы, отдала Ермилу одежу. Бросил ей Ермил полтинник, позвал Ваську, велел вздеть куртышку.

Не прошло недели, заболел Васька горлом — помер.

XVI

Остался у Ермила один сын Ванька. Отдал он его в ученье — не пошло впрок ученье малому. Мать пьяная, отец — худыми делами занимается; смотрел-смотрел малый — вот, думает, буду неволить себя! Денег у отца много, небось и без ученья проживу, отец малограмотный и то капитал нажил, а мне на готовом и вовсе нечего неволиться, на мой век хватит. Подрос малый, подобрал себе друзей, приметил место, где отец деньги хоронит — таскает по мелочи на баловство себе. Видит Ермил — балуется малый, шляется по трактирам, заводит скандалы, взял потрепал его за виски. Озлился Ванька — еще пуще загулял.

Раз сидит Ермил в трактире. Стали купцы ведомости читать, и читают: лопнул тот банк, в котором Ермиловы

деньги были вложены: запутался главный воротила в делах, размотал чужие деньги. Услыхал Ермил — не поверил купцам, взял в руки ведомости, посмотрел — позеленел весь с испуга. Сел на чугунку и поехал в тот город, где был банк. Справился, потолкался к тому, к другому — воротила в остроге сидит, подручные его разбежались, денег нет. Заскрипел Ермил зубами. Пришел на постоялый двор, схватился за виски, хлопнулся оземь, заревел в голос. Воротился домой, как пьяный шатается.

Дома — сын балованный, жена ополоумела от водки, и потужить Ермилу не с кем. Поплелся он в ряды, видит — богатые купцы сторонятся, другим и вовсе не до него: у самих пропали денежки за банком. Горько стало Ермилу.

— Дай,— говорит,— пойду к купцу Склядневу; был я в силе — купец Скляднев первый мне друг был.

Подходит, видит, сидит купец Скляднев за воротами, выставил брюхо — греет на солнышке. Приметил Ермила, хотел в горнице скрыться, да не успел. Подошел Ермил, снял шапку, поклонился купцу Склядневу. Тот еле до козырька дотронулся.

— Вот, Фалалей Иваныч,— говорит Ермил,— беда стряслась. Посоветоваться к тебе пришел.

Почесал брюхо купец Скляднев, зевнул.

— Мне бы теперь недосуг толковать-то с тобой,— говорит, а сам думает: не попросил бы денег взаймы.

Обидны показались Ермилу эти слова, да нечего делать,— стерпел.

— Как мне быть? Что мне,— говорит,— делать?

— Делай, что дураки делают. Дуракам закон не писан. Не льстился бы на большой процент — не плакали бы твои денежки. Жаден ты больно.

— От барыша-то и ты, Фалалей Иваныч, не откажешься. И в тебе жадности-то довольно.

— Прямой ты дурак и вышел! Я-то вот какой ни на есть, да богат, а ты — голь перекатная выходишь. Я, какие были лишние деньги, в казенный банк вложил: хоть меньше барыша, да тверже. А ты польстился,— вот и плачься теперь на свою глупость.

— Научи, что мне делать-то? Присоветуй.

— А уж это ты смекай. Голова всякому дадена.

Помолчал, помолчал Ермил, поднялся и говорит:

— Ну, видно, прощай, Фалалей Иваныч; не чаял я от тебя таких слов!

— Не взыщи. Чем богаты, тем и рады.

Понурился Ермил, побрел домой. Выскочили собаки купца Скляднева — принялись брехать на Ермила. Купец Скляднев и собак не отогнал.

XVII

Ходит-ходит Ермил по горницам, думает-думает. Ляжет спать — не дается ему сон. Ночи долгие, подушка под головой горячая — никак не найдет себе покоя. Лежит под боком Анфиса, свистит носом, и горя ей мало. Ванька чуть дождется ночи, перелезет через забор, поминай его как звали. Пусто в горницах. Перед божницей лампада светится, смотрит Спасов лик с образа.

И представляется Ермилу — смотрит Спас к нему в душу. Обернется Ермил к стенке лицом, натащит на себя одеяло, лежит, молчит. Нет ему сна. «Эх,— думает,— потужить мне не с кем». И вспомнил, как живал в мужиках. Случится с кем беда — не отступаются мужики, не сторонятся, как от чумного; работой иной не подсобит — на словах пожалеет: все легче станет на душе от доброго слова. Недаром молвится: на миру и смерть красна. «Эх,— думает Ермил,— худые люди в городах живут: богат ты — почет тебе всякий, обеднял — и вниманья своего не обращают на человека. Видно, не попусту сказано в городской песне: все друзья-приятели до черного лишь дня. Нет в городе правды. Да вспомнил, как жил, как народ обижал, как брата Ивана опечалил,— и того скучнее ему сделается. Разденет одеяло, посмотрит — в горницах пусто, перед божницей лампада светится, и глядит на него Христос строго, пасмурно. Сядет Ермил на кровать, схватится за виски, обливается горькими слезами.

Худо одно не ходит. Пока Ермил о пропаже своей убивался, пока раскладывал в мыслях, как бы ему из беды извернуться, да обдумывал свою жизнь — расшиб паралич Анфису. Сидел Ермил в саду, прибежали, сказали ему. Схватился он с места, побежал в горницы, увидал Анфису — весь затрясся. Не Анфисы ему стало жалко — вспомнил он, как хозяина своего удавил. Точь-в-точь Анфиса такая с виду. Запрокинулась навзничь, глаза кровью налились, жилы вспухли, щеки синие, рот перекосился. Обомлел Ермил, сел к сторонке и подняться не может: ноги подламываются.

Схоронили Анфису, остался Ермил с сыном своим Ванькой.

Продал дом, переехал на квартиру. Попытался торговлю завести, ссыпал вагон ржи у мужиков. Видит — трудно ему, ослаб, отвык от дела. Посмотрел на Ваньку — плохой он ему помощник. Да и мысли не дают покоя. Взял, продал ссыпанную рожь, собрал деньги, схоронил в сундуке. «Много,— думает,— греха нажито на веку, буду проживать помаленьку, буду спасаться».

Ходит Ермил к обедне, ходит к заутрене, ходит к вечерне, все колени себе намозолил от поклонов. Начал поститься, по одной просвирке на день есть,— чай да просвирку, только и пищи принимает.

Раз лежит он в постели — в горнице пусто, перед божницей лампадка светит, и грызет его тоска. Представляется ему — едут они с хозяином дорогой: поле белое, небо белое, по сторонам вешки понатыканы, подреза визжат. Не может лежать Ермил, сел на кровать — разрывается в нем сердце. И взмолился он богу: «Господи,— говорит,— сколько я поклонов отбил, сколько денег по церквам раздал, сколько свечей поставил, сколько обеден отстоял! Отпусти ты мои грехи! Пошли мне сон спокойный!» Стал перед образом, начал поклоны класть. Положил поклоны, измаялся, прилег на кровать, задремал.

И слышит сквозь сон — зашуршало подле головы. Хотел глаза продрать, мигнул, опять задремал. И слышит сквозь сон — звякнуло, хлопнуло в горнице, затихло... Хотел проглянуть, одолела дрема, опять заснул. И вдруг слышит — крадется чья-то рука. Вскинулся Ермил, глянул: стоит перед ним Ванька в одних чулках, руку под подушку засунул. Содрогнулся Ермил.

— Что ты,— говорит,— пес, затеял?

Шарахнулся Ванька из горницы, скрылся.

Вскочил Ермил с постели, сунулся под подушку, лежат ключи от сундука.

Вздул свет, отомкнул сундук, взглянул — так и ахнул. Денег нет, одна только завертка валяется.

Хотел Ермил бежать — ноги не слушают; хотел кричать — глотку перехватило, голосу нет. Так босой и просидел подле сундука вплоть до зари.

Наутро поглядели люди на Ермила — был мужик черный как жук, а теперь поседел, и узнать нельзя. В одну ночь стал седой.

Ванька из города сбежал, а маленько спустя дошли до Ермила слухи — словили Ваньку на худых делах, сослали в Сибирь.

Взмолился Ермил к богу: «Господи! Пошли ты смерть по мою душу!»

Не послал ему бог смерти.

XVIII

Узнал Иван — стряслась беда с братом Ермилом. Вздел зипун, взял посошок в руки, засунул ломоть хлеба за пазуху, пошел в город, разыскал Ермила. Видит — сидит на лавке старик, сгорбился, весь в морщинах. Прослезился Иван.

— Здравствуй,— говорит,— брат Ермил! Все ли здорово?

Вскинулся Ермил, ахнул, посветлел из лица, руки, ноги дрожат от радости. Сели, стали толковать. Видит Иван — и на человека стал не похож брат Ермил. Голос обрывается, по бороде слезы текут. Совсем расслабленный.

— Ты бы,— говорит,— Ермил, поопасался маленько. Убиваться грех.

Потупился Ермил в землю, плачет.

Поглядел-поглядел Иван, застилает ему глаза от жалости. Отвернулся, утерся полой, крякнул и говорит:

— Нечего тут толковать. Собирайся. Небось душевая-то твоя земля цела. Не съели ее. Ну-ка!

Послушался Ермил брата. Распродал свою худобу, выручил сотенный билет, половину в церковь отдал,— другую половину брату Ивану, взял котомку за плечи и пошел с братом в село.

Ивановы дела поисправились. Племянника в зятья отпустил, девок выдал, сына женил, народились внучата, поставил он другую избу; кишит у него народ; жить бы ничего, да земли маловато. Родились ребята после ревизии, не полагалось на них земли. Взялся Иван хлопотать, выставил старикам водки, выпоил красненькую, справились, не выписан Ермил из крестьянства,— отдали ему землю. Попытался Ермил за сохой походить, разломило поясницу, насилу до двора доволокся.

И поселился он в клети. Подсобляет бабам по хозяйству: когда резки намесит, когда помои вытащит, когда за водой сходит. На улицу глаз не показывает.

Выходил он сначала на улицу — загаяли его ребятишки. Как увидят, и ну кричать:

— Купец! Купец! Купи у нас возгрей на разживу!

Пройдет мимо Ермила баба, вспомнит Ермиловы обиды, не стерпит, сорвет сердце.

— Что,— скажет,— несытая душа, подавился? Заткнули тебе пасть?

И не стал Ермил показываться в народ.

Сперва, как пришел в село, облегчилась его душа. «Поживу,— думает,— на миру, отдохну от своих мыслей». Выйдет в поле, всякая былиночка его радует. Глянет на луговинку — «Вон,— скажет,— в ночное мы лошадей гоняли на луговину». Рад, что вспомнил. Встретится ракита у повертка, и ракиту вспомнит.

XIX

Однако пришло время, и воротились к Ермилу муки. Встала осень. Ночи пошли долгие, темные. Ляжет Ермил спать — бежит от него сон. Прислушается — все тихо. В хлеву корова хрустит. В катухе боров спросонья о колоду чешется. На селе собака брешет; побрешет-побрешет — выть примется. Петухи закричат. Перевернется Ермил другим боком, и на другом боку не спится.

Представляется ему прежняя жизнь. Того по миру пустил, другого обсчитал, третьего обвесил, четвертого по судам затягал.

Скучно Ермилу. Отгонит одни мысли — другие пойдут на смену.

Представится ему — обит голубым глазетом гроб, лежит в гробу сын Васька, носик завострился, из лица синий, на лбу венчик пристроен, обряжен в плисовую куртышку и в порточки. Дьячок стоит, псалтырь читает. Зажмет уши Ермил, уткнется лицом в изголовье. Не знает, куда деваться с тоски. Вскочит с постели, примется поклоны класть. Измается от поклонов, ляжет, задремлет.

И только спутаются в нем мысли, вдруг услышит сквозь сон — крадется чья-то рука к изголовью. Содрогнется, вскочит. Все тихо. Темно в клети, прохладно. На колокольне часы бьют. Гудит колокол, ровно голосит.

Заснет Ермил. И мерещится ему сон. Кругом чистое поле. Лошади плетутся себе шажком, гужи скрипят, подреза

визжат, снежок перепархивает. Лежит навзничь мертвое тело, рот разинут, жилы вспухли, глаза кровью налились. Смотрит Ермил во сне, видит — перекосился мертвец, приподнялся. «Что ты,— говорит,— пес, затеял?» Ахнет Ермил, закричит в голос, выскочит из клети, трясется весь с испуга.

Бывало и так: разбудит людей своим голосом.

И пошли по селу слухи: душит-де Ермила домовой по ночам. Видит Иван — плохо приходит брату Ермилу. Запечалился. Все думает, как бы ему утешить Ермила.

Раз повестили Ивана на сходку. Сыскал Иван Ермила и говорит:

— Ну-ка, вздевай кафтан, пойдем на сходку. Нечего толковать-то. За тобой ведь тоже душа.

XX

Не ослушался Ермил брата Ивана, вздел кафтан, взял посошок в руки, пошел. Подошли к мужикам, снял Ермил шапку, поклонился, притулился за спины, стоит, сгорбился.

Погалдела сходка о своих делах,— слышит Ермил, заговорили мужики о земле. Своей земли стало в обрез, кругом стеснили купцы — взогнали цены, и не выговоришь сразу. И толкуют мужики — вот рядом барскую землю держит купец; земли много, угодья хорошие, купцу срок через полгода, хорошо бы снять эту землю миром. Хорошо, да трудно. Барин живет неизвестно где — одна беда.

Другая беда — купец барину деньги вперед выплатил, а у мужиков таких денег нету. Третья беда — некуда сунуться мужикам со своей темнотой, дело тонкое, хитрое. И близок кус, да не укусишь. Прислушался Ермил и вспомнил. Купил он раз у этого самого барина просо в рассрочку и высылал ему деньги в Питер. Вспомнил, хотел вызваться, хотел сказать мужикам, да не хватило духу, сробел. Так всю сходку простоял, промолчал. Воротились со сходки, пошел Ермил в клеть, полез в котомку, достал старую запись, видит — означено там, где живет барин, на какой улице, какой дом. Все записано. Сказал брату Ивану. Узнали мужики, сбили сходку. Пошел и Ермил на сходку. Объявил, где барин живет, и опять притулился за спины. И говорят старики: «Пошлемте Ермила ходоком. Мужик он грамотный, смышленый, потрудится для мира». И поднялась тут гал-

да. Кто кричит — обвесил его Ермил, кто кричит — судом деньги взыскал с него Ермил двойные, кто кричит — пошли Ермила ходоком, он и мир-то продаст, не задумается. Потупился Ермил в землю, ни слова не говорит мужикам; послушал-послушал, отвернулся к сторонке, заковылял ко двору как оплеванный. Идет и говорит на себя:

– Что, Ермил Иваныч, отливаются волку овечьи слезы!

Видят мужики, ушел Ермил со сходки — сделались тише. Вступился за Ермила брат Иван.

— Вы бы,— говорит,— старички, поопасались маленько. Ермила бог убил, нам его добивать не приходится. Грешен человек, что и говорить, да ведь без греха-то, старички, один бог.

Потолковали мужики — согласились Ермила ходоком послать. Заказали по селу слухов не распускать — храни бог, дознается купец, перебьет землю, — собрали четвертную денег, отпустили Ермила в Питер.

XXI

Обрадовался Ермил послужить миру. Где пешком, где на чугунке, дотянул до Питера, сыскал барина. Грамотному везде способно.

Барин был памятливый. Вспомнил, как просо продавал, узнал Ермила.

— Что,— говорит,— скажешь, Ермил Иваныч?

Да глядит на него,— видит, изменился человек: из себя седой, весь в морщинах, обряжен по-мужицки. Удивился барин.

— Чтой-то,— говорит,— приключилось с тобой такое?

Поведал Ермил свое горе — как семья загибла, как деньги пропали, и говорит:

— По грехам моим наказал меня бог. Был я немилостивый, не взирал на людские слезы, обижал народ.

И рассказывает так и так: послали его мужики ходоком землю снимать. И как видел Ермил крестьянскую нужду, видел и купеческую жизнь — складно он выложил барину все дело.

И как рассказал, какая бедность в крестьянстве, какая теснота, какая обида от купцов — умилился барин. Полюбились ему Ермиловы речи. Сдал мужикам землю дешевле против купца; деньги рассрочил. Сделал бумагу, отдал Ермилу, отпустил.

И заиграло в Ермиле сердце. Пришел он на постоялый двор, лег спать: послал ему бог сон сладкий, спокойный.

Воротился в село, сбили мужики сходку, отчитался Ермил в деньгах, прочитал бумагу, что сделал с барином насчет земли. Не вспомнили себя мужики от радости. Всякое зло позабыли на Ермиле.

Выйдет Ермил на народ, видит — веселый народ, приветливый. Загают ребятишки на Ермила, выскочат бабы, окоротят ребят, кланяются Ермилу.

И облегчилась Ермилова душа. Придет ночь, ляжет он на дерюгу, шевельнутся в нем мысли да и затихнут. И дает ему бог сон сладкий, спокойный.

XXII

Тем временем разобрали в суде банковые дела, учли остатки, присудили выдать вкладчикам. Пришлось на Ермилову долю три тысячи целковых. Прислали ему объявку из города.

Смутился Ермил, неспокойно сделалось у него на душе. Сон не дается, ворочаются прежние мысли. Подумал-подумал, пошел в город, получил деньги, отсчитал шестнадцать сотенных, отослал купчихе неизвестно от кого; пошел в слободу, отыскал человека у мужика на задворках. Живет тот человек по-прежнему, учит детей грамоте и счету, имеет свое пропитание. Увидал его Ермил — удивился: никакой нет перемены в человеке: сидит на лавке обряжен в чистую рубаху, из себя костлявый, только виски стали седатые,— сидит и в книжку смотрит. Оглянулся на Ермила и говорит:

— Что тебе, старче, нужно? — Не узнал Ермила.

Напомнил ему Ермил, как грамоте приходил учиться, как отказался человек, как увещал Ермила от жадности уберегаться, как Ермил не послушался человека. И рассказал Ермил всю свою жизнь от первого и до последнего.

И растворилось сердце у человека, и просветлел он из лица. Плачет Ермил о своих грехах, и человек с ним плачет. И глядит на Ермила человек мягко, милостиво.

И сказал Ермил, что обдумал в своем уме. И одобрил человек его мысли.

XXIII

И пошел Ермил по городу, по торгам, по базарам и стал оделять нищих. И пошел в острог, и пошел в больницы, и в заезжие дома, и в странноприимные дома, пошел в пригород к голытьбе, и всякий, кто нуждался, брал у Ермила деньги во Христово имя. И не осталось денег у Ермила даже и на фунт хлеба. И подумал он: «Пора!»

И пошел в собор, как отойти обедне, и видит, стал расходиться народ. Снял он шапку, влез на паперть, окоротил народ.

— Прислушай,— говорит,— народ православный! Великий я грешник... позарился на разживу — загубил человека, удавил купца в чистом поле.— Во всем покаялся.

Ахнул народ, содрогнулся. Иные испугались, домой пришли, как бы грешным делом в свидетели не попасть; другие осудили Ермила, потому что думали: дурак тот человек, который концы не хоронит. А многие пожалели Ермила. Услыхали полицейские, подошли, взяли Ермила, повели в острог.

В остроге захворал Ермил: тесно ему, тяжко, дух спертый, вонючий, не переносен для старого человека.

Тем временем дошел слух до Ивана, побежал Иван в город, выручил брата на поруки, привез домой.

И пришла смерть к Ермилу.

Лежал он в клети, и одним днем сделалось ему очень трудно. Поманил он брата Ивана, молит, чтоб на улицу его вынесли.

День вешний; тепло на улице. Положили его на дерюгу, вынесли на улицу. И видит Ермил — обступил его народ, тужит по нем, жалеет. И понял Ермил, что простил его бог, и умилился. И сделался из лица светлый, радостный... и помер.

Две пары



Повесть

I

Май был в конце. Стояла прозрачная теплая ночь. Только что пропели первые петухи, и на краю деревни, около запасного магазина, стоявшего над рекой, медленно замирала протяжная песня. Небольшая толпа парней и девок собиралась расходиться. Много народу и ушло уже из толпы; ночь была так прозрачна, что можно было заметить, как вдоль широкой улицы там и сям белелись девичьи шушпаны; но они белелись неподвижно, и только подойдя совсем близко к какому-нибудь из неподвижных белых пятен, можно было разобрать, что просторная девичья одежда лежит на плечах парня, что пара стоит обнявшись и что под защитой шушпана ведутся оживленные, скрытые для других, речи. Те, что расходились одиночками, шли ко двору поспешно, иногда мимоходом окликая пару: «Ты, что ль, Аксютка?» — «Я»,— отвечал на это негромкий голос; но обыкновенно проходили молча и даже без любопытства.

Около одной пары, особенно долго стоявшей у развесистой дуплистой ракиты, плаксивым голоском ворчала девчонка-подросток: «Пойдем, Лизутка, она те, мамка-то, задаст!» — «Иди, иди, милушка, иди, отворяй пока... я сейчас»,— взволнованным полушепотом отвечала Лизутка. Девчонка с неохотой отходила, двора через два внушительно хлопала калитка, тонкий голосок снова сердито кричал: «Лизутка! Лизутка-а-а!» — а прозрачная майская ночь еще долго не выпускала из своих теплых объятий истомленную

негой девку. С полей несло запахом вешних трав; перепела задорно перекликались в ближней ниве, откуда-то из «ночного» звонкими переливами доносилось лошадиное ржание, и все было так тихо, так тепло, так ласково. Речонка, покойно лежавшая в глубоком овраге, отливала смутным, неопределенным блеском; звезды, отражаясь в ней, были так неподвижны и почти так же ярки, как в высоком небе. «Ну, чего еще? Пусти... Матушка того гляди проснется»,— шепотом говорила Лизутка, чуть ли не в десятый раз отодвигая того, кто стоял с нею под одним шушпаном. Тот медленно скинул с плеч шушпан и неловким движением обнял девку.

— Лапушка ты моя! — выговорил он.— Постой малость... авось ведь мы не как-нибудь... авось сватов зашлю.

Лизутка завернулась в шушпан и снова придвинулась к парню. Она была много ниже его, и ей приходилось поднять голову, чтобы поглядеть ему в лицо. И майская ночь была так прозрачна, что он мог рассмотреть сбившиеся волосы на ее лбу, живой блеск глаз, полные губы, дрожащие от волнения, и он крепко стиснул ее в своих сильных руках и прильнул пересохшими губами к ее щеке. «Пусти... пусти!» — задыхаясь прошептала Лизутка и решительно вырвалась из его объятий. Несколько шагов она даже пробежала рысью. Он все стоял у ракиты. «Федя! Ты приходи в воскресенье-то... Придешь? — сказала она, внезапно останавливаясь.— Приходи, миленький!» — и шушпан ее быстро мелькнул вдали. Пронесся смутный шорох, стукнула калитка, и все стало тихо и пустынно.

Федор постоял немного и вдруг, как бы опомнившись, широкими шагами пошел вдоль улицы. «Эх, зелье-девка,— пробормотал он на ходу,— вот уж зелье!» Ему было очень весело. Все в нем напрягалось от внутренней радости, и в мускулах — в руках, в ногах — он чувствовал, как приливала необыкновенная живость и сила. Он шел козырем, заломив шапку, высоко подняв голову; ему хотелось закричать во все горло, заиграть песню, и закричать или заиграть песню так звонко, чтобы сразу надсадилась грудь и чтобы перестало в ней так трепетно колотиться сердце. Но он был чужой в деревне и не осмелился потревожить сонной деревенской тишины. Тем временем потянулась узенькая тропинка под гору и совсем близко блеснула речка. Федор, крепко стуча каблуками подкованных сапог, сбежал под гору, миновал плотину, рысью же поднялся на го-

ру и огляделся. Деревня спала мертвым сном, кругом темнели поля, за ними еще гуще темнел далекий лес; но на восходе солнца небеса покрывались едва заметным светом, и звезды, казалось, с каждым мгновением ослабляли свое сверкание. Федор вздохнул во всю грудь, сел на землю, разулся, перевязал сапоги веревочкой и, закинув их за плечи, мерным, спорым шагом пошел по гладкой лоснящейся дороге к далеко темневшему лесу.

Звезды погасали, в пространстве разливался желтоватый полусвет, прохладный ветерок встал с восхода. На зелени пшеницы, на травах холмистой степи, на широких полосах выколосившейся сизой ржи тусклым серебром лежала роса. В глубине оврага затуманившаяся река слабо курилась, окаймленная неподвижными камышами. И Федор все это увидал. Прибавив шагу, он достиг леса, сел на канавке, свернул цигарку и закурил. Теперь в нем совершенно улеглось волнение, которого он не мог одолеть, расставшись с Лизуткой... Теперь на душе у него было ровно и спокойно.

И он безмятежно смотрел, как вокруг все просыпалось, приготовляясь встретить солнце. Близ него быстро порхнула какая-то птичка и, коснувшись своими крыльями куста орешника, с тонким писком скрылась в глубине леса. Орешник так и брызнул мелкой росой; он как будто проснулся и сказал лесу: «Пора!» — и по сонному лесу там и сям пронесся невнятный шорох. Другой птичий голосок неуверенно прозвенел в чаще. В небе зарделось и встало солнце. И в ответ небу зарумянилась степь, зарумянились поля, покраснела опушка леса, закурилась речка легким золотистым туманом. Синяя даль, видная в одну сторону от леса, дрогнула, как живая, в молодых и стремительных солнечных лучах. Из ее загадочной глубины сверкнули кресты каменной церкви, засияла круглая и ясная поверхность озера.

Над степью, что прилегала к самому лесу, стлалась полупрозрачная дымка поднявшейся росы, и сквозь эту дымку странно обозначались цветы и высокие травы: все как будто в глазах росло и тянулось к солнцу, туман казался дыханием просыпающейся земли, в неподвижных очертаниях растений чудилось что-то живое, что-то свободное от неподвижности, воздух был трепетен и напоен жизнью... И роса, совлекаясь с травы, с полей, с леса и воды, уходила в светлое и свежее пространство и растворялась в лучах медлительно поднимавшегося солнца. И точно зная, что пришел час еще более оживить трепет пробуждения, из травы быст-

ро выскочил жаворонок, шевельнул отсыревшими перьями и взвился к небу. За ним взлетел другой, третий... Серебристые голоса зазвенели в небе, и все стало радостно и переполнилось несказанным трепетом жизни.

И на душе у Федора все шире и шире росло чувство спокойной радости. Ему не хотелось подыматься с мокрой травы; он не спеша покуривал свою цигарку, поплевывал и смотрел по сторонам. В деревне задымились трубы, заскрипели ворота, мычание коров слышалось протяжное и гулкое. Но кроме деревни, из которой вышел Федор, да большого села вдали не было видно других поселений; все кругом было просторно, пустынно и широко, и на этом просторе вольно расстилалась холмистая степь, отливала синеватым цветом густая и ровная пшеница, серела выколосившаяся рожь.

«Эх, земли-то воля какая! — подумал Федор.— Самара, так Самара она и есть!.. Вот нашим бы, нижегородским бы, сюда,— отдохнули бы». И от нижегородских вообще мысли его перешли к своей семье — к старикам, к сестре, вдове с тремя сиротами, к тому, сколько он в последний раз выслал домой денег и какие там предстоят теперь расходы. «Хлеб с великого поста покупают,— раздумывал он.— Поди, на один хлеб рублей восемь в месяц уходит; а там овса купили на семена... попу...» Но эти мысли стали противоречить его радостному настроению, и он бросил окурок цигарки и поднялся, чтоб идти. Топот лошади привлек его внимание: из-за леса показалась породистая барская лошадь в легких беговых дрожках; на дрожках сидел плотный молодой человек в пальто. «Эге, да это, никак, Сергей Петрович,— подумал Федор и усмехнулся.— Гляди, к Летятиной барыне ездил».

— Федор, это ты? — закричал веселый, несколько удивленный голос.

— Мы, Сергей Петрович.

— Откуда это?

— Да вот из деревни, из Лутошек.

— Что ты там делал до белого утра?

— Да признаться, Сергей Петрович, пошел праздничным делом... ну, там хороводы, песни... парни все приятели... так вот и проваландался почитай до рассвета. Ну, тут вышел, четырех верст не прошел,— глядь, солнышко встало.

— Ну, садись, садись, подвезу,— счастливо улыбаясь, сказал Сергей Петрович.— Хочешь курить? Кури,— и он

открыл Федору массивный серебряный портсигар. Федор ловко вскочил позади барина на дрожки, переплел босые ноги внизу, вежливо взял целою щепотью папиросу из барского портсигара и не спеша закурил своею спичкой. По его свободным движениям и по спокойному виду, с которым он говорил с Сергеем Петровичем, можно было заметить, что он привык обращаться с господами и что помимо некоторой сдержанности он обращался с ними с тою же простотой, которая вообще была ему обычна. Между тем Сергей Петрович не сразу нашел, о чем говорить с Федором, и подумал, что надо говорить «о делах».

— Ну, что, Федор, к воскресенью окончите конюшню? — спросил он.

— Надо бы кончить, Сергей Петрович... как, поди, не кончить!

— И денники окончите? Ведь ты забыл, Федор, что надо четыре денника. Я непременно хочу сделать денники, и непременно надо их сделать из толстых досок. Достанет у нас досок, а?

— Поди, достанет.

— И ты думаешь, Федор, вы и денники успеете сделать к воскресенью? Ты, Федор, не ошибись,— и Сергей Петрович серьезностью своего тона старался показать Федору, что это очень важно, чтоб он не ошибся.

— Как же не сделать, Сергей Петрович? Даст бог здоровья — все прикончим.

- Ведь с тобой кто теперь работает: Ермил, Леонтий, Лазарь?.. Вот, кажется, Лазарь прекрасный плотник, а?

— Он — ничего, парень аккуратный. Да у нас и все как будто... дело за нами не стоит.

— Ну да, ну да, я и не хотел сказать... Я тобой, Федор, очень доволен. Но знаешь, Федор, Лазарь как-то особенно хороший плотник, знаешь как-то...— Сергей Петрович затруднился в слове и помотал рукою в воздухе.

— Это точно,— подтвердил Федор более из вежливости и из желания вывести Сергея Петровича из затруднительного положения,— малый он тямкой.

Сергей Петрович не удовлетворился этим выражением Федора, но продолжать разговор о Лазаре уже не решился; в сущности, он не знал, насколько хороший плотник Лазарь, но ему очень нравилось, как сильно и красиво Лазарь взмахивал топором и как широко водил пилою и отчетливо долбил, и вообще нравилась фигура Лазаря.

Сергей Петрович помолчал и вместе с тем подумал, что теперь надо сказать что-нибудь приятное о самом Федоре.

— Вот ты и молод, Федор, а какое тебе доверие,— сказал он.

— Это уж не по мне, Сергей Петрович,— по родителю: как родитель ходил от артели вроде как за подрядчика, так и я. Известно, надо себя в строгости содержать.

— Ну, вот ты теперь на хороводы-то ходишь,— артель ничего, а?

— Что ж артель! Дело праздничное. Кабы я от работы отлынивал,— ну, так. А я вот приду теперь, умоюсь да прямо, господи благослови, за топор. Разговоры тут короткие.

Снова замолчали, и Сергей Петрович опять стал придумывать, что бы сказать Федору. Ему очень приятно было, что он не один, но придумывание слов, которые, по его мнению, были бы интересны и понятны для Федора, было ему неприятно. Он мог очень много и очень долго говорить теперь, и ему хотелось говорить, но удерживала какая-то стыдливость и то, что эти его слова не могут быть интересны для Федора.

— Эх, раздолье у вас в Самаре, Сергей Петрович! — сказал Федор.— Такая-то воля, такой простор, что и-и-и господи ты мой боже... Что этой земли, что лесу...

— Не правда ли? — с оживлением воскликнул Сергей Петрович.— Я когда приехал сюда в первый раз, вот мне понравилось, Федор: и леса, и степь, и люди,— все понравилось. И я тогда же непременно-непременно решил купить здесь землю. Смотри, Федор, это ведь начинается моя земля: вон Медвежий колок, вон Гремячий сырт... а смотри какая белотурка! Ведь это, если хорошо нальет, двести рублей десятина! — И, увлеченный неожиданно привлекательным предметом разговора, Сергей Петрович всем лицом оборотился к Федору: — Ты знаешь Летятиных? Я от Летятиных теперь. Они здесь на даче, и Летятина пьет кумыс — знаешь, питье такое делают башкиры? Я самого Летятина еще по Петербургу знаю, и вот теперь я уверяю их, что им необходимо, необходимо купить здесь имение. И вообрази, Летятин все-таки хочет уезжать в Петербург! Ну, посуди, Федор, что такое город? И Марья Павловна к тому же больной человек, но вот стал, уперся и ничего с ним не поделаешь. Марья Павловна прелестный человек... Ведь ты ее видел, Федор? Не правда ли, какая прелесть? И она очень любит рабочих людей... Она его очень убеждает... Нет! И не-

мудрено: он совсем не понимает деревни. Представь, ему скучно здесь, а? Но как же, как же не понять, что такое деревня и что такое город!.. Вот Марья Павловна отлично понимает. Ты знаешь, Федор, я очень много видел женщин, но Марья Павловна положительно какая-то особенная. Другие навесят на себя тряпки, важничают и ужасно бывают глупы, но это даже удивительно, как умеет держаться Марья Павловна. Сегодня она, например, что говорит: «Я бы, говорит, зарылась в этой прелестной деревне». И действительно она готова. Но вот муж, муж... ах, это такая сухая душа, такая... Хочешь, Федор, курить? Кури, кури, пожалуйста.

Федор опять с своею сдержанною вежливостью опустил щепоть в портсигар Сергея Петровича и, осторожно взяв папироску, сказал:

— Н-да, бывает и на господском положении...

Но, увлеченный течением своих мыслей, Сергей Петрович и не слыхал слов Федора.

— Вот, например, есть такая игра, шахматы... это очень мудреная игра, но она поняла мгновенно. Или теперь разговаривать с ней: ты не поверишь, какая она умница и как все знает,— за всем следит, читает... Я раз говорю, что есть такой ученый,— это очень мудреный ученый,— я говорю, что вот это прелесть, и, представь, смотрю: она мгновенно выписывает из Петербурга и теперь читает.— И вдруг, сообразив, что Федор не может его понять, Сергей Петрович возвысил голос и еще больше заволновался.— И как на фортепиано играет! — воскликнул он.— Есть очень трудные вещи, но у ней все это прелесть, прелесть как выходит...

— И детки есть? — спросил Федор.

— Есть мальчик,— сразу спадая с голоса, ответил Сергей Петрович и ударил вожжами лошадь.

— А что я думаю, Сергей Петрович,— сказал Федор после краткого молчания,— вот жена ежели хорошая — первое дело!

— Да, Федор, это отличнейшее, превосходнейшее дело! — горячо согласился Сергей Петрович.

— Дети пойдут... В хозяйстве, к примеру, любовь да совет — одно слово!

— Н-да, дети...

— Я как теперь понимаю,— совсем весело сказал Федор,— я так понимаю женатого человека, чтоб около него гудело от этих самых ребят. Я, ежели кажный год баба бу-

дет рожать, я ей в ножки поклонюсь, лишь бы господь достатку дал.

— Н-да...— задумчиво сказал Сергей Петрович и прибавил: — Ну, это, Федор, пожалуй, и скверно, если часто: женщина ужасно стареет от этого. Вот ты видел Марью Павловну, ведь правда, какая она красивая, и она хотя очень молода, но все-таки ей тридцать лет; но она гораздо моложе своих лет! И вот у ней один сын.

— Помирали? — с участием спросил Федор.

— Не то что помирали, но нынче вообще смотрят на это иначе...— И, не желая пояснять Федору, в чем заключаются современные взгляды на рождение детей, Сергей Петрович поспешил добавить: — Ты, конечно, прав, Федор, с своей точки зрения,— ты рассуждаешь с крестьянской, с хозяйственной стороны, и ты совершенно прав.

— Нам по крестьянству что ребят больше, то лучше,— согласился Федор и хотел добавить: «Это какая же и баба, ежели детей не родить»,— но почему-то подумал, что Сергею Петровичу будут неприятны такие слова, и промолчал.

— Ну, а ты, Федор, облюбовал невесту, наметил? — спросил Сергей Петрович, оглядываясь на Федора и ласково ему улыбаясь.— Ведь признайся, наметил? В Лутошках хорошие есть девки.

— Девки в Лутошках ничего,— сказал Федор, в свою очередь улыбаясь,— есть которые дюже хороши.

— Ну, какая? Ну, признайся, Федор? Я ведь знаю, что ты влюблен, у тебя вон и лицо какое-то... Ну, пожалуйста.

Но Федор засмеялся и ничего не сказал. Сергей Петрович несколько опечалился сдержанностью Федора,— в себе самом он, к своей досаде, примечал все больше и больше желания высказываться. Но он поборол это и даже попытался изменить свое настроение и оборвать странную связь, которая, как он чувствовал, начинала образовываться между ним и Федором.

— Ты, пожалуйста, Федор, смотри, чтобы карниз не вышел косой. Вот вы у амбара сделали карниз, он косит к левому углу,— сказал он сухо.

— Не сумлевайтесь, Сергей Петрович,— в тон ему, но уже не сухо, а с преувеличенною почтительностью ответил Федор,— и ежели на амбаре не нравится, мы и на амбаре переделаем. Только, воля ваша, он прямой.

— Рассказывай — прямой! У меня ведь глаза-то, кажется, есть,— уже с раздражением возразил Сергей Петрович.

— Это как вам будет угодно; мы переделаем.

Они рысью подъехали к хутору. Федор соскочил с дрожек и, поблагодарив Сергея Петровича, побежал к людской избе.

— Где шатаешься-то, полуношник? — притворно-сердитым голосом сказала ему старая стряпуха.— Люди работают давно, а он шатается; вот дождешься: лутошкинские ребята бока отломают.

— Видали мы эдаких-то! — шутливо ответил Федор и, вдруг обняв стряпуху, круто повернулся с нею по избе.— Эх, тетушка Матрена, твои серые глаза режут сердце без ножа.

— Черт,— закричала Матрена, крепко ударив его уполовником,— право, черт! Через тебя вот щи убегли!

Федор подошел к рукомойнику, обмыл руки, плеснул горстью воды на лицо, степенно утерся ручником и, причесавшись медным гребнем, висевшим на пояске, несколько раз медлительно перекрестился на икону.

— Ты с барином, что ль, приехал? — спросила Матрена, не отходя от пылающей печки.

— Подвез. У Летятихи был. Тоже, должно быть, зазнобила молодца. По дороге-то врал, врал... Я бы, глядишь, давно дома был без его вранья.

— Чего муж-то глядит? Обломал бы бока, небось бы блажь-то выскочила. Ишь ведь, ишь полуношничают!

— Говорит, детей не родит,— со смехом сказал Федор.— Может, сколько годов замужем, а всего и есть что один парнишка. С того, говорит, и хороша.

— На это их взять. Им только и делов, чтоб вертелось вокруг их...

Федор захватил инструмент и отправился к артели. Там, у кучи свежих сосновых бревен, давно уже стучали топоры, сверкая в лучах солнца.

II

Сергей Петрович отдал лошадь конюху и вошел в дом; ему теперь решительно было неприятно, что он так много говорил с Федором о Марье Павловне Летятиной, и еще более было неприятно, что разговор их закончился в фальшивом и принужденном тоне. Сердитый и сам на себя, и на Федора, он лег спать в комнате с завешанными гардинами

и долго не мог заснуть, и тогда только заснул, когда ему удалось подавить в себе мысли о Федоре и разговоре с ним и вспомнить вместо этого о вчерашнем вечере. Вчера Марья Павловна была как-то особенно грустна и меланхолична; он спорил с мужем о деревенской и городской жизни, она сидела у фортепиано и все брала медленные аккорды; и по временам, в особенно горячих местах спора, он чувствовал на себе ее взгляд, глубокий и полный сочувствия, и вместе с тем полный жалости к тому, что у нее такой муж, которому она не может сочувствовать. После ужина все это изменилось: она была весела даже до шаловливости, спела вакхическую арию, подражая манере Бичуриной. Но это еще не важно,— важное случилось тогда, когда она, несколько уставши от своего веселья, стала играть Мендельсона. Он стоял за ее стулом и переворачивал ноты; было поздно, был тот час, когда Летятин имел привычку, не прощаясь, уходить к себе, и вот, переворачивая ноты, Сергей Петрович вдруг почувствовал неотвратимое желание наклониться к ее затылку: мелкие завитки волос так прелестно крутились, алебастровая белизна шеи так восхитительно выступала из белизны узкого стоячего воротничка, что он не мог, совершенно не мог не наклониться. Он искоса посмотрел вокруг,— ему еще и теперь немного совестно этого воровского взгляда,— в комнате никого не было. Тогда он, чувствуя, как бьется кровь у него в висках, как мучительно замирает сердце, наклонился и прикоснулся губами к ее волосам. Это не был поцелуй, это было нечто мимолетное, отравленное страхом ожидания того, что скажет и что сделает она. Она едва заметно вздрогнула и продолжала играть; и когда прошло добрых пять минут,— Сергею Петровичу показалось, что целая вечность прошла,- она закинула голову и в упор посмотрела на Сергея Петровича долгим, влажным и притягивающим к себе взглядом. И Сергей Петрович прочитал в этих широко раскрытых блестящих глазах то, что сделало его мгновенно счастливым и мальчишески веселым. Он прочитал, что между ним и ею вдруг выросло что-то такое, что связало их души и заставило их сердца биться в один лад, их мысли — стремиться по одному течению.

Вот что хотелось ему с чувством невыразимо-радостного торжества объявить всему миру и вот про что, хотя и совершенно в других словах, он рассказал Федору. И, умиротворенный сладостью своих воспоминаний, он сладко и крепко заснул под непрерывный стук топоров плотничьей артели.

Супруги Летятины жили в десяти верстах от хутора Сергея Петровича. Сам Летятин был здоровый, красивый человек, с пухлыми румяными щеками, с умеренным брюшком, с черною шелковистою бородкой и с особенною внушительностью и солидностью движений. В Петербурге он занимал какое-то выгодное место в одном значительном банке и теперь пользовался пятимесячным отпуском с сохранением содержания. Он пользовался деревенскою жизнью, как и всем, чем представлялось ему пользоваться в жизни, очень благоразумно и аккуратно. Вставал в семь часов, гулял, купался, катался верхом, следил за политикой по большой ежедневной газете, раз в неделю писал письма, тщательно разрезал получаемые журналы, и если статьи были «делового характера», как он выражался, то прочитывал их от первой строки до последней. По утрам, несмотря на деревенскую жизнь, он не упускал заниматься туалетом: он строго требовал, чтоб ему подавалась ледяная вода, возбуждал деятельность своей кожи палками из резины и мохнатыми жесткими полотенцами, обтирался с головы до ног одеколоном и выходил на прогулку в таком виде, что от него за пять шагов несло свежестью, здоровьем и чрезвычайно приятным запахом. Когда речь касалась его задушевнейших взглядов на жизнь, он имел привычку не без гордости утверждать, что он вынес из нигилизма шестидесятых годов все, что было хорошего и здорового в нигилизме; он любил иногда щегольнуть цитатой из Писарева и сослаться на ту или иную сцену из романа *Что делать?* — впрочем, исключительно на те только сцены, где описывается внешний порядок жизни, комфорт, разумное отношение к страстям и к здоровью и «рациональные» взгляды на распределение труда между супругами. Вообще он любил все удобное, здоровое и комфортабельное, и если не особенно возмущался противоположным этому, то единственно руководясь «рациональною гигиеной» собственной своей души, единственно только потому, что берег свое спокойствие и равновесие; это на его языке носило наименование «трезвой философии».

Мария Павловна была странная женщина; в противоположность мужу, она никогда не сумела сохранить равновесия души. Вышла она за него по любви, между прочим, подогретой и передовыми его взглядами; ей казалось в то время высшим словом мудрости сложить свой житейский обиход разумно или рационально, как тогда говорили.

«Нейтральная комната» в семье восхищала ее; в ней она видела выход из тех несчастий и неудобств брака, которыми переполнена была жизнь ее знакомых. Ее восхищала мысль брака, более похожего на товарищество, нежели на брак. Кроме того, прежде чем обвенчаться, они долго и, как казалось им, совершенно серьезно обсуждали всевозможные случайности будущих отношений и решили мирно и благоразумно разойтись, если будет в том нужда. Жених великодушно говорил, что, конечно, он никого не полюбит, но если полюбит она, он даст ей совершенную свободу. Невеста утверждала, что никогда, никогда не может полюбить другого, но если полюбит он, она просит его, она даже требует, чтоб он отдался этой любви, как совершенно независимый человек.

Так, довольные друг другом и гордые своею разумностью, они повенчались. И все вышло как по писаному; комфорт у них с самого первого дня был полнейший; муж ее не стеснял; семейная проза — кухня, детская, гардероб,— все шло отлично. Ребенка она воспитывала по самым новым книжкам; его кормили по часам, по часам мыли, будили и клали спать, каждый день по два раза взвешивали, по термометру носили гулять, и ребенок вышел хотя и не совсем здоровый, но все-таки остался жив и в установленные годы поступил в частную гимназию.

И за всем тем чуть ли не с тех пор, как Коле сровнялось шесть лет и для него взяли англичанку, Марья Павловна к удивлению своему ощутила, что в ее жизни совершается что-то неладное. Это ее ужасно удивляло, потому что, разлагая по ниточкам всю свою жизнь, она видела в ней одно только разумное, целесообразное и рациональное. Тогда она вообразила, что ее тянет за границу, тянет посмотреть на ту «настоящую» жизнь, которая разрослась пышно и широко, которая и долгою и чрезвычайно любопытною историей дошла до эпохи удивительного прогресса и удивительных преуспеяний. И действительно, заграничная поездка как будто оживила ее. Она, как голодная, бросалась на все те дивы, о которых ей аккуратно оповещал «Бёдекер»; и только проехав Германию, поживя в Швейцарии, побывав в Париже,— только подъезжая обратно к станции Вержболово, она спохватилась и с тоской почувствовала, что все это не то, не то. Возвратившись на свою «рациональную» квартиру, на углу Сергиевской и Литейной, она испытала даже такой прилив отвращения *ко всему этому*, ко всей своей

разумной жизни, к фасаду дома, в котором жила, к теплой лестнице, к удобной квартире, что ей стало страшно. И больше всего ей стало страшно, когда она встретила мужа и вдруг вгляделась в его черты, как в чуждые ей черты, и где-то в глубине души почувствовала, что между нею и мужем встало что-то новое, странное, прежде незнакомое ей,— встала какая-то преграда. Впрочем, зима прошла сносно, потому что Марья Павловна воображала, будто вокруг нее действительно все так прекрасно, любопытно и редко, как о том говорили люди. И только к весне щемящее чувство недовольства собой и своей жизнью вновь обострилось и не стало давать ей покоя. Все на нее стало действовать странно и раздражительно с этой весны; на все смотрела она сквозь призму вновь возникших в ней ощущений; теплый ветер с моря, теплый луч, забегавший к ней в комнату, теплые белые ночи, плеск Невы около их дачи, звонкий и таинственный весенний воздух, в котором отчетливо слышался голос запоздавшего лодочника,— все в ее воображении окрашивалось печалью и унынием. Она изо всех сил старалась сначала исцелить, а потом забыть, лишь бы забыть, эту не дающую ей покоя душевную боль. Когда начался сезон, она записалась в несколько филантропических обществ, усиленно стала посещать балы, театры, клубы, концерты, торговала на благотворительных базарах, играла в благотворительных спектаклях, ездила к бедным, пробовала увлекаться проповедями лорда Редстока и полковника Пашкова, принимала участие в спиритических сеансах, устроила у себя «журфиксы», где от времени до времени появлялись профессора, художники, писатели. И посреди всей этой внешней деятельности, всей этой суматохи впечатлений она ни на миг не забывала, что все это не то, что по ее пятам двигается что-то странное, страшное, беспощадное, что в ее душе, прежде такой целостной и здоровой, образовывается пустота. Муж с улыбкой трезвого философа смотрел на странности Марьи Павловны. По временам он даже с видом прежней влюбленности глядел на нее, потому что непрестанная душевная тревога делала ее особенно красивою и привлекательною. Она похудела; взгляд ее принял небывалый прежде характер загадочности и глубины; не в меру развитая нервическая чуткость придавала удивительную прелесть ее движениям и выражению ее лица; даже самый ее голос изменился и приобрел какие-то трепетные ноты, звучащие несвойственною ей прежде страст-

ностью и драматизмом. Но все-таки кончилось тем, что и муж начал беспокоиться; раза два с нею случился истерический припадок, один раз даже в театре, в бельэтаже, на представлении *Грозы* с актрисою Стрепетовой в роли Катерины. Этот последний раз истерика привела даже в негодование Летятина. Он прочел нотацию Марье Павловне, сказал ей, что она не имеет права пренебрегать своим здоровьем, то есть проводить бессонные ночи, не вовремя обедать и т. д., позвал докторов, в числе которых был за сто рублей и очень знаменитый доктор, и тотчас же взял пятимесячный отпуск, как только доктора решили, что Марье Павловне нужно пить кумыс и что встретить раннюю весну ей необходимо в деревне.

Сергея Петровича Летятин знал по Петербургу, где встречался с ним у его дяди, одного из директоров значительного банка. Они даже раза два поговорили довольно подробно и оба остались довольны друг другом, потому что в обоих было сильно развито чувство внешней порядочности. Но бывать у Летятиных в Петербурге Сергею Петровичу как-то не удалось. Он скоро уехал в Самарскую губернию, где купил довольно большое имение и затем ездил по зимам «освежаться», как говорил, уже не в Петербург, а в Москву. Ему Летятин и написал, когда пришлось ехать в Самару; Сергей Петрович приискал дачу, нанял башкира делать кумыс, встретил Летятиных на станции, отвез их на своих лошадях до места и с тех пор стал бывать в Лоскове (усадьба, в которой они поселились) едва не каждый день.

Теперь, после разговора с Федором, Сергей Петрович целых три дня не ездил в Лосково. Не то, чтоб его заботил важный характер вновь возникших отношений с Марьей Павловной, не то, чтоб вводило его в раздумье будущее, но сладость воспоминаний *о том вечере* была так еще сильна в нем, что он, переживая ее, наполнял все свое время. Все эти три дня он по внешности был очень рассеян, пропускал мимо ушей доклады приказчика, осматривая поля, пропускал мимо глаз посевы пшеницы-белотурки, которою прежде очень гордился, безучастно относился к росту травы, равнодушно смотрел на работу плотничьей артели, испытывая, однако же, какую-то неловкость всякий раз, когда ему приходилось говорить с Федором, и будучи таким рассеянным по внешности, он тем более сосредоточивал свое внимание на той внутренней работе воображения, которой без устали предавался.

На четвертый день он почувствовал, однако, что ему необходимо ехать в Лосково. Он почувствовал это из того, как воспоминание о том вечере потускнело в нем, и из того еще, как оживились в нем ожидания новых, еще более значительных и счастливых впечатлений; и в глубине своих мыслей радовался, сначала стыдясь этой радости, что долгим своим отсутствием без сомнения заставил недоумевать Марью Павловну, заставил ее жить тревожным ожиданием того нового, того продолжения новых отношений, которые теперь образовались между ними. Въезжая в Лосково, он даже до такой степени отдался во власть этой жажде потомить, помучить Марью Павловну, что скрыл свою необыкновенную радость свидания с нею за внешним видом небрежного равнодушия. Если бы его спросили в это время, для чего он это делает, он не смог бы ответить и, во всяком случае, с негодованием встретил бы упрек в неискренности. Дело в том, что именно это отсутствие простоты, эта сложная игра, эта смесь томительных ощущений доставляли ему удивительное наслаждение.

Он застал Летятиных за обедом. Марья Павловна только что услыхала шаги его, как выбежала в переднюю и с живостью протянула ему обе руки. Летятин тоже поднялся и, вытирая губы салфеткой, пошел навстречу Сергею Петровичу. Но Сергей Петрович очень холодно повидался с Марией Павловной и, проронив сквозь зубы, что был все это время очень занят, с преувеличенною любезностью заговорил с Летятиным. И так говорил все время обеда. Странно волнуясь, он рассказывал Летятину, какая у него великолепная белотурка, какой прелестный покос, как хорошо и добросовестно работают плотники. Летятин подшучивал над его хозяйственными увлечениями, пугал его утратою образа человеческого и, в свою очередь, поведал, что списался с хозяином своей петербургской квартиры и что к зиме тот согласился провести к ним телефон.

— Вот, Маня, будем оперу у себя в квартире слушать,— сказал он, обращаясь к жене.

— Что-о? — переспросила она очевидно ничего не слыхав из его слов.

— Оперу будем слушать по телефону,— повторил он.

— Ах, отстаньте вы, пожалуйста, со своей оперой, со своими телефонами!.. Оставьте меня в покое, слышите ли? — вдруг закричала она с необыкновенною грубостью и быстро поднялась с места.— Противно мне, противно мне

это... Я вам сколько раз говорила, что мне не нужны все ваши телефоны! — И со слезами на глазах, заглушая рыдания, она выбежала из комнаты.

Сергею Петровичу стоило больших усилий остаться на месте; сердце его разрывалось. Он очень хорошо понял причину этой выходки и ужасно винил себя. Летятин сконфузился, извинился, сказал: «Ах, комиссия с этими нервными людьми!» — и немного погодя налил стакан воды и вышел вслед за женою. Тогда Сергей Петрович вскочил со стула, схватил себя за волосы и стал бегать по комнате. «Подлец, подлец я,— чуть не вслух бормотал он,— можно же вообразить такую мерзость!.. Эту прелесть, этого ангела и так оскорбить, так унизить! На что мне это нужно было... о, на что, на что же это нужно?» Женщина, вошедшая прибирать со стола, заставила его, однако, поневоле принять вид равнодушия. Летятин возвратился несколько озабоченный:

— Беда, беда с этими неуравновешенными натурами,— сказал он, разводя руками, и спросил теплой воды полоскать рот.

Воды не оказалось.

— Вот дикий народ,— сказал он Сергею Петровичу, кивнув в сторону прислуги, которую послал за водой,— сто раз повторяю, чтобы в конце обеда подавалась теплая вода,— не могут, не понимают!

Женщина подала ему воду в обыкновенном стакане.

— Неужели вы не помните, что я вам говорил уже неоднократно? — с укоризною сказал он ей.— Я вас просил, чтобы вы подавали воду в синих чашках. Неужели это трудно? Я вас покорно прошу быть внимательнее к моим просьбам,— и добавил, обращаясь к Сергею Петровичу: — А вы еще утверждаете, что их легко цивилизовать!

— Я пойду в сад,— дрогнувшим голосом сказал Сергей Петрович, схватывая фуражку.— Я посмотрю, как у вас там...

— Прекрасно, прекрасно; я не обращаю внимания на окраины сада, но цветники пока в образцовом порядке. Ну, вы идите, а у меня сегодня день писем, и я пойду к себе. Вы у нас побудете?

— О, да. Я только пойду в сад, посмотрю, как там у вас...

Сергей Петрович едва не бегом направился в отдаленную часть сада. Летятины снимали отдельный дом в усадьбе

большого богача, неизвестно зачем приобревшего имение в Самарской губернии, неизвестно зачем выстроившего флигеля фигурной архитектуры, теплицы, оранжереи, вырывшего пруды, построившего гроты и беседки,— потому неизвестно зачем, что сам богач в имении не жил, и все было предоставлено в жертву стихиям, неуклонно делавшим свое обычное дело. Из этих неуклонных дел вот какое было хорошо: сад по местам разросся и давал тень там, где прежде ножницы садовника преследовали одну только симметрию. В жаркие летние дни, когда все тускнеет и томится, одолеваемое раскаленными солнечными лучами, в саду можно было найти прохладу. Там были липы, непроницаемые для солнца; там были старые ветлы, там росли густые клены и березы, ослепительно сверкающие своею веселою белизной; там было место, где слышался непрестанный рокот ключа.

Но Сергею Петровичу теперь не было дела до всего этого; он только и думал, как бы повидать Марью Павловну, как бы оправдаться перед нею. Он так был черен и подл в своих глазах, что у него не хватало более сил переносить гнет этой черноты и этой подлости. О, что бы он сделал, чтоб ничего не случилось такого! Он умер бы... Да что умер! — он пошел бы на муки, лишь бы не вставало в его воображении это гневное лицо с крупными слезами на глазах, эти горько вздрагивающие губы. Вот теперь уже он видел, как любит Марью Павловну. Ему теперь казалась эта любовь безмерною, отчаянною, глубокою любовью, которой нет и не может быть примера. Никто не мог любить с такою силой, как он. И как было все ничтожно, мелко, неинтересно, кроме этой его любви к Марье Павловне.

И в пылу таких помыслов о своей любви и своей виновности Сергей Петрович в десяти шагах от себя увидел светлое платье Марьи Павловны. Она шла по заросшей дорожке, потупив голову, неровными и торопливыми шагами; она, казалось, ничего не замечала вокруг себя, была погружена в задумчивость. Сергей Петрович быстро скрылся; вид Марьи Павловны с новою силой оживил его терзания, и, убежав в самую глушь сада, на поляну, окаймленную молодою порослью, он снова схватил себя за голову и снова с ожесточением закричал на себя: «О, какой я подлец! О, какой я негодяй!» Кругом все было тихо; за рекою, в лесу уныло куковала кукушка; солнце склонялось к западу, и жемчужные тучки стадами собирались на его пути. Ото-

всюду дышало такою кротостью, такою ласковою теплотой, такая ясность разлита была в воздухе, так неподвижно и отчетливо выделялась даль за рекою с ее густо-зеленым лесом, с ее белою колокольней и серебристым озером, что наконец и Сергей Петрович почувствовал себя умиротворенным. Он ходил долго, сначала бегал, потом шагал все тише и тише, потом сел на обрубок дерева и, с наслаждением потянув в себя горьковатый запах березы, вздохнул глубоко. Потом оглянулся вокруг, посмотрел, как развернулась необозримая даль, прислушался, как за рекою куковала кукушка, и картина окрестности, горьковатый запах березы, солнце, смягчаемое тучками, странно и трогательно умилили его. Ему стало жалко себя; склонив голову на руки, вздрагивая коленками, усиливаясь сжимать губы, чтобы не слышно было рыданий, он заплакал как ребенок.

III

Нежное прикосновение руки к его голове заставило его очнуться. Он догадался, чье это было прикосновение, он даже не удивился ему — могло ли быть иначе? — и, вздрогнув от счастья, он еще ниже наклонил голову. О как ему было хорошо! Все его существо утопало в мягких и теплых волнах, нахлынувших на него вместе с этим прикосновением нежной руки.

— Зачем вы плачете? — тихо спросила Марья Павловна.— Зачем, зачем?..— повторила она тише, как будто с болью выговаривая слова, и вдруг вокруг него обвились ее дрожащие, холодные от нервного озноба, руки.

— Радость моя! — воскликнул он сквозь слезы.— Так ты меня любишь... так ты меня простила?

Марья Павловна спрятала лицо у него на груди и все крепче, все порывистей его обнимала; он видел, как трепетала она, точно подстреленная птица, как вздрагивали ее плечи и беспомощно опускались колени, касаясь земли, и слышал одно и то же, жалобно, с болью, с несказанною тоской произносимое слово: «Зачем, зачем?»

И ему показалось, что слишком низки и слишком пошлы те объяснения, которые он мог бы представить ей в оправдание своей деланной холодности. Он искренне подумал, что не таковы должны быть причины такой внезапной для него непомерно счастливой развязки.

— Если бы ты знала, как я мучился! — с волнением шептал он.— Я мучился все эти дни, все ночи... Что это было тогда? Может, это была вспышка, порыв, который ты сама бы с радостью взяла назад.

— Вспышка!.. Порыв!..— с упреком перебила его Марья Павловна, на мгновение оборачивая к нему свое лицо с заплаканными глазами.

— Прости, прости,— я думал так. Я сказал себе: ну, что ж, пусть я помучаюсь... путь я один; но если она захочет этого, ни одним взглядом, ни одним словом я не напомню *того* вечера. Я подумал так...

— О, не говори, не говори... Зачем ты не ехал?.. Какая тоска, какой ужас!.. Я точно все, все потеряла. Я ночи не спала... Куда мне деваться! Сердце, ведь сердце во мне разрывалось. Три дня... три дня!..— и Марья Павловна опять зарыдала.— Я не могла к тебе послать. Я разве знала, почему ты не едешь? Я разве думала, что ты такой... такой... Я думала, ты посмеялся надо мной и... мне было очень очень больно...

— И ты это могла думать! — с жаром воскликнул Сергей Петрович.— Если б ты знала, если б ты могла знать, как я тебя люблю!.. Ты — моя жизнь, ты — единственная моя радость... О, моя дорогая, дорогая!.. Но теперь ты уже не будешь думать обо мне так, не будешь?.. Да?.. Да?..

Он осторожно оборачивал ее лицо и, все ближе наклоняясь к ней, заглядывал ей в глаза долгим, молящим, вкрадчивым взглядом. И обаяние этого взгляда точно заворожило Марью Павловну. Если бы и хотела она, не было в ней сил бороться против него. Радостная, покорная, счастливая, она встретила полуоткрытыми губами поцелуй Сергея Петровича и страстно прильнула к нему, испытывая всем существом своим огромное наслаждение быть рабою *этого* человека быть во власти этой чужой околдовывающей воли.

Летятин написал в это время свои письма, взял гири со стола и полчаса делал гимнастику. Сначала он мерно махал гирями слева направо и справа налево, потом снизу вверх и сверху вниз; затем уперся руками в бедра и начал приседать и подскакивать; после того стал наклоняться одним боком и другим боком, туда и сюда выгибал спину. Проделав все это, он пригладил волосы и погрузился в размышления: сообразил расход текущего месяца, сообразил остаток в своей кассе. отметил в записной книжке новую выдачу денег кумыснику и на минуту подумал при этом, что ку-

мыс недостаточно помог Марье Павловне. «Надо будет пригласить доктора,— подумал он,— хорош ли еще кумыс? Есть ли в нем все нужные элементы? Здоровы ли лошади? Там нет должного процента азотистых веществ каких-нибудь, черт бы их побрал, а тут — сцены! Пожалуй, при таком неудовлетворительном лечении и к осени не поправится Маня». И он с кислою усмешкой вспомнил совет Сергея Петровича поселиться в деревне! «Воображаю, как это весело возиться с дикарями! — воскликнул он про себя.— Совершенно слов человеческих не понимают: ему говоришь одно, а он понимает другое. И эти пшеницы, покосы, бороны, грабли, плуги... брр... какая скучная канитель!» И в противоположность деревенской канители он с отрадою подумал о петербургской своей жизни, о петербургских своих знакомых, все людях приличных, благоразумных и строго-деловых, о распределении своего дня, нормально и последовательно размежеванного на труд, гигиену и удовольствия, и с особенно хорошим чувством он подумал о своем мальчике, в котором ему удалось развить аккуратность и влечение к техническим и естественным наукам. «Будет инженер или естественник большого калибра,— сказал он сам себе, с приятностью улыбаясь.— И как это хорошо сложилось, что брат Мани специалист по ботанике; он его теперь натаскает в своем Парголове».

С этою последнею мыслью он спросил, где барыня, и, узнав, что она пошла гулять, вышел в сад. «Маня!» — закричал он и, не получив ответа, медленно пошел вдоль цветочных клумб, рассматривая цветы и пробуя палкой почву под ними. Все было в порядке, почва была влажная, вовремя политая. Обойдя клумбы, он остановился и обвел глазами свой сад. В ясном воздухе красиво обозначались неподвижные деревья, красиво пестрели цветами клумбы, красиво сияли зеркальные шары посреди клумб; желтый песок извилистых дорожек отливал матовым золотом. И все было так близко к глазам Летятина, так блистало свежими красками и отчетливо выделялось своими очертаниями, точно сейчас выросло, дало листву и расцвело, не успев запылиться. Запах резеды и левкоев разносился повсюду. Летятин выпрямился и с чувством веселой бодрости во всем теле пошел далее. Все, что он видел,— все было здоровое, свежее, красивое и молодое, и он чувствовал, что в ответ на это весело откликается все его существо, и ему было очень хорошо. «Отчего это люди нервничают, мучатся, мечтают о чем-то,

когда все так просто и ясно,— думал он,— измышляют разные мечты и страдают из-за них?.. Удивительно! Не могут жить как следует, а непременно мечтают черт знает о чем. И непременно ведь все перепортят». И, дойдя до аллеи, ведущей в запущенную часть сада, он с пренебрежением взглянул вперед: «Маня, конечно, где-нибудь в глуши,— пришло ему в голову.— Есть ведь расчищенные дорожки, чего бы, кажется? Все хорошо, красиво, удобно,— нет, нужно для чего-то забираться в глушь, промочить ноги, изодрать платье, и все это для каких-то фантазий... Поэзия! Нет, не поэзией называть бы эту чепуху, а психопатией».

— Маня! — закричал он, увидав в глубине аллеи жену,— что тебе за охота гулять там, когда тут, посмотри, как хорошо? Посмотри, какая прелесть эти клумбы! Во всем саду только и есть одно место, на что-нибудь годное.

Марья Павловна медленно подошла к мужу.

— Где же Сергей Петрович? — спросил он.

— Кажется, уехал. Он хотел съездить в деревню поговорить относительно косьбы и вечером пить к нам чай.

— Хозяйство, агрономия! — насмешливо сказал Летятин.— Не замечаешь ты, что он уже изменился к худшему? В Петербурге он был воплощенная благовоспитанность, а тут эти резкие манеры, эта дурная привычка возвышать голос... Удивительно портит порядочных людей наше российское захолустье!

— Ты забыл, что я в Петербурге не знала Сергея Петровича,— сказала Марья Павловна, опуская глаза.

— Очень портит, очень портит,— с убеждением повторил Летятин и, предложив жене руку, повел ее вдоль излюбленных своих клумб. Она молчала. Она испытывала то неприятное чувство, когда видишь во сне ликующий весенний день и просыпаешься в сырое, пасмурное осеннее утро. Освободившись под каким-то предлогом, она побежала в дом и, бросившись на постель, зарыла лицо в подушки. Счастье любви беспокойно волновало ее, отравленное горечью лжи и будничною глубоко противною ей действительностью.

В столовой уже зажгли лампу, когда она вышла из своей комнаты. С балкона, освещенного отражением лампы, слышался громкий разговор. Марья Павловна прошла туда и поместилась в темном уголке, глубоко усевшись в качалку.

— Я не утверждаю, что всем нужно бежать из деревни,— внушительно разделяя слова, говорил Летятин,— но не надо забывать, что есть люди и люди. Деревня по самым своим

свойствам требует грубых рук и грубых умов, Сергей Петрович. Вот посевы у вас — разная там пшеница, рожь, молотьба... Согласитесь, что это вещь далеко не мудреная. Дальше-с, земство, вы говорите. Что такое земство? Земство есть то же хозяйство: вместо пшеницы — раскладка, вместо ржи — школы, медицина, разные там дороги и прочее. Вещь необходимая! Но согласитесь, почтеннейший, очень не мудреная вещь. И пусть там делают. Но люди на́шего склада,— это совсем особое дело. Наши идеалы — я подразумеваю естественно-научные идеалы — требуют особливых людей. Ими двигается цивилизация, культу-ра-а-с!

— Но я не понимаю, почему нельзя двигать ее и в деревне,— возразил Сергей Петрович.

— Вот почему. Какая задача развитого человека? Сложить свою жизнь так, чтобы она сходствовала с идеалом?

— Дальше, дальше.

— Для этого мне нужно стоять, так сказать, у горнила. Мне нужны, во-первых, средства. Во-вторых, мне нужны люди, с которыми я мог бы обмениваться мыслями. В-третьих, и это самое главное, мне необходимо, чтобы все было под рукой. Представьте себе, существует на свете наука гигиена и говорит она вот такое-то последнее слово. Прекрасно, я отправляюсь к Сан-Галли, отправляюсь к патентованному печнику, архитектору, гидропату и воплощаю это последнее слово гигиены. Дальше. Из Европы пришла самая свежая новость по части комфорта или вообще приспособлений для удобства человеческой жизни,— отлично, я опять иду и опять провожу в жизнь это новое удобство. Наконец я устал, желаю отдыха,— иду в оперетку, в театр, в концерт, в клуб, гуляю по Невскому и любуюсь электричеством, захожу на лекцию популярного профессора и знакомлюсь с последними выводами науки. Одним словом, во время отдыха обогащаю свой ум и приобретаю множество знаний.

— Помилуйте, ведь этак задохнуться можно! — закричал Сергей Петрович, с трудом скрывая свое презрение к тому, что говорил Летятин.— Ведь это усовершенствованная зоология, это я не знаю что!

— Усовершенствованная зоология,— с ударением подтвердил Летятин,— именно так... Как вы отстали в своей деревне. Что такое человек — особое существо, царь природы, божественный посланец?

— Ну, разумеется, животное, я и не спорю, но ведь животное общественное.

— Пекрасно-с. В чем же задача этого животного? Задача, надеюсь, состоит в том, чтоб оно было здорово, чтоб оно способно было продолжать здоровый род; это — во-первых. Во-вторых — оно, как наделенное интеллигентными способностями, должно быть счастливо, то есть окружать себя различными удобствами, вырабатывать между собою благоразумные отношения. Одним словом, брать от жизни все те наслаждения, которые совпадают с здоровьем и с благоразумием, и стремиться день ото дня расширять сферу этих наслаждений. Позвольте вас спросить, можно ли в деревне достигнуть этого? Если я очень богат, я, разумеется, и в деревне окружу себя полнейшим комфортом, но это будет внешность,— ее мало; кто мне в деревне заменит общество, театр, лабораторию, в которой мне покажут последние выводы науки,— все то, что дает интеллигентную подкладку внешним удобствам жизни?

— Боже мой, да ступайте вы на всю зиму в Москву, в Петербург, куда хотите наконец. Езжу ведь я в Москву!

— Отлично-с; но для этого опять-таки нужно быть или одинокому, как вы, или иметь большое состояние. Во-вторых, где же общество? Ну, вы приедете в Москву, сходите в театр, в Политехнический музей, послушаете музыку, но где же люди одинакового с вами склада? Их нет.

— Да на что мне эти люди, когда вокруг есть другие — есть земцы, помещики, крестьяне наконец? У меня, например, есть плотник Федор, да помилуйте, я его на самого культурного человека не променяю! Мы понимаем с ним друг друга с одного намека. И какой ум, какая сообразительность!

Летятин снисходительно улыбнулся.

— И это — общество,— сказал он,— но согласитесь, весьма далекое от естественно-научных идеалов и вообще от задач трезвого идеализма.

— Почему далекое?

— Я не имею чести быть знакомым с вашим плотником, но, например, этот ваш знакомый земец Меньшуткин; при одном взгляде на его манжетки тошнит; а манеры... Вы, однако, говорите, что это один из благовоспитаннейших.

— Значит, вы судите по наружности? Что же общего у трезвого реализма с грязным бельем?

— С грязным ничего, но с чистым — очень много. Как

я могу являться в дом в грязном белье, если я знаю, что грязь противна и вредна людям? Вот видите, до чего даже и небольшие культурные особенности сообразованы с циклом здоровых и трезвых идей. Весь смысл цивилизации в том и заключен, чтобы прогрессивные идеи связывать с действительностью. И потому-то людям, доразвившимся до этой истины, необходимо держаться вместе, они могут совершенствоваться, подхватывать, так сказать, на лету передовые мысли и вырабатывать все лучшие и лучшие способы жизни. Понятие ведь можно уподобить кредитным билетам. Отчего сторублевые бумажки так чисты и свежи, а рублевые истасканы до невозможности? Оттого, что первые вращаются в руках людей культурных, вторые же попадают в обращение народу дикому. Прогресс, цивилизация, культура — точно государственный банк: они выдают ценности каждому по его интеллектуальным средствам, и нам, получившим сторублевые, не подобает отпускать их в грязные и грубые руки. Чем же достигнуть этого? А не иначе, как живя среди людей моего образа жизни.

— Какой возмутительный эгоизм вы проповедуете! Я положительно отказываюсь от такой отсталости. В деревне я чувствую себя свободным, в вашем Петербурге я постоянно связан. Там я должен служить, нести на себе эти проклятые вериги культурного общежития. Одни визиты чего стоят, черт бы их побрал! Между тем как здесь я полный хозяин. Там природа спрятана, здесь она вся налицо: купайся в ней! Вот вы сидите за своими цифрами, трудитесь... Кто же пользуется вашими трудами? А я вот посеял сто десятин белотурки, похлопотал, потрудился, и уж наверное знаю, что если уберу, так получу и положу в карман восемь тысяч целковых чистого...

— Кроме того,— дрогнувшим голосом произнесла Марья Павловна, обращаясь к мужу,— ты забываешь пользу, которую можно принести в деревне... И государство, и твое милое общество,— ведь корни всего этого здесь же, в деревне, и как же это можно все брать, брать? Разные там налоги и эти концессии, и вдруг на деревню смотреть с таким ужасным презрением. Она — несчастная, невежественная,— все об этом говорят! — и жить в счастье и все это знать... я уж и не знаю, какой это эгоизм.

— Но ведь это возмутительно — сводить дело цивилизации на личное самоуслаждение! — с жаром подхватил Сергей Петрович, вскакивая с места.— А государство, а общест-

венная польза, а чувство гражданина? Да неужели, неужели мне закрыть глаза на все и уйти в свою культурную скорлупу?.. Значит, пусть кто хочет руководит народом, пусть кто хочет хозяйничает в земле, пусть первобытная культура истощает землю, мужик пьянствует, самоуправничает, делает разные невежественные поступки,— это не мое, все не мое дело!.. Мы, цивилизованные люди, должны проводить идеи и вообще прогресс! — с пафосом продолжал он, чувствуя себя предметом страстного внимания Марьи Павловны.— Мы — апостолы нашего божества,— и мы должны идти в земство, в администрацию, в захолустье... Мы должны достигать власти... и, не обращая внимания на грубость материала, лепить из него здание цивилизации... Кирпич! Что такое кирпич да глина, самая обыкновенная и простая глина? Но приходит архитектор и созидает Парфенон-с!

— Вы благоволили сказать: администрация. Но администрация, наиболее влиятельная, опять-таки в Петербурге и вообще в городах,— все более уязвляясь, возразил Летятин.

— Давно признано, что все наши задачи — в деревне, и об этом смешно говорить. Неужели вы пропустили труды статистики? Кажется, ясно, в чем дело! Сколько вышло реформ из вашего Петербурга, а как дойдет ваша реформа до провинции, так и превратится в чепуху; вы сочиняете, а провинция переделывает. А отчего? Все оттого, что деревня точно чугунное ядро на ваших петербургских теориях: вы норовите за тридевять земель ускакать, а глядишь, ядро-то и оттянет вас к прежнему месту. Стой, голубушка, не горячись!

— Ах, как это верно! — воскликнула Марья Павловна.

— В чем же дело? — в азарте продолжал Сергей Петрович.— А в том, чтоб ядра-то не было. Вот в этом-то и будет состоять наша заслуга. Мы, люди прогресса, составим правящий класс в деревне; деревня, не беспокойтесь, будет знать, что мы — вот они, свои люди, и тогда, если вы обдумаете что-нибудь хорошее, милости просим!

— А если, как это про журавля говорится, нос вылезет, хвост увязнет? Вы умниками станете, а мы к тому времени поглупеем, вы — бойкие, а мы и говорить разучимся.

— Во всяком случае, не заплачем, если и увязнете или поглупеете, выражаясь вашими словами.

— Но не мудрено, что вместо того нам придется крест на вас поставить.

— Может быть.

— Крест — эмблема христианская, а Христос, как известно, любил нищих.

— Нищих духом, вы хотите сказать? Да и терпеть не мог фарисеев.

— Значит, вы думаете, что мы, добросовестно и трезво устраивающие свою жизнь,— фарисеи? — изменившимся голосом спросил Летятин.

— Бывает и так.

— Очень благодарен за комплимент.

— Не стоит: для него не требуется особенных усилий ума.

— О, в этом-то я уверен! В противном случае я бы, вероятно, и не имел удовольствия дождаться от вас комплимента.

— Вы называете меня дураком? — внезапно охрипшим голосом спросил Сергей Петрович.

— Я не утратил еще привычки выражаться порядочно.

— Полноте, что это такое! — вскрикнула Марья Павловна.— Как вам не стыдно, господа?

— Почин был не мой,— сухо сказал Летятин.

— Оставь, оставь, пожалуйста... Сергей Петрович, оставьте. Невозможно так... И вовсе, вовсе не в этом дело.— Она схватила руку Сергея Петровича и крепко стиснула ее в своей.

— Я готов извиниться,— с неохотой вымолвил Сергей Петрович.

Летятин церемонно поклонился.

— Невозможно, ужасно так жить, вот в чем дело! — с усилием сказала Марья Павловна странно зазвеневшим голосом.— Я не знаю, как там по теории, и я не знаю вообще что делать, но жить так ужасно тяжело... Ты говоришь: счастье, трезвые отношения, прогресс. Вы говорите: полным хозяином жить и участвовать в земстве и во всем хорошем для деревни — и все это для того же прогресса и счастья. Я не знаю этого, но я думаю, нужно думать не о себе... Дурно ли это будет, хорошо ли, нужно ли это для прогресса или вовсе и не нужно,— надо помогать людям. Вот что я думаю. Я прямо тебе должна сказать...— Она прижала платок к губам.— Я не буду, не могу жить в городе... И как же жить, когда там ложь, ложь... и когда правда только тут, только в этой помощи несчастным людям?

— Но где ты видела несчастных людей? И потом, ты за-

бываешь, что на нас лежит обязанность воспитать Колю.

— И вот об этом я думала. К чему мы его готовим? Без почвы, без родины растет мальчик, и что у него впереди — бог один ведает.

— То есть как без родины? Надеюсь, он знает, что его родина — Россия.

— Ах, не об этом я... Что Россия — империя, лежит между такими-то градусами, граничит с тем-то,— о, он, наверное, знает это! Но солнца он мало видит, нет кустика, к которому он мог бы привязаться. Ведь какое это счастье, когда человек родится и растет среди природы, которая родная ему, среди людей простых, трудящихся людей, и с детства их знает, привык к ним. Свои липы, свои березы, сверстники в деревне,— какое это счастье для человека!

— Я думаю, для Коли большое счастье, что он под руководством твоего брата может здраво относиться к этим березам и дубам, получить правильное научное понятие о природе.

— Ах, какая это суровость к ребенку! Может ли у него быть живая связь с природой, с местом, с людьми, с одною только черствою вашею научностью?

— Конечно, никакой не может быть связи! — запальчиво воскликнул Сергей Петрович.— Засушить листики в гербарии, еще не значит полюбить природу; узнать, что человек в лаптях и в зипуне называется мужиком, еще не значит иметь с ним живую связь: листья и мужики есть в любой стране,— чем родные мужики и родные листья ему ближе тех? Научность космополитична.

— Нас учили, что понятие о варварах и об исключительной национальности — понятие людей отсталых,— насмешливо возразил Летятин.— Вы, значит, полагаете, что Россия суть антик, а весь остальной мир — варвары? Честь имею поздравить вас! — И, не желая выслушивать ответа Сергея Петровича, Летятин обратился к жене: — Есть, Маня, какое-то недоразумение между нами. Ты странно ставишь вопрос. Ты говоришь, не хочешь жить в городе и мотивируешь это какими-то принципами. Я ничего не мог бы возразить, если бы ты указывала на требования своего здоровья, хотя зима во всяком случае одинакова в Петербурге и в деревне. Но... принципы! Мы до сих пор были согласны в них. И мы добросовестно проводили их в своей жизни... Твои новые принципы я не могу разделять,— нет у меня на это ни

средств, ни желания. Должна же ты дать мне свободу в этом.

— Конечно, конечно,— горько сказала Марья Павловна,— у меня есть желание, но нет средств,— конечно, должна... Но где же равноправность, Дмитрий, о которой ты всегда говорил?

— В одинаковой свободе, Маня, в одинаковой независимости мнений!

— На что мне *такая* свобода? Мнения и в тюрьме независимы.

— Вот в том-то и горе, что в тебе говорит не стремление к свободе, а влияние другого лица... Ты вольна поступать как хочешь; но хочешь ли поступать так, *твое* ли это хотение?

— Что ты желаешь этим сказать? — вся вспыхнув, вскрикнула Марья Павловна.

— Если Дмитрий Арсеньевич намекает на мои мнения...— начал было хриплым голосом Сергей Петрович.

— Я имен не называю,— отрезал Летятин,— но я прошу тебя, Маня, обдумать это. Имею честь кланяться,— проговорил он, обращаясь к Сергею Петровичу и, не подавая ему руки, быстро ушел в свою комнату.

— Постой, постой! — слабо вскрикнула Марья Павловна, бросаясь за ним.— Я должна тебе сказать... должна!..

Но Летятин не воротился, и она беспомощно села и, опустив голову на балюстраду балкона, тихо заплакала.

Ярко вычищенный самовар праздно шумел на столе, покрытом белоснежною скатертью; свет высокой бронзовой лампы весело отражался в хрустале стаканов, в серебре ложек, ножей и вилок, разливался по мебели, по стенам, по целой коллекции закусок, стоявших вокруг самовара в белых и зеленых жестянках, в серебряных сотейниках, в изящных салатниках и в другой элегантной посуде. Ночь была такая же прозрачная, как и три дня тому назад; но здесь, в Лоскове, она не была тихою ночью, потому что в разных местах сада изо всей силы заливались соловьи. Иногда случалось, что замолкало соловьиное пение, и тогда можно было различить дробное перекликание перепелов в далеком поле. Мерный шум воды на мельничных колесах походил отсюда на шепот, и казалось, что это сама ночь шептала о чем-то, шептались деревья между собою, развесистые ветлы, душистые липы, смутно белеющие березы.

Воздух, насыщенный запахом цветов, и пленительные в своей загадочности звуки ночи вносили странное раздражение в душу Марьи Павловны; она чувствовала, как стеснялось у ней в груди и торопливо билось сердце, и слезы, слезы лились из ее глаз. Порою соловей, задорно и бойко рассыпавши свои трели, обрывал их слабым, медленно угасающим звуком, и в этом угасающем звуке Марье Павловне чудилась такая печаль, такое томление, такая тоскующая мольба, что рыдания подступали к ее горлу и горе ее казалось ей огромным, отчаянным, непоправимым горем. То, чего желала она и в чем полагала так еще недавно свое счастье, случилось; сказано было первое слово освобождения от старой жизни. И ей было больно, потому что было сказано это первое слово освобождения.

— Marie,— прошептал Сергей Петрович, осторожно наклоняясь к ней,— ради бога...— но она отстранила его.

Тогда он с немым отчаяньем стиснул свои руки и бесцельно устремил глаза в пространство. Как ему было неловко и жаль Марью Павловну и досадно на нее, и как злился он на «этого тупицу», обидным словам которого приписывал слезы Марьи Павловны!

Прошло полчаса. Марья Павловна выпрямилась, поспешно отерла слезы и, обмахнув платком разгоревшееся лицо, проговорила:

— Как это глупо, однако же!.. Вы едете? Вы на этот раз, кажется, верхом?.. Берите вашу лошадь, я хочу проводить вас.

— Удобно ли будет, Marie? — прошептал Сергей Петрович.— *Он* может быть в претензии.

— Что мне за дело до него и до всех! — резко ответила Марья Павловна.— Я хочу проводить вас.

Сергей Петрович разыскал лошадь, взял ее за повод, Марья Павловна накинула платок на голову, и они пошли из усадьбы. Опустелый большой дом мрачно проводил их своими окнами, зиявшими как дыры на белизне стен. За усадьбой начиналось поле; в лощине, в стороне от поля и верстах в трех от усадьбы, неясно виднелась деревня, откуда доносились хороводные песни, и хорошо отозвались они в наболевшей душе Марьи Павловны.

— Ах, как свободно здесь! — воскликнула она, останавливаясь на узенькой дорожке, по сторонам которой высокою стеной стояла рожь.— Как пахнет! Точно вино разлито в воздухе...

— Это рожь цветет,— сказал Сергей Петрович и тихо обнял ее.

Она не сопротивлялась; она, не отрываясь, смотрела в пространство, где таинственными очертаниями выделялись холмы, лес, деревня, прошлогодний стог сена. Сергей Петрович, не выпуская ее из объятий, робко приблизил к ней свое лицо, коснулся ее губ. Она торопливо поцеловала его и снова выпрямилась, повторяя:

— Какая прелесть! Как хорошо здесь!

— Он никогда не согласится жить в деревне,— мрачно сказал Сергей Петрович.

Марья Павловна пошла вперед.

— Надо это кончить, Serge,— нетвердо ответила она, не оборачиваясь.

— Но как же, как же возможно убедить его?

— Разве это нужно?

Сергей Петрович не нашелся что сказать.

— Когда я выходила замуж, мы уговорились в полной свободе. Разве теперь нужно убеждать, чтоб и он жил в деревне?

— Но тогда я не знаю,— с недоумением вымолвил Сергей Петрович,— неужели как-нибудь нельзя уладить?

— Как уладить?

— Ну, заручиться настоятельным докторским советом и тому подобное. У меня есть знакомый доктор... Наконец положительно можно сказать, что ты хочешь лечиться кумысом. Кумыс готовится и зимою. Я думаю, может же он продлить свой отпуск!

— Боже мой! Да пойми же, мне нельзя с ним жить! — нетерпеливо и горячо воскликнула Марья Павловна.

— Тогда есть лучший исход,— вдруг заволновался и заспешил Сергей Петрович, мгновенно уяснивший себе мысли и намерения Марьи Павловны и мгновенно же обрадованный ими.— Тогда живи со мною.

— То есть как? Потому что мне деться некуда? Из жалости?..

— О, что ты говоришь! — И он, выпустив повод из рук, остановил ее и привлек к себе.

И почувствовав около себя теплоту и трепет ее тела, он вместе с тем почувствовал прилив пьяной страсти и необыкновенный прилив страстных слов. Он целовал ее платье, лицо и прерывающимся голосом уверял в любви своей, лепетал о несказанном счастье, о свете, который она внесет в его

мрачную жизнь,— он верил, что его жизнь мрачная,— о блаженстве жить с нею, поклоняться ей, боготворить ее. В его словах не было связи, и они были невнятны, безумны, дики, но в них звучала такая торжествующая радость, такая смелая надежда на счастье, такая благодарность, что на душе у Марьи Павловны просияло. Молча стояла она, охваченная умилением, стараясь спокойными жестами, ласковым и тихим движением рук укротить порывы Сергея Петровича, целуя его с материнскою нежностью и вместе с тем недоумевая внутри себя, отчего она не в силах ответить на эти порывы таким же пароксизмом страсти.

Было, однако же, поздно, и они принудили себя расстаться. Марья Павловна первая сказала:

— Ступай, довольно, я напишу тебе. Завтра же, может быть, напишу.

Как это ни странно, ей хотелось, чтобы он поскорее уехал. И, оставшись одна, она прислушалась к топоту быстро удалявшейся лошади и села на краю дороги, когда топот затих.

Песня слабо доносилась из деревни, крики перепелов становились ленивее и замолкали, и все больше и больше глубокая тишина опускалась на землю. И чем тише и молчаливее делалась ночь, тем громче говорили какие-то голоса в душе Марьи Павловны. Сначала говорил один голос — и соблазнительны были его речи: он сулил ей яркий день в ее серенькой, спутанной и кропотливой жизни; сулил наполнить ее опустошенную душу, добро и правду и красоту отношений к людям... Он нашептывал ей про любовь — и нега любви, о которой она узнавала от него, стыдом и страстью жгла ее щеки. Ей казалась новизною эта нега любви и казалось, что не было и не могло быть такой неги, когда она выходила по любви за Дмитрия Арсеньевича Летятина. И вдруг ее мысли, точно зубчатые колеса, цепляясь друг за дружку, дошли и до той, которая вовсе не совпадала с счастливым настроением. И ей послышался серьезный, внушительный, требовательный голос: «Что будет с Колей? Что будет с этим молчаливым, сосредоточенным мальчиком без матери? И главное — что будет с нею, с матерью, без этого мальчика?» И воображение живо восстановляло перед нею маленькую фигурку Коли, серьезно нахмуренные брови, сутуловатые плечи, худенькие руки с синими жилками, застенчивую полуулыбку и деловое, озабоченное выражение бледного личика. «Значит, отказаться от него! — шептала

она пересохшими губами.— О, неужели отказаться?» — «Разумеется,— слышался ответ,— ведь ты отлично знаешь, как он близок с отцом, как вечно копается в его книгах и вещах, с великим уважением глядит на отцовскую работу, говорит с ним о телефонах, о паровиках, об электрической лампе. И тебе никогда не нравилось это его увлечение машинами и физикой и механическими курьезами, которые покупал ему отец, но, однако же, отец сумел же возбудить и развить это увлечение и посредством его привязать к себе сына, а ты не сумела, не смогла привязать его к себе, не добилась. Отчего он зевал в ответ на твои рассказы о несчастных людях и о великодушных людях и о доблестных поступках этих людей и с живостью бежал к отцу, когда тот начинал ему делать опыты по Тиссандье?» — «Но ведь любит же он меня, любит! — тоскливо восклицала Марья Павловна.— Ведь помню же я его редкие ласки, его внезапные порывы, в которых так мило сказывалась эта любовь! Как я могла оставить его! Зачем нет здесь его со мною!» И утомленная, измученная, она поднялась с земли и торопливо пошла домой. «Да полно, будет ли лучше? — прошептал ей вдогонку насмешливый, переполненный ехидством голос.— Отчего это ты принуждена была чуть не навязать себя Сергею Петровичу? Не лучшим ли казался ему другой исход — интрижка, амуры за спиною мужа?» Вот этот голос уже решительно обозлил Марью Павловну. Стараясь ни о чем не думать, она сильно вдохнула в себя сладкий запах цветущей ржи, сорвала несколько стеблей и, приложив их к воспаленному лицу, снова прислушалась к хороводной песне. И снова звуки деревенской песни хорошо отозвались в ее душе.

Наутро она проснулась с свежею головой, бодрая, крепкая и ясно представила себе все, что случилось вчера. «О чем же тут раздумывать? — выговорила она про себя.— Дело решено, а там что будет, то будет. Лгуньей никогда не буду, и это главное — чтоб не быть лгуньей!» Одевшись с обычною своею тщательностью, она спросила, где муж, и пошла к нему, гордая сознанием своей правоты и своего отвращения ко лжи.

IV

В тот же день, когда Сергей Петрович был в Лоскове, в его саду работали лутошкинские девки. Федор, высоко

сидя на стропилах конюшни и прибивая гвозди к тесинам, заметил, однако же, желтенький платочек Лизутки, мелькавший в саду. С тех пор он все придумывал предлог, как бы пойти в сад.

— Дядя Ермил,— сказал он,— куда бы у нас сверлу моему деваться?

— Да где же ему быть? Поди, в столах где-нибудь.

— Ты гляди, садовник не взял ли: он вчерась ухватил что-то, а сказать не сказал.

— Отдаст, коли взял.

— Сверло-то аглицкое,— помолчав, сказал Федор,— пропадет — батюшка в отделку доканает за него.

— Струмент важный, это что говорить.

— Ты вот что: приколачивай-ка покуда, а я лучше добегу. Я духом слетаю.

И Федор проворно соскользнул со стропилы, уцепился за карниз и, повисев несколько на руках, спрыгнул наземь.

— Дядя Лаврентий, ты не брал сверла? — спросил он, подойдя к садовнику и искоса посмотрев на Лизутку, с смеющимся лицом половшую клумбы вместе с другими девками.

— Не брал; зачем мне сверло? — ответил Лаврентий.

Федор постоял немного и неловко улыбнулся. Девки шептались, пересмеиваясь между собою.

— Ты бы, дядя Лаврентий, подбадривал девок-то,— сказал Федор.— Денежки любят брать, а на работу небось жидки!

— Ишь малый-то иссох с работы! — насмешливо проговорила бойкая курносая с густыми веснушками на лице девка.

— Дня-ночи, бедняга, не знает, замотался на работе,— подхватила другая,— люди топоры в руки, а он бегает, за девками глядит.

— Жалеет! — с хохотом закричала Дашка, подруга Лизутки.— Барских денег жалеет!

Лизутка не поднимала глаз от своей работы, радостно и смущенно улыбаясь.

— То-то вы, девки, оголтелые, погляжу я на вас,— сказала красивая солдатка Фрося, выпрямляясь всем станом и прищурив на Федора свои блестящие, покрытые поволокой глаза.— Чем бы угодить парню, а оне на смех... Этакого парня да кабы мне, горюше, я бы его на руках носила!

— Эх, вы! — сконфуженно сказал Федор и, поправив набекрень картуз, ушел из сада, провожаемый звонким девичьим смехом.

После обеда девки разбрелись отдыхать и, закрывшись шушпанами, без умолку говорили и смеялись. Молодые плотники Лазарь и Леонтий и конюх Никодим долго ходили от одной группы к другой, отгоняемые шутливою бранью. Наконец им удалось вступить в разговор с тою группой девок, где лежала и разбитная Фрося. Федор, не подходя к девкам, успел, однако, высмотреть, что Лизутка с Дашкой улеглись отдельно от других, в тени большого куста бузины; крадучись, он прошел туда и просунул голову под шушпан, которым были одеты девки.

— Чего лезешь, черт! — с напускным сердцем закричала на него Лизутка, ударив его по спине и быстро поднимаясь.— Дашутка, пойдем отсюда.

— Ох, леший вас расшиби,— притворно зевая, сказала Дашка,— спать смерть хочется! — И, отвернувшись от них, она накрылась шушпаном и улеглась молча.

— Уйди,— проговорила Лизутка, оправляя спутанные волосы; из-под сердито нахмуренных бровей глаза ее, однако же, смеялись.

— Авось места-то не пролежу! — шутливо возразил Федор и, обняв Лизутку, лег с нею рядом, натянув шушпан на головы.

— Девки будут смеяться, уйди,— шептала Лизутка,— вчерась и то Анютка на смех подняла.

— Чего ей на смех-то поднимать? Самоё просмеять стоит.

— Как же, таковская, далась!.. Я, говорит, чужаков-то этих отвадила бы; аль свои плохи? Это, говорит, ребята-то наши смирны; доведись до иных, давно бы шею накостыляли!

— Эка, эка... посмотрел бы я, как накостыляли!

— Ох, Федюшка,— вдруг перешла Лизутка в ласковый тон,— я и то так подумаю-подумаю: и что мне, горькой, делать будет?

— Чего делать-то? Али я тебя брошу, желанную? — И Федор прикоснулся губами к горячей щеке Лизутки.

— Ты что, миленок! Степан-то Арефьев зазвал намедни батюшку в кабак, да и ну опять: я, говорит, Мишанька придет из Самары, я, говорит, сватов зашлю, петрова дня дождусь и зашлю.

— Эка, дошлый какой! Ну, погоди маленько, крылья-то обобьем. А Иван Петрович что?

— Да что! Батюшке пуще всего не по сердцу перед жнитвом меня выдавать. На том у них теперь и дело стало: Степан-то Арефьев говорит, на летней казанской чтоб свадьба,— у них в Лоскове престол на казанскую,— а батюшка: чтоб после жнитва, чтоб на осеннюю казанскую быть свадьбе. На том и стало.

— Вот буду домой писать. Домой напишу, придет ответ — и сватов зашлю. Я Мишаньку-то еще рано за пояс уберу. Эка, обдумали!

— Уж и не знаю,— со вздохом сказала Лизутка,— иной раз сижу-сижу так-то и подумать не знаю что. Мамушка и то говорит: «Что ты, говорит, Лизутка, не весела, такие ли твои годы? Я, говорит, в твои-то годы думушки не знала, какая такая думушка на свете есть!» А я все молчу: Мишанька-то по душе мамушке; экой, говорит, парень работящий. Были они прошлым годом у Арефьевых, на праздник ездили,— уж он перед ней,— Мишанька-то! — такой-то угожливый, такой-то приветный!

— Ты бы закинула ей обо мне-то словечко.

— Ох, уж я думала! Стыдно больно, сизенький мой. Я так-то норовила в добрый час мамушке сказать, да все духу не хватает. Вот скажу— думаю, дайко-с скажу, да так и промолчу.

— Чего же ты? Авось я не гуляка какой, дела-то мои на виду. Пусть-ка спросят, какой я работник: как-никак, а прошлым годом сто восемьдесят целковых копейка в копеечку домой отослал! Пусть-ка он попытается, Мишанька-то,— надорвется! И опять семья!.. У нас в роду пьяниц или мотыг каких-нибудь в заводе не бывало. Батюшка, приходится, выйдет на сходку, ему первое место... Поглядел бы я на Степана-то Арефьева, какой ему почет!

— Далеко-то... далеко-то больно,— задумчиво сказала Лизутка.

— Что ж, что далеко? Это пешком далеко; а нынче дойди от нас до Волги пятнадцать верст да тут от пристани тридцать пять —вот тебе и даль вся. Были бы деньги, а ноне проезд дешевый.

— А ну-ка ты на заработки-то будешь ходить,— забудешь меня на чужой стороне? Легкое ли дело — полгода без мужа жить. Мысли-то пойдут всякие!..

— Я еще посмотрю-посмотрю, да и брошу ходить. Ме-

ня и то в прошлом году на пристани оставляли: от двора пятнадцать верст, а работы сколько хочешь. Мне ежели тебя приютить, я и дома останусь. Ох, люблю-то я тебя, лапушка! — сказал он, крепко прижимая к себе девку.

На другой день желтый платочек Лизутки уже не мелькал в саду; Дашка тоже ничего не знала, отчего нет Лизутки, и Федор, одолеваемый беспокойством, особенно был пасмурен и суров. На третий день он с замиранием сердечным увидел, что на сивой ширококостной и сытой кобыле приехал в усадьбу Иван Петров, отец Лизутки. Усиленно работая фуганком над сосновой тесиной, Федор приметил, однако же, как Иван Петров медленно, по-стариковски, слез с лошади, не торопясь привязал ее к забору, не торопясь высморкался в полу, оправил шляпу на голове, посмотрел долгим и пристальным взглядом на Федора и степенною походкой направился к дому. В доме он пробыл добрый час. Все это время Федору было не по себе; стружки градом летели из-под его фуганка, а он и не чувствовал нужды хотя бы в минутном отдыхе; страх ожидания волновал его.

В это время девки, отделавшись в саду, шли на огород мимо самой конюшни, и Дашка, которую нынешний день еще не видал Федор, проворно подошла к нему.

— Лизутка-то матери сказалась,— прошептала она.

— О? Не врешь?

— Право слово, сказалась. Митревна-то и говорит: «Скажу старику, пусть как знает».

— А сама-то?

— Плачет. Лизутка говорит: так-то заливается, так-то заливается... И глазыньки мои, говорит, тебя не увидят, и загубит тебя распроклятая чужая сторона... И тебя ругает. Знала бы я, говорит, я бы за ворота девку не выпустила... Я бы, говорит, ему, разбойнику, ноги обломала.

— Приехал Петрович-то, к барину пошел.

— О-о? Ну, насчет тебя, право слово, насчет тебя... Это уж они с Митревной сговорились. Митревна вчерась и Лизутку не пустила: засадила кра́сна ткать.

Сергей Петрович вышел на крыльцо вместе с Иваном, и Дашка сейчас же побежала к огороду.

— Могу тебя уверить, Иван, что Федор прелестный, превосходнейший человек,— говорил Сергей Петрович, под наплывом новых впечатлений совершенно забывший свою досаду на Федора.— Вот я тебе считал по книге: ровно сто восемьдесят рублей он заработал в прошлом году на свой

пай. И я тебе скажу, это великолепный человек. Ты знаешь, я бы тебя не стал обманывать, и вы вообще знаете, как я к вам отношусь. Ведь вы мною довольны, не правда ли?

— Да уж это чего зря толковать: жить, так жить посуседски,— подумав, сказал Иван Петров.

— Нет, не то что по-соседски, но вообще я желаю приносить вам пользу; я вот хочу у вас школу открыть. Это невозможно, чтобы не было школы! У тебя ведь есть, кажется, маленькие дети?

— Как не быть этого добра: девчонки есть, паренек.

— Ну вот. Сообрази теперь, как это будет хорошо, если у вас будет школа.

— Чего лучше.

— И ты, конечно, очень рад этому?

— Я что ж, Сергей Петрович, я — как старики...— и несколько быстрее добавил: — А что, насчет пьянства или дебоширства, не водится за ним? Вы уж по-суседски, Сергей Петрович, по истине.

— Это что, насчет Федора? — спросил Сергей Петрович, немного раздосадованный плохим вниманием Ивана Петрова к школе.— О, я уж говорил тебе, что он превосходный малый, и я тебе от души советую выдать за него дочь, Иван. И знаешь, что прекрасно — он совершенно, совершенно не похож на других подрядчиков, знаешь, вот на таких, что каждую копейку выжимают из своего же брата.

— Какие его года,— сказал Иван Петров,— не тямок, поди, не расторопен по своему делу.

— Ах, не то что не расторопен, но, понимаешь, он не грабит, как другие.

— Уж это что же! Это последнее дело, ежели грабить... Я не токмо родную дочь, я и татарину не пожелаю, чтоб с эдаким-то водиться!

— Не правда ли? Нет, я тебе положительно советую, Иван Петров, и особенно если девушка твоя его любит.

— Как так можно, Сергей Петрович! — обиделся Иван.— Моя дочь, кажется, не какая-нибудь... Мы этого не слыхали.

— О, я совсем, совсем не хотел сказать что-нибудь дурное! Понимаешь, я хотел этим сказать...— И Сергей Петрович внезапно просиял от пришедшей ему в голову мысли осчастливить Ивана Петрова.— Знаешь, Иван, я сам к тебе поеду сватом от Федора... Не благодари, не благодари, пожалуйста, я поеду, и мы с тобой обо всем переговорим офи-

циально. И я буду посаженым отцом, или как там у вас. Мы это все устроим.

— Это дело впереди,— холодно ответил Иван Петров,— я признаться как наслышан, что вот, мол, парень... ну и девка у меня на возрасте... Что ж, я поехал по-суседски, вам тут виднее... и опять он у вас работает. А это дело впереди. Женихов у нас много. Ты уж, Сергей Петрович, сору из избы не выноси, по-суседски. А что касательно женихов, у нас много.

— Как знаешь, Иван; конечно, это твое дело,— сконфуженно сказал Сергей Петрович.— Ты знаешь, я сам женюсь, и вот мне хотелось бы вообще сделать добро... И я очень люблю Федора, и он меня очень любит... Ну вообще ты понимаешь, я был бы очень, очень рад, так как я сам женюсь.

— Давай бог, давай бог,— дружелюбно сказал Иван Петров,— холостая жизнь хороша до время... Давай бог! Что же, Сергей Петрович, поди, богачку берешь? Из купечества, али как?

— Н-да... довольно богатая... очень рад...— пробормотал Сергей Петрович, не решаясь сказать Ивану, на ком он женится.— Пойдем, Иван, я вот покажу тебе... Смотри, сколько понастроено! Вот конюшня новая!

И они пошли смотреть конюшню.

— Вот, Федор, пришли на работу твою посмотреть,— значительно улыбаясь, проговорил Сергей Петрович, когда они подошли к нему,— как ты тут?

Федор снял ремешок с головы, тряхнул волосами, поклонился.

— Пока слава богу, Сергей Петрович,— слегка упавшим голосом ответил он,— к вечеру крышу обошьем.

Иван Петров в ответ на поклон Федора молча и серьезно приподнял шляпу и снова глубоко нахлобучил ее.

— Работники, аль как? — спросил он у Федора.

— У нас артель. Известно как батюшка-родитель хаживал, рядился, ну теперь и я. А то у нас артель.

— А старичок-то уж не может?

— По домашности все управляется. Там пчелки, дворишко, лошади, коровы... Ухаживает.

— Гляди, не один, одному-то вряд управиться?

— Где одному! Там матушка, тоже старушка, сестра-вдова... ну, ребятенки у ней, подростки.

— А работник-то, значит, один,— и в хвост и в голову?

— Что ж, один, слава богу, зарабатываю хоть бы на троих. Зима придет, тоже без дела не сидим.

— Это что говорить, работать надо.

— Я ведь говорил тебе, что вот за шесть месяцев он взял с меня сто восемьдесят рублей! — вмешался Сергей Петрович.

— Деньги хорошие,— сухо ответил Иван Петров.— Я ведь так, к слову, Сергей Петрович; нам не токмо об чужих, об своих делах впору думать. Чужие деньги не сочтешь, их на водопой не гоняют! А я к тебе, признаться, вот за какою докукой: продай ты мне дубок, хочу перемет сменить.

— Изволь, изволь,— сказал Сергей Петрович, внутренне раздраженный «противным лицемерием» Ивана Петрова, и они отошли от Федора, при чем Иван Петров с прежним непроницаемым выражением лица приподнял свою шляпу в виде поклона.

Воротившись домой, Иван Петров с тем же обычным ему сосредоточенным и серьезным видом спутал кобылу, выгнал ее на гумно, где зеленела сочная травка, мимоходом задвинул под навес телегу, стоявшую среди двора, и так как Митревна позвала его обедать, умыл руки и, перекрестившись, сел за стол во главе своего семейства. Его никто ни о чем не спрашивал. Лизутка, покрытая по-старушечьи своим желтеньким платочком, печально хлебала квас с крупно искрошенным луком. Митревна от времени до времени унимала ребят, делая сердитым лицо свое с славными лучистыми морщинками около глаз. Выйдя из-за стола и помолившись богу, Иван, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Сергей Петрович поденщину собирает. Чего дома-то сидеть! Какой ни на есть двугривенный, все годится. Дома не высидишь!

— Как туда ходить-то: полон двор охальников понабрали! — с сердцем проворчала Митревна.

Но Лизутка, не слушая матери, с радостным лицом выскочила из сеней и, схватив ведра, бегом побежала на речку.

— Люди как люди,— заметил Иван,— молодое об молодом думает.— И, выпроводив ребят на улицу, он кратко и выразительно сообщил Митревне то, что нашел нужным сообщить.

Вечером Митревна, беспрестанно обтирая уголком платка слезящиеся глаза, передала этот разговор Лизутке.

Вечером же не утерпел и Сергей Петрович, чтобы не рассказать Федору во всех подробностях разговор свой с Ива-

ном Петровым. Усадив его на ступеньке балкона и приказав ему и себе вынести чаю, Сергей Петрович до конца вылил свое дружелюбие и благосклонность. Он повторил и Федору свое предложение быть за него сватом. Федор благодарил с признательностью и действительно был растроган живым участием Сергея Петровича. Решили сделать так: написать письмо родителям Федора и по получении от них ответа Сергею Петровичу прямо ехать к Ивану Петрову.

— Хотя я совершенно не понимаю, Федор, зачем тебе писать об этом,— кипятился Сергей Петрович,— какое кому дело до твоих чувств к Лизе?

— Никак нельзя, Сергей Петрович,— упрямо возражал Федор,— никак невозможно без родительского благословения.

Во всяком случае, они разошлись довольные друг другом и каждый по-своему счастливый.

Впрочем, Сергей Петрович считал себя счастливым не потому только, что ему удалось сделать, как он думал, полезное Федору, но и потому, что еще до появления Ивана Петрова к нему приехал Дмитрий Арсеньевич Летятин и в необыкновенно торжественной и приличной форме сообщил ему, что он по делам уезжает в Петербург и что просит Сергея Петровича не оставить своим покровительством Марью Павловну. Дмитрий Арсеньевич не позволил себе ни одного намека на то, чтобы ему было известно все, но Сергей Петрович легко догадался по самому виду Дмитрия Арсеньевича и по официальной и несколько напряженной манере его разговора, что ему все известно. Он приехал точно с визитом, в сюртуке, застегнутом доверху, и лицо его, обыкновенно цветущее и самодовольное, было бледно, ясные выпуклые глаза потускнели и ввалились. Он и в этот раз не подал руки Сергею Петровичу; холодно промолчал, когда Сергей Петрович, умиленный его великодушием, вздумал извиниться за некоторую резкость выражений в их недавнем споре; отказался от чая и от предложения закусить.

Вечером на другой день Федор догнал Лизутку и Дашку, шедших домой позади других девок, и пошел с ними рядом. Он еще в первый раз в этот день увидал Лизутку.

— Ну, как дела? — спросил он.

— Ох, уж и не знаю, что сказать,— проговорила Лизутка,— батюшка что говорит: «Пойдет, говорит, Федор в зятья,— обеими руками выдам, а ежели в зятья не пойдет, чтоб и думать забыли... Аль я, говорит, из ума выжил —

за тридевять земель девку выдавать?.. А коли эдак, пусть хоть теперь сватов засылает; я, говорит, на Мишеньку Арефьева и внимания своего не обращу...» — И она с тревогой поглядела на Федора.

Тот опустил голову.

— Вот оно какое дело,— сказал он в раздумье и немного погодя повторил со вздохом: — Вот дело-то какое...

Несколько минут они шли молча.

— Чего тебе не идти-то? — сказала Дашка.— Авось двор-то исправный. Петрович, гляди, какой еще крепкий!.. Али скотину теперь взять, вон две коровы у них, да, никак, овец с двадцать,— будет, что ли, двадцать-то, Лизутка?

— Двадцать две,— печально ответила Лизутка.

— Ишь сколько! А там лошади... эдак да не идти!

Но Федор и на это только вздохнул глубоко.

По земле ходил легкий ветерок и колебал нивы. Крепко пахло сеном от скошенного луга. В небе зажигались звезды. Сумерки были теплые, с тихим и кротким отблеском зари, с прозрачным и гулким воздухом, в котором ясно раздавался всякий звук. Шедшие впереди девки пели плясовую песню, и солдатка Фрося, размахивая платочком, плясала под нее.

— Побежать и мне «Березу» подтянуть,— неожиданно проговорила Дашка.— Экая эта Фрося отчаянная! — И она побежала к девкам. Лизутка прижалась к Федору и опять с тревожною робостью посмотрела ему в лицо.

— Федюшка,— прошептала она, и на ее глаза навернулись слезинки,— аль не пойдешь в зятья-то?.. Я ли тебя не любила бы, желанненький?.. Я бы тебя, друга милого, с глаз не спускала... Аль не пойдешь, друженька?

Федор засопел носом и крепко обнял Лизутку.

— Краля ты моя... Я бы не токмо что в зятья,— я бы из-за тебя в батраки пошел!.. Вот батюшка-то как!

— Пиши, пиши письмо-то, сизенький... Аль уж они враги своему детищу!.. Ты им напиши, Федюшка, получше, хорошенько все пропиши... Пусть-ка люди-то меня охают, али семья наша какая непутная. Пусть-как скажет кто!.. Я тебе не в похвальбу какую скажу: я, жать ли, вязать ли пойду, я ведь никому не поступлюсь... Или я озорная какая? Я словечушка не пороню лишнего... Ты все пропиши, Федюшка! Вот теперь женихи сватаются... а какие мои года? Мне прошлым успеньем семнадцатый пошел, а уж батюшке говорили: кабатчиков сын из Богдановки всей бы радостью взял... Да наплевала бы я на него, рябого черта!

— Аль я не знаю? Я-то что... как батюшка вздумает.

— Да ты пропиши ему, что заработок-то отсылать будешь. Аль мы за деньгами твоими погонимся?.. Батюшка говорит: парень-то мне по нраву.

— Барин будет писать, обещал...

— О-о? Вот дай бог ему здоровья. Голубенок ты мой, то-то любить-то я тебя буду...

— Еще что говорит барин-то,— с легким оттенком насмешливости сказал Федор,— я, говорит, сватом поеду за тебя, я, говорит, для тебя вот как — всею душой!

Лизутка засмеялась, но, подумав, с живостью проговорила.

— Пускай, пускай его, Федюшка, пусть сватается... батюшка-то у него землю снимает, поди, сговорчивей будет с барином.

И толки о предполагаемом сватовстве, о свадьбе разогнали их заботы. Федор перестал сомневаться в согласии своих родных; и как же было ему сомневаться в этом согласии, и как же было думать ему о какой-то помехе, когда, прижимаясь к нему, медленною поступью шла красивая девка с косою до пояса, с ласковым блеском в глазах, полногрудая, румяная, темнобровая, и такая близкая ему, что он не мог сказать, когда увидел ее в первый раз, потому что ему казалось, что он весь век знал ее и смотрел на нее? Они далеко отстали от девок, и хорошо было им идти вдвоем, обнявшись. Ветерок тянул в их разгоряченные лица запахом трав и цветущих полей. Сумерки становились все гуще; веселая плясовая песня одевала весельем и ясностью широкий простор окрестности и смутным гулом отдавалась в лесу, лежащем на дороге... Встретилась им лихая тройка, быстро промелькнувшая мимо с удалым криком ямщика, с разливчатым звоном колокольчиков и грохотом колес; ямщик обернулся и лукаво подмигнул им, молодцевато скосив набекрень шляпу, повеселели лица унылых седоков, сгорбившихся в тарантасе с своими кокардами на околышах, с темно-зелеными портфелями на худых угловатых коленях... И так было хорошо Лизутке и Федору, что когда прервалась плясовая песня «о березе» и тонкий голос Фроси затянул:

Все кусточки, все листочки веселехоньки стоят,
Веселехоньки стоят, да про милова говорят,
Тужить, плакать не велят...—

обоим им казалось, что это именно им, Лизутке и Федору, не велят тужить и плакать «веселехонько» шелестящие листочки развесистых лип.

Наутро Сергей Петрович со всевозможною убедительностью написал письмо в нижегородскую деревню Федора и не пожалел красок, расхваливая Лизутку, ее отца и всю ее семью.

— Вы, Сергей Петрович, пуще насчет заработков-то налегайте,— раза три повторял Федор,— чтоб насчет заработков беспокойства не было: хотя ж я и удаляюсь во двор, но заработки согласен отсылать родителю по-прежнему.

— Не беспокойся, не беспокойся, Федор,— снисходительно улыбаясь, сказал Сергей Петрович,— так, брат, написано, что не могут отказать. Я, пожалуй, для твоего удовольствия напишу и о заработках, но это не важно... Тут важно на душу подействовать, возбудить в них чувство гуманности, справедливости,— и, заметив, что лицо Федора внезапно поглупело при этих словах и сделалось неприязненно-вежливым, Сергей Петрович раскрыл свой портсигар и благосклонно произнес:

— Кури, кури, пожалуйста... кури, Федор.

V

Летятин собирался в Петербург. Уложивши собственноручно и с великою аккуратностью свои кабинетные вещи в изящный чемодан, оправленный посеребренным металлом, он потянулся, вздохнул от усталости и, вдруг вспомнив, что его мучило все эти дни, сел на диван и, опустив голову на руки, глубоко задумался. О, ему было очень тяжело! Ему и потому еще было тяжело, что беда пришла как-то внезапно, неожиданно, застала его врасплох, в период того самодовольного состояния души, когда все кажется удивительно целесообразным и ясным. Вступая в настоящую, в «серьезную» жизнь, он, думалось ему, твердо знал, что́ добро и что́ зло в жизни, и принял большие меры, чтоб обезоружить зло и заручиться добром. Он знал, что бедность — зло, и разнузданные страсти — зло, и болезнь — зло, и так называемые «увлечения» — зло; и вот в противовес этому злу он заручился очень высоким окладом в банке, разумною и красивою женой, щепетильною охраной здоровья, умеренностью, порядочностью; и за все-то эти бастионы ворвалась

враждебная сила и теперь нагло потрясла их даже до самого основания. Все перепуталось в его голове... Правда, по внешности он и теперь не изменил своей всегдашней последовательности: все, что он считал нужным и должным,— все проделал он высокоприлично и неукоснительно.

Но ему было тяжело. По временам на него находили припадки малодушия. Раз даже что-то вроде ненависти почувствовал он при взгляде на Марью Павловну, когда она самым беспечным тоном, как ему показалось, спросила его, отчего он так бледен и здоров ли он. Другой раз, оставшись один, он плакал. И вот теперь, глубоко задумавшись о своей жизни и о том, что ясность этой жизни необходимо должна теперь померкнуть, а основательно проторенная жизненная колея загромоздиться неожиданными препятствиями, он опять испытывал чувство тоски и страха. Это был невежда в математике, который зазнался оттого, что безошибочно решал задачи с известными величинами; ему дали решить задачу с неизвестною величиной, и вместо того чтобы искать неизвестное в отношении уже известных ему величин, он произвольно считал «икс» тоже известным ему; и когда он был на высоте своей «последовательности», ему казалось, что хотя задача и трудная, но разрешимая; и когда падал духом, он видел, что задача неразрешима для него.

На этот раз он подумал, что нужно во что бы то ни стало добиться, чтобы задача была поставлена иначе. О, лишь бы устранить этот загадочный и мучительный для него «икс»! Может быть, больна Марья Павловна? Может быть, ей действительно хочется пожить в деревне? Может быть, ей приятно было общество Сергея Петровича, и оскорбило ее то, что он резко обошелся с Сергеем Петровичем? Как было бы все прекрасно, если бы одна из этих «известных величин» была причиной всей тревоги.

Он выпил залпом стакан воды, привел в порядок волосы и, постучавшись, вошел в комнату Марьи Павловны. Она сидела печальная, с заплаканными глазами, над тетрадкою, переплетенной в темно-зеленый сафьян и украшенной на каждой странице вырезными картинками. Это была тетрадка Коли. При входе мужа она поспешно бросила тетрадку в ящик стола и, задвинув его, повернула два раза ключ. Кроткое выражение на ее лице тотчас же заменилось выражением тупой и страдальческой покорности.

— Я помешал тебе? — тоном виноватого спросил Летятин.

— Ах, пожалуйста...

Он неловко уселся и помолчал.

— Ты хотел что-то сказать? — с нетерпением проговорила Марья Павловна.

— Да... я... видишь ты, что я хотел сказать: я хотел сказать... то есть я хотел просить тебя... подумай!

— О чем?

— Неужели все это так нужно, что ты делаешь?.. И неужели необходимо... портить и свою и чужую жизнь?

Марья Павловна пожала плечами.

— Послушай,— торопливо заговорил Дмитрий Арсеньевич, подымаясь со стула,— послушай, Маня, что я скажу: оставим это! — И, боясь, чтоб она не перебила его, продолжал, возвысив голос: — Я знаю, что ты скажешь, но погоди, погоди... В чем дело? Почему? Где логика?.. Ты сама сознайся, Маня, что тут и следа нет логики. Ты любила меня. Все, что ты требовала от жизни, я все старался давать тебе. Наши принципы были совершенно сходны... Нашу жизнь мы всегда устраивали с общего согласия, разумно и трезво. Вообрази же, что вдруг этот нормальнейший режим, эта рациональнейшая и трезвейшая постановка важнейших жизненных задач рушится без всякой видимой причины... Что это значит такое?.. Надо подумать об этом, Маня.— И снова, не давая ей говорить, продолжал: — Не думаешь ли ты, что ты больна? Тогда лечись, лечись, вызывай к себе какую угодно знаменитость... Ты хочешь жить в деревне? Живи; летом я буду приезжать, а ты живи, живи хоть круглый год... Ты оскорблена моим разговором с Сергеем Петровичем? Тогда я извиняюсь перед ним, даю ему какое угодно удовлетворение. Ты рассуди и подумай одно: странная и необъяснимая нелогичность,— отчего это? Ты говоришь, любишь... того и не любишь меня; ну, укажи ты мне причину, причину этой нелюбви! Я мог сделаться негодным человеком, лгуном, развратником — сделался ли я таким? Нет! Я мог сделаться уродом, пьяницей, хронически больным, мог поглупеть, одряхлеть — стал ли я таким? Нет и нет. Подумай наконец, что же это значит?.. Когда развитой человек как будто без причины сердится, он ищет причину и непременно находит ее: либо встал поздно и с головною болью, либо печень опухла, либо желчь разлилась. Поищи же причину! Ведь сама посуди, ты говоришь: дважды два — пять...

— Ах, оставьте меня, пожалуйста!.. Не знаю я этого... И ничего не хочу знать... Поймите вы, что я не могу, не мо-

гу так... Что вы меня мучите?.. Я знаю одно: вы были *такой* в моих глазах, а теперь *не такой*... Я вас очень уважаю, Дмитрий Арсеньевич, но жить с вами, быть вашею женой не могу,— понимаете ли? — не могу, не могу!.. И зачем нужны все эти объяснения?.. Вы, конечно, помните наш договор: не стеснять свободы друг друга. Помните?

— Но мы тогда подразумевали, что, может быть, не сойдемся характерами.

— Бог знает, что мы тогда подразумевали!.. Я помню одно: не стеснять свободы... Я не могу, не хочу быть вашею женой,— этого, кажется, довольно. Я вам говорю, что люблю другого,— неужели мало этого?

— Но ненормально, Маня...

— А! Ненормально? — в сильнейшем раздражении вскрикнула Марья Павловна.— Значит, по-вашему, нормальна подлость... нормально любить одного и принадлежать другому?.. Да что я вещь, что ли, Дмитрий Арсеньевич?

— Не вещь, но ты больная...

— Очень, очень гуманно!.. Ну, хорошо, вы согласны жить с такою женой, которая лжет по болезни, хорошо же! Я лгала перед вами,— слышали? — уже лгала... Я позволяла целовать себя... Я выслушивала признания в любви... Не дальше, как три дня тому назад, я сама целовала Сергея Петровича... и вот этими самыми руками (она высоко подняла свои руки) обнимала его, чужого, а не вас, своего законного мужа!

— Весьма жаль, что вы прибегли к этой отвратительной лжи,— с презрительною усмешкой сказал Летятин, весь вытянувшись и изменяясь в лице.

— Как видите, прибегла,— ответила Марья Павловна усталым, равнодушным голосом.

— Я действительно полагал иметь дело с честными людьми.

— Напрасно.

— С человеком, способным на такие низости, действительно лучше всего разойтись.

— Вот видите!

— Но как же вы смели, сударыня, заводить шашни, нося мою фамилию? — совершенно взбешенный закричал Летятин.— Как вы осмелились трепать в грязи мое имя?.. И еще имеете наглость указывать на какие-то договоры, на принципы!.. С развратницами один договор — гнать их из честного дома,— слышите ли? — гнать, гнать, гнать...

Марья Павловна сидела, не спуская глаз с мужа, и странно улыбалась будто чужою, заимствованною улыбкой С последними словами он выбежал из комнаты, крепко хлопнув дверью, она все продолжала сидеть, жалко улыбаясь. И когда в ее оглушенном сознании вдруг повторились упреки мужа, вдруг раскаленною струей поразили ее внутренний слух слова: «Развратница, шашни, трепать в грязи»,— она судорожно схватилась за горло и, побледнев, как полотно, без стона, без вздоха, без дыхания повалилась на пол.

Летятин уехал в ту же ночь, не простившись с женою. Оправившись от обморока и лежа в постели, она прочитала краткую записку от него: «В соблюдение приличий *я требую*, чтобы вы начинали дело о разводе. Издержки процесса брать на себя не намерен, ибо мне нужны деньги для сына. Весьма сожалею, что принужден был прибегнуть к резким обобщениям».

«Для сына... для сына...— растерянно пробормотала Марья Павловна.— Но неужели он намерен совершенно отстранить от меня Колю?.. Господи, что же это такое?»

Между тем Дмитрий Арсеньевич, сидя на мягком диване первоклассного вагона, мчался вдаль. Ему, несмотря на мягкие пружины дивана, было очень скверно, но зато «задача» помещалась в его последовательной голове с совершенно готовым разрешением. Развращенность Марьи Павловны — вот причина всего! Он просто не угадал ее темперамента. Теперь для него стали чрезвычайно ясны и ее скука, и ее пресыщения рациональною жизнью, и ее лихорадочные посещения балов, театров, концертов, спектаклей. Очень вероятно, что у ней и тогда, особенно за границей, были какие-нибудь амуры, но все-таки в столице, в среде культурного общества, она не решалась посягать на приличия; здесь же — эта дурацкая простота отношений, это мерзейшее захолустье и единственный знакомый, здоровый малый с румяною рожей и дикими идеями, и вот всего этого оказалось вполне достаточно, чтобы разнуздать ее темперамент. «Принципы! — с злобою восклицал Летятин. — Убеждения! Ах, вы...»

Впрочем, на курьерском поезде Николаевской дороги Дмитрий Арсеньевич встретил некоторых знакомых, которые очень ему обрадовались и сразу затеяли с ним интересный деловой разговор преимущественно о реализации новых бумаг, вышедших в то время. Эта встреча, а затем и во-

общие дорожные впечатления сделали то, что он по приезде в Петербург значительно успокоился. Не изменяя своего мнения о причине разрыва с женою, он сообразил, однако же, что из-за этого ему еще не следует приобретать репутацию отсталого человека. На отчаянное письмо Марьи Павловны о Коле он с достоинством отвечал, что, вероятно, ничто не воспрепятствует Коле провести будущее лето у матери, если она согласится жить летом отдельно от Сергея Петровича и если с Колей поедет брат Марьи Павловны, неженатый еще преподаватель ботаники в одном высшем учебном заведении. К сему он добавил, что дело о разводе предоставляет ее решению, готов даже в случае необходимости изображать из себя quasi-виновную сторону; в заключение же просил распорядиться, куда выслать ее деньги и вещи. В Петербурге, не прожив двух месяцев, он был снабжен поручениями в Берлин и в Лондон, где крупные и сложные операции одной финансовой сделки совершенно поглотили его, доставив ему в конце концов еще больший оклад и еще выгоднейшее место в банке.

Первые дни после отъезда мужа Марья Павловна чувствовала себя совсем плохо, и особенно плохо с тех пор, как решилась отослать мужу письмо, в котором молила не разлучать ее с Колей. Присутствие Сергея Петровича не давало ей успокоения; напротив, оно было даже неприятно для нее. Целыми днями она не уходила с террасы, защищенной маркизами от солнца, и целыми днями ничего не делала — не читала, не ела, не гуляла. Но зато, измученная своими мыслями, она скоро убедилась в их бесплодности и совсем перестала думать. И как только перестала думать, впечатления внешнего мира целительно начали влиять на нее. Звонкие голоса птиц, грозы с торжественными раскатами грома и ослепительным блеском молнии, запах цветов и деревьев, ясная лазурь неба, далекая песня в поле,— все это умиротворяло ее раздраженные нервы и незаметно вносило странный, какой-то снотворный покой в ее истерзанную душу. Спустя неделю она гуляла и, усталая, возвратившись домой, поела с небывалым еще аппетитом. Спустя еще неделю она согласилась поехать с Сергеем Петровичем на покос, и ей большое удовольствие доставили резвый бег лошади, запряженной в покойном шарабане, хорошее напряжение мускулов, когда она сама взялась править лошадью, и особенно лекарственный запах сухого сена, оживленные толпы баб и мужиков, с песнями метавших

стога,— весь этот праздничный вид дружной и веселой работы.

Ответ Дмитрия Арсеньевича окончательно восстановил ее счастливое настроение. Обезумев от радости, она тотчас же послала за Сергеем Петровичем и даже удивила его невиданным еще взрывом нежности и тем отсутствием грусти и слез, которые до сих пор омрачали их отношения. «Теперь вместе, вместе...— говорила она,— ради бога скорее... Зачем я живу в Лоскове? Я люблю твой хутор,— слышишь ли? — Я хочу быть хозяйкой твоего хутора... Завтра же перееду к тебе!» Но Сергей Петрович отклонил это; с разными недомолвками он уговорил ее подождать. Одна из причин отсрочки, в сущности, была вот какая: Сергей Петрович, встречаясь со своими знакомыми, везде рассказывал, что он женится на Летятиной и что не позднее месяца процесс о разводе ее с мужем, который тянется вот уже полгода, совершенно окончится. «Это стоило пропасть денег,— говорил он,— и только благодаря некоторым связям все кончается благополучно. Притом я должен сказать, что поведение Дмитрия Арсеньевича Летятина во всем этом деле очень, очень благородное». О другой причине несколько позднее узнала сама Марья Павловна.

Раз, катаясь по полям в своем элегантном шарабане, они увидали тяжело нагруженные подводы, тянувшиеся к ним навстречу. Подъехав ближе, Марья Павловна приметила, что впереди подвод шел конюх Сергея Петровича и что груз состоял из больших ящиков с надписями: «Сан-Галли», «Лизере», «Шредер»...

— Все благополучно, Сергей Петрович,— сказал конюх, останавливая переднюю лошадь и снимая шапку перед господами.— По квитанции все получено.

— Благополучно? Ну, хорошо, хорошо, ступайте.

— А как же, Сергей Петрович, значит, составлять прямо к дому?

— Да, да... ступайте! — и Сергей Петрович ударил вожжами лошадь.

— Это что же такое? — в недоумении спросила Марья Павловна.— Эти вещи от Сан-Галли?

— Невозможно же, Marie: у меня ведь возмутительная обстановка!

— Но, например, от Шредера — это, вероятно, рояль — у меня же есть рояль?

— Ну, что это! Я хотел иметь все самое хорошее...

А от Сан-Галли, например, что это в таком большом ящике?

– Это? Это необходимая вещь... Купальный шкаф.

– Но для чего же, Serge? — тоскливо воскликнула Марья Павловна: она припомнила, что ее жизнь с Летятиным начиналась именно такими покупками от Сан-Галли, Шредера и Лизере, и ей было очень неприятно это совпадение.

– Но, дорогая моя, повторяю тебе, что у меня ужасная обстановка.

– Напротив, у тебя так просто, так мило.

— Зачем же обходиться без вещей, к которым ты привыкла?

— Да ведь опротивел мне весь этот несносный комфорт!

— Нет, нет, не говори этого, Marie... Наконец, мне было бы очень неприятно, если бы ты, моя прелесть, моя несравненная красавица, очутилась в какой-то хижине дяди Тома. Вокруг тебя должно быть все хорошее, все изящное, все красивое!

– И даже купальный шкаф?

– И даже шкаф, потому что я хочу, чтобы ты всегда была свежая и здоровая. Ты знаешь, я настолько не согласен с Дмитрием Арсеньевичем, насколько он тяготеет к бюрократии и к этому противному культурному ритуалу... Конечно, это очень отсталые и даже возмутительные понятия, но раз мы решили приносить пользу деревне, мы этим не отказываемся от благ цивилизации. Я в этом случае прибегну к аналогии: представь, что это солнце есть цивилизация,— он указал рукою на облачное небо,— и представь, что есть страна, буквально покрытая разным сугубым мраком... Но в стране есть рефлекторы,— одним словом, мы с тобой и люди одинакового с нами... ну, хоть одинакового типа. Прекрасно. Вообрази теперь, что эти люди, или эти рефлекторы, как я их называю, собираются в одном месте и все испускают сильный свет. Понятно, они очень мало разгоняют темноту! Ведь они собрались в одном углу,— как же осветить большое пространство? И они совсем не разгоняют темноту, а светят только для себя самих. Прекрасно. И вот мы уходим из этого скопления в самую глубь темноты, в пучину, так сказать. Мы тоже должны во всем блеске отражать солнце-цивилизацию (он снова ткнул пальцем в небо), но свет, от нас падающий, будет, несомненно,

разгонять темноту, а не утешать только нас самих. Это теория справедливого распределения, друг мой!

— Но какой же свет от моего купального шкафа?

— Ах, Marie, так невозможно формулировать! Ты берешь подробности, частность, деталь!.. но нужно шире смотреть на вещи. Кто же в таких вопросах берет детали?.. И, пожалуйста, ты не возражай...— Он поцеловал ее руку.

Мария Павловна легонько вздохнула и, взяв у него вожжи, шибко погнала лошадь. Сильный ветер дул им навстречу, кругом, насколько видел глаз, расстилались желтеющие поля, волнуемые ветром; солнечный свет причудливыми пятнами ходил по ним, застилаемый быстро бегущими облаками. Вдали, у самого горизонта, неподвижно висела синяя туча и частый дождик сплошными длинными иглами спускался из нее на поля. Пахло землею, полынью, влажностью, и грудь легко подымалась, вдыхая этот славный, предвещающий дождливую погоду и грозу, запах. Марья Павловна жадно ловила свежую струю воздуха полуоткрытыми губами и глядела не нагляделась на поля, на синюю даль, на косые иглы далекого дождя, на прихотливые переливы света и теней, бродящих по полям... И в ответ всей этой свежести, простору, красоте,— в ответ этому здоровому разнообразию красоты,— в ней сильно и мужественно напрягалось непосредственное чувство жизни, самодовлеющее наслаждение жизнью,— то славное и здоровое ощущение, когда всеми мускулами, всем существом своим чувствуешь, что живешь и что каждое биение твоего сердца совпадает в один лад с неслышным биением великого сердца природы. И встреча с комфортабельными вещами на подводах незаметно исчезла из ее памяти.

В конце июля Сергей Петрович уговорил Марью Павловну съездить в Оренбург, где, по его словам, она могла увидать интереснейшие и оригинальные сцены, живо переносящие в самую глубь Востока. Там и сям он объявил под рукою, что едет венчаться с Марьей Павловной, так как бракоразводный процесс кончился. И, возвратившись из Оренбурга, они прямо проехали на хутор, как муж и жена. Крестьянам соседних деревень было выставлено по сему случаю соответствующее угощение. Из культурных людей уезда некоторые сделали визиты, к удивлению Марии Павловны: не посвященная в маневры Сергея Петровича, она приписала эти визиты успеху просветительных идей в провинции. Затем все пошло благополучно и своим порядком.

За всякими хлопотами Марья Павловна уже не могла аккуратно пить кумыс; да теперь, при взгляде на нее, любая знаменитость не нашла бы нужды в лечении,— так переменилась и поздоровела она, и такою здоровою живостью засветились ее глаза. Все подробности нового быта ужасно занимали ее. С раннего утра она ходила по хозяйству, заглядывала в людскую, в кухню, спускалась в ледник, бралась своими красивыми руками в шведских серых перчатках за грабли, заступ, лейку и целыми часами возилась в огороде и в саду. Ее изящную фигуру видели и на жнитве, и на возке снопов, и на молотьбе, и на пашне. Во все она всматривалась, обо всем любопытствовала, и все ей очень, очень нравилось. Она даже выучилась у Сергея Петровича управлять регулятором паровой молотилки и раз, не помня себя от восторга, прошла целый загон за рамсоновским плугом, необыкновенно наслаждаясь глухим звуком падающего на ребро пласта земли, крепким запахом разорванных корней и влажной подпочвы. Она порезала себе руку, пытаясь жать пшеницу; на возке снопов ей измазали дегтем прелестное платьице из китайской шелковой материи... Это были ее несчастия. Но зато как мило загорела она! Какую постоянную бодрость чувствовала она во всем своем теле! Как легко и ясно было у ней на душе! Она не любила сидеть дома и особенно не любила свою комнату; дома, и особенно в своей комнате, она видела признаки прежней своей жизни, и это отражение прежней жизни тяжелым и беспокойным бременем давило ее. Точно так же не любила она видеть и Сергея Петровича, когда он был одет в модную жакетную пару, в тонкую щегольскую рубашку с золотыми запонками, когда он по-модному причесывался с пробором, надевал свою шляпу от Брюно и лакированные ботинки с китайскими носками. Она даже не любила запаха чрезвычайно тонких духов, которыми он имел обыкновение прыскаться в торжественных случаях. Все, все это было в ее глазах признаками прежней жизни и все вносило беспокойство в ее душу, напоминало ей о том, о чем неприятно и горько было вспоминать. И напротив она любовалась Сергеем Петровичем, когда он в коротеньком пиджаке хлопотал около паровой молотилки или шел за плугом, который отчего-нибудь дурно работал в руках не привыкшего к усовершенствованным орудиям плугаря, или смело и ловко управлял молодым, только что объезженным жеребцом. Тогда его движения были особенно мужественны и свободны и казались воплощением

безусловной красоты. И никогда она не чувствовала себя так хорошо, как в то время, когда Сергей Петрович приезжал с поля, и по грубому стуку сапог в передней она узнавала, что это он, и вместе с ним врывался в комнату пленительный для нее запах сена, спелого хлеба, свежей земли и смелый, громкий голос, не привыкший стеснять себя, как стесняются голоса в гостиных, в министерских приемных и в будуарах светских барынь.

Впрочем, непрерывная череда веселых хозяйственных забот и хороших впечатлений деревенской жизни не утушили в душе Марьи Павловны великодушных мечтаний о помощи «несчастным людям». Но к удивлению своему ей не удалось еще встретить таких людей. Год был урожайный, и она повсюду видела оживленные лица, дружную работу с песнями и смехом, видела довольных людей. И к еще большему удивлению она видела, как к Сергею Петровичу заезжали иногда его соседи-землевладельцы и проводили целые часы в жалобах на необыкновенную дороговизну «рабочих рук», на избалованность, грубость, мошенничество, пьянство, леность, разврат рабочих, на дешевизну пшеницы, на отстутствие элеваторов и дешевого кредита, и вот из этих-то людей многие поражали ее своим несчастным видом. Но им она сочувствовать не могла. Правда, начиная с самого покоса, по дорогам Самарской губернии тянулись нескончаемые обозы войлочных кибиток и шли вереницы оборванных, изможденных, спаленных солнцем людей. У каждой деревни, у каждого поселения разбредались скуластые, некрасивые, старообразные женщины в войлочных шляпах, дети в ермолках, старики с оголенною бронзового цвета грудью и просили ради бога хлеба. Но, несмотря на их ужасный и подлинно несчастный вид, Марья Павловна не особенно стремилась помогать им, то есть она давала им хлеба, кое-что из платья, иногда деньги, но душа ее не загоралась жалостью и любовью к ним, потому что их лица, их костюмы, язык и обычаи были слишком чужды ей. К тому же хорошие цены на жнитво скоро прекратили это нищенство.

VI

Понятно, что Марья Павловна была посвящена в сердечные дела Федора и Лизутки. Это ее очень заинтересовало. Она немедленно познакомилась с Федором, то есть несколь-

ко раз заговаривала с ним о том, о сем, и постаралась расположить его к себе ласковым и вежливым обращением. Во время жнитва ей удалось повидать Лизутку и даже поговорить с ней, но, разумеется, поговорить о самых посторонних вещах. В другой раз, и тоже на жнитве, она успела уговорить Лизутку в первый же праздник прийти к ней, потому что выяснилось, что Лизутка знает много песен, а Марье Павловне любопытно записать эти песни.

— Да на что тебе наши песни? — спросила Лизутка.— Чай, ваши, барские, куда складнее.

— Уж надо, голубушка... Есть очень интересные у вас песни, и есть такие сборники, в которых их печатают. Вот и я хочу записать.

— Книжки печатают? Песельники? Я видала. Ну, что ж, спрошусь у мамушки... коли пустит, придем с Дашкой.

И Лизутка действительно в первое же воскресенье пришла с Дашкой на хутор. В этот день Марья Павловна была как-то особенно возбуждена и все поглядывала в окно, из которого виднелась дорога в Лутошки.

— Что ты волнуешься, Marie,— спрашивал Сергей Петрович,— и почему тебе пришла охота нарядиться сегодня в русский костюм?

— Гостей жду... Ты не угадываешь? Ах, какие любопытные гости!

— Не понимаю.

Она взяла его под руку и провела в маленькую комнату около своего будуара. Там Сергей Петрович увидал большие перемены: на зеркале было повешено расшитое полотенце; вместо унесенных низких кресел стояли белые скамейки из кухни; на столе, покрытом скатертью с красными петухами, лежали простые конфеты-леденцы, мятные пряники, помещался чайный прибор, заимствованный у прислуги. Ковра тоже не было в комнате.

— Решительно ничего не понимаю,— сказал Сергей Петрович.

— Жду к себе знакомых из деревни... хочу сближаться,— ответила Марья Павловна, застенчиво и счастливо улыбаясь.

— Лизавету? — догадался Сергей Петрович.

— Да, и ее подругу Дашу.

Сергей Петрович засмеялся.

— И ты думаешь, вы поймете друг друга?

— Отчего же? Разве они не люди?

— Люди-то люди, но мне всегда казалось, что они гораздо лучше понимают нас, когда мы не выходим из нашей роли.

— То есть как?

— Да так, что не нужно заигрывать перед ними. Вот ты русский костюм одела, зачем-то ковер приказала убрать, табуретки эти... Я бы, напротив, или принял бы их в передней, или на креслах посадил. Смотри — Федор: я знаю, он меня любит и доверяет мне, а смотри: я, если и посажу его, так у дверей. А между тем он меня любит.

— Но ты должен же уважать человеческое достоинство!

— Так тогда зачем же убрала кресла? Вообще не нам спускаться до них, а их подымать.

— Но ведь подымать в смысле образования, а не в смысле кресел и ковров.— Это, впрочем, не важно,— с нетерпением возразила Марья Павловна.— Я для того и сама оделась и здесь прибрала попроще, чтобы не сконфузить их.

— Но о чем же ты будешь разговаривать с ними? Ведь это мучительно с ними говорить! Понятия до того узки, язык до того беден, что просто слов не найдешь с ними.

— Поищу как-нибудь... Но, знаешь, какая прелесть эта Лиза! Мне ужасно хотелось бы с ней сойтись. Такая она естественная, такая простая.

— Попробуй, попробуй,— снисходительно усмехаясь, сказал Сергей Петрович.— Я так думаю, что у ней обычные качества деревенской девки: невероятная жеманность и невероятная дикость.

— Но как же ты можешь так говорить о крестьянке? Значит, по-твоему, Некрасов сочинил свою Дарью или Катерину в *Коробейниках* или Матрену Тимофеевну в *Кому на Руси жить хорошо*? И наконец, как же ты так отзываешься о деревенских людях, когда сам же всегда ратовал за деревню?

— О, милая моя народолюбка! Конечно Некрасов дал нам перлы, конечно... Но оправа, оправа нужна! — И, любуясь ее взволнованным лицом, он добавил: — Катерина — перл, а вот женушка моя — бриллиант в золотой оправе... О прелесть моя! — Он хотел привлечь к себе Марью Павловну и уже протянул было руки, чтобы обнять ее, но в это время появилась горничная и доложила, что «пришли лутошкинские девки».

— Просите, просите их сюда,— торопливо сказала Марья

Павловна.— Serge, пожалуйста, уйди, пожалуйста! — И она вытолкнула его за двери.

Девки вошли, громко стуча новыми котами, шурша лощеным ситцем своих рубашек, блестя лакированными поясами и бусами,— вошли, пересмеиваясь и подталкивая друг друга, и в замешательстве остановились у дверей.

— Здравствуйте, милые мои гостьи! — бросилась к ним, красная как кумач, Марья Павловна и, подумав мгновенно, что ей теперь делать, обняла первую девку, не разобрав даже, Лизутка это или Дарья, и поцеловала ее куда-то в верхнюю часть лица; с другою дело обошлось благополучнее: она поцеловала ее прямо в губы.

— Ну, что, вы пришли? Вот и отлично. Я очень рада,— бормотала она, без нужды переставанливая скамейки.— Садитесь пожалуйста, Лиза, садитесь, Даша!

— Да мы постоим: ноги-то у нас не наемные,— сказала Дашка.

— Ах, как это можно! Разве гости стоят? Пожалуйста, пожалуйста!

— Иди, что ль! — прошептала Лизутка, легонько подталкивая Дашку.

Та с напускною развязностью прошла к скамейке и решительно села на нее, манерно сложив руки на коленях. Лизутка поместилась рядом.

— Дайте нам самовар скорей, пожалуйста! — закричала Марья Павловна, бросаясь к дверям.— Ведь вы, конечно, покушаете у меня чаю?.. Вот, не угодно ли конфет, печенья... Пожалуйста!

— Чего это вы заботитесь-то об нас? Такие ль мы гости!

— Ах, нет, зачем вы это говорите?.. Я ужасно рада и благодарна вам, что вы пришли.

— Мы вот загрязним у вас,— ишь на нас обряда-то какая...

— Залетели вороны в высокие хоромы! — со смехом выговорила Лизутка.

— Кушайте, кушайте! — лепетала Марья Павловна, смущенная неприятным для нее направлением разговора, и, обращаясь к Лизутке, спросила: — Что, теперь легче вам? Деревенская страда уже кончается?

— Чего это? Чтой-то мне, барыня, невдомек...

— Вы, я хочу сказать, теперь уже кончили свою работу?

— Какая же ноне работа? Ноне праздник.

— Мы по праздникам жир нагуливаем,— подхватила

Дашка.— Кабы не праздники, никакой бы лошади не хватило на нашу работу.

— Нет, я хочу сказать, жнитво уже кончилось у вас?

— Кабыть скоро. Вот на вашей земле пшеницу кончали. Теперь на своей полоске осталась, да говорил батюшка, овес поспевает, с среды будем овес жать.

— Уж наше дело такое мужицкое,— вмешалась Дашка, протягивая руку к пряникам.— Перевернешься — бьют, и не довернешься — бьют.

— Как бьют? — в недоумении спросила Марья Павловна.

— А как же? Хлеб не родится — тяжко, и урожаю господь пошлет — тяжко. Ныне летом-то смоталась совсем! Лизутке-то что? Ейный отец татар еще нанимает на жнитво, а у нас все сами, все сами.

— Ох, девка, зато и хлопот с этими татарами: вот на хлёб-то они привередливы,— ну-ка, испеки ему неудачливо: залопочет...

Принесли самовар, и хозяйка стала угощать своих гостей чаем. Но тут ей опять пришлось перенести много трудного. Выпивая свои чашки, девки каждый раз опрокидывали их и в один голос благодарили за угощение,— приходилось убеждать и упрашивать без конца. Таким образом, все-таки они выпили втроем почти весь самовар и очутились все в поту: гостьи — от множества горячего чая, хозяйка — от непрестанного волнения и от старания, с которым приискивала в своей голове подходящие слова для разговора. И странное дело, Лизутка гораздо более нравилась ей там, в поле, простоволосая, в рубахе из грубого холста, в поддерганной юбке, нежели здесь, покрытая шелковым платочком ярко-зеленого цвета, в своей шумящей от каждого движения рубахе, подпоясанная лакированным поясом и в шерстяной малиновой юбке. «Зачем она мне стала «вы» говорить? — думала Марья Павловна в промежутках напряженного и медлительного разговора.— Ведь как выходило у ней просто и мило это слово «ты»... И лицо было гораздо, гораздо умнее и симпатичнее!» После чая она попросила их спеть что-нибудь; но с пеньем дело пошло еще труднее, чем с чаепитием: уж очень церемонились и робели девки. Они перешептывались, смеялись, закрываясь платочками, мигали друг другу, и уж долго спустя Дашка решилась первая. Невероятно тонким и пискливым голосом она затянула и таким же невероятно пискливым голосом подхватила Лизутка. Марье Павловне даже стыдно стало от фальшивых и смешных для нее

звуков песни. То, что до сих пор слышала она,— и в памятную для нее ночь провожанья Сергея Петровича, и в другое время,— глубоко ей нравилось и почти всегда хорошо волновало ее душу; но она никогда не слыхала деревенской песни так близко... И,— боже мой! — что это была за песня! Ей попадались народные песни в хрестоматиях; кроме того, она восторгалась в свое время песней «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка» в пушкинской *Капитанской дочке*; но у ней не подымалась рука записывать такую смешную и дикую чепуху, которую пели или, правильней сказать, визжали девки. Они пели:

...Всем начальникам — Москва честь-хвала,
Да разоренная Москва до конца,—
Разорил Москву франец Палиён,
Да Палиёнщик парень молодой,—
Нет заботушки за ним никакой...
Да только есть одна — Саша с Машей,
Да белалицаи и круглалицаи —
Лицо бело-набеленое, щечки алы-нарумянены...
Из конца в конец всю Москву прошли,
Краше Саши своей никово-та не нашли!

После этой песни Марья Павловна и упрашивать их перестала: она была совершенно обескуражена. На прощанье девки рассыпались в благодарностях за угощенье.

— К нам в гости милости просим,— говорили они, перебивая друг друга,— уж мы так-то рады будем... Мы и то говорим промеж себя: то-то барыня у нас простая!.. Что приветлива, что ласкова... Не токмо что гордится аль чваниться, а никакого благородства в ней нету...

— Как нет благородства? — вспыхнув, воскликнула Марья Павловна.

Но из дальнейшего увидала, что девки под «благородством» разумеют «барство», и успокоилась. То есть она успокоилась в значении этого одного слова, но все-то в совокупности произвело на нее впечатление живейшей досады и тоски. Стыдясь показаться на глаза Сергею Петровичу и своей прислуге, она заперлась у себя и пластом пролежала до вечера.

Ей досадно было на свою «глупость», на смешное и нелепое «сближение с народом», досадно было на Лизутку, на Дарью за то, что они были так безвкусно одеты, выбрали такую дикую песню и спели ее такими дикими голосами, и больше всего за то, что ей было с ними очень неловко

и отяготительно. Вечером, выйдя из своей комнаты и увидав в маленькой комнате около будуара все те же скамейки из кухни, то же расшитое полотенце на зеркале и на столе скатерть с красными петухами по углам, она ужасно рассердилась на прислугу и сделала ей строжайший выговор.

Между тем девки остались довольны своим посещением. Правда, вышли они из дома раскрасневшиеся и распаренные и долго вздыхали, отирая платочками свои полные лица, но все-таки им было очень весело. По дороге, в лощинке, их догнал Федор, и они со смехом и с увлечением стали рассказывать ему все подробности.

— Вот уж, Федюшка, сердце-то во мне упало,— говорила Дашка.— Как вошли это мы: так и блестит в глазах, так и блестит... Да на грех-то я глядь на стену, а со стены-то другая Дашка смотрит... Ах, чтоб тебя, думаю! А Лизутка-то, оглашенная, толкает меня, а Лизутка-то толкает...

— Как же тебя, идола, не толкать? — с хохотом сказала Лизутка.— Барыня лебезит, а она уперлась как ступа какая.

— Ну, а что барыня, как? — осведомился Федор.

— Чу-у-дная!.. Мы как вошли, она как облапит меня да чмок над бровью! Уморушки!.. Такая-то суета, такая-то лебезиха... И на месте не посидит: сидит-сидит, да словно иголки в нее, и-и замечется!

— Она — ничего, простая,— сказала Лизутка,— все угощала нас. Жамками угощала. Хочешь?

И они все трое принялись есть пряники и хрустеть леденцами.

— А одежа-то на ней и-их хороша!

— Словно по-нашенски! Бусы-то на ней, Дашка...

— И не говори, девушка... Я как гляну-гляну,— ах, хороши бусы! А вот песня-то, знать, не показалась ей: и записывать не стала... А уж мы ли не старались?.. Я, как заведу, заведу,— эх, думаю, была не была!

— А я что, Дарьюшка,— я, как ты взяла голосом-то, я и подумай: ну-ка барин разгневается, ну-ка заругается на нас... Вот, скажет, пришли, глотки разинули!

— А мне чего барин? Кабы я сама...

— Песни-то у вас куда плохи! — сказал развеселившийся Федор.— И что у вас, у девок, за модель плохие песни играть? Кабы она меня заставила, я бы ей сыграл.

— Ну, уж ты, бахвал!

— Чего? Я-то? А ну-ка...— И Федор, подхватив под руки девок, затянул высоким и сильным голосом:

Не былинушка во чистом поле зашаталася,
Зашатался, загулялся удал добрый молодец.
Пришатнулся, прикачнулся он ко синю морю,
Он воскликнул же, возгаркнул громким голосом,
Еще есть ли на синем море перевозчички...

«Эх-их, перевозчички да рыболовщички, добры молодцы! Перевезите-ка меня, братцы, на свою-то сторону...» — подхватили девки, и в ответ песне грянуло эхо за лесом, и побежал по широкому простору полей протяжный гул, медлительно и печально замирая вдали.

Только по окончании жнитва пришло письмо из нижегородской деревни. В нем содержался решительный отказ Федору. Выслушав от Сергея Петровича это письмо, Федор понурил голову и ничего не сказал, но зато вышел из дома темнее ночи. Господа же были вне себя от негодования. Марья Павловна хотя и не делала уже новых попыток к сближению с Лизуткой и не шла к ней в гости, но все-таки относилась к ее судьбе с живейшим участием. Сергей Петрович метал громы.

— Вот твои перлы! — кричал он.— Загубить счастье человека, надругаться над святынею его души — над любовью к женщине, это они могут всегда!.. Что теперь делать?.. Ведь как я писал, если б ты знала: камень бы расчувствовался... Кажется, все струны задевал... и могу похвалиться, что у меня превосходно вышло... Нет, это чертовски, чертовски возмутительно! Я просто боюсь за Федора. Я бы на его месте, конечно, наплевал на все эти запреты, но ведь у них рутина, традиции...

— Ах, Serge, за Федора действительно страшно! — встревожилась Марья Павловна,— смотри: он ни слова не сказал, но вид у него положительно трагический. Я даже думаю, не присматривать ли за ним... И пойди, сейчас же, сейчас же пойди, посмотри, что с ним!..

Сергей Петрович поспешил выйти, но, скоро возвратившись, сказал с некоторым разочарованием, что Федор, как ни в чем не бывало, строгает доски. Марья Павловна, однако не успокоилась.

— О, это ведь такие глубокие натуры, Serge! Помнишь, Бирюк у Тургенева или этот плотник у Писемского? Тоже плотник!.. И я положительно убеждена, что с Федором что-

нибудь будет в таком же роде... Знаешь, Serge, это наша обязанность помочь ему. Мы ведь понимаем безобразие этого явления и необходимо, необходимо должны что-нибудь сделать.

— Но что же мы можем?

— Ах, я не знаю что, но это необходимо. Ну, поговори с ним,— ведь ты умеешь с *ним* говорить,— убеди его наконец, что это безнравственно приносить в жертву жестокому отцовскому произволу свое и Лизино счастье. Надо действовать на его сердце... Невозможно же игнорировать такие явления.

— Я, пожалуй, позову его, но вряд ли...

Сергей Петрович опять позвал Федора и опять принялся его убеждать жениться без разрешения отца. Он много потратил слов и аргументов, затрагивал, как ему казалось, все струны, которые только подозревал у Федора, но Федор с тем же угрюмым и странно-равнодушным лицом повторял одно:

— Без родительского благословения никак невозможно, Сергей Петрович.

— Но поймите вы, что это безнравственно, что вы губите и себя и Лизу! — не выдержав, закричала Марья Павловна.

Федор исподлобья взглянул на нее и ни слова не ответил. Тогда принуждены были отпустить его и снова стали совещаться, как быть. Вдруг в голове Сергея Петровича сверкнул счастливый и великодушный план.

— Знаешь что, Marie? Мы, кажется, отлично это устроим,— сказал он,— мы вот как устроим: есть у меня в Ягодном двадцать одна десятина чересполосной земли; я продаю ее Федору и пусть вся его семья переселяется сюда. Возьму с него... ну, тридцать рублей за десятину возьму, и пускай их переселяются... А? Как думаешь?.. Деньги можно рассрочить... ну, хоть на пять лет... а?

Марья Павловна пришла в неописанный восторг.

— Милый мой! Как это ты просто и славно придумал,— говорила она, бросаясь ему на шею, и, немного успокоившись, продолжала: — И смотри, Serge, когда мы думали поправить дело чем-нибудь посторонним, у нас ничего не выходило; но чуть только явилась на сцену жертва — все выходит прекрасно. О, я именно всегда так думала!.. Ведь ты, конечно, приносишь жертву, продавая эту землю, и, признайся, она стоит вовсе не тридцать рублей?

— Как тебе сказать?.. Рублей шестьдесят-то, наверное,

стоит... Да, именно шестьдесят. Я-то, собственно, заплатил тридцать, но теперь удивительно быстро поднимаются цены. Именно, именно шестьдесят рублей стоит земля.

— Ну, так вот что, милый,— сказала она, положив ему руку на плечо и вся озаряясь умиленною улыбкой,— надо доводить дело до конца: ты уступаешь за половину цены, я же... я плачу тебе из своих денег... я хочу подарить Федору эту землю.

— Но зачем же, Marie... И притом ты знаешь, филантропия...

— Тсс... ни слова! Мы так счастливы... так все хорошо... Ну, одним словом, я хочу сделать счастье другим. Пожалуйста!

И растроганные до глубины души своим обоюдным великодушием, они обнялись, любуясь друг другом, и медленно целовались, забывая вспомнить о Федоре и Лизутке. Однако вспомнили и в третий раз послали за Федором. Он пришел на этот раз сердитый и с неприятною грубостью в голосе спросил:

— Что вам, Сергей Петрович? Мне недосуг: надо косяк прилаживать.

— Вот тебе барыня объявит,— сказал улыбающийся Сергей Петрович, лукаво посмотрев на Марью Павловну.

— Нет, нет! Сергей Петрович скажет вам! — вскрикнула она и стремительно выбежала из комнаты.

Тогда Сергей Петрович, стараясь изгнать из тона своего голоса всякую горделивость своим поступком, объяснил Федору, в чем дело.

— Итак, в Ягодном, Федор,— заключил он,— земля там прекрасная, есть вода, лесок... Пусть их переселяются. А Марья Павловна дарит тебе эту землю. Я, собственно, хотел взять половинную цену — тридцать рублей; не правда ли, что это очень дешево, Федор? И притом, я еще хотел на пять лет рассрочить уплату... ведь это, согласись, было бы очень хорошо, Федор, для тебя и для твоего отца? Марья Павловна так добра, что дарит тебе эту землю... а? Как думаешь? Я думаю, это так прекрасно для тебя, что я, пожалуй, завтра же поеду к Ивану Петрову сватом... а? Как думаешь?

— Это как же, Сергей Петрович, в вечность али как? — недоумевая, спросил Федор.

— Ну, да, да, в самую полную вечность. Ты можешь ее заложить, передать по наследству детям. Одним словом, как хочешь. В полное твое распоряжение.

Федор подумал и сказал:

— На этом благодарны... Вечно будем бога за вас молить.

- Так как же, ехать сватом?

- Уж и не знаю... Значит теперь чтобы старик переселился сюда, в Ягодное?

– Да, да, непременно. С тем только и земля дается.

- Уж и не знаю...

— Да чего же ты не знаешь, чудак? Ведь даровая земля, пойми ты это, с водою, с лесом... Что же ты не знаешь?

— Господи, аль я ворог какой себе?.. Я бы радостью рад... Вот родитель-то как вздумает!

— Не дурак же он, твой родитель! Живете там черт знает на каких болотах и вдруг — даровая земля, чернозем!

— Это уж что говорить... вечно бога молить за вас и за барыню. Только вот пчелка у него там, садишко...

— Ну, извини, Федор, это черт знает что такое! Пойми ты, что двадцать одна десятина чернозема!

– Как не понять... мы вам по гроб жизни... А все ж таки письмо бы, Сергей Петрович, родителю...

- Отлично. Мы, значит, будем с тобой переписываться, по месяцу ответа ждать, а Лизу тем временем и просватают за другого. Превосходно, Федор!

Федор тяжко вздохнул и покрутил головой.

— Так как же? — Сергей Петрович в раздражении закурил папиросу и принялся большими шагами измерять комнату. – Ну? – спросил он, останавливаясь и сердито взглядывая на молчаливого Федора.

– И ума не приложу, Сергей Петрович.

- Ты пойми, пожалуйста, вот какую вещь. Ну, теперь не позволяет тебе старик жениться — у него еще могут быть резоны; тем более отпустить тебя в зятья: ты один работник, можешь не высылать денег и тому подобное. Но у него совершенно нет резонов отказываться от превосходной даровой земли... Ты скажи, так ли я говорю?

– Это верно, что он опасается.

– Если же он переселится, ведь никаких не будет тогда опасений? Ну, скажи: никаких? Ведь ты будешь с ним жить, не так ли?

— Ужели же не с ним!.. Мы бы тут зажили вот как!.. И садик можно развесть, и пчел, и огородец бы завели... Только бы и заботы – бога молить за вас да за барыню.

– Вот видишь ли. Теперь, если мы будем снова писать

ему об этом, посуди сам: он промедлит с ответом месяц, вот тебе уж сентябрь на дворе. А Иван Петров ждать ведь не станет!

— Чего уж ждать! — с внезапным оживлением заговорил Федор.— Кабы не это делю, он прямо бы за Мишаньку Арефьева ее просватал. Теперь узнает — того гляди, пропьет за Мишаньку.

— Может, Лиза за него не пойдет, будет тебя дожидаться?

— Да ведь кто ее... Малого тоже хаять не приходится.

— Черт знает, какая у вас такая любовь странная!.. Ну, ты, однако, думай.

— Вот что, Сергей Петрович,— решительно сказал Федор,— сколько письму идти, ежели без замешки?

— Как? Туда и обратно? Дней семь, восемь.

— Ну, прошу я вас: пишите письмо. И как вы сделали нам такую милость,— вечно будем бога молить за вас и за барыню, – то пропишите об земле и какие на ей угодья... Пуще всего насчет сада пропишите, что возможно сад развесть, – старичок-то редкостный охотник!.. И одно, ради Христа, прошу я их переселяться. Ежели батюшке покажется, пусть в ту же пору отпишет... Арефьевы-то тянуть не станут!.. А я, как есть их сын, посылаю земной поклон и прошу родительского благословения... И матушке пишите, что, мол, слезно просит Федор... и насчет воды пропишите, что, мол, прудок... для уток, мол, способно... и прошу благословения навеки нерушимые. А сестре надо одно написать — пусть чтоб не смущала... и вы так еще напишите,— они, бабы, до этого завистливы,— грибов, мол, сколько хочешь и притом — ягоды. А насчет ребят пускай не сомневается... и Христом богом прошу, чтобы родителей в беспокойство не вводила.

— Грамотный твой отец? Нет? Ну, если он под рукой писаря не найдет и поэтому не скоро ответит? А мы с тобой будем ждать?

— Эх, была не была! — подумав, сказал Федор.— Ежели через семь дён ответа не будет и ежели такая милость ваша — соглашаетесь быть сватом (он низко поклонился), прошу я вас переговорить об эфтом деле. Как от даровой земли отказаться? Аль она на дороге валяется?.. Люди бьются-бьются из-за ней, а тут — на тебе, готовенькая!

Письмо было написано; и с тем же одушевлением, с которым расхваливал Сергей Петрович Лизу и всю ее семью

в первом письме, он расхвалил и расславил свою землю в Ягодном, не забыв упомянуть о прелестном месте для сада, о грибах, о необыкновенном множестве клубники и о замечательном приволье для уток.

Федор вышел от барина в каком-то тумане. Радость боролась в нем с беспокойным раздумьем. Он почти вслух убеждал себя, что никак невозможно отказаться от даровой земли, что невидано и неслыхано отказываться от земли и что отец непременно согласится на переселение. Убеждал себя почти вслух, потому что он чувствовал, что не совсем уверен в этом, и ему нужно было заглушить свои сомнения. И особенно тревожили его эти сомнения, когда он вспоминал свое село на берегу реки, впадающей в Волгу, избы, потонувшие в садах, вырезные коньки на тесовых кровлях, старую приходскую церковь, в расщелинах которой зеленел мох, и широкое раздолье заливных лугов, куда он, бывало, езжал в ночное.

«Ах, вряд ли согласится батюшка!..— шептал он, ворочаясь ночью на своем тоненьком войлоке, и долго спустя прибавил: — А может, господь даст?..» И не было в нем полной радости, когда он останавливался на последней мысли, и не было полной печали, когда останавливался на первой.

VII

Через семь дней ответа на письмо не получилось, и Сергей Петрович объявил Федору, что едет сватать. Федор согласился на это без особой решимости; даже, как показалось Сергею Петровичу, с необыкновенною вялостью и безучастием. Но Сергей Петрович и Марья Павловна настолько были увлечены новою для них процедурой сватовства и настолько были уверены, что «делают счастье» Федора, что не обратили никакого внимания на его настроение, разве что немножечко подосадовали. Гораздо более их занимал вопрос, как ехать Сергею Петровичу: парадно ли или просто, – и после долгих разговоров с ссылками на «литературу предмета» решили, что парадно, но «не выходя из своей роли». Запрягли тройку лошадей в наборную сбрую; Сергей Петрович оделся, как одевался для визитов; кучер натянул плисовую безрукавку, надел шляпу с павлиньим пером и голубую рубаху, и Сергей Петрович торжественно пустился в путь, сопровождаемый пожеланиями Марьи Павловны, лю-

бопытными взглядами плотников и всей дворни. Один Федор не вышел проводить барина и даже не поглядел на сборы· сосредоточенно и серьезно он делал давно обещанный валек кухарке Матрене.

Был праздник, и народ, гулявший по улицам деревни, немало изумился, когда звенящая и сверкающая наборною сбруей тройка Сергея Петровича остановилась около избы Ивана Петрова. Весть о сватовстве быстро, однако же, обежала улицу, и толпы ребят, девки, бабы двинулись к избе Ивана Петрова. Когда тройка подъехала к избе, Иван Петров сидел на завалинке рядом с маленьким седеньким старичком, Степаном Арефьевым из Лоскова.

— Я к тебе в гости, Иван,— сказал Сергей Петрович, выпрыгивая из коляски и быстро подходя к мужикам.

Его уже начинала смущать многолюдная улица и особенно ребята, с шумом бегущие к избе. Мужики встали, приподняли шляпы, Сергей Петрович тому и другому неловко сунул руку. В избе хлопнуло окошечко, на мгновение показалось в нем лицо Лизутки, затем послышались ее торопливо удаляющиеся шаги и резкий стук двери.

— Вот, кум, до каких времен дожили,— сказал усмехаясь Степан Арефьев,— баре к мужикам стали в гости ездить.

— Отчего же не ездить? — спросил, косясь на него, Сергей Петрович.— Мы соседи.

– Это что говорить: знамо, суседи!.. Кум-то, може, не помнит, а я-то помню еще: хоро-о-ший сусед жил около нас...

— Кто старое помянет, тому глаз вон. Ты ведь знаешь это?

— Как не знать! Да я разве колю тебя? Я ведь так, к слову пришлось. Я насчет того — баре-то ноне обходительны. Вот у Кочетковских такой-то недавно проявился... То-то обходителен, то-то ласков; а к чему дело довелось: двести десятин лесу оттягал! А то давай бог, давай бог!.. Ну, я пойду, кум Иван! Наша конпания, видно, тебе не под стать. Пойду, може, как-нибудь тройку с бубенцами подберу... Хе, хе!

– Да ты будет язвить-то, Степан Савельич,— сказал Иван Петров.— Чего подкопы-то подводишь? У нас гости все равны. Иди-ка в избу.

Но Арефьев торопливо раскланялся и мелкими шажками пошел к плетню, около которого была привязана его лошадь.

— Экая заноза этот кум Степан, – проговорил Иван Пет-

ров,— уцепился в человека точно зубом! — И он весело и насмешливо посмотрел на Сергея Петровича.— Ну, что ж, Сергей Петрович, коли в гости — просим милости в избу. Мы гостям рады... Чего не видали, пострелята! — сердито огрызнулся он на ребят, присыпавших к избе.

В избе, кроме Митревны, сидевшей подгорюнившись около печки, никого не было. Но стол был покрыт чистою скатертью, на нем лежала коврига пшеничного хлеба и стоял штоф водки с зеленоватым стаканчиком. Митревна, не отымая ладони от щеки, медленно встала, низко поклонилась Сергею Петровичу и на тихие слова мужа тотчас же вышла, принесла нарезанную ветчину на деревянной тарелке, с поклоном поставила ее против Сергея Петровича и снова уселась около печки.

— Ну, что ж, Сергей Петрович, выпей с дорожки-то!

Иван Петров налил стакан и, поднявшись с места, поднес его гостю. Сергей Петрович взял стакан и сразу вылил себе в рот, торопясь проглотить и обжигаясь. «Черт знает, какая гадость!» — подумал он, с усилием сдерживая гримасу, и тут же вспомнил, что, по обычаю, ему не следовало пить первому. «О, черт возьми!» — рассердился он на себя и вдруг ему захотелось как можно скорее отделаться.

— Я к тебе по делу, Иван Петров,— сказал он, отодвигая тарелку с ветчиной и облокачиваясь на стол.— Ты знаешь, я дарю Федору свою чересполосную землю в Ягодном.

— Так-с.

— Это очень выгодно для Федора и вообще это отлично устраивает его судьбу. Ты как думаешь?

— Наше дело сторона, Сергей Петрович. В своем добре всякий волен... А наших тут делов нету.

Нет, ты понимаешь, что я хочу сказать? Я хочу, чтоб он женился на твоей дочери.

— Как так, чтоб женился? — нахмурившись спросил Иван.

— У нас девка, чай, не безродная какая,— оскорбленным тоном вмешалась Митревна, быстро выпрямляясь и недружелюбно взглядывая на Сергея Петровича,— у ней отец с матерью есть. Вламываться в чужие дела кабыть не пригоже.

— Но какие вы странные!.. Я вовсе не вмешиваюсь. Вы меня не поняли... Я просто сватаю за Федора.

— Помолчи,— коротко сказал Иван Петров жене и обратился к Сергею Петровичу: — У нас девка на выданье, об-

этом что говорить. Ты ли сватаешь, другой ли кто,— мы милости просим. Только тут не подходящее дело, Сергей Петрович.

— Чем же не подходящее?

— Малый нам неизвестен.

— Принесла откуда-то нелегкая, прости господи, из-за тридевять земель...— вступилась было Митревна.

— Помолчи, Агафья,— остановил ее Иван.

— Но как же неизвестен, когда сам же ты собирал о нем справки?

— Какие такие справки?

— Да сколько он зарабатывает, какого поведения и тому подобное.

— Это я верно, что спрашивал у вашей милости. Но только отдавать за чужака мы не согласны.

— Какой же чужак? Ведь я русским языком говорю тебе, что дарю,— слышишь ли? — дарю ему землю в Ягодном.

— Что ж земля, Сергей Петрович? Землю можно продать — и поминай как звали.

— Невозможно продать. Я дарю только с тем, что он женится на Лизе и вся его семья переселится сюда.

— На этом много благодарны. Но как же теперича семейские его — согласны переселяться?

— Разумеется, согласны... Еще бы!.. То есть, собственно говоря, от них еще не получено ответа, но как же сомневаться? Ты сообрази: даровая земля, чернозем!

— Так-с...— И Иван Петров с непроницаемым выражением на лице побарабанил пальцами.

— Двадцать одна десятина! — кипятился Сергей Петрович, вскакивая с лавки.— Вода! Лес! Грибов одних сколько!

— Землю мы знаем.

— Ну, согласись сам, как же отказываться от такой земли? Ведь это надо быть дураками, идиотами!

— А, значит, касательно переселения ответа еще не было?

— Да что тебе в ответе, Иван?..— И, оскорбленный недоверчивостью Ивана, взволнованный ожиданием отказа и желанием спасти от неминуемого крушения свои и Марьи Павловны планы, Сергей Петрович решительно произнес: — Наконец Федор прямо заявляет, что если отец на переселение не согласится, он идет к тебе в зятья.

— А как же насчет земли? Земля, значит, останется ни при чем?

— Но ты сам желал взять его в зятья... О земле тогда речи не было! — воскликнул Сергей Петрович.

— Ежели без земли, мы и здесь женихов найдем,— сухо ответствовал Иван.

— Чтой-то ты, Петрович, в самом деле? — опять вмешалась Митревна.— Чтой-то Лизутка-то у нас... Перестарок какой?.. Гляди, с людьми сколько годов хлеб-соль водили... Кум Степан пороги все обил. Аль неволя за первого встречного отдавать?

— Твое дело впереди, помолчи.

— И сватаются-то не по-людски,— не унималась Митревна.— Барское ли дело в сватах ходить?

— Хорошо,— сказал Сергей Петрович, страшно сконфуженный ядовитым замечанием Митревны и давно уже утративший необходимую трезвость мыслей под влиянием стакана отвратительной водки и отвратительной неловкости своего положения,— хорошо: если вы согласны отдать Лизу за Федора, я дарю землю... Я даже сделаю так: сделаю дарственную запись на имя Лизы, то есть хозяйкой земли будет Лиза. Но это в таком случае, если Федоров отец не согласится на переселение. Надеюсь, теперь все отлично?

Иван подумал.

— Как, Агафья, а? — спросил он.

— Что ж как? Мне замуж нейти. Спроси девку. Ноне матерей-то не больно слушаются.

— Ин, поди, спроси ее... Где Лизутка-то?

Митревна, вздыхая и бормоча какие-то неблагосклонные слова, удалилась из избы.

— Ну, сват, выпьем, что ли! — сказал развеселившийся Иван.— Девку ты у меня выхватил вот как... Из рук выхватил. И не чаял я быть ей за Федором... Ну, судьба! Недаром говорится: «Суженого-ряженого конем не объедешь».— И прибавил с легкою насмешливостью: — Да как ведь и свату-то такому отказать!

В согласии Лизутки, по-видимому, никто не сомневался; и действительно через несколько времени вошла заплаканная Митревна и объявила, что Лизутка «из родительской воли не выходит» и что Федор ей «не противен».

Сергей Петрович выехал из деревни совершенно отуманенный. Голова его была тяжела как свинец и кружилась. Во рту стоял противный вкус сивухи. За всем тем он доволь-

но отчетливо припомнил подробности сватовства и даже струсил, что наобещал от имени Федора то, на что Федор никогда его не уполномочивал. «Невозможно же, черт возьми, чтоб отказались от даровой земли!» — утешал он сам себя, подъезжая к хутору, и в нем возникло было легкомысленное намерение скрыть от Федора, что он должен идти «в зятья». К счастью, он вспомнил, что Иван Петров, провожая его, обмолвился такими словами: «Как-никак, а надо бы с малым переговорить... чтоб без сумления!» Приехав, он тотчас же позвал Федора и нетвердым языком сказал ему:

— Ну, поздравляю. Можешь венчаться, когда захочешь.

— Как же, Сергей Петрович, соглашаются? — спросил просиявший Федор.

— Э, брат, это история, тово... сложная история. Одним словом, землю я дарю. Или пускай переселяются, или ты идешь в зятья, и я землю дарю твоей невесте... Вот как, брат! Дарю, дарю во всяком случае.

— Как так в зятья, Сергей Петрович?! — воскликнул встревоженный Федор.

— Ну, уж, брат, в зятья! Ничего не оставалось делать. Этот твой будущий тестюшка такая, я тебе скажу, шельма... И старичишка еще язвительный вертелся тут... Как его? Арефьев, что ли?

— Да ведь невозможно, Сергей Петрович.

— Вздор, вздор. Одним словом, поздравляю. И дарю землю.

— Э-эх, братцы мои! — Федор с сокрушением почесал затылок.

— Да не откажетесь же вы от даровой земли, черт бы вас всех подрал! — с негодованием закричал Сергей Петрович.

— Так-то так...

— Ну, стало быть, нечего и разговаривать. Ступай! Хлопочешь тут за вас, стараешься...

— Я бы, вы сами знаете...— оправдывался Федор.— Я уж и не знаю, как благодарить вас, Сергей Петрович,— и, подумав мгновение, тряхнул волосами и сказал: — Ну, значит, дело сделано, семь бед — один ответ... Будь по-вашему, Сергей Петрович.

Марья Павловна гуляла, когда приехал Сергей Петрович. Возвратившись и услыхав, чем кончилось дело, она хохотала как безумная и была необыкновенно рада. Она теперь твер-

до убедилась в благополучном завершении своего великодушного плана и не могла понять, отчего Сергей Петрович все-таки беспокоился.

— Но Федор же согласился?

— Н-да, но знаешь, есть в нем какой-то червь... то есть, понимаешь ли, червяк какой-то.

— Притом это ведь в решительном случае? От земли, ты говоришь, не откажутся?

— Помилуй, даровая земля... Грибы... Утки!

— Да и я думаю: совершенно неестественная вещь крестьянину пренебречь землей. Везде такое малоземелье, и притом, ты говоришь, болото там, где они живут?

— Совершенное болото! Понимаешь ли, кочки этакие и травка, травка... Это сделано... Тпфу! Доказано статистикой... нижегородскою статистикой.

Возбужденный вид Сергея Петровича и его заплетающийся язык очень подходили к веселому настроению Марьи Павловны; целый вечер она смеялась над ним и, шаловливо путая ему прическу, повторяла:

— Сват, сват!.. Настоящий сват!

Весь август, а затем и половина сентября прошли, а между тем Федору не приходило ответа. Насчет свадьбы все было решено, обо всем Иван Петров переговорил с Федором основательно. Вместо обычного в таких случаях «пропоя» они скромно распили полштоф в кабаке. Но с Лизуткой Федор виделся уже гораздо реже: Митревна почти не отпускала ее от себя. Правда, по воскресеньям Лизутка, как и прежде, выходила «на улицу», но там около нее неотступно торчала меньшая сестренка и по приходе домой обо всем рассказывала матери. Ближе к осени в Лутошках пошли слухи о других свадьбах. «На улице» стали иногда «обыгрывать» женихов и невест; у иных невест собирались уж вечёрки. И хотя во дворе Лизутки вечерок не собирали, а следовательно, Федор и не мог бывать на них, но ему пришлось все-таки выслушать от девок песни, с которыми провожают жениха с вечерок. Играли они ему и «Розан, мой розан, виноград зеленый», и «Вьянули ветры по полю, грянули веслы по морю», а затейница и песенница Фрося припомнила старую забытую песню: «Не разливайся ты, тихий Дунай»...

Митревна все время была не в духе. Не то что ей не нравился жених, но ей все как-то не верилось, что он останется в Самаре. Затем он все-таки оставался для нее чужим че-

ловеком: и повадка, и речь его, и манеры одеваться в синюю рубаху, в «пинжак»,— все ее смущало. Не знала она ни родни его, ни «породы», зная которую можно было бы с уверенностью сказать: «У них в роду пьяниц не было», или: «Ихний и род-то весь непутевый». За Федором же стояла темнота. Кроме того, претило ей, что дело делается «не полюдскому»: свататься приезжал барин, не было «пропоя», не указал Петрович быть вечеркам, медлили для чего-то собирать «подневестниц» для шитья и, главное,— о «сговоре» ни Федор, ни Петрович не говорили ни слова. Да какой же и сговор, коли Федор один как перст здесь? Ни родни, ни знакомых. Не звать же господ на сговор,— это уж совсем «люди осудят». Митревна часто вздыхала, поглядывая на свою девку, и слезинки незаметно капали из ее глаз. И часто мысли ее обращались к Мишаньке Арефьеву: «Эдакий тихий да работящий парень! — думала она.— И чем бы не взял? То ли ростом, то ли дородством, то ли из лица не вышел?.. И все-то бы по обычаю, все-то бы не на смех людям... И род-то весь известный, и знакомство сколько годов водили, а теперь, поди, вот: просватали невесть за кого! У людей игры, вечерки, а у нас — стыда головушке! — ровно как таимся, ровно как хоронимся от людей».

— Петрович,— решилась наконец она сказать, оставшись одна с мужем,— ты бы поговорил нареченному-то: негоже эдак без роденьки!

— А чем негоже?

— Да будто не по-людски. Чтой-то воровским обычаем делаем!.. У людей игры, вечерки, а у нас и про «сговор» не слыхать, когда будет. Пускай бы хоть родители приехали.

— Поедут тебе киселя хлебать.

— Ну, сестра у него... Хоть бы сестра приезжала, авось ничего с ней не стрясется!.. Зазорно эдак-то, Петрович. Уж и спрашивают, спрашивают, а я и сказать не знаю что. Живем на миру, хорониться-то словно бы нехорошо. Пра, поговори.

Иван Петров про себя согласился с женой и при первом же случае «поговорил» с Федором.

— Это мы живым манером оборудуем! — нимало не задумываясь, ответил Федор и, не смущаясь тем, что еще не получил ответа о «даровой земле», попросил господ написать новое письмо, где приглашал к себе «на сговор» и на свадьбу родителей и сестру и послал для этого двадцать рублей денег.

Вообще с самого времени сватовства мысли Федора заметно изменились или, правильнее сказать, изменилось его настроение. Он почувствовал в себе какую-то свободу, смелость, и чем дольше не приходило ответа, чем меньше становилось надежды на родительское согласие, тем свободнее и смелее делалось его настроение. Бесповоротно решенное без его участия дело о сватовстве, казалось, сразу уничтожило его зависимость от нижегородской деревни, порвало его связи с нею и вместе с тем вознесло на большую высоту его помыслы о личной своей судьбе. Даже господа заметили, что Федор стал каким-то легкомысленным. Это проявлялось и в мелочах: прежде, разговаривая с Сергеем Петровичем о постройке, Федор стойко и дельно высказывал свое мнение и решительно всегда заставлял Сергея Петровича соглашаться с собой. Теперь, напротив, стоило Сергею Петровичу выразить свои взгляды, и Федор поспешно соглашался с ними. Очень часто от этого быстрого соглашения по постройке происходила нелепица. И тогда Сергей Петрович сердился и на себя, и на Федора. Федор же подобострастно извинялся и с преувеличенною готовностью исправлял нелепицу. Сергей Петрович находил, что Федор удивительно изменился к лучшему, и если он кажется немного легкомысленным, то лишь оттого, что стал кротче, мягче, уступчивее. «Вот в чем сказывается благотворное культурное влияние женщины!» — говорил Сергей Петрович. Марья Павловна не соглашалась. Она откровенно говорила, что Федор казался ей гораздо, гораздо умнее и самостоятельнее, но прибавляла к тому, что, конечно, это все пройдет, потому что ясно как день, что страстная любовь к Лизе сделала его таким. «Ему теперь ни до чего нет дела, кроме любви, заполонившей все его чуткое, отзывчивое существо!» — говорила Марья Павловна.

С хлебом почти убрались. Бесчисленные «шкирды» пестрили господские и купеческие поля. Около деревень день ото дня вырастали островерхие клади. На гумнах и на выгонах лошади топтали снопы, как, вероятно, топтали они их во времена Геродота. В версте от хутора с утра до ночи торжественно гудела и лязгала поршнем паровая молотилка. К Волге тянулись обозы с рожью и пшеницей. На пристанях кипела работа, без конца сновал оборванный, опухший, отчаянный люд с кулями за спиною. Караваны барок нагружались и уходили вверх по Волге, и далеко разносился по ее берегам непрерывный угрюмый рев буксирных паро-

ходов. Воздух прояснялся все больше; по утрам стояли чувствительные холода, и леса багровели, желтели, роняли лист.

VIII

Марья Павловна первый раз во всю свою жизнь проводила осень в настоящей русской степной деревне. И эта осень странно и приятно раздражала ее нервы, прихотливо изменяла ее настроение. Никогда она не чувствовала себя бодрее и вместе с тем никогда не чувствовала такой сладкой грусти, такой сладкой потребности слез и меланхолического раздумья. На народе, в виду суеты рабочих на молотилке, слушая веселый скрип телег с возами пшеницы, вдыхая в себя здоровый и сытный запах хлеба,— ей было так хорошо и такой призыв к делу, к движению чувствовала она... И вдвоем с Сергеем Петровичем ей было хорошо. Но случалось, что она уходила далеко в поле, подымалась одна на возвышенности, гуляла в лесу, и тогда тихая печаль ее преследовала. Вот видела она, что равнина лежит перед нею пустынная, обнаженная, и как-то необычайно широко раздвинулись дали, зовущие к себе, уходящие без конца... И нет человека во всем пространстве. И долго, долго безмолвствует над нею прохладная бледно-голубая высь, бывало, вся звенящая голосами певчих птиц и теплая, как чье-то близкое дыхание... Долго безмолвствует, пока в высоте, недоступной глазу, послышится звук, напоминающий отдаленный звук трубы, и протяжно, торжественно, унылыми переливами поплывет над окрестностью. Это летят журавли. И Марья Павловна долго всматривалась в сторону их однообразного «турлыканья» и замечала наконец черные точки, медленно, правильным треугольником подвигающиеся к югу... И простор обнаженных полей казался ей еще более значительным и унылым, синяя даль еще неотступнее звала к себе.

Леса были красивы в пестром разнообразии своей листвы. Березы походили на янтарь; липы оделись багровым цветом; дуб был точно из старой, потускневшей бронзы... Но запах увядания, запах тлеющих листьев, подобный запаху вина, странная разреженность внутри леса — широкие просветы там, где прежде была густая тень, придавали красивому лесу характер тихого и меланхолического прощания с жизнью.

И, однако, этот умирающий лес, этот безлюдный и бесшумный простор полей, эти широко разверстые дали влекли к себе Марью Павловну, влекли тою сладостью грусти, для которой не было у ней объяснения. Подолгу просиживала она где-нибудь на возвышенности или на опушке леса, охватив руками колени, не замечая слез, обильно текущих по лицу, безропотно отдаваясь наплыву меланхолических впечатлений. Чего ей недоставало, о чем она плакала — она сама не знала; она была счастлива; она любила жизнь и людей, среди которых жила. И все-таки тесно было ее душе; она чувствовала, что *зовет* ее куда-то. Кто зовет — она не знала. Временами ей хотелось определить это состояние безотчетной грусти. И она принималась думать. Она нарочно воображала о Дмитрии Арсеньевиче, о Коле, о своей прежней жизни. Но ведь знала же она, что прежняя ее жизнь была хуже, пошлее, бесцветнее теперешней ее жизни; что Коля приедет с братом и проживет все лето, наконец она может хоть завтра же ехать и повидать его; что Дмитрий Арсеньевич преуспевает и вообще очень благополучен. Все она знала, и в этом не могла скрываться причина ее грусти. И потому еще не могла скрываться в этом причина ее грусти, что тогда не было бы в ней сладости, не вызывала бы она таких тихих, незаметно текущих слез. И не могла объяснить Марья Павловна, что́ с нею, что́ с ее душою.

Нельзя сказать, что Марья Павловна стала добрее — она и так была добра; не то что отзывчивее — она и так отличалась чрезмерною отзывчивостью,— но стала душевнее, сердечнее, мягче. Задумчивость, часто набегавшая на ее черты, придавала им особую кротость; и все-то ей хотелось сделать что-нибудь необыкновенно хорошее, и все-то ей казалось, что она накануне этого «хорошего» и живет теперь так себе, пока — живет хорошо, счастливо, но не со всею полнотой.

Раз, перед вечером,— Сергей Петрович только что на целую неделю уехал на пристань,— Марья Павловна возвращалась домой с своей обычной прогулки и, подходя к хутору, оглянулась: ее нагоняла телега. Она посторонилась с дороги, ответила на поклон мужика, правившего лошадью, и женщины, покрытой темненьким платком, одетой в полушубок и в набойчатый синий сарафан. И лицо женщины поразило ее: такое оно было унылое, сосредоточенное, с глубокими впадинами около глаз и скорбным выражением на вдавленных, крепко сжатых губах. Около женщины си-

дели дети — мальчик лет семи и таких же лет девочка. Они робко и любопытно посмотрели на барыню. Телега в глазах Марьи Павловны повернула на хутор. «Кто бы это мог быть?» И Марья Павловна подумала, что женщина непременно нуждается в чем-нибудь, непременно «несчастная». Она почти бегом поспешила к хутору. Сердце ее уже горело жалостью.

Оказалось, что это приехала с своими детьми сестра Федора. Самого Федора не было на хуторе: все плотники чинили закрома в полевом амбаре. Марья Павловна тотчас же приказала позвать женщину с детьми в кухню, накормить и напоить ее чаем. И когда уже женщина и дети поели и напились чаю, горничная Стеша, удерживая смех, вошла к Марье Павловне и сказала:

— Вот, сударыня, сюприз Федору! Сестра-то приехамши отговаривать его.

— Как отговаривать?

— Да не согласны на свадьбу. Тут сидит, слезы утирает!..

— Что же это они, с ума там сошли?

— Известно, деревенщина. Я и то убеждаю ее: вот, говорю, какие вы бессовестные, господа беспокоятся из-за вас, хлопочут... Он, говорит, тогда не кормилец нам, то есть, что будто бы он откажется вспомогать в их бедности.

— Вздор какой-то. Позовите ее, пожалуйста, ко мне.

И, волнуясь, Марья Павловна прошла в маленькую комнатку около будуара. Несколько спустя туда несмело вошла женщина, подталкивая перед собою детей, державшихся за полы ее сарафана, и низко поклонилась Марье Павловне.

— Как вас звать, голубушка?

— Афимьей, сударыня.

— Вы — сестра Федора?

— Сестрой довожусь... Вдова я; вот с сиротками своими притащилась.

— Вы, вероятно, слышали, что Федор женится? Я и муж мой,— мы очень полюбили вашего Федора,— мы подарили ему землю, чтобы вы все переселились сюда. И муж мой даже взял на себя роль свата и ездил сватать за Федора. Девушка из прекрасной семьи и очень, очень симпатичная.

Афимья глубоко вздохнула и подперла щеку.

— Вам писали об этом?

— Как же, сударыня, писали,— печально ответила Афимья, и вдруг из ее глаз полились слезы.

Она вытерла их уголком платка, хотела еще что-то сказать, но не сказала и опять сокрушительно вздохнула.

— О чем же вы плачете? — сказала Марья Павловна, стараясь не смотреть в лицо Афимье.

— Сударыня ты моя, как не плакать-то, сударыня?.. Ведь вот они, сиротки-то,— двое их, да девчоночка еще дома осталась... Как не плакать-то? Я не токмо... Не чаяла и до места доехать... То ли уж мне, горькой, судьбинушка такая... С мужем всего пять годочков пожила — измаялась, исчахла с покойником. Только, бывало, и отдохнешь, как на лето в бурлаки уйдет. Какая работа стоит! И землицу-то вспаши, и травки накоси, и хлебушко убери... Всю-то разломит тебя, всю-то жаром-зноем спалит за лето... А я ж к тому тяжелая, дитё под сердцем колотится,— не чаешь живой быть! Но и то супротив зимы рай был. Придет зима, глядишь и накатит сокол. У людей-то мужики деньги принесут, а у моего-то ни грошика: все пропьет, все промотает на низу! Одежонку и ту разматывал. Да уж бог бы с ним: когда батюшка подсобит, когда брат Федор — я и без него подушное справляла. Нет, он, бывалоче, не уймется этим, примется бить, бить... То ли я жена ему была плохая, то ли гуляла — по трактирам, как иные бабы, шаталася!.. Да и какое гулянье? Иссохла вся от кручины, щепка-щепкой сделалась... Все-то он рвет, все-то он мечет, бывало. Давай денег в кабак! Давай денег на одежу хорошую! А где же я ему достану?.. Прибегу так-то к родителю: вся-то изодранная, лицо все в синяках; батюшка! ради Христа милостивого, дай на полштофа — зашибет меня погубитель-то мой... Смилостивится батюшка, даст,— заткну ему глотку. Мало того, попутал его грех — с чужими стал вожжаться. Ты, говорит, что ни год, то с брюхом... Господи батюшка! Аль мне в радость рожать-то их... Аль мне легко? Выйдешь в косовицу, возьмешь его, грудного, в зыбке,— лежит, миляга, кручинится. Иной раз ряд целый пройдешь, а он-то надрывается без грудей, он-то надрывается. А какие тут груди? Спинушку-то разломит, в глазах темненько станет, и не чаешь ряда дойтить — ноженьки подламываются. Глянешь на него,— вот Максимушка у меня тогда был, старшенький (она любовно погладила мальчугана),— глянешь, а он закатился, осип с крику... Личишко-то все в волдырях, жарынь, солнышко... Господи, думаешь, прибрал бы ты его, да и меня с ним, горюшу. Ох, как мне не плакать-то, сударыня?

Марья Павловна сидела безмолвно, теперь уже не сводя

глаз с Афимьи, боясь заговорить, чтоб не прорвались кипевшие у нее в груди слезы. Афимья помолчала, высморкалась, вытерла глаза и опять заговорила:

— Думала я так-то: есть ли на свете горе пуще меня горькой, есть ли такая кручина?.. Уйдет, бывало, мой-то на всю ночь, останусь одна в избе, студено у нас — на улице вьюга подымется, так-то бьет в стены, так-то гудит... Ай, думаю, и несчастная я на свет родилась!.. Разгадаю так-то мыслями: что бы мне подеять с собой, что бы мне придумать?.. Побежала бы к родимой матушке — заказывает мой-то, враждует с ними, да и далеко — на другом конце живут, а тут дитёнок в зыбке, другой на лавке спит. Сидишь, сидишь, посмотришь — заря занимается, идет мой-то пьянёхонек... Раздевай! Разувай! Слушай, чего моя нога хочет! Да в морду-то ткнет, ткнет...

— Господи! — в ужасе воскликнула Марья Павловна, закрывая лицо руками.

— И-и поношается!.. Не тебе было бы, шелудивому, поношаться, подумаешь так-то... Да, что делать, терпишь, молчишь, утишаешь свое сердце. И это еще что, желанная моя,— случалось, на улицу выгонял, буянил... Бежишь, бежишь, бывало, притулишься в овине, лежишь как бы мертвая, а у самой сердечушко не на месте: кабы с пьяных глаз дитё не зашиб.

— Да как же терпеть такой ужас?

— Родимая ты моя, деться-то некуда. Иное и покроешь от людей, ведь стыд-то неперенбсный... Чем бы к соседям бежать — в овин схоронишься, все норовишь втихомолку, чтоб люди не знали.

— Что же родные-то твои смотрели? Отец-то?

— Подсоблял, подсоблял, моя милая. Без него бы, гляди, так бы я и сгинула с малыми детушками. Да это еще что, печальница моя, горе-то было впереди! Зашибли его в драке. Сижу я так-то, сижу себе, вижу – волокут, слышу — хрустят по снегу, шумят. Упало во мне сердце. Кинулась я, глядь — тащут в двери: голова-то в крови, виски слиплись... Света я не взвидела! Плохой был муж, гуляка, а, видно, мил он мне был... И лежит он, милая моя, при смерти ровнешенько десять месяцев: голова-то зажила, да уж больно хряшки ему отбили, все-то кровью харкал. И совсем переменился человек: такой-то стал желанный до меня, такой-то ласковый... А мне эта его ласка словно нож в сердце... Жалостливая я, сударыня моя, зла не помню... Только

и помню: как вышла я за него по совету да по любви, краше света белого был он мне в женихах... Ну тут-то, как зачал он помирать, зачал прощаться, кап, кап, у него, сердешного, слезинки... Ох, думаю, лучше бы бил, тиранил меня, да в живых бы остался... Вот Максимушка-то из лица в него вышел! — И она снова любовно погладила мальчика, прижимая к себе другою рукой девчонку.

— Но теперь прошло все это... Садитесь, голубушка. Теперь о чем же плакать?

— Ничего, сударыня, постоим. Ох, лебёдушка ты моя милая, видно, нашим женским слезам конца краю не видно. Известно, ваше дело господское... А он, брат-то Федор, сокрушил меня, горемычную.

– Да чем же?

— Вот жениться-то собрался. Ты посуди себе: батюшка-то стар, матушка хворая, все на ноги жалится, ноги опухают. Как помер покойник, царство небесное, батюшка-то и говорит мне: «Иди, Афимья, к нам, прокормим, бог даст»,— и брат Федор говорит: «Иди»; ну, сняли с меня старики землю, пошла я к батюшке... Вот, думаю, парнишко подрастет, две-то у меня девочки, авось бог даст. И жили так-то. Брат Федор — по заработкам, мы - вокруг дома, батрачка наймали, земельку как-нибудь справляли свою; все честь честью. У батюшки-то всего вдоволь, знамо, по крестьянскому обычаю: две коровки, лошади овцы... Мы с батраком в поле, матушка — по хозяйству, родитель садом займется,— пчельник у него, огород. Чего не хватит – брат Федор пришлет... Тут я только жисть узнала, какая такая бывает жисть. Гляжу так-то на сироточек на своих: подымайтесь, детки! Все господь батюшка милостив. Вот он, парнишко-то, малышок у меня, а тоже приобыкает, сердешный: там лошадь подержит, там с бороною походит... Жили так-то, глядь — брат Федор письмо прислал: «Хочу идти в зятья». Господи ты боже мой! Аль уж я, грешная, не выстрадала перед тобой, аль уж даром весь свой век маялась?

— Но Федор отсылал бы вам заработок.

— Желанная ты моя, где же это слыхано, чтобы муж да отца на жену променял? Мы-то далеко, она-то близко; тут дети пойдут, тут семья... Где же ему об нас помнить? А тесть-то, теща?.. Так они ему и велят отсылать деньги! Ты вот рассуди, родимая моя... испужаешься!

— Но вот мы дарим вам землю, двадцать десятин...

— Слышала, слышала, золотая моя... И как за вас, бла-

годетелей, бога молить будем! Думали мы... Батюшка-то слышать не хочет, мы с матушкой думали. Аль мы Федору-то худа желаем? Мы не токма — мы изболели за него, голубчика... Ляжешь так-то спать, всю подушку слезами обольешь. Как быть, как быть-то, болезная? Ты подумай только: родитель весь век в плотниках ходил; человек он строгий, богомольный, стала ему артель доверять... Иные подрядчики капиталы наживают, а он себе только и нажил что избу хорошую да пчельник, да скотом обзавелся мало-мальски; теперь бы успокоиться старичку,— развел он садик, и днюет и ночует там: то привьет, то окопает, то сучья обрежет да польет... За пчелками ходит, вот все Максимушка мой подсобляет дедушке... Придет праздник, он утрени, обедни не пропустит. Посуди сама, желанная, ему ли свое гнездо рушить? Знает он вашу Самару-то, поди, в плотниках ходил, везде побывал: не по душе, говорит, мне тамошний народ; там, говорит, вот какой народ: бог его поваля кормит... Деревня, что твоя куча навозная: ни тебе ветелочки, ни тебе садочка... Огородов настоящих и тех нет; везде-то грязь да солома... И как я, говорит, на старости лет место насиженное брошу? Вот, говорит, церква у меня в глазах, как я ее, матушку, брошу? Бывает, переселяются которые, да ведь отчего переселяются-то?.. А иные старички так с тоски и помирают на новых местах.

— Да, это действительно очень тяжело переселяться... Но пускай Федор берет землю и живет на ней с женою.

— Ох, милая ты моя! Ишь ваше дело-то господское... Вам-то со стороны, а нам-то ножом по сердцу. Где же это видано, чтобы муж да от жены да за эдакую-то даль подсоблять стал? А родитель, не дай господи, помрет, я совсем разнесчастная останусь. Ведь сиротки-то — вот они... Ты думаешь, сердце-то не болит по ним?.. А родитель-то! Ты думаешь, благо ему сына-то из гнезда своего отпустить?.. Легкое дело! Даль-то, матушка, страшенная. Я три дня водою плыла, восемь целковых копейка в копеечку потратила, ведь ребятешки-то вот они какие, а за них заплати. Ты подумай так-то. Мы-то, горемычные, будем там биться, старый да малый да убогий, а здесь тесть, теща, родня, жена... Братец-то Федор куда какой жалостливый; уж если он сохнет по девке, то уж она его окружит, обовьет.

— Нет, Лиза совершенно не такая, как вы, может быть, думаете.

Да я разве корю ее? Сударыня моя, я бы на ее месте

повиликой обвилась вокруг мужа. Я ее не корю, а только братец-то не кормилец нам, мы-то сиротами останемся.

— Но если он не женится на Лизе, я не знаю, что с ним сделается.

— И-и, родная ты моя... Знамо, дело-то ваше господское... Мало ли девок? Да ты посмотри, у нас в праздник соберутся, иная королева-королевой. А известно, замстило ему, вошло ему в сердце, вот и кажется, что лучше этой нету.

— Но что же делать? — воскликнула глубоко растроганная Марья Павловна.— В зятья идти нельзя, переселяться нельзя, туда к вам не отдадут...

— Как можно отдать на чужую сторону!

— Что же делать?

— Одно, сударыня,— молить братца Федора: смилуйся, братец Федор, над сиротами, пожалей свою кровь родную... Затем и приехала, и сироток вот привезла с собой, авось размякнет его сердечушко,— сказала Афимья упавшим голосом и, вдруг быстро подвинувшись, бросилась на колени перед Марьей Павловной.— Желанная ты моя! Ласточка ты моя сизокрылая! — заголосила она.— Не давай ты ему землю... Не смущайте вы его землею!.. Пожалей ты сирот горькиих!.. И куда же мне теперь, горькой горюшечке, приклонитися, к какому мне бережечку прислонитися?.. Детушки мои, родимые, падайте вы в ноги милостивой барыне!.. Несмышленушки мои!.. Птенчики глупые!.. Али вы, детушки, беду свою не видите, не разумеете горькую свою участь?.. Находитесь вы, мои детушки милые, разумши и раздемши, и голодны и холодны... Сударыня моя! — И, охватив руками ноги Марьи Павловны, она вся подергивалась от рыданий.

Ребята подскочили к матери и плакали навзрыд, теребя ее за сарафан, за платок и крича: «Мамка! Мамка!»

Марья Павловна была потрясена до глубины души. Она растерянно протягивала руки к плачущим детям, к Афимье, гладила ее волосы, хватала ее за руки, бормотала какие-то слова, целовала ее, сама опустившись на колени, и нервически неудержимо рыдала. На шум прибежала испуганная горничная; мгновенно появились на сцену вода, нашатырный спирт, валерьяновые капли.

Афимью кое-как подняли и прогнали в людскую, а Марью Павловну увели под руки в спальню. И она долго плакала там, вздрагивая всем телом, точно от озноба, и думала. «Нет, нет, тут нет выхода... Тут ужасная, трагическая кол-

лизия! Господи! Как мне их жалко, и как я бессильна! — И затем злобно и презрительно усмехалась на самое себя.— Жертвовательница! Благотворительница! — мысленно восклицала она.— Собралась счастье делать!.. Боже мой, какое горе я растравила и какая дерзость, какая дерзость судить с одной только стороны!»

Тем временем собрались на хутор плотники, и Федор узнав, что приехала сестра с детьми, сразу почуял недоброе. При взгляде на заплаканное лицо Афимьи он еще более утвердился на этой мысли о недобром, и сердце его болезненно заныло. Потупив глаза, он троекратно поцеловался с сестрой, погладил ребят, вяло спросил о здоровье отца и матери. Другие плотники, бывшие из соседней с Федором деревни, очень обрадовались Афимье. Севши за ужин, они наперерыв спрашивали ее. И в ее ответах живо восстановлялся перед ними быт родной их деревни. Кому она привезла рубахи, гостинцы, кому поклоны; рассказала об урожае; о том, что наконец-то сместили старшину Аристарха; что изобильно уродилась «антоновка», что на покосе опять подрались погореловцы с васютинскими; что починили и покрасили церковную ограду. Федор, молча хлебавший молоко, вслушивался и незаметно для себя все больше и больше заинтересовывался рассказами сестры. Только в конце ужина опять сжалось его сердце. Леонтий шутя сказал:

– Что, тетка Афимья, аль на свадьбу приехала?

Афимья промолчала, и все поняли, что об этом нельзя спрашивать. И скоро разошлись спать. Федор повел сестру с ребятами в пустой амбар, в котором стояла его кровать. И уж поздно ночью кто еще не спал на хуторе услыхал оттуда женские причитанья и вопли и плач детей. Затем все стихло и все мало-помалу заснуло. Только на пороге пустого амбара можно было заметить женщину, озаренную холодным лунным светом, сидевшую сгорбившись, подперев руками голову, в темненьком платочке, она сидела неподвижно, как изваяние.

Федор уложил детей на своей постели, молча дождался, когда они заснули, все еще всхлипывая во сне, и вышел из амбара.

– Куда же это ты, Федюшка? — с тревогой прошептала Афимья.

– А я пойду на сеновал: спать что-то хочется,— тихо ответил Федор и, чтоб совершенно успокоить сестру сказал· – Так ты говоришь, «антоновка»-то уродилась ноне?

— И-и темная уродилась! — ответила Афимья.

Но, пропустив мимо ушей этот ответ, Федор пошел по направлению к конюшне, миновал ее незаметно для сестры и скрылся за хутором. Там он сел на канаве, около леса, там он думал и вздыхал, покуривая цигарку, и когда уж месяц зашел за середину неба и время перевалило далеко за полночь, он поднялся, сказав: «Эхма, не так живи, как хочется», — и, сопровождаемый длинною косою тенью, пошел на сеновал. И, проходя, видел при свете месяца, как на пороге амбара все в той же окаменелой неподвижности, все так же склонив голову на руки, сидела Афимья.

На третий день утром Марья Павловна, все еще бледная, с синевою под глазами, вышла к чаю. Ей сказали, что пришел Федор. Вид его бы такой, как бы он пришел поговорить о самом обыкновенном; только лицо слегка осунулось, и выражение было холодное и строгое.

— Что вам, Федор? — с участием и с любопытством спросила Марья Павловна.

— Сергей Петрович когда будет с пристани?

— Да, вероятно, дня через три. А вам он нужен?

— Тут насчет земли... Земли нам не надо...

— Вы, значит, раздумали жениться?

— Жениться-то?.. Вот насчет земли я, — не надо, мол, нам. Да еще насчет подводы — сестру бы мне отвезть на станцию.

— Возьмите, возьмите, пожалуйста.

Больше этого у ней язык не поворотился сказать Федору. Но вопреки своим прежним мнениям она готова была умиляться перед Федором за его отказ от земли, а следовательно — и от женитьбы на Лизе. «Господи, какой героизм и какая сила характера!» — думала она.

Афимья пришла к ней проститься.

— Вы бы погостили у нас, голубушка! — сказала ей Марья Павловна.

— Рада бы радостью, сударыня, да старичков-то своих спешу утешить. А там еще капусту надо рубить, под яровое метать.

— Что, упросили Федора?

— Слава тебе, господи, — понизив голос, сказала Афимья, и ее лицо просветлело от радостной улыбки. — Склонила его, умилостливила... Вы уж, радельница моя, землею-то его не смущайте. Авось как-нибудь, авось господь милостив, пронесет мимо нас... Только бы нам поскорее домой-то

залучить его, сокола нашего ясного, а уж мы найдем невесту, подыщем,— есть на примете... Он-то ее не знает, а уж такая разумница, такая работница... Только ради Христа-создателя землей-то его не смущайте!

Хотела было сказать ей Марья Павловна, как же теперь быть с Иваном Петровым, но вспомнила все подробности сватовства, как Сергей Петрович взял на свою ответственность слишком многое, и промолчала. «Поделом,— подумала она,— пусть выпутывается как знает!» — и, расцеловавшись, простилась с Афимьей.

IX

Возвращаясь со станции к себе на хутор, Сергей Петрович узнал от кучера, что приезжала сестра Федора и что Федор отказался от женитьбы на Лизутке. Сергей Петрович ужасно был рассержен этим. С пристани он возвращался очень недовольный состоянием цен на пшеницу и прижимками купцов; новость о Федоре подлила масла. Еще не успев повидаться с Марьей Павловной, он закричал ей:

— Каковы твои перлы!.. Ведь я говорил тебе... Хлопочи после этого за них, старайся!.. Достаточен был приезд какой-то глупой бабы, чтобы все пошло к черту. Я тебе тысячу раз говорил, что это скоты и скоты!

Марью Павловну неприятно поразили эти слова и особенно тон, которым они были сказаны. То, что она думала в последние дни о Федоре и об его сестре, так решительно расходилось с этим тоном и словами Сергея Петровича, что у ней не нашлось даже слов пояснить свои думы и рассказать о них Сергею Петровичу. Вместо этого она, в свою очередь, рассердилась и вскрикнула:

— Можешь утешиться: то же самое говорит и моя горничная!

— То есть ты приравниваешь меня к твоей горничной?

— Я сказала, что хотела сказать.

— Очень польщен. Но тогда не нужно бы менять настоящего человека на человека с мнениями горничной.

— Послушайте, Сергей Петрович,— изменившимся голосом сказала Марья Павловна,— не рано ли вы начали упрекать меня в легкости поведения? — сказала и, не замечая отсутствия логической связи в своих словах, ушла в свою комнату, крепко хлопнув дверью.

— Как в легкости поведения? — вскрикнул ошеломленный Сергей Петрович, бросаясь за нею; но было уже поздно: дверь затворилась.

Тогда он прошел в свой кабинет, машинально выложил из карманов и запер в бюро бумаги и деньги и, не зная, что делать теперь, так и опустился на стул в дорожном пальто и в сумке через плечо. Он никак не мог объяснить себе, из-за чего произошла между ними эта первая ссора. Давно ли Марья Павловна одинаково с ним смотрела на отношения Федора к Лизе и одинаково с ним негодовала на «косность» и «неразвитие» Федора, на его рабское подчинение «глупейшим традициям»? Действительно, Сергей Петрович, употребив слово «скоты», пересолил, но должна же она была понять, что это сказано в раздражении. «Да и действительно скоты! — повторил он громко, внезапно вспомнив, что поставлен отказом Федора в глупейшее положение.— Не угодно ли теперь объясняться с этим неотесанным Иваном Петровым!» Но, потративши несколько минут на негодование, Сергей Петрович опять возвратился к тому, что его по преимуществу огорчало. И мало-помалу он убедился, что был виноват: ему ли говорить так о крестьянах (скоты), когда он прежде возвышал их в глазах Марьи Павловны? Положим, штука, которую выкинул Федор, способна всякого взбесить: положим, это вышло черт знает как скверно,— и сватовство, и вообще вся эта глупая филантропия... Но все-таки при Марье Павловне не следовало так грубо обнаруживать свой, хотя бы и справедливый, гнев. Он встал и пошел к дверям ее комнаты и прежде, чем постучаться, постоял в нерешительности. И очень обрадовался, когда в ответ на стук слабый голос Марьи Павловны произнес:

— Это ты, Serge? Пожалуйста, иди.

Он ее застал со следами слез на глазах и в полном сознании своей виновности. Правда, она все еще обвиняла его за «скотов» («И как это ты мог, Serge, как мог?»), но в остальном винила себя. Они примирились, растроганные и умиленные этим обоюдным желанием примирения и быстрым сознанием своей вины друг перед другом. И тогда Марья Павловна рассказала ему об Афимье и о том, что говорила ей Афимья о своей жизни.

— Знаешь, Serge, я первый раз в жизни встретилась с таким истинно нечеловеческим горем!.. Вот уж «сплошная истома и воплощенный испуг». Господи, если бы ты видел это страдальческое лицо. И точно, все, что мы с тобой ду-

мали, все эти наши планы... такая чепуха, такая чепуха!

Опасаясь возразить что-нибудь, Сергей Петрович все-таки не удержался и пожал плечами.

— Чепуха, мой милый! — повторила Марья Павловна.

— Но даровая земля... чернозем? — пробормотал он.

— Ах, ты пойми, пойми, что это невозможно... О, тут нужно разрешение гораздо глубже.— И в несвязных словах, путаясь и увлекаясь, она старалась посвятить Сергея Петровича в ясный для нее нравственный мир Федорова отца и в основательные опасения Афимьи.

— Как же теперь быть с Иваном Петровым?

— Я уж не знаю. Но согласись, Serge, что ты сам виноват. Ты положительно погорячился тогда. Зачем было идти так далеко?

— Ты, однако, радовалась, что я пошел так далеко.

— Да, да, и я ошибалась... Но я вижу, что я ничего, ничего не знаю. Я решительно путаюсь в этих сложных вещах... Все, все не так! Мы совершенно скомпрометированы этою историей!

Сергей Петрович вздохнул и взъерошил волосы.

— Н-да,— сказал он сквозь зубы,— дела!

— Но как же ты-то, Serge? Ведь ты так знаешь деревню — и вот попал впросак!

— Да, скажи на милость, как не попасть впросак с этою непроходимою дикостью понятий? — воскликнул Сергей Петрович, но тотчас же спохватился и мягко добавил: — И, конечно, я несколько погорячился.

— Это все-таки такой героизм, такой...— задумчиво проговорила Марья Павловна.

Однако делать было нечего: оставалось придумывать, как выйти из ложного и смешного положения. И они долго говорили об этом и остановились еще на одной «комбинации», которую придумал Сергей Петрович. Его самого недостаточно удовлетворяла такая «комбинация»; Марья Павловна плохо верила в ее успех, но делать больше было нечего. Затем Сергей Петрович мрачно обошел усадьбу, придрался к конюху Никодиму за невычищенную сбрую и вволю разругал его, назвавши несколько раз «скотом», «ослом» и «лентяем»; брезгливо осмотрел постройки, не обратив никакого внимания на поклон Федора и других плотников. На другой день он велел запрячь лошадь в дрожки и, взяв с собой Никодима, отправился к Ивану Петрову.

В семье Лизутки давно уже знали, что приезжала Афи-

мья и что Федор решил не жениться. И мало того, что знали в семье Лизутки и вообще в Лутошках, дошел этот слух и в Лосково до Степана Арефьева. И старик не стал медлить: переговорив с сыном, который на ту пору уже воротился из Самары, он поехал к куму. Кума он застал мрачным и смущенным, Митревна была с заплаканными глазами. Лизутка только вскользь показалась ему и скрылась в клеть. Степан Арефьев с веселым смешком поздоровался с хозяевами, не подал им и вида, что знает что-нибудь, и первым словом сказал, что едет на мельницу и вот заехал по дороге. После таких слов Митревна сразу оживилась и суетливо принялась колоть лучину, чтоб угостить кума яичницей. Ивановы брови слегка раздвинулись. Лизутка же, мгновенно поняв, зачем приехал Степан Арефьев, забилась на сундук в углу клети и горько плакала. И все-таки за всеми слезами, которые она проливала, за всем несомненным горем, которое она испытывала, ее утешал приезд Степана Арефьева, потому что она видела теперь, что «люди не совсем осудили ее», что она «не брошенная, не осрамленная», как думала, когда к ней пришло известие об отказе Федора; ей ведь «было стыдно в люди показаться, людям в глаза глядеть»; она не выходила за ворота, виделась только с Дашкой, да и то поздним вечером, выскакивала из избы каждый раз, когда входил туда кто-нибудь из соседей. Теперь она знала, что все это изменится, горько жалела Федора, жалела себя, но все-таки ей было легче, чем все эти дни. За полуштофом, который незаметно вынул из своего объемистого кармана Степан Арефьев, и за подоспевшей к тому времени яичницей разговор скоро принял значительный характер. Притворяясь, что будто ничего не знает о сватовстве Федора, Степан Арефьев присловьями, намеками и поговорками («У нас купец — у вас товар»,— и тому подобное) ясно объяснил, в чем дело. Тогда Иван Петров сказал:

— Мы девку не неволим. Нужды большой нет, а коли ей Михайла по нраву, мы согласны. Знамо, как хочешь, кум; ты, может, что и слыхал... Только я прямо скажу: мы девкой не тяготимся, работница она, сам знаешь, какая. В девках не засидится.

— О господи! Да я разве что говорю?.. Кума, разве я что сказал? — заторопился Степан.— Я только так рассуждаю: как исстари мы с вами водимся, так чтоб было и впредь. Я ведь знаешь, какой человек,— я напрямки: девка нам

больно по нраву. За тем и гонимся, что по нраву. Известно, неволить нельзя... нельзя, об этом что толковать, а все-таки скажу: парня никто не похаит. Работник ли, умен ли, послушен ли,— сами знаете. Хотя же он мне и сын, а я скажу: дай бог всякому такого сына.

С тревогой пошла Митревна в клеть говорить с Лизуткой. Долго там были слышны и глубокие вздохи, и плач, и шепот. Наконец мужики, оставшись в избе, с удовольствием услыхали, как Лизутка заголосила: «Ох, не запродавай, родимый батюшка, мою буйную головушку!..» Это был знак того, что девка согласилась. Пришла Митревна со слезами на глазах, но вся сияющая радостью, улыбкой.

— Молиться богу, кума? — весело закричал Степан.

— Да уж, видно, суженого конем не объедешь.

— Ну, значит, по рукам, а в воскресенье и сговор сыграем. Эка мы к праздничку-то подогнали. Дай, господи, в добрый час!

— Благослови, господи,— сказал Иван Петров, широко крестясь на икону.

Митревна молилась и всхлипывала.

И в это-то самое время Иван Петров, покосив глазом на окно, увидал подъезжающего на дрожках Сергея Петровича.

Сергей Петрович бросил вожжи сидящему сзади Никодиму и с напускною решительностью вошел в избу. Однако, увидав Степана Арефьева, насмешливо прищурившего свои глазки, он так и зарделся от смущения.

— Я к тебе, Иван, по делу,— сказал он, усиливаясь преодолеть смущение,— я бы желал переговорить с тобой один на один.

— Садись, гостем будешь,— сухо и не подымаясь с места, сказал Иван Петров,— а что касающе делов — у нас с тобой кабыть никаких нету.

— Нет, у меня есть очень важное дело,— садясь на кончик скамейки и снова вскакивая, выговорил Сергей Петрович,— но я просил бы тебя одного.

— Чтой-то, барин, вавилоны разводишь? — с недоумением заметила Митревна.— Коли дело, так говори, а за бездельем пришел — нечего и время тянуть напрасно.

— Эх, кума! — вмешался Степан Арефьев.— Как его отличишь... дело-то от безделья? По-мужицкому-то выходит — он плевка хорошего не стоит, а барин разберет, глядишь, и за дело ему покажется. Народ ведь тонкий!

— Ты, кажется, вздумал мне дерзости говорить! — вспыхнув, вскрикнул Сергей Петрович.— Только я тебя, братец, и знать-то не хочу! Как ты смеешь со мной так обращаться?

— Ну, это ты оставь, барин,— подымаясь, сказал Иван Петров.— Коли говорить, так говори, а над кумом тебе поношаться не приходится.

— Пусть его, кум Иван! — добродушнейшим голосом проговорил Арефьев.— Ино ведь и пужало на огороде страшно... Издали страшно, а поглядишь вблизи — та же рваная шуба. Пущай его!

— Ты, Иван, позволяешь оскорблять меня в своем доме,— дрожащим от негодования и стыда голосом сказал Сергей Петрович.— Но это все равно, я не намерен обращать внимания на этого грубияна. Я тебе делаю последнее предложение. Ты, вероятно, слышал, что Федор не может жениться на твоей дочери...

— Не нуждаемся, не нуждаемся... Расшиби тебя родимец с твоим сватовством! — вдруг неистовым голосом закричала Митревна, бросаясь с искаженным от злобы лицом к Сергею Петровичу.

Степан Арефьев удержал ее.

— Но если ты согласишься выдать Лизу без всяких условий, то есть отдать ее в Нижегородскую губернию, я тебе, тебе лично дарю землю,— торопливо докончил Сергей Петрович.

— Эй, кум, рой к тебе прилетел — огребай! — закричал Арефьев.

И вдруг Сергей Петрович, к своему неописанному ужасу, почувствовал, что твердая рука Ивана просунулась под его руку и что он, Сергей Петрович, направляется этою твердою, как шест, рукой прямехонько к двери. Всякое сознание в нем потухло; пропали куда-то и бешенство и стыд. Он видел в странной близости от себя корявые пальцы Ивана, охватившие его около локтя; видел рукав рубахи из грубого холста и даже дегтярное пятно на рукаве; слышал, как вслед ему говорил кто-то: «Ступай-ка, барин, по добру по здорову,— в чужие дела не вламывайся!» — но понимать все это он решительно не мог. Только очутившись на улице, он несколько пришел в себя и прежде всего с испугом осмотрелся; к счастью, улица была пуста; Никодим за несколько дворов от Сергея Петровича проезжал не стоявшую на месте лошадь.

— Никодимка! — заревел Сергей Петрович и, усевшись на дрожки, изо всей мочи передернул удилами лошадь.

Лошадь помчалась. В несколько минут долетели они до хутора, и когда остановились у подъезда, изо рта лошади вместе с пеною падала кровь и она тяжело носила боками. Сергей Петрович бросил Никодиму вожжи, не оглядываясь на него, взбежал на крыльцо и в передней столкнулся с горничной.

— Черт, черт! — закричал он в неописанной ярости.— Суетесь все, мерзавцы!.. Что?.. Молчать! Вон!

Марья Павловна выбежала к нему навстречу.

— Serge! Serge! — вскрикнула она, с испугом всматриваясь в его исступленное лицо.

— Молчать! — не помня себя, крикнул на нее Сергей Петрович.— Филантропы! — и бегом бросился в свой кабинет.

Марья Павловна побежала за ним, видела, как он упал на диван, побежала что есть силы назад за водой, и когда возвратилась, Сергей Петрович, вздрагивая ногами и невнятно мыча, катался по широкому дивану. Припадок необыкновенной ярости скоро прошел, однако несколько спустя Сергей Петрович уже говорил расслабленным голосом, как его оскорбили «эти канальи», как вывели под руки на улицу и как он ненавидит их, «этих идиотов, подлецов, холопов»...

Марья Павловна печально слушала, не говоря ни слова, и от времени до времени давала ему нюхать нашатырный спирт, прикладывала к его распаленной голове холодные компрессы.

Слух о том, что Лизутку просватали, дошел до Федора. Он угрюмо и молча пошел в тот день на работу и с преувеличенным усердием строгал, тесал, пилил, не отдыхая. За обедом еда не шла ему в горло. Кухарка Матрена долго и с жалостью смотрела на него, подперев рукою щеку, и наконец не выдержала.

— Чтой-то, парень, посмотрю я, убиваешься? — сказала она.— Аль только и свету в окошке? Девка на девку, что галка на галку — все похожи: не та, так другая. Такую-то господь пошлет!.. Чтой-то на самом деле?

— Знамо, ежели не судьба, вешать головы нечего,— сдержанно заметил Ермил, постучав ложкой по краям чашки в знак того, чтоб вылавливали мясо из щей.

— Да ведь обидно, дядя Ермил! — сказал все время молчавший Леонтий, молодой, не женатый еще человек.

— Обидно! — окрысился на него Ермил.— А чего ты, спросить у тебя, смыслишь-то супротив божьей воли? Ему-то, батюшке, не обидно, ты по девке по какой-нибудь крушиться будешь? В писанье как сказано? Какой такой закон дан нашему брату? Сказано: не пригоже быть человеку едину. Как это, по-твоему, понимать: дай я буду по чужой невесте убиваться, али как? Нет, не по чужой невесте, а ищи свою суженую. Женись, да тогда и убивайся сколько хочешь, а по чужим убиваться нечего. Ишь что обдумал: обидно!

Федор молчал, как убитый, и только хмурился.

В первое воскресенье, провалявшись до полудня на сеновале, он встал, разыскал Леонтия и сказал ему:

— Пойдем-ка, паря, в кабак: что-то гулять хочется.

По деревне они встретили других парней и пригласили с собою. Деревенские парни вообще жили в ладу с плотниками: Федор часто угощал их и с самого своего появления в Лутошках относился с великою осторожностью к тем девкам, которые «водились» с своими деревенскими парнями. Леонтий вовсе не ходил в Лутошки,— его привлекали девки из другой деревни. Выпивши в кабаке водки, парни добыли гармонию, стали петь и плясать. Федор разошелся; с мрачным и сосредоточенным видом он откалывал трепака, орал плясовые песни и, засучив рукава рубахи, высоко поднимал четвертную бутыль, разливая водку по стаканчикам. Попойка продолжалась до сумерек. Когда на улице послышались девичьи песни, парни поднялись, чтоб идти туда. Федор не хотел идти.

— Пойдем! Ну, право, пойдем,— убеждали его,— теперь и «улица-то» не успеешь глазом моргнуть — разойдется. У Ивана Петровича сговор ноне; девки-то собрались вот, сыграют маленько, да и туда. Право, пойдем. И-их наделаем делов!

Федор наконец согласился. Шумною гурьбой подошли они к толпе девок. Пьяненький парень кинулся обнимать ближайших. «Ну, черт, куда лезешь?.. Налил морду-то!» — с хохотом закричали девки, встречая его здоровыми шлепками.

— А-а... Лизавета Иванна! — коснеющим языком сказал парень, всматриваясь в лица девок, которые стояли позади

толпы, обнявшись под одним шушпаном. Это были Дашка и Лизутка.

— И-и, гуляй, гуляй, Маша, поколь воля наша; когда замуж отдадут, такой воли не дадут! — И он, приседая, пошел плясать вокруг них, еле-еле удерживаясь на ногах.

— Делай, Васька!..— закричал Федор, внезапно оживляясь.— Аль про нас девок не хватит?.. Девка на девку, что галка на галку — все похожи... Разделывай! — И, раздвинув толпу, он сбросил с себя полушубок, схватил гармонию у Леонтия и в одной рубахе пустился плясать. Вмиг из толпы вынырнула Фрося, подперлась в бока и, пошевеливая высокою грудью, подмигивая своими веселыми глазами, поплыла вокруг Федора, приговаривая в лад трепака:

Любила я тульских,
Любила калуцких;
Из Нижнего полюбила,
Сама себя погубила.

— Разделывай, Фроська! — кричал раскрасневшийся Федор, отбивая частую «дробь» на притоптанном лугу.— Коли на то пошло, всю ночь прогуляем!

Фрося, кокетливо усмехаясь и помахивая платочком, отвечала ему новой приговоркой:

Уж вы серые глаза,
Режут сердце без ножа...
Ах, завистливый глаз,
Не подглядывай ты нас...
Ох вы, плотнички,
Бестопорнички!
Припасайте топоры
До весенней до поры.
Вам — избы рубить,
Нам — плотничков любить.

Наплясавшись, Федор обнял Фросю и, как будто невзначай, сильно пошатнулся с ней в сторону Дашки с Лизуткой.

— О, чтоб тебя, родимец! — вскричала Дашка, отталкивая Федора.

— Пойдем, Дашенька, пойдем, милая,— дрожащим голосом сказала Лизутка,— здесь, видно, и без нас весело!

И они пошли от толпы.

— Фу, ты, фря какая! — со злостью закричал им Федор вдогонку.— Сзади, подумаешь, барыня!

Вместо ответа Лизутка затянула песню, и Дашка подхватила ее:

Не дуйте-ка, ветерочки,
Не шатайте в бору сосну.
И так сосне стоять тошно,
Раззеленой невозможно:
Со вершины сучки гнутся,
По сучочкам пташки вьются,
Они вьются, не привьются.
У девчонки слезы льются,
Они бьются, не уймутся...
Бегут речушки быстрые:
Не бегите, речки быстры,
Не волнуйте синя моря,
Сине море сколыхливо,
Красна девица слезлива.

В толпе стояли шум, гам и смех и заводились разноголосые песни. Подвыпившие парни плясали с девками, подтягивали песни, лезли обниматься... Вдруг в конце улицы зазвенели колокольчики, и скоро мимо шумящей молодежи на рысях проехало несколько телег с разряженными мужиками и бабами. «На сговор, на сговор... Арефьевы на сговор едут!» — заговорили в толпе, и многие бегом устремились вслед за телегами.

Федор, Леонтий и сильно захмелевший Васька пошли в гости к Фросе. Там они опять пили водку и пиво, играли песни, плясали; Федор обнимался с Фросей, крепко целовал ее, поддаваясь шальному взгляду ее странно блестевших глаз и льстивым ласковым речам. Вышли они от нее уже поздно: вторые петухи успели прокричать. Васька как вышел из избы, так и свалился на солому в сенях; Фрося, провожая гостей, пошатывалась и все оставляла Федора. Но плотники все-таки вышли на улицу, держась друг за друга и неуверенно ступая ногами.

— Эге! — сказал Леонтий, останавливаясь среди улицы.— Сговор-то не разъехался... Ишь, черти, песни орут.

— Друг,— плачущим голосом заговорил Федор,— можешь ты понимать, какой я есть разнесчастный человек на свете?.. Можешь?

— Могу. Я все могу понимать.

— Ты теперь заслужи: двадцать десятин... а?.. даровой земли... Как ты об этом понимаешь? Вот, говорит, тебе, Федор: владей... И заместо того — Мишанька Арефьев...

— Сволочь, одно слово

— Нет, двадцать десятин земли и к чему дело довелось — Мишанька... Друг! Левоша! Как меня теперь родитель убил... Ах, убил он меня, братец мой!.. Сестра плачет... сиротки... аль уж доля-то наша быльем поросла?.. Теперь — девка... ты знаешь, девка какая: отдай все — мало! Вот какая девка... Вон песни играют... разла-а-апушку мою выдают... Можешь ты это понимать, братец мой? — И, склонившись на плечо Леонтия, Федор заплакал навзрыд.

Сквозь серый сумрак рассвета в избе Ивана Петрова виднелись огни. На лошадях, стоявших около избы, звякали бляхи, бубенцы, колокольчики: гости собирались уезжать. Песня, невнятно доносившаяся из избы, вдруг вырвалась на улицу, послышался шумный говор, в дверях избы и на улице столпился народ, огонек вынесенной свечи слабо мигал, задуваемый ветром, охмелевшие люди кричали на лошадей, дергали вожжами, колокольчики и бубенцы ясно звенели, девки в сарафанах стояли в кругу и пели:

Веянули ветры по полю,
Грянули веслы по морю,
Топнули кони Михайлины,
Топнули кони Степаныча...
— С кем-то мне думушку думати,
С кем-то мне крепку гадати?
«Думать думушку с родным батюшкой,
Гадать крепкую с родной матушкой...»
— Эта мне думушка не крепка:
Думать мне думушку с Михайлою,
Гадать крепкую с Степанычем,—
Эта мне думушка крепче всех.

— Сват! Посошок!.. На дорожку! — слышался голос Ивана.— Гостечки любезные, не обессудьте! Обыгрывай, девки, играй звончее!.. Где невеста-то?.. Лизавета! Пригуль, поднеси нареченному свекру! Сватушка милый, гостечки, откушайте! Почтите веселую беседу!

- Можешь ты это понимать, братец мой? — бормотал Федор, размазывая рукою слезы по лицу.

X

С конца октября наступила ненастная погода. Ночи пошли долгие, темные. Деревья почти оголились и во время ветра тоскливо трепетали своими мокрыми, ослизлыми вет-

вями. Трава в степи пожелтела; поля стали грязные, скучные, утомительно однообразные. Дороги растворились, бесконечные лужи пестрили их своим свинцовым блеском; глубокие колеи, чернозем, превратившийся в хляби, не давали пройти ни конному, ни пешему.

И в таком виде Марья Павловна тоже еще ни разу не знала деревню. С утра подходила она к окну и долго смотрела, как тянулись медлительные серые тучи, сеял мелкий дождик, чернели леса в отдалении. И ей казалось, что плачет деревенская природа. Плакали широкие стекла окон, плакали деревья в саду, роняя беспрерывные капли влаги, плакало угрюмое, неприветливое небо.

На хуторе стало гораздо глуше. Плуги и машины прибрали в сараи, хлеб отвезли на пристань и продали, отпустили лишних работников, плотники уехали на родину. Можно было по целым часам стоять у того окна, в которое виден был обширный двор хутора, и по целым часам на дворе не появлялось ни одного человека; собаки и те прятались в укромные места. В комнатах с самого утра было пасмурно; в четыре часа уже приходилось зажигать лампы.

Господа были принуждены вести исключительно комнатную жизнь. С утра они пили кофе, играли в шахматы; затем завтракали и пили чай; после чая Марья Павловна садилась за рояль, а Сергей Петрович слушал или уходил к себе читать книгу. Так протекало время до обеда. За обедом больше всего говорили о кушаньях. Сергей Петрович каждый раз критиковал кухарку, Марья Павловна заступалась за нее.

— Да помилуй, Marie,— говорил он,— эти кусочки мяса, например: это деревяшки какие-то, а не boeufà la Stroganoff!! Да и соус совсем не тот: здесь нужно жгучее, пикантное.

— Ах, боже мой, Serge! Не может же ошибаться Молоховец... Я вчера рассказала Аксинье, и решительно сделано все, как в книге.

– Или эта каша: разве такая бывает гурьевская каша? – не унимался Сергей Петрович, накладывая полную тарелку каши, не похожей, по его мнению, на гурьевскую.

После обеда опять пили чай и играли в шахматы. Долгий вечер уходил на чтение, на разговор; позднее призывали Аксинью («господскую» кухарку в противоположность Мат-

рене, кухарке «людской») и с кухонною книгой в руках заказывали ей обед. Затем Сергей Петрович зевал и говорил, что пора спать. Но прежде, чем отправляться спать, Марья Павловна смотрела на барометр, подходила к окну, прислушивалась, как гудит ветер, шумят деревья, как хлещет дождь в стекла.

Разговоры велись краткие и с большими перерывами. Да и о чем было говорить? Читали они журналы, читали так называемых классиков, но мало говорили по поводу прочитанного.

— Вот это хорошо,— скажет Сергей Петрович.

— Да, действительно прекрасно! — согласится Марья Павловна, и опять безмолвствуют или продолжают чтение.

Раз как-то Марья Павловна предложила читать Маркса.

— Я начала тогда читать по твоему совету,— сказала она,— но решительно не могла; необходимо вместе читать. Так, на первых же порах я натолкнулась на эту Гегелеву триаду... Что такое триада, хотелось бы мне знать?

- Да, да, Маркс — это действительно...— произнес Сергей Петрович.— Это большой мыслитель. Триада... Триада... Ну, знаешь, это вроде трех периодов у Огюста Конта... Знаешь, у Писарева еще есть об этом?

— Фазисы развития? Фетишизм, метафизика, позитивные начала?

— Да, да. То есть не совсем так, но в этом роде. Если хочешь, начнем.

И вместо обычного своего чтения они раскрыли Маркса. Но Марье Павловне так было трудно понимать его, а Сергей Петрович с таким неудовольствием и с такою сбивчивостью объяснял непонятное для нее, что на третий же день они, по молчаливому соглашению, не развернули Маркса, а стали читать *Дачу на Рейне* Ауэрбаха.

Игру на рояли Марья Павловна скоро принуждена была бросить: музыка стала плохо влиять на ее нервы, хотя, впрочем, и без музыки она уже не могла похвалиться спокойным расположением духа. Лето, прошедшее так быстро, ей иногда казалось сном, который не возвратится более, и казалось горьким заблуждением то, что она думала летом: что жизнь ее теперь уж совершенно другая, что вот ей весело, хорошо, приятно и что и сама она стала другая,— бодрая, здоровая, счастливая. Нет, ничего не изменилось

Та же мебель, те же принадлежности комфорта и гигиены, те же удобные щегольские вещи окружают ее... Тот же распорядок дня. Правда, рядом с нею за столом сидит теперь другой мужчина, с другими чертами лица, с другими манерами, с другим тембром голоса, но где начинается *тот* и кончается *этот* — она не знала. Слова, которые говорит ей *этот*, книги, которые он читает, мысли и идеалы, которыми он живет,— все, все одинаковое. «Да ведь было что-то *особенное* в нем? — спрашивала себя Марья Павловна.— Было влекущее к себе, интересное, оживляющее душу?» Иногда ей против воли приходило в голову: хорошо ли она распорядилась своею жизнью, не ошиблась ли снова, не придется ли ей проклясть тот час, когда она безропотно приняла первый поцелуй Сергея Петровича, тот день, в который познакомилась с ним? Она несколько раз заговаривала о деревне и замолчала лишь тогда, когда Сергей Петрович в упор спросил ее:

— Что же ты хочешь?

Чего она хочет, в самом деле? И она покраснела вместо ответа, вспомнив, как сближалась с Лизой, как попала впросак, желая облагодетельствовать Федора, как искала и не находила «несчастных» и как встретила наконец одну «несчастную».

Скучал и Сергей Петрович. Подходило время, когда он обыкновенно уезжал в Москву «освежиться». Но теперь ему почему-то было совестно заговаривать об этом, и он притворялся, что очень доволен уединенною жизнью вдвоем. Соседей было мало, да и те, которые были, редко посещали их. Потому редко посещали, что Марья Павловна слыла «столичною барыней», а Сергей Петрович вместо карт и выпивки предъявлял гостям скучнейшие для них соображения о политике и о статьях только что полученного журнала. Однако один из таких соседей, завернув как-то на хутор, был приятно удивлен предложением Сергея Петровича сыграть в пикет. Новость разнеслась быстро. В следующий раз приехали уже два соседа, и, чтобы не расстраивать компании, а больше всего, чтобы не увидеть неприятной гримасы на лице Сергея Петровича, Марья Павловна согласилась составить им партию в винт. Затем она нашла, что игра в винт заглушает скуку. И только после множества таких партий в винт ей до глубочайшего омерзения надоели и карты и партнеры.

В конце ноября вместе с дождем повалил снег. Поля оде-

лись серою пеленой. На грязных дорогах появились точно заплаты из белого сукна. Никодим, ездивший на станцию за газетами, воротился мокрый до последней нитки. Зато в газетах оказались интересные новости: в Москве ждали постановки новой оперы и приезда знаменитого трагика на гастроли. Сергей Петрович не утерпел.

– Не съездить ли нам в Москву, Marie? Это, должно быть, очень интересно! — сказал он, заглядывая ей в глаза.

Она помолчала, посмотрела в окно, где мутная завеса дождя и снега застилала окрестности, подумала о том, что сегодня вечером, несмотря на отвратительную погоду, скуч ные соседи непременно явятся «повинтить», а за обедом пойдут непременные разговоры о кухарке Аксинье или о вчерашнем «шлеме», который открыл Сергей Петрович, и проговорила:

– Хорошо, я согласна.

Дня через два коляска, запряженная тройкою крепких лошадей, медленно тащилась по широкой лутошкинской улице. Снег опять согнало дождем, и грязь, стоявшая на улице, доходила лошадям почти до колен. Из коляски задумчиво смотрела на избы бледная и печальная Марья Павловна. В маленьких оконцах, по мере проезда господ, то и дело щелкали торопливо отодвигаемые рамы и высовывались русоволосые головы ребят, с любопытством смотревших на коляску.

— Чего не видал, постреленок! - закричала Митревна на своего сынишку.— Студи избу-то.

— Мамка! Господа поехали... Глянь-ка, барыня-то – бе-е-лая.

— Ну, и неси их нелегкая. Задвинь окошко-то.

Когда свечерело, тот же мальчуган сказал Митревне:

- Мамка, сем я к Булатовым пойду? Там баушка Лукерья больно хорошо сказки сказывает.

— Поди, поди, кормилец, да не засиживайся: отец от старосты воротится, ужинать будем.

Мальчуган проворно подвинул по самые уши старую отцовскую шапку, натянул полушубчик с свежими белыми заплатами и, выскочив на улицу, осторожно пробрался около навозных завалин к избе Булатовых. Слепая «баушка» сидела в углу около печки; вкруг нее было уже много ребят; иные сидели на лавке, иные на корточках на полу, иные лежали на печке и на полатях, подпирая ручонками

подбородки, не сводя внимательных глаз с «баушки». Она мерно и важно вела рассказ, устремив свои мутные незрячие глаза в ту сторону, где, казалось ей, были слушатели. Дальше, к переднему углу, сидели женщины и молча пряли пряжу.

— Баушка, а баушка! — сказали с печки, когда слепая умолкла.— А вот ужи теперь — кусаются ай нет? Алешка по весне убил здоро-о-венного! Он говорит: уязвит, коли не убьешь.

— Вот глупый, разве их можно бить? Уж он — вот какой. Когда в потоп Ной плавал на корабле, то черт провертел дыру в корабле. Черт-то провертел, а уж увидел да и говорит: сем-ка я заслоню, говорит, а то потонет корабль. Взял да и влез до половины в дыру-то и сидел там, покамест вода ушла в море. Когда уплыла вода-то, бог ему и подарил на голову венец, вот желтенький-то на ём... Вот теперь их и грех бить стало, а то бога прогневишь.

— А Ной, баушка... Какой такой Ной?

— Человек такой был. Бог послал потоп на землю, и случился такой человек.

— А змею, баушка, не грешно убивать?

— Ту не грешно. Та — проклятущая, ее окаянный любит: кабы не змея, мы бы, может, и теперь в раю жили.

И долго велись такие разговоры между «баушкой» и ребятами, наперерыв задававшими ей вопросы. Наконец ребята пожелали слушать сказку, и «баушка», на минуту призадумавшись, тем же мерным и значительным голосом, который был ей свойствен, начала рассказывать о Песчаном острове: «В некотором царстве, в некотором государстве были у царя три жены. Первая говорит: я тебе, друг милый, я тебе, друг любезный, сошью рубашечку — скрозь колечко протащить. Другая говорит: а я тебе, друг милый, я тебе, друг любезный, напряду таличку — сквозь игольное ушко протащить. А третья говорит: а я тебе, друг милый, а я тебе, друг любезный, рожу трех сыновей, и у каждого сына буде во лбу по ясну солнцу, в затылке — светел месяц, а по вискам — часты звезды...»

Этим же вечером господа ехали по железной дороге. Сергей Петрович дремал, убаюканный теплотою вагона и однообразным стуком поезда. Марья Павловна протирала вспотевшие стекла и напряженно смотрела в темное пространство,— смотрела, как в темноте нескончаемою вереницей лете-

ли огненные искры, напоминая собою полет пчел; как мерцали огоньки деревень, изредка попадавшихся на пути; как отражались светлые полосы от окон вагонов и стремительно бежали вслед за поездом,— смотрела и думала все о том же, о чем ей в последнее время часто приходилось думать: «Что же мне делать? Что же мне делать с собою?» И жизнь представлялась ей точно степь, мимо которой мчался поезд: такая же обнаженная, глухая и мрачная.

Карьера Струкова

Повесть

I

— Скажите, миленький, что же вы — ученым, профессором хотите быть?

Это происходило в Лондоне, лет десять тому назад, на пароходе, скользившем вверх по Темзе, и спрашивала Наташа Перелыгина, дочь купца с среднего Поволжья, у русского дворянина с университетским дипломом, но еще без определенных занятий, у Алексея Васильевича Струкова.

— О, нет, Наталья Петровна,— ответил Струков,— чтобы быть профессором, я очень плохой лектор, да и вряд ли мне дадут кафедру. Ученым? Пожалуй — да, если бы я убедился, что раздвину хотя на вершок так называемые горизонты в моей науке.

— Еще не убедились?

Струков засмеялся.

— Пока нет. Пока все еще никак не выйду из области трюизмов. Думаешь иногда: вот наконец новое. А это новое лишь фактический материал. Правда, до тех пор неизвестный настоящим ученым, но — увы! — предусмотренный ими. Неинтересно иллюстрировать чужие мысли, возьмешь и бросишь... Или работаешь скрепя сердце.

— У вас нет оригинальности,— с важностью произнесла Наташа.

— Может быть-с,— сказал несколько уязвленный Алексей Васильевич.— Но если бы ее так-таки совсем не было, поверьте, я сумел бы преблагодушно взять у кого-нибудь

основную идею, нарядить лишний раз эту идею в материалы британского музея и пустить в оборот. Сколько ученых репутаций создавались таким образом!.. Однако мне это противно.

— Ну что ж, вы, значит, ищете оригинальности и понимаете, в чем она состоит. Но у вас-то ее нет. Кто ищет, в том ее нет. Тот, на мой взгляд, разнесчастный человек... Посмотрите, и с этой стороны какая прелесть — парламент. О, еще лучше, чем с той, от аббатства! И потом, когда веришь в чужую мысль, не ревнуешь к ней, а хочется послужить ей чем можешь. Вы, впрочем, кажется, так и делаете в вашей диссертации? Ведь вы составляете ее по Марксу?

— Почему же вы полагаете, что я составляю ее по Марксу? — с досадой возразил Струков.

— Ах, создатель мой, вот вы и рассердились. По заглавию — раз, по вашему образу мыслей — два. Да и как иначе? Сколько ни встречаешь теперь молодых ученых, все они как на машинке сработаны, все — марксисты.

— Благодарю вас. Очень возможно, что и на машинке, хотя я дивлюсь вашей смелости...

— Ого! Миленький мой, вы опять хотите меня посрамить. Ну, я ничего не смыслю в этих экономических теориях, ну, я не различу: где Маркс и где... как его там, Рикардо, что ли? Ну и довольно, и перестаньте дуться.

— Зачем дуться. Я только хочу сказать, что у Маркса есть мысли превосходно обоснованные, и есть такие, что только намечены. Я в своей статейке хотел доказать одну из последних,— или лучше не доказать, а отметить ее значение в одной маленькой области фактов — в зависимости политических идей в Англии от колебания земельной ренты.

— То есть преблагодушно наряжаете материалами музея, и так далее?

— Да нет же, злой вы человек, эту идею Маркса нужно еще доказать, и следовательно, требуется самостоятельно над ней подумать. Трансформизм провозглашен был Ламарком и даже раньше, если хотите — Лукрецием, однако никто не скажет, что Дарвин...— Струков запнулся и покраснел.

— Ха, ха, ха! Как вы скромны!..

— Так я и знал. Что у вас за страсть смеяться надо мной! Не могли же вы думать, что я...

— Хотите быть Дарвином? Конечно, нет, голубчик, но зачем же вы сконфузились. Я смешлива... иногда. И потом,

отчего не хотеть? Плохой тот солдат, кто не надеется быть генералом. Вот вы бросили свою диссертацию,— зачем?

— Месячный перерыв еще ничего не значит...

— Да, месяц, как мы в Лондоне... Ах какие грязные набережные, то ли дело в Париже. Впрочем, и сравнивать-то — кощунство. Не поверите, как мне противен ваш чудовищный муравейник. Там «Альберт», конечно? В жизнь свою не видала нелепей этой штуки! И зачем они его раззолотили? И отчего у них что ни площадь, все Веллингтон да Нельсон, а беднягу Байрона загнали в какие-то кусты в Гайд-Парке, так что и не приметишь.

— У вас решительная антипатия к Лондону. Однако в Париже — лгун на лгуне, шпион на шпионе и высокопарными фразами насыщен воздух, здесь же — богатство, бедность, безвкусие, сила, свобода — все настоящее, все правда. Французы точно их кухня: легко, красиво, вкусно, но, во-первых, ни на что из произведений природы не похоже, а во-вторых, надо двенадцать блюд, чтобы остаться сытым. Подите же хоть к Симпсону на Странде: мясо так мясо, рыба так рыба, ешь без сомнения и сколько хочешь, и называется без затей — «кормление Джон-Булля». На мой вкус это куда лучше, чем выезжать на соусах да на легюмах... на принципах восемьдесят девятого года, в которые никто не верит. Братство! Равенство! Свобода! Они написали эти слова на стенах тюрем и казарм... Что может быть наглее и характернее!

— И опять сердитесь. Ах, создатель мой, какой вы... задира! Не могу же я сравнивать Париж с вашим правдивым чудовищем... в смысле изящества, сударь, в смысле изящества. Ведь Париж — красота, жизнь, блеск, радость. А коли дело пошло на еду, так вот вам притча: Франция — дрожжи, Англия — отлично выпеченный хлеб, но только для употребления верноподданных ее великобританского величества. Нет слов, что дрожжи кушать нельзя — и кисло и горько,— зато проходит двадцать, тридцать лет и вдруг ими подымается опара на всю Европу!.. Что? А вот вы и не знаете, что такое опара.

— Это все метафизика, Наталья Петровна. Исторический процесс проще и,— увы! — в крайнем своем выражении сводится...

— К теплу, к одежде, к пище? Знаю, знаю, к чему он у вашего Маркса сводится, и не спорьте... и сами вы не верите. Но оставим. Вам больше тридцати лет или меньше?

— Побольше.

— Ого! А мне двадцать два. И до сих пор не придумали, что с собой делать? И диссертацию свою бросили? И зачем живете здесь, не знаете? И своих собственных мыслей не приобрели? А в России у вас есть тетка, есть имение, есть приказчик Фомич и бедная, бедная деревушка бывших ваших крепостных. Миленький мой, в чем же проходит ваша жизнь? Ведь пора, пора взяться за дело.

— Но вы забываете, что после университета пять лет прошли у меня праздно, в городе Чердыни, Пермской губернии... по необходимости.

— Праздно! Вот там-то и подумать бы над собою. А вы штудировали политическую экономию.

— Я пополнял знания, готовился...

— К чему? Повторять чужие мысли?.. Не хмурьтесь, не хмурьтесь, пожалуйста, я не хочу с вами ссориться. Я только спрашиваю: на что вам британский музей и вообще заграница? Ваше дело там, в России, и не по ученой части, если не можете раздвигать горизонты, а просто в захолустье, в деревне... Не умеете быть оригинальным в науке, будьте в жизни.

— Позвольте, Наталья Петровна...

— Вы покраснели от злости, я не могу с вами говорить.

— Нет-с, позвольте. Во-первых, вы за этот месяц могли бы убедиться, что, кроме музея, я кое-что изучал здесь, кое к чему присматривался... и нельзя сказать, что два года заграничной жизни пошли у меня прахом. Это, пожалуй, можно сказать о шести месяцах, проведенных в вашем Париже, которые действительно ушли у меня почти зря...

— А нам говорили, что вы и теперь нет-нет да и появитесь на больших бульварах.

— Да, чтобы повидаться с друзьями... и потом, разумеется, здешние туманы надоедают. Но не в этом дело. В Чердыни, кроме политической экономии, я читал газеты, получал письма... Помните, какое ужасное было время? Возможно ли было спокойно думать, спокойно устанавливать свои личные отношения, мечтать о мирной деятельности в мирном захолустье? Нервы непрерывно трепетали. Отовсюду веяло ужасами, кровью, трагедией... Заграница дала мне на первый раз некоторое забвение, а потом и некоторое спокойствие. Наука, в которой я не сумел быть оригинальным, дала мне первый взгляд на вещи... То, что вы говорите о моей Куриловке, о моих «бывших крепостных», давно было

моей целью, но очень недавно я понял, как осуществить эту цель... и понял опять-таки благодаря Лондону. Но не в этом дело. Сами-то вы зачем за границей? Жили в Италии, на Ривьере, в Париже, вот приехали сюда... Зачем?

— Познакомиться с вами, ссориться с вами, надоедать вам...— Наташа засмеялась, потом воскликнула: — Ах ты, создатель мой, опять дождик! — И, обратившись к соседу, внимательно читавшему французскую газету, сказала: — Петр Евсеич, растолкуй нашему сердитому другу, зачем мы с тобой за границей. Ты ведь — отец, на тебе лежит ответственность за мои поступки.

Это был высокий в длинном светло-сером пальто человек лет за пятьдесят, очень румяный и моложавый, с необыкновенно рассеянными глазами, с каштановой бородкой, в которой густо серебрилась седина. Он отложил «Figaro», снял черепаховое pince-nez, посмотрел на берега, в тот момент точно завешанные кисеею, и сказал с выражением какой-то ребяческой досады:

— Вот что обозначает не слушать старших, Наталья Петровна. К чему, спросить вас, тащимся за город? Окончательно выше моего понимания. Сравнимы ли здешние музеи с этакими вот неосновательными пикниками.

— Вот что обозначает не слушать младших, Петр Евсеич,— шутливо передразнила Наташа.— Зачем за границей? Растолкуй лучше Алексею Васильичу. И ты забываешь, что Кью-Гарден тоже музей.

Но Петр Евсеич опять не обратил внимания на слова дочери и продолжал ворчать:

— Экое дело зелень-то смотреть; такое добро везде найдется. А между тем какие любопытные вещички у мадам Тюссо. Да и в британиш-музее не успели нумизматику доглядеть.— Потом добавил, с чрезвычайной учтивостью обращаясь к Струкову: — И вас, Алексей Васильич, ежечасно от дела отрываем; чай, не похвалите своего парижского приятеля за письмо и рекомендацию.

Наташа беззвучно смеялась.

— Признавайтесь, правда мы вам надоели? — спросила она.

Струков взглянул на нее и не сразу ответил. С того времени, как они хорошо познакомились,— а это произошло очень быстро,— не проходило дня, чтобы Наташа не шпыняла его. Был он и теперь раздражен ее нападками и бесцеремонной критикой его планов и мыслей... Но, как и всег-

да за последние две-три недели, стоило ему взглянуть на нее, стоило почувствовать вкрадчивую мягкость в ее голосе, и бесследно исчезала досада, и он не мог отвести глаз от этой сильной, стройной девушки, от ее смуглого лица, вечно заслоненного каким-то непроницаемым выражением, от этих гордо и страстно очерченных губ, на которых в ответ его влюбленному взгляду дрожал затаенный, ласковый, немножко хитрый смех.

— Я счастлив с тех пор, как узнал вас,— тихо и нежно сказал он по-английски.

Наташа вспыхнула от удовольствия, но тотчас же с притворно серьезным видом обратилась к отцу:

— Алексей Васильич говорит, что счастлив с тех пор, как узнал нас. Поблагодари его и спроси, зачем он сказал это по-английски. Какой, однако, у вас прескверный выговор, Алексей Васильич.

Струков густо покраснел и пробормотал какую-то дрянь: он никак не ожидал такого предательства. Потом воскликнул с негодованием:

— Что не мешает вам заставлять меня обращаться к прохожим и полисменам. Вы говорите не хуже моего, отчего же не обращаетесь сами?

— Оттого, миленький, что меня-то уж совсем не понимают, это во-первых, а во-вторых — я не хочу показаться смешною.

Петр Евсеич взглянул на них своими рассеянными глазами, надел опять pince-nez и как ни в чем не бывало погрузился в газету. Пароходик не спеша пробирался по загроможденной реке, то и дело причаливая то к правому, то к левому берегу, забирая и выпуская пассажиров. Было позднее майское утро. Навстречу дул сильный теплый ветер и гнал пухлые облака, из которых едва не каждую четверть часа сеял мелкий теплый дождик. Впрочем, по-лондонски погода была хорошая: тотчас же вслед за дождем блистало солнце и серые пятна в небе беспрестанно сменялись глубокой лазурью. Отовсюду был слышен непрерывный гул. По мостам торопливо гремели поезда; пароходы и лодки сновали, переполненные народом. В капризной игре теней и солнечного блеска выступали дальние дворцы, парки, фабричные трубы... Струков и Перелыгины сели с Чаринг-Кросса, и до самого Челси кругом них, как в калейдоскопе, сменялись лица, толпилась разнообразная публика, чуждо звучал язык. Иногда бывало так тесно, что Наташа поневоле

прижималась к отцу, а тот, притиснутый и с другой стороны, высоко вытягивал локти, чтобы иметь возможность читать свою газету. Так же, как и Наташа, он ни слова не понимал, что говорилось кругом него, и отчасти от этого так пристально, до последней строчки просматривал «Figaro»... Впрочем и Струков, несмотря на то что отлично читал и даже умел писать по-английски, мог разбирать живую речь с большим трудом и лишь тогда, когда говорили ясно, раздельно и литературно. И прежде, до знакомства с Перелыгиными, Алексей Васильевич чувствовал себя безнадежно одиноким в этом море чуждых звуков,— совсем не так, как, например, в Париже, где все, начиная от языка, было ему не в пример знакомее и ближе; но теперь такое отрешение ему нравилось потому, что многолюдная пустыня как-то странно и на особый лад сближала его с Наташей. Прежде он относился к Лондону с боязливым уважением и, в сущности, не любил его и действительно частенько убегал через Ла-Манш «отдыхать»; но с тех пор, как на его холостую квартиру в Россель-Стрит явились соотечественники, все изменилось. Вместе с разгоравшимся чувством к Наташе он стал питать преувеличенную нежность к этому огромному городу, который, казалось, одним своим видом убивал поэзию любви, а на самом деле покровительствовал ей, потому что не вторгался в их жизнь, как непременно вторгся бы Париж с его изяществом, соблазнами, красотою, с легкой усвояемостью французских нравов и интересов, с радостным шумом бульваров.

Но была ли любовь? О, за себя Алексей Васильевич мог поручиться. Он знал это уже потому, что не мог бы ответить, когда началась его любовь, с каких именно пор все ему кажется прекрасным в этой девушке, в какой именно день и час стало замирать его сердце от ее шагов, от шелеста ее платья, от звука ее голоса, от прикосновения руки к ее руке. Ему казалось, что это никогда не начиналось, а было вечно. Ему казалось, что вечно он знал ее — одну только ее в целом мире и, как это ни странно, одну лишь ее он не мог бы описать постороннему человеку и, в свою очередь, не узнал бы в чужом, самом точном описании. Бывало так, что на мгновение он как бы отрешался от волшебного тумана, застилавшего глаза, и смотрел на Наташу, и говорил себе: да ее совсем нельзя назвать красивой; слишком смугла, ноздри велики, овал лица расширен к скулам, рот надо бы поменьше, в манерах есть что-то резкое какое-то само-

уверенное удальство,— также и в мыслях и в словах... Но едва она поводила на него краешком глаза или звучал ее смех, ее удивительный, бархатный голос, и безвозвратно исчезала объективная точка зрения, сменяясь той единственной, с которой смотрит кто любит, с которой все внешнее в любимом человеке сливается с чем-то другим, и самое обыкновенное лицо становится разительным воплощением красоты. И, что всего страннее, Струков вовсе не тогда бывал «объективен», когда Наташа раздражала его своей насмешливостью; напротив, тогда он чувствовал, что любит ее с каким-то злобным и бесповоротным самозабвением; но когда он впадал в раздумье о своей жизни, о судьбе и в связи с этим о чем-то чрезвычайно важном и таинственном,— о том, что на его же языке называлось «вздором» и «мистикой», тогда вот вспыхивало в нем это фотографическое настроение... Впрочем, чем дальше, тем реже и мимолетнее.

Но любила ли она? Как будто бы... А, в сущности, ее чувство напоминало Струкову море иноязычных звуков вот в этой публике, толпившейся на пароходе. Вдруг всплеснет знакомое слово, даже целая фраза, и сделается ясным обрывок разговора, и опять все потонет в непроницаемых волнах... Она любила бывать с ним, радовалась, когда он приходил, уговорила отца еще на неделю остаться в Лондоне, и вместе какая-то досада кипела у нее внутри... Одним словом, что-то мерещилось Струкову, что-то бросало его в радостный трепет, и, не смея выговорить даже самому себе, что его любят, он каждый день ожидал ясных слов или безмолвного разрешения на эти слова, ожидал, что огромное и несколько страшное счастье хлынет на него точно девятый вал.

В Чельси они перешли на другой, совсем маленький пароходик, и сразу сделалось очень тихо и просторно. На палубе сидели только три немца с военной выправкой и непреклонными чертами лица,— они добросовестно проверяли по Бёдекеру речные виды,— да старушка англичанка с фальшивыми зубами и непомерным ридикюлем, да молчаливая компания американцев, равнодушно изучавших окрестности в ожидании ипсомских скачек. Темза становилась все спокойнее, у́же и прозрачнее; от берегов выступали не грязные, как в городе, а желтые, золотистые под солнцем отмели. Городской шум доносился смутно. За лесом зданий и арками мостов давно уже исчезли и громада парламента с летящим ввысь кружевом своих башен, и дворцы Уайт-

голла, и церкви, и придавленный купол консерватории; мало-помалу пароходик миновал и бесчисленное множество скучных, седых, однообразных коробок, из которых составляются бесконечные улицы фабричных лондонских предместий. Потянулась веселая кайма почти непрерывной зелени и неприметно слитых друг с другом городков, с тихими прекрасно вымощенными улицами, с поместьями богатой знати, с историческими «достопримечательностями», мало, впрочем, говорящими русскому сердцу.

— Это выше моего понимания, как тихо везут! — воскликнул Петр Евсеич, откладывая газету и снимая pince-nez.

— Да ты потолкуй с Алексеем Васильевичем... ну хоть о вере, вот тебе и не будет скучно,— сказала усмехаясь Наташа.

— Вот уж в чем я совершенный невежда,— сказал Струков.

— Как же тогда судить обо мне, Алексей Васильич,— опять с чрезвычайной учтивостью произнес Перелыгин, и вдруг в его рассеянных глазах заблистал веселый огонек,— ведь я по завету предков еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, философию ниже очима видех...— Румяные щеки Петра Евсеича вздрогнули, и из румяных уст внезапно вырвался какой-то заливистый, звонкий, всегда почему-то неприятный для Струкова смех: «ги! ги! ги!» — от которого немцы точно по команде переглянулись и, оттопырив презрительно усы, пробормотали что-то по-своему. Струков только и разобрал: Die Russen...

— А я учился в гимназии, да потом прочитал Ренана, вот и все мое богословское образование.

Но этого было достаточно, чтобы Петр Евсеич круто повернулся к Струкову и заговорил с необыкновенным оживлением:

— Вот вы изволите говорить Ренан... Ренан вздор-с, Ренан слащавый человечишка, фразер, особливо в «Жизни Иисуса». В той же Франции есть куда посолиднее Ренана. Любопытен Гавет,— не читали? Еще того повострее Курдаво,— не ознакомились с его книжкой «Коман се сон форме ле догм»?

—«Comment se sont formé les dogmes»[1],— поправила Наташа.

---

[1] «Как создаются догматы» *(франц.)*.

— Все единственно,— сказал Петр Евсеич,— прононс, матушка, не в счет, кто к тридцати годам диалект выдолбил... Проницательный трактатец,— он похлопал себя по оттопыренному карману пальто,— переводик хочу состряпать; в Женеве, может господь помилует, и тиснем, ги! ги! ги!.. А иное дело и это вздор, Алексей Васильич. То да се, историческая точка зрения, внешности... Любопытно-с, что говорить! Тюбингенская эта школа... занимательно-с... И параллели эти всякие... ги! ги! ги! Однако, на мой взгляд, все это для популярного чтения,— кто хватил выше, тому скучно на исторической точке зрения. Историческая точка зрения не только не все, но и не самое важное-с... ги! ги! ги! Удивляетесь?

— Напротив, нисколько. Для человека науки, я думаю, самое важное найти основные начала явления, его законы, и следовательно...

— Ну да, ну да,— нетерпеливо перебил Перелыгин,— вы вот изволите говорить Ренан, значит, пренебрегали богословием. А я всем ему обязан-с... Внутренний смысл-с... постройки-то внутренний смысл куда умней раскрывается, нежели по Штраусу, либо по господину Ренану. Удивляетесь?

Струков ответил:

— Вы ведь по необходимости шли этим путем? А то конечно, начали бы... не с схоластики?

— Никогда!..— горячо возразила Наташа.— О, как вы действительно ничего не понимаете в этом. И что такое схоластика? Зачем схоластика? Ориген, Афанасий Александрийский, Григорий Нисский, Василий Великий — схоласты, по-вашему?

— Ориген — еретик? — с смущением пробормотал Струков.

— Эх, вы... еретик! — воскликнула она, кусая губы, чтобы не рассмеяться.

— Ну, ну, кипяток, молчи! — шутливо погрозился Петр Евсеич и с мягкой улыбкой опять обратился к Струкову:— Это вы правильно, Алексей Васильич, путь мой был по необходимости, почти из-под палки. А что Оригена анафемствовали — не суть важно. Я же вот еретик, по-вашему,— а скажу что-нибудь подходящее, вы ежели и не поверите, так примете во внимание... ги! ги! ги!

— Какой же вы еретик? — удивился Струков.

– Ну, раскольник, все равно да еще беспоповской секты — Спасова согласия-с.

Алексей Васильевич засмеялся и сказал — больше из учтивости, что и в этом так же мало понимает, но по Щапову судя — раскол учреждение почтенное.

– А как же не почтенное,— сказал Петр Евсеич,— афоризм: «Богомерзок-де перед богом всяк любяй геометрию»,— у нас и до сих пор свят... ги, ги, ги! Нет-с, Алексей Васильич, и к Щапову, и к другим ох какие нужны поправки. Вот этак же в Париже пришлось мне насчет Выгорецкого общежития спорить. Они этого не понимают... Тятенька-покойник у меня был некоторый закоренелый столб,— что оставалось делать пока не вывернулся из его когтей? Да и после. Вы не поверите, был я уже глава фирмы, и... тово, развернулся... парти де плизир с французинками и прочее тому подобное... так покойница маменька собственноручно лестовкой отхлестала... ги, ги, ги!.. Аль, говорит, забыл сосуд сатанин, что в кормчей написано: «Або в судне будет латина ела, то измывши, молитва сотвориша»? Вот он каков был путь. Даже с творениями святых отец выходили чудеса: что по-словенски напечатано — читай, а по-граждански — не смей. Спасибо, один уважаемый старец подсобил, урезонил родителя. А с Фомой Аквинатом... ги, ги, ги! Вот случилась история! Приобрел я тайком грамматику Кюнера, изволите видеть, хотел латынь выдолбить, Аквината прочитать,— ведь западную-то церковь без него не поймешь... Ну, было мне за эту латынь!

— Так и не научились? — спросил Струков.

— Нет, после уж... нанял сосланного ксендза. Как же, как же... и Аквината преодолел, это по варварской латыни, а по старинной — пакостного Овидия Назона прочитал... с ксендзом, с ксендзом — я! И именно это его любострастное искусство... ги, ги, ги! Кстати, и в моей жизни подошла распутная полоса...

Но что же вы нашли поучительного в Аквинате? — поспешил спросить Струков, никак не могший привыкнуть к свободе выражений, свойственной Петру Евсеичу да в присутствии дочери.

— Все одно, что в клинике, Алексей Васильич. Вот вы изволили сказать — схоластики... Поучительный предмет, доложу вам,— и не наша восточная, куда нам! А после расторжения церквей, после того, как великие восточные мастера стены-то уж воздвигли, догматы утвердили... А лати-

няне тем временем... Чудное дело с Западом-то, Алексей Васильич: все их богословие в кружево ушло. Дерзости в существенном не было, за нее жгли,— дерзость разрывала с богословием, становилась ересью либо наукой, но зато правоверные таких кружев наплели — уму непостижимо... ги, ги, ги! И доплелись. Недаром и в настоящий момент святейший-то их поблажки им не дает: какую штуку сказал на ватиканском-то соборе! А прав, потому что по всей логике идет от Тертуллиана: кредо, квиа обсурдум есть...

— Credo, quia abcurdum est[1],— поправила Наташа. Она будто бы читала брошенную отцом газету, а на самом деле, внутренне помирая со смеху, наблюдала за Струковым, который притворялся, что ему очень интересно.

— Ты все гордишься ученостью, Наталья Петровна, но это все одно,— сказал Петр Евсеич и, решительно не замечая изнеможения своего слушателя, продолжал с прежним увлечением: — «Верую, понеже бессмыслица»,— завещал им Тертуллиан... Читывали? Нет? Напрасно-с... На манер нашего протопопа Аввакума был человек... ревности неугасимой. Это вот его кредо все западное богословие собой насытило, его неукротимый дух отрыгнулся в Торквемаде... ги, ги, ги!.. В полном виде якобинец был покойник, а Чаадаев скорбел, что мы не в том же приходе!.. Что же-с, отчего и не поскорбеть, ась? Но ежели взять Восток, Ориген — светило, Алексей Васильич, не шутя говорю — светило; а тем паче те, что вот Наташечка назвала... Я им всем обязан-с... Я после них так Ренана понял, что Ренан жйдок-с, потому что на тех же ихних латинских коклюшках воспитался... Вот что такое Ренан-с. Критика его занимательна, да не в том дело-с. Она бьет, да только по католичеству, а не по вселенской церкви. Своя своих не познаша. Вот у нас теперь появилась критика... Читали? Посурьезней будет Ренановой...

— Кое-что читал... обрывки... Признаться, и это не по моей части. А вы как полагаете?

— Да как сказать... ежели коренным образом рассмотреть, так в новгородской летописи вот что записано: «Той же зимы некоторые философове начаша пети: О, Господи помилуй! а друзеи: Осподи помилуй!..» Первые-то, значит, наша критика, а «друзеи» — ихний Ренан...— Тут Перелыгин залился почти до истерики, но потом точно спохватил-

[1] Верую, потому что это абсурдно *(лат.)*.

ся и добавил: — Хотя занимательно, занимательно... для народа-с.

— Вы хотите сказать — для большой публики? — с недоумением спросил Струков.

— Именно для большой публики... для стада-с. Я вот и Курдаво собираюсь выпустить на российском диалекте... Тоже для стада. Что же-с, чем бы дитя ни тешилось. А на самом деле камень, на онь же поставлена церковь, этим не расшатаешь, нет-с... Да и на что, господи помилуй? Кружево обобьется... Фома-то Аквинат. Ну-с, что ж, не в кружевах сила. Ах, мудрецы были мастера... Первые, первые-то, Алексей Васильич, те, что и стадо прибрали к рукам, и высшие дерзновения духа насытили. Литургию Ивана Златоуста помните? Нет? Ги, ги, ги! Напрасно-с... Святые восточные отцы знали, что делали, а даже по части художеств далеко до них вашим Шекспирам. Гоголь очень это понял, ежели говорить по совести.

Неизвестно, долго ли продолжал бы Петр Евсеич ссылаться на совершенно незнакомые и неинтересные для Струкова вещи и все более и более запутывал свои собственные мысли, взгляды и симпатии, но в это время Алексей Васильевич не вытерпел:

— Я вас решительно не понимаю,— вырвалось у него.— То вы собираетесь переводить вольнодумные книжки, то утверждаете, что не расшатаешь и не надо... и что обедня выше Шекспира?

Перелыгин взглянул на него, смутился...

— Н-да, на самом деле оно тово... не вполне по логике,— сказал он с беспокойной улыбкой.— Как, Наташечка?

— Просто вы говорите на разных языках,— сказала она.

— Да, да, на разных языках,— подхватил Петр Евсеич.

Струков пожал плечами и тотчас же раскаялся: такой на него был брошен гневный взгляд.

— Но какое же мировоззрение у Петра Евсеича? Мне очень интересно,— поспешил он спросить.

— Именно интересно, какое мировоззрение,— с видом заинтересованного свидетеля подтвердил Петр Евсеич.

— Дело ясное, миленький родитель наш прежде всего безграничный вольнодумец и вместе большой охотник до этих вот богословских вопросов.

— Так, так, именно охотник... ги, ги, ги! — с удовольствием согласился Перелыгин.

— Церковь он любит не больше, чем Вольтер,— тоном

насмешливой лекции продолжала Наташа,— но если католическую церковь считает чуть не язычеством, то в восточной видит такую внутреннюю силу, против которой и Ренаны, и Штраусы, и даже наша новая критика будто бы ни к чему. По его, это годится только для забавы... для игры ума.

– Правильно, Наталья Петровна! — с восторгом воскликнул Петр Евсеич.

— По его, если эта внутренняя сила церкви и ослабла, так не от вольнодумцев, а от сильных покровителей. И началось с Никона.

— А с Петра Первого паки и паки.

— Но принципы вселенских учителей будто бы живы даже теперь и будто бы дело Никона с течением веков сметется, и даже Рим повернет к Востоку, и что тогда действительно «врата адовы не одолеют ю...». И будто бы человечеству так и надо, то есть массе...

- Сиротам,— вмешался Петр Евсеич.

— Да, сиротам. А избранным можно, во-первых, этим наслаждаться... ну, как наслаждаются архитектурой Notre-Dame или логической красотою Спинозы, а во-вторых,- отвергать, так отвергать под самый корень. И не с исторической точки зрения, или как те, кто сам жаждет Христа, или как деисты, а просто — я, имярек, не нуждаюсь и не боюсь, и сам себе бог. Но это надо и годится только для них, для аристократов... А Петр Евсеич именно аристократ, несмотря что родился от самых заскорузлых кержаков. Вот почему он все отвергает: законы, совесть, веру... и вместе готов целые сутки доказывать правильность двухперстного сложения.

– Ну, пошла, пошла! — со смехом перебил Петр Евсеич.— Насчет совести ты врешь: ее можно называть иначе, а отвергать нельзя. Это выше моего понимания. А что касательно аристократизма — ты бы бога молила: дедушка-демократ давно бы тебя в светелку запечатал.

— Что ж, может, и лучше, если бы запечатал,— с внезапной серьезностью ответила Наташа.

— Вот шутка, Алексей Васильич,— весело сказал Перелыгин,— ведь правда, что ихний пол талеет на воле! Мать ее, Елена Порфирьевна, так ни с того ни с сего с судебным следователем от меня сбежала. Феербахом нас развивал, первый мой приятель был... Взяла и сбежала. Зачем, спросить ее? На вольном воздухе закружилась.

— А любовь позабыл? Впрочем, ты и любви не признаешь,— сказала Наташа.

— Я, матушка, все признаю, да действую-то не очертя голову. «Я же, согласно моему разуму, преписую себе и теми поучаются»,— это Нил Сорский говорит,— а поступать без рассудка окончательно выше моего понимания. К чему? Зачем? Вот, Алексей Васильич, расскажу вам: был старичок один, петербургский купец Аристов. Он до того додумался — на общеженстве особую веру утвердил... с московским мещанином с Никитою Спициным... Так и прозывается – аристовщина. Вот это я понимаю.

— Все гнусные и пустосвятные воображения и их заключения по израженному таинству изблевал сей адский сосуд,— проговорила смеясь Наташа.

— Неужели вы признаете мормонизм, Петр Евсеич?! – почти с испугом воскликнул Струков.

— То многоженство, а это — общеженство, – мягко поправил Перелыгин.

— Тогда и общемужество?

— Само собой.

— Но, в таком случае, простите меня...— Струков не решился докончить и только побагровел от негодования.

— Разврат, желаете сказать? — спокойно помог ему Петр Евсеич.— Да-с, кто развратен, для того разврат. Как и в единобрачии. А говоря вообще — самая трезвая постановка физиологического вопроса.

— Тогда и у хлыстов трезвая?

— Ги, ги, ги! Я и забыл про хлыстов-то. Да-с, и у них трезвая-с. Пожалуй, еще почище, нежели в аристовщине... Да что, Алексей Васильич, в этом деле нужно разобраться. Ведь это страшные слова одни-с. Ведь ежели понимать по совести — так либо безбрачие, и сурьезное, по Оригену: отсеки уд твой, либо — тущи огни, как у хлыстов. Само собой, у них это по-мужицки, но я принцип беру, не форму,— форму возможно обдумать и тово... поскладней. Но во всяком разе — где ваше единобрачие, там обязательно лупанарий,— хороша тоже поправка! — а ежели не лупанарий, так вот эти трагедии разные. Зачем, спрашивается, бежать к следователю? Сама чахоткой кончила, малый спился... Окончательно выше моего понимания. Вникните посмелей, отчего магометанство не знает проституции? Отчего у тех же хлыстов нравы не в пример чище, нежели в ваших православных деревнях? То-то и оно-то, Алексей Васильич. С природой

очень умничать не пристало. Я вам вот еще что доложу-с...

Но дальше Струков не мог стерпеть. Теперь уже не смелость выражений возмущала его, а эта апология безнравственности, это «поругание любви». И не любви вообще,— о, если бы речь шла только об этом, теория Перелыгина и то, что он рассказывал о странном сектантстве, пожалуй, заинтересовала бы Алексея Васильевича и, кто знает, подвинула бы и его на смелые мысли. Но теперь ему казалось, что речь идет именно о его любви и что Наташа недаром так загадочно молчит,— что она, может быть, соглашается с отцом, может быть, представляет его безобразную теорию идеалом. И все в нем заныло от тоски, от негодования... от ревности,— от вихрем пронесшейся нелепой мысли, что Наташа, может быть, жила уже по Аристову! И он с необыкновенной горячностью напал на Петра Евсеича, с необычайным для самого себя красноречием стал доказывать, что «любовь столько же индивидуальна, как личность», что «коренясь в темных недрах физиологии, она расцветает в самой высокой душевной сфере», что «это не физиологический вопрос, но вопрос всей жизни — больше чем религия».

— Кощунственно то, что вы говорите! Безбожно то, что вы говорите! — кричал он с такой яростью, что немцы опять презрительно зафыркали, а старушка с фальшивыми зубами пересела подальше.— Это значит сводить человечество к звериному состоянию... у зверей ведь тоже нет продажного разврата и чистые нравы!.. Это значит растоптать святыню, погасить солнце, обратить мир в конюшню!

— Да постойте-ка... да погодите, Алексей Васильич,— с величайшим наслаждением от такой горячности противника возражал Перелыгин,— ведь это все метафизика, заезженные слова-с. Какая такая святыня? Что обозначает безбожие? Вы справедливо изволили говорить: дело не в том-с, дело в материи, в видимости, в фактах-с. «Иллюзии гибнут — факты остаются...» Ги, ги, ги! Чай, не забыли сего изречения?

— К чему тут иллюзии? Святыня — факт, а не иллюзия.

— Ага! А накормить голодного не святыня? Эрго! И то святыня, что делают реченные хлысты. Тоже голод, тоже пища.

— Черт знает что! Хлеб везде, для всех хлеб...

— И любовь везде, для всех.

— Нет-с, любовь так же, как звук голоса, черты лица,

ум, талант, характер,— у всякого по-своему и, повторяю, составляет личность.

— Что же из того? Как ни расцветай в неделимое, основной закон ведь для всех один: материя. Вы сами изволите утверждать: кто делает историю? — тепло, одежда, пища. А я добавляю: и половой аппарат-с. Вы говорите: на смену нынешнего строя объявится общинный,— и я то же провозглашаю... то есть о своем сюжете. Вы говорите: завтра не должно быть нищеты и драм из-за наживы, а я сверх того: и проституции, и любовных драм. Помилуйте-с, вы только слов страшитесь... жупелов-с... а на самом деле вы в полном виде со мной согласны...

Это было совсем возмутительно. До нынешней поездки Перелыгин почти всегда отмалчивался, когда Алексею Васильевичу случалось высказывать свои взгляды на историю, и по всему было заметно — не разделял их, а теперь с явным лицемерием занимал ту же позицию и нагло компрометировал эти взгляды. И еще то злило Алексея Васильевича, что веселый блеск в глазах Перелыгина заменился каким-то острым, сухим,— «еретическим», так вскользь подумал Струков,— что в его голосе появились всхлипывания и взвизгивания — и в чертах неприятно румяного лица захлебывающийся восторг, а заливистый смешок звучал откровенной язвительностью. И вообще вся его манера спорить была противна Струкову. В споре он не путался, напротив ставил свою мысль прямо и резко, со всеми последствиями, и точно ястреб впивался в мало-мальски неопределенные слова и мнения противника, называя такую неопределенность шумихой, махровыми цветами, метафизикой. По его выходило так, что если поэтическая любовь, так и бессмертие души, и автократическое божество, и какие-то особенные мистические силы,— одним словом, нечего отрекаться от катехизиса Филарета и называть себя социалистом, если верить в поэтическую любовь.

— Причем тут социализм,— грубо крикнул Струков,— можно быть социалистом и верующим. Вон в Берлине придворный проповедник социалист,— и не дал договорить Петру Евсеичу, начавшему было, что «это по всякой логике ерунда: социализм в союзе с церковью», а еще больше возвысил голос и возвратился опять к вопросу о любви. И хотя по какому-то тайному страху ни разу не взглянул на Наташу, но говорил только для нее, одну ее убеждал со всею силою обостренной страсти, нежности... почти отчаяния.

Петр Евсеич несколько раз пытался перебить его, несколько раз вставлял язвительные ремарки, все упираясь на то, будто бы Струков сам себе противоречит, и наконец как-то совершенно по-бабьи взвизгнул, что социализм — вздор вопиющий, потому что «стадо» с обветшалым порядком мышления разорвать не может, а «избранные» не нуждаются в социализме, чтобы разорвать. Но когда Струков и на этот раз не стал слушать — и не бросился защищать социализм, и не рассердился, что его сопричислили к «стаду», Петр Евсеич совсем замолчал и только нетерпеливо подергивал свою бородку да ерзал на месте, потом учтиво, но уж без всякого блеска в глазах стал смотреть на Струкова, потом сделался рассеянным и скучным, даже пробормотал: «Эка врут, разбойники!..» Наташа упорно смотрела в газету, изредка лишь бросая взгляд на Алексея Васильевича. Впрочем, ни одного его слова не пропустила, а в «Figaro» ни одного слова не поняла. Потом вдруг встала и воскликнула смеясь:

— Аминь!.. Кью-Гарден, господа диспутанты. Ой, есть хочется!

II

С пристани пошли к парку и по дороге слегка позавтракали в крошечном кабачке. Пользуясь тем, что Струков волей-неволей перестал излагать свои монологи, Петр Евсеич и когда шли от пристани, и за завтраком, и даже когда ходили по теплицам покушался возобновить спор, задирая на все лады своего противника, но дочь каждый раз останавливала его.

— Отец! Дай фонтану отдохнуть, сказано у Пруткова,— твердила она и однажды послала обычную стрелу по адресу Струкова, добавивши, что под фонтаном надо понимать его «неистовую» защиту любви «единой и нераздельной, как французская республика». Впрочем, Струков не огорчился на этот раз, а, напротив, пришел в тайный восторг: сказано-то это было так ласково, с таким милым оттенком близости,— с сочувствием к его защите. И, вообще, как только сошли с парохода и как только Алексей Васильевич осмелился поднять глаза на Наташу, он понял по ее смягченному взгляду, по ее прелестному лицу, с которого на этот раз совсем исчезла столько мучившая его непроницаемость,

что он был нелеп в своих подозрениях, что она на его стороне, и мгновенно его настроение сделалось радостным, и вся душа опять переполнилась жутким и волнующим чувством ожидания. В этом настроении он и в Петре Евсеиче не замечал теперь ничего отталкивающего; ему было только весело смотреть на него, весело наблюдать, как тому все хотелось спорить, а Наташа останавливала. И хохотал же Струков, когда за завтраком Наташа с несравненным комизмом рассказала, как в Риме Петр Евсеич познакомился с одним патером из русских и ровно двадцать часов спорил с ним о преимуществе церквей, а в Париже столь же бессонно опровергал знаменитого русского агитатора, доказывая, что тот проповедует «барщину» и что Выговское общежитие совсем не социализм.

— Ну, пошла, пошла стрекотать! — шутливо ворчал Перелыгин.— Сама же ты до утра в постель не ложилась, слушала. Да еще подсобляла отцу... Не как теперь, не дашь рта разинуть.

Как был хорош Кью-Гарден! Струков не раз посещал этот парк, но ему казалось, что никогда здесь не было такого солнца, такой яркой и сочной зелени и вообще такой праздничной красоты. Дождевые облака почти совсем рассеялись, ветер утих, на лужайках блистала роса, блестели обмытые листья на деревьях, в воздухе веяло теплом и благоухающими испарениями. Наконец-то Наташа восхищалась без всяких ссылок на превосходство Парижа; даже сказала, что ни с чем нельзя сравнить эту сильную, богатырскую растительность; что она теперь только понимает, как скучна французская манера разводить публичные сады с сплошными аллеями и мелким щебнем вместо газона; что одинокие деревья, луга, рощи, раскинутые живописными островами, гораздо лучше всяких Версалей и Люксембургов.

Но Петр Евсеич изъявлял восхищение только в оранжереях, и то, по словам дочери, лишь потому, что в нем проснулся неисправимый коллекционер, любитель курьезов. Действительно, в богатых коллекциях Кью-Гардена его больше всего интересовало все исключительное, редкое: огромные пальмы, папоротники, кактусы, прихотливые с бесчисленными оттенками орхидеи, неправдоподобной величины victoria regia. С удовольствием отметил он и порядки, язвительно сравнивши их с отечественными: странное отсутствие начальства и привратников, легкомысленное доверие к публике, преступное безразличие между «чистым»

и «черным» народом. Но после оранжерей и после того, как осмотрели «пáгоду» и недавно открытую North — gallery, и «американский сад» с магнолиями, и постояли около прекрасного озерка с свежими, бархатными берегами, и вступили наконец в пределы Aboretum' а, где Наташа тотчас же стала восторгаться могучими деревьями, стволы которых ужасно были похожи на вороненую сталь, и еще особой породы буком с багровой листвою,— после всего этого на благообразном лице Петра Евсеича появилась такая скука, а рассеянные глаза с таким равнодушием стали скользить по окружающему великолепию, что Наташа с улыбкой посмотрела на него и сказала:

— А знаешь, Петр Евсеич, мы тебя отпустим. Но что ты будешь делать один?

И Струков не мог не засмеяться при виде внезапного оживления Петра Евсеича и как он проворно вынул из кармана желтенький томик Courdaveaux[1], и, учтиво раскланявшись, направился к скамейке. Здесь и уговорились встретиться.

Молодые люди пошли одни в глубь парка. И как только остались одни, Наташа чаще стала восклицать: как это хорошо! какой величественный дуб, или бук, или каштан, но восклицала не прежним искренним голосом, а точно по обязанности, и чтобы не говорить того, что хотелось бы сказать без всякого отношения к дубам и каштанам. У Струкова тревожно билось сердце. С чувством, похожим на сновидение, он видел, что происходит в душе Наташи, о чем она думает сейчас, отчего вздрагивают и сохнут ее губы и заметно волнуется высокая грудь... Слова признания, любви, страсти так и толпились в его воображении; и вдруг с побледневшим лицом, с страдальческой улыбкой на губах, но сам изумляясь своему развязному тону, он сказал в ответ на ее новое восклицание:

— Я уже заметил, что Петр Евсеич не терпит живописи, стихов и вообще искусства. Помните, как он скучал перед эльджинскими мраморами и смеялся, когда я хвалил Надсона, и облил презрением «Видение святой Елены» Веронеза? Но оказывается, то же самое и с природой.

— Да, он говорит, что и красота нужна только для народа... для стада, по его терминологии,— сухо ответила Наташа.

[1] Курдаво Пьер-Шарль — французский писатель (род. в 1821 г.) — автор книг по теории и истории искусства и литературы.

— Какой, должно быть, несчастный человек ваш отец!

— Почему же?

— Но чем жить после этого?

— Он говорит — рассудком, размышлением, а в промежутках тем, что занимательно. Он ведь богат и живет бездною интересов. Собирает монеты, кресты, иконы, рукописи; разводит породистых свиней; любит рысаков, изобретает для них упряжь, экипажи. Теперь вот купил большое имение... Мало ли чем живет! Впрочем, решительно ничем не дорожит и в любую минуту может бросить все.— Наташа помолчала и потом добавила с особенным чувством: — Это единственный оригинальный человек, которого я до сих пор встречала, и я его страшно люблю.

— Далась вам оригинальность,— пробормотал Струков, но Наташа не расслышала, о чем-то думая. Алексей Васильевич с отчаянием чувствовал, что в ее настроении происходит какая-то зловещая перемена и что еще немного — и самое важное так и останется не высказанным, может быть, навсегда... и все-таки продолжал: — Воображаю, как для него нелепы его прежние единоверцы.

— Почему? — с удивлением спросила она.— Почему прежние? Во-первых, он и не думал разрывать с ними: спросите-ка, какой документ везет из Рима в обличение одного из Никоновых новшеств. А во-вторых, совершенно уверен, что в деле раскола даже формальная правда не на вашей стороне.

— Даже формальная?! — воскликнул Струков, широко раскрывая глаза.

Это восклицание ее совсем рассердило.

— Ах, создатель мой, да вы читали когда-нибудь серьезную старообрядческую литературу... Ну хоть «Поморские ответы»? — сказала она.— Знаете ли, кто при царе Иване Грозном постановил признанный православный собор и как этим постановлением полтораста лет руководились все святители и иерархи? Ведь легко было никонианцам сказать о Стоглаве «яко же не бысть» и предать его анафеме, но последовательным людям нельзя было согласиться с этим. А «Проскипитарий»? А «Прения с греками о вере»? Известно ли вам, что был Арсений Суханов? Это был царский патриарший, с вашей стороны посланец, а что он рассказал о церковном невежестве тогдашних греков, о том, как помутился источник, из которого Никон поил Русь. А невероятные гонения! Не говорю о таких наших мучениках,

как Аввакум, «протосингел российской церкви»,— он сам очень уж огрызался, но народ, но масса. «Всюду плач и вопль, и стонание,— пишет очевидец,— вся темницы во градех и в селех наполнишася християн древляго держащихся благочестия; везде чепи бряцаху, везде вериги звеняху, везде тряски и хомуты Никонову учению служаху, везде бичи и жезлие в крови исповедничьей омочахуся»... Да что очевидец! Вспомните самосожжения — уж о них-то, наверное, слыхали, вспомните законы царевны Софьи — «Двенадцать статей» их называют,— что ни статья, то плаха и кнут, и пытки... Этого, ей-ей, достаточно, чтобы оправдать в старообрядчестве даже уклонения от формальной правды, даже нелепость... все, все!

Наташа грозно взглянула на Струкова и вдруг рассмеялась: восторженное выражение его глаз чересчур свидетельствовало о том, что он наслаждается звуком ее голоса и разгоряченным лицом и более чем равнодушен и к «Никоновой ереси», и к «древлему благочестию».

— Вот уж я думаю, никогда не слыхал Кью-Гарден таких речей,— сказала она.

— Но как вы это все помните!

— Я дочь своего отца, Алексей Васильич. А потом, вот как придут к нам бывало старички да старушки и просят почитать. И читаешь им про старину, а они, миленькие, плачут и умиляются. Ведь есть вещи изумительные по своей душевной красоте; хоть бы взять письма Аввакума к Морозовой. Я на что крепка — и то слеза прошибала. А читаю я хорошо, истово, с чувством. Ах, создатель, как я любила наши тихие вечера!

— Но сами-то вы, Наталья Петровна, неужели серьезно смотрите на вероисповедные различия?

Наташа, в свою очередь, широко раскрыла глаза.

— Чудак вы,— ответила она, усмехаясь,— я с четырнадцати лет «Русским словом» зачитывалась,— и весело продолжала: — А знаете, кто меня развивал? Вовсе не Петр Евсеич: ему вечно недосуг, он был у меня учитель, из профессоров никонианской семинарии... ой, ой, какая пика!

— И вы, как это бывает, полюбили своего учителя? с насильственной улыбкой спросил Струков.

— Я? Нет. Я никогда никого не любила. Но он, хитрец, готовил меня в супруги... а вместо того взял да на моей француженке женился. Петр Евсеич дал ей приданое.

— А зачем вы сказали, что было бы лучше запереть вас в светелку?

— Разве я сказала? — с смущением выговорила Наташа и после мимолетного колебания ответила: — Потому что сама не знаю чего хочу... Потому что когда узнаю, не остановлюсь ни перед чем...

— А на пароходе вы согласны были со мной! Вы были за меня, я это видел. Ведь вы согласны, что любовь как это солнце?

— Не знаю... Не встречала такой любви.

Струков прикоснулся к ее руке, и, весь холодея от какого-то сладкого ужаса, прошептал с нежностью:

— Милая моя, разве вы не видите, что я люблю вас именно так, именно такою любовью...— Она молчала, не отнимая руки.— Я люблю вас,— повторил он тоскливо.

— А не боитесь меня? — сказала она своим прежним насмешливым голосом.— Я ведь дочь своего отца: свободу выше всего ставлю.

Но рука ее, обтянутая лайковой перчаткой, так беспомощно дрожала в его руке и так была горяча, что ему почудился совсем иной, не насмешливый, не угрожающий ответ, и с уверенной смелостью он привлек к себе девушку, ища ее взгляда, ее лица, ее поцелуя.

— Друг мой, милый друг мой. Я ничего не боюсь, я люблю тебя,— говорил он, сам не замечая, как музыкально и вкрадчиво звучит его голос.

Наташа положила руки на его плечи, подняла лицо... О, какая на нем торжествующая, радостная и вместе недоумевающая вспыхивала и погасала улыбка!

— Мне кажется, что и я вас люблю... Конечно, люблю! — прошептала она и точно огнем обожгла его губы. Потом выскользнула из его объятий и торопливо пошла вперед, повторяя: — Пойдем, пойдемте... Нехорошо в публичном месте целоваться.

Час спустя они сидели на берегу Темзы. Это было в том идиллическом уголке Кью-Гардена, где река едва движется, отражая в своем зеркале и склоненные над нею деревья, и изумрудную тень изгороди, и потонувший в садах того берега городок с старинным серым замком. Стояла тишина, как где-нибудь в глубине России, и только стучало весло о корму одинокой лодки, да иногда взвизгивал локомотив в отдаленье, и смутно, тем ровным и важным гулом, что бывает в сосновом бору, напоминал о себе огром-

ный город. Дорожка вдоль берега была в этот день так же безлюдна, как и весь парк вдали от теплиц. Редко проходили посетители и раздавался иноязычный говор. Но Наташа не обращала никакого внимания на этих редких прохожих и нетерпеливо хмурилась, когда Струков понижал голос при их приближении, выпускал ее руку, старался погасить влюбленное выражение на своем лице. В ее голосе и словах не было теперь и тени насмешливого задора, в странно похорошевшем лице не было и тени непроницаемости, вся она сосредоточилась в каком-то стремлении и не сводила глаз с Алексея Васильевича. А он говорил о своем прошлом, о своих намерениях, о том, что, действительно, «какой же он ученый!» и что самые затаенные его мечты всегда влекли его в русскую глушь, в деревню, на скромную культурную работу.

— Миленький мой! — прерывала она его, и в этом привычном обращении звучала теперь совсем другая нота.— Миленький ты мой! Это уже решено, и мы воротимся вместе... на матушку-Волгу!.. На Волгу — широкое раздолье, а не в твою мурью — Куриловку... Я ведь тоже никогда не жила в деревне и тоже стремлюсь в нее... А, натворим мы с тобою чудес!.. Но ты расскажи, как полюбил меня. Все мелочи, все подробности расскажи... с самых тех пор, как мы разыскали тебя. Ну, вот я вошла... Или нет-нет, прежде я спрашивала о тебе, и горничная не понимала, а ты услышал мой голос и отворил дверь. Помнишь? Помнишь? Ты мне только понравился, понимаешь ли? Гляжу,— среднего роста человек, глаза печальные, глубокие и такие славные кудри. И все потирает руки, будто от холода... и ласковая улыбка. Но и только, миленький, не хочу тебя обманывать. Потом не знаю... Должно быть, ты зажег меня собою. Ведь это бывает? Да? Бывает?.. А все-таки как я тебя злила, когда ты зажег меня, как мне хотелось тебя злить... И знаешь, когда ты сердился, мне это очень, очень в тебе нравилось... О, мягкостью меня не проймешь, я ведь — «супротивная»! И ты красивее, когда сердишься... знаешь ты это? Вот когда бунтуешь и еще теперь... Посмотри, посмотри на меня: ты сейчас поразительно хорош... А что хорошо это, что я по ниточке могу тебя разбирать, а? О, дорогой мой, Алеша мой!.. Неужели опять идут?.. Противные люди!.. Ну, рассказывай все, все, все... Нет, подожди. Не правда ли как чудно: вдруг мы неизвестно зачем приезжаем в Лондон, знакомимся с тобой, ходим

в музеи, в парламент, на митинги, осматриваем все, что обозначено звездочкой у Бёдекера, и вдруг женимся. О, какие чудеса!.. Не смотри на меня так, не хочу... Рассказывай. Или нет, миленький, еще секундочку. Ведь это та самая любовь, о которой ты говорил? Мне так хочется ласкать тебя, целовать, обнять тебя крепко, крепко... Ведь та самая?.. Но зачем же Петр Евсеич говорит свое? Неужели и он прав? И любят друг друга, стыдно сказать отчего? И когда погасает кровь — погасает любовь? О, милый мой, это бывает, и как я думала над этим, как мучилась... Я отлично помню, как это было в последний раз с отцом — вот с той француженкой, что вышла за профессора. Какой ведь красавец был мой Петр Евсеич и сколько у него было приключений... И знаешь, дорогой мой, он логичнее тебя... Молчи, молчи, я только о том, что если материя,— понимаешь ли? — то он логичнее тебя, что в твоих рассуждениях есть скачок, на который ты не имеешь права, если только одна материя. Молчи же, Алеша, иначе я не посмотрю вон на тех долговязых,— должно быть, давешние немцы? — и поцелую тебя... Та, та, та, вам, кажется, не нравится, что я так откровенна? И что не похожа на очень благонравных девиц?.. То-то!.. Но я хочу по-твоему любить, я люблю тебя по-твоему, мой желанный... А ты?..

Сколько раз и с какой мучительной ясностью Струков вспоминал впоследствии этот лихорадочно-быстрый лепет, в котором точно искры в дыму не рассуждающей страсти мелькали зловещие сомнения, сквозила неугомонная, мятежная душа. Но теперь он только слышал упоительную музыку признаний, видел только взволнованное лицо, неизъяснимая прелесть которого напоминала ему полузабытое впечатление от какой-то чудесной сказки, и готов был заплакать от счастья... А жемчужные облака отражались в реке; где-то звонко щебетала птичка; зеленели луга и деревья, окропленные сверкающей росою; стояла тишина, как в далекой, милой России.

Было около шести часов. Наташа устала и успокоилась, и шла под руку с Струковым в тихом и кротком настроении. Но, завидя вдали Петра Евсеича, сидевшего на том же самом месте с развернутой книгой в руках, она снова оживилась и шепнула Струкову:

— Ты посмотри, какой милый чудак! Знаешь, давай не сразу скажем ему, а будем при нем на «ты», вот увидишь,

он ничего не заметит.— Потом сказала громко: — Жив? Дочитал своего безбожника?

- Скоренько осмотрели,— произнес Петр Евсеич, вскидывая на нее более чем когда-нибудь рассеянные глаза. Затем аккуратно сложил книжку, посмотрел на часы и вскрикнул с внезапной досадой: — Это окончательно выше понимания, как вы долго ходили!

– А ты только теперь и заметил? Слышишь, Алеша, он теперь только заметил, что долго. Может быть, ты и есть захотел?

– Еще бы, матушка, не захотеть, давно пора. Слыханное ли дело — приехать в Лондон зелень смотреть!.. Целый день убили!..

Наташа, едва сдерживая душивший ее смех, толкнула Струкова. Тот начал было: «Милая Наташа...», но страшно покраснел и запнулся.

– Ну милая, ну Наташа... А дальше, дальше-то что? — с звонким хохотом восклицала она.— Петр Евсеич? Да посмотри же, какой он уморительный... совершенный жених!

— Своевольница, Алексей Васильич... Извините великодушно,— с учтивой улыбкой, но по-прежнему с рассеянным выражением в глазах сказал Перелыгин.

— Да говорю же тебе — жених! Он сделал предложение, я приняла... соглашайся теперь и ты, если ничего не имеешь против метафизика, марксиста, никонианца и дворянина без определенных занятий.

— Это действительно так, Петр Евсеич,— стыдливо сказал Струков, приискивая торжественные слова,— и я имею честь просить у вас руки Натальи Петровны.

— Разумеется... Весьма благодарен... - с совершенным недоумением пробормотал Петр Евсеич, прикасаясь к полям шляпы, но тотчас же понял по лицу Струкова, что это уже не шутка, и с печальным и растерянным видом обратился к дочери:

— А как же я-то, Наташок?

— Ах, создатель мой, да неужто думаешь, я тебя покину? — вскрикнула Наташа.— Слушай мой план. Ты отдашь нам Апраксин хутор — это и будет Алеше вместо ценза, а сам, как и хотел, станешь жить в Старом Апраксине... и у нас, либо мы у тебя — каждый день, каждый день,— ведь семь верст всего! — И повторила растроганным голосом: — Неужто я тебя брошу, миленький мой!

Петр Евсеич несколько повеселел.

— А! Это иное дело,— сказал он,— я было подумал, что здесь останешься. Да что же, вы по выборам желаете служить? Выбрать выберут — народу у них мало... то есть цензовых-то дворян.

— Я бы хотел попробовать в мировые судьи.

— И в мировые выберут-с. Отрекомендуем вас, познакомим... Мы, признаться, были вот с ней в тех местах только однажды, да и то на неделю,— вот эти барские маетности покупали; но в уезде я кое-кого знаю, рекомендация нашей фирмы кое-что значит... ги, ги, ги! Ну-с, двинемся теперь в дининг-рум, а то и места не сыщешь.

В ресторане Петр Евсеич тоже казался веселым, но, против своего обыкновения, мало ел, не критиковал кухню и не старался заводить споры. За вторым блюдом он вдруг заговорил о своем состоянии, о том, что может передать Наташе сейчас и что после смерти, и все это каким-то нотариальным слогом... Струкова передернуло и от этого слога, и от того, что Перелыгины оказывались гораздо богаче, нежели он предполагал, судя по их скромной жизни в Лондоне.

— Я должен заявить, что мой доход не больше пятисот рублей,— перебил он почти неприязненным голосом,— именьице мое заложено и то, что взято под него в банке, почти все уже истрачено за границей.

— Ну, какой же ты мне муж после этого! — со смехом воскликнула Наташа.

— Вот почему мне бы и хотелось, чтобы ты имела не больше моего.

— А наши затеи, миленький? Школа? Ссуды? Медицинская помощь? Ферма?.. Да что о чем заговорили... Ни слова о презренном металле, материалисты...

Но неловкое настроение возвратилось, когда речь зашла о свадьбе, о том, что потребуется двойная процедура: присоединение Наташи к православию, и венчание, и возможно ли все это устроить в Париже.

— К чему же это? — тоскливо протянул Петр Евсеич. Струков подумал, что его смущает переход дочери в православие, и, внутренне улыбнувшись на такую сектантскую закоренелость в «вольнодумце», начал прибирать доказательства в пользу того, что это лишь одна форма.

Да и я говорю форма,— с кислой усмешкой сказал Петр Евсеич,— к чему же это-с?

— Но как же в таком случае? Я не понимаю.

— Помилуйте, чего же тут не понимать-с? Самое простое человеческое дело. Вам желательно жить с Натальей Петровной, ей — с вами, оба вы люди взрослые и в здравом уме, живите как хотите... покуда полюбится.

Струков потупился и с преувеличенным усердием стал резать ростбиф.

— Ты забываешь деловую сторону,— вступилась Наташа,— кто он таков явится в наш уезд? И как быть с цензом, если я буду незаконная жена? А главное — не стоит тебе кипятиться из пустяков.

— Окончательно выше моего понимания! — недовольно сказал Петр Евсеич, а к концу обеда спросил шампанского, торжественно поднял свой бокал и взволнованным голосом провозгласил: — Как вы там хотите, а по моему родительскому благословению ты, Алексей, будь ее мужем, и ты, Наталья, его женою. Считаю вас отныне в браке.— И, выпив вино, добавил с простодушной язвительностью: — Этак и развод обойдется дешево, ежели вздумаете расходиться... Ги, ги, ги!..

Сконфуженный Струков не нашелся, что сказать, и, не смея взглянуть на Наташу, стал прихлебывать маленькими глотками, а она проронила только: «Это еще успеется»,— и, внимательно прищурившись, следила за игрою шампанского в своем нетронутом бокале... На самом деле ей вдруг отчего-то вспомнилась мать, и сделалось грустно, и захотелось остаться совсем, совсем одной.

После этого прожили еще неделю в Лондоне. Все время стояло почти непрерывное ненастье, а между тем в воспоминаниях Струкова эти серенькие, дождливые дни остались самыми яркими в его жизни. Как прекрасен казался ему великий город с туманными перспективами бесконечных улиц, с гремящим потоком кебов, омнибусов и железнодорожных поездов, с мелодическим звоном бубенчиков на конской сбруе, с безграничным морем колыхающихся зонтиков над идущей и едущей толпою, с строгими очертаниями зданий, точно выкованных из цельного куска темного, отполированного дождями и туманами железа.

Петр Евсеич «доглядел» коллекцию m-me Тюссо и «нумизматику» в британском музее, потом безвыходно засел в отеле над переводом пресловутого Courdaveaux. А молодые люди с утра уходили вдвоем и до позднего вечера скитались в дремучем лесу улиц и зданий. Струков, несмотря на то что провел в Лондоне уже два года, плохо

знал город. В сущности, он легко разбирался только в улицах, примыкающих к Россель-стриту, да за последнее время изучил окрестности Лейстер-сквера, где находился отель Перелыгиных, но дальше, и особенно на правом берегу и на окраинах, чувствовал себя без Бёдекера точно в какой-нибудь тайге. И вот в этом-то и состояло теперь главное удовольствие. Они нарочно не брали с собой плана и не намечали цели своих путешествий, а условились раз навсегда, что соверен будет означать «направо», а полкроны — «налево»,— монеты, сберегаемые Наташей на память об Англии,— и, обыкновенно, выходя из отеля, Наташа с серьезнейшим видом спрашивала: «Золото или серебро?» Струков, посмеиваясь, указывал на ту или другую ее руку с зажатой в кулак монетой, потом они останавливали омнибус, влезали на верхушку, укрывались кожаным фартуком и весело пускались в путь. Несмотря на пасмурное небо, а иногда и на сетку упорного мелкого дождя, с империала было так хорошо видно... Но лучше всего бывало, когда омнибус летел где-нибудь по Чипсайду или Странду, или Флит-стриту и вдруг разрывались тучи. В золотистом тумане испарений развертывалась тогда картина такого невероятного многолюдства, такого захватывающего дух движения, что Наташа волновалась как от вина и, нетерпеливо теребя Струкова за рукав, восклицала:

— Смотри, смотри же, миленький... даже жутко!

Наконец омнибус останавливался; они шли пешком или нанимали кеб до ближайшей станции Metropolitan'а, покупали билеты, называя первый пришедший на память пункт, спускались в подземелье, долго иногда сидели там, наблюдая поезда, каждые пять минут извергавшие и принимавшие сотни пассажиров, затем, в свою очередь, брали приступом тускло освещенное купе, и выходили на свет божий где-нибудь далеко-далеко от центра, но где опять-таки тянулись бесконечные улицы и кишела несметная толпа. Впрочем, случалось попадать и в тихие места; поезд вырывался из туннелей и глубоких выемок, мчал их то в уровень с тротуарами, то выше домов, в окна мелькали почти деревенские виды... и вдруг — неизвестная станция. Струков с Наташей выбегали из вокзала, со смехом спрашивали друг друга: «Где же мы?» — и спешили занять места в неизвестно куда уходящем трамвае. Лошадка бежала умеренной рысцою вдоль по рельсам;

по сторонам приветливо сверкали чистыми окнами однообразные особнячки с отполированными дверями, с блестящими от дождя деревьями, с цветниками против каждого дома; а не то тянулись бульвары вдоль широких превосходно вымощенных улиц или внезапно открывался свежескошенный луг с играющими на нем детьми и молодежью, если не было дождя. «Да где же мы?» — спрашивали наши путешественники у соседей, и оказывалось, что это давно уже не Лондон, а какой-нибудь Фулям, или Гаммершмит, или Чизвик. А тем временем трамвай доставлял их на площадь непременно с кабаком посредине и останавливался. Час или два бродили они по городку, потом брали вечно угрюмого кебмена и ехали к Темзе, и пароход опять привозил их в самое пекло.

Скитаясь таким образом, они заходили в какой-нибудь dimingroom или luncheonbar, обедали с необыкновенным аппетитом или наскоро съедали кусок мяса стоя у прилавка. И сколько было переговорено во время этих бесцельных странствий и длинных обедов с глазу на глаз. Сколько было сделано планов, какие широкие намечены перспективы... Жизнь великого города точно подзадоривала из своим серьезным темпом, и Наташа соглашалась теперь, что это «подзадоривание» совсем не то, какое чувствуешь в Париже.

– Пойми ты, дорогая моя,— с увлечением говорил Струков,— в Париже даже камни, вроде знаменитой стены в Pere — Lachese, вопиют о кровавых традициях, о страстной нетерпимости партий, о безграничных претензиях государственности, о могуществе произвола, фразы, декламации, абстрактных идей, о торопливых достижениях свободы и столь же торопливых отречениях от нее... Я не спорю, временами этот способ развития страшно красив,— куда медлительной Англии...

— О да, страшно красив! — восклицала Наташа.

— Пусть так; зато именно в Англии что достигается, то прочно, и в конце концов без особых катаклизмов утверждено почти совсем человеческое общежитие... во всяком случае, человечнее французского.

— Миленький мой, а колониальная политика? А Ирландия? А кое-какие делишки в Индии? А пауперы — этот ужасный Уайтчапель, где мы вчера так долго бродили?

Но Струков красноречиво напоминал ей, что такие грехи везде есть и даже в превосходной степени, и нет нигде столь искренней и дружной работы для осуществления

самой бескорыстной справедливости. Во Франции, говорил он, все возлагается на правительство, в Германии — на дисциплину партий и ферейнов, здесь — главным образом на свободную личность, на ее права, инициативу, волю. И указывал на возрастающую деятельность английской интеллигенции в сфере разных общественных вопросов, на возрастающее уважение к чужим верованиям, правам, интересам, на эту законность в крови, на спокойное чувство личного достоинства, одинаковое у лорда и простого рабочего, на поступательный ход нравов, идей, отношений, делающий то, что Англия Диккенса и Теккерея быстро становится анахронизмом. Наташа слушала, любовалась убежденным лицом Алексея Васильевича и серьезным звуком его голоса, – и почти всегда соглашалась, не столько от его слов, сколько от этого выражения убежденности в его голосе и лице. Впрочем, иногда и спорила... Раз в каком-то предместье им встретились на улице каменные свежеокрашенные столбы, на которых когда-то навешивались ворота, загораживающие улицу; в столбах и теперь виднелись прочные крюки для петель. Прохожий объяснил им, что, начиная отсюда, городок стоит на земле его лордства герцога Аргайля и что этот герцог, если захочет, может во всякое время навесить ворота и запереть улицу. Наташа ужасно возмутилась такой прерогативой его лордства, и вот тут-то вышел у ней с Струковым горячий спор. Алексей Васильевич настаивал, что и это хорошо; что в этом оказывается глубокое чувство законности — благодетельный дух компромисса, при котором развитие гораздо прочнее, нежели при насильственном истреблении каких бы то ни было столбов.

– Разрушать легче, чем видоизменять,— убеждал он рассерженную Аргайлем Наташу,— зато разрушенное легче и восстанавливается, и иногда в худшей форме. Аргайль, конечно, никогда не запрет улицу: его столбы — лишь символы, увядшие листья старого законодательства. А вспомни вандомскую колонну... и еще многое, что было разрушено и расцвело снова.

- Но ты скажешь, что и розги хороши, если они в законе? Что и это варварство нужно видоизменять, а не истребить сразу и с корнем?

Струков возмущался таким толкованием, говорил, что против «варварства» нужно бороться решительно, сметать его, по возможности, до основания, но что борьба-то пусть

будет целесообразна,— и в конце концов и на этот раз почти убедил Наташу... опять-таки не столько аргументами, сколько выражением голоса и лица.

Но обращаясь к далекой родине, они были всегда единодушны. Дружно мечтали, как будут работать там вот на такой закономерный лад, как в не столь отдаленном будущем гоголевская и щедринская Россия тоже сделается анахронизмом — и без всяких «революций», а постепенным развитием сознания, законности, довольства, бескровными жертвами, культурными силами, осуществлением скромных задач. Правда, в этих дружных мечтах сквозили различные точки зрения: было заметно, что Наташа строила планы без всяких особых соображений, а просто потому, что любила деревню и простых людей, и еще любила того человека, с которым собиралась «работать». Струков же больше всего любил «человека», то есть ее, Наташу, а деревенскую деятельность, как и прежние ученые свои планы, определял «трезвыми» доказательствами, основанными, как ему казалось, на строгом, почти лабораторном опыте. И иногда случалось, что Струков замечал эту разницу в точках зрения. Еще чаще замечала такую разницу Наташа, и, кроме того, замечала непоследовательность Алексея Васильевича,— то, что ему не удается перекинуть мостик от Маркса к русской деревенской деятельности... Но, боже, как это было смешно и незначительно в сравнении с чувством, волновавшим их сердца, и как быстро проходило от одного пожатия руки, от восхищенного взгляда, от пламенного поцелуя где-нибудь в полумраке случайно опустевшего купе или в закрытом кебе.

А вечером, перед ярким огнем камина, возникали нескончаемые споры с Петром Евсеичем. Сказать по правде, тот порядком-таки отравлял жизнерадостное настроение молодых людей. Это-то ничего, что в разговорах о любви он опять ссылался на «аристовщину», как на «самое разумное разрешение вопроса»: Струков уже знал теперь, каких мнений придерживается Наташа, и возражал старику без особой горячности. Но Перелыгин раздражал его своим скептицизмом и зловещими предсказаниями в области тех надежд, которыми они с Наташей теперь пламенели, и с этим-то Алексей Васильевич спорил до крика, до хрипоты в горле, до озлобления. Тем более что в словах Петра Евсеича грезилась ему какая-то страшная правда. Тот ни во что не верил в России: ни в народ, ни в командую-

щие классы, ни в либеральные, ни в консервативные законы. На всякое возражение Струкова он приводил ошеломляющие факты,— и не из писаной истории, о которой утверждал, что это сплошная басня, а из истории неписаной, но всем известной, и из своих отношений с народом и интеллигенцией, с высокими и малыми вершителями отечественных судеб. Фирма «Евсей Перелыгин и Сын», теперь ликвидированная, вела в свое время миллионные обороты и давала возможность Петру Евсеичу сталкиваться с разнообразными людьми не только по своим делам, но и в качестве представителя от целого промышленного района — от города, от хлебных торговцев, от владельцев баржей и пароходов. Кроме того, после смерти отца он с жадностью неофита сближался с «передовым обществом»,— даже с пропагандистами семидесятых годов, бывшими на Волге,— и вот отовсюду извлекал унылые выводы. А Струкову больше всего было досадно то, что он чувствовал преувеличенные краски в наблюдениях Петра Евсеича, видел «психологический источник» такого преувеличения — и не мог доказать это, потому что сам-то знал русскую действительность только по книгам.

— Во что же вы верите наконец? — спрашивал он. Несмотря на то что в Кью-Гардене Петр Евсеич назвал его «Алексеем», они так и остались на «вы».

— Да как сказать... В силу здравых привычек, пожалуй, верю,— ответствовал Петр Евсеич, но тут же прибавлял, что сила эта разливается так, что на расстоянии веков и не приметишь простым глазом: подвинулась она хоть на крупицу или нет.

— Но можно ли отрицать, что именно хорошие законы да хорошие люди, вооруженные их властью, и подвигали эту вашу силу. Да не на крупицу, а совершенно преображая страну.

— Отвод глаз, Алексей Васильич, не иначе, как отвод глаз. Это все на бумажке-с, не взаправду-с, не на самом деле.— И Петр Евсеич демонстративно вынимал платок, демонстративно сморкался в него и говорил: — Вот-с, с любезного вашего дозволения: обходимся с помощью платка-с, не в пальцы, как мой тятенька-покойник, и это взаправду-с, это очень прочная реформа... Ги! ги! ги! Потому что установлено, здравая сила утвердила, в привычку вошло-с. И что ты там в законах ни пиши, я обходиться без платка не согласен-с.

— А я скажу, как у Фонвизина: кто же был первый портной? С кого брать привычки и как их внушать?

— Именно таким манером и внушать, как вы испугались в Кью-Гардене... Ги! ги! ги! Надо по рассудку поступать-с, ни на что не взирая-с. Вот и будете первый портной. Окольные же пути, как их ни называть, все — лганье, всякий компромисс — лганье... отвод глаз. С какой стати-с?

— Удивительно что вы говорите! Не компромиссами ли и раскрывается исторический процесс? Не карается ли человечество огромными бедствиями, если оно сходит с пути компромиссов? Наконец о законах... Освобождение крестьян, судебные уставы шестьдесят четвертого года, земство,— это все отвод глаз? Лганье, по-вашему?

Но тут Перелыгин заливался почти до истерики.

— Ничего нету-с,— кричал он,— ярлычки переменили, назвали по-другому, а то ничего нет-с, все по-прежнему-с! Поживите в деревне, сами увидите. Умный человечек написал: нельзя освободить людей свыше того, чем они освобождены внутри... Александр Иваныч Герцен написал-с! Не спорю, хорошего много обдумали... и люди были хорошие... а на самом деле только лишь и осталось, что ярлыки. Крепостные по-прежнему — беднее разве сделались; суд — по-прежнему, легче только сутяжничать; земство,— ну, сами увидите, в чьих оно руках... Да еще подождите, не за горами дело-с, почитайте-ка, что в матушке Разсее черным по белому печатают... (Петр Евсеич, когда сердился на отечество, произносил не «Россия», а «Разсея».) Будут вам ужо реформы!

— Что же, вам остается, значит, радоваться,— ядовито замечал Струков,— а мы с Наташей не правы, и нечего нам делать в России. Говорите же, нечего нам делать в России?

Но на это Петр Евсеич уклончиво разводил руками и отвечал обычной своей поговоркой:

— Окончательно выше моего понимания!

Тогда вступилась Наташа.

— Ну, ты, Петр Евсеич, совсем зазнался,— с неудовольствием говорила она.— То у тебя мерзко, это непрочно, черный народ — дикари, чистый — хамы, интеллигенция — тепличный выводок... Слыхали мы!.. А когда веришь? А когда любишь? Когда здесь, здесь и то вспомнишь нашу Волгу, наши поля, наших милых простецов, так и загорится душа по ним... Отчего это? И что ты твердишь: зем-

ство — вздор, мировой суд — вздор, освобождения не бывало: — дедушка Евсей такой же миллионер был, а губернатор ногами на него топал, за бороду его хватал... Кто на тебя осмеливался топать?

— Меня хранил еще господь, а в Москве в части присяжного поверенного выдрали... Ги! ги! ги!

— Это уголовщина,— воскликнул Струков,— и о ней печатают в газетах. Наташа вам говорит о нормальных приемах власти, а не об уголовных преступлениях. Так нельзя затемнять вопрос.

Петр Евсеич внимательно посмотрел на них и покачал головою.

- Ну, быть так,— сказал он.— Кое-что смягчилось... Что же из того? Сила здравых привычек свое взяла.

— А коли взяла, надо ее развивать дальше,— горячо утверждала Наташа.— И всеми способами, а не по-твоему, в одну точку. Посмотри, что здесь делается... Вот люди-то не спят.

— Что здесь? Пристальней поглядеть, и здесь одна меледа,— говорил Петр Евсеич.— «Ловля у львов — дикие ослы в пустыне, так пастбища богатых — бедные»,— сказано у Сираха... Это и у нас, и здесь в одинаковом положении. Суета-с.

— Ну, и я спрошу, как Алеша: чем же ты живешь?

— Да, да, чем вы живете? — повторил Струков, вскакивая со стула.

— Любопытством,— спокойно отвечал Петр Евсеич.— Да и вы, дозвольте вам сказать, тем же-с.

Но тут спор переходил совсем в отвлеченности, подымался такой шум, и сюжет столь быстро запутывался, что Наташа отчаянно махала руками и просила перестать. И, обыкновенно, Струков смолкал первый, Петр Евсеич учтиво улыбался и напоминал дочери слова приснопамятного протопопа: «А что противятся друг другу — пускай так! Грызитеся гораздо, токмо праведне и чистою совестью разыскивайте истину». И все смеялись от этих старых слов; за всем тем, возвращаясь к себе на Россель-стрит, Струков уносил нехороший осадок на душе, и только завтрашний день исцелял его своими скитаниями, разговорами вдвоем, мечтами вслух, сладкими поцелуями где-нибудь в закрытом кебе или в случайно опустевшем купе.

Вот эти поцелуи... Ужасно смущал Петр Евсеич молодых людей тем, что иногда возвращался к своему кьюигарден-

скому провозглашению, и недоумевал, отчего Струков не переберется из Россель-стрита в их отель. Алексею Васильевичу чудился в этом какой-то старческий цинизм; Наташе просто не нравилось, когда говорят о таких вещах, хотя она и знала, что это вовсе не цинизм, а действительное убеждение Петра Евсеича. В сущности, и Наташа и Струков ошибались. Петр Евсеич действительно был убежден в ненужности обряда и с несколько смешной нетерпеливостью хотел доказать на деле, как он смел и свободен в своих взглядах; но в глубине-то души он и по другим причинам не желал бесповоротных обязательств. В какую-нибудь особенную «любовь» он не верил; к Наташе был страстно привязан. К Струкову относился втайне почти презрительно,— и за то, что тот «барчонок», и «робок в мыслях», и равнодушен к богословским вопросам, и «ничего не понимает в России»... И вот Петр Евсеич думал про себя, что дело тут не в любви, а в молодой страсти, что когда утолится страсть — пройдет и то, что называют любовью, и Наташа останется при нем.

Отчасти Петр Евсеич был прав: беспощадная власть молодости, крови, физических влечений все сильнее захватывала Наташу и ее названого мужа, может быть, еще оттого, что они, смущенные смелостью Петра Евсеича, таились с этим не только от него, но и друг от друга. Впрочем, Наташа совершенно не понимала, что с нею делается. То, что она знала о брачных отношениях,— а знала она довольно,— совсем не имело значения в странном состоянии ее духа. То было ясно, как в анатомическом атласе... и грубо, как все, что превращает человека в орудие пользы, в какую-то производительную машину, в животное. Но то, что она испытывала теперь, было совсем не ясно и очаровывало ее чем-то непостижимым. С каждым днем она находила все большее наслаждение в присутствии Струкова, в том, чтобы не отрываясь смотреть на него, слушать его голос, загораться восторгом от прикосновения его руки к своей, от его поцелуев и признаний. Она долго не спала по ночам, во сне волновалась грезами, просыпаясь мечтала... О чем?.. И сама не могла бы ответить, но в этих грезах и мечтах не было ни одной черточки из грубых теорий Петра Евсеича, ни одного чувственного образа. Все ее существо сосредоточилось в каком-то стремлении; в душе звучала упоительная музыка... без слов, без определенных представлений,— и с каждым днем мысли складывались труд-

нее и труднее, уступая волнам беспричинной радости, беспричинной тревоги, растворяясь в мечтах... иногда даже в слезах. Но она не чувствовала себя глупее, как это говорят про влюбленных; она только понимала не одним умом, как прежде, а чем-то другим, и понимала несколько иначе, чем прежде. Лучше даже сказать — угадывала, как угадывала, о чем думает Струков, что он хочет сказать, в каком находится настроении. Это было похоже на ясновидение. И как в Струкове нечто из его душевного мира было ей совсем недоступно, так не замечала она и той зловещей стороны жизни, о которой пророчествовал Петр Евсеич. Жизнь ей представлялась в каком-то особом освещении, без темных подробностей, без осложненной сумятицы вещей и обстоятельств; в грядущем разверзались перед нею бесконечные дали... И все в этой бесконечности играло теми же радостными и тревожными цветами, как и в ее глубоко взволнованной душе. Что ей было за дело, что Россия не Англия и что их с Струковым планы фантастичны. Зато ничуть не фантастичны силы, с каждым днем выраставшие в ее душе, не фантастично чувство беспредельной любви к «Алеше», и, в его лице, к России, к человечеству, ко всякому дыханию, что хвалит господа на этой прекрасной земле,— чувство, напряженное до восторга, до упоения, до какой-то сладостной боли.

И вот в соответствии с таким настроением Наташи исчезли капризные очертания в ее характере; она сделалась нежна, послушна, ласкова и все ярче расцветала той поразительной красотою, что светит изнутри от воспламененного любовью сердца.

И по временам ей ужасно хотелось забыть свои «трезвые» взгляды, отдаться во власть чрезвычайных влияний, перейти в то далекое детство, когда жилось точно во сне и действительность неразрывно сплеталась с чудесами. Но об этом она ни слова никому не говорила, это был ее самый строгий секрет... Раз она проснулась очень рано, долго лежала с полузакрытыми глазами, вздыхая и заламывая руки, и вдруг вспомнила, что сегодня воскресенье, а завтра решено уезжать из Лондона. Почти не отдавая себе отчета, что делает, она быстро и беззвучно оделась, взяла завтрак и, сказав внизу, что скоро вернется, пошла к Вестминстерскому аббатству. Легкий туман висел над городом, местами сквозь него янтарным пятном просачивалось солнце... Улицы были пустынны. Наташа остановилась против аббатства, взглянула ввысь —

стрельчатые башни точно таяли в загадочной дымке — и с трепетом вошла под аркады «северных дверей». Служба еще не начиналась, хотя церковь была уже полна народом. Стояла глубокая тишина. В разрисованные окна мерцал какой-то нездешний свет; в этом странном мерцании задумчиво обозначались белые статуи, тускло блистала позолота резьбы королевских гробниц и катафалков, удивительной часовни Генриха Седьмого... В вышине огромных сводов клубился непроницаемый сумрак. Наташа протеснилась к любимому своему памятнику,— к мраморной группе Рубильяка, полной такого движения, ужаса, злорадства и такой самоотверженной любви; внимательно, в десятый раз, всмотрелась в лицо старого Найтингаля, отражающего копье смерти от своей молодой жены... и, сдерживая подступающие слезы, опустилась на колени. Это был совсем не тот Найтингаль, что прежде, и не та была смерть, не та умирающая женщина,— и церковь с бесчисленной толпою своих изваяний совсем не походила на «достопримечательность», отмеченную двумя звездочками у Бёдекера. Все теперь приобрело особый смысл в глазах Наташи, преобразилось из вещественного в мистическое, в какую-то тайну.

Кто-то заговорил слабым, теряющимся в пространстве голосом; кто-то ответил торжественным баском... В храме пронесся шорох и шепот, и вдруг с вышины раздался гул, всюду заколебались волны звуков... Гремел орган; в сложную гармонию сливались голоса многочисленного хора, в цветных лучах в каком-то новом значении оживали мраморные короли, рыцари, поэты,— великие люди Англии... Тайна задумчивой тишины и пластических очертаний превращалась в тайну звуков, в движение, во что-то такое, отчего холодело сердце Наташи и высоко подымалась ее грудь. Как назвать это впечатление? К какому разряду «гипноза» его причислить? Она об этом не думала; да и ни о чем не думала, а по-детски всхлипывая от душивших ее сладких слез, крестилась двухперстным, раскольничьим крестом и шептала полузабытые молитвы.

Дома ее встретили расспросами; краснея и волнуясь, она ответила, что гуляла, потому что разболелась голова, и не только в этот раз, но и никогда, никому не рассказала о своем посещении Вестминстерского аббатства накануне отъезда из Лондона. И не оттого, что стыдилась, а по какому-то другому чувству.

Алексей Васильевич был из тех не первой молодости лю-

дей, о которых принято говорить, что они высокой нравственности. Случилось так, что в гимназии он уберегся от патологических примеров, что женская прислуга в доме его тетушки состояла из двух богобоязненных старушек и что вместо нынешней заразы фривольного чтения, щегольства, внешнего благонравия и детских балов он воспитывался в ту эпоху, когда с юных лет заражались великодушными мечтами, презирали «эстетику», увлекались не романами и не расслабленной лирикой наших дней, а прямолинейной литературой шестидесятых годов и коренным переустройством обветшалого мира. На втором курсе он, сам того не замечая, сошелся с предприимчивой горничной из меблированных комнат, пытался было просветить ее и даже искупить свое увлечение женитьбой, но скоро самым предательским образом был покинут, и, что всего обиднее, ему предпочли франтоватого шпиона, специально надзиравшего за студенческим населением меблированных комнат. Потом Алексей Васильевич поддавался от времени до времени той распространенной мысли, что «воздержание — нездорово», и делал, как все,— и, как все почти молодые люди того времени, с чувством отвращения вспоминал об этом, терпеть не мог игривых намеков, разговоров и анекдотов; даже не выносил серьезных рассуждений на эту тему. Одним словом, был действительно чистый и целомудренный человек и в своих глазах, и в глазах всех его знавших. Тем не менее как ни возвышенно он полюбил теперь, для него было невозможно думать о своей любви с девической неопределенностью. В противоположность Наташе, он отчетливо сознавал, что́ опьяняет его и огнем разливается по его жилам... Правда, он возмущался предложением Петра Евсеича «переехать из Россель-стрита»; считал кощунством воображать о Наташе как о существе иного пола; стал бы презирать себя, если бы намеренно домогался супружеских отношений с этой прелестной девушкой, но вместе с тем всеми силами души желал ее, и без всяких низких расчетов, с очень благоговейными словами на устах, но с внутренним упорством одержимого в ней самой стремился пробудить определенное желание.

III

Перелыгины приехали в Англию через Кале и Дувр, но теперь Наташе очень хотелось увидеть «настоящее» море,

и они выбрали более длинный путь, на Ньюгевен и Диепп. Поезд примчал их в английский порт к одиннадцати часам ночи. В дороге Наташа была очень грустна и рассеянна; по временам у нее даже навертывались слезы... А Петр Евсеич беспрестанно открывал окно, осведомляясь, есть ли ветер. Ветер был, но это могло происходить и от неимоверной быстроты экспресса, как утешал Петра Евсеича Струков. Однако в Ньюгевене окончательно выяснилось, что это не от экспресса: Ла-Манш шумел, и, стоя на пристани, нужно было придерживать шляпу. По небу торопливо бежали косматые тучи; из-за них мгновениями светила луна, разливая неверный, дрожащий свет. Петр Евсеич совершенно растерялся и бормотал, что нужно «переждать», что в жизнь свою он не испытывал такой мерзости, как между Кале и Дувром, и не хочет повторения. Наташа ждать не хотела, да, по убеждению Струкова, это было бы и бессмысленно, но, в свою очередь, впала в угнетенное состояние духа и едва ли не плакала от досады. Она больше всего боялась, что не увидит «океана», не будет в состоянии последний раз взглянуть на берега Англии, где под туманами и дождем светило для нее ласковое солнце первой любви и возвышенных мечтаний. Между тем в колеблющемся полусумраке пароход быстро наполнялся народом. Нельзя было дозваться носильщика в этой суете, да и никто, казалось, не нуждался в этом, кроме Петра Евсеича, беспомощно стоявшего перед кучей щегольских своих саков, купленных в Лондоне и набитых разными изящными пустяками лондонского же производства.

— Окончательно выше понимания, какой дурацкий порядок! — сердито твердил он и однажды сказал даже, что в России гораздо насчет этого превосходнее, причем едва ли не в первый раз выговорил «Россия», а не «Разсея». Струков невольно подумал про себя, что вот и внук саратовского мужика, а как усвоил барские привычки, и, презрительно усмехнувшись, проворно стал забирать довольно-таки тяжелые вещи. Петр Евсеич рассыпался в учтивых извинениях и, угловато сгорбившись и неловко семеня ногами, в свою очередь, подхватил какой-то тюк. А как только взошел на пароход, тотчас же затосковал и, с великим трудом пробравшись с помощью кроны в переполненную каюту, с видом мученика лег на диван.

Алексей Васильевич не боялся качки. Морской воздух и этот резкий ветер, насыщенный солью и запахом водорослей, как-то особенно приподымали его настроение... Но и он

был не в духе. Он решительно не понимал, отчего Наташа с такою грустью уезжала из Лондона, отчего всю дорогу не обращала внимания на его влюбленные взгляды, на ласковые слова, произносимые украдкой, на пожатие руки, отчего ее лицо сделалось таким холодным и неприятно озабоченным, как только они очутились на пристани... То есть он знал отчего, но оскорблялся, что его присутствие не делает ее равнодушной к разлуке с Лондоном, к ожиданиям морской болезни, к тому, что пришлось суетиться с вещами и проталкиваться на пароходе с помощью локтей. В сущности, как и везде в последнее время, но на этот раз с особенной раздражительностью Струков ревновал Наташу к тем мыслям и ощущениям, о которых она не считала нужным говорить ему.

Сложив в кучу вещи, они уселись около них на скамье, прислоненной к борту. Это было наверху, на палубе первого класса, и так как там было ветрено, а порою через борт взлетали брызги, то вся публика ушла в каюты и туда, где было затишье и тепло от трубы. Наташа молчала с полузакрытыми глазами, точно прислушиваясь внутри себя; Алексей Васильевич ожесточенно курил... Снизу был слышен говор почти на всех европейских языках; ветер хлопал растянутой парусиной, отделявшей палубу первого класса; где-то стучало, откуда-то раздавались командные крики... Пароход вышел на взморье.

— Миленький мой,— вдруг радостным голосом воскликнула Наташа,— знаешь ли, я совсем, совсем не чувствую качки!

— Да ее и не будет,— сухо сказал Струков.

— Но как же, такая буря?

— Ничего не значит: пароход перерезает волны. И потом, разве это буря? Просто — свежий ветер.

— Да, свежий... Ой, как нас трепало тогда, а ветер был меньше. Совсем, совсем не чувствую!.. Ах как хорошо! Дай мне руку. Ты сердишься, глупый? Пойдем к корме. Держи меня крепче... Дружочек мой, смотри на эти берега... Милая, милая Англия, никогда тебя не забуду! А ты, Алеша?

— Ты простудишься, Наташа. Вот сорвало твою шляпу... Хочешь, достану макинтош? Надень, пожалуйста.

— О, какой ты злой! Ну, давай скорее... И капюшон на голову?.. На кого я теперь похожа!.. Но если б ты знал, как мне было больно расставаться с Лондоном.

— А помнишь, ты все бранила его и хвалила Париж?

— Разве? Это, должно быть, чтобы рассердить тебя...

Боже мой, как мне жалко, что мы уехали! Друг мой, не воротится это, не повторится. Может быть, лучше будет,— не хмурься,— но никогда, никогда не повторится... Ну, все равно. Вон берега... видишь? И луна, и тучи, и волны шумят... О, дорогой мой, как я теперь счастлива. Ведь это настоящий океан? Смотри вот в этом направлении — ведь тут все море и море до самой Америки?

— Я думаю, в этом направлении остров Уайт, не больше.

— Ну, все равно, Уайт так Уайт,— ты это мне назло... желанный мой! А в какую сторону Джерсей? Помнишь Les travailleurs de la mer?[1] О, если тебе открыться по совести, я была влюблена в Жильята... Но расскажи, отчего ты такой нехороший,— правда, сердишься за что-нибудь? Правда? — И она приближала к нему лицо свое, вкрадчиво заглядывала в его глаза, проводила рукою по его щеке.

Дурное настроение Алексея Васильевича не сразу изменилось. В его уме мелькнула даже грубая, во вкусе Петра Евсеича, мысль, что это у Наташи влияние морского воздуха, простора, неожиданных впечатлений и — главное — оттого, что нет качки... Но во всем ее существе было столько очаровательной силы, ее голос звучал такой нежностью, а лицо, обрамленное капюшоном, так прелестно выделялось в капризной игре лунного света, заслоняемого бегущими облаками, что он, если бы и хотел, не мог оставаться в дурном настроении. Он страстно обнял Наташу, стал целовать эти милые полураскрытые губы, на которых чувствовался осадок соли, это свежее, обвеянное ароматом морских испарений лицо... Тесно прижавшись друг к другу, они ходили вокруг темных, завешанных изнутри кают, прислушивались к разноязычному говору внизу, к завыванию ветра в снастях, к ритмическому стуку винта, к грозной музыке Ла-Манша. Берега давно скрылись. По временам падали тяжелые капли дождя... В странно мерцающем пространстве без конца клубились волны, мчались тучи. Порою виднелись звезды, маячил одинокий парус, отчетливо выступая в лунном свете, пена вспыхивала серебром, даль развертывалась широко... И снова падал сумрак, и все смешивалось в неразличимых очертаниях, в торопливом движении каких-то теней, проблесков, белых пятен, в чем-то таинственном, не похожем на действительность. И жутко было смотреть на огни, иногда мелькавшие в этом неопределенном пространстве, думать

[1] «Труженики моря» — роман В. Гюго.

о том, что в бурном море плывут теперь корабли... может быть, далеко, далеко...

— Не правда ли, мы как в сказке?—прошептала Наташа и вдруг вскрикнула... и рассмеялась. Две фигуры шли навстречу. Черные крылья развевались у них за плечами; в колеблющейся полосе света за ними, колеблясь, следовали тени, похожие на каких-то огромных птиц.

— Как в сказке, моя дорогая,— нетвердым голосом повторил Струков и не сразу подал билеты, так же как не сразу человек в форменной фуражке взял их, взглянувши на освещенную фонарем Наташу. Этот человек, по-видимому, хотел сказать какую-то любезность, даже выставил свои крепкие зубы и осклабил красное изрытое морскими ветрами лицо, но ограничился лишь тем, что на сквернейшем французском языке назвал погоду не вполне приятной для дам, приложил руку к козырьку и, кивнув своему товарищу, проследовал дальше,— тени побежали вперед, резиновые плащи, гремя, развевались точно крылья... и снова стало как в сказке, сделалось не похоже на действительность.

Свежело. Ветер, казалось, хотел превратиться в бурю; откуда-то раздался звон разбитой посуды; пароход тяжко вздыхал своими трубами и содрогался до основания; воздух со стороны востока становился белесоватым. Луна совсем исчезла... за всем тем бушующее море виднелось шире и яснее.

Мелкий, точно лихорадочный озноб начинался у Наташи,— оттого ли, что похолоднело, или от странных ощущений этой фантастической ночи. Голова ее слегка кружилась, но не от качки, хотя теперь волнение было достаточно, чтобы заболеть. Струков усадил ее под защиту шумящего полотна, окутал пледом, согревал горячим дыханием ее руки, шею, лицо, прижимал ее к себе с такою силой, что она вскрикивала, и вдруг сказала, что ей жарко, и порывисто откинув плед, прильнула устами к его устам, с неперестающим, неслышным смехом отдавалась его ласкам, с выражением какой-то блаженной радости ловила его страстные, без слов умоляющие взгляды и, замирая от наслаждения, от ужаса, от любопытства, подчинялась его воле...

В темных тучах стало просвечивать опалом, янтарем, багрянцем. Волны синели, паруса обозначались вдали... Призраком выступил французский берег.

Струков протянул руку к востоку, и, опьяненный до

экстаза, красивый как никогда в этом пурпуровом освещении, воскликнул растроганным голосом:

Смотри, как заря там алеет!..
Как эта заря, мое сердце
Любовью к тебе пламенеет...

Но Наташа едва улыбнулась, едва взглянула на него, прошептала: «Ах, если б ты знал, как я измучилась!» — и, опустив отяжелевшие ресницы, на которых застыли крупные слезы, в изнеможении склонила голову на его плечо и задремала. Он бережно поддерживал эту драгоценную ношу; с умилением любовался побледневшим личиком; с особым чувством снисходительности примечал на нем следы какого-то недоумения, какой-то невысказанной грусти. «Это скоро пройдет!» — думалось ему,— и вздрагивал от радости, когда в молодом, упругом, красивом теле, лежавшем на его руках, внезапно пробегал трепет,— точно последние искры от миновавшего пожара,— а вместо тоскливого выражения на лице вспыхивала и погасала очаровательная улыбка.

Тем временем в небесах разгорался иной пожар. Солнце раскалило и разогнало тучи и вставало над морем в блеске, в золоте, «в славе», как выразился про себя Алексей Васильевич... И в лад с этим торжествующим блеском, с радостной игрою солнечных лучей в синем морском пространстве складывались мечты Струкова, слагались его мысли о жизни, о счастье, о будущей деятельности в России. Ему не только не хотелось спать, как Наташе, но хотелось бы петь во весь голос, и непременно что-нибудь победное, какой-нибудь «гимн к радости» Шиллера, чтобы оповестить далеко, далеко о полноте своего существования, о том, что мир прекрасен...

В Париже произошло по желанию Петра Евсеича: молодые люди стали жить вместе без венчания. Старику очень хотелось собрать знакомых русских и заявить о таком порядке брака торжественно; он даже написал «чернячок» застольной речи, не без тайного умысла напечатать ее впоследствии во французских газетах; но Наташа возразила, что все равно в России придется «надевать венцы», и, значит, нечего вводить людей в заблуждение. По ее мнению, было достаточно, что они живут вместе, а как об этом станут судить их знакомые, это совсем не важно. Струков же мало того, что восстал против «смешной демонстрации», но даже смалодушничал без всякой нужды, сказавши своему парижскому приятелю, что «за границей венчание обходится дорого». Вышло так, будто эту дороговизну он уже испытал, хотя,

с другой стороны можно было понять и иначе эти вскользь брошенные слова... Долго он не мог простить себе такой уловки, и как ни странно, почти возненавидел за нее своего невинного приятеля.

Впрочем, возненавидел отчасти и за другое. Приятель,— звали его Левушка Верховцев, точно бес семенил перед Наташей и внушал ей совершенно неподходящие, по мнению Струкова, интересы. Этот Левушка, кстати, и наружностью похожий на беса: огненно-рыжий, хромой, проворный, был сын богатого помещика из одной с Струковым губернии, кончил когда-то в правоведении, занимался когда-то «революцией»,— злые языки утверждали, что состоял при ней на побегушках,— и знал многих с шумом погибших людей. В Париже он жил не то в качестве эмигранта, не то туриста с просроченным паспортом и пробивался бог знает как, потому что отец его, действительный статский советник и знаменитый губернский сутяга, из боязни прослыть красным в глазах начальства, не присылал ему ни копейки. Левушка очень хотел и очень боялся возвратиться в Россию, а пока говорил, говорил... то готовясь к самым решительным предприятиям и развивая весьма решительные идеи, то о погибших людях и их громких делах, и изучал революционную историю города Парижа — для чего, и сам бы не мог ответить, но изучал прилежно, с благоговением первокурсника. Это он, случайно познакомившись с Перелыгиным, дал им письмо в Лондон, теперь же чуть не ежедневно бегал к ним из Латинского квартала на avenue Victor Hugo и скоро стал у них почти своим человеком. Кстати, у Петра Евсеича нашлась для него и работа: исправление слога в переводе Courdaveaux... Но главным его занятием были разговоры с Наташей. Предметы этих разговоров всегда были одни и те же: во-первых, трагические «друзья» Левушки, во-вторых, собственные Левушкины идеи об «отмщении» и «радикальном перевороте», в-третьих, революционный Париж. Наташа говорила мало, но слушала с большим любопытством. Она в первый еще раз встречала человека, столь близко стоявшего к тем людям и событиям, да и французской историей с восемьдесят девятого года очень интересовалась... И все это было до крайности неприятно Алексею Васильевичу. Что говорить, когда-то он и сам, как все русские «барские дети», был воспитан на том, что называл теперь «героической легендой восемнадцатого века», и история Франции была ему роднее и знакомее, нежели унылые двадцать

девять томов профессора Соловьева. Но в Лондоне, за Марксом, за Энгельсом, за пристальным изучением экономических сил, законов и комбинаций, он совершенно охладел к живописным героям и переворотам, русским или французским — все равно, и то, что говорил Левушка, представлялось ему детской болтовнею, а то, что Наташа с увлечением слушала эту болтовню, повергало его в необыкновенную досаду.

Да и вся их жизнь в Париже раздражала Алексея Васильевича. Все складывалось совсем не так, как в Лондоне, начиная с погоды. Днем в безоблачном небе неутомимо сияло солнце, ночью огни заливали веселый город; в удивительно мягком и теплом воздухе, казалось, веяло заразительным дыханием беспечальной жизни, вечной весны. В противоположность Лондону, «у очага» было скучно; улица тянула к себе; ее впечатления и соблазны, радостный гул, стоявший над нею, опьяняли как вино. Кто-то и здесь работал, да еще как! Кто-то и здесь скрежетал зубами, проклиная торжествующий порядок и воюя с ним; где-то и здесь таилась нищета не хуже Уайтчапеля; но для туриста, не задававшегося специальными целями, все было «шито и крыто», и торговля, труд, искусство, промышленность, политика, даже веселый и откровенный разврат, даже морг со своею выставкою превосходно замороженных трупов представлялись ему каким-то спектаклем en gala. И на каждом шагу восхищал такого туриста другой, каменный, исторический спектакль: церкви, дворцы, монументы. Как в Лондоне нет ничего безвкуснее площадей и памятников, а из старины несравнимы лишь парламент да аббатство, так в Париже всюду возможно встретить изумительную красоту изваяний, архитектурные грезы с их кружевом из потемневшего, похожего на серый бархат, камня, с их наивными символами и барельефами, с утраченным секретом чего-то таинственного и музыкального. Правда, памятники на площадях и в Париже не всегда красивы или стоят неизвестно зачем, как обелиск на Place de la Concorde, но, опять-таки, в противоположность Лондону, турист не мог не знать их трагической истории, помнил о потоках крови, прикипевшей к их подножию, и эти воспоминания придавали в его глазах особый вид даже Июльской колонне,— вид какой-то зловещей, символической красоты... А вечером на Больших бульварах совершалось что-то сказочное. В зареве газовых рожков и электрического света фантастически обрисовыва-

лись деревья. По широким тротуарам тихо двигалась нарядная толпа, собранная со всего света. Газетчики, цветочницы, продавцы курьезов и ненужностей шныряли в ней, как рыба в воде, звонко, на разные голоса навязывали свой товар. По улице стремительно неслась река омнибусов и фиакров. Открытые настежь ослепительные кафе не вмещали посетителей и захватывали тротуары своими мраморными столиками. В театры и казино, огненные вывески которых сверкали точно бриллианты, ломились зрители. За стеклом неправдоподобно огромных витрин в художественном сочетании располагались соблазны — для всевозможных средств, вкусов и вожделений... Нет, нет, в Лондоне этого не может быть, не было, и Алексей Васильевич называл это возмутительным гипнозом и проклинал тот день, в который они приехали и поселились в Париже.

Что до того, что теперь он жил в одной квартире с Наташей, спал с нею в одной комнате? Но в то время, когда он весь был охвачен экстазом любви, когда все в нем радостно трепетало не только при взгляде на жену, но от одного звука ее голоса, ее смеха, от шороха ее платья в соседней комнате,— она неизменно стремилась куда-то, если не в действительности, так в мыслях. И Струкову казалось, что в этом виноват Париж.

И в самом деле, даже Петр Евсеич изменился здесь. Обыкновенно скромный в своих привычках, он теперь находил какое-то детское удовольствие сорить деньгами, целыми днями пропадал на бульварах, глазел на витрины, покупал разные вещички или долго-долго просиживал за бутылкой шампанского в каком-нибудь шикарном кафе, упиваясь не столько вином, сколько видом и шумом улицы.

— Уж очень приятно мотать здесь,— говаривал он, точно оправдываясь.— В отечестве-то, ведь,— ау! — и за свои деньги, исключая очертенелой скуки, ничего не получишь. А тут, поди-кось, шельмецы, чего достигли: смотришь, только смотришь на них, и то селезенка играет... Ги, ги, ги! — И добавлял с некоторой грустью: — Ох, надо ехать домой, а небольшая, признаться, охота. Чай, на насесть едем садиться, ась? Сдается мне, в последний раз вижу я этот необузданный Вавилон.

По его настоянию обедали в лучших ресторанах, у дверей отеля с утра появлялась «ремиза», запряженная парою в дышле, Наташа закупала себе приданое.

— Что ты раскутился, Петр Евсеич? Я тебя не узнаю,— говорила она иногда.

— Нет, ничего, Наташечка. Старость приходит, развернуться хочется... Небось ведь ты у меня одна.— С тех пор, как она стала жить с Струковым, Петр Евсеич иначе не называл ее, как «Наташечка», и вообще относился к ней гораздо нежнее и точно с жалостью.

Наташу нимало не привлекали магазины и покупки. В этом она только подчинялась отцу да видела способ доставить удовольствие двум-трем знакомым дамам, которые, несмотря на всю серьезность их убеждений, положительно пьянели в каком-нибудь Лувре или Au bon marché[1]. Но то же самое, что эти дамы в магазинах, чувствовала она в стремительном круговороте публичной жизни; скоро сделалось не только ее привычкою, но почти потребностью каждый день находиться в несравненной парижской толпе, схватывать на лету остроты, шутки, словечки, новости, покупать и прочитывать где-нибудь по дороге свежий номер газеты, проникать на заседание палаты или на сходку рабочих, вечером ехать в театр, слушать в казино уличную знаменитость, смотреть на студенческий разгул в каком-нибудь кафе «Гаркур», или просто сидеть на бульварах и медленно цедить «гренадин» сквозь соломинку. Обыкновенно в этих странствиях,— иногда довольно рискованных, если бы ее не охраняло звание «иностранки»,— сопровождал ее Левушка и редко Струков или Петр Евсеич. И обыкновенно она сама хотела, чтобы Левушка, потому что он отлично знал город, был неутомим, говорил как скворец и иногда говорил то, что ее очень интересовало, а Петр Евсеич быстро уставал и в это время начинал брюзжать и жаловаться; что же касается до мужа, то,— увы! — его присутствие ей самой причиняло чувство усталости. Она уставала теперь от его влюбленных взглядов, от страстных слов, которые он нашептывал ей при всяком случае, от его прикосновения, когда они шли под руку, и даже от его разговоров о будущем, о России, о преимуществах «закономерной» работы перед тем, о чем болтал Левушка... Все это было очень хорошо, и умом своим Наташа понимала, что она счастлива, то есть что муж очень любит ее, что он умный, и честный, и образованный, и что их будущее — очень хорошее, и оба они согласны, как его устроить, и что Левушка действительно несколько болтлив и легко-

[1] рынок, дешевый базар *(франц.)*.

мыслен; но вместе с тем она или рассеянно усмехалась в ответ на ласки Алексея Васильевича, или машинально произносила: «О, миленький мой!» — а сама чувствовала, что деревенеет с ног до головы, что от сдерживаемой зевоты у нее ломит за ушами.

Впрочем, по временам что-то вроде угрызения совести возникало у Наташи, особенно после того, как ей приходилось хитрить и украдкою убегать с Верховцевым на улицу. Тогда она бесцеремонно спроваживала Левушку к отцу или усаживала его за письменный стол, где горою возвышались листы, исписанные угловатым почерком Петра Евсеича — перевод Courdaveaux,— а сама предлагала мужу ехать с нею куда-нибудь за город.

Но лондонские настроения и в этих случаях не возвращались... Правда, по внешности было похоже. Как и в Лондоне, они чувствовали себя точно на острове и всюду била ключом чуждая, пестро бегущая жизнь; как и где-нибудь в Кью-Гардене, они бродили одни в версальских парках, в Сен-Клу, в Венсене. Но то, что между ними не было теперь преграды и что их любовь всегда могла перейти от страстных полупризнаний и взглядов к супружеским ласкам и что Алексей Васильевич желал этого, зажигая и ее своим желанием,— это приводило Наташу почти в истерическое состояние, да и Струкову вместе с мимолетным наслаждением давало впечатление какой-то душевной неудовлетворенности. И оба возвращались домой унылые, утомленные, с тяжестью в сердце, с чем-то невысказанным на душе.

И еще было хуже, когда пробовали высказаться. С первых же слов оба замечали тогда, что, в сущности, говорить нечего,— что все обстоит благополучно, как следует в «медовом месяце», отчего не так, как в Лондоне,— это для обоих было необъяснимо. И вот выходило так, что у обоих невольно поднимался и вздрагивал голос, и оба раздражались до слез, упрекая друг друга в совершенно фантастических вещах,— одним словом, происходили нехорошие размолвки. Так однажды Струков, не помня себя от досады, сказал жене, что отлично видит, как пошли ей впрок теории Петра Евсеича о свободной любви, и что, конечно, эти теории заставляют ее искать общества «г. Верховцева», а вовсе не его «революционное вранье».

— Слушай, Алексей... и это раз навсегда,— с побледневшим лицом ответила Наташа,— если я полюблю другого или

просто захочу отдаться... ну, хоть Левушке,— я скажу. Тебе первому скажу. Можешь быть спокоен.

— Просто захочу! — с негодованием подхватил Струков.— Как ты не понимаешь, что говоришь мерзости...

— Нет, это ты видишь мерзости, где их нету...

— Отдаться! Отдаться! — кричал уже Алексей Васильевич.— Слово-то одно как звучит в устах порядочной женщины!..

— Как же? — с кривой усмешкою спрашивала Наташа.— И как оно звучит в устах порядочного мужчины? Или у вас ничего? Так надо? Или в вашем лексиконе нет «отдаться», а есть — «обладать», «владеть»? И сколькими ты намерен владеть?

— Хороший разговор!

— Так не трогай меня, если не нравится.

— То, в чем ты упрекаешь,— скверно, но это физиология. А когда муж от жены или наоборот — это распутство.

— Слова, миленький... «скверно» — семь букв, «распутство» — не знаю сколько. И тебе нечем доказать, что это не простые слова. Так же, как и мне. Но зато я и не упрекаю, с чего ты взял? Я только ненавижу насилие и ваши претензии над нами. Что такое жена? Любовница? Это вы, все вы назвали. Я — человек, и моя воля надо мною, а не твоя... как ты там ни называй меня. Правды можешь требовать, и, будь спокоен, никогда, никогда не солгу. Но и только, Алексей Васильевич, и только.

Спустя час или два после таких препирательств и она и он отлично сознавали, что много было сказано лишнего и ничего не сказано такого, что бы объяснило и рассеяло тяжесть, лежавшую на душе; но так ли, иначе, яд преувеличенных слов оставался, и по-прежнему оставалась тяжесть на душе. И Алексей Васильевич жестоко негодовал внутри себя, злился — больше всего опять-таки на Париж,— и страстно желал поскорее уехать, а Наташа день ото дня становилась молчаливее и бледнее, и лицо ее становилось загадочным для Струкова.

Впрочем, так она была еще красивее, и в промежутках между размолвками, а иногда даже и в то самое время, когда выговаривались обидные слова, эта тонкая, изящно-страдальческая красота жены сводила с ума Алексея Васильевича, и он бурно просил прощения, целовал ноги Наташи, смотрел на нее с вкрадчивой мольбою... до тех пор, пока домогался

объятий и слез, и бессмысленно-ласковых восклицаний, и того радостного, торжествующего смеха во всем ее прекрасном лице, который ему казался «апофеозом любви». И на мгновение обоим казалось, что наступило наконец слияние их душ, сердец, стремлений... пока вновь не овладевали ею — усталость и тоска, им — чувство удовлетворенного восторга и прежняя досада на жену, на Париж, на Левушку, на всех.

Не повторялись в Париже и лондонские споры, хотя к Перелыгиным и собирались по временам русские туристы и эмигранты. Уличное движение и погода были так соблазнительны, а Петр Евсеич и Наташа в таком рассеянном настроении, что чаще всего и в этих случаях дело кончалось обедом в ресторане или прогулкой в окрестности, причем не о «принципах» говорили, а о разных веселых пустяках или о текущих событиях. Иногда пели. И однажды, во время такой загородной прогулки, Струков еще в новом свете увидел свою жену. Какой-то хмель ударил ей в голову. Она дурачилась, хохотала до слез, декламировала стихи, затеяла бегать в горелки, до странности смело заигрывала с мужчинами, особенно с одним художником из Костромы, красивым кудрявым малым чисто русского типа, и упорно избегала встречаться взглядами с мужем. Алексей Васильевич видел, что все это — простая шалость, и сначала ему было очень весело и смешно смотреть на влюбленное лицо костромича, и весело было думать, что прелестная женщина, за которой так ухаживают, принадлежит ему, Струкову. Но когда вызывающая смелость Наташи начала вызывать такую же смелость и у мужчин и в особенности когда художник, догоняя Наташу, упал вместе с нею, так что замелькали ее белые юбки, и когда, подсобляя друг другу подняться, Наташа взвизгивала с какой-то неуместной игривостью, а в распаленном лице костромича проступило особое, знакомое Струкову, выражение грубой чувственности, он сразу утратил всю свою смешливость и веселость. Весь не свой от нестерпимой обиды, он хотел немедленно сказать Наташе, что она «неприлично ведет себя», и даже подошел к ней за этим, когда она, приготовляясь «гореть», прикалывала повыше юбку и оправляла растрепанные волосы, но, встретившись с ее тусклым, недобрым взглядом, растерянно улыбнулся и пробормотал вполголоса:

— Не устала ли ты?

Она ничего не ответила, однако вскоре оставила игру,

и все уселись на траве. Тут кто-то сказал, что костромич превосходно имитирует мужицкие песни, и стали просить его. Кокетливо рисуясь, он жестом, действительно похожим на мужицкий, сдвинул набекрень шляпу, подпер рукою щеку, и уныло, немножко разбитым голосом, затянул что-то специально костромское. Это было в сен-клудском лесу в виду великолепной панорамы Парижа... И было что-то необыкновенно жалкое в разительном противоречии этой заунывной песни с тем, что виднелось вдали в золоте наступавшего заката. За всхлипывающими стенаниями, неподражаемо вылетавшими из груди художника, за однообразно-печальным содержанием песни,— и за этими зданиями, башнями, памятниками великого города перед слушателями в той или иной форме возникали воспоминания и картины, надрывавшие их русское сердце. И как это ни странно, но особую тоску от щемящего противоречия двух историй, двух народностей, двух цивилизаций первый выразил коротенький, упитанный человек, эмигрант-еврей, особо известный своим космополитизмом и категорическим отрицанием «фетишей, абсолютов и сантиментов».

— Ну, к черту эту костромскую дичь, будь она проклята! — крикнул он, тяжело посапывая носом от внезапно подступивших слез, и торопливо отошел к краю обрыва, внизу которого змеилась Сена.

Костромич остановился, оглянувшись с недоумевающей улыбкой. Все молчали. Со стороны Парижа едва слышно достигал внушительный ропот.

— А дочь Ярослава, Анна, была за ихним Генрихом первым,— неожиданно выговорил молодой магистрант из Москвы, махнув рукою по направлению к Парижу.

— Ну, и что же?

— Ну, и то же...

— Монголы, батенька, задавили.

— Какие, к черту, монголы! Своя же братья — купцы, бояре, дружинники, князья. Татар еще и в помине не было, а уж народ прет на север, в болота, в леса... Должно быть, от сладкой жизни, что размазал Алексей Толстой, от пиров да от вечевой свободы.

— А потом ваша Москва придушила все живое... С попами да монахами.

— Нет, господа, раса, раса испортилась на севере.

— Она еще в Киеве испортилась. Вы думаете, печенеги, половцы, хазары и, как их там еще, редеди, что ли...

— Редедя — князь.

— Ну, черт с ним. Разве, думаете, не впустили калмыцкой кровцы?

— А на севере чудь белоглазая. То есть бездарность, проза, скотское смирение и воплощенный испуг... Хуже калмыцкой крови.

— Нет, то беда, что Владимировы послы у святой Софии обедню слушали.

— Это вы по Чаадаеву?

— Что ж, что по Чаадаеву. Представьте, если бы они послушали в Риме... История-то вышла бы, пожалуй, веселей вот этой костромской песни.

— А отлично вы, батенька, имитируете!

— Живой мужик.

— Ну да, и были бы у нас и клерикалы, и черт знает что... А теперь, слава богу: вверху — академическая толерантность, внизу — «матушка святая Аграда, моли бога о нас!..»

— Что за «Аграда»?

— Просто церковную ограду освещали, а баба молилась. Факт.

Кое-кто еще рассказал о баснословном невежестве русского народа... Посмеялись, но как-то невесело: костромская песня все еще как будто стояла в ушах вместе с отдаленным гулом Парижа. Магистрант вздумал было перебить впечатление и затянул Марсельезу. Два-три человека подхватили, выговаривая, как всегда, «ален» и «занфан», но гимн звучал вяло и нелепо, а тут еще космополит обернулся и сказал с язвительной улыбкой:

— И здесь-то перестали воодушевляться этим старомодным враньем, а вы... Лучше бы уж «Ça ira» попробовали.

Но «Ça ira» никто не знал, кроме Левушки, который, однако, не решился обнаружить козлиный свой голос и полное отсутствие слуха.

А Струков давно уже с беспокойством наблюдал за женою. Как только костромич запел, у нее сразу исчезло то вакхическое оживление, которое под конец было так неприятно и страшно для Алексея Васильевича. Лицо ее покрылось смертельной бледностью, в широко раскрытых глазах, устремленных вдаль, появилось выражение неизъяснимой тоски, почти отчаяния. Молча она слушала и песню, и разговоры после нее, и неудавшуюся Марсельезу — и кусала пересмягшие губы, как будто усиливаясь превоз-

мочь внутреннюю боль... И вдруг, не успел Алексей Васильевич подбежать к ней, как схватила себя за голову и истерически зарыдала, выкрикивая что-то бессмысленное: «Заросла!.. Заросла... дорожка... частым ельничком!..— можно было разобрать в этих криках.— И вы... еще смеете!.. Анекдоты!.. Они... хоть в ограду... Мы ни во что, ни во что... даже в Марсельезу... не верим!..» Дамы суетились вокруг нее; растерянный Алексей Васильевич лепетал какие-то утешения, расстегивал ей лиф, кричал: «Воды! Ради бога, воды!» Костромич, с лицом, на котором сквозь искреннее сожаление невольно проступало самодовольное торжество, в свою очередь, успокаивал Наташу, стараясь говорить шепотом, и простодушно уверенный в своем «праве», поглаживал ее руку... Он ничуть не сомневался, что эффект произведен его пением, его ухаживанием, его наружностью и что Наталья Петровна влюблена в него. И когда она, несколько придя в себя, с брезгливым выражением отдернула руку, он нисколько не разуверился, а почтительно вздохнул, как человек, сознающий необходимость подчиняться «конвенансам», и, приняв скромно-таинственный вид, отошел к сторонке. И чтобы тут же покончить с этим, в сущности, добрым, честным и талантливым человеком, надо прибавить, что он с тех пор всегда искал случая имитировать костромского мужика в присутствии хорошеньких женщин и многим рассказывал по секрету (конечно в пьяном виде), что если бы захотел, то Струкова... гм... гм...— так же, впрочем, как и всякая другая «с душой и темпераментом».

Возвратились в Париж в каком-то удрученном, отчасти даже в сконфуженном настроении, и Наташа была сконфужена больше всех. И несколько раз в тот вечер ласково и виновато шептала мужу:

— Не думай, не думай, миленький! Это у меня оттого, что я выпила кофе с киршем... только от этого!

Но в другой раз она уже без всякой причины огорчила Алексея Васильевича и очень больно. Это произошло утром. В своем прелестном персидском халатике она писала письма, он сидел около стола как будто за книгой, но на самом деле не читал, а с чувством удовлетворенного восторга следил за линией склоненной шеи, затылка с небрежно закрученною косою, смелого профиля с ресницами, бросающими тень на золотисто-смуглую щеку... В это время она кончила страницу и мельком взглянула на него,

потом пристальней... потом в ее глазах пробежало что-то неприятное... и вдруг сказала:

— С чего я находила, что у тебя печальные глаза? Совсем не печальные.

— И не глубокие? — с досадою спросил Струков.

Она легонько вздохнула и, не ответив, снова стала писать.

— Вот уж именно башмаков не успела износить...— начал было он, чувствуя, что краснеет до самых ушей от стыда и злобы, и напрасно стараясь говорить твердым голосом; но в это время вошел Петр Евсеич и заявил, что пора одеваться и куда-то ехать.

Так шли их дни в непрерывной смене тревожных настроений, в суете, в вечном предчувствии новых размолвок, в том, что между ними вырастала отчужденность, все реже и реже скрываемая горячим туманом страсти, иллюзией физического сближения.

О, как хотелось уехать Алексею Васильевичу,— разрушить это недоброе очарование парижских впечатлений, очарование темных сил, по его мнению, овладевших Наташей, разбить тот лед, в котором она замкнулась, прогнать от нее всех этих Верховцевых, костромичей, дам с серьезными убеждениями, увезти ее от соблазнов кипящей, как котел, улицы, исторических воспоминаний, политики, искусства, от соблазна жить ощущениями, среди которых не замечаешь, для чего живешь... И он напоминал об отъезде. Но Петр Евсеич ссылался на неоконченный перевод Courdaveaux, который было необходимо сдать в типографию в Женеве, а Наташа отмалчивалась. На самом деле и у отца и у дочери были особые причины медлить в Париже. Перелыгин с некоторых пор пропадал до утра, и однажды кто-то из общих знакомых встретил его выходящим из Moulin Rouge с желтоволосой девицей под ручку. Наташины причины заключались в том, что увлекающая пестрота здешней жизни препятствовала ей оставаться в одиночестве со своими мыслями, которых она теперь так же безотчетно боялась, как дети боятся иногда темноты.

В конце концов Струков с чувством, близким к отчаянию, развернул свою лондонскую работу. И мало-помалу интерес к теоретическим определениям, к цифрам, к логическим выводам начал по-прежнему овладевать им. Раза два он побеседовал с эмигрантом-космополитом; убедился из этих бесед, что многое упустил за кропотливыми

подробностями исследования, что надо обратить внимание на книжки, в последнее время значительно развившие смутные посылки Маркса. И в одно яркое, погожее утро, завязавши в ремень десяток этих новых для него книг, объявил жене, что на неделю уезжает в Фонтенбло. Наташа слегка удивилась, но, конечно, не противоречила, и в первый день после его отъезда чувствовала себя как на каникулах. Особенно ее радовало то, что в спальне она одна, что не раздается в ушах странный шум чужого дыхания, к которому она до сих пор не могла привыкнуть, и нет мужчины, имеющего какое-то право быть при ней раздетым. Это давало иллюзию девичества, свободы, чистоты, и вначале так подействовало на Наташу, что она, ложась спать, в порыве чрезвычайного умиления перекрестила подушку, как это делала в далеком-далеком детстве. Однако на третий, на четвертый день ее стало преследовать ощущение какой-то пустоты и что-то вроде обиды на Алексея Васильевича зашевелилось в ее душе; чаще вспоминались лондонские дожди, скитания, разговоры, планы...

Наступила сильная жара. Париж разъезжался. Петр Евсеич был в отвратительном состоянии духа и однажды за обедом сказал Верховцеву:

— Скверно, милячок, дожить до того, что не ты от греха, а грех от тебя отступается.. Ась? Не понимаете? Поймете, как стукнет шестьдесят... Надо вот восвояси собираться.

На шестой день из Фонтенбло пришла телеграмма: Vous feriez bien de visiter votre anachorète, D'ailleurs je suis indisposè[1].

Первым движением Наташи была самолюбивая радость: о ней вспомнили! она нужна! — вторым — беспокойство... В тот же вечер Левушка проводил ее на лионский вокзал, а в двенадцать часов лунной ночи она ехала одна-одинешенька по той великолепной аллее из платанов, которую, раз увидавши, нельзя забыть. Маленький городок уже спал. Спали и в том скромном отеле, где жил Алексей Васильевич. Но в его комнате светился огонь.

Струков не ждал Наташу так скоро и в глубине души боялся, что она и вовсе не поедет. Он был действительно нездоров — в жару и оттого с ослабленными нервами, и,

[1] Вы поступите хорошо, навестив вашего отшельника. К тому же я нездоров *(франц.)*.

поднявшись навстречу неожиданной гостье, неожиданно расплакался. Наташа совсем испугалась, пока не убедилась, что болезнь — легкая простуда, но все-таки заставила Алексея Васильевича тотчас же лечь в постель, выпить горячего вина и до утра просидела у его изголовья, беспрестанно ощупывая его лоб, нежно унимая его нервическую говорливость. Он торопливо рассказывал, что успел прочитать в эти дни, как подвинулась его работа и как за «материалами британского музея» он действительно несколько отстал от теоретического движения мысли в экономической науке. Пытался он было говорить и об их супружеских размолвках, о том, что он дрянной, себялюбивый человек и, конечно, во всем виноват, а она... Но она закрывала ему рот рукою и повелительно произносила:

— Об этом совсем не смей... ни слова!

Наутро он был почти здоров и нежен, кроток, уступчив, а Наташа чувствовала необыкновенную усталость от бессонной ночи и точно заразилась его вчерашней нервозностью. Он предложил ей поехать в лес, посетить парк, осмотреть дворец, побыть еще денька два в этом тихом идиллическом городке, но она сказала, что хорошо помнит Фонтенбло и если можно, то лучше сегодня же возвратиться.

— Ну, хорошо,— кротко согласился Струков и, связывая вещи, спросил: — А когда же в Россию, моя дорогая?

— Надо собираться,— ответила она.— Моя портниха, кажется, скоро отделается. Как вот Верховцев с рукописью.

— Ну, хорошо. Пока соберетесь, я, может быть, окончу статью. Это даже хорошо, что не очень скоро уедем. «Спеши медленно»,— сказал какой-то мудрец.

Но случилось так, что в этот же день медленные сборы превратились во что-то похожее на бегство. И случилось как будто от пустяков. С какой-то станции, недалеко от Фонтенбло, открылся широкий вид. Холмистая даль замыкалась лесом; в глубине долины извилисто протекала река; на берегах и на склонах пестрели деревни... А в другую сторону тянулась равнина, сплошь засеянная рожью.

— Миленький мой! Смотри... как в России! — воскликнула Наташа, высовываясь из окна.

И действительно, в этом просторе, в этих далях с синеющим лесом, и особенно в этих полях с золотистой рожью, по которым так и ходили, так и лоснились волны, поднятые сильным ветром, что-то напоминало Россию. Они долго смотрели в окно... Смотрели до тех пор, пока горизонт сно-

ва сузился и пошли мелькать аккуратные особнячки да изгороди да высокая культура. А потом взглянули друг на друга — в глазах у Наташи стояли слезы — и, без слов, крепко, по-товарищески пожали друг другу руки.

Спустя несколько дней их уже обыскивали в Александрове и с чрезвычайной отчетливостью. Очевидно, не в одних интересах фиска... По отвычке нашим путешественникам было немножко стыдно смотреть друг на друга после такой операции. Но станции через две стыд пропал: «Не дым — глаза не ест!» — утверждал Петр Евсеич, и... великая изобретательница таких вот пословиц, Русь, поглотила их в свои загадочные недра.

IV

Струковы поселились на хуторе, в семи верстах от Большого Апраксина и в тридцати от города, расположенного на берегу Волги. Место на хуторе было хорошее. Недавно отстроенный домик из смолистых бревен весело глядел с пригорка на долину. В долине протекал ручей, там и сям перехваченный запрудами; у ручья, недалеко от хутора, широко расползлась большая деревня бывших апраксинских крепостных, за нею виднелась другая деревня, поменьше. В ту и в другую сторону от деревень тянулись холмистые поля; за холмами, точно свеча из желтого воска, горела на солнце своим вызолоченным шпилем выкрашенная охрою колокольня села Излегощей, а на горизонте, на возвышенности, синел лес, отделявший долину от Волги. Вокруг хутора вместо сада росла молодая роща; за рощею развертывалась нетронутая ковыльная степь... Глубокие овраги пересекали ее в разных направлениях. В оврагах гремели ключи, таился густой дубняк, в невероятном изобилии созревала ежевика.

Возвращение в Россию сначала нехорошо подействовало на Наташу. Грустно ей было и по дороге, когда мимо без конца мелькали серенькие виды, чахлые леса, убогие деревушки и еще более убогие люди, копошившиеся на убогих нивах; грустно и в Москве, когда-то внушавшей особый восторг, а теперь поразившей ее беспорядочной грудою камней вместо мостовых, смрадом, пылью, варварской нелепостью красок и зданий. Кремлем, наполовину казенным, наполовину наивным до смешного, Василием Блажен-

ным, о котором обозленный Петр Евсеич сказал, что это «кошмар пьяного огородника»... Ей все грезились иные линии, иные краски, и, всматриваясь из окон гостиницы в цветной винегрет безвкусной московской старины, в разрозненные и скучные диссонансы стиснутого музея, сдавленной городской думы, она чуть не со слезами вспоминала о каменных красотах Рима, Парижа, Лондона, с их благородным темно-серым тоном, с их стройной и внушительной музыкальностью, от которой чем-то мистическим, вечным, зовущим ввысь столько раз переполнялась ее душа.

А в Москве пришлось прожить неделю, пока Петр Евсеич с помощью своих православных знакомых не нашел за триста рублей смелого попа, обвенчавшего Наташу с Струковым без троекратного оглашения и без особых справок об их добрачном состоянии.

Но когда с Ярославля поехали по Волге, Наташа точно переродилась. Настоящей родиной повеяло на нее с этих холмистых берегов,— от привольно раскинутых сел со старинными церквами, от тихих, оригинально построенных городков, от монастырей, когда-то охранявших великую простоту и веру и самосознание русского народа, измученного татарщиной, развращенного смутами, закрепощенного хозяйственной беспощадной Москвою.

И чем дальше «вниз по Волге», тем делалось шире, светлее, просторнее,— так же, как и в душе Наташи... Оригинальность церквей и городов пропадала, старые святыни встречались все реже; но на смену возникали воспоминания, мечты, картины безграничной удали, необузданной воли, каких-то непостижимых характеров, и сил, и запросов, и разгула... И Наташе становилось отчего-то весело и страшно.

И особенно было весело, когда на Волге поднималась «погода» — сильный ветер бил в лицо, чайки тревожно носились над водою, волны роптали с угрожающим шумом, даль курилась от пены и брызг, срываемых ветром, и на горизонте хмурились горы.

И в зависимости от такого настроения все более тускнело перед Наташей то, с чем она так еще недавно сравнивала Москву и едва не плакала,— чужие края расплывались в каком-то тумане, не трогая и не волнуя сердца.

Что до того, что там порядок, культура, красота и захватывающие перспективы теоретической мысли?.. Пусть!

Зато здесь свое, родное, дразнящая неопределенность в будущем, демоническая сила в минувшем и, главное — запросы, запросы... без уступки и без ответа.

Алексей Васильевич был первый раз на Волге, если не считать зимнего пути в Чердынь и обратно, и, в противоположность Наташе, испытывал сначала какое-то недружелюбное чувство к этой реке. Она наводила на него не то уныние, не то досаду. Слишком пустынно и просторно, слишком неуютно,— он не умел подобрать другого слова,— и невольно в его памяти вставала иная Русь: тихие степные речки, светлый прудок с идиллически наклоненными ветлами, мирное спокойствие гладких как скатерть полей, курган в отдаленье, жаворонки в небе, межа, заросшая полынью, пахарь за сохою... такое все смирное, кроткое, без кровавых преданий и разбойничьей удали,— там, где его Куриловка, где промелькнуло его детство. Только образцово устроенные пароходы, да оживление на пристанях, да вид там и сям возникающей промышленности с настоящим европейским пошибом несколько примиряли его с Волгой,— то есть то самое, что казалось Наташе едва ли не осквернением, а ему — переходом к капиталистической форме труда и, следовательно, к прогрессу.

Впрочем, и Наташа и Струков были здоровы, бодры, веселы и почти по-прежнему влюблены друг в друга. Каждый вечер они устраивались где-нибудь в сторонке за чаем и хлебом с огромным количеством свежей икры и до поздней ночи, а иногда и до зари говорили о том, в чем были совершенно согласны — о предстоящей работе, о жизни на хуторе. И особенно хорошо было то, что некому было вставлять язвительных замечаний: Петр Евсеич, еще больше захандривший после свадьбы, отправился прямо из Москвы по железной дороге.

Правда, Наташу подмывало иногда возражать. То, что она наслушалась в Париже от Верховцева, вдруг смыкалось в ее мыслях с прошлым этой реки, однообразно шумящей за кормою, в воображении невольно сопоставлялись типы и факты минувшего с тем, что совершалось так еще недавно,— и ей становилось скучно от скучной целесообразности их планов и предстоящей работы... Но это быстро проходило от ласковой улыбки Струкова, от того, что он теперь не сердился и не называл Левушкины рассказы «враньем», а с тем же огнем в глазах и убежденным выражением голоса, как когда-то в Лондоне, говорил об эгоистической

красоте «революционного героизма» и о том, что народу от этого только хуже.

И еще очень нравилось Наташе, что с каждым днем их медленного путешествия Алексей Васильевич привыкал к Волге, начинал находить особое очарование в ее видах и часто с раскрытой книгой на коленях не отрываясь смотрел в ее даль и говорил:

— Правда твоя, Наташа... В ней что-то есть... Ее можно полюбить, как море.

За всем тем, когда ночью приехали на хутор и когда рано утром Струков вышел на крыльцо, увидал ручей, пруды и долину, ощутил необыкновенную тишину, стоявшую в воздухе и вдруг прерванную петушиным криком и хлопотливым кудахтаньем кур, все в нем так и задрожало от радости.

Почти то же произошло и с Наташей. В это ясное утро она сразу почувствовала, что ужасно устала от отелей, от железных дорог, от многолюдства, от «достопримечательностей», от разных мыслей... и от любви, стремительно заполнившей ее душу — точно разлив в половодье, устала нервами, умом, воображением, и что эта глубокая тишина обнимает ее как теплая вода в ванне. Ей не хотелось ни думать, ни читать, ни разговаривать о тонких и сложных вещах, а просто хотелось дышать этим чистым степным воздухом, непрерывно двигаться, говорить о пустяках, ощущать прелесть мелочей и хозяйственных забот и радостно вслушиваться в тишину. А мелочей и забот было много. То есть все это было на руках приказчика Олимпия и экономки Гертруды Афанасьевны — бесподобных рабов, воспитанных еще бывшими помещиками, но Наташа так же теперь сгорала желанием растрачивать свою физическую энергию, как прежде сгорала в мечтах и в мыслях. В первый же день она обежала весь хутор, осмотрела конюшню, каретный сарай, птичник, амбар, хлевы, кладовые, избу для рабочих, «конторку» для приказчика. Все было обновлено и отстроено в ее отсутствие, от всего пахло свежим лесом, везде уже было населено и наполнено: птицами, коровами, лошадьми, экипажами, съестными припасами... А в доме кое-как стояла мебель,— ее надо было расположить как следует; надо было распаковать ящики с книгами, развесить платье по шкафам, устроить кабинет для мужа. Так несколько дней подряд Наташа не давала никому покоя, носилась, гремя огромной связкой ключей, с озабочен-

ным и разгоряченным лицом, сбила с ног экономку, приказчика, двух кухарок, двух горничных, кучера, рабочих...

— Ну, огонь наша барыня! — говорили вечерами в застольной; говорили, впрочем, с удовольствием, потому что работа кипела без строгости, с шутками, с расспросами о домашних делах и, главное — всем было прибавлено жалованье, для всех улучшена пища и выдавался чай.

Алексей Васильевич чувствовал себя совершенно лишним в такой суете и хотя не мог не любоваться на жену в этой новой для нее полосе хозяйственной страстности, но в глубине души это ему не совсем нравилось.

— Не боишься ты... поглупеть? — посмеиваясь спросил он Наташу, когда она однажды в изнеможении упала на кресло в его кабинете и, машинально перебирая ключи, задумалась о чем-то.

— Ах, создатель мой, да я уж чувствую, что глупа,— ответила она с рассеянной улыбкой.— И как это хорошо, если б ты знал!.. Что ты читаешь?

— Астырева, о волостных писарях. Но надо бы начинать и другое... Знакомиться с крестьянами, узнать про школу...

— Хорошо — Астырева?

— Удивительно правдиво и интересно. Хочешь, вместе прочитаем?

— Отвратительная школа... тесно, угарно... Пять лет,— а в деревне никто не умеет написать письма! Учитель уходит в писаря. Каков-то новый будет...

— Откуда ты успела узнать?

— Все знают. Работник Агафон отлично знает. Поп пьет мертвую. Подпасок Вася две зимы ходил — не умеет читать. Девочек вовсе не пускают.

— Так надо бы поговорить с крестьянами...

— Ах, погоди, миленький, дай образумиться. Хорошо, хорошо, прочитаем вместе... А теперь прощай, надо бежать, коров пригнали... Вот удовольствие — доить, если б ты знал! Отчего ты сам не переговоришь с крестьянами?

«Оттого, что я не хозяин здесь»,— хотел было сказать Струков, но промолчал, боясь обидеть жену. В сущности, ему действительно было неловко в роли ничего не делающего и ничего не имеющего «перелыгинского зятя». Противное это словечко он сам подслушал в разговоре кучера с приезжим мясником, и еще слышал, как называли хутор — «зятевым хутором». И он предпочитал, никуда не показываясь, сидеть в кабинете, читать, готовиться к долж-

ности мирового судьи, в которую надеялся быть выбранным.

Приходили мужики из ближней деревни, принесли хлеб-соль и два вышитых полотенца; просили сдать отаву под пастьбу, жаловались на «утесненье»,— они были на «даренке». Струковы поили их чаем и, неслыханное дело, за одним столом с собой, но отаву, оказалось, сдать нельзя, потому что Олимпий отдал ее купцам под гурты. Алексей Васильевич, гораздо более сконфуженный этим «общением», нежели сами мужики, невпопад спрашивал, некстати употреблял книжные слова и плохо понимал ответы,— и отчасти завидовал Наташе, которая, непринужденно расставив на столе локти, цедила чай с блюдечка и все наводила разговор на училище, выражаясь точно и просто. И крестьяне сразу заметили, что «сила в самой», так что через полчаса Струков свободно мог уйти к себе в кабинет и засесть за книжку Неклюдова: к нему никто не обращался; а когда вышел проститься, то узнал, что Наташа на свой счет перестраивает школу и делается попечительницей и что в будущем году значительная часть покоса и отавы обещана крестьянам.

— Это, миленькие, половина дела,— говорила Наташа, пожимая заскорузлые руки депутатов,— вот поближе узнаем друг дружку, да и хозяин мой осмотрится, может быть, и еще что придумаем. Станем жить по-соседски.

И «хозяин», в свою очередь, прикасался к заскорузлым рукам и, напряженно улыбаясь, бормотал, что очень рад, что в следующий раз он подробно переговорит с ними об их «экономическом положении», и злился на самого себя за эту улыбку и за то, что не говорит по-человечески, а бормочет.

— Погоди, Алеша, образуется! Это оттого, что ты «головастик» у меня, смотришь на людей сквозь книжку...— утешала его жена, когда мужики ушли, и, развеселившись, вскочила к нему на колени, путала его волосы, звонко смеялась, повторяя: «Головастик! Головастик!»

Не все, однако, сидели на хуторе. Иногда Струков отправлялся с Петром Евсеичем по уезду — к предводителю, к выдающимся земцам, к влиятельным помещикам. Иногда в сопровождении того же Петра Евсеича или вдвоем с Наташей они ездили верхом по окрестности... И вот когда ездили вдвоем, их посещали чудные настроения. Этим настроениям не мешало даже и то, что Алексей Ва-

сильевич верхом на лошади был труслив и неловок до смешного. Истинный горожанин по своим привычкам, да при том еще русский либеральный горожанин, он был глубоко убежден, что если лошадь не в сохе и вообще не кляча, так она затаенный враг человека, а всякого рода спорт — скучная и зазорная трата времени и денег. И за то Петр Евсеич, страстный спортсмен и знаток лошадей, обливал его учтивым презрением. Наташа жестоко подсмеивалась над ним. Странно было смотреть на них, когда где-нибудь на просторе она нарочно пускала во весь карьер горячего и резвого карабаха, а Струков летел за нею, угловато сгорбившись, взмахивая локтями, с бессмысленно сосредоточенным взглядом, устремленным на поджатые уши своего темно-рыжего меринка.

— Тише, тише, сумасшедшая! — кричал он.— Уверяю тебя, это хитрое животное собирается сбросить меня с седла.

Наташа оборачивала к нему разгоревшееся лицо, весело хохотала, восклицая:

— О, трус! О, жалкое порождение цивилизации... Смирнее твоего Ваньки нет лошади на свете! — Но наконец сдерживала коня, и они ехали шагом. И как восхищался ею успокоенный в своей безопасности Струков. Грудь ее волновалась, возбужденное лицо дышало какою-то юношескою отвагой, в сияющих глазах светилась самоуверенная удаль... А со стороны можно было подумать, что в этой паре ей, а не ему принадлежит первенство и что слова апостола: «Жена да боится своего мужа»,— прозвучали над ними совсем напрасно.

Через лес и холмы пробирались иногда к Волге, и вот где овладевало ими какое-то смешанное чувство восторга и печали. Оставивши лошадей в ближней деревушке, они садились где-нибудь на возвышенности и целые часы проводили там, упоенные видом захватывающей дали, сверкающим пространством огромной реки. На той стороне кудрявились леса, там и сям стройно белелись церкви, в далекой излучине берега пестрел своими крышами небольшой город. По реке медленно двигались барки, плоты, едва приметные лодки, иногда пробегал с торопливым пыхтеньем пассажирский пароход... Порою доносилась заунывная песня, свисток гудел, вызывая в горах протяжный отклик, плакала чайка, взрезая воду острым крылом... И, несмотря на эти звуки и на движение, стояла такая ве-

личавая тишина, что в каком бы шумном настроении ни приходили Струковы, они невольно умолкали или говорили вполголоса. Алексей Васильевич сознавал теперь, что было что-то неизъяснимое в картине этой реки с уходящими в бесконечную даль берегами, с загадочным туманом на горизонте. Что-то в ней звало и манило к себе, какие-то крылья вырастали от ее простора, слагались широкие волнующие мечты... Но о чем мечты? Куда лететь на тех крыльях? Откуда слышен призыв и к чему? Не было ответа. «Точно Россия!» — вырвалось однажды у Струкова с некоторым оттенком досады.

— Какое ты слово сказал...— задумчиво произнесла Наташа и, помолчав, глубоко-глубоко вздохнула.

И обыкновенно, возвращаясь оттуда, они каждый раз уносили с собой впечатление какой-то силы, чего-то такого, что повергало их в серьезное раздумье, настраивало их мечты на высокий, немножко грустный лад.

Возвращались обыкновенно к вечеру. Косые лучи ложились на поля; пахло дымком, полынью, спелым хлебом; стада подымали клубы румяной пыли; пастух играл на жалейках, где-то в лесу переливисто и звонко ржал жеребенок; телега стучала по дороге, затерянной в хлебах; колокол гудел к вечерне... А дальше загорались звезды, и тихая теплая ночь мирно опускалась над окрестностью.

В половине зимы Алексей Васильевич стал мировым судьею. Для утверждения в этой должности ему тотчас же после выборов пришлось съездить в губернский город и в Петербург и отдать там некоторый отчет, а Петру Евсеичу пустить в действие все чары и связи своей «фирмы», дабы убедить, кого следует, что это ничего, что судейскую цепь наденет человек, побывавший в Чердыни и Лондоне и женатый на бывшей «раскольнице»... Но в конце концов дело уладилось, и Струков, в пределах тогда уже заподозренной компетенции мировых учреждений, мог беспрепятственно давать суд и расправу тридцатитысячному населению «пятого участка».

Хлопоты по выборам и утверждению, а потом по устройству камеры и канцелярии так и помешали Алексею Васильевичу сблизиться с деревней и чувствовать себя с мужиками как с равными людьми. Затем и то в его глазах все более не подлежало спору, что судье неудобно очень-то сближаться, и достаточно отстаивать правду и справедливость в камере; что же касается до экономических пред-

приятий, он предполагал в ближайшем будущем заменить Олимпия агрономом из саратовской школы, устроить общественную лавку, склад семян и сельскохозяйственных орудий, какое-нибудь кредитное учреждение,— одним словом, все то, что еще намечалось в Лондоне... А пока хутор напоминал в этом отношении усадьбу «хороших господ» при крепостном праве: мужики приходили просить «способьица» и получали деньги, лес, хлеб... даже одежду. Впрочем, непременно «взаймы» и с записью в особо заведенную книгу.

Наташу утвердили попечительницей школы гораздо скорее, нежели Алексея Васильевича судьею. Получив о том бумагу, та немедленно выписала из Москвы учебные пособия, народные книжки, волшебный фонарь с картинами,— просила магазин отобрать по этой части все, что есть лучшего, и пригласила к себе вновь назначенного учителя и того из двух священников села Излегощей, который и прежде преподавал в школе закон божий. Ей хотелось поговорить с ними о плане занятий, об устройстве народных чтений, о воскресных классах и вообще выведать, как они смотрят на «народное образование».

Учитель оказался белобровым и белоусым пареньком из крестьян, с затаенным влечением к цветным галстукам, цепочкам и ярко вычищенным сапогам, с большим презрением к «деревенскому невежеству», но добродушный и как будто готовый усердно подражать «развитым» людям не только в образе их жизни, а и в идеальных стремлениях. В доме Струковых его так поразили красивые вещи,— мебель, гравюры на стенах, бронзовые лампы и часы, рояль с механическим тапером, серебряная посуда в буфете, что он только посматривал вокруг восхищенными глазами, и когда достаточно осмелился, подходил на цыпочках к вещам и осторожно потрогивал их пальцем, а когда еще больше осмелился, стал спрашивать Наташу о цене вещей и благоговейно покачивать головою. Говорил он курьезно. Так, вместо того чтобы сказать: «Погода сегодня хорошая»,— он говорил: «Сегодняшний день в атмосфере замечается благорастворение»,— и вместо «согласен» – «солидарен», вместо «надеюсь» — «имею в надежде» или «имею в идеале»; лицо называл «физиогномия», прогресс — «прогрессивность» и до слабости любил вставлять слова: «абсолютно» и «рационально». На Наташу он сначала и взглядывать не решался: она его положительно

ослепляла — и красотою, и тем, что «роскошно одета» (она была в своем персидском халатике), и что от нее пахнет какими-то «аристократическими духами», и что «очень образована». Но когда совсем осмелился, поощряемый любезностью и простотою обращения, то подумал, что надо поддержать «собственное достоинство», и под конец визита засунул руки в карманы штанов, пытался закидывать нога за ногу, бросал окурки на пол и так развалился на диване, что между жилетом и штанами обозначилось белье. Впрочем, во всем соглашался с Наташей, искренне был готов действовать по ее планам... Эти планы хотя и выходили из пределов отлично им зазубренной школьной программы, но он наивно верил, что такая «богачка» все может.

Во всяком случае Наташа в тот же день написала мужу, бывшему в губернском городе, что учитель — уморительный и наводит на грустные размышления о постановке дела в педагогических семинариях, но кажется, его возможно «обломать». В сущности, ее значительно подкупило то обстоятельство, что Золотушкин — так звали учителя — обещал быть вполне послушным и смотрел на нее как на существо иной, высшей породы.

Гораздо хуже вышло с отцом Демьяном. Тот, как приехал, так мгновенно наполнил дом запахом перегорелой сивухи, шумом своей новой шелковой рясы и каким-то язвительным звуком голоса. И лицо его с оплывшими чертами, с шныряющими по сторонам глазами, с обидчивым и недоброжелательным выражением на тонких губах ужасно не понравилось Наташе. Приехал он не один, а в сопровождении псаломщика, тонкого, вихрястого, длинного молодого человека в отрепанном подряснике, очевидно, запуганного свыше всякой меры и бедного до нищенства, но с умным и добрым лицом, приятность которого даже не портили необыкновенно красные и густые веснушки; под мышкой у псаломщика был узелок.

— Понимаю так, госпожа... Во имя отца и сына... что я приглашен отслужить молебен по случаю новоселья? — развязно объявил о. Демьян, благословляя Наташу.— Хе, хе, хе, поздненько, поздненько хватились. Ну, да что с вами делать: не приобыкли к уставам нашей матери православныя церкви... Да-с.

Наташа скрепилась и кротко ответила, что действительно еще не привыкла и что очень просит отслужить.

— Всеконечно, с водосвятием? — спросил о. Демьян и с грубостью, поразившею Наташу, бросил в сторону псаломщика: — Иннокентий, валяй с водосвятием!

После молебна сели. Иннокентий в отдалении на кончике стула, и Наташа заговорила о школе. И о. Демьян сразу заявил, что «в виду отлично-превосходных статеек сиятельного вельможи, князя Мещерского и циркуляров епархиального ведомства» лучше всего переименовать училище в церковноприходское, как уж это совершилось в Излегощах с помощью благотворителя Михея Анкидиновича Юнусова.

— Это кабатчик Юнусов? Процентщик? Ябедник? — сердито сдвигая брови, спросила Наташа.

— Вот уж какие у вас сведения, госпожа... хе, хе, хе! Да-с, лихву берет, ее же брал и мытарь, и питейное заведение содержит, святой равноапостольный князь Владимир недаром провозгласил: «Руси есть веселие пити». Но неизвестно — как новые прихожане, о Михее же Анкиндиновиче могу по совести и по священству свидетельствовать: подлинный ревнитель церкви божией... Да-с. А если вам что-нибудь мужичишки наболтали — не верьте: не только Юнусова, меня, пастыря своего, оболгут. Народ закоснелый, весьма. В семи водах не вываришь... Да-с.

— Это все равно. Школа — земская и будет земская. Я только хотела узнать...

Но о. Демьян не слушал и все более и более возвышал неприятно дребезжавший голосок:

— Кум Михей, должен вам объяснить, госпожа, высшему, жандармскому начальству известен за патриота... Да-с. Подобно же сему десять лет назад проявились в нашей местности социалисты и корреспонденты... Да-с. Будто бы волостной писарь и будто бы его гость из столицы... Да-с. Я опорочен ими, госпожа, в журналах опорочен. (о. Демьян взвизгнул на этих словах)... полным именем... Крестовоздвиженский... Дамиан... Да-с. Ну, да ничего. Крамолу-то фю-фю... на курьерских... Нужды нет — я, мол, газетный сотрудник,— пожалуйте, с жандармом! А мы с кумом Михеем,— слава создавшему нам свет! — вот они, живехоньки... хе, хе, хе!

— Ну, батюшка, этому времени не возвратиться,— стараясь сохранить изменявшее ей хладнокровие, сказала Наташа.

— Вот эдак-то? Н-не знаю... Н-не думаю...

— На Волге тогда действительно были революционеры...

— Ага! И вам известны...

— И очень понятно, что власть легко было ввести в заблуждение... разным Юнусовым.

— Как так в заблуждение, госпожа? Почему в заблуждение, ежели я вижу превратную пропаганду и по долгу присяги доношу?

— В чем же заключалась пропаганда?

— Не смей пастыря духовного публиковать.

— Но за это можно в суд?

— Ах-ха, ха, ха... А в суде кто? Они же, сатанины дети? Воочию исследовано патриотической прессой, кто в суде. Матерь Митрофанию упекли... Чего же было ожидать? А почему, осмелюсь полюбопытствовать, вам как будто неприятен этот мой разговор?

— Нет, что же, говорите...

— Нет, почему же-с? Я — ваш пастырь, духовный отец... Желаете воспитанием православных отроков руководить... и вдруг вам как будто неприятно? Ась?

Наташа вспыхнула и готова была ответить дерзостью, но в это время Иннокентий крякнул и странно громким для своей приниженной позы голосом произнес:

— Не будет ли милость ваша закусить, Наталья Петровна?

Как она была благодарна этому веснушчатому человеку! Вмиг ее негодование заменилось смешливостью, и, притворно входя в роль любезной хозяйки, она обратилась к о. Демьяну:

— Ну, что там, батюшка, неисповедимое исповедовать, пожалуйте-ка в столовую.

— Нет, однако же? — настаивал о. Демьян, следуя за нею; но когда растворилась дверь и показалась разнообразно сервированная закуска с рядом графинчиков и бутылок, он неожиданно преобразился и, расставив руки, отчего сделался как будто крылатым, воскликнул:

— Что за яства! Что за напитки! Поистине, госпожа, Валтазарово пиршество нам устроили... Похвально, похвально (и с прежней грубостью): — Иннокентий, садись!

Сам же, прежде чем сесть, ходил несколько времени вокруг стола, сладострастно причмокивая губами, низко наклоняясь, нюхая,— и указывая перстом на бутылки, спрашивал: «Номер сороковой?.. Горькая?.. На рябине?.. Зубровка?..» — потом сел и сказал с глубоким вздохом:

«Недостижимо... недостижимо сельскому священнослужителю. Бываючи у брата, консисторского секретаря, пробовал. Все пробовал... Да-с. Но и только, и только, госпожа. И не верьте мужичишкам. Прикажете приступить? Сороковой номер, сороковой номер соблаговолите... Хе, хе, хе, слеза и кристалл! Во имя отца и сына...» Он методически отвернул рукав рясы и, поддерживая трясущуюся руку другой рукою, медленно выпил. И вдруг на его зажмуренном лице изобразилось такое страдание, что Наташа подумала, не другое ли что-нибудь в графине вместо водки, и испугалась, но лицо понемногу стало светлеть, глаза раскрывались, страдальческая гримаса погасала... и все озарилось блаженнейшей улыбкой.

— Пей, Иннокентий, сороковой номер,— выговорил он, нюхая корочку черного хлеба,— превыше сего дерзали, да не достигли, ни госпожа вдова Попова, ни господин Штритер.

— А вам, отче, теперь иного сорту благословите? — спросил Иннокентий.

— Паки и паки сороковой, дурашка. За ваше здравие, госпожа!

И долго продолжалось это «паки и паки», и «пей, Иннокентий!», и «за ваше здравие!», при чем о. Демьян только после четвертой рюмки приступил к «солененькому», Иннокентий же сразу навалился на пирог и на жареного гуся. Потом о. Демьян заговорил, и уже гораздо благосклоннее, нежели натощак, хотя до конца не оставлял своего ехидства.

— Где же ныне супруг ваш, госпожа? — спрашивал он.— Почему ни разу не удостоил храм божий посетить? Напрасно, напрасно. Да-с. А родитель ваш... Коснеет? Все в заблуждении коснеет? С такими-то, можно сказать, сокровищами... ах-ха, ха, ха.

— Отец с уважением относится ко всякой вере. На его же счет я вот буду помогать школе. Стало быть, и вам, православному законоучителю...

— В каких сие смыслах? — с оживлением спросил о. Демьян.

— Буду приплачивать к земскому жалованью, оно ведь такое ничтожное.

— Ага... Похвально, похвально. И велика ли предвидится цифра надбавки, осмелюсь полюбопытствовать?

— Сто рублей, я думаю...

— Гм... И сто двадцать, например, для легчайшего исчисления? Мужичишек, мужичишек-то не балуйте. Наслышан — щедрой рукою поощряете их леность. Жалко, воистину жалко! Расточить легко... ох госпожа, сколь легко расточить, но собрать... Да-с. И к чему? Мужик прирожден работать... в поте лица... Пей, Иннокентий!.. А жертвы от вас не видим. Вот колокол... ограда... утварь позолотить... Чья обязанность? Ась? Обязанность взысканных щедротами прихожан... наипаче вновь вступивших в лоно церкви,— а вы, госпожа, уклоняетесь.

— Все со временем, батюшка. Но как насчет школы...

— Согласен, за сто двадцать рубликов согласен. Ох, прозираю, куда клоните, хе, хе, хе!.. Буду, буду иметь косвенное наблюдение, госпожа... А ежели угодно, чтобы вполглаза наблюдать — этак вот (о. Демьян лукаво прищурил один глаз) — так смотря по вашему усердию. Ну, сенца там, бревнышек, лошадку взять на прокормление... ась?

— Но и преподавать, кроме наблюдения?

— Хе, хе, хе, нужно ли тебе сие, госпожа!.. Ну да, все, конечно, и преподавать. По-прежнему. Но часто не могу, нет-с, увольте... Что же, ничего, учитель должен преподавать. Ты ему прибавь из сокровищ родителя, и ничего, и пусть себе.

— Ведь он не имеет права?

— Хе, хе, что права, сударыня, какие права... За ваше вожделеннейшее!

— Однако приедет инспектор...

— И пускай его приедет. Все мы человеки. Инспектор выше описания какой господин. И взаймы, взаймы, шельмец... Ох, любит брать взаймы! Я вам вот что доложу, госпожа... на ушко, на ушко... (Он обдал Наташу пьяным дыханием). Кто сокровища приумножил — у того и права... хе, хе, хе!.. Наливай, Иннокентий. Но не возносись, барыня, да-с! Миллионщик был Кандалинцев... слыхала? А не поладил с духовным пастырем, и тово... Училище за свой счет желаю содержать,— не надо! Двести десятин даю на предмет вечного обеспечения,— не желаем! Туды-сюды, кинулся в иное ведомство... Агрономическое желаю! Пятьсот десятин!.. Отваливай, не нуждаемся! Хе, хе, хе... А началось с попа.

Наташа действительно слыхала об этой неправдоподобной истории с либеральным золотопромышленником Кан-

далинцевым, и в общих чертах о. Демьян передавал верно; но она тотчас же подумала, что и это происходило давно, и не пример, и нечего бояться этого несчастного алкоголика. Тем не менее ее настроение становилось хуже и хуже, и мелькала мысль попросить батюшку удалиться, и о том думала с чувством близким к отчаянию, что мечты о хорошей, о «настоящей» школе неосуществимы, что и сносную-то можно устроить, лишь поддерживая отвратительные связи. А о. Демьян продолжал, все более впадая в фамильярный тон:

— Ты за пастыря держись, госпожа... и спасет и сохранит тебя от всякой скверны. Не брезгуй... Не возносись... Паки рябиновой, Иннокентий! И перед кумом не возносись... на ушко... на ушко: скотоподобен сей муж... каверзник... тать... прелюбодейца... по священству могу засвидетельствовать, но патриот, понимаешь? А ты бы вот как, ежели ты не горда: пришли этак икорки, балычка, напитков, да и сама этак... А у меня, кстати, и попадья именинница... в четверг... В рамс играешь?.. Напригласим гостей... всеконечно и Михейку Юнусова... Ась? Верно те говорю: не только учитель — родитель твой пусть орудует... по старинке! по старинке!.. и покроем, и сохраним тя от всякой напасти... хе, хе, хе! За ваше здравие.

Совершенно обескураженную этой перспективой рамса и именин Наташу опять утешил, однако, Иннокентий. И, по своему обыкновению, неожиданно. Когда о. Демьян, пошатываясь, вышел из комнаты, он воровски глянул ему вслед и быстро сиплым шепотом забормотал:

— Не споетесь, Наталья Петровна. Натощак — сущий кляузник и злец, в пьяном виде — одно слово скандальник. Вы маленько годя удалитесь... от греха: не уйдет, покуда не свалится. И для дамских ушей неудобен. Вот какой фрукт — мы с отцом Афанасием третий на него донос анонимный посылаем. Замучил!

— Но как же быть с школой? — тоже шепотом спросила Наташа.

— К отцу Афанасию обратитесь. Препочтенный старик. И обременен многочисленным семейством... Признаться, я на его дочери женюсь (Иннокентий скромно потупил глаза). А этого... вот только дай бог братца, секретаря, прогнали бы... этого мы ниспровергнем.

— Зачем же все-таки анонимно-то?

— Эх, матушка Наталья Петровна, ничего вы в нашем

духовном положении не понимаете... Тсс... идет... Поговорите же с нареченным тестем.— Потом крякнул и громко произнес: — Н-да-с, подлинно-с преавантажный у вас домок.

Вскоре Наташа заметила, что ей действительно надо уйти, и заперлась в своей комнате, отрядивши в качестве хозяйки Гертруду Афанасьевну. Спустя час она услышала из своего заключения какой-то шум, какую-то возню и брань и странные звуки хлынувшей на пол жидкости,— так, по крайней мере, ей показалось,— а после от помиравшей со смеху прислуги и оскорбленной Гертруды Афанасьевны узнала, чем кончилось посещение о. Демьяна. Подробности были неописуемы.

Впрочем, на другой же день приехал на косматой мужицкой клячонке отец Афанасий, другой излегощинский священник, и заставил Наташу забыть неприятное знакомство с о. Демьяном. Это был седой густоволосый старик с голубыми младенчески наивными глазами, с бесконечной доброй и грустной улыбкой и робкими манерами. Сначала он все покашливал в руку да оправлял свою поношенную ряску и внимательно всматривался в Наташу; но за чаем,— от водки и закуски он отказался,— если и не очень разговорился, то много расспрашивал. И потом сказал с задумчивым видом:

— Дай бог, дай бог, хорошее дело. Темнота даже до избытка... По малодушию даже в отчаянность приводит эта пуще языческой темнота. Только вот с отцом-то Дамианом... Видите, это в его приходе, не в моем.

— Но мы хотим быть в вашем.

— Вы-то так, положим; вы — землевладельцы. Но училище в деревне, мужички не имеют правов самопроизвольно менять приход.

Тогда я напишу ему, что несогласна на прибавку к земскому жалованью, он и откажется.

— Ну, нет, матушка, вряд ли откажется. Чтобы досадить, не откажется.

— Но ведь он учит в церковноприходской?

— Он, он... Не допустил меня. Из-за камилавки землю роет.

— Ну вот, так и подадим заявление, что отец Демьян занят, а вы свободны.

— Съест он меня, милушка, поедом съест. Семейка-то у меня велика... куда деться?.. А иное дело что же это я,—

он стыдливо покраснел и заторопился,— вы еще, пожалуй, подумаете: выторговывает старый поп... Давайте же лист бумаги. Во имя отца и сына и святого духа...— И вдруг щегольнул латынью и по-детски рассмеялся.— Амикус Плато, сед магис амика веритас![1]

— А мы все-таки и о вознаграждении условимся...— начала было Наташа, когда о. Афанасий, написавши заявление, стал прощаться.

— Ни, ни, ни,— заспешил он, отмахиваясь и снова вспыхивая стыдливым румянцем,— это уж там... это уж после как-нибудь...— И совершенно некстати опять щегольнул латынью и опять по-детски рассмеялся.— Нолите миттере маргаритас анте поркос![2]

Правда, спустя несколько дней приехал Иннокентий с нареченной тещею, много плакались на бездоходность прихода, лучшая часть которого была у о. Демьяна, на то, что нечем воспитывать и не во что прилично одеть детей, и выпросили семьдесят пять рублей вперед, да три воза сена, да воз муки, да чтобы два подтелка проходили лето на Струковой степи. Но Наташа была уверена, что о. Афанасий тут ни при чем, а что нужда действительно велика, и не только исполнила все просьбы попадьи, но подарила еще шелковое платье для невесты Иннокентия, за что попадья, внезапно сорвавшись с места, чмокнула ее в руку... Долго горел этот раболепный поцелуй на руке Наташи, и многое она простила за него русскому православному духовенству.

А о. Демьян как только узнал о приглашении о. Афанасия, так сделался лютейшим врагом новых землевладельцев. Впрочем, явно не обнаруживал этой вражды, отчасти потому, что его поведение после «сорокового номера», рябиновой, горькой и иных сортов было чересчур неосторожно, а отчасти потому, что Алексей Васильевич был избран и утвержден мировым судьею.

Перестройка школы несколько запоздала, и занятия пришлось начать с поздней осени. В просторное помещение, рассчитанное и на воскресные классы, и на народные чтения, оказалось возможным принять много новеньких. С прежними почти весь школьный возраст деревень Большой и Малой Межуевой посещал теперь училище, разумеет-

---

[1] Платон — друг, но истина еще бóльший друг! *(лат.)*

[2] Не мечите бисера перед свиньями! *(лат.)*

ся – считая этот возраст не по-заграничному, а от десяти до четырнадцати лет. То есть сначала-то не «посещал», а был только «записан», да и то по убедительной просьбе Наташи, которая лично уговаривала упрямившихся родителей, обещая, что теперь «учеба будет настоящая», что бумага, карандаши, перья, грифеля будут выдаваться бесплатно, что ребятишки не станут, как прежде, «блевать» от угара и спертого воздуха и «слепнуть» от того, что темно. Потом пошли «манкировки», и в ужасающем количестве, то потому, что «нетути одежи, обувка разбилась, тятька не пустил - овес молотили, мамка не велела — на речке была, за малыми ребятами некому присмотреть», то просто «так», без всякого повода. И этот «самый страшный порок русской народной школы» продолжался до тех пор, пока Наташа не устроила бесплатную столовую и не приобрела для самых бедных валенки и теплую одежду. Обошлось это не дешево. По расчету Алексея Васильевича каждая школа при таких условиях должна бы затрачивать за зиму сверх обычного своего бюджета до пяти рублей на ученика. Но зато эффект вышел поразительный. Вместо 15%, а ближе к весне и до 50% отсутствующих, в классы не являлось самое ничтожное число, а главное — ребята почти весь день находились в школе, то есть в светлом, просторном и сухом помещении, и гораздо дружнее и внимательнее учились. Образовывалась привычка к школе, как к своему дому, вот что было самое главное. Алексей Васильевич торжествовал, доказывая Наташе на этом примере преобладающее могущество «экономических факторов».

С первых же уроков Наташа с удовольствием заметила, что Золотушкин отлично знаком с техническими приемами первоначального обучения и что в первом отделении он вообще очень полезен. Тем более что с каждым визитом на хутор убеждался, что учительское дело очень уважается «богатыми» и «образованными» людьми и что, по мнению тех же людей, крестьяне не «мужичье», как он предполагал дотоле, а «народ», нечто вроде особого и даже священного чина... Во втором и третьем отделении занятия шли гораздо хуже, да и не мудрено: дети были страшно неразвиты, едва умели читать и писать и так были сбиты с толку механическим преподаванием бывшего учителя и запуганы грубым обращением, доходившим до пощечин, подзатыльников, дранья за волосы и т. п., что туго поддавались новым приемам. Сначала Наташе показалось, что, по

крайней мере, арифметика у них удовлетворительна да по «закону» они отчеканивали без запинки. Но вскоре и это объяснилось нехорошо: то, что отчеканивалось, понималось ими либо в самом превратном смысле, либо совсем не понималось, а задачи решались по первобытному, догадкой, с помощью особой мужицкой «интуиции», но без всякого соображения о том, почему так решается и отчего нельзя иначе.

Вообще, присматриваясь к прежним ученикам, Наташа поверила в то, что до сих пор считала парадоксом: что плохая школа хуже, чем никакой. Когда нет никакой школы, ум все-таки живет, воображение работает, личность определяется,— чем живет, что работает, во что определяется, это уже другой вопрос. Но вот точно какая-то механическая пасть вбирает в себя умных, впечатлительных, любознательных детей, пережевывает их с бездушной неукоснительностью и выбрасывает вон обезличенных как стереотипы. Свой прежний, неграмотный ум словно обрастает корою, на этой коре в бессмысленном сочетании вытиснены обрывки чуждых понятий, стишки, басни, молитвы, «правила» из арифметики, «правила» из грамматики, и та особая, условная ложь, в которой принято писать «одобренные» книжки для народа, рассказывать для него историю, преподавать ему мораль. Язык болтает эти «клише», и так как болтает с благоговением и с трудом, то сам несчастный его хозяин привыкает уважать трудную бессмыслицу и презирать простое, пугаться оригинального. Говорят о предрассудках деревни, о невежественных ее нравах. Спору нет, думалось Наташе, предрассудки велики, нравы жестоки, но все это не так уже страшно, потому что неустойчиво. Те предрассудки и нравы, что могут воспитываться в плохой школой, куда опаснее, куда прочнее... И ей казалось большим счастьем, что плохие школы так много дают «рецидивистов», а особенно плохие из них, церковные вроде излегощенской, с таким трудом влачат свое зловредное существование.

На такие же мысли наводили Наташу «одобренные» учебники и «хрестоматии», и старые, и присланные ей в большом количестве из Москвы. Кроме превосходных «книжек для чтения» Л. Толстого и некоторых Тихомирова, да отчасти азбуки Бунакова,— материал едва достаточный для двух зим,— все остальное было непригодно до странности, до кощунства. Казалось, писали их сплошь

чиновники, и писали либо благонамеренно, с небольшим оттенком лжи, но бездушным и варварским слогом газетных передовиц, либо с отвратительным привкусом сыска и патриотического самохвальства, и тогда уже непременно безграмотно, растрепанными фразами, на скверной бумаге, с скверными рисунками. И те и другие авторы, очевидно, совершенно не знали, для кого пишут, хотя до тонкости знали, для чего... В том же роде были и народные книжки, если не считать только что появившихся изданий «Посредника» и непомерно дорогих Комитета грамотности.

— О, лучше, в тысячу раз лучше,— восклицала Наташа, возражая несоглашавшемуся с ней мужу,— чтобы народ оставался в своей дикой безграмотности, чем сразу сделаться грамотным дикарем... в стиле старой Москвы или той новой Франции, что в школах воюет с богом, внушает звериный патриотизм, мещанское понятие о собственности и о морали.

— Какая же школа тебе нужна?

— Свободная, миленький, и... живая.

— Попробуй, попробуй, а мы «будем посмотреть», как говорят русские немцы,— отшучивался Алексей Васильевич,— но только, дорогая моя, эта «дикая безграмотность» у меня вот где сидит! Побудь-ка денечка два в камере и полюбуйся.

— Не то, не то, Алеша... Право же, ты меня не хочешь понять. Ну, вот подожди, попробую.

И с обычной своей стремительностью она приступила к реформам. Оба старших отделения соединила в одно. О. Афанасий и Золотушкин преподавали там по два раза в неделю,— Золотушкин только арифметику,— все остальное время Наташа занималась сама вне всяких правил и законов. Отбросивши всякие «хрестоматии», диктанты, дисциплины, зубрежки, она стала добиваться лишь прочного навыка в чтении и письме, а больше вела с ребятами разговоры, читала им что находилось хорошего под рукою, показывала туманные картины и иллюстрации, устраивала игры на школьном дворе. Беседы велись и в классе, и на дворе и обыкновенно начинались по какому-нибудь случайному поводу, но потом Наташа стала правильно чередовать их. В один день это было о земле и о небе, о тепле, о воздухе, о том, отчего происходит дождь и снег, о животных, о растениях, об устройстве человеческого тела. В другой — как возникло, разрослось и утвердилось русское цар-

ство, что такое волость, земство, суд, полиция, уездный и губернский город, сенат, синод, министры и для чего собирают подати. В третий день дело шло о том, как живут люди в чужих краях, какие у них города, церкви, деревни, порядки, обычаи и т. д. Такая «энциклопедия» и по необходимости была очень схематична и потому, что Наташа того и хотела. Для заполнения схем служили картины в волшебном фонаре, иллюстрации в «Ниве», биографические справки, яркие и характерные эпизоды... В будущем предполагалось делать физические опыты: Наташа хотя и выписала приборы, даже электрическую машинку, но орудовать с ними пока не решалась,— думала летом подготовиться как следует.

В праздники, по вечерам, в школу собиралось почти все Межуево слушать «чтения» и смотреть волшебный фонарь. Отец Афанасий с умилением в старчески дрожащем голосе читал особенно излюбленные «жития» — о Тихоне Задонском, об Алексии Божием человеке, о Стефане Пермском,— или о «Страстях господних»; Наташа рассказывала без книжки «естественно-историческое», Золотушкин с важностью жреца действовал с фонарем. Было нестерпимо душно; чрез какие-нибудь полчаса от начала чтений воздух становился зловонным, кислым, прелым; не помогали открытые печные трубы, форточки, вентиляторы... Все равно,— иная, душевная атмосфера была так чиста и свежа, что Наташа, возвращаясь с головной болью на хутор, чувствовала себя счастливой и с бесконечной благодарностью смотрела на эти пустынные снега, на черные избушки, потонувшие в сугробах, на всю эту глушь, и дичь, и бедность.

V

Так продолжалось и вторую зиму. Алексей Васильевич, далеко не находивший такого удовлетворения в своей камере, как Наташа в школе, начинал уже ревновать ее к этой школе и насмешливо говорить, что лучше бы ей совсем перебраться в Межуево. Но вдруг... Впрочем, для объяснения последующего необходимо прибавить о самом Струкове. В течение года его судейская деятельность, его манера вступать в пререкания с товарищами и с прокурором на съезде, и то, что он не играл в карты и не участ-

вовал в коллегиальных попойках, по обычаю совершавшихся в городском клубе каждое 20-е число, и то наконец, что неаккуратно делал визиты, а его жена совсем не хотела знакомиться с помещиками,— все это вооружило против него многих влиятельных людей.

И так вдруг Наташа случайно узнала, что еще в конце прошлой зимы, великим постом, в Межуево приезжал какой-то «странний» человек, «вроде как офеня», останавливался у старосты, расспрашивал о «господах», об училище, о чтениях, о книжках, которые будто бы раздает «барыня». Этот же таинственный человек посетил Межуево и во вторую зиму, опять останавливался у старосты, опять расспрашивал и, как после узнали, поехал в Излегощи, где и заночевал у Юнусова. Затем стали ходить по деревне какие-то загадочные слухи — о земле, которою будто бы неправильно завладели Струковы, между тем как она должна бы поступить «в нарезку», о том, что об этом кто-то проведал, что не даром «незаконные господа всячески обольщают народ» и что «надо держать ухо востро»... Наташа понемногу стала замечать, что крестьяне не так смотрят на нее, не так говорят с нею, как прежде, и мужчины все в меньшем количестве приходят на чтения. Что-то неуловимое, но несомненно враждебное носилось в воздухе. Одно время Наташе пришла в голову довольно правдоподобная мысль,— это после того, как некоторые донесли ей о разговорах про землю,— что таинственный незнакомец, посетивший Межуево, был просто-напросто «пропагандист». Но, во-первых, о такой «пропаганде» давно уже не было слышно в тех местах, а во-вторых — зачем же ему ночевать у Юнусова? Вскоре догадки осложнились еще тем, что о. Афанасия потребовали к благочинному. Он не сказал Наташе, зачем именно потребовали, но с тех пор уже не удалялся из школы тотчас же после своего урока или после того, как прочитывал «житие», а оставался до отъезда Наташи и все слушал, о чем она рассказывала ученикам или народу, слушал с напряжением, с беспокойной улыбкой на своем добром и грустном лице.

— Что это вы так интересуетесь, отец Афанасий? — спросила однажды Наташа, которую все эти загадочности начинали приводить в необыкновенное раздражение.

Отец Афанасий сконфузился, некстати щегольнул латынью: «Ау рес хабент эть нон аудиент»[1],— но после

[1] Имеет нечто, но не говорит *(лат.)*.

этого не засмеялся, как обыкновенно, своим чистым, детским смехом, а торопливо простился и уехал. А на другой день Наташа получила от него умилившую ее, но не успокоившую записку: «Добрейшая наша и ретивейшая ко благо попечительница! Errare humanum est[1],— и старый дурень, в свою очередь, внял наветам, ergo[2] — впал в заблуждение. Великодушно прости за сие суесловие, а я не нахал, и то, что слышал из ваших уст, добро и красно, и такожде направлено к просветлению темных умов, как учение Христа к просветлению сердцем омраченных. А больше сего ради господа не вопрошайте, ибо по воле начальства дан был обет молчания, а за Вас я отныне такой же ходатай и богомолец, как и всегда.
Священник села Излегóщей, Покровской церкви *Афанасий Ключарев*».

Один Золотушкин ничего не опасался и презрительно фыркал, когда псаломщик Иннокентий,— большой его друг теперь,— предупреждал его по секрету, что против школы нечто затевается.

— Чудак ты человек! — с гордостью говорил Золотушкин, с равными он объяснялся почти удобопонятно, да и вообще под влиянием Струковых стал отставать от высокопарного языка.— Чудак ты... Да знаешь ли сколько абсолютного доходу у Перелыгина? Какое у него знакомство? А Струков!.. Судья, брат. В золотой цепи... И в острог тебя может затяпать, и белей снегу оправить. Ха, ха, ха, да они в порошок сотрут, ежели кто с ними не солидарен... стоит только старичишке в Питер смахать, к министрам.— И впадая в честолюбивые мечты, продолжал: — А я так имею в идеале, брат Кеша, медаль не медаль, но будет мне ужо награда. Где найдешь такую постановку, а? Карты, атласы, глобус, теллурий, анатомические пособия, физические пособия... Не видал вот эту еще штучку, намедни из Москвы прислали? Шестьдесят целковых, брат... Ха, ха, ха, вот выйдет эффект, ежели этак золотой какой-нибудь знак за усердие, за рациональную педагогику, на этакой какой-нибудь голубой ленте, а? — Тут Золотушкин в порыве чувств колупал Иннокентия в бока и в живот, и оба с громогласным хохотом принимались возиться.

Но — увы! — тот же Золотушкин обомлел до совершен-

---

[1] Ошибаться свойственно человеку *(лат.)*.
[2] следовательно *(лат.)*.

ной утраты рассудка и малодушно предал Наташу, когда в ее отсутствие в школу неожиданно явился инспектор. Это был человек с брюшком, с свиными глазками, с бачками, похожими на расчесанную мочалку, с пряжкой за беспорочную службу. Вошедши в класс в фуражке и шубе и не обращая никакого внимания на поклон Золотушкина, он по-фельдфебельски стал кричать на учеников, недружно поднявшихся навстречу, и растерявшегося сторожа, который не видал, как подъехала тройка, не отворил двери и не принял шубы. Потом грубо и бестолково стал вызывать ребят «к доске» и спрашивать, сопровождая сбивчивые ответы язвительной улыбкой и замечаниями: «А, тому-то вас учат!.. А, и этого не знаете!.. Так-с, похвально-с, бесподобно-с!.. Садись, болван!» Потом долго рылся в шкафах, фыркал, рычал, грозился на Золотушкина пальцем, отобрал десятка полтора изданий «Посредника» и забытый Наташею том Тургенева с «Записками охотника», приказал при себе налить масла в лампадки, обмести пыль с царского портрета. Потом проследовал в комнату учителя и пересмотрел его книги, причем, указуя на принадлежавший Струковым номер «Вестника Европы», на разрозненного Добролюбова, на томик Глеба Успенского, каким-то шипящим голосом вопрошал: «Эт-та что? Эт-та что? В нигилисты, в ссылку захотел?» Золотушкин с дрожанием в коленках, с выражением побитой собаки стоял перед ним и бормотал: «Это не я-с. Это все попечительница-с... Я человек маленький-с... Я протестовал-с... абсолютно-с...» В конце концов такое поведение тронуло ревизора.

— На первый раз я тебя извиняю,— сказал он, требуя ревизионную книгу,— но заруби на носу: посторонних в классы не допускать, будь она хоть распопечительница. Не гуманничать. Из программы не выходить. Чтений — никаких. Ребятишки перед начальством чтоб вскакивали: здравия желаем, вашество-о-о! Понимаешь, по-военному. Физические приборы и тому подобное сегодня же отослать госпоже Струковой — неуместно для мужиков. Лучше бы солдата наняли для гимнастики. Батьке скажи, чтобы не осмеливался взрослых собирать: чтения с туманными картинами разрешаются в установленном порядке и только религиозно-нравственные, без штук. Чуть что, сейчас же доноси мне... срамник,— особое ведомство дозналось, а твое непосредственное начальство ведать не ведает.— И с удивительной для своего чина безграмотностью нацарапал

в ревизионной книге, что «в межуевском училище направление подозрительное по причине незаконного и неуместного вмешательства попечительницы, хотя же она и затрачивает некоторые средства на содержание онного», что он, имярек, статский советник и кавалер, такого-то числа февраля месяца «сие училище посетил и онное не одобрел». Дальше стояли три палочки и крючок, долженствовавшие обозначать фамилию статского советника, которая начиналась с буквы Т. Золотушкин, с благоговением изгибаясь, засыпал эти каракули песочком и обещал исполнить в точности приказ «его высокородия».

И исполнил в самом непродолжительном времени. Наташа в тот же вечер получила от него приборы и витиеватое письмо, в котором он уведомлял ее о ревизии и о том, что «желая быть вполне и всегда солидарным с распоряжениями своего непосредственного начальства, просит г-жу попечительницу в классы более не являться и вмешательства в рациональный ход преподавания, столь же неуместного, сколько незаконного, абсолютно не оказывать». Наташа даже заплакала от злости. Напрасно Струков и бывший в то время на хуторе Петр Евсеич уговаривали ее успокоиться и до поры до времени оставить это дело,— Петр Евсеич уверял, что «тут вся штука — поехать в город и проиграть две красненьких в винт»... Она ничему не внимала и, приказавши подать лошадь, полетела в школу. Бедный Золотушкин не ожидал ее и растерялся. Никогда он не видал у своей попечительницы таких грозных глаз, такого гневного лица, не слыхал от нее столь презрительных, колючих, жестоких слов. Это стоило инспекторской ревизии.

Но самое ужасное для Золотушкина случилось в конце распекания, когда Наташа несколько остыла и потребовала, чтобы он показал ей ревизионную книгу. Прочитавши то, что там было написано, она с злою улыбкою обмакнула перо в чернильницу, провела густую черту под словами «онное не одобрел» и на том месте, где стояли три палочки с крючком, явственно подписала «Петр Зудотешин».

На следующий же день книга, старательно обернутая и запечатанная именной печатью Золотушкина, вместе с его доношением была препровождена в город, а ровно через месяц, под пасху, Наташа получила официальную бумагу, в которой ее уведомляли, что в звании попечи-

тельницы начального Межуевского училища она более не состоит.

Сначала она не хотела уступить, собиралась бороться до конца и во всех инстанциях: так ей казалась дика мысль о «неблагонадежности» ее поступков, о том, что восторжествует «Зудотешин», а не она, отдававшая свои средства, свой труд, всю свою душу на развитие настоящего «народного просвещения», без всяких тенденций в ту или другую сторону. Но вскоре после пасхи иные мысли и иные ощущения ею овладели: она почувствовала, что беременна, и отчасти по настоянию мужа и отца махнула рукою на школу, думая заняться этим впоследствии.

Тут же надо сказать, что и впоследствии ей ничего не удалось сделать, если не считать того, что она продолжала выдавать добавочное содержание о. Афанасию, но отняла у Золотушкина и прекратила столовую после того, как узнала, что учитель завел двух боровов, которых и откармливал в ущерб детским желудкам. За всем тем ребята выучивались «в пределах программы» и часть из них получала «свидетельства» на раззолоченной бумаге, а Золотушкин находился у «Зудотешина» на отличном счету... Потом тонкий слой ремесленной, «заученной» науки исчезал у ребят с неимоверной быстротою в вечном недосуге трудного, беспросветного, почти проблематического существования, и те из них, что получили раззолоченную бумагу, через два-три года не могли разобрать, что в ней написано... «Квод демострандум эст!» — с прискорбной успешкой говаривал о. Афанасий, изредка встречаясь с Наташей и излагая ей печальные результаты «зудотешинского» обучения. Но Наташе было уже тогда не до того...

Родился у Струковых мальчик, названный в честь деда Петром. «Смотри, Наташечка, да не будет он Петр Зудотешин»,— хихикая говорил Перелыгин, вспоминая эпизод с ревизионной книгой... И вот Наташа утешала себя тем, что для того, чтобы он действительно не оказался «Петром», ей необходимо быть хорошей матерью, а не попечительницею школы. В жизни Струковых наступила новая полоса. В их доме возникло особое настроение, от которого тепло и отрадно было Алексею Васильевичу, все более и более тяготившемуся деятельностью судьи и вообще всем, что металось в глаза за стенами дома. Как восхитительно летели для него часы, когда в зимний непогожий вечер с веселым треском горели дрова в камине, мягко светила

лампа, он просматривал дела, назначенные к очереди, Петр Евсеич читал, а молодая мать сидела около них с ребенком у груди и с таким умиротворенным и кротким лицом, как будто вполне осуществились бурные и неопределенные домогательства ее юности. Иногда между мужем и отцом завязывался спор,— не о России, как в Лондоне: Алексей Васильевич избегал теперь спорить о России,— а опять-таки о жизни, о морали, о судьбах человечества. И надо было видеть, с каким чувством спокойного превосходства Наташа слушала их, с какой лукавой и нежной улыбкой заглядывала в детские глазки, в молочном тумане которых уже начинало мелькать сознание... «Говорите, говорите,— казалось, думала она,— вот мы с Петрусем лучше знаем и о жизни и о морали!» А за стенами злилась вьюга, торжественно шумели деревья в роще.

Струков потому избегал спорить о России с Петром Евсеичем, что почти соглашался теперь с ним и не хотел обнаруживать этого при Наташе. Ее увлечение деревней, школой, чтениями радовало его и только изредка приводило в досаду тем, что расстраивало их домашний порядок, но радовало не за деревню и не за школу, а за жену, нашедшую то, о чем они вместе мечтали за границей. В своей камере, в своих наблюдениях, гораздо более широких, чем у Наташи, над «обществом и народом», он далеко не нашел того, о чем они вместе мечтали, но избегал говорить об этом при жене из какой-то смутной боязни. В глубине души ему казалось, что пропадут мечты и что-то оборвется между ним и Наташей и что лучше молчать...

А как трудно, как было мучительно думать и отчаиваться в одиночку!

Прежде всего мучило внутреннее раздвоение. Так, он давно уже составил себе убеждение, что «праведность» и «преступность» определяются экономическими нормами и что чем более равновесия в этих нормах, тем решительнее упраздняется «преступность». Дальше он был убежден, что самое понятие «преступности» отнюдь не безусловно и только отражает собою ту имущественную структуру, которая господствует в данное время и в данном общежитии. И так еще разительнее в нарушениях гражданского права... А между тем являлся кабатчик Юнусов с целым ворохом несомненно злодейских, но юридически правильных обязательств и на основании таких-то статей просил подвергнуть немедленному ограблению государственных кре-

стьян села Излегóщей. В голове судьи соблазнительно мелькала такого рода резолюция: «По указу... приговорил: мещанина Юнусова за мошенническое приспособление к законам и за превратные мысли о том, что якобы на то в море и щука, чтобы карась не дремал, и за умышленную пропаганду таковых превратных мыслей выселить из села Излегóщей на остров Сахалин; расписки отобрать и сжечь; казенный участок, арендуемый Юнусовым, передать крестьянам; открыть в селе дешевое кредитное учреждение; устроить школы с изъятием их от тлетворных наездов г. Зудотешина»... А на самом деле приходилось писать совсем другое, и хотя в «предварительном исполнении» отказывалось, но все же в установленный срок в Излегóщи приезжал судебный пристав и производил законный разгром.

Потом купец Ржанов взыскивал за порубку в лесу, купец Шехобалов за покражу солонины из амбара, помещик Кульнев за «неотработки» и за потраву,— и было ясно как дважды два, что и в порубке, и в краже, и тем более в «неотработках» и потраве подсудимые кругом виноваты, и что надо их штрафовать, сажать в острог, подвергать неустойкам... Таких дел было слишком много, и нельзя достаточно выразить, как страдал от них Алексей Васильевич.

Правда, было и некоторое утешение. Недаром народ предпочитал «мирового» не только старой ябеде и волоките, но и своим волостным судам. Веяние духа, поколебавшее в эпоху реформ обомшелые твердыни крепостничества, внесло и в сферу юстиции нечто от безусловной правды. Даже и по букве новых законов человек рассматривался как человек, а не как мужик Степка с одной стороны, а многоуважаемый землевладелец Степан Иванович с другой. Нужды нет, что в действительности последнему и теперь случалось колачивать первого по зубам, ругать как вздумается и вообще обременять обидами. По крайней мере, перед лицом закона «Степка» мог до некоторой степени восчувствовать свое человеческое естество и убедиться, что звание смерда не есть его прирожденное отличие. И Струков с особой последовательностью применял здесь свои полномочия — с особенным удовольствием приговаривал Юнусова под арест за избиение крестьянской бабы, купца Ржанова за расправу нагайкой с порубщиками и приказывал выводить из камеры помещика Кульнева, осмелив-

шегося в его присутствии обругать непечатными словами своих неисправных рабочих.

В сущности, мировой суд был одним из тех «компромиссов», которыми, по убеждению Струкова, только и могло двигаться вперед какое бы то ни было общежитие. Так... Но, во-первых, этот «компромисс» со дня на день обессиливался тою опалою, в которой находился, а во-вторых, то, что казалось благоразумным и благодетельным со стороны, было почти нестерпимо при личном участии. Необходимо и хорошо есть мясо, думал Алексей Васильевич, и история Ирландии, конечно, не от того печальна, что там католичество, а от того, что ирландцы питаются картофелем; но противно убивать животное, и если нельзя не убивать самому, так не лучше ли совсем отказаться от мяса? Другими словами, он по-прежнему понимал, что не только нельзя, но было бы бедствием внезапно отменить тюрьмы, векселя, исполнительные листы,— всю эту жестокую арматуру действующего права; но, с другой стороны, ему становилось все больнее и противнее применять эту арматуру, несмотря даже на то, что иногда она применялась в защиту униженных и слабых.

И он все чаще подумывал об иных «компромиссах», более подходящих к его характеру и симпатиям, чем судейство, но подумывал уже не с прежней мечтательностью, а сомневаясь и робея... Дело в том, что русская жизнь, как она есть, раскрывалась перед ним совсем в ином порядке, нежели прежде, в Лондоне, сквозь призму книг, теорий, студенческих воспоминаний и — главное — сквозь призму любви к Наташе. Чем он пристальнее всматривался теперь в эту жизнь,— в камере, в Межуеве, в уезде, во всей России,— тем страшнее ему становилось... Он начинал прозревать. Уезжая за границу, он унес с собой такое впечатление, что вместо капризной весны с зарницами, заморозками и грозою в отечестве наступает лето,— страда, трезвая, сухая работа,— быть может, без иллюзий, но с серьезным содержанием, с деловым развитием тех «весенних» начал, что уже доказали историческую свою необходимость. И он радовался этому. Искренне сердился на угрюмых пророков; не мог читать Щедрина; разошелся с «крайними»; с удовольствием вспоминал, сколько оставил молодых, искренних, знающих людей, подобно ему утомленных зрелищем ужасов и бесплодным нервическим возбуждением, мечтающих о серьезной ученой карьере, о культурной деятельно-

сти в провинции, о бескорыстной помощи всем начинаниям, направленным ко благу и долгоденствию отечества.

Но когда, в Z-м уезде, Алексей Васильевич прозрел, сердце его захолонуло. Дело было не в либерализме или консерватизме: с своей экономической точки зрения он продолжал относиться к этому довольно равнодушно; дело было и не в отсутствии начинаний: некоторые из них осуществлялись, и к ним действительно где-то в департаментах и комиссиях примкнули хорошие люди тех же убеждений, что и Струков... разумеется, в качестве весьма мелких сошек. Но незаметно совершилось неслыханное падение умственных интересов, какое-то эпидемическое помрачение совести, и с каждым днем в разговорах и в печати усиливалась постыдная игра словами и понятиями, которые так еще недавно, казалось, были святы. То, что прежде из страха перед общественным мнением могло произноситься и делаться лишь в опасливом уединении и разве где-нибудь на задворках, теперь с невероятным бахвальством лезло под образа и само заявляло себя общественным мнением. Точно видение Иезекиила сбывалось в действительности. Подымались мертвые кости, стягивались жилами, обрастали мясом и за неимением пророка, который вложил бы в их уста нечто здравосмысленное, начинали бормотать кладбищенские речи, суесловить о святости кровопролитий и ежовых рукавиц, об идиллии крепостного права, о провиденциальном различии белой и черной кости. И что было самое страшное, так это то, что повсюду зашевелились гады, казалось, еще вчера превращенные хотя и в посредственных, но в порядочных людей. Всякий кадык, что шесть-семь лет тому назад извивался ужом, будто бы пламенея в огне гражданских чувств, и в излишние разговоры не вдавался, смиренно ссылаясь на свое круглое невежество, теперь высокомерно поднимал нос, объявлял себя знатоком стезей, по которым будто бы надлежит идти отечеству. И как же он фыркал, этот кадык, как презрительно оттопыривал губы, когда при нем упоминали о вчерашнем его усердии, об азбуке, которую он, казалось, так затвердил, о том, что есть на свете истина, которую можно попирать ногами, но нельзя погасить.

Встречал Струков людей и не забывших «азбуки»... Иные из них покорно, как водовозные клячи, надрывались в той запряжке, которую наложила на них служба, семья, профессия, а в виде «освежения» винтили, выпивали,

сплетничали и тихо, точно подмоченный порох, шипели, когда уж слишком злорадствовал какой-нибудь кадык. Иные с усталым и брезгливым видом отворачивались от торжествующей скверны, но в то же время и от прошлого и, смотря по темпераменту, либо предавались науке, «которую воспел Назон», либо занимались искусствами, спортом, хозяйством. Иные наконец с усердием налетали на воздержание, вникали в метафизику, пытались иногда пахать... Все были бессильны и бесполезны.

На лето приезжала молодежь из университетских городов. В противоположность некоторым утверждениям Струков находил в ней много хорошего, — много даже лучшего, против прежней. Однако как ее было мало и из какой невлиятельной среды она происходила! На весь уезд из потомственных дворян, да и то из захудалых, было только два студента, остальные шесть-семь человек принадлежали к разночинцам. Очевидно, этой молодой поросли так же не предвиделось места, как и той, что в большинстве была затоптана скотом или заглушена чертополохом, потому что воистину оказывались правы восставшие мертвецы, что наука ни к чему, а надо лишь повиноваться... Кому повиноваться? Конечно, тем, которые без наук все науки постигли.

И отовсюду, точно осенний туман, подымалась убийственная, вопиющая, дремучая скука.

Всего курьезнее, что и торжествующим было скучно. Вдосталь налаявшись в каком-нибудь публичном месте на «пресловутые четверть века» и насмердевши проектами, где не разберешь, чего больше: армейской наглости или младенческого невежества, они возвращались в свои берлоги с таким ощущением, как будто объелись кислого, и лениво вращали мозгами, обдумывая, за что бы приняться. Но за что? В винт? Не всегда есть партнеры; с борзыми собаками? Давно исчезли борзые собаки; за хозяйство? Имеется отставной унтер-офицер из числа постигших все науки, да и все равно пойдет с молотка, коли не выйдет новой отсрочки лет на сто... Эх, шельмовство, в столицы, в Париж бы удрать, к подобострастным союзникам, в какой нибудь этакий Moulin Rouge! Да поди-ка, удери, когда старые реформы ограбили и разорили благородного человека, а новые все еще недостаточны, чтобы восстановить его в полной красе... Ах, какая тоска!

Народ! Вот еще слово, к которому Струков с юности

привык обращаться в часы уныния и малодушной тоски. Еще на гимназической скамье статьи Добролюбова о повестях Марко Вовчка зажигали его сердце, и какие он давал клятвы любить народ, служить ему, болеть его горем, радоваться успехами. С течением времени многое в его взглядах подверглось колебаниям, иное и совсем изменилось, лишь обаяние народа не исчезло. Что такое было в этом обаянии? Потребность ли веры? Потребность ли жертвы, любви, почвы под ногами? Или влекущая к себе таинственность, что-то неизвестное, какая-то даль и ширь, что зовет и дразнит возможностями, намеками, проблесками?.. Кто знает, но во всяком случае здесь не было и тени настоящего, этнографического народа. Мужики Слепцова и Николая Успенского признавались — конечно, как не отрицался и тот живой мужик, с которым изредка приходилось встречаться в действительности. Известно было и то, что этот живой мужик куда как предательски поступал с самоотверженными людьми, приходившими к нему на службу... Все равно! Важность была не в грубой действительности, а в ее предполагаемом содержании, в ее разумной красоте, случайно облеченной в заскорузлую, историческую скорлупу,— в том, «что сквозит и тайно светит в наготе ее смиренной»,— как сказал Тютчев. Это было своего рода «мессианство», может быть, и несостоятельное, если его рассматривать как практическую политику, но дававшее цель великодушным стремлением, смысл — мечтам, утешение — жертвам.

И вот Алексей Васильевич всматривался в своего загадочного незнакомца. Конечно, он понимал, что в качестве помещика, да еще судьи, возможно наблюдать только с берега. Немного помогло в этом отношении и то, что Наташа сближалась с крестьянами легче и проще, нежели он... Но и то, что было видно с берега, поразило его в самое сердце. Правда, в содержании «скорлупы» он не разуверился, отнюдь не пришел к тому самоубийственному выводу, что там один лишь «гнилой орех». Межуевская школа слишком доказала, что не «гнилой»; но он совершенно лишился уверенности, что здоровое ядро уцелеет, ибо грозные признаки разложения били в глаза, а противодействия им не было ниоткуда. И особенно страшны были два признака: имущественное разорение,— из года в год возрастающий дефицит в крестьянском бюджете, погашаемый сокращением потребностей,— а отсюда физическое вырождение типа

и какая-то душевная дряблость, нескладица, растерянность,— то самое, что, вероятно, было в смутное время на Руси, когда старый идеал порядка исчез, а новый еще не являлся на смену. Положим, так и сам Струков читал и слышал, будто бы происходит рост сознательности, какое-то движение религиозной мысли, какие-то светлые почины в борьбе с оскудевающей природой («Клевер сеют!», «Агрономов слушаются!», «Плужки и сортировки покупают!») и что будто бы земская школа в свою очередь сделала много хорошего. Но, во-первых, он этого не видел, а во-вторых, он этому не верил, хотя и признавал, что там и сям могли быть исключения... до первого наезда г. Зудотешина.

Он этому потому еще не верил, что на досуге подсчитал, сколько бы потребовало денег одно Межуево, чтобы получить настоящие, а не поддельные способы для «роста сознательности», для «борьбы с природой», для того, чтобы не вырождаться. Цифра, помноженная на одну только Европейскую Россию, равнялась бюджету военного министерства... Что-то было не слышно о таких ассигновках. Но что же делать? Что же делать?

И мало-помалу он привыкал не додумывать, скользить по поверхности, судить о вещах, как судит порядочная газета, то есть благонамеренно и честно, но ввиду «независящих обстоятельств» скучно и с обиняками. А мглистая туча мелочей, обывательских привычек, прозы все надвигалась да надвигалась на него, застилая горизонты и перспективы. Он, например, отлично видел, что в замене Олимпия практикантом из саратовской школы, в устройстве дешевой лавки, в складах земледельческих орудий, в перелыгинских деньгах, раздаваемых взаймы, в том наконец, что при первых выборах он, благодаря крестьянским голосам, прошел в гласные,— что во всем этом мало толку. Он отлично видел, что крестьянам не на чем подражать практиканту, не на что покупать в дешевой лавке, нечем отдавать взятые взаймы деньги, а в земстве та же стихийная светобоязнь и фраза, как и везде, и что для того, чтобы все изменилось, требуются временные перемены, в том числе и в образе его собственной жизни. Но тем не менее подробности этих дел, хлопоты, заботы, речи в земском собрании, самолюбивое ощущение власти и инициативы и, главное — то, что в «порядочном» обществе принято думать, будто бы эти дела очень хороши и очень полезны даже по одному заглавию,— все это понемногу успокаивало

Струкова, вносило в его душу сначала притворное, а потом и настоящее равновесие.

Такое же равновесие появилось и в его чувстве к Наташе. Оно не уменьшилось, это чувство, но незаметно утратило свою поэтическую окраску, свой характер новизны и мятежной влюбленности, превратилось в глубокую, спокойную привычку. Редко-редко в его душу закрадывалось прежнее беспокойство... То в лице жены замечал он что-то неуловимое, следы какого-то тоскливого и одинокого душевного процесса; то в ее словах чудилась ему какая-то враждебная холодность, как некогда в Париже; то наступала полоса мелочной раздражительности, пустяков, упреков, чего-то похожего на физическое отвращение друг к другу, и ему становилось скверно и до слез делалось жаль самого себя... Но, во-первых, недосуг было раздумывать о таких тонкостях, и он обыкновенно мирился на том, что значит и брак «не храм, а мастерская», как сказал Базаров о природе, а во-вторых,— это когда было особенно скверно,— он вспоминал стихи Некрасова: «Кто виноват – у судьбы не допросишься, да и не все ли равно?»

Так шли годы.

VI

— Может, оттого мне и вера не дается, что я, ежели не считать Ла-Манша, зыби морской не видывал,— сказал однажды Петр Евсеич с обычным своим смешком.

— При чем же тут зыбь? — спросил Струков.

— «Кто в море не бывал, тот богу не маливался»,- говорит пословица.

— А, вот вы о какой вере! — насмешливо протянул Алексей Васильевич и, засвистав, вышел из комнаты.

— Нет, Петр Евсеич, не так,— сказала Наташа,— тот не маливался, кто не отчаивался за жизнь своего ребенка.

Старик хотел возразить веселеньким кощунством, но взглянул на серьезное лицо дочери и только пробормотал вполголоса:

— Окончательно выше моего понимания!

Такой разговор случился года четыре спустя после рождения Петруся. В эти годы у Наташи еще родился мальчик — его назвали в честь отца Алексеем,— и как-то сделалось так, что она значительно остыла к деревне, к крестья-

нам, к общественной деятельности мужа. Постоянный страх за детей, какая-то мучительная любовь к ним все заслонила в ее глазах. Она вечно тревожилась, вечно подозревала заразу, и теперь в застольной жаловались на ее «огневый характер» далеко не с прежним добродушием. Увольнялась кухарка за то, что у нее вдруг захрипел голос; рассчитывалась нянюшка — обнаружилась какая-то сыпь на руке; отсылался домой подпасок, потому что заболело горло, кучер — потому что ходит из Излегóщей жена и может занести свирепствовавшие там бациллы. Правда, всем этим жертвам преувеличенной подозрительности выдавались щедрые награды, тем не менее Наташа быстро приобретала репутацию «шальной барыни». Теперь деревенский народ не только не принимался в доме и не сажался за один стол, но даже когда появлялся в усадьбе, возбуждал беспокойство Наташи. Алексей Васильевич, возвращаясь из камеры, должен был менять платье и мыться, точно доктор после визитов к заразным больным. Письмоводитель почти не допускался на глаза,— он вместе с агрономом и с Олимпием, переименованным в ключники, жил в особом флигеле... И именно этот письмоводитель, обозленный таким отчуждением, аккуратно доносил Наташе, что в Межуеве корь, в Излегóщах скарлатина и там-то дифтерит, дизентерия, оспа и дети мрут как мухи, а потом распускал слух, что Струкова помешалась на бактериях и микробах и что ее вот-вот повезут лечить в Париж, к Шарко. Иногда Наташа и сама сознавала, что это похоже на сумасшествие, и пыталась уйти во что-нибудь постороннее, ходила на судебные разбирательства в камеру, посещала земское собрание, бралась за серьезную книгу,— однажды совершила даже подвиг: съездила с мужем в его Куриловку, а оттуда в Москву, причем Петр Евсеич провожал их до Х... Однако оттого ли, что она не находила в этом удовлетворения и все ей казалось самодовлеющим толчением воды,— особенно московские просвещенные разговоры, театры, выставки и концерты,— или просто оттого, что не могла справиться с обостренным инстинктом материнства, но в конце концов интересы детской, страхи, подозрительность овладевали ею с новой силой. И опять появлялся на сцену ненавистный Алексею Васильевичу В. Жук, а какой-нибудь только что полученный «Сорель» оставался раскрытым на десятой странице; и опять возникала бесконечная возня с детьми — с их «животиками», «зубками», «развитием», взвешива-

нием через каждую неделю, гигиеническим кормлением, купаньем, похожим на священнодействие, со внесением их лепета и всех других «психологических и физиологических» данных в особый дневник; опять на хуторе устанавливался беспощадный карантин и новая няня, лучше других умевшая подладиться к барыне, неукоснительно докладывала, какие болезни ходят в окрестности и о подозрительных происшествиях на хуторе.

Зимний вечер. Самовар уже давно стоит на столе и сначала шумел, потом затих. Алексей Васильевич перелистывает новую книжку по политической экономии, дожидается чаю, нетерпеливо прислушивается. Из детской слышен плеск воды и рев двухлетнего Алеши, слышно, как гремит ванна, слышны озабоченные голоса Наташи, няни, горничной, картавый разговор Петруся. Мало-помалу все умолкает; в дверях, в небрежно накинутом и кое-где забрызганном капоте, с раскрасневшимся лицом появляется Наташа.

— Послушай, милая, ведь эдак не мудрено и одичать,— говорит Струков, исподлобья взглядывая на жену.

— А тебе когда-то казалось счастьем, что у нас дети,— равнодушно отвечает Наташа, одною рукою наливая чай, другою развертывая книжку Жука.— И потом, отчего ты не попросил Гертруду Афанасьевну!

— Дело не в чае, но я никак не ожидал, во что обратится эта идиллия.

— Во что же?

— В застенок.

— Ну да, вы, мужчины, только и любите цветочки.

— Помилуй, матушка, это уже ягодки. У нас совершенно одиночное заключение. Слова не с кем сказать. Намедни в городе назывались Яковлевы, Стижинские и прекрасный человек — новый следователь, но я, краснея, должен был отклонить,— нельзя же заставить их переодеваться.

— Мало ли говорили на своем веку. Дел-то вот что-то не видно.

— То есть как не видно. Значит, я, по-твоему, дармоед?

— Оттого мне и хочется иначе воспитать детей, чем нас воспитывали. А до тех пор сохранить живыми и здоровыми.

— Ну да, значит — я дармоед! Что же ты скажешь, когда я подам в отставку и перестану получать жалованье? А я на днях подам.

— Отлично сделаешь.

— Оттого, что будет меньше риска насчет заразы?

— Нет, оттого, что тебе самому противно. ты это давно говорил.

– Но тогда я буду уж совсем жить на твой счет: Куриловка ведь дает гроши.

— Ах, создатель мой, а еще марксистом себя называешь! Я-то на чей счет живу?

В таком случае, какое же у тебя оправдание? Как ты расходуешь эти чужие средства?

— Ты ведь их расходуешь. Твоя лавка, твой склад, твои ссуды...

- А! Значит ты оправдываешь себя тем, что откупаешься деньгами? Без труда? Без личного участия?

— Ничем я не оправдываюсь. Давай от всего откажемся, если хочешь, я согласна.

— Это, конечно, легче всего! Но на какие же деньги нанимать нянек, прачек, горничных, устраивать строгую изоляцию, содержать весь этот гигиенический институт и карантин для нашего потомства? Вспомни, у Лельки зубы прорезались, три раза выписывался доктор из Самары, итого двести двадцать пять рублей... Годовой бюджет хорошего крестьянского двора!

- Хорошо, это мой грех! — вспыхнув, ответила Наташа.— А ты?.. Зачем мы держим коляску, лошадей, кучера, выписываем вино, сигары, закуски? Сколько стоит каждая твоя поездка в город? Сколько мы проездили в Москву?

Та, та, та, не забывай, что в городе я член десяти обществ, что я вношу стипендии за двух фельдшериц...

— Откупаешься деньгами?

— Нет, ты не имеешь права так говорить. Во-первых, я сознательно даю деньги,— заметь, сознательно! — то есть интересуюсь тем, на что даю. Во-вторых, я сам, лично, что-нибудь да делаю, не ухожу в зоологию.

— Да, тебя хвалят в газетах.

— Ну, если ты хочешь во что бы то ни стало язвить – я замолчу.

— Вовсе не язвить, миленький, прости, пожалуйста. Я тоже уважаю твою деятельность, но что же делать, если не могу, как ты. Ну, замкнулась моя душа после того, как меня выгнали из школы,— что же мне делать? Я без ощущения свободы и если не вижу результатов — дура дурой.

— Свободно только вороны летают. Да и то в условиях времени и пространства. Сколько мы об этом переговорили в свое время! И ты соглашалась тогда. Но не об этом я те-

перь говорю... Отчего ты ничем не интересуешься, отчего не читаешь?

— То есть как же это ничем и ничего?

— Я говорю — кроме пеленок и тому подобного. Я говорю о журналах, о газетах, о новых книгах,— о принципиальных вопросах.

— Зачем?

— Да хотя бы затем, чтобы со временем детям передать.

— О, для этого я достаточно интересовалась, видела и читала.

— Однако в Москве, в среде действительно просвещенных людей тебе было и скучно, и неловко... за твое невежество, Наташа.

— Вот уж вздор. Скучно — да, потому что я терпеть не могу машинных разговоров, когда говорят лишь затем, что принято вертеть языком, когда сойдутся; но чтобы было неловко,— нет: тогда мне было бы неловко не знать высшей математики.

— Вот на! При чем же тут высшая математика?

— При том, что твои просвещенные люди знают только большее количество книжек и фактов. Ну, им и надо... для их специальности.

— А для твоей специальности — Жук и пеленки?

— А мне не надо, потому что я не читаю лекций, не пишу книг, не издаю журналов.

— Боже, до чего ты договорилась! Но ведь лекции слушает кто-нибудь, журналы и книги читает кто-нибудь? Для чего же, по-твоему, их слушают и читают?

— Если не для того, чтобы проводить в жизнь,— ей-богу, Алеша, не знаю для чего. По дурной привычке, я думаю.

— Ну, ладно, согласимся. Тогда и ты читай и проводи в жизнь.

Наташа с улыбкой показала на свою книгу.

— Вот видишь,— сказала она,— я так и делаю. А то, что ты читаешь сейчас, это может быть и очень занятно, но ни к чему, миленький... Проводить в жизни этого нельзя.

— Значит, бескорыстную работу мысли ты и нужной не считаешь?

— Бесплодную? Нет, не считаю нужной.

— И художественное наслаждение ни к чему?

— А это уж и вовсе без книг доступно.

— Ну, поздравляю тебя: ты на точке зрения Мокия Кифыча!

— Вот ты так действительно хочешь меня уязвить. Разве я отрицаю все это? Я только говорю, нам-то, нам-то это не нужно,— всем, которые не у дел и принуждены вариться в своем собственном соку, и бессильны, и лишние... Где-нибудь на Западе,— я не спорю. Там если горят дрова и накопляется пар, так сейчас же двигаются поршни, рычаги, колеса... А у нас — пшик и больше ничего.

— Отражение мыслей вашего почтенного папаши. Когда-то ты опровергала их.

— Не сердись, пожалуйста. Лучше перестанем говорить. Когда-то опровергала, теперь соглашаюсь, вот и все.

— Чем же, позвольте вас спросить, двигалось русское общество, если «пшик» и больше ничего?

— Неволею и... жертвами, Алеша.

— Ну, уж это для меня абракадабра!

— Как хочешь.

— Да ты хоть растолкуй, пожалуйста.

— Ах, оставь, миленький, этот свой тон, не совсем же я дура. Будь Россия без материальных сношений с Западом — без торговли, без финансовых сделок, без войны,— поверь, никуда бы она не двигалась. Книжки бы умные читали, лекции слушали, искусства насаждали, а крепостные оставались бы крепостными и шемякин суд — шемякиным судом.

— Ого! Это уже отражение моих мыслей, не Петра Евсеича!

— Все равно. Я хочу только сказать, что там горнило,— не у нас; что у нас жизнь определяется пока стихийными, грубыми, механическими интересами; что сила сознания у нас еще ничто... Одним словом — нам остается только дожидаться. Этим и занималась российская интеллигенция со времен Екатерины. Этим же занимаемся и мы.

— А в ожидании что надо, по-твоему, делать?

— Воспитывать как следует детей.

— И больше ничего?

— Учиться жертвовать.

— Чем же это, позволь тебя спросить?

— Всем, Алеша. Положением, состоянием, привычками, личным счастьем... жизнью наконец.

— Но этому и учит образование и литература. Ты их отвергаешь.

— Этому учит Христос и наша человеческая природа.

— Ну, ты, кажется, с усердием прочитала литографи-

ческие тетрадки, что мы привезли с собою из Москвы...

— Да, я их прочитала... Но, миленький мой, чему до сих пор научило нас наше образование? Чем мы с тобой пожертвовали? Как воспитываем нашу волю? Ты скажешь о грошовой помощи, о культурных затеях... Но это лишь развлечение, отвод глаз, как говорит отец. На нас цыкнули, и мы торопливо спрятались, цыкнут еще — спрячемся глубже в нашу комфортабельную нору... Пусть так, и я никуда не гожусь, но я гожусь быть матерью... Зачем же ты вечно иронизируешь надо мной? Я согласна — я слишком люблю детей... может быть, и действительно до безумия. Но, создатель мой, что же у меня остается? Ты укажешь на Яковлевых, на Стишинских... Хорошие они люди, но пойми, я-то не могу так. Скажи ты мне броситься в огонь — я пойду; но идти где чадят гнилушки, где ежели и вспыхнет огонек, так его сейчас же зальют те самые, которые зажгли, и зальют не дожидаясь казенной команды, о, какая тоска!

— Ну да, конечно... либо героизм, либо пеленки...— пробормотал Алексей Васильевич и с глубоким вздохом взялся за книгу...

В сущности, его подмывало еще поспорить с женою и, главное,— доказать, что он вовсе не развлекается своей деятельностью, а смотрит на нее как на осуществление долга, но голос Наташи начинал вздрагивать от подступающих слез, над ее левой бровью что-то нервически трепетало — признак нехороший с некоторых пор,— и Алексей Васильевич предпочел притвориться, что очень занят книгой. А когда Наташа немного погодя ушла, в свою очередь, удалился во флигель играть с практикантом в шахматы и слушать великолепные с аттической солью анекдоты письмоводителя.

Время Струкова располагалось довольно однообразно. Особенно зимою. Два раза в неделю он судил. По вечерам толковал с агрономом и Олимпием о текущих делах фермы, лавки, склада. Иногда выслушивал и по возможности удовлетворял просьбы крестьян о ссудах... По правде сказать, удовлетворял с возраставшим неудовольствием. Напрасно он добивался, чтобы деревня смотрела на усадьбу, как смотрят деловые люди на кредитное учреждение, а на него как на кассира; мужики упорно смотрели на усадьбу, как на богадельню, на него — как на «доброго барина», на ссуды — как на «милость», и выпрашивали их с низкими

поклонами, с притворными вздохами, с страдальческими лицами, даже с коленопреклонением и слезами. Отказывать Струков не мог; не умел также входить в хозяйственное положение просителей, невольно полагаясь в этом на агронома, на Олимпия, на кучера Илью, на скотника Ивана, и внутренне бесился на себя: за то, что «принципы» мешали ему быть построже и поскупее, на мужиков — за их лганье и лицемерное раболепство, за то, что они не понимают разницы между кредитом и милостыней и склонны предпочитать последнюю. Нельзя было утешаться даже тем, что это в них говорит пренебрежение к собственности, не основанной на «трудовом начале»: в той же деревне считалось нормальным, что Юнусов дерет за ссуды сто и более процентов, и Юнусову платили — хлебом, работой, деньгами, а «доброму барину» либо ничего не платили, либо с великими затяжками и лукавством. Правда, Юнусов реял как ястреб над своими должниками, знал до последней ниточки их хозяйственные и психологические ресурсы; Алексей же Васильевич ничего этого не знал, а руководился случайными сведениями, нервами и теорией целесообразности; но оттого, что он понимал жизнеспособность юнусовского разбоя и чувствовал искусственность своих отношений к деревне, ему становилось еще досаднее. Впрочем, он хранил это про себя, и глубоко, и, конечно, искренне бы возмутился, если бы кто-нибудь громко выговорил его же тайную мысль о деревенской его деятельности... Но никто не выговаривал; для всех было очевидно, что дешевый кредит — благо и самое лучшее средство в борьбе с кулачеством и что «известный земец Струков» доказал это блистательно в какие-нибудь три-четыре года.

Раз в месяц Алексей Васильевич ездил по службе в уездный город, а оттуда обыкновенно в губернский, где «освежал» себя театром, заседаниями в разных обществах, разговорами о принципах и о последних политических и литературных новостях,— где завелось у него знакомство с местной интеллигенцией, где хлопали его речам на земском собрании и восхищались его деятельностью, и отбирали от него авторитетные свидетельства о деревне, и писали о нем корреспонденции — ругательные в консервативных газетах, хвалебные в либеральных. Затем остальное время, на хуторе, уходило у него на сон, на еду,— кухарка у Струковых была ради частых посещений Петра Евсеича превосходная,— на чтение, на игру в шахматы, на музыку

с помощью механического тапера, на особое наслаждение от рассказов письмоводителя и просто на пищеварение с хорошей сигарою в зубах. Прогулки по окрестностям теперь не совершались даже и летом, исключая тех, что предпринимала Наташа для здоровья и развлечения детей и в которых Струков участвовал скучая. Увы, он не испытывал больше поэтических впечатлений от окрестностей... Леса, поля, степи, могущественный разлив Волги, музыкальный рокот ручья в овраге, вечерний звон, разносящийся с желтой излего́щинской колокольни,— все это сделалось слишком привычным для него, а он был из таких любителей природы, которым надо что-нибудь особенное, редкое, бросающееся в глаза новизною или чрезвычайностью; к тому же эстетическое чувство вспыхивало и погасало в нем пароксизмами, в зависимости от настроения, от бессознательного кипения крови, от мыслей, слагавшихся в голове. Как это ни странно, но ему, например, отравляло окрестную природу и то обстоятельство, что леса, видные на горизонте, принадлежали жестокому купцу Ржанову, что поля и степи — Шехобалова, Кульнева, Юнусова, что красивые издали крестьянские нивы — это те самые, на которых хлеб с каждым годом хуже и сорнее, несмотря на пример образцовой фермы, что наконец в тени стройной излего́щинской колокольни безнаказанно совершает зловредный путь свой о. Дамиан Крестовоздвиженский... Но самое главное опять-таки было в том, что обесцветилась любовь его к жене, исчезло лирическое воодушевление, поникли крылья замыслов и мечтаний, а кипящая по временам кровь погашалась на законном основании и без всяких иллюзий.

Несмотря на все предосторожности, над домом Струковых нависла беда: старший мальчик заболел скарлатиной. Случилось это ранней весною, в самое половодье, когда послать за доктором не было никакой возможности. И потянулись для Наташи мучительные дни и поистине бесконечные ночи у постели разметавшегося в жару Петруся. Алексей Васильевич как-то не верил в опасность болезни и сначала злился на жену, потом страдал за нее невыносимо. С таким выражением, точно была в лунатизме, нечесаная, в измятом капоте, она входила в его комнату, прилегала на диван... но через полчаса вскакивала и, не обращая ни малейшего внимания на его мольбы, опять уходила к больному. В глухую полночь Алексей Васильевич беззвуч-

но отворял детскую и смотрел, не смея войти, не решаясь вымолвить слова. Наташа сидела у кроватки как изваяние с своими тонкими руками, бессильно брошенными на колени, с зеленовато-бледным лицом, с безумно блестящим взглядом, устремленным на потемневший лик Спаса старинного строгановского письма... А кругом было так страшно тихо, тускло мерцала свеча, заслоненная абажуром, однообразно стучали часы... и уторопленное дыхание доносилось из кроватки.

Зато после этих ужасных ночей и почти истерической радости, когда опасность миновала, Наташа сама слегла недели на две, а когда поднялась, стала относиться к детям гораздо спокойнее — на посторонний взгляд охладела к ним, — даже не сейчас рассчитала няню, изобличенную в том, что во время говенья она останавливалась в зараженном доме излегóщинской просвирни и скрыла это от барыни. К тому же другие опасения овладели Наташей: начал подозрительно прихварывать Петр Евсеич. Еще до того в нем можно было заметить перемену. Мало-помалу он забросил свои коллекции, свиной завод, лошадей, фотографический аппарат, вывезенный из-за границы. Завел было рациональное пчеловодство, потом токарный станок. Последнее лето пристрастился к архитектуре и стал перестраивать Апраксино, причем, где только мог, нарушал отчего-то опостылевшую ему симметрию. А тем временем желтел, худел, жаловался на боли «под ложечкой», чаще задумывался и раздражался, яснее обнаруживал затаенную неприязнь к Алексею Васильевичу и какую-то жалостливую нежность к дочери.

Наташа обратила на все это внимание и страшно обеспокоилась, когда Петр Евсеич вдруг заявил ей, что хочет писать завещание. Положим, вскоре ей показалось, что и завещание — одна из забав... Петр Евсеич с необыкновенным увлечением приступал к этому делу. Рылся в законах, составлял инвентари и каталоги, советовался с юристами, — кроме Струкова, — беспрестанно присылал на хутор за Наташей, писал и переписывал документ. То он хотел продать Апраксино и деньги разослать в высшие учебные заведения для стипендий, а особый капитал в бумагах передать дочери. То — наоборот — дочери и внукам оставить Апраксино, капитал же «поворотить» на стипендии. А временами решал, что стипендий совсем не надо — «не для чего разводить чиновников!» — и набрасывал в проекте та-

кие пункты, что приглашенный адвокат помирал со смеху, восклицая: «Незаконно, батюшка Петр Евсеич, ей-же-ей незаконно! Наверное не утвердят, да еще заподозрят в вас тово...» — и он постукивал себя по лбу. В одном из таких пунктов назначалось двадцать пять тысяч общине молодых людей, которые согласились бы поселиться в Америке и пренебрегли бы институтами брака, суда и личной собственности; в другом — поручалось Российской академии наук увенчать в 1925 году десятитысячной с процентами премией наилучшее доказательство тщеты бессмертия и одновременно наилучшее сочинение о «восстановлении благодати в вероисповеданиях, отвергающих священство»; в третьем пункте на особые деньги устанавливалось какое-то странное и темное общество «высокомеров»,— завещатель, впрочем, обещал оставить подробный устав, в котором требовалось бы от членов общества неограниченная свобода действий, чувствований и помышлений, «невзирая на предрассудки и лишь бы не причинять страданий ближнему»... Но помимо таких фантастических назначений беспрестанно возникали и тоже решались разнообразные вопросы о коллекциях, о библиотеке, о награждении служащих, о доме в Х., из которого предполагалось устроить то аудиторию для народных чтений, то богадельню для старообрядцев Спасова согласия.

Во время всей этой суеты Струков испытывал отвратительнейшее состояние духа. Его оскорбляло, что старик ни разу не посоветовался с ним, что жена и дети будут так непомерно богаты, а он, отказавшись от должности судьи, мог вносить в семейный бюджет только гроши с Куриловки, что наконец Петр Евсеич решительно отказывался подарить часть земли апраксинским крестьянам, хотя по настоянию Струкова Наташа и говорила ему об этом.

— Как же ты не втолкуешь папеньке, что это почти воровство? — с раздражением говорил Алексей Васильевич жене.

— Он сказал — если оставить крестьянам, земля все равно очутится у кулаков либо будет систематически пропиваться, как теперь пропиваются отрезки,— отвечала Наташа с наружным спокойствием, но с нервной дрожью над бровью.

— Это вздор, положим. Но тогда пусть обеспечит школу, ссудосберегательное товарищество... мало ли что!

— К школе, говорит, немедленно присосется какой-нибудь отец Демьян, к товариществу — Юнусов с братией.

— Земству можно завещать.

— Ты знаешь, как он смотрит на земство. Я говорила. Он ответил: «Полезное возможно совершать не голыми деньгами, а в соединении с живой и свободной силой». Такой силы ни у крестьян, ни у земства не видит.

— Ну, конечно, лучше отдать дочке и внукам! Однако не боится оставить голые деньги или — все равно — дом... раскольникам?

— Там эта сила есть. Впрочем, прошу тебя, оставим. Ты сердишься...

— Прежде тебе нравилось, когда я сердился. Я ведь из памятливых, не забуду разговора в Кью-Гардене...

— Не так, Алексей Васильевич, ты не так сердился прежде. И мало ли что нравилось... А главное — мне ужасно больно предполагать близкую смерть отца. И ты знаешь это.

И они расходились,— Струков еще более оскорбленный, Наташа — с возрастающей тоскою в душе, с сомнениями в том, одна ли только забава это завещание.

— Послушай, Петр Евсеич,— сказала она отцу на другой день в Апраксине,— я знаю, ты не веришь в медицину, но прошу тебя, пригласи доктора.

— Не московского ли волхва-с? — шутливо ответил старик.— Так он сдерет тысячи три, да еще натопает на меня. Эх, Наташечка, сбили тебя с толку твои ребятишки!.. И какая ты сделалась плакса... (У Наташи действительно выступили слезы.) Ну помру, ну зароют, ну лопух вырастет,— что же из того? Окончательно выше моего понимания! Да я и не болен, спроси у горничной Поликсены... ги, ги, ги!

— Но как же не болен? Желтеешь, похудел...

— Матушка моя, шестьдесят скоро стукнет. Барабан и тот изнашивается, как же не износиться моей шкуре...— И вдруг неожиданная мысль пришла ему в голову.— Вот оказия! — воскликнул он с озабоченным видом.— У меня есть пункт насчет потрошения, чтоб зарыли живьем — никак не желаю... Как ты думаешь, законно будет упоместить, чтоб в кожу переплели Гельвециеву «Систем де ла натюр», ась?

— В какую кожу? — широко раскрывая глаза, спросила Наташа.

— Да в мою же, в мою,— с досадой на непонимание дочери ответил Петр Евсеич и добавил с комическим отчаянием: — Нет-нет, не дозволят. Я уж знаю, что не дозволят. На все запрет, на все-с!..

Прежде Наташа расхохоталась бы на такую выходку, но теперь она заплакала навзрыд. Петр Евсеич растерялся. Он бросился к графину с водой, уронил и разбил стакан, потом схватил руки Наташи и стал целовать их, бормоча: «Окончательно выше понимания!.. Окончательно испортилась замужем!.. У нас и в роду никто не плакивал!..» — и вдруг закричал сердито:

— Поликсена! Поликсена! — и, всхлипывая, убежал в другую комнату.

С этих пор он совершенно перестал говорить о завещании, а для развлечения начал строить при въезде в усадьбу какую-то хитрую арку, на которой в один прекрасный день появилась крупная надпись: Memento quia pulvis est[1].

— Откуда это? — с насмешливой улыбкой спросил Струков, как-то приехавший с женою в Апраксино.

— А католические попы пеплом лбы мажут-с, в первый день ихнего поста-с, и провозглашают эти слова-с,— серьезно объяснил Петр Евсеич.

— Mercredi des cendres[2] называется этот день,— подхватила Наташа, страдая от улыбки мужа.— Но зачем же на воротах-то, да еще по-латыни? Затейник ты мой!

— Для гостей-с, для образованных людей, Наташечка... Ги, ги, ги! Они-то ведь и не чают, что пойдут на замазку... Я-ста, да мы-ста! (Он покосился на зятя.)

— Образованные люди и по-русски умеют,— ответил тот.

— По-русски умеют и простецы-с,— возразил Перелыгин, начиная раздражаться,— а им эти слова читать не для чего-с, они и без того эти слова помнят-с — земля есть и в землю отъидоша. Пускай уж лучше прочтут образованные-с, по-латыни-с.

Алексей Васильевич пожал плечами и отошел. Решительно ему становилось все тяжелее в присутствии Перелыгина.

К полной неожиданности Струковых доктор был приглашен, и даже не на один визит, а постоянный, с обяза-

---

[1] Помни: все становится пылью *(лат.)*.
[2] Первый день поста *(франц.)*.

тельством жить в Апраксине. Случилось это так. Ни слова не говоря о завещании, Петр Евсеич продолжал втихомолку заниматься им, и в июне поехал в Х. совещаться о богадельне, причем отклонил предложение дочери сопровождать его. На этот раз Наташа и не особенно беспокоилась: за весну отец очень посвежел и путешествие по Волге на пароходе могло быть ему только полезно. Вдруг недели через две к крыльцу струковского дома подкатила коляска, из которой вышел точно помолодевший Петр Евсеич, а за ним незнакомый человек в каком-то неопределенного цвета балахоне, в самодельном шерстяном колпачке, сдвинутом на затылок, в высоких сапогах. Петр Евсеич, с необыкновенным удовольствием и лукавством хихикая, назвал его Григорьем Петровичем Бучневым и рассказал, что познакомились они по дороге в Х. и вот господин Бучнев согласился быть его годовым врачом. Без балахона и колпачка доктор оказался сильно и широко сложенным, средних лет мужчиной, с большой, коротко остриженной головою, с тонкими, породистыми и холодными чертами лица, с проницательным, но таким же, как и выражение лица, холодным взглядом, в котором иногда зажигался острый и, по мнению Струкова, неприятный, гипнотизирующий огонек. Он был очень молчалив, а когда говорил, то резко, отрывистыми фразами, и редко смеялся; в последнем случае лицо его превращалось до неузнаваемости,— Алексей Васильевич уверял, что оно становилось похожим на лицо идиота, Наташа находила в нем что-то ребяческое и простодушное. Как бы то ни было, чувствовалось скрытое очарование силы в этом человеке, и когда он уехал, пробывши на хуторе часа четыре, Наташа и Струков в один голос сказали, что это странный, своеобразный, тяжело действующий на нервы господин, но, должно быть, интересный. Петр Евсеич, очевидно, успел в него влюбиться. Прямо с приезда он увлек Наташу в отдаленную комнату и, захлебываясь от наслаждения, рассказал ей подробности своего знакомства с доктором. Оказалось, Бучнев пленил старика язвительными нападками на медицину, откровенным повествованием о своей карьере, и еще тем, что очень интересовался сектантством,— но, главное, как поняла Наташа, пленил вот этой своей силой и, что Петр Евсеич чрезвычайно ценил, умственным и физическим бесстрашием. «Бывалый человек,— шепотом восклицал Петр Евсеич,— бунтовой!.. В жизнь свою впервой встречаю такого человека!» Когда-то

имя его было замешано в самых дерзких предприятиях. После он много лет жил за Уралом; возвратившись оттуда, ездил за границу, где, впрочем, и прежде бывал, даже в Америке. Знакомство с Перелыгиным застало его в самый неопределенный момент: он пробирался к родне, куда-то на Кубань, хотел заняться операциями в какой-то станице. По специальности он был хирург.

В тот же день вечером как будто в связи с новым знакомством в жизни Струковых произошли разные события, о которых впоследствии Алексей Васильевич не мог вспомнить без суеверного ужаса.

Уложив детей спать, Наташа вышла на балкон и долго думала. И вдруг с удивлением заметила за собою, что то и дело возвращается мыслями к доктору, что ей отчего-то становится все неприятней и тяжелей его присутствие около отца. И, странная вещь, воображая лицо Бучнева, она могла только вспомнить его глаза, и не цвет их, а пристальное, хотя в то же время и безучастное выражение с редкими проблесками того огня, что Алексей Васильевич назвал гипнотизирующим; все остальное расплывалось перед нею в каком-то тумане.

Но мало-помалу она принудила себя не думать об этом, даже тряхнула головой и рассмеялась, и, прошептав: «Как хороша ночь!» — стала смотреть и слушать, облокотившись на перила. Ночь действительно была хороша: теплая, насыщенная ароматом подкошенной травы, с каким-то трепетным содроганием, от времени до времени волнующим неподвижный воздух, с повсюду разлитой негою томления и любви. Наташа знала, что так бывает перед грозою, и ее ослабленные после болезни нервы испытывали такое впечатление, как будто она слушала удивительную музыку, скрытую в отдалении. Зарница блистала где-то над степью. В хлебах гремели перепела; запоздавший соловей робко выводил свои трели в непроницаемой темноте дубовой рощи; протяжная песня звучала за деревней; едва слышно рокотал ручей в овраге; в черном небе загадочно сияли звезды.

И чем дольше сидела Наташа, тем страннее и прекрасней становилась ночь. Отовсюду веяло необъяснимым,— и необъяснимая тревога закрадывалась в сердце Наташи. Ей было больно и жутко, и хотелось плакать — и хотелось, чтоб без конца тянулась эта ночь, без конца совершалось превращение зарницы, звезд, запахов, таинственных очер-

таний в звуки, разрывающие душу сладким и страшным предчувствием беды.

— Что ты не спишь? — неожиданно раздался недовольный голос Струкова.

Наташа вскрикнула, торопливо провела рукою по щекам — они были все в слезах,— и вдруг бросилась к мужу и крепко обняла его.

— Что с тобой? О чем ты плачешь? — спросил он с беспокойством.

— Ничего, ничего, миленький... Это я так... Это пустяки... Садись сюда. Обними меня. Мне что-то холодно, страшно...

— Опять твои нервы! Когда ты серьезно примешься за лечение? Вот поговорила бы с доктором.

— Да, да, конечно... Непременно поговорю. Но обними же меня, Алеша!

— Вот какая ты... Целые месяцы не приходишь, и вдруг...

— Молчи!.. Не смей этого говорить! — болезненным голосом вскрикнула Наташа и быстро отодвинулась. Струкову показалось во мраке, что она сделала отчаянное движение своими по локоть обнаженными руками, но сердце его оставалось холодно, может быть, потому, что он и сам был в каком-то чрезвычайном настроении. Минут пять продолжалось молчание.

— Будет дождь,— вымолвил Алексей Васильевич.

— Да, вероятно,— отозвалась Наташа, к его удивлению, почти спокойным голосом.

Опять помолчали. Струков нетерпеливо барабанил пальцами по балясине.

— Какая ночь,— сказал он.

— Очень теплая,— совсем уже спокойно ответила Наташа и потом добавила деловым тоном: — Ты завтра не думаешь съездить в Апраксино?

— Нет, не думаю. Зачем это?

— Тогда я поеду одна. Необходимо поговорить с этим Бучневым о болезни отца... Как, по-твоему, действительно он будет полезен отцу?

— Ну, не знаю.

— Интересный-то он интересный, но я чего-то боюсь. И как странно — медик и вдруг, отец говорит, ругает медицину.

— Это у них в моде теперь.

А тебе не показалось, что он может быть авантюристом? И из опасных?

Струков засмеялся.

— Немножко сумасшедший, это так,— сказал он и прибавил насмешливо: — Но ведь вы с Петром Евсеичем любите оригинальность... На ловца и зверь бежит.

— Мне ужасно неприятно,— задумчиво произнесла Наташа.

— А сама говоришь — смеется как ребенок?

— Ужасно, ужасно,— тихо повторила она, не обращая внимания на слова мужа, и, легонько вздохнув, сказала: — Ну, прощай, пойду спать.

Алексей Васильевич встрепенулся. На мгновение неудержимая радость наполнила его душу, но вслед за тем что-то ущипнуло его до физической боли, до слез, до потрясающего озноба...

- Послушай,— выговорил он изменившимся голосом, удерживая жену за руку,— может, ты пойдешь ко мне, дорогая?.. Мне так много надо тебе сказать... так много... Ах, как я виноват... какой я скот, если б ты знала...

Наташа в недоумении ,повернулась к нему. Но вдруг ей пришла в голову мысль о внезапно вспыхнувшей грубой страсти, о том, что это от нее так отвратительно дрожит рука Алексея Васильевича, трясется и хрипит его голос, произносящий мерзкие, недостойные мужчины слова. «А когда я молила тихой, дружеской ласки, ты обдал меня холодом!» — воскликнула она про себя и, с негодованием выдернув руку, сказала: «Что за нежности!» — и скрылась в дверях.

Струков остался один. Несколько минут он молчал, низко понурив голову... Потом горько усмехнулся, прошептал: «Значит — судьба!» — и поплелся в рощу. И вскоре из-за рощи, через степь, от оврага донесся до него тонкий, длительный звук. Он выпрямился сдерживая дыхание, насторожился... «А-у-у-у!» — зазвенело от оврага каким-то тоскующим призывом. И снова восторженная, придающая крылья радость овладела Струковым. Он бросился было бежать, торопливо раздвигая кусты, но через несколько шагов что-то опять кольнуло его в сердце и ноги отяжелели... «Подлец ты, Алексей Васильевич!» — сказал он раздельно и громко. В это время в третий раз зазвенело от оврага; затем все смолкло, только дальше и дальше по направлению к степи шелестел кустарник, раздвигаемый не-

терпеливой рукою, да перекликались перепела, да вдали жалобно замирала деревенская песня.

VII

На другой день, приехавши в Апраксино, Наташа хотела тотчас же переговорить с доктором о болезни отца, но это ей не удалось: старик не оставлял их вдвоем. Ходили на постройку, смотрели лошадей и свиной завод, завтракали, стали пить чай... Петр Евсеич был в чрезвычайном оживлении. Очевидно, мысли, слова, даже жесты доктора доставляли ему особое удовольствие; а то, что от этих слов и мыслей в глазах Наташи попеременно мелькали то гнев, то недоумение, приводило его в неистовый восторг. Впрочем, заметно было, что он побаивается доктора,— боится, чтобы тот не подумал, что его показывают, наводил разговор на интересные темы с великой осторожностью и с таким видом, как будто это выходило само собой. Но Наташе казалось, что доктор отлично понимает уловки отца и нисколько не придает им значения. «Или не обидчив, или очень хитер»,— подумала она,— и то и другое ей не нравилось.

— Вот я, Наташок, рассказывал им твои подвиги,— вкрадчивым голоском сказал Петр Евсеич, когда подали чай.— Они говорят — Петька Зудотешин кругом прав, а ты кругом виновата.

— Чем же это он прав, а я виновата? — спросила Наташа, окидывая недоброжелательным взглядом доктора, спокойно курившего коротенькую венскую трубочку.

— Он линию свою довел, а вы нет,— сказал доктор.

— Да, но за ним сила, а за мной что такое?

— И за вами следовало бы быть силе.

— Какой?

— Воли, я думаю.

— Они говорят, будто ты не должна была сдаваться,— вмешался Петр Евсеич, вертясь на месте от сладостного нетерпения.— Тебе сказано, не езди в школу, а ты езди; не учи, а ты учи; не читай с волшебным фонарем, а ты читай... Ги, ги, ги!

— Но вы знаете или нет русские законы?

— Знаю.

— Меня уволили из попечительниц.

— Это их дело. А не обращать внимания — это ваше дело.

— Они говорят, в своем бы доме тебе собирать ребятишек! — захлебываясь, воскликнул Петр Евсеич. — И учить-с... и читать-с... и картинки показывать-с!.. А ежели за это острог,— отсидела и опять, и опять за то же самое!.. А ежели в другое место ушлют — и там за то же самое-с... Вот они что говорят... Ги, ги, ги!

Бучнев вынул трубку и, выбивая из нее пепел, сказал:

— Впрочем, я вообще против этого.

— Против народного образования?

— Против народного образования пароксизмами.

— Как это пароксизмами?

— Не инспектор бы захлестнул,— сама жизнь. Нельзя уединить вашу образованную деревню от тысячи необразованных.

— Значит, пускай свирепствует невежество?

— Что такое — невежество? Безграмотность? Апостолы были безграмотны, кроме Павла. А Бисмарк и Тьер — образованные. И тот, кто выдумал электрическую казнь.

— Это софизм!

Бучнев помолчал.

— Но что же делать, по-вашему? — с раздражением спросила Наташа.

— Поступать, как нравится.

— Ну вот кому-нибудь нравится школа, культурная работа, земская, судейская деятельность, и отовсюду гонят.

— А гонят — идите в другое место.

— И ничего, если бы гнали грубой, полицейской силой,— продолжала, все более разгорячаясь, Наташа,— а то само общество, людишки, предрассудки, отсутствие умственных интересов, пошлость непомерная... Вот что колеблет почву под ногами.

— Это всегда и везде так бывает.

— Однако в шестидесятых годах этого не было.

— Все равно.

— Григорий Петрович говорят, тогда только души были заражены,— подхватил Петр Евсеич,— микробами... ги, ги, ги!.. Душонки те же самые, но только заражены. Правильно я толкую вашу мысль, Григорий Петрович?

На губах доктора промелькнуло некоторое подобие улыбки.

— Вполне,— сказал он.

— Не понимаю,— отрезала Наташа.— Я знаю лишь то,

что тогда отчетливо различали зло от добра; что ради последнего действовали во всю силу, а не с ужимками; что общественная совесть была возбуждена как никогда впоследствии...

— Зла и добра я не признаю, это — слова,— произнес Бучнев.

Петр Евсеич даже привскочил и завизжал от наслаждения.

— Да, да, вот они из каких-с! — торопливо заговорил он, обращаясь к Наташе и смешно размахивая руками.— Нет добра, нет злого начала-с!.. Сказки!.. Переживание!.. Атавизм!.. Я это всю мою жизнь твердил... Я мужу твоему, Алексею Васильевичу Струкову, это твердил-с... и не впрок-с... Ему все не впрок!

— Хорошо, оставим Алексея Васильевича,— нахмурясь сказала Наташа,— но растолкуйте мне, пожалуйста, что за микробы такие?

— Воля так же заражается, как и физический организм, вот и все. Иначе нельзя объяснить. Авторитет Петра Великого, дела Ивана Грозного, крестовые походы — ничего нельзя объяснить. Дико, нелепо, странно... точно пляска святого Витта. А с этим объяснением очень понятно.

— Отчего же не фантастика охватила людей в шестидесятых годах, а горячий порыв к правде, к справедливости, к устранению общежития?

Григорий Петрович пожал плечами.

— Ну, об этом долго говорить,— сказал он.— Вы ведь спросили, что делать? Я отвечаю — то, что нравится. Вы сказали, нравится вам вот что, но люди плохи. Я отвечаю: людей возможно заразить. Но для того, чтобы заразить, нужно, во-первых: идти напролом, во-вторых,— угадать то самое важное, что стоит на очереди. Вы напролом не шли, это — раз; самое важное не угадали, это - два. И вот почему никого не заразили... и не знаете, что делать. Я полагаю, это оттого, что вам не нравилось ваше дело. И совершенно правы: оно не может нравиться.

— Почему?

— Мелко.

— Н-ну, не знаю. Что же крупно, по-вашему?

— Вы увлеклись строительством на песке. Надо не строить,— надо до материка расчистить сначала место.

— И потом?

— Потом — не знаю. Не дождемся. Без нас выстроят что нужно.

— Хорошо, допустим,— хотя я совсем, совсем не согласна. Но как же расчищать? Что вы разумеете под этим? Опять фантастические авантюры?

— Я разумею под этим — жить, как мне хочется, говорить и делать прямо, без обиняков и компромиссов.

— Моя мысль, моя всегдашняя мысль,— вполголоса пробормотал Петр Евсеич. «И моя»,— подумала Наташа, но тем не менее иронически спросила:

— И это значит угадать самое важное?

В глазах Бучнева засветилось острое выражение.

— Да,— ответил он металлически зазвучавшим голосом,— да, самое важное теперь не юстиция, не земство, не школа, не переселенческий вопрос, а то, что все изолгались, все трясутся от выдуманных страхов. Надо не лгать и не бояться. Надо этим заражать людей.

— Ах, создатель мой,— это же отрицательные добродетели!

— Вот как? А вы проверьте, есть ли они у вас?

Наташа покраснела от негодования,— и от того, что в грубых словах Бучнева ей почудилось справедливое и тонкое наблюдение.

— Это личности,— сказала она.

Он опять изобразил некоторое подобие улыбки,— глаза его приняли обыкновенное выражение,— и методически стал набивать трубочку.

— Я, однако, желала бы узнать подробности вашей программы,— волнуясь, спросила Наташа.— Ну, например, вы. Что вы делаете? Как осуществляете ваше хотение и ваше бесстрашие?

— Это личности.

— Нет, без шуток?

— Без шуток я не хочу с вами говорить. Вы – обидчивы.

— Ну, так я имею право подумать, что вы просто из тех говорунов, что «по свету рыщут, дела себе исполинского ищут!» — не владея собой, воскликнула Наташа.

— А так как «наследия отцов» у меня не имеется, то вот сорву с Петра Евсеича тысчонку, другую и снова в путь,— сказал доктор и неожиданно засмеялся своим до странности простодушным смехом. Петр Евсеич звонко вторил ему, ухватившись даже за живот, из особого чувст-

ва подобострастия... Наташа невольно улыбнулась, молча допила свою чашку и подумала, что теперь удобное время переговорить с доктором о болезни отца.

— Пойдемте, я вам покажу сад,— сказала она, надевая шляпу.

— Эх, охота вам на зелень смотреть! — жалобно пропел Петр Евсеич, но не получив ответа, нахлобучил с необыкновенно широкими полями панаму, лениво взял в руки трость, еще ленивее сошел в цветник и неподвижно уселся на самом припеке.

Наташе показалось, что и доктор последовал за нею неохотно. Вообще она как-то вдруг заметила, что в его лице не было вчерашней холодной определенности, что он чем-то расстроен, что его спокойствие если не притворно, так обманчиво. И нечто вроде раскаяния за свою беспричинную враждебность к этому человеку зашевелилось в ее душе.

Петр Евсеич действительно чувствовал какое-то недоброжелательство к «зелени» и, переходя от одной охоты к другой, никогда не увлекался садоводством. Вот почему в Апраксине сад был очень запущен. Аллеи заросли травой, плодовые деревья одичали, небольшой парк превратился в непролазную чащу, перепутанную подгнившим сухоподстоем, молодыми побегами, крапивой, буйно разросшейся ежевикой. Только близ дома были распланированы цветочные клумбы, сверкал зеркальный шар, водруженный на месте прежних солнечных часов, краснели утрамбованные дорожки, посыпанные мелкопросеянным толченым кирпичом. По мнению Наташи, это было самое скучное место в Апраксине, особенно в знойные солнечные дни, когда и пестрые клумбы с ослепительным шаром, и кроваво-красные дорожки, и холеная зелень газонов казались какими-то бутафорскими принадлежностями. Но Петр Евсеич, выходя в сад, не делал шагу дальше этого цветника, очень был доволен, что в нем нет тени и гладко ходить. Шар и дешевые цветочки были затеи приближенной Петра Евсеича, горничной Поликсены. Старик язвительно ухмылялся на ее вкусы, но не противоречил.

Наташа с доктором ушли далеко, сначала по старой березовой аллее, наполовину лишенной тени, потом куртиной, примыкавшей к парку. Разговор между ними не налаживался. Она считала неловким прямо приступить к делу, да и потому еще откладывала, что боялась узнать что-нибудь очень дурное. Он становился все рассеяннее и толь-

ко кратко, хотя с обычной своей обстоятельностью, отвечал на вопросы. Таким образом, Наташа перебрала разные сюжеты. Узнала, что по матери он кубанский казак, не помнит отца, учился в реформатской школе в Петербурге, потом в медико-хирургической академии; участвовал в колонии Фрея в Америке, занимался одно время историей религий, историей демономании и эпидемических помешательств в средние века, сходился с спиритами, с визионерами, с американскими «free — masons»[1], думал было ехать в Индию, да встретив в Лондоне Блаватскую и познакомившись с нею и с полковником Ольвотом, убедился, что ехать незачем. Узнала Наташа и о том, что ему более сорока лет, что он «давно взял за правило не читать беллетристику, журналы и газеты» (о газетах даже сказал, что «специально ненавидит этого рода бумагу»), что из всех национальностей больше всего ценит англичан, о французах же думает, «как покойник Фонвизин», и не любит их; что, впрочем, к массе вообще трудно чувствовать любовь, если это не дети и не собаки... Детей и собак он очень любит. Наташе хотелось бы еще кое о чем узнать,— например, был ли доктор женат, или, по крайней мере, любил ли женщин и как смотрит на такую любовь. Он ей казался все больше интересным и все меньше заслуживающим антипатии. Но его внутренняя озабоченность останавливала ее от слишком интимных вопросов, и после некоторого молчания она предпочла заговорить о болезни отца.

— Кай смертен, Наталья Петровна,— вас этому обучали? — ответил Бучнев.— Впрочем, с его деньгами проскрипит.

— При чем же тут деньги, доктор?

— Зима для него нехороша. Поехать бы надо... в Крым, что ли, все равно. Да не в обстановку гостиницы, а в такую же, как здесь, чтобы не ломать привычек. Это — расход.

— Но что же у него?

— Да вы к этому как? — Он внимательно взглянул на нее и, встретившись с ее встревоженным взглядом, продолжал: — Пока не скажу. Пустяки. Скажу когда надо, не скоро. Пустяки и Крым, пожалуй. Будь он нищий, тогда и без того бы проскрипел.

— Но меня беспокоит то, что вы сами не верите в медицину?

[1] «вольные каменщики» (масоны) *(франц.)* — тайная религиозная организация.

— Гм... Это-то и хорошо,— не испорчу.

— Да вы, Григорий Петрович, в самом деле не верите, или...

— Притворяюсь? Нет, я не притворяюсь. Впрочем, кто вам сказал? Петр Евсеич? Видите ли, есть наука об организме человека и есть искусство лечить. Я только не верю, когда это смешивают. В искусстве совершенно такая же наука, как у любой ворожеи.

— Однако есть знаменитые врачи, Захарьин, например?

— Есть и знаменитые знахари, Кузьмич, например?

— Значит, лечить не надо?

— Организм сам себя лечит. Мешать не надо.

— Но следует и помогать, я думаю?

— Само собой.

— Вот и придем к лекарствам, например, к хине от лихорадки.

— У меня знакомый поп в Крастоярске мух давал глотать от лихорадки. Превосходно помогало.

— Какие глупости!

— Это вы насчет мух? Да, лучше ничего не надо. «Не хочу болеть» — это самое верное лекарство. Паскаль всю жизнь им лечился.

— И всю жизнь был болен. Вы не толстовец ли?

Он внезапно остановился, помолчал, точно к чему-то прислушиваясь, и рассеянно ответил:

— Нет, я хирург.

— А сами болели когда-нибудь?

— Никогда. Впрочем, одно время подумал, что незачем жить, и схватил крупозную пневмонию. Изменились мысли — прошло.

— Жаль, что у вас нет детей! — со вздохом вырвалось у Наташи.

— Вы хотите сказать, тогда бы я верил ворожеям? Но верят от двух причин: оттого, что думают жизнь — благо, и еще оттого, будто бы жизнь замыкается в здешних формах. Я ни того ни другого не признаю.

— А! Какой вы счастливый человек! Значит, предполагаете — есть бессмертие?

— Не предполагаю, но уверен.

— Вот уж не ожидала от доктора! — воскликнула Наташа, но, взглянув на Бучнева, пожалела о своих словах и вдруг почувствовала, что ей страшно. Он опять остановился, и чему-то прислушиваясь; в лице его была неизъяс-

нимая тревога; неподвижный взгляд, устремленный куда-то вдаль, светился новым для Наташи выражением тоски и беспомощности... Солнце стояло на полудне. Горячий воздух не шевелился. Пониклые листья деревьев были тусклы и скучны. Вблизи зачинался парк, уходивший в крутую долину; за долиной зеленел лес; за лесом, на горе, уныло обнажались бесцветные под полуденным солнцем поля и тонкой спиралью кружилась пыль на горизонте, поднятая вихрем.

— Что с вами? — прошептала Наташа.

Он, очевидно, сделал усилие над собой, усмехнулся и произнес также тихо:

— Не бойтесь... Это бывает со мной... Вы ничего не слыхали?

— Нет, ничего... Иволга кричит,— сказала она шепотом, не отрывая глаз от его изменившегося лица и усиливаясь преодолеть беспричинный озноб, от которого начинали дрожать ее ноги и руки.

Он тряхнул головой и молча прошел несколько шагов. Потом сказал обыкновенным голосом:

— Я иногда пью... Надо полагать, это подходит. А может быть, и перед грозою...— И сухо добавил: — Вы, впрочем, не беспокойтесь: Петру Евсеичу известно. И я всегда могу удалиться, если найдут мое присутствие вредным или лишним.

— Ах, создатель мой, кто же об этом говорит! — с искренним порывом воскликнула Наташа; страх ее прошел, и она едва не плакала от острого чувства внезапно вспыхнувшего сострадания.— Но зачем же вы?.. Неужели это необходимо? Значит, вы больны... Но, говорят, вспрыскивать стрихнин — очень помогает. Обратитесь к Португалову в Самаре, он горячо писал об этом, кажется, публиковал даже факты...

Бучнев посмотрел на нее и сказал не свойственным ему, почти ласково зазвучавшим голосом:

— Какая вы, должно быть, добрая. Нет, мне не поможет стрихнин. У меня не запой. Я просто пью потому...— он на мгновение затруднился, потом докончил твердо: — потому, что когда пью, ничего не слышу оттуда. Это очень хорошо. Простите, пожалуйста. Итак, еще слово о Петре Евсеиче. Лечение, по-моему, одно — диета и возбуждать жизнеспособность. Пусть страстно хочет жить,— это поможет надолго.

— Надолго!.. А потом, доктор, потом?

Бучнев невесело усмехнулся.

— Потом умрет, конечно, как и вы, как все. То есть сделается сновидением здесь и фактом там... Однако вы нервничаете и, кажется, хотите заплакать,— отчего? Это я вас заразил? Но у меня прошло, смотрите. И вот прекрасно: подымается ветер, в лесу зашумело, на западе вырастает туча... Будет гроза.

Ближе к вечеру действительно собралась гроза, нешумная, но с непрерывным блистанием молний, с каким-то самодовольным рокотом в густо-лиловых небесах; пошел крупный теплый дождь. Сидели на террасе, сделанной как оранжерея. Наташа была молчалива и задумчива. Изредка она взглядывала на отца, на доктора; мгновениями у нее пробегали мысли о том, что у Петра Евсеича почти прежний румянец на лице и Бучнев, пожалуй, прав со своей теорией психического влияния; что профиль доктора слишком барский для кубанского казака; что вчера она, может быть, была несправедлива к мужу; что, правда, у нее расстроены нервы и надо бы полечиться и напрасно она не сообщила доктору о связи отца с Поликсеной, и какие это голоса он слышит, и что теперь делают мальчики, и как, должно быть, грязна дорога... Но под этими отрывочно и быстро пробегающими мыслями разрасталось что-то иное в ее душе, как тусклая глубина реки, над которою отрывочно и быстро всплескивают мелкие волны. Неопределенное беспокойство томило ее; сердце ныло, как ноют иногда зубы, и точно от зубной боли она по временам судорожно сжимала челюсти. Между тем разговор был интересный; прежде она непременно примкнула бы к нему; но теперь только слушала, и содержание разговора странно переплеталось в ее голове с случайно набегавшими мыслями, с картинами далекого детства, с ощущением беспредметной тоски, прибывавшей точно полая вода: незаметно и неотразимо.

Говорили о наиболее своеобразных движениях в расколе,— о самосожигателях, о запащиванцах, о морельщиках, о странниках или бегунах, о новой секте «ненаших» и «неплательщиков». Говорили о том, почему «Спасово согласие» называют «глухой нетовщиной»; и по поводу этого — о произвольной терминологии исследователей и миссионеров, все-таки не успевающих наклеивать ярлыки на возрастающее множество толков, настроений и пониманий. Говорили о том, правы ли приписывающие расколу полити-

ческое значение, или, наоборот, одно лишь религиозное, и отчего потерпели такую неудачу в сношениях с старообрядцами Кельсиев и тогдашние эмигранты, и во что наконец сложится двухвековое брожение обособленной, принужденной работать в строгом секрете мысли. Впрочем, Бучнев больше расспрашивал, очевидно проверяя свои сведения, а Петр же Евсеич с увлечением вдавался в воспоминания, цитировал множество авторов, рукописей и книг, строил выводы. Он рассказывал о железных характерах, об «острых головах», о ничем не укротимой дерзости поступков и умозаключений и с ударением отмечал, что в новейшее время это встречается лишь у так называемых «беспоповцев» и что вообще раскол надо резко различать в его двух главных течениях. Характеризуя одно из этих течений, он ядовито и с злыми глазами, как будто где-нибудь «на прениях», описывал невероятную возню с беглыми попами, смешной чин их «исправления», таксу на них особых промышленников, что покупали их на Иргизе «оптом» и «пускали в оборот по мелочи»; затем с тою же беспощадностью насмеялся над экспедицией Петра Великотворского и инока Геронтия на Восток, за «древлеправославным» епископом, и как такой епископ не нашелся, а нашелся грек Амвросий и что из этого вышло; затем, злорадно взвизгивая, поглумился над «окружниками» и «противоокружниками», над Онуфрием «наместником» и Софронием «митрополитом казанским», над двумя Антониями, над белокриницким Кириллом,— как они извергали друг друга из сана, предавали друг друга анафеме, объявляли еретиками и ересиархами.

— Это не раскол, а табун-с! — кричал Петр Евсеич.— Стерегут его якобы иерархи, а на самом деле московские толстосумы-с! Преемства от героических зачинателей там не встретите-с! Дерзновенного духа князей Мышецких не найдете-с! Все ушло в букву да в обряд. Попытка Василия Ивановича Кельсиева не скажу — глупость, но кабинетное непонимание вещей-с... Не мудрено, что вышла осечка-с

И с совсем непохожим выражением в лице и в голосе рассказывал о другом течении, о том, которое «началось в олонецком поморье», которое «бродит как молодое вино» и беспрестанно выделяет из себя новые разветвления, и «кипит дерзновением», и легко освобождается «от дисциплинарной окаменелости обряда», и «не боится рационализма», и будто бы представляет «удивительное совпа-

дение с работой критической мысли, ныне происходящей на Западе».

— Вот ахнули на господина Базарова! Вот зашумели — Базаров-де из Европы, от Фейербаха и Бюхнера произошел! А того и невдомек, что подпочва-то в мужиках-с... И с незапамятных времен-с! И нигилизм куда сердитей, чем у господина Базарова-с! — торжествуя восклицал Петр Евсеич и дальше рассказывал о своих непрекращающихся сношениях с единоверцами, о том, что по нескольку раз в год в Апраксино наезжают «острые головы» с Урала и с среднего Поволжья, что он снабжает их по старой памяти «аргументами, любопытными книжками, сведениями, деньжонками»... Иногда у Наташи складывались возражения; она могла бы сказать, что «подпочвенный нигилизм» слишком часто смахивает на распущенность и особое мещанство; что «острые головы» посещают Апраксино больше из-за денег да из-за связей Петра Евсеича; что в окраске «крайних» сект большую роль играют низменные страсти «главарей» с одной стороны и невежество массы с другой; что и помимо таких страстей «дерзновение» создается не внутренней работой мысли, а внешними обстоятельствами: отсутствием свободы, доверия, веротерпимости, и что все это отлично чувствует сам Петр Евсеич да увлекается, хотя в последние годы далеко не так, как увлекался прежде... Ей казалось и то неправильно, что с таким глумлением говорил Петр Евсеич о «беглопоповщине» и об «австрийском согласии»: он забыл неутолимую жажду «благодати» в простом народе, умилительные жертвы и подвиги ради достижения этой «благодати», забыл веру, которая, например, понуждает какого-нибудь «миленького старичка» брести за две, за три тысячи верст, из Сибири в Москву, чтобы удостоиться принятия «святых таин» на Рогожском кладбище; а главное — то забыл Петр Евсеич, что вопрос «о восстановлении благодати» его самого очень интересует и что, когда он отвлекается от «дерзновений», ему серьезно мерещится «едина церковь» и «едино стадо», хотя бы для «сирот», как это объявлял он в Лондоне Струкову. Могла Наташа поправить и доктора, когда он неверно, «по Костомарову», определил характер самосожигательства, сказал, что это похоже на то, как взрывает себя гарнизон в осажденной крепости; Петр Евсеич не возразил на это, а между тем она знала, что проповедь самоубийства в свое время считалась догматом у «филип-

повцев», догматом осталась и теперь в некоторых сектах, и что еще протопоп Аввакум писал о сладости и спасительности огненной смерти. Она даже отчетливо вспомнила и произнесла про себя отрывок из этой апологии самоубийства: «...Егда загоришься — видишь Христа и ангельские силы с ним... Емлют души те от телес да и приносят ко Христу, а Он, надёжа, и благословляет, и силу ей подает божественную... Туды же со ангелы летает, ровно яко птичка попархивает, рада из темницы своей вылетела. Темница горит в пещи, а душа, яко бисер, и яко злато чисто взимается со ангелы выспрь во славу Богу и Отцу». Но в разговор Наташе не хотелось вмешиваться — все от той же беспредметной тоски, от того же внутреннего беспокойства. И когда она вспомнила о словах «протосингела российские церкви», их архаический аромат вызвал в ее памяти сначала какой-то щемящий мотив, странно совпадавший с ее душевным состоянием, потом низенькую комнатку с изразцовой лежанкой, тусклый свет лампы, иконописную фигурку няни Пафнутьевны, тень от нее на белой стене с нелепо шевелящимися чулочными спицами, огромного кота, фосфорически высматривающего с лежанки, шум зимней вьюги за окнами,— и трогательные слова старинной раскольничьей стихиры:

Прекрасная мати пустыня,
Любезная моя дружина,
Пришла аз тебя соглядати...
Потщися мя восприяти,
И буди мне яко мати,
От смутного мира прими мя,
С усердием в тя убегаю...
Пойду по лесам, по болотам,
Пойду по горам, по вертепам,
Да где бы в тебе водвориться...

«Куда девалось все это?» — подумала Наташа с внезапно закипевшими где-то внутри слезами. «Куда делись мои мечты под эту стихиру, мои детские сны, мои надежды?» И, боясь расплакаться, она порывисто встала и сказала, что едет домой. Петр Евсеич убеждал ее подождать, пока минует гроза,— впрочем, без особой горячности, потому что очень занят был развитием своих мыслей о расколе; Бучнев ничего не говорил, но смотрел на нее с какой-то тяжелой проницательностью.

— Нет, нет,— повторяла она, стараясь не встречаться с глазами доктора, и вдруг, неожиданно для самой себя,

спросила у него: — Вы и в предчувствия, конечно, верите?

— Конечно, верю, — ответил тот спокойно.

— А! Ну, так знайте: ломается сейчас моя жизнь, — воскликнула она и истерически засмеялась.

Судя по времени должен был совершаться солнечный закат. Но от туч, обложивших небо, и от поднятого верха коляски Наташе ничего не было видно. Ей было видно только согнутую спину Ильи, обтянутую кожаным армяком, косую сеть дождя, молнию, там и сям разрывавшую небо, тревожно шумевшие под дождем нивы, озаряемые зеленым блеском... Гром рокотал то близко, то удаляясь к горизонту, в жидкой грязи звучно и однообразно шлепали лошадиные копыта, свежий, влажный воздух, смешанный с каким-то трезвым запахом разрытой земли и развернувшихся почек, — с тем самым запахом, что бывает только ранней весною и еще после грозы, — вливался в грудь Наташи, прогонял куда-то неотвязно грустный мотив стихиры, отрезвлял ее душу. «Зачем я сказала это? — думала она с досадой. — Кто подтолкнул меня выговорить такую чепуху... Что он мне?.. К чему откровенности с совсем незнакомым человеком?.. И даже не откровенности, а смешной бред...» И она нервически вздрагивала, вспоминая весь нынешний день, — и, точно впереди, на хуторе, в детской, в кабинете мужа, ждал ее отдых после изнурительной работы, приказывала гнать лошадей. А когда показались огоньки на хуторе, воскликнула про себя: «Вот моя мати пустыня... и ничего мне больше не надо!»

— Где Алексей Васильевич? Что делают дети? — торопливо спросила она, вбегая в переднюю, где ее встретила горничная Агаша; и сама изумилась той необыкновенной радости, что охватила ее от будничного выражения на лице Агаши, от того, что в передней все было как всегда, и даже лампа, по обыкновению, воняла керосином. Оказалось, мальчики укладывались спать, Алексей Васильевич сидел в кабинете. Наташа завернула к нему, немножко удивилась и обиделась, что в ответ на ее ласковый, несколько даже восторженный порыв он как-то неискренне взглянул на нее и неискренним голосом пробормотал, низко наклоняясь над книгой:

— Приехала?.. Грязно?.. Здоров отец?..

Зато в детской она чувствовала себя точно в раю. Мальчики, совсем раздетые, готовились ложиться. Увидав мать, они с радостным визгом бросились к ней, стали прыгать

около нее по ковру в своих коротеньких рубашонках, наперебой рассказывали о своих детских делах, спрашивали о дедушке, о «новом дяде» в такой чудной шапочке, и особенно о злой собаке Турке, привязанной у мельницы, и об угрюмом с лохматыми бровями мельнике Агафоне — два существа, игравшие роль сказочных чудовищ в их головках, бережно охраняемых Наташей от всякой фантастики и чертовщины. Прошло, по крайней мере, полчаса в этом необузданном оживлении; потом они мало-помалу успокоились и разместились по своим кроваткам.

— Знаес, мама, пьиходил Масим-сойдат... Стъа-а-асный! — сказал Алеша, заботливо натягивая одеяльце до самых глаз.

— Какой Максим, деточка?

— Ах, мама, да сторож же Максим, — пояснил Петрусь с недетской твердостью в выговоре; после болезни он быстро окреп, вырос, и, к удивлению матери, совершенно перестал картавить. — И вот не понимаю, мама, Алешу: я говорю — у Максима крест, и он — в красных волосах и очень рябой, значит, очень храбрый, но Алеша — все свое и вдруг прячется в нянины юбки... Не правда ли, как это не похоже?

— Он в лесу живет... с войками, — аргументировал Алеша, высовывая носик из-под одеяла.

— Нет, не правда ли, как это не похоже, мама? — повторил Петрусь, методически оправляя подушку.

Наташа утвердительно кивнула ему и принялась внушать Алеше, что солдат Максим живет не с волками, а с женою Фросею, что он такой же караульщик в лесу, как Антип на дворе, что бояться его не надо, потому что он добрый, любит пчел и маленьких детей... «Ну, уж добер!» — с неудовольствием проворчала няня, собирая в одну груду детскую одежду и сапожки. Наташа было нахмурилась, но, взглянув на Алешу, тотчас же улыбнулась: он уже спал, едва слышно посапывая под одеялом.

— Отчего ты, мама, не взяла нас к дедушке?.. Разве там дифтерит?.. И у кого, — у Турки, может быть, дифтерит? — сонным голосом спрашивал Петрусь. — А отчего, мама, гром как колеса... А?.. Это никто там не ездит на лошадках... А?.. Это не похоже... А, мама? — И, не дождавшись ответа, в свою очередь неожиданно заснул.

Наташа из детской опять пошла было к мужу, — ей ужасно хотелось приласкаться и поговорить «по душе», но

подумала, что он, очевидно, «сердит за вчерашнее», и, развернув дневник, стала записывать разговор детей. Потом вспомнила о няниных словах и пошла к ней в комнату. Там происходило чаепитие. За чистым липовым столом, у превосходно вычищенного самовара сидела няня, горничная Агаша и прачка Василиса. В раскрытое окно веяло благоухающей свежестью, виднелся обрызганный теперь уже переставшим дождем куст калины со своими изящными, похожими на кружево, цветами. Наташе сделалось очень уютно и весело при виде этой картины; она придвинула свободную табуретку к столу и попросила и ей дать чаю. Но все же сказала:

— Пожалуйста, няня, будьте осторожней при детях. Что это такое вы сказали про Максима?

— Сорвалось, Наталья Петровна; виновата. Уж очень он нас разбесил нынче, негодный человек.

— Чем же?

— Он как за харчами придет, так сейчас и в ножи с нами, с женщинами,— смеясь сказала Василиса.— Кажинную неделю у нас, у женщин, ножовщина с ним.

— И откуда его принесло, несуразного,— сказала няня.— Сами посудите, Наталья Петровна, с осени поступил, никого из мужчинского пола толком не знает, а Фросю тиранит, как Иуда какой из-за ревности.

— Да к кому же он ревнует?

— А спросите! Нынче пришел, расселся, надымил табачищем: «Я-ста свою Апроську в лучшем виде измордовал!» — Няня так уморительно передразнила, как Максим сел, закурил, и его слова, что Василиса с Агашей покатились со смеху.— Да за что же, неумытый, непристойный ты человек? — «А за то: воротился домой — постель холодная».— Подите, поговорите с невежей!

— Не понимаю,— сказала Наташа.

— Это вот что обозначает, сударыня,— с обстоятельным видом заговорила прачка,— вчерась его, ва́рвара, барин к помещику Веденяпину услал, за каким-то там ульем, а он к свету, злодей, воротись, да, по своему обыкновению, прямо в клеть. Фрося-то как лист перед травой, но постель холодная. И дерюжка на ней,— одеяло значит,— и дерюжка холодная. «Где была?» — «Нигде не была, с вечера сплю». Ну, и бить. Не догадалась сказать: на порожке сидела, вашу милость ждала, только что прикурнула, а вы и вот они, рябая форма.

— Это что,— вмешалась Агаша,— раз, окаянный, он рядом с ней спал, да как сцапает себя за руку, да как заорет: «Поймал, поймал, держи его!» Рука-то, ишь, онемела, он спросонья и подумал, чужой кто.

На этот раз и Наташа засмеялась.

— А то придет с обхода,— подхватила Василиса,— поводит, поводит носом и давай езуитничать: вишь, запах от женщины чужой, не его, дурака, запах!

— Да откуда вы все это знаете? — спросила Наташа.

— Да сама же, сама она, Фрося, и рассказывает все его выходки. Теперь, идол, запрещенье наложил, не пущает ее, а то, бывалоче, придет на стирку — животики мы с ней, женщины, надорвем!

— Значит, не любит его, коли рассказывает?

— О, господи, что сказали! Да где же такого змея-горыныча любить. Рыжий, рябой, в ухах волосья, бровя рассечена...

— Что же, ее силой, что ли, за него отдали?

— Не то чтобы силой, да куда деться-то нашей сестре. Деньгами облестил. Ишь, Плевну брал — старичишку турка приколол. Туты-сюды, а под старичишкой кисетик, а в кисетике золотые. Свалился он, батюшка, этак с перинки,— он его, окаянный, в постели, в дому порешил,— а под ним кисетик. Затем и пошла.

— Но она, может быть, действительно легкомысленная?

— Кто ж ее... Не слыхать. Брёх — это верно. Ну и глаза... глазищи у ней, правду надо сказать, непутевые.

— Вор-баба! — с убеждением сказала няня.

— Зато из себя замечательная! — воскликнула Агаша.

— О, она очень красива,— сказала Наташа,— скорей на итальянку похожа.

— Из дворовых, Наталья Петровна. Сами знаете, в нашем дворовом быту всего бывало,— с затаенной гордостью вымолвила Василиса.

Няня, по происхождению бугурусланская мещанка, нашла нужным ядовито усмехнуться на эти слова, однако промолчала.

— Что вы говорите о Максиме? — спросил Алексей Васильевич, неожиданно появляясь в дверях, и Наташу опять неприятно поразил какой-то фальшивый оттенок в его голосе. «Можно ли до сих пор сердиться!» — воскликнула она про себя, потом рассказала о ревнивом карауль-

щике. Алексей Васильевич выслушал, зевнул и попросил Агашу подавать ужин.

— Скотина,— добавил он по адресу Максима.

— Но это так невозможно оставлять,— вдруг разгорячилась Наташа,— необходимо вмешаться, необходимо усовестить его. И, главное, если бы были причины, но ревновать к своей руке, к запаху...

— А если бы были причины, ты находишь — можно ревновать? — насмешливо спросил Струков, но тотчас же изменил тон и торопливо добавил, удаляясь в столовую: — Как знаешь, как знаешь. Я не могу вмешиваться. Это было бы смешно.

— Но ведь он бьет эту несчастную Фросю... Пойми — бьет! — говорила Наташа, идя за ним.

— Черт меня дернул посылать его к Веденяпину. Но Веденяпин давно мне говорил, что у него превосходной системы ульи, и не как в Апраксине, а очень простой и дешевой конструкции. И обещал дать. И потом, надо было, чтоб растолковали, как обращаться с ульем... Кого же оставалось послать, кроме самого Максима?

— Миленький мой, ты точно оправдываешься. Разумеется, ты не виноват. Но я завтра же пойду будто бы на пчельник и поговорю с ним. И с нею надо поговорить. Мне кажется, она дразнит его... И вообще какой-то странный брак. Ты заметил ее? Она прехорошенькая.

— М-да, кажется... Ну, расскажи, как нашла доктора,— действительно авантюрист?

— О, нет!.. Я думаю, он очень хороший доктор, и, кроме того, очень несчастный, и очень оригинальный человек. Да что ты все ходишь и такой странный, Алеша? Ну, я виновата была вчера, ну и довольно...

Агаша поставила приборы, вино, блюда с холодным кушаньем, принесла кипящий самовар и удалилась: по принятому обычаю, чтобы ночью не беспокоить прислугу, со стола прибирали только утром.

Алексей Васильевич сел, налил и выпил залпом стакан вина.

— Ого, сколько превосходства,— сказал он, принимаясь за еду,— настоящий герой романа... Мельмот-скиталец!.. Смотри, не влюбись.

— Какой вздор! — воскликнула Наташа и весело добавила: — А ты ревновал бы? Как Максим?

По лицу Струкова пробежала тень.

— Я давно считаю ревность свойством зверей, а не людей. Пожалуйста, помни это,— сказал он серьезно и еще выпил вина.

Наташа с удивлением взглянула на него: он никогда не пил так много и так часто, потом стала рассказывать подробности своей поездки, умалчивая, однако, о своих настроениях и чувствах, о «глупых» словах, вырвавшихся у ней перед отъездом из Апраксина. Скоро Струков совсем развеселился, заговорил обыкновенным голосом, с обычным открытым выражением на лице... «Наконец-то сломался лед!» — подумала Наташа, и это так ее обрадовало, что она уже не обратила внимания, как Алексей Васильевич еще и еще выпил вина и как в его глазах засветился преувеличенно ласковый, ненатуральный блеск.

— Нет, право, Наташа,— говорил он с игривым оживлением,— попробуй, влюбись в Бучнева. Я хотел бы испытать себя... Живешь, живешь, а иногда ужасно хочется бури...— И шутливо продекламировал:

Буря бы грянула, что ли,
Чаша с краями ровна!

— Так разве о такой буре говорится в этих стихах? — смеясь, сказала Наташа.

— Ну да, конечно... Но та не от нас. Той нет и не будет. «Все мовчит, бо все благоденствуе»,— сказал и предсказал Шевченко. Между тем как личная, лирическая буря...

— Ну, миленький, и такая не от нас!

После ужина они перешли в кабинет... Наташа вышла оттуда на рассвете. В столовой шторы были не спущены и ее встретил какой-то ржавый, скучный, с серыми тенями полумрак. В нем отчетливо и грубо выделялся беспорядок на столе,— остатки еды, засаленные тарелки, захватанный стакан с бурой жидкостью на дне, смятые салфетки... Наташа содрогнулась от отвращения: ей показалось, что и в ее душе также захватано и засалено, такой же беспорядок. То, что она смутно чувствовала в Апраксине и что исчезло, когда подъезжала к хутору, сменившись радостью от детей, от дома, от примирения с мужем, теперь вдруг возвратилось к ней, и не в виде загадочного настроения, а в определенном сочетании мыслей, отчетливых и жестоких. Это были те самые мысли, которые кто-то ужасный в ее душе нашептывал и прежде,— еще в Париже; когда она

осталась без школы; когда втайне наблюдала за остывающей деятельностью мужа и сама остывала; когда страстное отношение к детям перестало удовлетворять ее. Это были мысли о том, что как на острове со своей душою, и вокруг непроницаемый туман, и угрожающее молчание в ответ на мольбы, на вопли, на отчаянный крик о помощи, и она не знает, куда и зачем идти.

Но никогда она не думала с такой режущей ясностью. Никогда ее не охватывало такое отвращение к самой себе и к той слепой и соблазнительной силе воображения, что сделала из ее жизни цепь лжи — какую-то ткань условностей и недомолвок.

Она быстро подошла к окну, распахнула его... В комнату хлынула сырая свежесть, но и в роще, и в небе все было скучно и некрасиво. Где-то вдали усталым звуком надсаживался перепел. Часы однообразно стучали на стене. Из кабинета доносилось храпение Алексея Васильевича.

Это храпение оскорбляло Наташу, причиняло ей почти физическую боль,— как, впрочем, и все, начиная с болезненного рассвета и кончая мерзким ощущением усталости, стыда, чувством невыразимого ужаса перед загадками жизни..

VIII

Жизнь свою в Апраксине доктор повел так, что сначала его прозвали «блаженненьким». Он не ел мяса, вместо чая пил едва окрашенный кипяток, да и тот без сахара, не прикасался, кроме чрезвычайных случаев, к вину, сам чистил себе сапоги и убирал комнату, отведенную ему в особом флигеле, ходил, когда не было гостей, в стоптанных калошах на босу ногу, в балахоне сверх белья, целые дни проводил с крестьянскими ребятами, по целым часам кормил и ласкал собак и, покуривая трубочку, смотрел на их возню, изучал их характеры и нравы. За всем тем кличка «блаженненького» продержалась недолго. Манера его обращения, какая-то резонность в самых странных поступках и, главное, то, что он не «напускал на себя», а действовал и говорил с бесподобной простотою и смелостью,— все это так же подкупило дворню, как подкупало Перелыгина и Наташу, и детей, и впоследствии самого Алексея Васильевича. В отношении к дворне это было тем страннее, что он

был скорее груб, чем ласков с нею, никого не дарил, ни к кому не подлаживался, отнюдь не затевал дружелюбных разговоров или речей на «развивающие темы», не подлаживался даже тогда, когда приходилось обнаруживать свою слабость. Так, недели три спустя после приезда он самым обыкновенным и простым тоном заявил Поликсене, отправляясь ночевать к себе во флигель:

— Дайте мне, сестрица, водки. И завтра не присылайте за мной к чаю; я, должно быть, буду пьян. Когда пройдет — сам явлюсь.

Поликсена порывалась было воскликнуть от удивления, не оттого, конечно, что доктор захотел «кутнуть», а от непривычно прямых слов, но, взглянув на его холодное и спокойное лицо, не произнесла ни звука и торопливо исполнила его просьбу. И действительно, доктор целые сутки не выходил из своей комнаты, и ни в ком это не вызвало ни осуждения, ни насмешки... Правда, ни в ком не вызвало и жалости, кроме Наташи, которая, впрочем, узнала об этом позднее: когда Григорий Петрович «пил мертвую», она ездила в губернский город нанимать англичанку, отходившую от богатых помещиков Суковниных.

Лечил Бучнев много, но весьма несложно, «походя», как говорили в деревне. Делал небольшие операции, давал «глазные капли», прописывал баню, круто посоленную редьку, огуречный рассол, натирание водкой. Один раз чрезвычайное впечатление произвел исцелением «порченой» тем, что заставил ее заснуть и сонной приказал не вопить по церквам. Другую кликушу в самый разгар полевых женских работ услал на богомолье в Киев, и она воротилась не только здоровая, но и беременная, чего с нею никогда не бывало... Впрочем, необходимо прибавить, что особой популярности как доктор Григорий Петрович не приобретал: с ним советовались, но чаще всего шли за «настоящим лекарством» на земский пункт. Наташа, смеясь, говорила ему, что народ уже развратился: требует хины, салицилки, иодистого кали, касторового масла вместо старинных домашних средств...

Во всем Апраксине относились к доктору с прямым недоброжелательством лишь мельник Агафон да его цепная собака Турка. Этот Агафон,— кратко его называли — в глаза «дедом», а за глаза — «чертушкой»,— был старик лет семидесяти, откуда-то из пермских лесов; Петр Евсеич взял его в Апраксино по особой просьбе знакомых старо-

обрядцев. Он жил в избушке близ мельницы-ветрянки, питался ржаными сухарями, размоченными в ключевой воде, редко появлялся в усадьбе, никого к себе в избу не пускал и, пугая детей своим диким видом, внушал и взрослым какой-то суеверный страх. Только один Петр Евсеич в прежние годы, когда желал развлечься на особенный лад, захаживал к нему в избушку, и, если случались тогда на ветрянке помольцы, они бывали свидетелями удивительных вещей. Обыкновенно Агафон встречал хозяина с угрюмой почтительностью. Из избы слышен был вначале степенный разговор о количестве собранного помола, о кленовом дереве, нужном для цевок, о веретене, которое требовалось подварить; потом голоса мало-помалу возвышались, слышно было что-то о вере, о жизни в скитах, о блудном грехе; потом хозяин начинал смешливо всхлипывать и взвизгивать, и в ответ на это раздавался сердитый, удушливый, шамкающий крик мельника, издали чрезвычайно напоминавший хриплый и такой же удушливый лай Турки; и вдруг в дверях появлялся весь красный и сияющий от наслаждения Петр Евсеич, а за ним, толкая его в спину, вскосмаченный, разъяренный дед.

— Перевертень!.. Гог-Магог!.. Помёт антихристов!.. Сосуда дьявольская!.. Бес... бес... бес...— ругал он смеющегося хозяина, а иногда, не удовлетворившись этим, вне себя подбегал к Турке и кричал задыхаясь: — Держи его, христопродавца!.. Кусь его!.. Вззы его!..

Впрочем, когда дело доходило до Турки, Перелыгин тотчас же переставал смеяться, слегка бледнел и грозно замахивался на старика палкой. Как и все в Апраксине, Петр Евсеич боялся Турки. Да и нельзя было не бояться. Эта овчарка, бегавшая на блоке по канату, натянутому вокруг мельницы, была свирепа и сильна, точно дикий зверь, она никого не подпускала к себе, ни от кого не принимала пищи, кроме Агафона. Если дед не закреплял к одному месту блок с цепью, на мельницу решительно нельзя было пройти; стоило показаться человеку даже во многих саженях от мельницы, как Турка приходила в неописанную ярость и с налитыми кровью глазами, с пеной у рта, с оскаленными клыками, острыми точно ножи, прыгала вдоль каната, становилась на дыбы, гремя тяжелой цепью, хрипела и закатывалась от злобы. Даже к деду она никогда не ласкалась, и когда он подходил к ней, в ее зловещих глазах нельзя было приметить ничего дружелюбного, лишь какая-

то суровая почтительность устанавливалась в них, как у самого деда, когда он встречал хозяина.

Кроме Петра Евсеича, Агафон ни с кем не вступал в разговоры и не ругался, ни на кого не натравливал Турку. На всем его изрытом глубокими морщинами бесцветном лице лежало величайшее презрение к людям. С утра до ночи он, то весело, то злобно ухмыляясь, что-то шептал себе в бороду, чутко прислушивался к звуку снастей, следил за ветром, лазил с непостижимой для его лет ловкостью вокруг зубчатых колес, обстругивал запасные цевки, ковал жернова, смазывал шестерни,— держал мельницу в образцовом, по мнению мужиков — в колдовском, порядке. А ночью, после скудного ужина, доставал кожаные четки, открывал в стене избушки продолбленное на восток отверстие и целые часы простаивал перед этим отверстием на молитве.

Вот этот-то старичок вместе со своей собакой до странности невзлюбил Бучнева. Доктор каждый день, утром и вечером, проходил мимо мельницы купаться, и каждый раз Турка с невыразимым остервенением лаяла на него, так натягивая канат, что он звучал как струна, а мельник выходил на порог и вместо приветствия озлобленно сверкал глазами из-под лохматых бровей, неприятно кривил беззубым ртом и кричал:

— Кусь его!.. Взвы его!.. Аль боишься, Гог-Магог?.. Попытай, попытай... она не выпустит черевы!..

Сначала доктор пробовал отделываться равнодушием и как ни в чем не бывало приподымал свой колпачок и говорил: «Здравствуй, дедушка!» — но получая в ответ неизменные дерзости вроде того: — «Какой я тебе, окаянному табашнику, дедушка... Твой дед — бес!» — перестал кланяться и очень заинтересовался этою беспричинною ненавистью. Он подробно расспросил Петра Евсеича о старике, но тот знал только, что Агафон спасался в скитах, что в этих скитах было обнаружено нечто противозаконное, что отшельники по сему случаю разбежались и Агафон живет едва ли не по фальшивому паспорту... Все это до некоторой степени объясняло поведение мельника, хотя опять-таки было неясно, почему вместо обычного презрения он удостаивал доктора ненавистью.

Но еще больше, чем стариком, Бучнев заинтересовался собакой. Между его излюбленными мыслями была одна, которую он отстаивал с особенной горячностью: будто бы взглядом и внутренним напряжением воли возможно укро-

тить самое злое животное. Он говорил, что в грядущем это разрастется в науку и что надо буквально понимать пророчество Исайи, что «младенец будет играть над норою аспида». И вот однажды, возвращаясь с купанья, он на мгновенье остановился, потом твердыми шагами повернул к мельнице и спокойно погладил ошеломленную такой дерзостью Турку. Мельник так был поражен, что не вымолвил ни слова... Зато на другой день опыт окончился печально: собака бешено вцепилась в икры доктора и вырвала порядочный лоскут мяса. Дед притворился испуганным, зашумел на Турку, прогнал ее в конуру, но Григорий Петрович, бинтуя разорванной простынею свою окровавленную ногу, явственно слышал его злорадное бормотанье и торжествующий сиплый смех.

— Ладно, старинушка,— сказал Бучнев, сделавши перевязку и выпрямляясь,— завтра приручу твою собачку.

Наутро дед не вышел на порог мельницы при виде доктора и не облаивал его неподобными словами, а, скрывшись за притолокой, следил за ним острым, почти сумасшедшим взглядом. И с таким же взглядом, с бледным, неестественно спокойным лицом медленно приближался доктор к овчарке. Турка сначала заливалась отчаянным лаем, в котором, однако, можно было уловить неуверенные ноты; потом стала рычать и жалобно взвизгивать, поджимала хвост, пятилась к конуре.

Через неделю она беспрепятственно подпускала к себе Григория Петровича, давалась гладить, смотрела на него с тем же выражением угрюмой почтительности, как и на старика; а старик каждый раз скрывался, завидев доктора, и все дольше простаивал на молитве перед отверстием, продолбленным на восток.

О всей этой истории узнали в усадьбе. Петр Евсеич хотя и говорил, что «поступлено вопреки рассудку», но так же восхищался смелостью доктора и всем о ней рассказывал, как восхищался и рассказывал, когда Наташа испортила ревизионную книгу. Наташа посмеивалась и советовала Григорию Петровичу наняться «укротителем» в какой-нибудь зверинец,— однако стала с этих пор относиться к нему почти с нежностью. В дворне решили, что штука очень простая — дока на доку нашел: дед «кочетиное слово» знает и доктор знает. Но самое огромное впечатление произвело усмирение Турки на крестьянских ребят, и в особенности на детей Наташи. В глазах Петруся и подражав-

шего ему во всем Алеши мельница с дедом Агафоном и с Туркой приобрела еще более фантастический характер, а «дядя Гриша» — они так называли с некоторых пор доктора — представлялся им каким-то «Егорием-Храбрым», к ногам которого кротко ложатся лесные звери. Петрусь даже выдумал для себя своеобразную игру, наполнявшую всю его маленькую душу чувством жуткого наслаждения. Перед вечером он украдкою убегал на опушку сада, близ которого, на выгоне, стояла мельница, прятался в густых кустах акации и с остановившимся дыханием ждал, что будет. И совершалась страшная сказка. Огромные руки с ужасающим треском и шорохом размахивали по воздуху; от них вдоль выгона бежали зловещие живые тени; избушка мигала своим единственным оком, то горевшим на солнце как раскаленный уголь, то тускневшим от падавшей на него тени; страшная Турка рычала, чутьем угадывая чужого; выходил страшный, весь белый, с лохматыми зелеными бровями мельник и бормотал, ухмыляясь черной пастью, и нюхал по ветру, и всматривался своими страшными глазами именно туда, где сидел притаившись Петрусь. Мальчик сжимался в комок, зажмуривался от ужаса, а когда открывал глаза, к мельнице подходил человек в белом, с трубочкой в зубах, с простыней через плечо,— и старик быстро скрывался, а Турка переставала рычать, смирно пошевеливала своим косматым, свалявшимся в войлок хвостом. Человек в белом гладил чудовище, давал ему какую-то еду, говорил, обращаясь к мельнице, какие-то непонятные слова,— может быть, волшебное приказание стать куда-нибудь «передом» и куда-нибудь «задом»,— но это исполнялось долго спустя, а теперь из мельницы раздавался шипящий, змеиный голос.

— Уходи, уходи, Велиарище!.. Я тебе не пес... Раба божия не околдуешь!..

Иногда к неудовольствию мальчика у мельницы стояли нагруженные подводы, стреноженные лошади ходили по выгону, мужики сгорбившись таскали кули, смеялись, разговаривали,— и вместо сказки было самое обыкновенное, отчего ничуть не страшно и надоедало сидеть в акациях.

Наташа все чаще гостила с детьми в Апраксине. Иногда какое-то странное чувство, не то ревности, не то особого любопытства, влекло туда и Алексея Васильевича... Но большею частью он оставался на хуторе или брал недавно приобретенное ружье и без собаки бродил по оврагам и

мелким зарослям, не столько стреляя дичь, сколько на новый лад наслаждаясь картинами природы, простором и свободою.

Раз, запоздавши в своих скитаниях, он увидел в поле огонек и пошел на него, продираясь сквозь кусты, в которых, пофыркивая и хрустя травою, паслись лошади. Костер был разведен на чистой поляне. Не дойдя до него несколько шагов, Струков с удивлением остановился, стал смотреть и слушать. В разных позах лежали и сидели вокруг белоголовые, рыжие, темно-русые крестьянские дети, и между ними загорелый, запачканный, в смятом картузишке Петрусь. За ними виднелись свернувшиеся в клубок три или четыре собаки. Близ костра стоял большой медный чайник, лежала на лопухе кучка мелко наколотого сахара, и Бучнев, в своем балахоне, в сдвинутом на затылок колпачке, с неизменной трубочкою в зубах, наливал в блюдечки чай, подавал по очереди ребятам — блюдечек было только три — и самым серьезным образом, точно со взрослыми, разговаривал с ними. Недалеко виднелся ворошок свежесрезанной лозы и наполовину сплетенный кубарь.

— А как же, дяденька, кубарь-то будем ставить,— ведь рыба-то, чать, перелыгинская? — тоненьким голоском спрашивал белоголовый мальчик, аккуратно схлебывая с блюдечка желтоватую жидкость.

— Что ж, что перелыгинская,— ответил доктор,— можно и его в часть принять.

— Известно в часть,— подтвердил солидный, с огненными вихрами и с бесчисленными веснушками на лице мальчик,— мужики косят из третьей копны, и мы, пожалуй, третью рыбу ему отдадим. Вот Петряй и получит дедову часть.

Петряй, то есть Петрусь, очевидно, ничего не понял, но с достоинством поправил свой картузишко.

— Лучше по весу разделить,— заметил доктор,— счетом рыба не ровна, выйдет ошибка.

Кое-кто согласился, но веснушчатый возразил:

— Экось какой! Ты разверстай на три кучки, и пусть берет любую. Без обмана. А то еще с весами станешь вожжаться. На весах завсегда обман.

— Дядя Гриша,— сказал Петрусь, солидным движением принимая из рук доктора блюдечко с чаем,— разве караси дедушкины? Караси живые, и потом их жарят... И потом их надо ловить. А дедушке привозят из города сардинки

и еще кислую осетрину... разве это похоже? А?.. Я возьму, но я боюсь, что это глупости. Дедушкина рыба в коробках.

— Если думаешь — глупости, не бери,— сказал доктор.

— Речка-то, чать, на вашей земле, ну и рыба ваша... беспонятный! — сказал тот, что с веснушками.

Но тут торопливо подхватил дребезжащий, назойливый голос нового мальчика:

— Ишь бают, не ихняя земля, а была барская, а теперь наша. А они взяли да захватили. Откуда вы, ну-ка сказывай? Ага, вот и не знаешь.

— Я — мамин... и еще папин... и дедушкин,— запинаясь ответил Петрусь.

— Ага! А мы здешние и земля здешняя, и речка, и лес... А вы рябого солдата наняли. Вот надобно нам оглобли, а батя говорит: баба, дай два двугривенных. А мамушка говорит: где я тебе, народимец, их возьму. А батя говорит: Сёмка, айда в барский лес, я буду рубить, а ты стереги. Вот стал батя рубить, а я стеречь, и говорю: батя, рябой солдат увидал. Вот мы с батей пустились бежать, а солдат за нами. Глядь, навстречу — Апроська, солдатова жена... с туеском... с ягодами. А мы с батей бежим, а солдат окоротился. Мы обернись, а он туесок-то вышиб, да за косы ее, за косы... Так и убежали.

Все засмеялись, в том числе и доктор своим «идиотским» смехом.

«Мерзавец!» — подумал Струков про Максима и, вспомнив, что Наташа так и не поговорила с этим дикарем, гневно стиснул в руках ружье и пробормотал: «Фразы... Только фразы!..» Но через мгновенье стал слушать с прежним вниманием, испытывая особое наслаждение от бесхитростных детских речей и от того, как вел себя Григорий Петрович.

— Вам бы надо притаиться,— сказал доктор.

— Экося, братец, испужались! — ответил Сёмка.

— Видно, не свой лес, а заплати деньги — будет свой,— сентенциозно пропел тоненький голос.

— Да чьи деньги-то? — горячо возразил Сёмка.— Деньги царь делает. А мы царевы мужики, а они — самовольники: землю не пашут, подать не выплачивают.

— Я тоже буду царев мужик,— вдруг заявил Петрусь, обидчиво собирая губы.

— Теперь все царевы,— примирительно сказал веснушчатый,— а допрежь были барские. Дедушка сказывал, на

конюшне тогда секли. Теперь в волостной, а при господах на конюшне. Дедушку семь разов секли.

— Вот Ерёмкиного отца намеднись отодрали,— сказал кто-то из толпы.

Ерёмка, чернявый и необыкновенно грязный, лежал на животе и задумчиво смотрел на огонь, от времени до времени помешивая в нем хворостинкой. Услыхав про отца, он вспыхнул до слез и застенчиво проговорил:

— Ничего... Батя говорит, не дюже больно...

Доктор погладил его кудлатую головенку и сказал:

— Конечно, ничего. Меня в училище драли. Надо кусаться. Я прокусил палец учителю, он и бросил.

Все опять и на этот раз с особенным удовольствием рассмеялись, даже развеселившийся Ерёмка.

Не детская боль в лице Ерёмки, когда упомянули о высеченном отце, выражение доктора, когда он погладил мальчика и неожиданно посоветовал кусаться, громкий ребячий смех, в котором, ничего не понимая, но гордясь «дядей Гришей», принимал участие будущий «царев мужик» Петрусь,— все это тронуло Алексея Васильевича до глубины души. «А, какой это, однако, тонко чувствующий и сердечный человек!» — воскликнул он про себя и вышел на огонь.

Возник маленький переполох. Собаки бросились с дружным лаем; ребята стали их отгонять и успокаивать; Петрусь радостно закричал: «Папа!.. Да это же папа... Не надо бояться!..»

— Я давно вас наблюдаю,— весело сказал Алексей Васильевич, целуя сына и крепко пожимая руку доктора,— и, позвольте признаться без церемоний: успел полюбить вас в эти четверть часа. Как вы достигли такой умилительной простоты отношений!

— А я, папа, в ночное пришел,— перебил Петрусь.— Я ночевать здесь буду. Мама позволила ночевать с дядей Гришей.

— Ты?! Ночевать?! — воскликнул Струков, и вдруг нехорошее чувство шевельнулось в нем.— Вот как вы сумели овладеть доверием Натальи Петровны,— сказал он Бучневу, притворно улыбаясь,— давно ли мы на выстрел не подпускали «народ» к нашим детям!

— Я — доктор.

— Да, это правда. И я очень рад. Поверьте, очень рад... и за детей, и за Наташу. Ну, господа, садитесь и ложитесь

по-прежнему. Позвольте мне чаю, Григорий Петрович. Гм... не думаете вы, что из одного блюдечка можно схватить кое-что?..

— Нет. Тут почти все сифилитики, но все в безопасной форме. Не бойтесь.

— А, тогда конечно... Что же вы, господа? Идите. Как у вас хорошо! Я тоже ночую здесь... Помните, доктор, Бежин луг? Только там не было таких интересных, но, в сущности, ужасных разговоров...

— Чем ужасных?

— О розгах, о своеобразной политической экономии, о краже как о нормальном явлении. И все это из уст детей. Потом, согласитесь, страшно слышать, что почти все сифилитики...

— Такова жизнь.

— Но ужасная, Григорий Петрович!

— Не все ли равно? Всякая кончится разложением,— я хочу сказать: в пределах материи.

— Но что же станется с Россиею!

— Сопьется, я думаю.

— Ну, с этим-то я не согласен. Эти толки о пьянстве...

— Какие толки. Дайте мне сто рублей — ручаюсь, спою любую деревню. Старики, молодые, женщины, дети — все сопьются. И все будут делать, что прикажу.

— Но вы знаете, конечно, что по статистике...

— Да, потому что водка — пять целковых. Надо начать с дешевой, с даровой. Баб, девок, детей и тех, про которых говорят — «в рот капли не берут», надо растравить наливкой... Утверждаю — все «устои» сдвинутся. И легко. Внутренней преграды никакой нет. Тесто. Помните, кто-то находил в разиновщине что-то сверхчеловеческое, демоническое? А это просто была водка. Будь Степан Тимофеевич немец, он бы все Поволжье закабалил на фабрику, но так как он был такой же русский мужик, то и сам спился. То же и Пугачев.

— Вы просто не любите Россию.

— И нечего в ней любить.

— Однако я вас застаю в ночном, в чисто русской, в тургеневской обстановке...

— Могли бы застать в Америке, в Англии, в бретгартовской, в диккенсовской обстановке. Я люблю... как вы давеча выразились,— простоту, да еще умилительную. С детьми и с животными это легче всего.

— В этом, пожалуй, вы правы. Помните у Глеба Успенского? «Па-аршивая цивилизация!..» Какой воздух!.. Как восхитительны эти нежные звезды!.. И дрожащий отблеск от костра... И силуэты лошадей на темной синеве неба... И запах точно живая вода... Господа! Мальчики! Что же вы не идете?

Но «господа» шушукались и держались в отдаленье. Одни плели кубарь, другие ушли к лошадям, кое-кто расположился на ночлег... Петрусь сидел на корточках около кубаря и — увы! — Алексей Васильевич слышал, как радикал Сёмка говорил ему подобострастно: «Вы, Петрушенька, подальше... тут дерьмо... сапожки замараете...» Было ясно, что неожиданный гость всем помешал, всем испортил настроение. И Алексей Васильевич чувствовал это... Но ему ужасно не хотелось уходить. Как-то хорошо и дружелюбно волновалась его душа, и в ее глубине таилось предчувствие, что эта полоса свежести, доброты, симпатии захватит и Григория Петровича. И, посадив к себе на колени начинавшего дремать Петруся, он заговорил с доктором о своей молодости, о гимназии, об университете, о заграничной жизни, о некоторых общих знакомых конца восьмидесятых годов и в конце концов, почти бессознательно, о женщинах и о женской любви. Бучнев сначала больше слушал, но мало-помалу оживился чрезвычайно, хотя и невеселым оживлением. В противоположность Струкову, он ничем хорошим не вспоминал старого времени, соглашаясь, однако, что и новое время скверно. Его определения людей, событий, общественных настроений, господствующих идей были язвительны и беспощадны. О женщинах он сказал, что допетровские моралисты правы, ненавидя их наряду «с пьянством, табачным зельем и игрою в бубны и сопели»; что это останется правдой до тех пор, пока будет существовать предрассудок романтической любви,— то есть вечно останется для большинства и исчезнет для избранных; что для избранных любовь не наслаждение и не двухспальная кровать, а закон механики, по которому соединенные и целесообразно скомбинированные силы легче подымают тяжесть; что физиологические подробности не должны иметь места в настоящей любви, и лучше совсем без них, а если нельзя, то пусть самка выбирает самца, а не наоборот, как это принято у людей.

— Но что вы скажете о так называемых изменах? — спросил Струков, понижая голос, как это он делал во вре-

мя, когда говорил о женщинах и о любви: его почему-то стесняло присутствие Петруся, хотя тот давно уже спал.— Не в вашем, не в идеальном браке, а в нынешнем?

— Какой идеальный брак! — воскликнул доктор, не отвечая на вопрос.— Это все равно что холодный огонь, сухая вода... Я этого не говорил. Я думаю, так лучше то, что вы называете моим идеалом, но, во-первых, все-таки скверно, а во-вторых, это у меня в голове, но в действительности, через сто, через тысячу лет может случиться совсем не там.

— Ну да, ну да... Но что вы думаете о так называемых изменщиках и изменщицах? — повторил Струков с притворной пугливостью, подчеркивая неграмотные слова.

— То же, что о лгунах... Зачем?

— Однако, согласитесь, бывают обстоятельства... Вы давеча солгали же... о прокушенном-то пальце!

— А! Совершенно верно. Благодарю вас. Да, я думаю, лгать не надо, но если иначе нельзя... Не знаю. Отказываюсь судить.

— Значит, действовать по внутреннему чувству? Без правил?

— У каждого свой демон, Алексей Васильич. То есть я не о библейском говорю, а какой был у Сократа. И это меня мало интересует.

Струков еще хотел что-то сказать, но только тоскливо поглядел на померкавшие звезды и глубоко вздохнул. Посмотрел вслед за ним ввысь и доктор, и тоже вздохнул, потом заговорил о другом. Алексей Васильевич не сразу стал слушать это другое. Он продолжал додумывать свои мысли о женщинах и о любви и немножко досадовал, что Бучнев прекратил этот разговор... Но постепенно слова доктора, новый звук его голоса, его лицо, странно выделявшееся в предрассветном сумраке, и вся какая-то сгорбленная, осунувшаяся фигура приковали внимание Струкова. Доктор говорил теперь медленно, с длинными паузами, в неопределенных и несвязных выражениях, очевидно совсем не заботясь, слушают ли его и поймут ли как следует. Алексей Васильевич думал, что понимает, и, к удивлению своему, испытывал двойственное, неправдоподобное впечатление от слов доктора. Одною стороною своего существа он ясно видел, что это либо возмутительные, либо отсталые, детские, давно похороненные мысли — «времен Очакова и покоренья Крыма» — в философии, как он выразился про се-

бя, но с другой стороны эти же самые мысли приобретали убедительность в его глазах, и он содрогнулся от жалости к доктору и к самому себе. В первом случае он слушал, как читал книгу, не думая об авторе; во втором — «парадоксы и анахронизмы» нераздельно сливались с унылым звуком голоса, с тем невысказанным, что чудилось Струкову в этой обнаженной голове с оригинальными выпуклостями на лбу, в этих резких чертах, смягченных страдальческим раздумьем, и в неуверенном полусвете возникающего утра, и в гаснущих звездах, и в задумчивой тишине окрестности. Мир представлялся доктору едва ли не бессмысленным и, наверное, неизъяснимым сочетанием «психо-физического» вещества, бессмысленно упавшего в пространство, без цели возросшего в капризной сложности форм, в самодовлеющем совершенстве. Кажущаяся закономерность этой игры — хрупкая выдумка людей, подвигаемых чувством скрытого отчаяния. То, что в выдумке называется «точными науками», годится куда-нибудь: ну хоть для того, чтобы где-нибудь под Седаном перебить в несколько часов несколько тысяч человек, или объехать кругом света в три месяца, или изобрести телефон, или узнать, что чудо не в трех китах, а в тяготении. Но из того же отчаяния произошли все гуманитарные дисциплины, все культы, все «узлы общежития», и за всем этим нет никакой объективной цены.

Одно имеет такую цену, это — самоотчаяние.

Оно замаскировано фикциями, — моралью, религией, наукой, общественным благом. Оно утоляется наркозами, — вином, любовью, хмелем власти, славою, красотою. Оно загромождено невежеством, трусостью, предрассудками...

Цель разумной человеческой деятельности — освободить его из скрытого состояния, раскидать хлам, распутать узлы, крикнуть на весь мир: «Да, все условно. Все подставлено, как делают в арифметических задачах с неопределенным решением, как в химии с теорией атомов. Правда в том, что мы беззащитны и одиноки».

— Мы страшно одиноки, — тихо говорил доктор. — Как дети, брошенные в лесу, мы то жмемся в кучку от страха, то, забывая все, бросаемся с радостным смехом на ягоды, то населяем зловещую тишину леса живыми существами, добрым волшебником, великодушной феей. А лес тянется без конца. Выйдем из одного, вступим в другой — в такой же безмолвный, бесконечный и необъяснимый. А если бы

то, что называют бессмертием, была тайна... Но это — холодная, определенная, серенькая, как осенний день, действительность... Почему, если там ждут чего-нибудь, то ждут совсем другое? Мне говорил один чудак в западных штатах, будто невыразимое в человеческой душе выразится там в формах и звуках, и это — рай. Он говорил справедливо. Нет блаженства, нет наслаждения выше тонкой, как предчувствие, как едва уловимый аромат радости, от чего бы эта радость ни возникла. Но, кроме невыразимой радости, в человеческой душе пробегают тени таких чудовищных замыслов, возможностей и мечтаний, что если тени станут формами и звуками, Дантов ад — игрушка в сравнении с этим... Не думали вы, как это ужасно? Не грезились вам эти формы?.. Эти звуки? Все равно. Надо раз навсегда понять это, и когда поймешь, надо говорить, надо делать... или застрелиться, если скучно.

— Может быть, самое интересное — застрелиться?

— Слушайте. Из всех так называемых благ и радостей жизни нет слаще блага и радости самоистребления.

— Самоистребление, это — свобода. Вы были в тюрьме? Нет? Вы, значит, не знаете того ужасного чувства, когда щелкнет замок и вам нельзя выйти? Это самое ужасное в тюремном заключении. И самое радостное в освобождении из тюрьмы: дверь отперта, иди на голод, на холод, на смерть... Куда хочешь...

— Вот почему возможность убить себя — единственное неподдельное счастье.

— Не будет ли эта возможность там?

— О, это был бы отличный случай пересмотреть все инстанции...— Бучнев невесело рассмеялся и, поднявшись во весь рост, проговорил, указывая на небо: — Вон видите, самая красивая из них — Большая Медведица — померкла!

Алексей Васильевич посмотрел на едва приметные искры созвездия, взглянул на измученное, жалкое, с распавшимися чертами лицо доктора, неожиданно для самого себя всхлипнул от внезапно подступивших слез и тихо сказал:

— Ах, дорогой мой, какие мы все несчастные... и больные!

IX

После встречи и разговора в ночном Струков чаще стал бывать в Апраксине, и когда бывал,— один ли или

с семьей,— непременно заходил к доктору и подолгу просиживал у него. Но отношения между ними не делались проще от этого сближения, напротив, все более приобретали характер какой-то странной и болезненной путаницы. Струков сам не отдавал себе отчета, что его влекло к доктору, какие были чары в этой «опустошенной душе», как он называл Бучнева после той ночи... И тем более не отдавал отчета, что втайне чувствовал, как наряду с этим влечением в нем тлеет настоящая ненависть к Бучневу, быть может разросшаяся из первоначальной антипатии,— ненависть к его лицу, к голосу, к походке, к смеху... Особенно к смеху. Иногда по какому-нибудь ничтожному поводу эта ненависть вспыхивала, сказывалась в мимолетно брошенном взгляде, в интонации, в язвительном замечании, в невольном содрогании мышц на лице Струкова. В это время он готов был грубо оскорбить доктора, с наслаждением воображал, что вот еще мгновение, и он вызовет его на ссору, унизит, потом убьет на дуэли, отомстит за эту неизъяснимую потребность в свиданиях с ним, в откровенных разговорах, в излияниях... Замечал ли Бучнев такое к себе чувство — неизвестно, но при встречах с Алексеем Васильевичем на его лице все чаще появлялось выражение сдержанного любопытства, а в разговоре звучали мягкие ноты, уступчивость, снисходительность. И обыкновенно это действовало, как бальзам, на больное сердце Струкова, хотя в особенно злые минуты, в свою очередь, раздражало.

Впрочем, в столь мучительной сложности отношений не одна только личность доктора играла роль. Наташа день ото дня отдалялась от Алексея Васильевича; Петр Евсеич делался раздражительнее и придирчивее; были и еще причины, уподоблявшие душевное состояние Струкова своего рода безумию, и, как это ни странно, из таких причин немаловажную роль играла погода.

Вторая половина лета стояла в тот год жаркая, ветреная и сухая. По неделям в воздухе стоял приторный запах гари, висел туман, сквозь который точно кровавое око светило солнце... Говорили, что где-то за Волгой горят леса. На выжженной отаве, на пыльных и раскаленных полях с грубой и редкой растительностью скотина изводилась от бескормицы. Урожай вышел недурен, но зерно, захваченное горячими ветрами, получилось щуплое и легковесное. Заработки были плохие: голодные стаи татар из Казанской губернии наперебой понижали плату за жнитво, другие же

работы оплачивались дешево потому, что на пристанях стояла непонятная низкая цена на хлеб. Самые предусмотрительные из крестьян и помещиков угадывали, что следовало бы удержать хлеб до будущего года, но совершенное отсутствие денег у тех и других и предстоящая нужда в этих деньгах для осенних податей, для расплаты с рабочими, для взносов в банк заставляла самых предусмотрительных заваливать рынок. Волей-неволею возлагали надежды на хороший сев, на то, что будущий год «сам себя прокормит».

Однако и в обычное время озимого посева засуха продолжалась. Настроение в деревнях с каждым днем становилось унылее. Начинали вспоминать самарский голод двадцать лет тому назад и, как всегда накануне действительных или воображаемых бедствий, всюду возникали старые и вновь сочиняемые неизвестно кем легенды. Земля, по обыкновению той местности, едва всковыренная под озими, походила на золу. Одни, руководясь старинной пословицей, запахивали семена «в золу да в пору», другие ждали дождя... И все с одинаковым усердием и тоскою служили молебны на полях, устраивали крестные ходы, смотрели на небеса, следили за тем, не переменяется ли ветер... Но ветер упорно дул из Азии. Иногда забредала случайная тучка, лениво рокотал гром, лениво падал дождик. На короткое время унималась убийственная пыль по дорогам, переставали крутиться зловещие «чертовы свадьбы» — вихревые столбы, там и сям показывались вялые, худосочные всходы... И опять наступал зной с жгучими юго-восточными ветрами, с туманом в воздухе, с пристальным взглядом багрового, страшного, точно угрожающего ока.

В окрестностях Апраксина вместе с бродячими легендами стали распространяться свои, особые слухи. Говорили о том, что «небеса замкнулись» от новых землевладельцев — от их будто бы таинственной веры, от неслыханных отношений к народу, похожих на соблазны «антихриста». Так как будто затихшие толки, что когда-то с легкой руки «загадочного незнакомца» волновали Межуево, теперь снова поднялись и снова в отношениях деревни «господа» стали замечать какую-то скрытую враждебность,— Наташа с равнодушной покорностью, Струков и Петр Евсеич с необыкновенным раздражением, хотя, по обычаю, не соглашаясь друг с другом ни в оценке этой враждебности, ни в том, как бороться с нею.

Струков, впрочем, мало спорил; ему было не до того; все в нем трепетало от какого-то странного душевного беспокойства; какая-то потребность беспрестанного передвижения овладела им, и если он довольно часто бывал теперь в Апраксине, то еще чаще ездил в губернский город или, оставаясь один на хуторе, шел на пасеку, до утомления бродил по полям. А в то время, когда не ехал куда-нибудь и уставал ходить, жадно перечитывал и старые и новые книги, лишь бы не оставаться наедине с самим собою, лишь бы заглушить свое вечное беспокойство. Давно приобретенная способность делать, говорить и даже думать без всякой связи с тем важным, неподкупным и беспощадным, что таилось где-то на дне его души, эта способность все больше изменяла ему в последнее время. Бывали теперь дни, и особенно долгие бессонные ночи, когда насильственно схороненные мысли всплывали перед ним почти в осязательных очертаниях с таким упорством, как будто являлись откуда-то со стороны, точно их наносило ветром из пространства. Он с испугом уклонялся от них, как от разозленных пчел, когда бывал на пасеке; делал вид, что не замечает их зловещего жужжания; притворялся, что ему некогда, что в другое время, не теперь, он готов выслушать их и, если нужно, отдать отчет. И в доказательство того, что действительно некогда, торопливо принимался думать о только что прочитанной книге, проводившей совершенно новый взгляд на реформы Петра, о любопытной журнальной статье, перечислявшей новейшие завоевания в области астрофизики, о критиках на один роман и о критиках на эти критики; воображал даже то, что всегда ему чудилось за кулисами этих «критик на критики» и что всегда смешило его: охрипшие голоса, растрепанные шевелюры, сбитые набок галстуки... одним словом, все то, что бывает, когда дело не в уязвленных самолюбиях, а каждому дорога истина. Но — увы! — ни смешное, ни интересное не отгоняли душевной грозы... И он спешил перебежать к самым текущим, неотложным своим делам, думал о новой поездке в город, о журфиксе у Стишинских, о реферате для сельскохозяйственного общества, о предстоящей борьбе с управой на земском собрании, воображал себя в приятном положении оратора, награждаемого рукоплесканиями из-за колонн или признательными улыбками дам на журфиксе, вызывал в памяти другие приятные картины — детство, молодость, сближение с Наташей... Все напрасно. Язвительные

мысли о том, что жизнь его тускла и проходит в непрерывном предательстве и самообмане, и что он не тот, что прежде, и что все это уже невозможно поправить,— эти мысли разрывали на части его сердце. И если это случалось ночью, на хуторе, он вскакивал с постели, с отчаянием хватался за голову, до изнеможения ходил по комнате и наконец пробирался к буфету, брал оттуда бутылку хереса — свое любимое вино — и пил до тех пор, пока и в голове, и в сердце не наступала блаженная, безразличная пустота... Тогда ложился и засыпал свинцовым сном.

Кроме хереса и вот этих назойливых передвижений с места на место, были у Струкова и другие отвлечения от одиноких мыслей. Эти отвлечения тоже на свой лад опьяняли, хотя, в свою очередь, вели к мучительным мыслям... Одно обстоятельство в особенности опьяняло, и мучило, и напрягало нервы, как у охотника за крупной и опасной дичью. Приходилось висеть на волоске от постыдной развязки, от скандального перелома в привычном складе отношений, может быть — даже от смерти... Другое обстоятельство заключалось, как я уже сказал, в странных чувствах к доктору,— в обостренном наблюдении за ним и Наташей, не в том грубом смысле, конечно, как наблюдал солдат Максим за своею Фросей, а в том, чтобы отмечать возраставшую между ними дружбу и выслеживать в себе самом процесс своеобразной ревности, великодушия и любопытства. И наконец третье, тоже довольно жуткое и возбуждающее обстоятельство находилось в связи с новым судебно-административным институтом.

Введение этого института вскоре ожидалось. В губернский город съезжались кое-кто из бывших посредников, мировых судей и непременных членов и, разбирая принципы и практические подробности нового закона, совещались друг с другом и с самыми видными представителями местной интеллигенции, принимать ли места земских начальников или нет. Большинство находило, что лучше дать дорогу новому вину,— решительным и расторопным молодым людям, уже обозначившимся на горизонте губернии. Так же думал и Алексей Васильевич. И мало того, что думал, но, появляясь в городе, на приватных совещаниях и журфиксах, выступал с такой блестящей и остроумной критикой, что ее как образцовую с восхищением подхватывала городская интеллигенция во главе с Яковлевыми и Стишинскими. А с другой стороны, он сам очень хотел взять долж-

ность земского начальника и искренне был убежден, что без всяких личных видов. Правда, денежная зависимость от жены мучила его в последнее время нестерпимо; правда и то, что без власти он все больше чувствовал себя как без рук в отношениях своих с крестьянами и с такими их притеснителями, как Юнусов, прямее сказать — скучал без власти. Однако не 2200 рублей жалованья и не внешний авторитет должности соблазняли его, а то, что в крестьянском самоуправлении и суде действительно совершались вопиющие злоупотребления и беспорядки. Ему грезилась возможность изгнать розгу из практики волостных трибуналов, подобрать хороших судей, писарей и старшин, ослабить влияние мироедов, уничтожить систематическое общинное пьянство. Затем он с значительной долею злорадства воображал переполох Юнусовых и отцов Демьянов — и думал, что именно во всеоружии благодетельно направленной власти можно с успехом бороться с тайной враждебностью деревни и уничтожать нелепые легенды и слухи... Таким образом, вопрос был для него не в том, хорош или неудачен новый закон,— тут никакого вопроса не было, но в том, чтобы стать земским начальником и чтобы все, самые либеральные люди, были также искренне убеждены, как он сам, что он по-прежнему последовательный, бескорыстный и очень независимый человек.

И именно потому, что он не хотел лицемерить, а только убеждать «на почве фактов», и убеждать только в отношении к себе и к своей местности, ему предстояла тонкая, хлопотливая и деликатная работа — не дома, а на журфиксах и совещаниях.

Дома Наташа отнеслась к этому с совершенным равнодушием, и лишь по едва уловимой тени, промелькнувшей в ее глазах, когда Алексей Васильевич сообщил о своем намерении, он мог догадаться, что у нее на этот счет свои, особые мысли. Зато доктор заступился за Струкова — впрочем, тоже с особенной точки зрения и вовсе не желая заступаться.

— А вы, дядя Гриша, пошли бы в земские начальники? — спросила Наташа.

Это было на террасе апраксинского дома в один из знойных, туманных дней с пепельным небом, с багровым пятном вместо солнца.

— Зачем же? Это такая же моя специальность, как, например, философия; я не юрист!..— ответил доктор.

— Да, но если бы ваша специальность была философия, вы бы, конечно, не затруднились стать профессором?

— Никакой не вижу разницы между профессором и земским начальником.

— Ой, миленький, как хватили! Но в чем же сходство-то?

— Жалованье, производство, мундир, начальство.

— Но деятельность... Деятельность-то разная!

— Все та же,— служба. Одно звено ювелирной работы, другое — попроще, из кузницы, а в общем неразрывная цепь или мрежи, или то, что по-немецки называют Polizeistaat...[1] Так, что ли, определяется государственный союз, Алексей Васильевич?

— Нет, не так,— небрежно улыбаясь, сказал Струков.

— Да термин-то? Научный-то термин?

— И термин не так. Rechtsstaat[2] или Verfassungsstaat[3]. Вот, если хотите, научное определение, да и к тому делаются серьезные поправки по мере вновь выясняющихся целей и задач государственности.

Петр Евсеич потребовал объяснения и, узнав, в чём дело, раздражительно всхлипнул и пробормотал на своем раскольничьем жаргоне:

— Одинаковая вавилонская блудница!

Наташа сочувственно улыбнулась. Внутренне негодуя и на нее, и на Петра Евсеича, Струков сделал, однако, вид, что не обращает на них внимания, и с усиленной небрежностью обратился к доктору:

— Во всяком случае, ваши «мрежи» не соответствуют ни действительности, ни науке права. Разве в том смысле, что в них уловляются дурные страсти и эгоистические интересы? Вспомните сказанное Гоббсом о естественном состоянии: «bellum omnium contra omnes»[4],—и опровергните, если можете. А раз не можете — «цепь» и необходима, и благодетельна. И участвовать в ней в качестве «звена» не так уж зазорно, как все вы тут думаете,— добавил он, не удержавшись. И еще добавил с возраставшей досадой: — А главное,— чтобы судить, надо знать... по крайней мере, настолько, чтобы кстати употреблять термины.

---

[1] Полицейское государство *(нем.)*.
[2] Справедливое (правильное) государство *(нем.)*.
[3] Конституционное государство *(нем.)*.
[4] война всех против всех *(лат.)*.

— Ну, миленький, ты просто становишься невозможным! — быстро вмешалась Наташа.— Кто говорит, что зазорно? И потом, чтобы сказать тепло или холодно, неужто надо проштудировать физику?

— Нет, что же, это правда, что я не юрист,— проговорил Бучнев, бросив мимолетный взгляд на Струкова,— но и то правда, что в естественном состоянии бивали друг друга дубинками, а теперь ружьями Манлихера. Так-то, Алексей Васильич,— прибавил он дружелюбным тоном и, сказав, что его дожидаются больные, ушел к себе во флигель.

Струков затрепетал от злости, он понял, что доктор удалился из снисхождения и что это понимают и Наташа с Петром Евсеичем; одно мгновение ему хотелось идти за доктором, потребовать у него объяснения... но в чем? А воздух был так удушлив... Деревья сиротливо поникли увядшей листвою. В небе совершалось что-то апокалипсическое... Алексей Васильевич глубоко вздохнул и начал рассказывать о новых нелепицах, ходивших в народе, не без тайной цели доказать этим путем свою правоту и, кстати, отомстить Наташе и Петру Евсеичу.

— Патагонцы!.. Изуверы-с!.. — кипятился старик.— Окончательно выше понимания, какие изуверы!.. Все распродать... Юнусовым распродать, пусть их обдирают «по-суседски»,— и за границу-с... Одно остается — бежать в чужие края от православного народушки. И убегу-с. Я болен-с... Мне невперенос подобная эфиопия...

— Откуда ты все это узнаёшь? — с неудовольствием спрашивала Наташа у мужа и умоляла глазами переменить разговор.

— Я думаю, и ты бы должна знать,— говорил он с насмешливой улыбкой,— если не сама, так дети наши постоянно теперь в народе. Неслыханная вещь: ходят по деревенским избам; Петрусь ночует в поле, пьет и ест из одной чашки с крестьянскими ребятами... Я очень рад, но помните, Петр Евсеич, как мы смеялись над микробоманией Наташи? А ты тогда сердилась на нас.

Наташа покраснела и притворилась, что ищет какую-то вещь в рабочем столике.

— Петрусь всего только один раз ночевал в поле, с тобою вместе,— сказала она.— И потом, когда дети с доктором, это большая разница.

— Да, доктор... отвергающий медицину.

— Пусть, но он дал слово беречь детей, а слово Гри-

гория Петровича...— Она взглянула на мужа и, поймав в его лице какую-то черту, тотчас же оправилась от смущения и рассмеялась. «А, ты ревнуешь!» — сказал ему этот смех.

В ту же ночь он уехал на хутор, а оттуда в город, где по соглашению с предводителем подал просьбу о должности, и целую неделю таким образом не был в Апраксине, истязуя и веселя себя тою мыслью, что дружба Наташи с доктором преуспевает...

В эту неделю в Апраксине произошло событие, давшее повод к еще новым деревенским басням. Мельник Агафон отравил свою Турку и скрылся неизвестно куда. Мальчики-пастухи видели только, как на восходе солнца по направлению к Волге маячила его сгорбленная, косматая фигура с посохом в руках, с мешочком за спиною. А собака лежала, точно спала, уткнувши свою страшную морду в лапы, на том самом месте, где так долго сторожила мельницу, хотя старик освободил ее от цепи и она могла бы уйти. Это событие до странности встревожило Петра Евсеича. Несмотря на усиливающуюся слабость и боли «под ложечкой», он сам посетил мельницу, тщательно зачем-то осмотрел опустевшую избу, несколько раз потрогал палкой издохшую собаку, а возвратившись домой, разразился бранью по адресу «Разсеи» и решительно заявил, что надо ехать к «просвещенным людям», то есть за границу, и что Наташа с детьми и с доктором непременно должны сопровождать его. «А господин земский начальник как хочет!»

Наташа сначала не подумала, что это серьезно. С тех пор как она стала неограниченно верить в Григория Петровича, она и за отца так же мало беспокоилась, как за детей. Доктор же не считал нужным сообщать ей о прогрессирующем течении болезни. И вот на заявление отца о заграничной поездке она ответила улыбаясь:

— Ах, создатель мой, как далеко! Не ближе ли в Крым, если хочешь? Право, мельник сумасшедший, а они везде есть, и Россия вовсе не так плоха.

Но ее страшно поразило, как принял это Петр Евсеич. Он ни слова не сказал, лишь посмотрел на нее жалкими глазами,— и вдруг желтые щеки его задергались, губы сморщились в страдальческую гримасу, послышались всхлипывания, потом рыдания... Этого никогда с ним не бывало.

Разумеется, Наташа тотчас же согласилась на все и не

знала, как успокоить старика. Затем она долго ходила с доктором по саду...

— Все равно, куда ни ехать: перемена климата уже мало значит,— сказал ей Бучнев, осторожно объясняя свой диагноз.— Но лучше ехать, куда хочет сам больной. В последнее время Петр Евсеич нехорошо упал духом,— этим только возможно объяснить сегодняшнее впечатление. Может быть, в другой обстановке оживет. Чем страстнее желает, тем больше шансов, что оживет. Но я все-таки думал, что он остановится на Крыме.

— Я сама так думала,— сказала Наташа,— я летом как-то говорила, что мне очень хочется пожить в Крыму,— для него, разумеется,— прибавила она грустно,— лично мне никуда и ничего не хочется,— и он ответил, что к зиме надо послать человека приготовить квартиру в Ялте, отправить туда лошадей... Вы ведь знаете, какие у него привычки, у миленького. И вот...

— А догадываетесь, отчего он раздумал?

— Нет.

— Помните, в газете был рассказан случай с погребением в Крыму одного приезжего купца-старообрядца?

— То есть не с погребением, а с вывозом тела на родину. О придирках полиции? О том, как все уладилось лишь благодаря случайному вмешательству высшей власти? Да, это произошло с...— Она назвала фамилию известного московского архимиллионера.

— Ну, да. И помните, как Петр Евсеич возмущался, говорил, что в России и умереть не дадут прилично! Вот отчего он раздумал.

— Но, боже мой, боже мой, неужели он сам ждет близкой смерти? И если ждет, неужели его интересует, какой будет обряд на похоронах? Нет, нет, миленький, вы ошибаетесь. А просто ему опротивели эти действительно отвратительные толки, басни, легенды, необъяснимое недоброжелательство вокруг и наконец эта ужасная погода. Как вы думаете? Я здоровый человек, и то иногда не прочь отдохнуть... Но, дорогой мой, как я рада, что и вы поедете. В душе такой мрак, такой холод... Но нет, неужто вправду он скоро умрет?.. Умрет... умрет...— повторила она с отчаянием, вслушиваясь в звук этого слова, и горько заплакала.

Бучневу казалось, что эти слезы не об одном Петре Евсеиче, и ему было очень жалко Наташу. В порыве этой жалости ему хотелось прижать ее к своей груди, утешить

ласковыми словами, сказать ей, что он всегда, всегда останется самым искренним ее другом,— хотелось даже поцеловать эти измученные, заплаканные глаза, обыкновенно гордые, а теперь с таким робким и беспомощным выражением... Но он только крепко сжал ее руку, тихо произнес: «Ах, Наталья Петровна, такое ли еще бывает горе!» — и сказал обычную свою фразу, когда хотел уйти к себе — что его ждут больные.

К приезду Струкова уже было решено осенью ехать в Париж, а зимовать в Сан-Ремо или где-нибудь около Ниццы. До тех пор Наташа с детьми и с гувернанткой совсем переселилась в Апраксино.

Алексей Васильевич прямо из города возвратился на хутор и застал там ошеломившие его перемены. Мебель из детской и из комнаты жены была уже отправлена, а та, что оказалась лишней, стояла в чехлах. Растворенные настежь гардеробы были пусты... Гертруда Афанасьевна и прачка Василиса могли только объяснить, что так приказала барыня, и еще доложили с неуловимым выражением на потупленных лицах, что «есть слушок, будто всем семейством уезжают в чужие края». Струков совсем растерялся и, чего долго не мог себе простить, стал расспрашивать Василису, принесшую ему чай в кабинет, не приезжала ли сама Наталья Петровна, не говорили ли чего-нибудь люди, присланные за вещами, не был ли кто из хуторских в Апраксине по каким-нибудь своим делам? И весь внутренне похолодел, когда Василиса с миной сообщницы оглянулась на дверь и, таинственно понизив голос, сказала:

— Оно точно-с, Лексей Василич, барыня не приезжали. И люди апраксинские... ничего такого не говорили, окромя что удаляются всем семейством. А шарабанчик ихний видели... Пастух Созонт видел. И будто сидят с дохтуром, Григорием Петровичем, и будто выезжают с пасеки, от Максима. А была ли там, не была Ефросинь Терентьевна, нам, женщинам доподлинно неизвестно. Ежели угодно — я в секундочку...

— Какая Ефросинь Терентьевна? — побелевшими губами выговорил Струков, но вдруг понял, что прачка величает так Фросю, и неожиданно для самого себя рассвирепел.— Зачем вы шепчете и оглядываетесь на дверь? — крикнул он.— Что тут за секреты... черт вас всех возьми! — И как ни хотелось ему тотчас же поехать в Апраксино и

сразу узнать, в чем дело, но из малодушного страха перед догадками и «общественным мнением» прислуги (он из лица и из шепота Василисы узнал, что эти унизительные для него догадки существуют!) все-таки остался ночевать на хуторе. И несмотря на то, что вся душа его разрывалась от тоски и беспокойства, а глаза упорно избегали останавливаться на лицах, он весь вечер проговорил с практикантом и Олимпием о засухе, о необходимости поставить новый амбар для непроданного хлеба, даже несколько преждевременно сообщил им, что будет земским начальником, и распорядился, чтобы послали за мастерами ремонтировать камеру. Зато ночь прошла в мучительной бессоннице и заснул он лишь на всходе солнца после целой бутылки вина.

В Апраксине, к которому Алексей Васильевич подъезжал на следующий день, готовый ко всему ужасному, он прежде всего убедился, что преувеличенная нервозность играет с ним нехорошие штуки. Наташа была очень грустна, но с первых же ее слов Струков узнал, что ничего «ужасного» не случилось и произошли неожиданные вещи совсем не того значения, которого он так смертельно испугался... Однако лишь самым первым, мимолетным его движением была радость, вслед за тем он неописуемо рассердился на всех за то унижение, которому подверг себя на хуторе, и на Наташу за то, что она решила ехать за границу. Спустя какой-нибудь час этот слепой гнев превратился в тот вдруг ставший бесспорным для Алексея Васильевича вывод, что между Наташей и доктором уже произошло «любовное объяснение» и что поездка ее за границу — результат такого объяснения. И когда все, кроме детей и англичанки, собрались, как это всегда бывало после обеда, на террасе, защищенной от солнца, он почувствовал, что его душит самая простая, самая мужицкая ревность. И начал говорить, бросая быстрые взгляды на жену и на доктора и беспрестанно меняясь в лице, что удивляется... недоумевает... что ему только и остается уехать к себе в Куриловку, что для него не только на словах, но и на деле важны отечество, народ, общественная деятельность... И что надоела бивуачная жизнь. И он не знает, есть ли у него семья или нет...

Сначала Наташа взглядом попросила его перестать, но убедившись, что это не действует, так и застыла в окаменевшей позе,— только лицо ее становилось все суровее и

строже. Доктор молчал, с обычной своей непроницаемостью покуривая трубочку.

Петр Евсеич неожиданно поднялся, подошел к Струкову и начал отвешивать низкие поясные поклоны; потом снова уселся задыхаясь и с невыразимым смешением тоски и глумления, с подобострастной учтивостью в словах и с злым огоньком во взгляде стал упрашивать Алексея Васильевича, чтобы отпустил жену.

– Да с чего вы взяли, что я ее держу? — возмущенный этой выходкой, крикнул Струков.— Я только говорю, что мне это неприятно, но она человек вполне свободный.

– Нет-с, вы извольте не на словах,— взвизгивал пожелтевший, как лимон, старик.— Нижайше вас прошу на бумажке-с... Паспорт-с... Григорий Петрович! Войдите в положение православной супруги: муж по этапу может вытребовать... Это ли не свобода-с?.. Ги, ги, ги! И почему же, осмелюсь полюбопытствовать, вам неприятно-с?

– Вы уже знаете,— ответил Струков.

— Не волнуйся, пожалуйста, Петр Евсеич, - сказала Наташа.— Я поеду.

Ну, вот видите, чего же вам? — с горькой улыбкой произнес Струков.

— Знаю, что поедешь. Но ежели отпускная жалуется сквозь зубы,— мне это в тягость. И тебе будет в тягость.

– Не беспокойтесь!.. Наталье Петровне не будет в тягость поездка! — вырвалось у Струкова пискливым звуком.— Господин Бучнев недаром интересный человек!

Наташа вспыхнула; в глазах доктора пробежало что-то неуловимое... Петр Евсеич взглянул на них и вдруг звонко, с каким-то истерическим всхлипыванием расхохотался... Все смешалось перед Струковым. Сам не свой от стыда, от внезапного сознания ошибки, он сорвался с места и ушел далеко, в глубину сада. Насмешливый старческий хохот,— дьявольский, как ему казалось, преследовал его неотвязно... Знойный ветер бил в лицо, развевал волосы. Деревья с покоробленными и тусклыми листочками печально шумели. В унылой дали, по дороге, уныло и однообразно вздымалась серая, скучная пыль.

«Как поправить?.. Как доказать, что я не имею права... и не хотел... и рад, если правда?.. Глупо... мерзко... гадко...» — говорил сам с собою Струков, широко шагая вдоль запущенной аллеи. И не мог ни о чем думать, а только повторял в такт шагов: «Глупо... глупо... мерзко гад-

ко...» — и смотрел сквозь просветы аллеи вдаль, и слушал, как жалобно шумели деревья — и страстно желал умереть.

И вдруг остановился и почувствовал, что ему больно, как от огня — от прихлынувшей к щекам крови... По той же аллее шел своей твердой и безмятежной походкой Бучнев. Одно мгновение Алексей Васильевич хотел скрыться — просто убежать, как делают маленькие виноватые дети, но тотчас же преодолел это и с протянутыми руками, с сердцем, переполненным раскаяньем, пошел навстречу.

— Простите ли вы меня, Григорий Петрович! — воскликнул он.— Я гадок, глуп, все что хотите, но я не то желал сказать, что сказал. Поверьте, это было какое-то наваждение.

— Я вам неприятен...— начал было доктор.

— О, нет, тысячу раз нет! Я мало знаю людей, которых уважал и любил бы... да, да, любил бы больше вас.

— Пусть так, но по временам я все же вам неприятен. Объяснимся. Петр Евсеич болен опасно. Я предполагаю, что у него рак печени. Делать тут доктору нечего, и я немедленно согласен уехать.

— О, нет, нет, дорогой Григорий Петрович, об этом не может быть и речи!

— Согласен бы уехать,— продолжал Бучнев, не обращая внимания на лихорадку, охватившую Алексея Васильевича.— Но это действительно невозможно: мне его жаль. С другой стороны, невозможно ему ехать без Натальи Петровны и нельзя вовсе отменить поездку. Теперь мне желательно слышать от вас, серьезно вы находите, что Наталье Петровне неудобно быть в одном обществе со мною, или это... так, игра вашего воображения? Проще говоря, вы ревнуете,— есть ли у вас на то резоны?

— Вы слишком определенно выражаетесь,— с замешательством сказал Струков и добавил с странным любопытством, от которого вдруг упало сердце: — А вы как находите, есть резоны или нет?

— Я очень люблю вашу жену,— спокойно ответил доктор.— Но это не то, о чем вы думаете. Могу дать слово, что немедленно и несмотря ни на что уехал бы, если бы приметил за собой что-нибудь... категорическое. Но этого нет и не может быть.

— Да, это с вашей стороны, а она?

Она? – по лицу доктора пробежала какая-то тень,

хотя он тотчас же и с прежним спокойствием проговорил — Ничего не замечал и с ее стороны.

— Друг мой, ничего и нет, заспешил Струков, и вы совершенно правы... И кто же говорит о правах!.. Я не знал, как серьезно болен Петр Евсеич... И потом, поверьте, у меня голова идет кругом... В сущности, я даже рад,— мне столько теперь дела... Смотрите — засуха, не кажется ли вам, что действительно может повториться самарский голод?.. Я отлично устроюсь холостяком... Съезжу, быть может, в Москву. Прикачу и к вам, покатаемся в Средиземном море!.. Я никогда не был на Ривьере... Ревности! ха, ха, ха... Хорош бы я был в роли Отелло с моими-то взглядами...— И Алексей Васильевич чрезвычайно долго, подробно и горячо рассказывал о своих взглядах на брак, на любовь, на верность, сознался даже, что у них с женою существует маленькая нестройность, но все это скоро кончится, и они заживут совсем по-другому... Доктор слушал, покуривая трубочку, ни один мускул не шевелился на его лице; а когда в излияниях Струкова наступила пауза, он в упор посмотрел на него и отчетливо произнес:

— В другой раз вы, однако же, удержитесь от таких сцен. Я этого не люблю... и не позволю.

Алексей Васильевич растерянно улыбнулся,— он не ожидал столь высокомерных слов в эту минуту,— хотел было еще раз попросить извинения, но Бучнев круто повернул от него по боковой дорожке. «Какой неприятный, однако, человек!» — воскликнул про себя Алексей Васильевич с вновь оживившейся ненавистью, рассматривая спину, обтянутую балахоном, кудрявый затылок, видный из-под смешного колпачка,— и вспомнив, как при его вопросе о Наташе тень неуверенности пробежала по лицу доктора, не мог удержаться от злых и досадных слез.

X

Впрочем, кое-как все уладилось и как будто не возымело дальнейших последствий. Правда, под гладкой поверхностью установившихся отношений, обычных разговоров и обычного порядка жизни сочились и бурлили себе втихомолку мятежные мысли и чувства, но все точно сговорились не замечать их. Струков по письму предводителя еще раз съездил в город, представился губернатору блистательно

опроверг на журфиксе у Яковлевых одного «прямолинейного», доказавши как дважды два возможность «modus vivendi»[1] между новым законом и «народническою деятельностью»,– разумеется, когда у «деятеля» есть собственный, особливый от писаного права «компас»... Остальное время Алексей Васильевич проводил то у себя на хуторе, то в Апраксине и очень был доволен, что его по-прежнему влечет к доктору, что Наташа точно забыла нелепую выходку на террасе и говорит с ним охотно и по-дружески.

– Знаешь, отчего я еще рад, что Григорий Петрович едет с вами,— сказал он ей однажды,– рад за наших мальчиков. По-моему, доктор великолепен с детьми. Он достигает с ними того, чего в России, да еще в господской обстановке ужасно трудно достигнуть: правдивости отношений; умеет внушать им верные, без нервозов и иллюзий, взгляды на действительность.

– Как мне приятно́, что и ты так думаешь,— ответила Наташа,– и вот говоришь, что в России, да в нашей обстановке трудно. Представь, того же мнения и дядя Гриша... то есть о трудности. Он говорит, если есть средства, лучше воспитывать за границей.

Мятежное чувство кольнуло Струкова, но, подавив это чувство, он осторожно заметил:

– Да, но есть другая опасность: дети могут обратиться в беспочвенных космополитов.

– В безусловно порядочных людей, я думаю!

– А помнишь воспитание Бельтова в герценовском романе, а что из этого вышло?

– Ах, создатель мой! Тогда условия западной жизни и русской были слишком различны. Тогда была Россия мертвых душ, гоголевская Россия. Воспитать так для общества Чичиковых и Ноздревых действительно страшно.

— А теперь щедринская Россия и господа Головлевы стоят Чичиковых.

– Но сам же ты...

— Я только до конца довожу ваши с доктором мысли Я хочу сказать, что с детьми, воспитанными за границей, может, придется и остаться за границей... совсем!

– О, и он то же говорит!

---

[1] образ жизни (*лат.*)· установить его · значит определить правильные взаимоотношения

· Magister dixit?[1] – с притворной шутливостью произнес Струков; его опять кольнуло, и на этот раз он не мог удержаться и продолжал с горечью: – Я понимаю Григория Петровича. Для него отечества не существует. Их мировоззрение с Петром Евсеичем — нетовщина... Я не умею иначе назвать. Но ты, ты, Наташа? Помнишь, как ты тосковала о России? Помнишь, в Кью-Гардене, на берегу Темзы... что нам мерещилось тогда? Помнишь дорогу из Фонтенбло в Париж и костромскую песню, и все, и все?

– Ах, не говори... Много ли, миленький, дала нам Россия,— сказала Наташа, заражаясь его волнением, но больше ничего не прибавила, подавляя, в свою очередь, мятежные чувства и мысли, и только когда он вышел, заломила с отчаянием руки и воскликнула про себя: «Господи! И зачем это дети, семья, когда и без того не знаешь, как жить и что делать!..»

Раз, в том же Апраксине, случился еще очень взволновавший Алексея Васильевича разговор, хотя совсем по другому поводу. Наташа рассказывала, как она с Григорием Петровичем ездила на пасеку и о своих впечатлениях от Фроси и Максима.

— Вот странные отношения,— говорила она,— если бы я была суеверна, я бы предсказала этой паре дурную судьбу. Он — точно бомба, заряженная динамитом, а она — будто наслаждается этим, без всякой нужды дразнит его, употребляет какие-то загадочные словечки, кокетничает... Помните, дядя Гриша, с какой улыбкой она на вас посмотрела? Я уверена, только оттого, что это было при муже.

— Криминалисты итальянской школы наверное, определили бы обоих как врожденных преступников,— сказал доктор,— у него ассиметрия в строении черепа, грубые волосы, выдвинутая челюсть, у нее — жестокий, чувственный рот, чересчур мягкие очертания фигуры — змеиные! — ясно выраженное отсутствие воли в рельефе лба и подбородка, а в глазах... я бы сказал что-то пьяное или, пожалуй, признак одностороннего помешательства.

– Но как удивительно красива! — воскликнула Наташа.

— Это криминалисты,— глухо говорил Струков, копаясь с испорченной Алешиной игрушкой, которую взялся починить,— ну, а вы? Ваше мнение?

---

[1] Магистр сказал? *(лат.)*.

— По-моему — типическое отвращение друг к другу организаций, двух душ.

— Обоюдное отвращение?

— Да. Только в природе физических тел, например, это формулируется гораздо проще, хотя и там, если не ошибаюсь, до сих пор не знают, что такое химическое сродство и почему г-н калий больше любит г-жу серную кислоту, нежели г-н алюминий. Это, видите ли, ни больше ни меньше, как проявление «мировой энергии»! А враждебная противоположность между электроположительными и электроотрицательными элементами. Что мы знаем об этом? Но если не знаем, так, по крайней мере, ясно видим. Враждебность душ видеть гораздо труднее. Я сказал — обоюдное отвращение,— вы, Алексей Васильич, находите это невероятным? Но это оттого, что оно маскируется. Одна сторона, муж, вместе с отвращением злобно любит за внешность, за неуверенность в обладании, за красоту,— Фрося, действительно очень красива,— другая любит за безобразие, за риск, за ревнивую ярость.

— Вот уж вздор! — вырвалось у Струкова.

— Почему же? — спросила Наташа.— Кроме ее кокетливых привычек, ведь мы ничего не знаем о ней. Никто не говорит, чтобы она изменяла мужу.

— И потом, отчего бы ей не уйти в противном случае? — сказал доктор.— В крестьянском и особенно дворовом быту тысячи фактических расторжений брака... Нет, они живут вместе. Я не удивлюсь, если он ее убьет или она его отравит, но до тех пор происходит то, что случается довольно часто: отвращение скрашивается азартной игрою в тайны, в секреты, в жгучие ощущения, в своего рода кошку и мышку. Если Фрося и изменяет — это ничего не доказывает. Это доказывало бы только, что ей нравится осложнять страшную прелесть игры. В этой области человеческих отношений есть материал для удивительных открытий... И еще больше вечных загадок. Больше чем где-нибудь здесь нельзя судить. Иногда можно лишь догадываться... и всегда сожалеть о несовершенстве наших знаний, о том, что наука и здесь, по обыкновению, захватывает лишь поверхность. А структура действующего права — поверхность поверхности.

Струков весь был полон возражениями, но не решался произносить их.

— Но в отдельности Максим такой добрый, простодуш-

ный мужик,— сказала Наташа,— а она такая милая, веселая, работящая...— Потом добавила рассмеявшись: - Впрочем, она, на мой взгляд, сильно изменилась, по крайней мере, со мною. Заметили вы, Григорий Петрович, как она вызывающе держалась, как нехорошо взглянула на меня? Как проговорила: «Вы бы, сударыня, чем о людях заботиться, вокруг себя позаботились?» Правда, с моей стороны было, пожалуй, глупо просить Максима жить в ладу с женою.

Петр Евсеич в последнее время опять обложился документами и юридическими книгами и по целым часам сидел взаперти, впуская к себе лишь одного доктора. Это снова составлялось завещание. Но теперь случилось так, что он присутствовал при разговоре и, что несколько удивляло Наташу, упорно молчал. Вдруг его точно прорвало. С необыкновенным оживлением он начал возражать доктору, заговорил слово в слово то же самое о «брачном вопросе», что проповедовал когда-то по дороге в Кью-Гарден... Он после сознался, что оттого долго молчал — не хотелось спорить с доктором: они ведь так сходились друг с другом, а теперь доктор утверждал «какую-то мистику навыворот». Но что еще больше удивило Наташу, так это то, что Алексей Васильевич соглашался со стариком во всех пунктах, и с необыкновенной горячностью... Впрочем, она объяснила это по-своему, и когда Петр Евсеич, позвав с собою доктора, удалился, тихо сказала мужу:

— Спасибо тебе, что соглашался. Ему очень вредно раздражаться.

— А ты предпочитаешь быть в тумане бучневских теорий? — с нехорошей улыбкой сказал Струков.

— Почему же в тумане? Мне ясно, что он говорил.

— Что Афросинью привязывают к мужу сильные ощущения и... тпфу!.. какая-то развратная любовь, а не закон?

— Если закон, отчего же она, правда, не уйдет от Максима?

— Куда? Еще недавно твой отец напомнил о существовании этапного порядка.

— Полно тебе... Охота вспоминать слова больного человека.

— Я напоминаю, а не вспоминаю. И еще раз убеждаюсь, что в твоих глазах господин Бучнев непогрешим, как папа.

Глаза Наташи сверкнули. Она готова была крикнуть:

«Да, да, да, он в миллион раз и во всем справедливее тебя!» – но промолчала и через мгновение произнесла с видом усталости:

– Оставим это... Что нам друг друга исповедовать.

А Алексей Васильевич чувствовал, что даже шаги доктора, доносящиеся из соседней комнаты, колышут в нем целое море снова поднявшейся ненависти, хотя в глубине души он сознавал, что ненависть эта беспричинна.

Не дальше, как через три дня после описанного разговора, та беспричинная ненависть, которую Струков не мог заглушить в себе при мысли о докторе, повела за собою едва не катастрофу.

Дело произошло так. Несколько недель тому назад, в праздник, к Бучневу явился мужик с рукою на перевязи и со слезами на пьяном, опухшем и окровавленном лице «Христом-богом» просил полечить. Рука оказалась переломленною в драке. Григорий Петрович долго и с обычной своей обстоятельностью в операциях возился с мужиком, посещал его и на дому, верст за шесть от Апраксина до тех пор пока рука великолепно срослась и мужик мог приняться за работу. И вот через три дня после разговора о Максиме и Фросе, когда Струков, решительно не испытывая того, что называл своим «навождением», сидел у доктора и с удовольствием развивал перед ним свои взгляды на возможность «modus vivendi», в дверях появился и смело выступил на середину комнаты этот удачно вылеченный пациент. Он сначала вкрадчиво, в неприятно льстивых и запутанных выражениях, а потом довольно нагло стал требовать свидетельства «об увечье». Доктор долго оставался равнодушным.

— Да на какого тебе черта свидетельство? — говорил он мужику. В противоположность Струкову, он был в нехорошем своем настроении.— Пристаешь, а у меня и чернил нет. Надо в дом бежать, а там барыни: надо одеваться. Видишь я в чем сижу.

– Нас эфто не касаемо, хоть нагишом сиди, а свидетельству подавай, ты на то приставлен,— упрямо твердил мужик, все более и более возвышая тон.— Нам без свидетельства никак невозможно. Четыре недели без работы прослонялся... рабочую пору. Я за мордой не гонюсь — рука дорога. Можа, господам которым, а нашему брату лежать не приходится. Поданя-то не с вас, а с нас.

– Вот и вышел остолоп. Я же тебя вылечил, нянчился с

тобой, а ты меня шпынять пришел. И деньги твоей бабе даны... Все врешь.

— Кто тея шпыняет? Хучь вы, к примеру, и получаете от царя, что следуемое, но мы завсегда благодарны. А свидетельству подай. Ты на то приставлен. У меня, коли на то пошло, и аблакат в телеге дожидается.

— Какой аблакат? Зачем?

— Судиться желаю.

— С кем судиться?

— С кем дрались, с Фомкой с Брюнчиком. Я за мордой не гонюсь, а насчет руки... Прямо к следственнику едем.. Четвертной убытков... В увечье...

— А! Так вот на что понадобилось свидетельство,- зловещим шепотом выговорил доктор и вдруг крикнул: - Алексей Васильевич, станьте у дверей!

Струков взглянул на его побелевшее как бумага лицо, на глаза с грозно мерцающими зрачками и испугался.

— Что вы хотите делать? — воскликнул он.

— А я ему залечил, я и сломаю... И засвидетельствую, что сломана,— проговорил Бучнев и грубо схватил мужика за руку. Произошла отвратительная сцена. Мужик растерялся, завопил пронзительным голосом: «Ай!.. ай!.. Пустите душу на покаянье!.. Ай, батюшки, не буду... не буду... другу-недругу закажу!..» — и, отчаянным усилием освободивши наконец руку, опрометью, без шапки, выбежал из флигеля.

— Я тебе дам свидетельство! — гремел доктор, выбрасывая в окно мужикову шапку, но тот уже был около телеги, в которой внезапно поднялся во весь рост какой-то мужчина в потертом пиджачке и с подвязанной щекою и начал что есть силы нахлестывать лошаденку. Несчастный мужик успел, однако же, навалиться животом на грядушку и в таком положении скрылся в клубах пыли, поднятой быстро мелькавшими колесами.

Ошеломленный Струков несколько минут молчал, тяжело переводя дыхание. Доктор несколько раз прошелся по комнате, затем, как ни в чем не бывало, закурил трубку, и... простодушно рассмеялся.

— Дрянной мужичонко,— сказал он,— впрочем, это его непременно где-нибудь в кабаке этот стрюцкий науськал.

— Послушайте, неужели вы серьезно хотели сломать руку? — спросил Алексей Васильевич, чувствуя, что не в состоянии отвести глаз от стоявшего перед ним доктора.

Конечно, нет.

Ну, а по вашему лицу видно было, что да.

Может быть, не знаю, - неохотно ответил доктор.

Я не понимаю такого обращения с народом.

– При чем же тут народ? Будь он барин. это все равно.

- Сомневаюсь, чтобы вы так поступили с барином,- поднявшись и усиливаясь сдержать трясущуюся челюсть, сказал Струков.

– Отчего? Не сомневайтесь.

Ну, вот я – барин, и я говорю вам, что вы сделали подлость! – крикнул Алексей Васильевич.

Глаза его впивались в лицо доктора с какой-то сумас шедшей настойчивостью.

Прежде Бучнев в ожидании таких взрывов пристально следил за Алексеем Васильевичем. Теперь ему было не до того.. Он усмехнулся, потом сказал усталым голосом:

– Я говорил, что я вам неприятен. Охота петушиться. Если подлость – я сам себя накажу. Если вы хотите узнать, поступлю ли я так с вами,– вам надо стакнуться с стрюцким, кляузничать, требовать от меня заведомой лжи, пособничества в кляузе. Ваш тон и даже больше – ничего не могут доказать. Я ведь оскорблений так называемой чести не признаю, предрассудок «собственного достоинства» отрицаю...

Струков ничего не понимал. Шум крови в его ушах перебивал голос доктора. Да если бы и не шумело, он все равно не разобрал бы, что тот говорит ему. Он только видел, как омерзительно шевелятся эти тонкие губы, как отдает желтизною мускулистая ненавистная щека с подлой чисто вымытой морщиной около носа.

– Что у вас тут случилось, Григорий Петрович? - послышался за дверями торопливый и встревоженный голос Наташи.

– Нельзя, нельзя, я не одет! – крикнул доктор.

И в тот же миг раздался сильный, отвратительный звук... Григорий Петрович пошатнулся, как-то странно взвизгнул и с страшным лицом, на котором горело розовое пятно, бросился к Струкову,– и схватился за ручку двери.

– Я не одет, Наталья Петровна.. И успокойтесь... Через пять минут приду в дом... - сказал он почти твердым голосом.

Наташа еще что-то говорила, потом ушла... Доктор прислушался к ее шагам, отошел от двери, сел и взглянул на Струкова. Никогда тот не мог забыть этого печального, усталого взгляда.

— Я готов... Когда? — хрипло выговорил он.

— Это стреляться-то, что ли?.. Нет, Алексей Васильевич, я не стану стреляться.

Струков криво усмехнулся, наклонил голову, колеблющимися шагами вышел из комнаты и, не заходя в дом, уехал на хутор.

Всю дорогу он чувствовал себя точно пьяный. Обрывки мыслей, впечатления, образы проносились в его отуманенной голове беспорядочной чередою... Вечерело. Где-то вдали надрывающим душу звуком мычала корова. Мутная пелена пыли нависла над выжженной степью. Солнце закатывалось, зловещее, тусклое, угрожающее.

По дороге встретился мужик верхом. Струкову отчетливо бросились в глаза его черное, загорелое лицо, до странности белые зубы, открытые удивленной улыбкой... Мужик что-то сказал, потом что-то закричал вслед,— было не слышно за стуком колес. «Чему он удивляется?» — подумал только Алексей Васильевич. Недалеко от хутора повстречался другой мужик, в телеге, и опять с раздражающей отчетливостью сверкнул ослепительными зубами на черном, как у негра, лице и закричал... Струков услышал и страшно переконфузился.

— Да, да,— закричал он уже далеко отъехавшему мужику,— это от ветра... Ветром сбило...

Он был без шляпы и только теперь заметил это. И только теперь заметил, что едет не на своей лошади и не в шарабане, а на дрожках апраксинского приказчика и на какой-то вислоухой, чалой кобылке. «Должно быть, он приехал с поля полудневать, и я взял и сел»,— подумал Алексей Васильевич, и точно это была та самая посылка, которой недоставало ему для умозаключения, воскликнул про себя: «Конечно, струсил!.. И надо бить... бить... Бить презренных трусов... И всегда буду бить...» Односложный, короткий звук слова совпадал с мерным постукиваньем расшатанного заднего колеса. И Струков уловил это, и на несколько мгновений это доставило ему особое удовольствие: будто кто другой соглашался, что надо «бить... бить... бить...». Но вдруг, как живые, взглянули на него печальные, усталые глаза, и всхлипывая, и сердясь на то, что

умозаключение рассыпалось, он что есть силы гнал сердито пофыркивающую кобылку.

Конюху он опять сказал, что шляпу унесло ветром, и еще сказал, что экипаж и лошадь понадобились в Апраксине, а это лошадь Авдеича и чтобы ее хорошенько накормили. Гертруда Афанасьевна так и ахнула, встретивши его в передней. «Батюшка мой, да вы как арап!» — воскликнула она с искренним соболезнованием. «Вот ведь любят меня...» — мелькнуло у Струкова, и он едва не заплакал от внезапного умиления. Потом умылся, переоделся, что-то долго и подробно рассказывал Гертруде Афанасьевне — все с тем же чувством умиленной любви ко всей ее рыхлой, неповоротливой фигуре; потом спросил чаю, хересу и, сказавши, что рано ляжет спать, заперся в кабинете.

...Было два часа ночи. Лампа с зеленым абажуром разливала мертвенный, спокойный свет. И с тем же мертвенным светом на застывшем лице стоял, прислонясь к стене, Струков. Только зрачки его глаз, неподвижно устремленные в одну точку, мерцали живым и еще мятежным блеском... Казалось, вся истлевшая от нестерпимой муки душа сосредоточила свою последнюю силу в этих глазах и догорала тревожным, колеблющимся, мелькающим в каком-то испуге огоньком.

Херес был не тронут. Около недопитого стакана с чаем лежал револьвер, на письменном столе — кругом исписанный листок почтовой бумаги.

За непроницаемой гардиной послышался стук... Струков оставался неподвижен. Через минуту стук повторился, можно было различить, как барабанили пальцем по стеклу и кто-то звал вполголоса... Струков равнодушно повернул голову, как будто это было так и надо, чтобы в два часа ночи стучали в окно,— равнодушно сделал несколько шагов и поднял гардину. И вдруг его лицо, похожее на безжизненную маску, преобразилось. Какое-то исступление, какой-то тоскливый восторг не скрасили, а исказили его черты... В туманном от пыли месячном освещении выделялась характерная фигура доктора.

— Впустите же, пожалуйста,— зорко всматриваясь сквозь стекло, говорил он,— я чертовски устал и хочу есть, пить, спать... что угодно.— И продолжал уже в передней шумным, притворно-веселым голосом: — А я таки не утерпел, сбегал к тому мужичонке, помирил его с Брюнчиком...

и с собою... Даже водки с ними выпил!.. А оттуда к вам... и есть страшно хочется...

Струков молча ввел его в кабинет.

— Эге! И огнестрельные припасы!.. И письмо!..— воскликнул доктор.— Алексей Васильич, побойтесь вы бога. Почему? Зачем? Что такое случилось? Фу, какой вздор! Позвольте-с... это мы приберем в ящик... Сюда?.. Письмо... Оставьте его на память. Ба! И вино, и сыр... Отлично! Теперь садитесь, и давайте выпьем. Я нынче выпью... Застрелиться никогда не мешает, но с толком, друже, с расстановкой, как говаривал покойник Фамусов.

Струков как сел на диван, так и не мог подняться. И не мог выговорить слова от мелкой, не перестающей дрожи во всем теле. И как несколько часов тому назад он был не в состоянии отвести глаз от доктора, так и теперь; но теперь вся душа его трепетала от невыносимого презрения к самому себе, от мучительной любви к этому человеку.

Григорий Петрович поднес к его губам стакан с вином, заставил выпить.

— Я не только оттого... Я за все... за все... хотел расплатиться,— трясущимися губами прошептал Струков,— но вы раздавили меня как червяка...

Доктор больно сжал его руку.

— Послушайте,— сказал он тихо и без всякой веселости,— послушайте... Я сто раз думал, что меня раздавили как червяка, и, вот видите,— жив. Я стал помнить себя с этим чувством бессильного отчаяния... Сначала детского, бессмысленного, но тем неменьше отравлявшего жизнь. Помните, Наталья Петровна спросила, шутя, отчего я — простой казак, а лицо у меня аристократическое? Меня и в станице дразнили подзаборным панычем. Фамилия моего отца не Бучнев. Один из моих братцев, не по матери, конечно,— птица высокого полета. В станице, в гимназии, где я воспитывался на таинственные средства... о, какие я давал клятвы отомстить за мать, за свое незаконное рождение. И только в академии понял, что это глупость. А потом... Хотите, расскажу о последующей карьере червяка? Слушайте... Или нет, лучше расскажу самое главное,— об остальном — вы читали сказочку Гаршина «То, чего не было»? Пошел кучер Антон, наступил сапожищем... и так далее.

Он встал, прошелся по комнате, отхлебнул из стакана и продолжал:

— Расскажу о главном. Была девушка... Называть ее не будем. Довольно вам знать, что случилось это в тридевятом государстве... как в сказке... Или, и назову... тоже по-сказочному — принцессой Милли. Скажите пожалуйста, любили ли вы по-настоящему? О нет, не так, не семейной любовью, не любовью мужа к жене,— в этом-то я не сомневаюсь,— а до экстаза, до превращения женщины в божество, с верою в ее нездешнюю силу, с мистическим очарованием от ее внутренней красоты и вместе от улыбки, от взгляда, от звука голоса, от простого движения руки?.. И если любили, отвечали ли и вам любовью? Снисходило ли к вам ваше божество? Чувствовали ли вы сладкий огонь ее поцелуев, тихий, счастливый смех, ласковую правдивость взгляда? — Он мельком взглянул на Струкова и невесело засмеялся.— Вы удивляетесь, что я выражаюсь так высокопарно? Ничего, это бывает. Больные, особенно с повышенной температурой, тоже так выражаются. Я лечил одного чахоточного... язвительный был малый, бурсак, элоквенцию терпеть не мог, и знаете, что заговорил однажды, незадолго до смерти. «О, сколь милы мне эти клейкие листочки на березе, и шум весны, и соловьиная песня...» Да каким чувствительным голосом! А Тургенева, бывало, читать не соглашался: приторный, говорит, у него язык...

— Продолжайте,— прошептал Алексей Васильевич.

— Ну, вот-с... Я и сейчас так люблю, а она... Вообразите вы волшебный недоступный замок какой-нибудь. Огромной толщины стены, бойницы, решетки... и далеко, далеко. Проще сказать, нет в мире такой силы, чтобы войти туда, взглянуть, пожать руку... И она там. Навсегда там, поймите это. И нет прежней, гордой и сильной принцессы Милли,— есть униженное, измученное, больное существо... У этого существа день и ночь бьется разбитое сердце, день и ночь тоскует в смертной истоме оскорбленная всеми оскорблениями душа... А тело!.. Ах, какое маленькое, худенькое, надорванное лишениями тело... и огромные, зовущие глаза...— Доктор низко наклонил голову... Струкову послышалось заглушенное рыдание,— он и сам едва удерживался, хотя многое не понимал в этой сказке.

— Зовет! — с необыкновенным выражением воскликнул Бучнев.— Голос, голос этот, ни с чем не сравнимый, я слышу, я не забуду его...— И неожиданно закончил после нескольких минут молчания: — А впрочем, давайте выпьем.

Потом еще долго говорил и много пил вина. Но не пьянел, только лицо его становилось все бледнее и печальнее да на тонких губах беспрестанно бродила жалкая, беспомощная улыбка. Утром же встал как ни в чем не бывало,— в окно с поднятой гардиной, предвещая такой же, как и вчера, ветреный день, кровавым заревом светила заря,— и сказал:

— Ну, и довольно. И я пойду... Спите себе. И — «ни слова, о друг мой, ни звука»: Наталье Петровне никакой нет надобности знать о нашей с вами ошибке... Да и никому.

Затем остановился в дверях и, надвигая свой колпачок, прибавил:

— А знаете, ваша жена ужасно напоминает ту... принцессу Милли... Любите ее, берегите, а разные там подозрительные чувства... понимаете? оставьте это. И притом, ими не удержишь,— таких, как она, только и удержишь... знаете чем? Подвигом, Струков. Это именно для них написано,— и он пропел фальшивым голосом:

Бу-у-дет бу-ря!.. Мы поспорим
И помужествуем с ней!..

Мужества-то и недоставало Алексею Васильевичу. Недостало даже на то, на что он было решился одно мгновенье: остановить Бучнева, показать ему исписанный кругом листочек — свою исповедь, свою нехорошую тайну. Он только глубоко вздохнул, когда фигура доктора, отчетливо и одиноко вырисовываясь на зловещем багровом небе, скрылась наконец в степной дали, и, возвратившись в кабинет, сжег листочек. Потом, не раздеваясь, повалился на постель; вспомнил еще раз, что произошло в эту ночь, содрогнулся от внезапно пробежавшего озноба и вдруг заснул тяжелым, беспробудным, похожим на обморок сном.

— Барин!.. Барин!.. Алексей Василич... Алексей Василич!.. Проснитесь, пожалуйста... Огромная неприятность!

Струков с трудом расклеил глаза, увидел над собой помертвелое лицо прачки Василисы и встревоженного практиканта и вскочил в ужасе.

— Что такое? Что такое? — забормотал он.— Что-нибудь с доктором случилось?.. Где?.. Когда?..

— С каким там доктором,— с недоумением произнес практикант,— солдат Максим жену убил.

Алексей Васильевич как подкошенный упал на стул.

— У-би-и-л, злодей, у-би-ил,— заголосила Василиса,— топором порешил, голубушку... Чуть дышит.

При последних словах Струков сорвался с места.

— Чуть дышит? Жива? — заторопился он, озираясь растерянными глазами,— пожалуйста... кто там... лошадей... за доктором...

— Уже послано,— ответил практикант,— и в Апраксино, и в Излегóщи за урядником. Но что делать с Максимом? Он в кухне... Пойдите к нему.

— Да?.. Ну что ж, я пойду... Что же, ничего... Пожалуйста, скорее доктора. И первая помощь... вино... носилки...

— Гертруда Афанасьевна с Олимпием давно уже там... И народ побежал.

— А, вот и отлично... и отлично...

Солдат Максим сидел на лавке, растопырив руки на коленях, и сосал давно уже потухшую трубку. При появлении Струкова он, как и всегда перед начальством, проворно спрятал трубку и вытянулся.

— А, здравствуй, Максим!.. Ну, что ты? Как ты там? — выговорил Алексей Васильевич, скользнув испуганными глазами по заросшему волосами изуродованному оспой лицу.

— Больше ничего, как прикажите падало прибрать,— отчетливо произнес солдат.

Раздались негодующие восклицания женщин, столпившихся за спиною Струкова... Алексей Васильевич ничего не понял.

— То есть как... падало? — спросил он.

— Апроськино тело, вашевскародие,— с прежней отчетливостью пояснил Максим.

— Но за что же? За что, несчастный ты человек? — вырвалось у Струкова болезненным стоном.

— Потому, нет моего согласья ейную распутную душонку покрывать. Я присягу примал.

«Злодей ты окаянный!.. Кровь пролил, да еще кочевряжится, рябой черт!.. Расстрелить тебя мало, подлая твоя душа!» — послышалось из толпы.

Ни один мускул не дрогнул на лице Максима. До прихода Алексея Васильевича он отрывочно, но подробно рассказал, как все произошло; теперь, перед барином, из особого чувства почтительности, он не хотел распространяться и возражать обозленной дворне. По-солдатски

устремив на Струкова глаза, он стоял безмолвно, протянув руки по швам. И лишь в самой глубине этих бессмысленных выпученных глаз трепетало что-то страшное и роковое.

— Да что тут с ним толковать,— злобно крикнул кучер Илья,— прикрутить ему руку к лопаткам и в стан... Костюшка, неси вожжи.

— Да, да, конечно... Нет, зачем же вязать,— не сознавая, что говорит, произнес Струков и вдруг, вспомнив, что Фрося еще жива, с отчаянием воскликнул: — Кто же с ней?.. Спешите туда... Дайте поскорей лошадь...— и торопливо вышел из кухни.

Все, кроме Ильи и конюха Костюшки, бросились за ним, а прачка Василиса мелкой рысцою побежала с ним рядом и, всхлипывая и легонько причитая, стала шептать, что «злодей нашел четвертную бумажку» в женином сундуке, что «она, горюша, напрямки ему, ироду, отбрила: мил, сердешный друг подарил, и тут-то он ее, окаянный, и полыснул топором»... Струков едва вслушивался в прачкины слова и решительно не понимал их значения. Только несколько дней спустя он вспомнил о них, и каким потрясающим укором они легли на его совесть. Фрося была еще жива, когда на пасеку примчались на случайно запряженной водовозке Олимпий и экономка и сбежался народ, но эту жизнь только и можно было приметить по едва слышному биению сердца. Несчастная не приходила в сознание. Дело случилось, вероятно, так. Фрося куда-то уходила, и в ее отсутствие Максим взломал топором замкнутый сундучок, нашел там таинственные деньги и, о чем не сказал на хуторе, выбросил и изрубил женины наряды. В это время она возвратилась, и между ними началась обычная сцена. Для урядника, явившегося производить дознание, представлялось загадочным, отчего она не стала, «по-бабьему обнаковению», вывертываться, не объяснила присутствие денег в сундуке какими-нибудь лживыми, но правдоподобными обстоятельствами, а прямо отрезала: подарил-де «милсердешен друг»? Однако женщины хором возразили на это, что у бабы только и есть за душой что наряды, а так как Фросе прежде всего бросилось в глаза изрубленное добро, то она, не помня себя, лишь бы досадить постылому мужу, и крикнула ему «в самые бельмы» о деньгах. Тогда он наотмашь ударил ее обухом.

— Но в таком разе сумлительно, как так супруг не допытывал, кто есть любовник,— строго сказал урядник,-

тем паче, вы говорите, завсегда имел такое обнаковение — бить и антиресоваться, с кем вожжалась?

— Да никогда и не было любовника, господь с вами! — наперебой ответили женщины.— Четвертной билет она всячески могла сколотить... мало ли чем! А что будто бы гуляла — просто со зла взвела на себя, из-за нарядов. До кого ни доведись — сердце возьмет.

Мужчины больше отмалчивались и вздыхали, а когда урядник стал их допрашивать поодиночке, отвечали, что «знать ничего не знают», что «слухов кабыть никаких не было», что «можа, когда и бивал, потому как же и не учить ихнюю сестру». Выходило так, что и Фрося была «хорошая женщина», и Максим «серьезный мужик», а ежели случился грех, значит, господь-батюшка попустил.

Вид Фроси был ужасен. Она лежала навзничь, с крестообразно раскинутыми руками. Вместо лица виднелась сплошная страшная рана, залитая кровью. От всей ее красоты остались лишь прелестные черные косы. При падении они рассыпались из-под голубенькой повязки и отчетливо выделялись на притоптанной траве своим вороненым блеском.

Когда приехал Бучнев, ему уже нечего было делать: Фрося умерла, так и не придя в сознание. Зато очень встревожил доктора Струков. Григорий Петрович нашел его на опушке, шагах в семидесяти от пасеки. Сгорбившись, сидел он на пеньке, ковырял хворостинкой под ногами и внимательно следил, как разбегались и прятались испуганные муравьи. Услыхав близ себя голос доктора, он поднял голову, хитро подмигнул в сторону пасеки и сказал:

— Видели падало? — и беззвучно засмеялся. Потом быстро и несвязно заговорил такие странные вещи и с таким выражением в глазах, что доктор посмотрел, посмотрел на него, крикнул кучеру подавать экипаж и, не возвращаясь к трупу, около которого уже мелькали жгуты урядника, взял Струкова под руку и посадил с собой. Тот сел послушно, но опять было заговорил...

— Молчите! — повелительно крикнул Григорий Петрович и посмотрел на него строгими глазами. Тогда Струков тихо, как-то по-детски, заплакал.

В Апраксине доктор ввел его к себе, все тем же повелительным голосом и взглядом приказал раздеться и лечь в постель и положил ему на голову пузырь со льдом. Затем, посидевши у изголовья, все не отводя строгого взгля-

да от глаз больного, до тех пор, пока эти глаза сомкнулись, вышел на цыпочках в другую комнату и написал записку Наташе. В ней он извещал, что сам прийти не может, что Фрося умерла, что Алексей Васильевич заболел сильным нервным расстройством — вероятно, под влиянием прежнего недомогания,— и нуждается в постоянном присутствии врача, и, что в виду сего последнего обстоятельства, больному гораздо удобнее остаться во флигеле, а «врач просит присылать ему от времени до времени необходимую пищу, ибо и он не намерен отходить от своего пациента».

Наташа тотчас же пришла во флигель и хотела посмотреть на мужа, но доктор не пустил ее, сказав, чтобы не беспокоилась, что он ручается — через несколько дней все пройдет, а пока считает чье бы то ни было присутствие около постели больного безусловно вредным и опасным. И все время чутко прислушивался, просил говорить как можно тише,— Наташе даже показалось, что ему хотелось, чтобы она поскорее ушла.

— Вы что-то скрываете от меня? - с тревогой сказала она.

Бучнев пожал плечами и еще раз заявил, что ручается, но метода лечения у него своя, и он просит извинить, если не нравится эта метода. Тогда Наташа покорилась, почти успокоилась за мужа, и шепотом стала расспрашивать о подробностях убийства.

А Струков лежал в забытьи под ледяным компрессом.

Через неделю он действительно выздоровел, но вышел из флигеля с значительно поседевшими волосами, с каким-то старческим выражением на бесцветном осунувшемся лице. Даже Петр Евсеич выразил непритворное участие и искренне начал его уговаривать ехать за границу. Но Струков слабо и мягко улыбался и отрицательно покачивал головой. В город он написал, что отказывается от кандидатуры, а дня за три до отъезда долго ходил вдвоем с женою в саду, и возвратились оба, особенно она, в таком настроении, как будто пришли в опустелый дом с похорон близкого человека. Что было говорено во время этой прогулки, осталось неизвестным, но когда вечером Алексей Васильевич заявил, что, проводивши их до пристани, уезжает в свою тамбовскую Куриловку, где и останется жить, и когда Петр Евсеич, изумленный таким внезапным решением сердито закричал:

– Что же это, Наташечка? Свыше понимания, какая

новая блажь...— Наташа холодно и безучастно произнесла, что у всякого свои резоны, и, вероятно, «Алексей Васильевич» знает, что делает.

Перелыгин понял тогда, что это решение не внезапно, что между дочерью и зятем произошло что-то серьезное, и уже не заговаривал больше на эту тему. В сущности, он был доволен. И оттого ли, что хотел утешить Струкова, или поскорее убедиться в том, насколько твердо такое решение, с изысканной вежливостью начал просить у него совета, что же делать с имением. Алексей Васильевич предложил доверить пока управление хуторскому приказчику, а при первой возможности распродать по частям окрестным крестьянам.

— И, может быть, хутор хорошо бы оставить мальчикам, добавил он, робко взглядывая на жену.

Петр Евсеич тотчас же согласился относительно практиканта, а о продаже сказал:

— Как Наташечка, мне все равно.

— Успеем, миленький... Что вперед загадывать! — задумчиво выговорила Наташа. Мысли ее были далеко, далеко...

В октябре на истомившиеся поля, на загубленные засухою всходы полились ненужные холодные дожди. После одного такого дождя из города утром должен был отойти последним рейсом пароход «Колорадо». Унылое это было утро. Свинцовая гладь реки сердито хмурилась под свинцовым холодным небом. На противоположном берегу чернел обнаженный лес: зияли невидные летом овраги... Словно тоскующий зверь заревел огромный пароход. Загрохотали скользкие от сырости сходни. Пассажиры из Апраксина просторно разместились в совершенно пустых каютах первого класса. Петр Евсеич с доктором тотчас же сели играть в шахматы, дети под надзором англичанки принялись бегать по зале, восхищаясь позолотой, зеркалами, живописью, хрусталиками на люстрах... Алексей Васильевич грустно смотрел на их раскрасневшиеся личики с сияющими глазенками и, сам того не замечая, курил папиросу за папиросой. Наташа долго возилась в каюте, размещая вещи, потом вышла оттуда и, облокотившись на кресло Петра Евсеича, стала следить за игрою... Но невольно оглядывалась в сторону мужа, нетерпеливо кусала губы, хмурилась и наконец подошла к нему.

— Хочешь, выйдем на палубу? Здесь жарко. Пароход

грузится, должно быть, долго еще простоит,— сказала она.

Оживленная пристань, такая живописная в летнюю пору, являла теперь вид печальный. По грязным, протоптанным доскам шлепали под тяжестью пятипудовых кулей оборванные крючники; бабы-мещанки с багровыми от натуги и злыми лицами таскали дрова. Там и сям возвышались развороченные бунты, как ни попало валялись мокрые рогожи, веревки, прилипшие листья капусты, арбузные корки, раздавленные ступнями рабочих... Дальше разгружался обоз — стояли телеги по ступицу в вязкой глине, с понуренными мокрыми клячами, с мужиками, похожими на нищих. Против пристани выстроился ряд кабаков и трактиров. Несмотря на ранний час, оттуда доносился пьяный шум и разбитый мотив из «Травиаты». На пристани тоже шумели, но как-то угрюмо и злобно. Ругались крючники с мужиками, похожими на нищих; ругались столь же непотребными словами бабы-мещанки; хрипло и отрывисто лаял купеческий молодец у обоза; с отчаянным завыванием бранился другой молодец близ развороченных бунтов... Со всего ненастный октябрьский день согнал краски и приятные полутоны, все было холодно, убого, неприютно, и, когда крючники, подымая какую-то чрезмерную тяжесть, обшитую рогожей, затянули простуженными голосами «Дубинушку», она отозвалась не удалью, а жалобным стоном пришибленного, голодного, непоправимо несчастного человека.

Струковы стояли на балконе лицом к пристани. Минут десять они безмолвно смотрели и слушали, как вдруг залп отвратительнейших, отборных ругательств раздался у самых их ног... Струков тотчас же понял, что это для того, чтобы прогнать сытых, красиво и тепло одетых «господ», и, взяв жену под руку, перешел с нею на другую сторону парохода. Дружный хохот сопровождал их... Наташа больно кусала губы, лицо Струкова сделалось еще тоскливее, чем в каюте. Он сел и рассеянно стал смотреть на пустынную суровую Волгу.

— Ты хочешь завтра ехать? — спросила Наташа, кладя ему руку на плечо.

— Вероятно, завтра.

Она помолчала, потом сказала также тихо:

— Но как, должно быть, холоден дом в твоей Куриловке.

– Отчего холоден?.. Нет, можно защитить соломой.

Оба долго и безмолвно смотрели в угрюмую даль... Вдруг Алексей Васильевич припал губами к руке жены.

— Помнишь, Наташа? — сказал он, поднимая на нее глаза и насильственно улыбаясь сквозь слезы,— тоже река... тоже пароход... Как давно и как непохоже!

— Молчи об этом! — вскрикнула Наташа, внезапно бледнея, выдернула руку и отвернулась... Так прошло несколько мгновений.

— Дорогая моя,— робко позвал Струков. Она быстро обратилась к нему. Губы ее дрожали, заплаканные глаза горели негодованием, гневом, почти ненавистью.

— За что? За что, Алексей Васильевич? — заговорила она.— Я не о том упоминаю,— сохрани бог, ты и так безмерно наказан... Но годы постылого прозябания, нытья, компромиссов, подходов... господи, господи! Что я делала? Детей рожала? Огрызалась из-за них как волчиха? Радовалась, какие глазки, ручки, ножки?.. А ты?.. Разве я того от тебя ждала? Разве на то надеялась?.. Ты еще там, в Париже, истерзал мое сердце... своими ласками, своей нехорошей страстью. О, как я тогда возненавидела себя, как поняла, сколько гнусности в положении женщины... в этом обязательстве отдаваться — не потому, что любишь и желаешь, но потому, что так принято и так угодно мужу. И все-таки поехала с тобой!.. И все-таки думала, что ты мой товарищ!.. Не говори, не говори, что наши лондонские планы оказались непрактичны. А жить, есть, пить, спать, и все это с комфортом, не спеша, смакуя,— это практично? Это можно?.. Я бы с тобой в огонь пошла, на голод, на холод бы пошла... А ты? Читал умные книжки? Говорил умные разговоры?.. И ждал, ждал: вот нахлынут откуда-то волны и понесут нас... Ну, и нахлынули, да не те!

Сначала Алексей Васильевич хотел возражать, оправдываться, напомнить кое-что в свою защиту. Но чем страстнее и громче становился голос Наташи, тем его голова поникала все ниже и ниже...

— Прости меня,— прошептал он,— я не хотел этого... И разве я счастливее тебя?

— Ты?..— презрительно протянула Наташа, но взгляд его так и резнул ее по сердцу. Она глубоко вздохнула, помахала платком на свое разгоряченное лицо, потом сказала, усиливаясь быть спокойной: — Все это нервы и сантименты. Оба мы с тобой засиделись на насести... Оба одинаково виноваты... и правы. Поработай зимою, съезди в Москву...

Мой грех, что я отвела тебя от ученой карьеры. Может, еще наверстаешь и, кто знает, там-то и найдется твоя доля? А весною непременно приезжай,— слышишь? Что бы ни случилось,— твои ведь дети, и когда все перекипит, я, может быть — друг твой. Ну, довольно... Пойдем. Фу, какая сегодня противная Волга! — И не оглядываясь пошла в каюту.

Струков хотел было последовать за нею, но вдруг почувствовал какое-то странное состояние: ноги точно отнялись; ни одной мысли не было в голове, ни ревности, ни сожаления — в упавшем сердце. «Все кончено...» — выговорил он с тупою улыбкой. И всхлипывающий плеск волны за кормою, и разбитый мотив из «Травиаты», так же как тучи, и река, и угрюмая даль, казалось, повторили за ним: «Все... все кончено...»

Пароход «Колорадо» принужден был потерять несколько часов из-за поисков бесследно исчезнувшего пассажира. Долго затем происходило полицейское дознание, допрашивались крючники, бабы-мещанки, матросы, составлялся протокол... И когда в непогожую ночь снова заревел свисток и нелепая громада с шумом отчалила от пристани, в каютах первого класса было темно и пусто.

Примечания

Тексты печатаются по изданию:
Эртель А. И. Собр. соч., т. I—VII. М.,
Моск. книг-во, 1909

«Волхонская барышня»

К созданию повести «Волхонская барышня» А. И. Эртель приступил после окончания книги «Записки степняка», принесшей ему широкую известность и привлекшей внимание критики.

Воодушевленный успехом своей первой книги, Эртель, по его признанию, всего за три недели написал «Волхонскую барышню», работая над повестью с необычайным творческим подъемом.

В одном из писем к М. Н. Чистякову от 10 августа 1881 года Эртель говорил, что в то время он стал испытывать особый интерес к участи интеллигенции, видя «трагический характер ее отношений *к народу...*» Там же Эртель указывал, что он не хотел бы принадлежать к числу писателей, которые «с похвальным усердием вертятся в узкой сфере исключительно мужицких нужд и интересов», то есть к литераторам народнического толка. «Надо кому-нибудь вспомнить и об интеллигентном человеке,— заключал Эртель,— конечно, не забывая главную суть, руководящую интересами этого человека,— общественное дело, и благоразумно обходя чисто-личные, психологические мотивы». (Письма А. И. Эртеля. М., 1909, с. 41.)

Не все из намеченных в цитируемом письме мотивов были разработаны Эртелем в «Волхонской барышне» и последовавших за нею произведениях. Но ведущий мотив — взаимоотношения демократической интеллигенции и народа — получил в них разностороннее освещение.

В том же письме к М. Н. Чистякову Эртель назвал ряд интересовавших его персонажей, среди которых, по его словам, были «даже такие сложные продукты, как с ног до головы пропитанный культурой

камер-юнкер, затем романтик-революционер и наконец девушка из дворянской семьи»

Ни старый владелец Волхонки, ни Мишель Облепищев - не камер юнкеры, но каждый из них, на свой лад, «пропитан культурой». «Романтиком-революционером» предстает в глазах Вареньки Волхонской Илья Тутолмин. Девушка из дворянской семьи – главная героиня повести.

«Волхонская барышня» была впервые напечатана в 6—8 номерах журнала «Вестник Европы» за 1883 год.

«Жадный мужик»

В середине 80-х годов в Москве по инициативе Л. Н. Толстого возникло издательство «Посредник», выпускавшее книги для широкого народного читателя. «Посредником» в числе первых были изданы народные рассказы Л. Н. Толстого, написанные лаконичным, ясным, доходчивым языком, соединившие в себе обличение «зла» жизни и проповедь религиозно-нравственного учения.

В ответ на просьбу Толстого принять участие в работе для «Посредника» Эртель писал в Ясную Поляну: «О рассказе для народа я думал да боюсь. трудное это и обоюдоострое дело!.. Нужно самое ничтожное количество описаний, а они в крови у нас, у цеховых литераторов... нужно совершенное отсутствие рассуждений и монологов; нужно непрерывное развитие действия... и в конце-то концов непременно, во что бы то ни стало дидактическую цель,— вывод выпуклый и независимый от «рассуждений» Простота! Господи ты боже мой - да если я достигну простоты... этим все сказано... и излишни будут слова: талант, художественность, эстетическое чувство и т. д. Но для этой простоты, о, как много нужно усилий! Право же, тут мало искренности, желаний быть простым и тому подобное..

«Обращаться к народу здорово»,— говорите Вы... Несомненно. Но обратиться к народу мне приходится не одним желанием (это желание есть!) а и самой моей личной жизнью» (из письма А. И. Эртеля Толстому 24 сентября 1885 г.— В кн.: Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями, т. 2. М.: 1978, с. 185—186).

Преодолев выраженные в этом письме колебания, Эртель за несколько месяцев создает для «Посредника» «Повесть о жадном мужике Ермиле» и в начале 1886 года посылает ее рукопись Толстому. Познакомившись с нею, Толстой пишет руководившему издательством «Посредник» В. Г. Черткову: «Эртель прислал мне свой рассказ, предоставляя право сокращать, прибавлять и прося печатать (если годится) без имени Рассказ по языку и правдивости подробностей и по содержанию хорош, но нехорошо задуман — распущенно и не отделан». Однако

Толстой нашел, что «его можно напечатать». (Толстой Л. Н. Полн. собр соч., т. 85. М., 1935, с. 307–308.)

Теперь трудно установить – сообщил ли В. Г Чертков автору о критических замечаниях Толстого, приведенных в его письме, и внес ли Эртель какие-либо исправления в рукопись своего произведения В 1886 году «Посредник» выпустил в свет «Повесть о жадном мужике Ермиле» с рисунками художника А. Д. Кившенко.

На этом связи А. И. Эртеля с «Посредником» не закончились. Осенью 1888 года В. Г. Чертков сообщил Толстому, что Эртель «очень сочувственно относится к нашим (то есть «посредниковским». - *К. Л.*) изданиям, много помог мне разными указаниями и готовится написать для нас рассказ весьма сочувственного нам содержания» (см.. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 86. М., 1937, с. 174)

В октябре 1889 года Эртель принял предложение В. Г. Черткова написать для «Посредника» исторический очерк о Наполеоне и обратился к Толстому с вопросом: если б он теперь писал «Войну и мир», то изменился бы или нет его взгляд на Наполеона? Толстой ответил: «Да, я не изменил своего взгляда и даже скажу, что очень дорожу им» Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями, т. 2, с. 194) По неизвестным нам причинам Эртель не выполнил своего обещания В Г Черткову и очерк о Наполеоне не написал.

В 1891 году «Посредник» выпустил сборник «Рассказы Ивана Федотыча. Соч. А. Эртеля». В него вошли главы из эртелевского романа «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги», печатавшиеся в журнале «Русская мысль» в 1889 году. Открывается сборник рассказом «О том, как женился Иван Федотыч». За ним следуют еще семь коротких вещей.

Их рассказывает столяр Иван Федотыч, сектант, искатель правды - видная фигура романа «Гарденины». Критикой он был воспринят как образ последователя толстовского вероучения.

Толстой знакомился с содержанием сборника по рукописям. «Все истории,— писал он В. Г. Черткову,— мне очень понравились. Язык прекрасный, краткий и ясный...» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 86, с. 210). Эту оценку Толстой развил позднее в своем предисловии к роману Эртеля «Гарденины...» (Там же, т 37 М., 1956, с. 243—244)

«Две пары»

Повесть была написана А. И. Эртелем в Твери, когда он жил в ней на положении ссыльного. Тематически она примыкает к «Волхонской барышне», развивая один из ведущих мотивов творчества Эртеля интеллигенция и народ. Героиня повести «Две пары», Марья Павловна

Летятина, похожа на Варвару Волхонскую не характером, а стремлением сблизиться с народом и как-то облегчить его участь.

Сюжет повести «Две пары» построен не только на сопоставлении, но и на противопоставлении взглядов на брак и семью в дворянской и народной среде.

Повесть «Две пары» впервые опубликована в журнале «Русская мысль» в 1887 году.

«Карьера Струкова»

Повесть «Карьера Струкова» — последнее художественное произведение Эртеля, написанное в 1894—1895 годах. Она впервые была опубликована в журнале «Северный вестник» в 1895 (кн. 12) и 1896 годах (кн. 1—3, 5—6).

В дооктябрьской критике была сделана попытка отождествить образ главного героя повести и ее автора. В предисловии к книге писем А. И. Эртеля, вышедшей в конце 900-х годов, М. Гершензон утверждал: «Безусловное понимание истины, условное осуществление ее — это один из заветных тезисов Эртеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципиальность — холодна, мертвенна, что теплота жизни — только в компромиссе». (Письма А. И. Эртеля. М., 1909, с. XIII).

Подобная характеристика «приложима» к герою повести «Карьера Струкова», но не к ее автору. М. Гершензон, а за ним П. Струве — авторы ренегатского сборника «Вехи» (М., 1909) — увидели главную особенность умонастроения и жизненной позиции Эртеля в соединении буржуазного практицизма с религиозным мистицизмом. Это видно из цитируемой статьи М. Гершензона и статьи П. Струве «Эртель как религиозный тип и воплощение идеи личной годности».

В послеоктябрьской критике были справедливо осуждены попытки этих авторов истолковать взгляды и творчество Эртеля в «веховском» духе. Однако их попытки поставить знак равенства между писателем и его героями и, в частности, Алексеем Струковым, имели свое продолжение. Так, в предисловии к роману Эртеля «Гарденины...», выпущенному в начале 30-х годов, А. Лежнев писал: «Эволюция Эртеля — это непрерывное выцветание разночинца-просветителя в либерала, продвижение его вправо, происходящее резкими скачками, сменяющимися периодами затишья,— пока он наконец не становится из представителя разночинного, хотя и не слишком решительного радикализма типичным выразителем буржуазии». (В кн.: Эртель А. И. Гарденины... Т. 1. М.—Л., 1933, с. 25.)

Перед нами типичный пример вульгарно-социологического истолкования взглядов писателя, которому критиками приписывались взгляды

его героев, в чьих судьбах ему удалось запечатлеть сложные процессы эволюции разночинной интеллигенции в пореформенной, дореволюционной России

В советской науке о литературе длительное время оставалась не преодоленной еще одна ошибочная трактовка взглядов Эртеля, утверждавшаяся дооктябрьским литературоведением. «Эртель по своим взглядам, писал К. Головин,— народник чистейшей воды...» (Головин К. Русский роман и русское общество. СПб., 1914.) Глава об Эртеле в книге советского исследователя А. Спасибенко «Писатели-народники» (М., 1968) начинается словами: «Эртель — беллетрист-народник» (с. 353).

В наше время советские литературоведы видят в Эртеле «типичного демократа-просветителя», «реалистические произведения» которого «отразили назревание народной революции». (Краткая литературная энциклопедия т. 8. М. 1975 с 95[illegible])

Содержание

Александр Иванович
Эртель

ВОЛХОНСКАЯ БАРЫШНЯ

Повести

Редактор
Л. КУЛЕШОВА
Художник
Б. ЛАВРОВ
Художественный редактор
В. ПОКАТОВ
Технический редактор
Л. АНАШКИНА
Корректор
Т. СТЕЛЬМАХ

ИБ № 3189. Подписано в печать с готовых диапозитивов 03.09.84. Формат 84×108/32. Гарнитура обыкн. нов. Печать высокая. Бумага кн. журн. тип. № 2. Усл. печ. л. 26,04 + вкл. Усл. кр.-отт. 26,09. Уч.-изд. л. 29,96. Доп. тираж 100 000 экз. Заказ № 2956. Цена 2 р. 60 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР Калинин, проспект 50-летия Октября, 46

